ТОМ 1

Мария Рива

Моя мать МАРЛЕН ДИТРИХ

Лимбус Пресс
Санкт-Петербург
1998

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Самая скандальная биография Марлен Дитрих. «Биография матери — не дочернее дело», — утверждали поклонники Дитрих после выхода этой книги. А сама Марлен умерла, прочитав воспоминания дочери.

- Мария Рива
  -
  - Шёнеберг
  - Берлин
  - Голливуд. Начало
  - Париж — Вена
  - Голливуд. Звездные годы
  - Лондон и далее
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

Мария Рива

Моя мать Марлен Дитрих

Том 1

Мария Рива
Моя мать Марлен Дитрих
Том 1

Всем, кто подтверждал мои воспоминания, вносил в них поправки, подвергал их сомнению или помогал вдаваться в детали — моя глубочайшая благодарность.

Всем, кто увидел результаты этого и все еще меня любит — моя вечная признательность.

Эта книга посвящается членам семьи Рива — большим, маленьким и тем, кто еще родится, — и Томи.

Марлен Дитрих в сцене из спектакля. 1926–1927 годы.

Шёнеберг

Он, надо думать, был великолепен! Прямой, как аршин проглотил; темно-синий кавалерийский мундир безупречного кроя, сидевший как влитой на мышцах натренированной фехтованием спины; холеное лицо, высокие скулы, яркие голубые глаза, чей блеск скрадывали тяжелые веки. «Постельные глаза» еще не были придуманы, но именно такими обладал Луис Отто Дитрих. В нем было все от прусского офицера, рожденного для аристократической жизни и привилегий. Он снял шлем, и золотисто-рыжие волосы — впоследствии публика назовет их у его дочери тициановскими — поймали блики послеполуденного солнца, сочащегося сквозь викторианское кружево штор в отцовской библиотеке. Известный повеса, Луис Дитрих привык получать выговоры от своего долготерпеливого отца.

Если ты раз и навсегда не покончишь со своими шлюхами, дождешься — пошлют за океан, и индейцы снимут там с тебя скальп!

Луису угрожали ссылкой в далекую Америку на растерзание индейцам так часто, что он смиренно стоял навытяжку перед отцом, сидевшим за столом, и пережидал очередное чтение морали. Не принимать же всерьез набившую оскомину угрозу! Будучи вторым отпрыском аристократической семьи, Луис знал, что ему не на что особенно рассчитывать в будущем и терять ему тоже особенно нечего. Положенный ему рождением чин обеспечивал его элегантной формой и — бесперебойно — выпивкой и партнерами по картам. Веселые девицы были неотъемлемой частью его жизни, как и сверкающая шпага на стройном бедре. Отличившись недавно во всех полковых учениях, предписываемых протоколом, он ощущал, что заработал воинские полномочия, которыми может гордиться Отечество, и теперь с чувством выполненного долга имеет право предаться любимому спорту. Луис знал толк в любовной игре: охота, гон, поимка — и жертва неизбежно сдается. Как голубоглазый сокол он лихо налетал на добычу, и девушки хлопались в обморок от желания стать трофеем.

— Черт возьми, Луис! Неужели тебе нечего сказать?

Невозмутимо, словно бубня катехизис, сын еще раз пообещал отцу, что исправится, защитит славное имя Дитрихов от любого намека на скандал, приложит все старания к тому, чтобы семья получила страстно желаемое — сына, которым можно по праву гордиться. Луис обворожил бы кого угодно. Ежемесячный ритуал «указания Луису на его ошибки» неизменно кончался

рукопожатием, почтительным щелканьем каблуков, тостом за кайзера, запиваемым отличным шампанским из знаменитых отцовских погребов. Затем неисправимый Луис возвращался к своим занятиям по осчастливливанию прекрасной половины германского народонаселения.

Однако когда он перенес свои таланты на родительский дом и соблазнил одну из горничных, лопнуло терпение у его матери, и она взялась за дело сама никаких долгих разглагольствований и уж, конечно, никакого шампанского! Она объявила во всеуслышание: «Луис женится!»

Дитрихов призвали на семейный совет. Прибыл весь немалочисленный клан: братья, сестры, дядюшки, тетушки, кузины и кузены, — кто в пышных ландо, кто верхом на рысаках, кое-кто в даймлеровых «быстроходках», от которых шарахались лощеные лошади в упряжках. За покачиванием шляпок, подкручиванием усов, под звяканье мейсенского фарфора и звон баварского хрусталя перебирались достоинства всех наличествующих берлинских девственниц — так тщательно, словно изучалась военная цель. Началась кампания по подыскиванию невесты, способной «держать Луиса в узде» Но далеко дело не продвинулось. Вероятно, слухи о репутации Золотого Сокола просочились чуть ли не во все хорошие дома. Гордые прусские мамаши сомкнули ряды, напрочь отметая саму возможность внесения своих невинных дочерей в списки кандидаток на брак с таким скандальным субъектом. Пока семейство занималось поисками, Луис, по своему обыкновению, со вкусом предавался амурам и верховой езде.

Перечень невест свелся до минимума. Реально осталась некая скромная и даже не лишенная привлекательности дочь ювелира. Ее отец делал часы прекрасной работы, настоящие произведения искусства. Приданое за девицей предполагалось немалое, а ее семья почитала за честь отдать дочь за аристократа.

Вильгельмина Элизабет Йозефина Фельзинг была девушкой примерной. Она повиновалась матери, почитала отца и ничего не ждала от жизни — только возможности исполнить надлежащим образом свой долг. Не отличаясь особой красотой, она была неглупа и добропорядочна. В ее карих глазах порой прыгали чертики, но она редко позволяла себе подобную фривольность. Не то чтобы ей недоставало теплоты или душевности, — позже она оказалась способна на подлинную страсть, — но даже тогда, поставленная перед выбором, она неизменно отдавала предпочтение долгу. Впрочем, ничего странного — она была немка. Женщина викторианской эпохи, она знала свое будущее, что тоже ей подходило. Она достигла возраста невесты, и вскоре

отцу предстояло передать ответственность за ее жизнь подобающему мужу. Она знала свое место в берлинском обществе — место дочери преуспевающего ремесленника. Йозефина, как ее называли, была отменно вышколена. Она знала обязанности хорошей жены: надзирать за слугами, лично присматривать за безупречностью складок на скатертях и салфетках, за еженедельной полировкой серебра, выбиванием ковров, за сменой на зиму и на лето оконных драпировок; она должна была проверять содержимое кладовой, составлять с поваром меню на каждый день, вышивать монограмму мужа на его белье, рожать ему наследников.

Ей как раз исполнился двадцать один год, когда Луис Дитрих, покорившийся судьбе, пришел с визитом вежливости в дом ее родителей. Стоя, как положено, рядом со своей горделивой матерью, Йозефина смотрела на приближающегося жениха. Его мужская красота пронзила ее, и, приседая в реверансе, вместо того чтобы опустить глаза, она не смогла оторвать изумленного взора от его лица.

— Фрёйлен Фельзинг, — пробормотал он, прикладываясь губами к ее холодной руке, и для этой чувствительной, но отнюдь не блестящей девушки время остановилось. Она полюбила его! Страсть, времени не подверженная, не задающая вопросов, необъяснимая, порой нежеланная — сквозь измены, кровавую бойню войны, даже после его смерти — до конца ее дней.

Она была в белом кружевном платье, в кашемировой накидке от зимнего холода. Фату придерживал традиционный миртовый венок, прочное кольцо которого обозначало ее девственность; девица викторианского времени в парадном убранстве. Луис, сменивший офицерский мундир на столь же франтоватую форму лейтенанта имперской полиции, высился подле нее в темно-фиолетовом с обильным золотым галуном. Они произнесли свои клятвы по англиканскому ритуалу. Стоял декабрь 1898 года; ей было двадцать два, ему — тридцать.

Они переехали в свой новый дом в Шёнеберге, фешенебельном городке под Берлином, где размещался полк Луиса. Название соответствовало месту: высокие тополя, цветущие сады, уютные площади, добротная архитектура, — весьма мило. Грациозно изогнутые уличные фонари недавно обрели электрические лампы; зеленые трамваи с открытыми площадками больше не нуждались в тягловой силе лошадей — отныне длинные электрические щупальца соединили их с новым столетием. Йозефина деловито, не по годам, осмотрела свою маленькую резиденцию. Все сияло, сверкало, отлично работало.

Луис с умилением взирал на эту серьезную новобрачную, думающую только о том, чтобы угодить ему. В конце концов женитьба могла обернуться приятным разнообразием.

Когда акушерка объявила о рождении дочери, Луис ответил лишь пожатием великолепных плеч и приказал подать ему коня — свой долг он выполнил. Его отец, вероятно, был разочарован, что родился не сын, но поскольку никто из детей Луиса, мужского ли, женского ли пола, не мог претендовать на наследство, то на самом деле разницы особой не было. Луис чувствовал, что пора менять декорации. Последняя любовница ему прискучила, а теперь, когда Йозефина стала кормить ребенка грудью, он решил запереть дверь между их спальнями. Заниматься любовью с кормящей матерью — увольте, только не это.

Йозефина назвала своего первого ребенка Элизабет. Этакая печеная картошечка, кареглазое, тихонькое, не смеющее требовать внимания существо, старающееся лишь угождать. Она, может быть, и крикнула бы: «Полюбите меня!» — но ее все равно никто бы не услышал, да и крик этот был загнан глубоко в ее сердце. Своим рождением она навлекла на мать кару одиночеством и несла в себе эту вину, даже не зная ее причины.

Йозефина продолжала исполнять ежедневные обязанности деловитой домоправительницы и матери, живя лишь ради редкого скрежета ключа, поворачивающегося ночью в замке и снимающего камень с ее души.

Тремя неделями спустя после своего двадцать пятого дня рождения, утром 27 декабря 1901 года Йозефина, пережив тяжелейшие роды, разрешилась от бремени второй дочерью. Дитя было блистательное: точеную головку опушал цвет летнего заката, тельце светилось, как жемчуг Востока, ясная лазурь проглядывала из-под полуприкрытых век, — Золотой Сокол в миниатюре. Йозефина держала у груди это совершенное создание, смотрела — и страсть, которую она питала к человеку, сотворившему себе подобие, перешла на его ребенка. Как если бы бушующая сила покинула ее тело — так она ощутила это. Вместе с новой любовью, близнецом старой, пришел неизъяснимый ужас, с тех пор преследовавший ее: не унаследует ли дитя отцовские наклонности? Не окажется ли для нее столь же легким делом причинять боль тем, кто ее любит? Она поклялась охранять дочь, даже от нее самой, если понадобится. Йозефина назвала новорожденную Марией Магдалиной. Что это было — мольба к Господу о защите или ясновидение?

К двадцати девяти годам Йозефина стала старухой. Гложущая

ее тоска сделала свое дело. Из поры юного цветения, столь грубо прерванного, она вышла холодной женщиной, закосневшей в своих привычках, в стоицизме, приказах, назиданиях и тяжеловесных трюизмах. Увидев особу в темной юбке, блузке с глухим воротом и разношенных башмаках, случайный гость счел бы ее скорее за суровую экономку, чем за молодую хозяйку шёнебергского дома. Железной рукой Йозефина вела хозяйство и воспитывала дочерей. Они ее боялись. Но страх перед родителями был настолько естественной принадлежностью хороших прусских домов, что две маленькие девочки воспринимали его как должное, и это их не угнетало.

Элизабет, прозванная Лизель, была умным ребенком. Как воробышек, которого она напоминала, подбирала она любые крохи любви, небрежно ей бросаемые. Она сама выучилась читать, будучи неполных пяти лет, и, когда младшая сестренка не требовала ее услуг, забиралась на чердак, в сокровищницу книжек. Свою красавицу сестру она обожала. Лизель принадлежала к числу тех редких людей, которые не способны на зависть. Конечно, хорошо было бы быть красивой и чтобы тебя за это любили, но Лизель, как очень чуткий ребенок, приняла свою некрасивость с самого раннего возраста.

Мария Магдалина была особенной — эту истину все принимали без доказательств. Принимала и Лина, как ее называли в семье. Она чувствовала себя не такой, как все вокруг. Все на свете прекрасные вещи — она не сомневалась — были сотворены ради ее удовольствия. Эту уверенность она хранила в себе, зная, что мать не одобрит такого самомнения, и разделяла ее только с сестрой. Незаметно ни для кого она разрешала Лизель прибирать за собой игрушки, стелить постель, быть ее счастливой служанкой. Лизель так нравилось прислуживать, что со стороны Лины было великодушием доставлять таким образом удовольствие старшей сестренке. Ей не нравилось только дурацкое прозвище «киска», которым Лизель звала ее, когда они оставались одни. Лине не нравилось, когда с ней сюсюкали — это было недостойно отпрыска фамилии Дитрих четырех без малого лет. К тому же — разве Лизель не знает, что она терпеть не может кошек и собак? Мутти не позволяла держать в доме животных. В чем, в чем, а в этом вопросе Лина уважала твердые материнские правила. Но вообще Лине нравился отец. Фати никому не досаждал чтением нотаций. Он предоставлял это Мутти. Если он и бывал строг, то только когда нанимал добропорядочных гувернанток, которые приходили учить девочек иностранным языкам. Помимо безупречного владения разговорным французским и английским, они непременно должны были иметь

привлекательную внешность — уж за этим-то он следил. Лизель предпочитала английский. Лина обожала французский, потому что на нем все звучало романтичней.

Луис так редко бывал дома, что все детство оставался для дочерей туманным символом мужского авторитета. Скоро война изымет его насовсем из их юных жизней.

Но пока что в Европе был мир. Настала пора благоденствия. Викторианская эпоха окончилась, и элегантность эдуардовской Англии перешагнула через Ла-Манш. Берлин превратился в крупнейший индустриальный город Европы, оцененный по достоинству драгоценный камень в короне своего кайзера. Многие полагали, что город соперничает с Парижем во всем; красивые женщины, одетые по последней моде и фланирующие под липами на главных улицах, — не исключение.

На протяжении нескольких лет наблюдая за тем, как справляется с жизнью супруга Луиса, женщины клана Дитрихов искренне ее полюбили. Чтобы выказать свою симпатию Йозефине и одобрение ее примерного поведения, они часто захаживали на чай к молодой матроне, внося толику великосветского блеска в ее тусклую жизнь. Бедняжка никогда не выезжала. Да и как — как она могла выезжать без сопровождения мужа? За кофе мокко со сливками и ванильными крендельками родственники болтали, сплетничали, очень мило проводили время, а Йозефина вежливо слушала и исполняла обязанности хозяйки дома.

— Не далее как вчера, — начала жизнерадостная дама в брусничного цвета платье с дорогой камеей, — мне понадобился кусок бежевой шерсти. Мой любимый гобелен — ну, вы знаете, тот, что висит у меня в музыкальной комнате, — я обнаружила на нем потертость, прямо на руке у одной из муз! Я, конечно, немедленно приказала закладывать коляску и поехала в Вертхеймский торговый дом. Владельцы, правда евреи, и тем не менее это все-таки чудо света. Все тонет в цветах. А канделябры! Там их не меньше, чем в Версале. И, представьте, как раз прибыла партия семги с Каспийского моря и икра в огромных бочках. Я тут же купила для мужа и того и другого. На царский стол лучше не выставляют. Потом купила восхитительной нуги, прямо из Флоренции, для детей, и совершенно невесомую шаль для матери Макса — ее семидесятилетие на будущей неделе. Потом подкрепилась чашечкой дивного чая с венгерской ромовой бабой, которую просто распирало от изюма. Вернулась домой, конечно, без сил, но донельзя довольная.

— А бежевую-то шерсть ты нашла, Ингеборг? — спросила преизящнейшая дама в лиловом.

— Ну, разумеется! Ты не хуже меня знаешь, София, что в

Вертхеймском торговом доме есть абсолютно все!

— Мой муж прочел сегодня в утренней газете и рассказал мне, — мышкой пискнула дама в светло-сером, — в каком-то важном городе в Северной Америке случилось землетрясение. «Настоящая катастрофа», так сказал мой муж.

— Я полагаю, в городе Сан-Франциско, названном в честь святого Франциска Ассизского. — Лиловая дама любила вносить ясность во все.

— Да, да, по-моему, именно там. Мой муж сказал, что было много жертв.

Монументальная дама в строгом темно-синем — вероятно, очень высокая, она и сидя возвышалась на голову над всеми — отчеканила командным голосом:

— Кайзер встретился с императором Всея Руси в Свинемюнде. Да, вы не ослышались. Я сказала — в Свинемюнде. Я часто возила туда мужа и детей. Я всегда говорила, что нет ничего лучше, чем воздух северного моря, он бодрит. Наш кайзер, разумеется, того же мнения.

Жирная такса высунула из-под скатерти морду, получила кусок сахара и снова погрузилась в дрему под чайным столом, ломящимся от лакомств.

Новая мемориальная церковь, которую кайзер приказал выстроить в память о его деде, была темой, живо интересующей всех. Еще бы — главный шпиль будет высотой сто тринадцать метров! Грандиозно! Только зачем на верхушке собираются прикрепить звезду? Это же не рождественская елка! Не соответствует религиозному сооружению такой важности.

— Мемориальная церковь кайзера Вильгельма останется триумфом церковной архитектуры на века, даже если они водрузят на нее эту рождественскую безделушку! — провозгласила темно-синяя дама, чем положила конец дискуссии.

— Кухарка мне рассказывала, что в северных кварталах некоторые женщины — она сказала «дамы», но в это трудно верится, они там все из рабочих, это только моя кухарка зовет их дамами — так вот, они вышли на улицы с плакатами, что женщинам надо дать «права» Какие еще права? Чего только некоторые не сделают, лишь бы привлечь к себе внимание! Позор! «Заботьтесь о своих мужьях, домах и детях — и прочь с улиц!» — вот что им необходимо заявить!

С этим все согласились единодушно.

— Мы взяли ложу в новую оперетту, на открытие. А вы? — спросила мышиная дама лиловую.

— Мы — нет, моя дорогая, — отрезала та. — Мы с мужем в этот вечер даем музыкальное суаре с песнями Шумана.

— Мой муж сказал, что двор объявил еще об одном параде на этой неделе. Кайзер обожает парады! Как вы думаете, императрица снова будет в этом ужасном бледно-сиреневом, почти бесцветном? Что она в нем нашла?

Таким образом завязалась в меру пылкая дискуссия о модах, которая, конечно же, заняла остаток дня.

Перед уходом гостей девочки должны были спуститься вниз из детской, чтобы выказать всем свое почтение, прочесть наизусть по стишку из Гете и чтобы тетушки, в знак одобрения, погладили, их по головкам. Девочки выносили эту церемонию с кротостью хорошо воспитанных детей.

Но когда к ним заглядывала тетушка Валли, это было совсем другое дело!

Тетушка Валли была красавица. Настоящая Лорелея! Составив хорошую партию, она могла потакать своему великолепному вкусу к роскоши. Муж души в ней не чаял, и она сорила деньгами, не задумываясь ни на секунду. Ее охотничьи лошади были лучшей английской породы. Костюмы для верховой езды — из тонкого сукна и вельвета, обычно черные — ее любимый цвет, блестящий цилиндр, осененный вуалью — чудо искусства и обольщения. Она лихо и с продуманным изяществом управляла своими многочисленными имениями, славилась своими банкетами и ливрейными лакеями, — как на подбор — у нее для этого были собственные параметры: гренадерский рост и представительная внешность.

Когда тетушка Валли материализовывалась — вместе с экзотическими фруктами и парижскими конфетами — даже лицо Йозефины теряло свою суровость и расплывалось в улыбке. Весь дом словно бы пробуждался от угрюмого сна. Тетушка Валли излучала сияние. Обе девочки души в ней не чаяли. Чудное видение! Муфточка из самого настоящего меха выдры, жакетик туго в талию, отороченный тем же ценным американским мехом, шляпка — этюд из бархатных бантов и птичьих перьев. Лесная фея! Пока Лизель упивалась рассказами тетушки о ее последних вояжах в дальние страны, Лина переводила глаза с ее туфелек ручной работы, темно-зеленых с перламутром, на подобранные им в тон перчатки тонкой кожи и на совершенство брюссельского кружева вокруг ее шейки. Лина решила, что, когда вырастет, тоже будет одеваться, как утонченная дама, и будет такой же упоительно прекрасной, как ее тетушка Валли.

Если Луису случалось быть дома, тетушка Валли шокировала девочек, принимая от него стаканчик коньяка и опрокидывая его по-мужски. При этом она посмеивалась и над своей храбростью, и над выражением ужаса на лице Йозефины. По части крепких

напитков она тоже была докой и с легкостью бросала вызов мужской удали Луиса — единственная женщина, которой он позволял такое. Из всей семьи одна только тетушка Валли сочувствовала кузену, когда его насильно женили. Тем не менее и она в конце концов приняла в сердце «бедняжку», как Дитрихи называли Йозефину, и выбирала время, чтобы немного скрасить ее уединенную жизнь и попенять Луису за его небрежение женой.

Весной 1906 года, когда Лине было почти пять лет, к ним в дом снимать семейный портрет пришел придворный фотограф. Тетушка Валли выбрала для всех наряды, позы, подразнила Луиса за его надутый вид и восхитилась тем эффектом, который производят соломенные шляпы, купленные ею для девочек.

А девочки быстро подрастали — скоро им предстояло пойти в школу. Теперь Йозефинина подготовка юных дочерей к тому, чтобы из них вышли хорошие немецкие жены, вступила в стадию практического обучения.

— Вы не будете знать, должным ли образом слуги выполняют свои обязанности, если не научитесь сами все делать как надо.

Таков был один из эдиктов, который девочки слышали постоянно. И они учились мыть, чистить, скрести, натирать, выбивать пыль, чинить и штопать, в то время как сменяющаяся череда гувернанток учила их французскому, английскому, игре на пианино, скрипке и хорошим манерам. К тому моменту, когда девочки доросли до школьного возраста, они обе свободно могли перескочить через два младших класса, но это, разумеется, было непозволительно. Обучение шло в установленном порядке, который соблюдался неукоснительно.

Итак, в одно темное и холодное утро две маленькие девочки с косичками, в черных шерстяных чулках отправились в школу. За плечами у них болтались большие кожаные ранцы, набитые книгами, — непременная упряжь всех европейских школьников. Женская школа Августы Виктории зловеще темнела в раннем утреннем свете. Лизель толкнула тяжелую железную калитку, взяла сестренку за руку, затянутую в рукавичку, и ввела — себя и ее — в мир ежедневных обязанностей.

В школе Лизель была счастлива. Все, что относилось к обучению, было для нее настоящей радостью. Сестра не разделяла ее счастья, но, привыкшая исполнять приказания, она тоже без проблем вписалась в строгий школьный быт. Обе девочки приносили отличные отметки, как от них и ожидалось. Каждый день, вернувшись домой, девочки в прихожей снимали уличные башмаки и аккуратно убирали их в специальный ящик. Зашнуровав свои домашние башмаки, они мыли руки и переодевались из школьной формы в будничные платья и

фартуки. Минимум два часа работы по дому предшествовали уроку французского, устного и письменного, с приходящей учительницей. Затем — час игры на пианино и на скрипке, за которым следовал питательный ужин, совершавшийся в строжайшей тишине, поскольку разговор считался помехой правильному пищеварению. Английский, устный и письменный, с другой учительницей, венчал их длинный день. Только после того, как мать переплетала им на ночь косы, девочкам предоставлялось право провести по своему усмотрению самые драгоценные полчаса. Лизель всегда хваталась за книжку, а ее сестренка предпочитала гладить длинные атласные ленты разных цветов, которые она собирала, чтобы привязать к мандолине. Каким-то образом Лина выкроила время для игры на этом итальянском инструменте. Она находила его романтическим и мечтала украсить его своей коллекцией. В одной книге она видела картинку: бродячий цыганский мальчик играет на мандолине с хвостом из лент, — и ей очень хотелось стать такой же бродяжкой.

В 1912 году, на Пасху, тетушка Валли сделала Лине тайный подарок — маленький дневник в красном сафьяновом переплете с золотым тиснением. Он был такой изящный — глаз не отвести.

— Записывай сюда свои чувства, — шепнула Лине тетушка. — Ты уже достаточно взрослая для чувств. Помни, всегда хорошо иметь тайного друга, которому можно довериться.

В последующие годы Лина изливала душу на страницах самых разнообразных дневников, но этот первый, получивший имя Ред (Красный), был ее любимым. Иногда она писала на берлинском сленге, уникальном в его сардоническом, хлестком уличном остроумии, даже отдаленно не напоминавшем аристократический высокий штиль, на котором изъяснялись дома. Можно было только удивляться, где она нахваталась жаргона. Хотя недостойная лексика отступала, стоило Лине удариться в романтику, но на протяжении всей ее жизни язык берлинской улицы, затаившись, ждал своего часа, чтобы показать себя. Так, в возрасте десяти с половиной лет, наметилась одна из прочных жизненных привычек младшей дочери Дитрихов.

Катастрофа с «Титаником» в апреле того же года не потрясла Лину, судя по тому, что она не почувствовала необходимости занести в дневник свои впечатления. Лишь два месяца спустя, летом, во время загородной прогулки, в ее жизни произошло нечто, наконец-то заслуживающее записи:

8 июня 1912

Дорогой Редик! Вчера было чудесно! Мы поехали на экскурсию в Саатвинкен с Х. Шульцем. Я сидела у него на коленях. Дорогой дневничок, ты даже представить себе не можешь, как это было приятно!

Тысяча поцелуев,
Твоя Лини

Одним из мест, где любила собираться берлинская молодежь, был главный каток, замечательный своими переливающимися огоньками и духовым оркестром, который играл вальсы Штрауса и модные сентиментальные мелодии: любовь, разлука, тоска и страдания, — любимую музыку Лины.

26 февраля 1913

На катке было чудесно. Я упала, и сразу целая толпа мальчиков бросилась меня поднимать. Прощаюсь с тобой на сегодня, милый Ред.

Тысяча поцелуев,
Твоя Лини

17 января 1914

На катке все время крутили песенку «Все мужчины подлецы». Это, конечно, верно, но за исключением некоторых, например, Лоша, Фати и дяди Вилли — и может быть, еще одного человека с инициалами С.Ф.? Не хочу писать его имя — вдруг кто-нибудь сюда заглянет. Мне пора кончать. Урок скрипки.

Адье, мой Ред,
Твоя Лини

19 января 1914

Сегодня на катке было просто чудесно. А Лизель спросила, неужели я снова пишу всякий вздор про мальчиков. Ишь какая — вздор! Разве, мой милый Ред? Конечно же нет! ***Мы-то с тобой знаем,*** *что* ***она*** *пишет, правда? Лизель такая паинька.*

Целую,
Твоя Лини

Несмотря на безупречное поведение Лины в школе и дома, Йозефина учуяла в своей младшей дочери внутренний бунт. Это ее встревожило, это требовало самого пристального внимания. Лизель наказали сопровождать сестренку повсюду, наблюдать за ней и немедленно сообщать о любом сбое в правилах поведения для благородных девиц, если таковые сбои будут иметь место. Лизель, привыкшей неукоснительно исполнять приказы,

пришлось отложить свои любимые занятия. Она, ненавидевшая коньки — у нее ужасно болели от них слабенькие лодыжки, — каталась по льду с решимостью отчаяния. Пригнув голову, напрягая свое маленькое коренастое тельце, чтобы не потерять равновесие, она бороздила лед, стараясь не упускать из виду Лину, одерживавшую свою очередную победу. Вместо того чтобы читать любимые книжки, Лизель преодолевала, как ей казалось, целые мили из конца в конец катка, пока Лина совершала свой «променад» — так в Берлине называли вечерние выходы для встреч со знакомыми. Куда бы ни направлялась ее киска, Лизель плелась следом — верный сторожевой пес.

30 января 1914

Сегодня в школе я получила «неуд», потому что меня пощекотали, и я засмеялась. Мутти, конечно, прочла мне нотацию про «друзей» Но что я могу поделать, если у меня нет друзей среди девочек? Сегодня я попробовала подружиться с Анной Марией Рихтер на сочинении, но она такая глупая, и ей уже тринадцать. Попробуй заведи подружек в классе, если тебя сажают только с евреями. Мутти говорит, что я должна попроситься сидеть одна… Я уже жду всяких гадостей от детей летом в Брауншвейге — остается только надеяться, что они окажутся хорошими. Сейчас мне надо взять себя как следует в руки. Сегодня Штефи Берлинер сорвала с меня шапку, по крайней мере, шесть раз. Ух, я и разозлилась! Теперь у меня четыре «неуда» и четыре замечания, одно по прилежанию, одно по манерам, одно по опрятности и четыре замечания по поведению! Ужасный ребенок!

Я должна идти спать. Зуб болит.

Адье

Лина подумывала, как бы изменить себе имя. Пока учительница стояла к ней спиной, она на последних страничках тетрадки набрасывала разные варианты. Мари Магдалин — красиво, когда убраны последние буквы. Папино имя, Луис, писалось на французский манер, почему бы и ей не писаться тоже по-французски? Но поскольку всех горничных зовут Мари, вероятно, ее нарочно назвали Мария, с «я» на конце. Своим прекрасным, отработанным почерком она выписала свое полное имя. Сколько же времени это заняло! Она попыталась его сократить: Марилина, Марлина — уже лучше. Может быть, теперь подставить вместо последнего «а» немое французское «е»: Marlene? По-французски это будет звучать *Марлен.* Она написала еще раз: МАРЛЕН — МАРЛЕН ДИТРИХ. Да! Вот это ей в самую пору. Это то, что надо! Она прописала имя еще несколько раз и

закрыла голубую тетрадку, очень довольная собой. В возрасте тринадцати лет она придумала себе имя МАРЛЕН.

1 февраля 1914

Вчера у меня была Отти Рауш. Я думаю, она станет моей подругой. В школе, может быть, будут смеяться. Сегодня я была в настоящем кино. Шикарно!

Гуд бай, милый Ред,

Лини

От Уральских гор до пышно-зеленых холмов Ирландии все и каждый чувствовали особое волшебство лета 1914 года. Пора была поистине золотая, редкостная. Вакации все проводили на морском берегу и на горных курортах. В берлинских уличных кафе не переводилась публика, млевшая под мягким солнцем за стаканчиком прохладного рейнского вина и ледяного лимонада. В парках цвели акации, дети в белых матросках гоняли деревянные обручи, длинные синие ленты на их соломенных шляпах развевались по ветру. В знаменитых садах берлинского зоопарка английские няни устраивали парад своих отороченных кружевом питомцев в колясках на высоких колесах. Дамы с зонтиками и в узорном муслине прогуливали маленьких собачек. Молодые люди катали хорошеньких девушек на лодках по спокойным водам реки Шпрее и верили, что их ожидает блестящее будущее, неизменно красивая жизнь.

В городке под названием Сараево, на границе между Сербией и Австро-Венгерской империей, австрийский крон-принц Франц Фердинанд, завершая официальный визит, подсадил свою жену, Софию, в открытый автомобиль, сел рядом и приказал кортежу трогаться. Заиграл оркестр. Королевская машина медленно двигалась по нарядной улице. Стайка белых голубей кружила в ясном синем небе, как хлопья нечаянного снега.

Вдруг на мостовой метнулась чья-то тень. Некто вскочил на подножку двигающейся машины и выстрелил два раза.

История отметит, что в одиннадцать пятнадцать, прекрасным летним утром 28 июня 1914 года, одним-единым актом политического убийства целое поколение молодых людей было обречено на смерть.

Пока народы Европы еще по инерции наслаждались летним отдыхом, правительства уже решали их судьбу.

28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Цепная реакция пошла по всем альянсам и связям, известным и скрытым. Германия объявила войну России; Германия объявила войну Франции; Британия объявила войну Германии; Сербия объявила

войну Германии; Франция объявила войну Австро-Венгрии; Британия объявила войну Австро-Венгрии; Япония объявила войну Германии; Австрия объявила войну Японии; Австро-Венгрия объявила войну Бельгии; Россия объявила войну Турции; Франция и Британия объявили войну Турции. Позже Италия объявит войну Германии, Турции и Австро-Венгрии. И так далее и так далее. Дойдет черед и до Соединенных Штатов. Первая мировая война началась.

15 августа 1914

Идет война! Ужасно. Фати шестого августа отправился на Западный фронт. Мутти все время плачет. В Харцбурге было хорошо. Учитель танцев — такой душка!

Я думаю, нашу школу закроют. Французских девочек уже нет. Осталось несколько английских. Вчера на уроке скрипки я играла ради победы Германии.

Твоя Лини

Никто не думал, что война продлится дольше, чем лето. В кафе и кофейнях берлинцы называли ее «небольшой войной для разнообразия». К сентябрю это легкомысленное отношение улетучилось.

26 сентября 1914

Война! Фати ранен. Шрапнелью в правую руку. Его отвезли в Брауншвейг. Мутти взяла нас туда с собой. Он лежал в военном госпитале Мы остановились в пансионе Мюллер-Бартенштейна, на Иерусалимской улице, дом 2. Очень прилично. 180 марок за три недели. Уйма денег. Фати был очень мил. Через четыре недели он отбыл в субботу на автомобиле, как какой-нибудь принц. Дядя Отто и Георг получили железные кресты.

9 октября 1914

Дядя Вилли тоже получил железный крест, это потрясающе! Я перешла в третий-М класс. Шапки долой!

Ауфидерзейн,

Лини

9 декабря 1914

И смешно, и печально. У Фати весь батальон завшивел! Мы всей школой вяжем на двух спицах телогрейки. Не хочу идти в старшие классы в другую школу. Боюсь тамошних девочек. Милый Ред, я так скучаю по Фати,

Твоя Лини

В эту первую страшную зиму Великой войны солдаты рыли окопы и на западном, и на восточном фронтах. В немецком и французском языках слово «окопы» имеет тот же корень, что и «копать могилу», — подходящее название для того, что надвигалось.

15 декабря 1914

Дядя Отто убит. Выстрелом в шею 4 декабря. Все плачут. Дяде Отто отстрелило часть черепа.

Лини

3 февраля 1915

Лизель по уши втрескалась в Ханни. Есть такие зверьки под названием обезьяны — моя сестра из их породы. Уф, я так злюсь на Лизель, когда она ***так*** *влюблена. Влюбиться… обручиться… пожениться… Я тоже влюблена?.. Р. ужасно мил.*

Лини

6 марта 1915

Сегодня мы учились делать аппликации. Фиалки на шелке и бумаге, подсолнухи на дереве. Фиалки — для моей чудной, золотой тант Валли ко дню ее рождения. Как мне жаль наш красавец-корабль «Тоголанд»! Только и надежды — что сегодня англичан хорошенько поколотят.

Извечно страдающие дьявольскими наклонностями к химии, 22 апреля 1915 года немцы предприняли свою первую газовую атаку. Весь мир заклеймил это, как акт вандализма, а затем принялся разрабатывать собственные смертоносные смеси. Был изобретен противогаз, ставший привычным снаряжением по обе стороны фронта. Но немцы превзошли сами себя — они получили новый газ, маслянистую смесь, которая не оставалась в воздухе, но оседая, цеплялась за все, на что попадала, а после принималась проедать насквозь: ткань, кожу, живую плоть, мышцы, легкие и так далее. Чтобы отравляющий газ попадал точно в цель, нужны были расчеты температуры, скорости и направления ветра. Из-за этого применение его усложнялось и включало в себя элемент риска. Внезапная перемена ветра могла повернуть смертоносное облако против его же хозяев. Вероятно, поэтому, а не по соображениям совести, химическая война в последующие годы не развернулась во всю мощь.

29 апреля 1915

Поехали забирать дядю Отто. Скоро мы уедем на каникулы в Дессау — наконец-то! Я бы там осталась навсегда. Я думаю, может быть, дядю Отто не убили. Может, это еще не наверняка. Зачем ему надо было умирать?

Теперь дамы приходили в шёнебергский дом не поболтать — поплакаться. Всегда выдержанная, сочувственная, надежная, Йозефина знала, что делать, что сказать, она облегчала их горе, давала им покой, когда это казалось не в человеческих силах. Они приходили, как притихшие вороны. Их черные одежды шуршали по паркету, как осенние листья. Мало-помалу Йозефина брала на себя роль главы семейства. Все женщины верили, что Йозефина Дитрих — самая сильная из них. Возможно, они были правы. Девочки, притаившись на лестничной площадке, смотрели, как их мать выносит гостьям подносы с угощеньем: бутерброды с ливерной колбасой и дымящийся кофе. Она верила, девочки знали, в пользу пищи, как лекарства от горя, она считала физическую поддержку тела необходимой в тяжелые для души минуты. И в самом деле, дамы покидали ее дом несколько приободренные. Глядя на них, Лизель хотелось плакать от сочувствия к этим черным, согбенным в скорби фигурам. Лина, не будучи любительницей беспощадной реальности, предпочитала видеть жизнь под своим углом зрения. Когда только что овдовевшая тетушка Валли приехала к ним погостить, Лина была вне себя от радости.

4 февраля 1916

У нас тант Валли. Как чудесно! Я только что положила на ее кровать сосновую ветку с бумажными розами и стишок, который сама написала:

Я сорвала бы для вас
Прекрасные розы,
Но на дворе зима,
И розы мои из бумаги.
Смотрите на них
И думайте обо мне.
Я люблю вас.

6 февраля 1916

Тант Валли такая душечка! Вчера она была в черном платье с белым воротником и белыми манжетами. Выглядела божественно. Шикарно. И эти черные лакированные туфельки!

Вчера вечером я вовсю расцеловала ее, но мне как будто чего-то не хватает — она-то целует меня только один раз. Я, конечно, счастлива, когда она меня целует — как Грета в Дессау, но ведь она же ***моя тетя.*** *Лизель тоже липнет к ней с поцелуями. Вчера, когда я играла «Ностальгический вальс» Бетховена для нее, она плакала. Мне хотелось бросить скрипку, кинуться к ней и поцелуями стереть ее слезы.*

10 февраля 1916

Тант Валли уехала. Это ужасно. Она дала мне серебряный браслет, который мне не разрешают носить в школу. Вот удача: я подобрала несколько недокуренных сигарет с такими шелковистыми кончиками — они курили с тетей Эмини. Когда она уехала, я села у ее кровати и плакала бесконечно. Даже теперь, делая домашнее задание по математике, я вдруг расплакалась, потому что подумала, как у нас все опять стало тихо.

15 июня 1916

Фати послали на Восточный фронт. Мутти поехала в Вестфалию, чтобы попытаться с ним встретиться. Но они разминулись на пять минут — его поезд ушел. Она ужасно расстроилась. Вчера, когда Мутти еще не было, мы пошли в варьете на ревю. Чуть не умерли со смеху. Фати прислал нам настоящие фотографии. На одной он стоит рядом с офицером по имени Лакнер. Мы теперь играем в «сестер милосердия» у нас наверху. Я, конечно, приставлена сиделкой к Лакнеру, а точнее — к Хансу-Хейнцу фон Лакнеру, подполковнику 92-го пехотного полка, 23-х лет, уроженцу Брауншвейга. В черном платке я выгляжу, как настоящая сестра милосердия, и он мне очень к лицу. Кстати, я больше не схожу с ума по тант Валли. Сейчас я ни по кому не схожу с ума! Через несколько недель мы будем в Харцбурге — вот тогда, может, я и потеряю голову — от кого-нибудь.

Из нового поколения смельчаков, которые впервые в мире в 1914 году перенесли войну в небо, самой живописной личностью был, вероятно, немецкий ас, барон Манфред фон Рихтхофен. Кумир соотечественников, уважаемый даже врагами, он воплотил в себе образ поистине романтического авиатора: «белый шелковый шарф, развевающийся по ветру». В вызывающе-безрассудной манере он покрасил свой фоккеровский моноплан с тремя моторами в ярко-красный цвет, чтобы англичане немедленно замечали его. Неприятель оценил эту браваду, окрестив его Красным Бароном. Совсем мальчишки, пилоты одноместных аэропланов, этих хрупких бумажных змеев,

носились над землей, убивая и погибая сами, — они-то и были самыми славными ребятами Первой в новейшей истории войны и таковыми пребудут впредь, сколько бы войн еще ни было. Единоборство, со времен старинных рыцарей, всегда было окружено ореолом галантного героизма. Только тем фактом, что молодые девушки из хороших семей не читали газет, что еще не изобрели радио и телевидение, можно объяснить отсутствие этой яркой фигуры в девичьих дневниках Лины. Знай она о нем, ей было бы от чего терять голову — как двадцать восемь лет спустя, при виде любого, кто носил на своей форме крылатую эмблему.

Именно тетушка Валли — с маской скорби на бледном лице принесла Йозефине весть о гибели Луиса. Именно она приняла в объятия пораженную этим ударом женщину, она бормотала обычные формулы утешения, надеясь пробиться сквозь лед шока, она отвела Йозефину в спальню, уложила и укрыла большой периной, потому что знала: скоро холод проберет ее до мозга костей. Потом, в притихшем доме, она села дожидаться прихода детей.

В ту ночь Лизель плакала, пока не уснула, сжимая в руке карточку отца. Лина отказалась верить услышанному. Тант Валли не имела права так ужасно лгать о таких серьезных вещах. Она сделала тетушке книксен и отправилась к себе в комнату. Лина не плакала. Дочери бравых солдат никогда не плачут.

За закрытой дверью спальни Йозефина убивалась в полном уединении. Когда она наконец вышла, вдовьи одежды окружали ее, как крылья летучей мыши. Она туго вплела в косы дочерей черные ленты, пришила черные повязки на рукава их школьной формы, вывесила черный креп на большой парадной двери шёнебергского дома. Жизнь в военной Германии пустилась в пляску смерти.

Июнь 1916

Уже все умерли. Сегодня будут хоронить Фати. Мы с утра пошли не в школу, а на Мемориальное кладбище, побыть с Фати. Могилу для него только еще копали. Здесь ужасно скучно — единственный интересный мальчик на променаде — Шмидт.

Лини

Оставшись одна с двумя детьми, Йозефина пришла в полную растерянность. Она знала, что на вдовью пенсию им не прожить. Скоро девочки вырастут из обуви — что тогда? Где она возьмет кожу в военное-то время? Даже если разрезать сапоги Луиса для верховой езды, то где взять денег на сапожника? И еда делалась все скуднее. Продуктовые карточки стали самой большой

ценностью. Йозефина проводила дни в очередях, в надежде выстоять хоть что-то. К зиме 1916 года хлеб пекли из брюквы, мясной рацион составляли кости и требуха; молоко и сыр исчезли из употребления; вместо картошки была репа. Кофе — неотъемлемую часть уклада берлинской жизни — делали из земляных и буковых орехов. «Эрзац» во всем стал сущностью будней. В рабочих кварталах города женщины питались в складчину, устраивали коммунальные кухни, где за сорок пфеннигов каждый мог купить литр жиденького супа на всю семью. В фешенебельных кварталах процветали подпольные рестораны. Тамошние роскошные меню предлагали фазана, сочного гуся, жаркое из свинины с аппетитной корочкой, разнообразие овощей, шоколадные пирожные и множество сортов мороженого. Как всегда, при любой войне, очень богатые пировали, а бедные рылись по помойкам, чтобы прокормить детей.

Когда по осажденному городу пошла гулять инфлюэнца, Йозефина поняла, что пришло время забирать детей и уезжать из Берлина. Распрощаться с домом в Шёнеберге было все равно что снова, на этот раз окончательно, потерять Луиса. Она, так редко позволявшая себе слезы, оплакала все утраченные мечтания своей юности; затем, повернувшись спиной к прошлому, ушла. Ей надо было выполнять свой долг.

Йозефина сняла для своего маленького семейства квартиру в шестидесяти пяти милях к юго-западу от Берлина, в городке под названием Дессау.

Дессау
9 ноября 1916

Я пошла на променад в 6.15. Мне сказали, что Фриц будет там с шести. Мне, как обычно, везет! Я ждала, а он, конечно, даже не показался. Если бы он ко мне подошел, было бы здорово, потому что Мутти не было дома. Мы увиделись позже, на скрипке. Я всегда прихожу на урок, пока он еще не кончил. Если бы только Герберт Хирш ***знал!*** *Он был от меня без ума в Харстбаде. Довольно интересный. Особенно интересно целовался в темном коридоре, за что я на него страшно разозлилась. Ему четырнадцать, а ведет себя, как в семнадцать. Его отец — вздорный старый еврей, так что Мутти даже считала, что это все может быть опасным. Герберт был для меня приятным развлечением в Берлине, но неудобным, потому что он вечно торчал у наших дверей, поджидая, когда я выйду, а мне, конечно, не хотелось, чтобы нас видели вместе. Перед отъездом из Берлина мы повидались. В день отъезда он приехал на велосипеде. Тетя Эльза*

подарила мне розы, а я сделала вид, что они — от поклонника, и сказала ему, что могли бы быть и от него. Он развернулся и уехал на своем велосипеде Надо написать ему, разжечь снова его пыл. Тут у каждой девочки есть поклонник, иначе в Дессау была бы тоска зеленая.

Дессау
6 декабря 1916

Сегодня на променаде мальчишки сдернули с меня шапку и вообще приставали. Так всегда, когда приходит новенькая. Завтра не пойду, мне запрещено гулять три дня подряд. И еще мне велено ложиться спать без четверти девять. Это в пятнадцать-то лет?! Лизель такая «добродетельная» — она никогда не заходит дальше Кавалерской улицы, чтобы не подумали, будто она тоже вышла на променад. Тетя Эмини заболела испанкой, и Мутти ушла за ней ухаживать. А мне надо было навестить тетю Агнес. Когда я пришла к ней, она не нашла ничего лучшего, чем начать распекать меня за все мои грехи. «Зачем я вчера ходила на променад? Кого там видела? Сколько раз прошлась взад и вперед?» А у меня одна радость, если это можно назвать радостью, — погулять вечером полчасика с подружкой, когда уроки сделаны. А теперь и этого нельзя! Ну уж нет! Я все равно выйду!

10 декабря 1916

Сегодня он улыбнулся мне так мило. Он был ранен и поэтому носит цивильное платье Его зовут Ф. Шурике, и он всегда так пристально смотрит на меня. Утром я вижу его в трамвае, а вечером — когда он возвращается, а мы гуляем. Так вот, ***этого*** *я не позволю отнять у меня никому! (Кстати, с тант Валли у меня все кончено).*

Дессау
13 января 1917

Может, я чуть и перехлестываю, но ничего не могу с собой поделать, я люблю его. Всем сердцем. А что самое прекрасное — это что я ему нравлюсь! Иначе зачем бы он смотрел на мое окно всякий раз, как проходит мимо нашего дома? Затем, чтобы узнать, стою ли я там, поджидая его. Глупо, но и приятно — знать, для кого делаешь новую прическу, для кого наряжаешься, даже если он едва это замечает. В конце концов, он — моя первая любовь. До сих пор я ничего не знала о любви. Завтра я увижу тебя на променаде, Фрици. Я увижу — тебя, тебя, тебя, мой ангел, тебя, дивного тебя. Прежде я всегда смеялась, когда «любовь» проходила. Над моей ***первой*** *любовью я никогда не буду смеяться! Надеюсь, Мутти*

не испортит мне все.

16 января 1917

Все кончено. Для него это все ничего не значило. А я-то позволила себе подойти и показать ему, как он мне нравится. Никогда больше не доверюсь такому, как он, такому, которому на все наплевать, которому было просто интересно послушать, что думает о нем молоденькая «школьница». Нет, я слишком хороша для этого! Свои чувства я запомню, но с самим Ф.Ш. все кончено!

Несколько месяцев продолжалась битва под Верденом. Когда резня кончилась, французы недосчитались пятисот сорока двух тысяч человек; потери немцев составили четыреста тридцать четыре тысячи.

4 февраля 1917

У меня был большой скандал с Мутти. Она сказала, что я «вешаюсь» на всех мальчиков и что я на мальчиках помешана. Во-первых, ни на кого я не «вешаюсь», а во-вторых, это просто мои хорошие друзья. Вовсе не обязательно все время в кого-то влюбляться, а даже если и так, то это не значит быть «помешанной на мужчинах»! Некоторые люди всегда видят что-то предосудительное в самых невинных вещах Она сказала: «Если ты будешь думать только о мужчинах, я пошлю тебя в пансион». Пф! Как глупо! Я всегда у нее без вины виноватая, что за жизнь — тоска! Если кто-то поговорит с мальчиком на катке, значит, он уже «помешан на мужчинах»? Нет, это уж слишком!

19 февраля 1917

Я без ума от Улле Бюлова. Детлей Эрнст Ульрих Эрих Отто Вильгельм фон Бюлов. Он так божественно хорош собой. Его мать — еврейка или бывшая еврейка, и поэтому в нем есть что-то такое особенное — особая расовая красота, обаяние и порода! Ко всему, он жутко шикарный! Ему шестнадцать, сначала он на меня не обращал внимания, но теперь обращает.

Даже в Дессау «брюквенная зима» постепенно становилась беспощадной реальностью. Мало-помалу лица женщин, детей и стариков начали приобретать оранжево-желтый оттенок. Исключение составляла Лина. Ее кожа сохраняла свою фарфоровую белизну. Впоследствии она не раз вспоминала эти времена: «Во время войны у нас из еды была только брюква, одна только брюква и ничего больше. У всех пожелтела кожа — у всех, но только не у меня. Забавно? Мне тогда было всего шесть лет»

На самом деле ей было шестнадцать. Марлен роняла годы, как конфетти.

И в ту зиму, когда Эдуард фон Лош предложил руку и сердце молодой вдове Дитрих, Йозефина приняла его предложение со всей признательностью. Эдуард был лучшим другом Дитриха. Она знала и уважала его с того самого дня, когда ее муж впервые привел его к ним в дом — познакомить со своей молодой женой. И Эдуард был единственным из друзей Луиса, который — она это чувствовала — не прощал ему безответственное поведение.

Эдуард по доброте душевной не желал ничего иного, как только заботиться об осиротевшей семье своего друга, защитить ее в наставшие тяжелые времена. Он не требовал, чтобы Йозефина любила его. Ему было довольно самому любить ее.

Клан фон Лош впал в негодование. Они заявили Эдуарду, что Йозефина ему не ровня, и что если он упорствует в своем глупом желании жениться на амбициозной выскочке, то семья не только откажется принимать его жену, но и вообще умывает руки, считая его поступок неблаговидным.

Она была в черном. Церемония венчания Эдуарда и Йозефины прошла скромно, как того требовали положение невесты-вдовы и военное время. Дочери на венчании не присутствовали. Лизель, хотя и продолжала оплакивать своего отца, приняла отчима с искренней любовью. Лина проигнорировала новый брак матери и вела себя так, как будто ничего не произошло. Мать могла сменить имя на фон Лош, ее — навсегда останется Дитрих. В последующие годы ее настоящий отец и фон Лош сольются в ее памяти, утратив характерные для них черты и став одним человеком.

Эдуард перевез свое новое семейство в прекрасный дом, расположенный в одном из самых фешенебельных кварталов Берлина. Теперь каждый день стал напоминать Рождество в миниатюре. На некоторое время им показалось, что война где-то далеко. Иногда по утрам появлялось настоящее молоко и даже целый круг сыра. Чудесным образом возникали маленькие коричневые кулечки с бесценными кофейными зернами. Два-три раза — целые сахарные головы, и был хлеб — хлеб из настоящей муки! Соблазн увидеть Йозефину улыбающейся отправлял Эдуарда на поиски деликатесов, и он радовался, что ему по карману чудовищные цены черного рынка. Однажды перед сном Йозефина нашла живой цветок на своей подушке. Великолепную желтую розу! Розу в военном Берлине? Как Эдуарду удалось достать ее? Вероятно, она стоила целое состояние! Эдуард сиял. Видеть жену счастливой было так сладко. Скоро ему предстояло покинуть ее. Совсем немного времени выпало ему для того, чтобы

дарить ей радость.

Берлин
2 апреля 1917

Наконец-то у меня есть место, где я могу побыть одна. Мне отвели мансардочку над ванной комнатой. Тут большой ковер, розовые занавески и электрическое освещение. По вечерам очень уютно. Я так тоскую по весне, по лету. Хотя у нас такой хороший дом, но только кое-кто выходит из него, чтобы посмотреть, что носят другие, и непременно следит за модой и как бы не ударить в грязь лицом. Ах, как славно было бы лежать на лугу в платье с узким лифом и широкой юбкой, лежать и просто мечтать. Я попросилась у Мутти поехать к тете Тутон. «Нельзя». Если бы я была матерью, я была бы счастлива, если бы мой ребенок веселился, хорошо питался — вместо того, чтобы торчать в Берлине за зубрежкой. Грустно, что я больше не влюблена в Улле Бюлова. То есть как раньше — те чувства были очень-очень приятны.

Целую,
Твоя Лини

Немецкие субмарины бороздили Северную Атлантику в поисках как врага, так и тех, кто придерживался нейтралитета. Выждав сколь возможно долго, Вудро Вильсон объявил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с Германией. Скоро американские солдаты хлынули во Францию, в готовности пройтись маршем под веселые мотивчики Ирвинга Берлина и Джорджа М. Коэна и спасти мир. Почему бы и нет? Поход сулил почет и славу!

На волнистых холмах Шато-Тьери бесконечная череда маленьких белых крестов отметит их путь.

13 апреля 1917

Хоть бы кто-нибудь вскружил мне голову. Сегодня мы получили карточку дяди Макса. Милый, милый дядя Макс. Теперь, когда его цеппелин сбили и он погиб, все думают, какой он был милый. Я думаю, война никогда не кончится. Вот теперь и Америка! Лучше сейчас не буду писать, подожду, пока случится что-нибудь интересное Я жду новую любовь.

17 мая 1917

Весна, а жарко, как летом. Вчера, когда я шла с урока скрипки по Курфюрстендам, за мной увязались два мальчика.

2 июня 1917

Вчера и сегодня я собирала пожертвования на наши подводные лодки. Завтра попытаюсь отделаться. Мы тут живем в такой скукотище. Мутти все время твердит нам, как хорошо мы живем, но она не понимает, что такое ***соль жизни,*** *которой у нас нет.*

Западный фронт протянулся уже на три сотни миль, от побережья Фландрии, близ Дюнкерка, до швейцарской границы, близ города Базеля. Восточный тянулся на тысячу миль — от Балтийского до Черного моря.

18 июня 1917

Я начинаю влюбляться в Маргарет Розендорф из класса Лизель — иначе у меня пусто на сердце. Настолько лучше, когда у тебя кто-то есть — тогда чувствуешь себя такой хорошенькой. Мы ездили на экскурсию в Фаулбауммерн. Там за мной ухаживал один пожилой господин по фамилии Вибет. Я ходила на фильм с Хенни Портен. Я люблю ее. Я наконец-то убедила Мутти переменить Лизель прическу. До сих пор она носила косы на затылке корзиночкой, а теперь сделала пучок с таким особым бантом. Я зачесываю волосы наверх, а по особым случаям выпускаю на шею один локон. Я уже слишком стара для косы.

28 июня 1917

Я так люблю Хенни Портен. Я послала ей открытку, чтобы получить и автограф, но она ведь не знает, кому их дает. Просто расписывается, запечатывает в конверт и готово. Легко и просто. Появились новые открытки: она со своим ребенком. Бедняжка, она еще такая молодая. Княгиня Эдуард лечится в санатории по поводу истерии. Надеюсь, она поправится. Она была очень мила, когда мы познакомились у тант Валли. Мне купили скрипку за две тысячи марок. Звук чистый. Это значит, ***они*** *хотят, чтобы я занималась всерьез? Что ж, практиковаться будет ужасно приятно, я уверена! Я написала стишок про «наши храбрые подводные лодки».*

Настал день, когда Эдуарду надо было отправляться в свой пехотный полк. Он крепко обнял Йозефину. Перемена, произошедшая с ней, радовала его сердце. Она выглядела чудесно в новом летнем платье. Палевое было ей к лицу. Он не хотел вспоминать ее в черном. Он сделал все необходимые приготовления. В случае, если его убьют, она останется обеспеченной и ей не надо будет ни у кого ничего просить. Он поцеловал ее. Она прильнула к нему. «Не уходи — не бросай меня — пожалуйста!» — кричало ее сердце. Она знала, что не должна

произносить этого вслух, не должна обременять его своей тоской.

— Я вернусь. Да, вернусь. К Рождеству. К тому времени война кончится. Ну, мне пора, пиши мне. Каждый день пиши! Я люблю тебя!

Она еще долго одна стояла на перроне, когда его поезд ушел. Потом повернулась и отправилась домой.

Бад-Либенштейн

7 июля 1917

Мы в Либенштейне. Я так мечтала об этом — и что же? Утром мы идем принимать воды, а все оставшееся время приходится помирать со скуки. На этой замечательной природе живут всевозможные несчастные люди. Они приехали сюда вовсе не для развлечений. Куда ни посмотри, каких только нет детей: у кого глаза совсем заплыли, у кого на веках большущие волдыри. Веселенькое место — курорт!

Вчера мы наблюдали, как луна входит в тень земли. Очень красиво.

Хенни Портен прислала мне обратно мою открытку. Большие холодные буквы — ее подпись.

Рядом с нашим отелем что-то строят, рабочие — пленные французы.

В то лето под золотистыми лучами солнца разлагались трупы. Люди, удерживаемые в окопах, как в ловушках, непрерывным тяжелым минометным огнем, не могли подняться и вынести их с поля боя. Крысы пировали, объедаясь как кониной, так и человечиной.

17 июля 1917

Графиня Герсдорф, розовые ножки, мое сердце пылает огнем!

Я умираю от любви к ней, она прекрасна, как ангел, она — мой ангел. Я бы держала ее руку и целовала, целовала, целовала, пока не умру. Она не знает, как велика моя любовь. Она думает, что и мне, и Лизель она просто очень нравится. Но на сей раз это настоящая страсть, глубокая, глубокая любовь. Моя чудная графиня. Она так прекрасна.

Вчера я была с ней в парке. Иногда я чувствую легкое пожатие ее руки. Сегодня я даже не могла завтракать, так я была взволнована, но Айз сказала, что мне надо поесть. Моя чудная обожаемая графиня сказала: «Поди с ней и позавтракай». Она знает, что Мутти велит мне завтракать, я слушаюсь ее, как собака. Я поцеловала ее руку, на ней была мягкая серая лайковая перчатка, она сказала: «Малютка Лини, не станешь же ты

целовать эту грязную перчатку!» Она со мной на «ты» и еще зовет меня Марленхен, как я ее попросила. Она сказала: «Ты хочешь, чтобы мы были подружками, да?» Мы вместе были в Эйзенахе, божественно. Ко дню рождения своего мужа она купила серебряный медальон на длинной цепочке и приказала выгравировать на нем: «Кавалер, граф Харри фон Герсдорф». Она подарила мне цветок клевера, который сорвала сама, она вставила его в серебряную рамочку под стекло. По дороге в Эйзенах поезд въехал в туннель, она взяла меня под руку и положила голову на мое плечо. Я тут же расцеловала ее руки от плеча до кончиков пальцев. Когда мы вынырнули из туннеля, она улыбалась. На обратном пути напротив нас сел молодой офицер. Она сказала: «Граф Визер, не так ли?» Он хотел представиться мне, но графиня сама сказала: «Граф Визер — фрейлен фон Лош».

В следующем туннеле я снова поцеловала ее руки — она стала очень веселой. Потом поезд остановился на полчаса, и она заказала три пива. Мы пили и сплетничали про общих знакомых. Она сказала: «Марленхен, не смей напиваться». Потом они велели мне идти домой с женой викария, чтобы избавиться от меня. Я сказала ей: «Моя дорогая графиня, я вам больше не нужна, да?» Она сказала: «Ну что ты». Но я-то знаю.

Мы пошли на оперетту «Бедный студент». Я сидела рядом с ней. Она была в черном бархате. Как только погасили свет, я шепнула ей: «Моя дорогая графиня, вы совершенно восхитительны». Она ответила: «Тсс! Когда мы пойдем на «Летучую мышь», я буду еще лучше». Двадцать четвертого будет день рождения графини. Надеюсь, мне разрешат надеть мое белое платье.

Хотя Йозефина заказала номера в отеле на весь июль, внезапно она передумала и вернулась с дочерьми в Берлин. Тетушки гадали, что могло произойти, почему она так резко изменила планы на лето, но, разумеется, они были слишком хорошо воспитаны и ни о чем ее не спросили.

Берлин
14 августа 1917

Расставание выло коротким, и мне было больно. Кроме веточки клевера она дала мне аметист в серебряной оправе Я написала для нее стихотворение. Что она о нем подумала, не знаю. Я объяснилась ей в любви и подписалась «Марлен». Если бы она не была замужем, я все сделала бы, чтобы завоевать ее сердце и опередить графа Герсдорфа. Даже сейчас я хотела бы быть им. Я тоскую по ней. Она этого не знает. Она приезжает в сентябре и, может быть, попросит меня сопровождать ее на скачки в качестве

«боя». Вот кем на самом деле я была для ни в Либенштейне. Она не хочет признать, что одинаково обращается с Лизель и со мной. Это нечестно, потому что я обожаю ее, а Лизель нет. Она сказала, что Лизель было позволено целовать только и руку, но не плечо, что это позволено только мне. Но когда графиня дарила Лиз кулон, Лиз все-таки поцеловала ее в плечо, а когда я напомнила графине ее слова, она ответила: «Но что же я могла сделать?» Так что она точно относится к нам одинаково. Как терпелива любовь. Любовь страдает, терпит, надеется. Ее портрет — в моем медальоне. Иногда моя любовь похожа на детскую, хотя она серьезная, как у взрослых. Это такая любовь, какую я могла бы чувствовать к мужчине. Как же ей не стыдно не понимать меня, она думает, это простое увлечение. Я и сама называю это увлечением, но на самом деле все не так просто. Вся ситуация! Увлечение можно легко забыть, но любовь — нет.

Берлин
30 августа 1917

Она прислала открытку два дня назад и с тех пор — ничего. Конечно, так всегда происходит между летними знакомыми, но я все же разочарована. Была ли у меня когда-нибудь по-настоящему счастливая любовь? Когда мы расставались, она сказала: «Марленхен, не плачь!» Как же мне не плакать, если я знаю, что она начинает забывать меня?

На этот раз верховой, прибывший из полка, принес Йозефине весть о смерти ее мужа. В возрасте сорока лет она овдовела во второй раз.

Чрезвычайно бережно вложила она увядшую розу между листами китайской шелковой бумаги, в которую было завернуто палевое платье, и закрыла коробку. Оставив ее на постели, она повернулась и вышла из комнаты. Черная вуаль тронула ее щеку. Со связки на поясе она выбрала нужный ключ и заперла дверь. Она больше никогда не входила в ту комнату и не надевала то палевое платье. Лизель плакала, молилась, чтобы душа Эдуарда попала на небеса. Дневник Лины проигнорировал его смерть.

17 сентября 1917

Моя душа полна Хенни Портен. Вчера Ханне, Хейн и я ходили на фильм «Пленная душа» в Моцартовский театр. Не могу описать, как это было прекрасно — из-за нее, конечно. Она снимает платье, чтобы купаться голой. Показывают только ее плечи, но сбоку можно разглядеть больше. Она чудесна.

Зарядили дожди, как будто не собираясь останавливаться. Выбоины от снарядов, окопы наполнились водой. Землю на полях развезло. Измученные вконец люди, волоча тяжелое снаряжение, падали в липкую грязь и захлебывались насмерть, прежде чем их успевали спасти.

19 октября 1917

Я пошла к ней домой с цветами, но она переехала. Жена швейцара сказала мне ее новый адрес, но было уже поздно и мне вдруг расхотелось. Я должна как следует выучить роль, потому что в школе мы ставим «Гувернантку» Конера. Я — Франциска. Я уверена, что пойду на сцену.

В Венсене французский орудийный расчет расстрелял немецкую шпионку Мата Хари. Тринадцатью годами спустя Лина красиво сыграет в фильме этот драматический момент. В 1917 году, поскольку никто не предъявил претензию на труп этой восхитительной дамы, он попал на стол в анатомический театр. Но этого не было в фильме «Обесчещенная».

27 октября 1917

В воскресенье у нас первая репетиция в костюмах. У меня страх перед сценой. Я играю мужскую роль и буду одета в свои черные спортивные брюки, фрак Мутти для верховой езды и в белую рубашку с кружевом. Когда я буду играть Франциску, надеюсь, она одолжит мне и розовое вечернее платье, оно так хорошо скроено и идет мне, а я должна быть в длинном платье.

4 ноября 1917

Вчера на вечеринке вместо обычных карточек за столом были карточки с цитатами. И мы должны были занять место в соответствии с ними. Я тут же отыскала мою: «Что жизнь без отблеска любви?»

Три дня спустя русская революция, которая назревала годами, стала свершившимся фактом. Большевики захватили власть. Вскоре гражданская война и голод вгонят Россию в полную разруху.

15 ноября 1917

У нас гостят графиня Герсдорф и ее муж Харри. Она делает вид, что не может пережить, что я больше ею не увлечена. Смотрит на меня прямо-таки с тоской и изображает «юного влюбленного». А у меня ***сейчас*** *в медальоне портрет Хенни Портен,*

и вся комната в ее портретах — замена найдена. Она все равно целует меня, когда мы видимся. У нее такой заботливый муж! Сегодня она неважно себя чувствовала, а он за ней ухаживал. В самом деле трогательно. Надеюсь, со мной тоже так будет когда-нибудь.

20 ноября «землеходы» в железной броне атаковали немецкие укрепления под Кабре, и в лексикон войны вошло слово *танк*.

22 ноября 1917

В воскресенье в Моцартовском театре был большой праздник: два фильма с Хенни Портен в главной роли. Я дождалась ее и вручила ей четыре темно-красных гвоздики, которые обошлись мне в четыре марки. Она выглядела абсолютно божественно и наградила меня самым прекрасным на свете рукопожатием. Иногда чувства так меня переполняют, что я должна бежать в магазин и покупать открытку с ней, только чтобы посмотреть на ее прекрасное лицо.

В ту зиму температура упала до минус двадцати двух градусов по Цельсию. Сыпной тиф прошелся по рабочим кварталам города. Вынесенные из домов трупы, которые утром подбирал запряженный лошадьми катафалк, коченели на ступенях.

14 января 1918

Я люблю тебя! Как дивно, что можно это сказать, как дивно это услышать. Такое маленькое словечко, но в этом словечке все счастье, все страдание на свете.

19 января 1918

Я счастлива. Еще вчера я плакала, сегодня смеюсь. Я купила пучок диких фиалок и ландышей. Я стояла напротив ее дома и видела у ворот экипаж. Я думала, что это должен быте ее экипаж, и потому ждала. И правда, вдруг ангел под видом Хенни Портен вышел из ворот. Я протянула ей цветы, и она улыбнулась! В жизни она гораздо красивее, чем в кино.

Немецкая армия выпустила «лицензии на убийство» для солдат на передовой, получивших шок от контузии. Если в припадке безудержной ярости им случалось застрелить кого-то из своих, трибунал им не грозил, их оставляли воевать дальше. В Англии солдатам, отбывавшим с фронта домой в короткий отпуск, не разрешали брать с собой винтовку — их считали

недостаточно уравновешенными.

17 апреля 1918

Через неделю у меня будет конфирмация. Нельзя сказать, чтобы я испытывала какие-то особые чувства. По случаю этого события соберется весь клан Дитрихов. Вот это будет приятно.

На западном фронте французские войска атаковал новый враг — грипп под названием испанка. Немцы использовали это обстоятельство, чтобы усилить наступление. Вот-вот должна была начаться вторая битва при Марне. Немцы располагали пятьюдесятью двумя дивизиями, союзники стояли наготове с тридцатью шестью.

1 июня 1918

Ко мне приходила Эрна Шонбах, и я по глупости дала ей почитать мой дневник. Со всеми моими увлечениями, конечно. Никому раньше его не показывала. Она сказала, что, судя по прочитанному, моя любовь всегда поверхностна, потому что у меня слишком большое сердце Я чуть не заплакала, когда она мне это сказала. Поверхностна?

11 июня 1918

Я пошла на день рождения к Хильде Шперлинг. За первым же стаканом пунша один из ее друзей произнес тост: «За тех, кого мы любим», — и они все подняли свои стаканы и каждый знал, за кого. Только я не знала. Я не знала, кого я люблю. Вчера я была так расстроена и так глупа, что призналась в этом Мутти. У нее обо мне по большей части превратное представление. Она даже велит Лизель следить за мной — провожать до трамвая. Просто хочется нарочно плохо вести себя. Что ж, мне ее не изменить, но и ей не изменить меня.

В результате наступательных операций Германии англичане потеряли четыреста сорок семь тысяч девятьсот двадцать одного человека убитыми, французы — четыреста девяносто тысяч человек. Немцы — вдвое больше того! Враждующие стороны в буквальном смысле слова лишились мужской части населения. Только американцы были еще в состоянии находить замену для своих убитых и раненых. Германия перешла на оборонительные позиции.

В тот период дневник Лины сообщает, что она больна. Внешне болезнь напоминает вспышку ревматической лихорадки, но более вероятно — принимая во внимание ее экзальтированную

романтичность — что она страдала от депрессии, вызванной сексуальной фрустрацией. Теория Фрейда, все еще считавшаяся новомодной, не дошла до почтенного доктора, практикующего в больнице маленького курортного городка в Баварии, так что добрый доктор поставил Лине диагноз в духе Элизабет Баррет Браунинг.

Херцбад Альтхейде
7 июля 1918

Меня уложили в постель, грустно. Доктор сказал, что это сердечная болезнь, что мускулы моего сердца ослабли. Мне не разрешают ходить больше шестидесяти минут в день, и то медленно. Утром я принимаю специальную серную ванну. Потом я должна лежать до полудня, а после еще два часа. В промежутке я могу попить воды. Вот сказочные каникулы, о которых я так долго мечтала. Мне больше не разрешают танцевать. Я начала петь прелестные баварские и австрийские песни, поддерживая струнами мой слабый и тихий голос. Подолгу играю на мандолине и мечтаю. Мутти говорит: «Можешь мечтать, лишь бы голова не была пустая».

Сегодня чудная погода, солнце сияет, а я лежу. Завтра, когда мне можно будет встать, конечно, пойдет дождь!

Мне просто нельзя позволять себе что-то загадывать наперед.

В Германии, потерпевшей сокрушительное поражение, начались беспорядки. К восьмому ноября они вылились в полномасштабную революцию. Забастовки прокатились по всем большим городам. По обе стороны фронта солдаты дезертировали в массовом порядке. Чаша их терпения переполнилась.

Берлин
9 ноября 1918

Почему я должна переживать такие ужасные времена? Я так мечтала о золотой поре юности, а вот как все обернулось!

Мне жалко кайзера и всех прочих. Они говорят, что сегодня ночью произойдет что-то нехорошее. Толпа преследовала людей в экипажах. Мы пригласили нескольких дам на чай, но ни одна из них не смогла добраться до нашего дома. Только графиня Герсдорф добралась. На Курфюрстендам вооруженные солдаты сорвали эполеты у ее мужа, и везде, куда ни посмотри, висят красные флаги. Чего хочет этот народ? Они получили то, чего хотели, разве нет? О, если бы мне немного счастья, все было бы легче перенести. Может быть, скоро настанет время, когда я смогу

опять говорить о счастье — и только о счастье.

11 ноября было объявлено о прекращении военных действий. Великая война, обошедшаяся народам в непомерную цену, официально закончилась. Страны-победительницы мобилизовали сорок два миллиона человек — и потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести двадцать два миллиона. За страны, потерпевшие поражение, сражалось двадцать три миллиона человек, их потери составили пятнадцать миллионов. Одна только Германия пожертвовала семью миллионами своей молодежи. Потери среди гражданского населения — от болезней и голода — никто не учитывал.

Можно было бы счесть, что если мир потерял целое поколение молодых мужчин, то этой жертвой он хотя бы приобрел «безопасность навсегда». Но «навсегда» длилось лишь до тех пор, пока не был составлен и подписан Версальский договор (это длилось семь месяцев), заложивший благодатную основу для прихода Гитлера с его нацистской доктриной. Но все же бьющей в одну точку пропаганде понадобилось созревать двадцать лет, чтобы снова народилось достаточно добровольного пушечного мяса на снабжение новой кампании массовых убийств в ореоле славы. Немцы, потерпевшие поражение, — опасная нация.

Берлин
12 апреля 1919

Почему я так не похожа на Лизель и Мутти? Они обе такие сухие и рассудительные. Я для них — как паршивая овца в семействе. Вчера была премьера в Моцартовском театре. Я предвкушала удовольствие от всего — от музыки, от Хенни, — но Лизель, которая скучает после своих экзаменов, так ныла, что я в конце концов разрешила ей пойти со мной. Чтобы все было «как положено» Мутти тоже пошла с нами! Вот что получается, когда кто-то хочет порадоваться чему-то своему. Мне так хотелось пойти одной. Конечно, я слишком уж навела красоту, и они беспокоились, что я так хорошо выгляжу. Там один человек сказал мне, что я такая хорошенькая, как кукла, которую все время хочется целовать. Уверена, что так же думали те несколько господ, которые провожали меня в ложу. Один господин в возрасте спросил меня, не актриса ли я кино. Когда прибыла Мутти, я тут же стала паинькой и скромницей. Это чудовищно, когда у тебя нет никого, кому можно довериться, кому можно рассказать, что ты чувствуешь, и не услышать в ответ морали, как от Мутти. А она еще говорит, что хочет быть лучшим другом для своих детей.

Интересно, что бы от меня осталось, если бы я ей все сказала. Я тоскую по стольким недоступным вещам — как подросток тоскует по первой школьной любви. Не очень-то приятно все время быть в таком печальном настроении.

2 мая 1919

Я влюблена. Я знаю об этом уже несколько дней, вот только не знала, счастлива ли я на самом деле. Тут я всегда хромаю. Я всегда думаю, чем это обернется. Я даже не могу как следует радоваться приятным минутам, потому что все время говорю себе: зачем даже начинать любить, ведь долго это не продлится, и тогда у меня на сердце будет еще печальнее.

Хотелось бы мне быть более поверхностной. Как было бы чудесно наслаждаться минутой, не думая о будущем. Но я на такое просто не способна, а потому лишь усложняю ему жизнь вместо того, чтобы дать ему счастье на эти несколько мгновений. Почему хотя бы разок меня не полюбит тот, кого мне разрешено любить? Мне сказали, что я не выказываю достаточно гордости, достаточно сдержанности, когда люблю кого-нибудь. Этот дневник — настоящий сентиментальный роман — я пишу его, только когда мне грустно. Но так не должно быть. Может статься, мой дневник снова заговорит о счастье в один прекрасный день. Только я в это не верю. И все-таки: кто знает…

Йозефина, встревоженная на сей раз послевоенным безумием, охватывающим Берлин, арендовала домик в деревне на случай, если придется снова эвакуироваться вместе с дочерьми.

16 июня 1919

Ну, кажется, счастье снова готово броситься в мои объятия, как милое дитя. Я снова влюблена, но на сей раз все по-другому — вернулась одна моя старая привязанность — и это говорит само за себя! Я больше ни о чем не думаю, как бывает обычно, когда я влюблена — и от этого я так счастлива, так спокойна.

Я точно знаю, что он не станет добиваться ничего большего, поэтому мне нечего бояться. Мы — как дети — счастливы просто видеть друг друга, когда встречаемся. Я смотрю на него, и ему этого достаточно. Наконец-то я снова люблю. Мне это было нужно. После него, возможно, будет кто-то еще.

Берлин

19 августа 1919

Мы приехали из Бад-Пирмонта. Я оставила там свое сердце. Не думаю, что когда-нибудь найду кого-то, кого полюблю сразу и за

его внешность, и за его душу, — как того, кому я отдала свое сердце Его зовут Д. Штроман, он из Вестфалии. Мы познакомились на вечеринке и танцевали с часу до четырех — не пропустив ни танца. На другой день он пригласил меня тоже на вечеринку, но меня не пустили, я очень расстроилась. Ему, наверное, скучно с такой особой — потому что я на все отвечаю: «Мне надо спроситься у мамы».

За три дня до нашего отъезда мы снова встретились — повеселиться. И вдруг, посреди веселья, он начинает объясняться мне в любви. Для меня это было ужасно — шутливый тон в вещах, таких для меня важных. Мы расстались, смеясь. Он сказал: «Будешь обо мне думать?» Больше я его не видела. С глаз долой — из сердца вон! Наверное, он получил, мое письмо с приглашением, но, наверное, не приедет. На самом деле я этого и не хочу. На курорте чувствуешь себя посвободнее. Здесь я все время под надзором Мутти, и ему это не понравится. С ним я в первый раз в жизни чувствовала себя, как замужем. С другими мужчинами я никогда об этом не думала, но я должна выбросить это из головы как можно скорее. Гадалка предсказала мне, что я познакомлюсь с кем-то в мое следующее путешествие. Так ли? В Шпрингеберге было семьдесят американцев — они сняли целый ресторан. Шпрингебергцы были шокированы, что мы хотим поговорить с ними. Мутти запретила нам танцевать с ними, но там был один офицер, который не отстал от меня, пока я не согласилась потанцевать с ним. Я как раз танцевала, когда пришла Мутти. Она разговорилась с ними, и там оказался полковник, который знал дядю Вилли, так что не успела я и оглянуться, как уже сидела за столом с тремя милыми офицерами и ела мороженое и шоколадное печенье, которое они привезли с собой. Они попросили у меня адрес и хотели прийти с визитом. К сожалению, их пароход отходил в восемь утра. Интересно, сдержат ли они свое обещание написать мне.

Всюду и везде — нищие. Молодые люди с омертвевшими лицами, глаза без надежды, без следа чувств.

Согбенные силуэты с пустыми штанинами и рукавами; огромные английские булавки — их медали за отвагу. На всех уличных перекрестках всех стран костылями и палками они отбивают ритм одинокого отчаяния. В Англии они продают карандаши. Во Франции — шнурки для ботинок. В Берлине за шарманщиков попрошайничает обезьяна.

17 сентября 1919

Мы совершенно довольны Шпрингебергом. Выезжаем туда по

воскресеньям, возвращаемся в понедельник. Всю неделю только и разговоров, что о «там». Там меня любят, потому что там я все еще в новинку, все еще в моде. Там все сейчас сходят по мне с ума. Эрих Шупп, который когда-то действительно любил меня, Пауль Ботхен, он старше и мужественнее. Я мила с Эрихом, больше из жалости, и не могу выбрать одного из двоих По субботам и воскресеньям я нацеловываюсь на всю неделю. Мне должно быть очень стыдно. Все, кто меня знает, соглашаются с этим, когда я спрашиваю их, что они думают обо мне: я хороша для поцелуев и времяпрепровождения, но жениться на мне — упаси Господи! Вот результат моего поведения — например, того, что я так легко позволяю себя целовать. Конечно, как тут ожидать уважения. Но что поделаешь? Не моя вина, что моя романтическая натура не признает ограничений. Кто знает, как я кончу. Хочется надеяться, что скоро найдется кто-то, кто по доброте своей женится на мне. В городе показывают фильм под названием «Demi-Vierges». Говорят, это типичный случай, когда молодые девушки из так называемого высшего класса, которые рано созревают, хотят испытать дрожь и трепет эротических приключений. Они обольщают мужчину, потом дают ему ***почти*** *все — «Tout, кроме ça». Они играют с огнем, пока в один прекрасный день не сгорают, и тогда смеются. Это в точности описание меня. До сих пор мне все же хватало сил говорить «нет», когда дело доходило до этого момента. Но как продержаться дальше? Они все одинаковы: «Я больше не могу себя контролировать».*

А поскольку мои чувства вызывают ответные, это уже не юношеская любовь. Тот этап пройден. Во всяком случае для меня. Как было бы прекрасно забыть обо всем и любить. Но это, конечно, недопустимо.

Йозефина решила, что она и так слишком долго ждала. Она привела в исполнение свою угрозу и отправила дочь в пансион. Ошибкой ее было выбрать местом ссылки Веймар, самый романтический город, знаменитую родину одного из кумиров Лины, поэта Гете. Сначала казалось, что ссылка возымела над Линой силу контроля.

Веймар
7 октября 1920
Как долго я не писала. Я не живу дома уже шесть месяцев.

Я сейчас в Веймаре, в пансионе для «благородных девиц» и мне очень одиноко. Со мной нет Лизель, и все, кого я так любила, забыли меня. Остается только плакать. У меня тут одна маленькая радость — уроки скрипки с профессором Рейцом. Но

разве этого достаточно? Я так привыкла быть любимой, и вдруг здесь — ничего!

Веймар
8 октября 1920

Хоть бы кто-нибудь пришел и забрал мою тоску, и запер ее в позолоченную клетку. Хоть бы кто-нибудь пришел и сделал меня счастливой своей любовью — такой счастливой, чтобы я забыла все слезы, пролитые из-за всех прежних любовей.

Веймар
10 октября 1920

Я так несчастна, потому что меня никто не любит. А я так привыкла быть любимой.

Мисс Арнольди, директриса, хочет изменить меня по своим меркам, и Мутти, кажется, с этим согласна и этому рада. Поскольку все так трудятся, чтобы изменить меня, надеюсь, что-то из этого выйдет, и Мутти останется довольной.

Совсем немного времени понадобилось для того, чтобы учитель Лины по классу скрипки совершенно подпал под ее чары. Во время частных уроков желание прикоснуться к обворожительной ученице обуревало его настолько, что бедный профессор принужден был держать руки в карманах своего сюртука.

В один из своих ежемесячных визитов Йозефина, почуяв что-то странное в поведении учителя музыки, предложила директрисе перевести ее дочь в класс другого профессора. Хотя и в высшей степени обеспокоенная, директриса решила, что одного разговора с влюбленным профессором будет достаточно.

Веймар
21 октября 1920

Только что у меня был урок скрипки. Мне кажется, что профессор Рейц несколько во мне разочарован. Во всех отношениях? Сначала, когда я играла знакомые вещи, он был очень доволен мною и писал об этом Мутти. Теперь, получая новый материал, я продвигаюсь не так быстро, как раньше. Мутти считает, что ему больше нечему меня учить и я должна перейти к профессору Флейшу. Она ничего в этом не смыслит. Если бы я была другая или если бы я не искала так удовольствий, или если бы я могла делать то, что хочу, может, когда-нибудь из меня что-нибудь и вышло бы. Но так, как сейчас только очень помногу практикуясь — при том, что меня все время отвлекают обязанности по хозяйству и

визиты, — ничего не получится. Может быть, кто-нибудь будет так добр, что женится на мне — тогда я забыла бы о своей музыкальной карьере. Но годами практиковаться, только чтобы играть дома? Как найти силы следовать по такому пути?

Веймар
14 ноября 1920

Приезжала Мутти, и мисс Арнольди пожаловалась ей на мои грехи (флирт) во время концертов. Это неправда! Просто меня замечают везде, куда бы я ни пошла — что я с этим могу поделать? Сейчас я играю сонаты Генделя. Со мной играет Рейц. Если бы нашелся кто-то, кто полюбил бы меня, я была бы ему так благодарна! Я была бы так счастлива, если бы он говорил мне нежные, нежные слова. Мы вышли бы в осень, рука об руку, в золотое время года. Листья горели бы золотом, но — они холодные и серые, и я гуляю совсем одна.

Жду не дождусь Рождества. Еще четыре недели. Будь я счастлива, эти четыре недели пролетели бы незаметно. Мне даже кайзером не хочется быть. Я бы хотела останавливать время по своему желанию — а этого не может и кайзер.

Непонятно почему Лина ни в кого не влюбилась во время рождественских каникул. По возвращении в Веймар, на последний пансионский семестр, ее поджидал влюбленный учитель.

Почему учителя музыки играют такую роль в романах? Одно только совместное исполнение прекрасной музыки не может породить эти неизбежные сцены обольщения. Близость уважаемого мэтра, комната в частном доме, двери которой можно запереть, — все это тоже вносит свой вклад в ситуацию. Итак, настал миг, предназначенный судьбой, когда красивая девушка со скрипкой возложила свою девственность на алтарь Генделевой сонаты. И не из страха, что это откроется, Лина не занесла сие важное событие в свой дневник — а из-за разочарования!

«Он стонал, пыхтел и задыхался. Даже не снял брюки. А я просто лежала на кушетке, обитой красным плюшем; юбки задраны и спине очень жестко. Все вместе очень-очень неудобно», — так она описала дочери свой первый сексуальный опыт лет сорок спустя. В довершение всего фрейлен Дитрих не приняли в музыкальную академию.

Разочарованная Лина вернулась в Берлин, к скуке и безудержной послевоенной инфляции. Лизель, получив университетский диплом, переступила через классовые предрассудки и пошла работать. Ее весьма ощутимое учительское

жалованье стало подарком судьбы. Вопреки воле матери, защищаясь примером Лизель, Лина решила поступить в Театральную академию Рейнхардта. Она решила, что если не может стать знаменитой скрипачкой, то станет «театральной знаменитостью». Для конкурсного прослушивания она выбрала в высшей степени драматический отрывок из «Фауста» — молитву Гретхен Пресвятой Деве. После это стало одной из наиболее часто повторяемых и правдоподобных историй Марлен: у нее-де по завершении длинного монолога так распухли и покраснели колени, что она едва смогла с них подняться, и тут из тьмы зрительного зала «Дойчес-Театра» раздался мужской голос. Сей бестелесный голос якобы сказал: «Фрейлен Дитрих, поднимите юбку. Мы хотим взглянуть на ваши ноги», — от чего молоденькую трагическую актрису просто покоробило. Какая грубость, какой цинизм! Подразумевалось, само собой, что этот голос принадлежал маэстро. Но в действительности великий Рейнхардт никогда не посещал вступительные прослушивания. По легенде Марлен Дитрих — блестящая ученица знаменитого профессора, однако на самом деле она у него не училась. То, что ей удалось выступить во многих мелких ролях в Рейнхардтовских театрах и постановках, особенно в «Дойчес-Театре», верно. Это дало ей желаемую причастность к имени Маэстро, а мировой прессе — основания придать ей статус выпускницы академии Рейнхардта, а не какой-нибудь амбициозной выскочки, пробивающейся в актрисы.

В последующие годы херр доктор Рейнхардт не счел нужным расставить все по своим местам, поскольку довольно скоро его самозваная ученица стала более знаменитой, чем он или его берлинская школа. Благодаря его молчанию, эта история присовокупилась к легенде Марлен.

Она ударилась в работу: пробовалась на все, играла что угодно, не знала усталости, могла выйти служанкой в первом акте какой-нибудь пьесы, метнуться на противоположный конец города и выпорхнуть во втором акте другой пьесы в числе многочисленных «элегантных дам» на вечеринке с коктейлем. Детские занятия балетом и танцем в стиле Айседоры Дункан позволяли ей присоединиться к кордебалету в третьем акте уличного ревю. Ее экстраординарная дисциплинированность, закрепленная воспитанием, помогла ей очень скоро преодолеть неопытность новичка. И вот уже очарованные театральные менеджеры пишут «Марлен Дитрих» во главе афиши.

В этот период развился и ее талант присваивать платья из костюмерных. Если Марлен Дитрих казалось, что она выглядит сногсшибательно в вечернем платье, выданном ей для крошечной

роли приглашенной к обеду гостьи, то она скорее бы повесилась у себя в клозете, чем отдала бы это платье назад в костюмерную. Этаким ноншалантным воровством она намного опередила свое время. До голливудской клептомании, когда актеры стали на съемках присваивать себе все, что не прибито гвоздями, было еще немало лет. Она не гнушалась ничем. Коллекция перчаток для любой роли: для голодной нищенки, продающей спички на углу, у нее была отличная пара дырявых митенок; для проституток — пожалуйста, красные ажурные до локтя, с умеренными прорехами; белая лайковая пара — для великосветских дам; черная лайковая — для жен буржуа. Шарфы и боа любой текстуры, длины и оттенка. Дюжины сумочек — отличное подспорье для мгновенного распознавания статуса и характера их владелицы. А шляпки? Что уж тут говорить о шляпках!

Берлин

К 1922 году Марлен уже привычно колесила вдоль и поперек Берлина, по вызову появляясь абсолютно в любой роли. У нее была энергия, преданность делу, дисциплина и самый большой в городе «арсенал» костюмов. Проникновение этого изобретательного интенданта в юбке с магическим лицом в зарождающийся кинобизнес было только делом времени. Кинокомпании росли вокруг Берлина, как грибы. Любой брошенный сарай мог превратиться в «фабрику грез» В условиях, далеких от роскоши калифорнийского солнечного освещения, любое здание со стеклянной крышей сходило за сокровище. Такие компании, как «УФА», строили огромные застекленные ангары, в изобилии пропускающие свет, столь необходимый для съемок. Поскольку звуковых ограничений не было, в одном ангаре можно было запустить одновременно восемь постановок. Вот отсек, где комик, совершив замысловатое падение, роняет на пол огромную стопку тарелок. По соседству с ним женщина рвет на себе волосы — ее бросил любовник, а десяток ее чад орут в голос. За перегородкой струнный квартет вводит актеров в настроение, нужное для сцены лирической страсти. Рядом с влюбленными попугайчиками бушует снежная буря, воют продрогшие собаки, тогда как за углом ревет толпа, провожая на гильотину Марию Антуанетту, а баварские пейзане пляшут вокруг майского дерева под аккомпанемент восьми аккордеонов, которых никто никогда не услышит. В этом прозрачном ледяном доме, посреди немецкой зимы, суетится сотня зябнущих, одержимых людей, творя из сумасшедшего бедлама ту магию, посмотреть на которую люди будут приходить, чтобы оторваться от своей реальной жизни, — пять центов за место.

В первый раз, когда Лина пошла на «экстренное» распределение ролей, она надела пиратскую шляпу с торчащим кверху фазаньим пером, платье из панбархата, накинула на плечи длиннющую рыжую лису со всеми четырьмя лапами и вставила в глаз отцовский монокль. Она получила роль. Какой режиссер мог упустить такое! Хотя потом они убрали шляпу и дохлое животное, но монокль оставили — в таком виде Марлен и запихнули на балкон для зрителей в сцене судебного заседания. На второй пробе Марлен уже с некоторым презрением относилась к новой среде, сочтя ее довольно-таки вульгарной по сравнению с настоящим театром. Марлен всегда произносила это слово, как будто оно было причастно воскресной пасхальной мессе, которую

служил Папа Римский в соборе Святого Петра.

Прослышав, что для какого-то фильма ищут актрису на маленькую роль «подружки» героя, Марлен решила, что это должна быть дама полусвета, то есть не блистающая девственной чистотой, — и, украсив свое богатое тело умеренно откровенным платьем, надела к нему длинные, ядовито-зеленые перчатки и в тон им туфли на каблуке. На случай, если «подружка» окажется не более, чем «девицей с улицы», она прихватила поношенное боа из своей коллекции. В этом «подружкином» убранстве она стояла среди других претенденток на роль, ожидая, пока помощник режиссера остановит на ком-нибудь свой выбор.

Рудольф Зибер всегда утверждал, что именно эти кричащие зеленые перчатки первым делом бросились ему в глаза, обозначив девушку, которая должна была стать его женой.

«Она была в этом маскараде такая нелепая! Как ребенок, который играет во взрослого! Меня разобрал смех. Но я, конечно, удержался. Я дал ей работу. Даже напялив на себя все это барахло, она в точности подходила на роль Люси».

«Он взглянул на меня, и я не поверила своим глазам! Он был так хорош собой! Светлые волосы блестят, а одет, как английский лорд в своем загородном имении. Какой-то мелкий помреж — и в костюме из настоящего твида? Я сразу поняла, что люблю его! Я сыграла роль той девушки в шифоновом платье — она вовсе не была вульгарной. Яннингс тоже играл в фильме, но мы не встретились — моя роль была слишком мала».

Когда Руди сделал предложение Марлен, она согласилась без колебаний, совершенно уверенная, что наконец-то нашла того, о ком мечтала, того, с кем можно «рука об руку выйти под листопад, в разгар золотого времени года».

Мать была недовольна. Йозефина так надеялась, что ее красавица дочь сделает по-настоящему хорошую партию, но стремительная послевоенная инфляция покончила с вопросом о приданом, строгое соблюдение чистоты крови в аристократических союзах стало такой же частью прошлого, как сам кайзер. Замужество, даже за католиком чешских и австрийских кровей было предпочтительнее, чем безалаберная жизнь среди «цыган». Йозефине все актеры представлялись ворами и бездельниками, играющими на тамбуринах. Если этот человек действительно любит Лину, пусть Бог даст ему силы обуздать ее бурную романтическую натуру. Йозефина решила помогать этому чужаку, избраннику дочери.

Лина хотела прибыть на венчание в великолепную мемориальную церковь кайзера Вильгельма в открытой коляске с упряжкой лошадей. Она представляла себе, как это будет

романтично: ее фата развевается по ветру у всех на виду — пусть знают: едет невеста! Йозефина сказала, что это будет слишком театрально, и наняла для новобрачных вместо коляски большой «паккард»

На голову дочери поверх фаты она длинными шпильками приколола обруч, обвитый миртом. Поцеловала дитя, которое любила больше всего на свете, хотя никогда не выказывала этого. Как прекрасна была ее дочь в модном подвенечном платье, открывающем лишь лодыжки в белых чулках. Луису понравилась бы эта картина. Дочь была так похожа на него. На миг тоска и воспоминания овладели Йозефиной, но она снова замкнула холодом свое сердце и отправила дочь Луиса в замужнюю жизнь.

В безопасной темноте автомобиля Лина сдернула с себя миртовый венок и оборвала все листочки, пока не остался голый обруч. Тогда она снова водрузила его на голову. Она не могла войти в церковь с нетронутым миртом; она утратила это право девственницы на плюшевой кушетке в Веймаре. Улыбаясь, Руди помог ей поправить фату. Вот что удавалось ему лучше всего на протяжении всей его жизни: служить этому пылкому созданию, любить которое стало его трагедией. Лина получила статус фрау Рудольф Зибер 17 мая 1923 года. Ей был двадцать один с половиной год. Ему — двадцать семь.

Берлин
2 июля 1923

Как же давно я сделала здесь последнюю запись? Что я могла написать о своем самом счастливом последнем годе в Веймаре? Я буду вечно благодарна той поре и тем, кто сделал ее такой чудесной для меня.

Я замужем. И мы даже не сфотографировались вместе! Но неважно, есть вещи, которые НИКОГДА не забываются. После Веймара время было довольно скучное. Я забросила скрипку и занялась другой профессией — год в «Дойчес-Театре» и в других. А теперь — покой, насколько это возможно в любви.

Со дня свадьбы я жила только своим мужем, потому что фильмов не было, только театр в зимний сезон. Я очень довольна, ведь я знаю, что он счастлив, и я хочу ребенка. Но пока мы снимаем меблированную квартиру и переехать вскорости в большую возможности нет, это откладывается. Одно я знаю наверняка: ничто не заменит мне ребенка. Но если бы у меня был ребенок, мне пришлось бы жить с Мутти.

В кипучие двадцатые годы Берлин бурлил. Конечно в Чикаго были свои бары, нарушающие сухой закон, женщины легкого

поведения, женщины-вамп и гангстерши, но Содомом и Гоморрой был Берлин. На каждом углу томились проститутки. Их щедро набеленные лица прекрасно сочетались с эротическим убранством. Перья, цепочки, бахрома и хлысты: эти пташки обетованного рая владели улицей. Марлен с друзьями любили, набившись в маленький «родстер» Руди, курсировать по городу в разные часы дня, наслаждаясь бесплатным шоу. Марлен лучше всех наловчилась распознавать на этом плац-параде трансвеститов. Она уверяла, что только они умеют стильно носить непременный пояс с подвязками. Ее фаворитом был блондин, чье личное клеймо составляли белый атласный цилиндр и панталоны с оборками, которыми она особенно восхищалась.

«Сексуальную оторву может сыграть только голубой», — такова была одна из знаменитых ремарок Марлен. Она уже начинала славиться своим острым умом, чувственной раскованностью, бисексуальными наклонностями. И все это — без налета вульгарности. Высокая мерка в послевоенном Берлине, где было дозволено все. Чем более эротично, непристойно и аморально, тем лучше. У Руди был безупречный вкус. И поразительное чутье на то, что хорошо для профессионального имиджа его жены. Он знал, что ей следует играть на вульгарности, не заражаясь ею. Возбуждать и интриговать публику — такую цель он видел для нее. И чтобы при этом не терялась отстраненность истинной аристократки. Не очень-то вникая во все эти тонкости, Марлен приняла его концепцию и делала то, что он ей велел. Вместе с Руди они посещали множество кабаре, где собирались и выступали трансвеститы. Те принимали Марлен, как любящую сестру, часто обращаясь к ней за советом:

— Марленхен, как мне эта помада?

— Как ты думаешь, не надо больше туши на ресницы?

— Посмотри, перчатки не слишком ярковаты для этого платья?

— Что мне делать с этим чертовым боа? Сбросить его, когда я выйду, или волочить за собой?

— Волочи, дорогой! Волочи его! Аппликации из черных атласных лебедей? Нет, нет. Дешевка, душечка, это не для тебя. Тебе нужно носить только красное, пусть это будет твой цвет — красное, как помада! Все-все: туфли, чулки, подвязки. Все! Кстати, скажи Стефану, что нет смысла надевать платье с разрезом до пупа, если он забывает побрить ноги!

Она заказала у портного Руди мужской вечерний костюм для себя. В цилиндре, белом галстуке и фраке она была сногсшибательна, когда танцевала со своими разукрашенными

перьями приятелями. Ее боготворили. Она воплощала в себе все, к чему они стремились, — совершенный образец переступания грани, разделяющей два пола.

Йозефина, наблюдая за дочерью, страдала. Ребенок — вот что было нужно Лине. Да, ребенок. Он вернет ее в дом, сделает примерной женой, заставит забыть буйное помешательство на актерстве. И Йозефина взялась за поиски большой квартиры. Она нашла подходящую на фешенебельной Кайзераллее, всего в нескольких домах от того особняка, который оставил ей Эдуард. Лина должна была получить то, чего она желала.

Марлен Зибер наслаждалась беременностью. Одной было достаточно, но уж зато она вволю вкусила сокровенных чувств и преимуществ, которые давало это положение.

«Любовью больше не занимаемся», — было сказано мужу. Марлен всегда предпочитала накал романтических страстей реальному сексу и терпела его в супружеской жизни, лишь как обязанность. Теперь, под веским предлогом, что это может повредить нерожденному ребенку, она насовсем устранила секс из их брака. Муж, любя ее, соглашался со всем, что она считала нужным. К тому времени, когда он понял, *что* она сделала и почему, было уже слишком поздно что-либо изменить. Хотя они оставались в браке около пятидесяти лет, иногда даже жили под одной крышей, но их физические отношения кончились в тот день, когда Марлен узнала, что носит ребенка. К моменту родов она убедила себя, что этот ребенок — ее собственное творение. Такая вульгарная вещь, как мужская сперма, не могла иметь к этому никакого отношения. Она, и только она, создала себе ребенка по своему образу и подобию. Ребенок принадлежал ей по праву непорочного зачатия.

Домашние роды исключались. Дочь Марлен родилась в первоклассной частной клинике Берлина, при вспоможении знаменитого профессора.

«О, как я страдала! Ему пришлось сделать надрез *там,* чтобы выпустить тебя, — вот отчего у тебя была такая хорошенькая головка», — слышала я с двухлетнего возраста. Память о тяжком испытании родами, об особой красоте только что родившей, изнемогающей матери она прекрасно использовала десять лет спустя в фильме «Красная императрица».

Существует множество версий как относительно обстоятельств моего рождения, так и относительно его даты. Так вот, единственный ребенок Марлен Дитрих родился 13 декабря 1924 года. День и месяц оставались неизменными, но поскольку она изменила год своего рождения, то же произошло и с годом рождения дочери. До 1976 года, до тех пор, пока мой отец не

умер и я не нашла в его бумагах свою метрику, я не знала с уверенностью, сколько мне все-таки лет. Такие мелкие неувязки были частью моего детства. До двенадцати лет я точно не знала, кто мой настоящий отец; подразумевалось, что тот, кого я звала «Папи», — наилучшая кандидатура, но… кто бы закрепил эту уверенность? Была ли я похожа на него?

Сходство ничего не решало, он сам был похож на мою мать, как родной брат, только глаза — карие. Но меня эти несообразности не беспокоили. Моя мать так часто говорила мне, что я — ее и только ее, что кто бы ни оказался моим биологическим отцом, места ему в моей жизни отведено не было.

Со дня моего рождения Марлен и Руди стали Мутти и Папи друг для друга, для их дочери и для большинства близких друзей. Марлен сделала теперь своей главной ролью материнство. Самоотверженность переплеталась с постоянным страхом, что я в любой момент могу заболеть и умереть или, что еще хуже, не дотяну до совершенства. Она кормила меня грудью с таким упорством, что всю свою оставшуюся жизнь я слышала, что это только из-за меня у моей матери обвисшие груди, что она пожертвовала их девичьей упругостью ради моей младенческой алчности. Поскольку впервые меня поставили в известность о моей вине в возрасте двух лет, я потом переживала всякий раз, как видела, сколько неприятностей причиняет матери ее грудь.

К осени 1925 года в Голливуд прибыла Грета Гарбо; старый фельдмаршал фон Хинденбург президентствовал в Германии; Адольф Гитлер опубликовал первое издание «Майн кампф»; «Золотая лихорадка» Чарли Чаплина имела бурный успех, а Марлен Дитрих была более чем готова вернуться к работе.

В начале 1926 года Эрнст Любич оставил берлинские киностудии, решив, что и ему, и Голливуду будет больше пользы от его многочисленных талантов; вышел из печати первый роман Эрнеста Хемингуэя «И встает солнце»; доктор Йозеф Геббельс был назначен лидером берлинского округа от нацистской партии; а Марлен Дитрих вернулась к работе на полный рабочий день. В тот год она снялась в двух фильмах, участвовала в многочисленных пьесах и ревю — на маленьких ролях, иногда просто проходных, — но где бы она ни появлялась, публика не могла отвести от нее глаз. Едва ли осознавая это, она вырастала в берлинскую знаменитость.

18 октября 1926

Невозможно заполнить здесь временной разрыв. Слишком многое произошло за это время. Моему ребенку скоро будет два

года. Я хочу писать самые важные вещи, чтобы потом знать, через что я проходила. Ребенок — единственное, что у меня есть, больше ничего. Мутти все еще очень добра ко мне, и ребенок для нее — счастье. Я постепенно начинаю отплачивать ей за ее любовь — но не более того. Я играю в театре и в фильмах и зарабатываю деньги. Только что перечла этот дневник — о Боже, где тот чудесный избыток чувств, так поглощавший меня? Все прошло! Никто не понимает, что я так привязана к ребенку, потому что никто не знает, что кроме этого, у меня ничего нет. Я, сама по себе, не испытываю ничего, как женщина — ничего, как личность. Мое дитя невероятное, даже чужие люди, не члены нашей семьи, любят ее и тянутся к ней. Ребенок — суть моей жизни. Я думаю, я умру молодой. Надеюсь хотя бы поднять ребенка и хотелось бы жить, пока живет Мутти. И Лизель (с ней не все в порядке. Но тут ничем не поможешь. Я ее очень люблю).

Лизель вышла замуж за «негодного плебея», как обычно называли в семье ее мужа, родила сына, о котором никто никогда не упоминал. Ее жизнь приняла совсем иной оборот, чем у ее обожаемой «киски».

Мне было почти три года, когда мой отец стал разводить на крыше голубей. Я знала, что баба Лош, как я звала мать моей матери, нашла для нас удобную квартиру в одном из лучших районов Берлина и помогает платить за аренду. Вот почему у меня была собственная комната с окном в маленький парк. У моего отца был кабинет, где он спал, моя мать занимала большую спальню в конце темного коридора. Гостиная с массивным буфетом и двенадцатью стульями с высокой спинкой открывалась по воскресеньям, когда моя мать обедала дома. Я была еще слишком мала и не понимала толком, куда она уходила и что делала, но когда моя мать бывала дома, присутствие ее было таким всепроникающим, ее бурная любовь ко мне такой всеобъемлющей, что этого хватало для заполнения пустоты ее отсутствия.

Нянчить меня наняли молоденькую деревенскую девушку. Она была добрая и заботливая. Она мыла и скребла меня и полы, вежливо разговаривала с моим отцом, но распоряжения принимала только от матери, перед которой преклонялась. Звали ее Бекки, и она мне нравилась. Она не целовала меня ежеминутно, не душила меня в объятиях, не запихивала мне в рот насильно лакомые кусочки, не делалась белее мела, когда я чихала, не ужасалась, если мне случалось кашлянуть, и не меряла мне то и дело температуру. Более того, она не рассказывала моей

матери, что я хожу с отцом на крышу кормить голубей. Мне нравилось на крыше — в любое время года это было особенное место. Небо и облака, и голубиное воркованье. У моего отца, человека очень методического, все зерно было рассортировано по банкам с надписями и по маленьким деревянным ящичкам. Я не знала, почему одни птицы получали один сорт зерен, другие — другой, но знала, что отец знает — он был авторитетом в очень многих вещах. Я смирно сидела на своем личном ящике и смотрела, как отец кормит своих товарищей. Цвет неба, я помню, был в точности, как голубиные перья — сизый. Берлинские небеса похожи на стальные.

Почему я никогда не порывалась рассказать моей матери об этих особенных минутах? Это было бы так естественно для трехлетней девочки — желание разделить радость или, по крайней мере, выказать ее. Я часто задумывалась, что заставило меня сделать выбор молчания в таком нежном возрасте? Может быть, я знала, уже тогда, что моей матери будет неприятно, если радость мне доставит кто-то другой, не она. Так что я помалкивала и никогда не спрашивала отца, почему он тоже молчит про крышу, просто испытывала облегчение оттого, что он не проговаривался.

У моего отца было множество вещей, которые меня завораживали. Например, автомобиль о четырех дверцах с брезентовым складным верхом, отделанной деревом приборной доской и мягкими кожаными сиденьями. Шедевр сам по себе, он имел еще и одно умопомрачительное устройство. К приборной доске был прикреплен ящичек, который выдавал, стоило отцу нажать на рычажок, одну сигарету — уже зажженную! Моему отцу никогда не приходилось отрывать глаза от дороги, чтобы рыться в карманах в поисках зажигалки — дымящаяся сигарета сама попадала ему в пальцы! Каким образом это получалось, было, и до сих пор остается, для меня тайной. Каким образом в снедаемой инфляцией Германии мог он позволить себе обзавестись таким чудом — не говоря уже о прилагаемой к чуду элегантной машине — это другая загадка. Но если уж так рассуждать, то тогда откуда у моей матери, играющей мелкие роли за тогдашнюю нелепо малую плату, могло появиться норковое манто? Задолго до того, как Голливуд занял в подобных несоответствиях лидирующее место, для семьи Дитрих-Зибер они были совершенно естественны. С самых ранних лет я наблюдала, как роскошные вещи появляются и исчезают, заменяются на еще более роскошные — и все это без звуков фанфар и без особенного восторга. Никаких тебе: «Смотрите, все: наконец-то! Манто, на которое я копила деньги, которое я так давно хотела… Оно мое!

Разве это не чудо? Давайте отпразднуем!» Моя мать просто появлялась в один прекрасный день в норковом манто, бросала его на стул, откуда оно сползало на пол и так там и валялось, пока она возилась на кухне, готовя обед.

Я всегда знала, что моя мать особенная. Почему — так вопрос не стоял. Просто особенная, и все — как холод зимой и тепло летом. Она управляла чувствами, которые к ней питали люди. Я часто видела в парке маленьких девочек, которые обнимали своих мам, брали их за руку, прижимались к ним. С моей матерью этот номер бы не прошел. Не то чтобы она оттолкнула меня или рассердилась бы, если бы я так поступила. Я просто не смела, пока она не даст позволения. Моя мать была как бы «ее королевское величество». Когда она говорила, все слушали. Когда она двигалась, все смотрели. В трехлетием возрасте я совершенно определенно знала: моя мать не просто мать, нет, — я принадлежу королеве. Как только это уложилось у меня в голове, я стала вполне довольна своей судьбой. Лишь много позже я стала тосковать по настоящей матери, какая есть у нормальных людей.

Мне позволялось поздно ложиться спать, когда моя мать принимала гостей. Взгромоздясь на огромный папин словарь, я сидела за большим обеденным столом, где было мое место, и молча слушала. Колоритные друзья моей матери рассказывали о пьесах, в которых они играли, о кабаре, о ревю и даже пели свои номера из разных шоу, обсуждали работу статистов в кино, последние книжки и музыку: кого они любили, кого нет и почему. Потом, уже в постели, я перебирала в голове услышанное, пытаясь все это понять и запомнить. Моя мать бывала очень довольна мной, когда я запоминала то, что каким-то образом касалось ее. Когда она спрашивала, могу ли я в точности повторить тот или иной разговор, и мне это удавалось, я заслуживала ее одобрение. Все искали одобрения моей матери — это было, как плавное скольжение вперед под парусами. Почему так много людей боялись ее недовольства, я никогда не понимала. Я просто знала, что я — из этих людей.

Осенью 1927 года моя мать уехала в Вену. Ее не было долго. Днем она снималась в двух фильмах, а ночью выступала в пьесе с музыкой и танцами. Мой отец пополнил свою стаю почтовыми голубями. Он показал мне, как привязывать к их тонким лапкам капсулы с записками, и рассказал, как храбро они летали во время войны. Он пообещал, что когда я подрасту, он покажет мне свои медали. Я была польщена. Кое-кто любил говорить о «великой войне» а кое-кто, например, мать моей матери, не позволяла даже упоминать о ней в своем присутствии.

Пока моя мать была в Вене, одна ее подруга часто приходила навестить нас. Ее звали Тамара. Мои отец с матерью звали ее Тами, и только когда за что-то на нее сердились, возвращались к «Тамаре», причем сильно нажимая на все «а» Она выглядела именно так, как, по моим представлениям, должна была выглядеть беженка из России, белая эмигрантка. Высокие славянские скулы, гибкое тело танцовщицы, длинные темные волосы, глубокие карие глаза, как у испуганной лани. Я рисовала себе, как свирепые волки гонятся за ней по сибирской ледяной пустыне — за прекрасной русской аристократкой в отчаянном беге. Иначе я не была бы дочерью Марлен Дитрих! Когда она впервые познакомила нас, Тами присела передо мной на корточки, пожала мне руку и произнесла: «Здравствуй, Марийхен». Ее мягкое произношение с русскими интонациями звучало, как мурлыканье довольного котенка! Я подумала, что она замечательная и даже более того — настоящая. Тами никогда не притворялась, никогда не лгала, никогда не фальшивила, никогда не обманывала. В те первые годы смех еще брызгал из нее, как будто глубоко в ней был скрыт родник счастья. Всю мою юность Тами была моим другом, единственной, кого я любила. Я знала, что мой отец тоже любил ее. Да и как было ее не любить, такую! И Тами, конечно, любила его. Что это приведет ее к смерти, я знать не могла. Если бы знала, наверное, я бы могла спасти ее. Эта мысль преследует меня и по сей день.

Когда моя мать наконец вернулась домой, она привезла с собой большую музыкальную пилу, на которой научилась играть, ставя ее между коленей, и нового друга, своего партнера Вилли Форста. Он потрепал меня по головке, когда я сделала книксен, пожал руку моему отцу, с которым, по видимости, был знаком, остался обедать и оставался потом часто.

Волшебные вечера в нашей гостиной возобновились. Теперь, правда, моя мать была иногда так занята, что не успевала готовить, и ее мать брала дорогое такси, чтобы перевезти к нам свою стряпню всего через несколько домов. Она никогда у нас не оставалась, только выкладывала свою фаршированную капусту, которая была почти так же хороша, как та, что делала моя мать. Вечера, когда отец заходил к знаменитому Кемпински, были моими любимыми. Он приносил домой груду лакомств: колбасы всех сортов, семгу, икру, маринованную селедку, соленые огурчики, русский черный хлеб и целого копченого угря. Прежде чем отрезать мне кусочек, он брал его за голову и за хвост и изображал, что играет на длинной черной флейте. Это так смешило меня, что мне надо было срочно спускаться вниз со своего трона, чтобы вовремя попасть в туалет, чем я, в свою

очередь, смешила свою мать.

В тот год мне пришлось переваривать и запоминать множество новостей. Помню, что какой-то американский джентльмен с немецким именем сел в маленький аэроплан и совершенно один перелетел из Америки, через океан, в Париж, ни разу нигде не остановившись. Потом была новость об одном «еврейском» певце, который мазал лицо черной краской и голос которого *прозвучал* в какой-то кинокартине. Последняя новость вызвала самую оживленную дискуссию за обеденным столом. Если слышать, что говорят актеры, предполагали некоторые, это разрушит драматический эффект кинематографа; а некоторые, и в их числе мой отец, считали, что это «техническое чудо», что теперь все изменится. Комментарий моей матери, с которым, естественно, все согласились, был таков: «Ну, если придет звук — конец игре глазами. Больше никаких лиц, одна глупая болтовня».

К тому времени, как мне исполнилось четыре года, я была знакома со множеством взрослых. Моя мать всегда представляла меня так: «Единственная любовь моей жизни», — что, как я заметила, очень смущало некоторых господ и даже некоторых дам, но моего отца — никогда. Будучи немецким ребенком, я не задавала ненужных вопросов; но мне было не так-то легко уследить за всеми этими взрослыми, которые одну неделю были любимцами моей матери, а на другую исчезали навсегда.

Рихард Таубер пел очень красиво — он оставался с нами довольно долго. Почему-то господин Форст совершенно не любил господина Таубера. Именно тогда моя мать решила вместо них влюбиться в саму песню. Она без конца ставила на свой верный граммофон последнюю пластинку из Америки и до тех пор подпевала ей: «Ты — сливки в моем кофе», — пока мы все не захотели, чтобы она нашла себе другого фаворита. В тот год она имела большой успех в ревю под названием «Это носится в воздухе», написанном Мишей Шполянским. Под занавес каждую ночь звезда Марго Лион и Марлен Дитрих дуэтом исполняли песню в ритме затейливого фокстрота, где высмеивалась преувеличенная, экспансивная женская дружба. Манера, в которой исполнялась песня, не оставляла сомнений в ее лесбийских обертонах.

Чтобы ни у кого не возникло на этот счет никаких сомнений, обе дамы держали в руках по охапке фиалок — отличительного признака «девушек». Я, конечно, не знала, почему все покатываются со смеху, когда моя мать и ее подруга поют нам эту песню за столом, но прослушав ее в сотый раз, я уже могла вполне профессионально исполнять ее сама, вызывая еще больше хохота, чем моя мать. Эта песня стала одним из моих коронных

номеров.

Наши обеды в тот год были приправлены замечательными новостями. В Берлине прошла премьера «Трехгрошовой оперы» Бертольда Брехта и Курта Вайля. Моя мать была в восторге. Она пела мне некоторые зонги оттуда. Я ничего в них не понимала. Но ей они нравились — так же сильно, как не нравились последние хиты из-за океана. «Sonny boy» («Сынок») того же самого прошлогоднего еврейского джентльмена, который иногда пел с черным лицом. В «Makin' Whoopee» («Устраивая кутеж»), она считала, «просто чересчур вульгарные слова». В ту ночь, в постели, я должна была все это обдумать. Во-первых, что подразумевалось под вульгарным? Во-вторых, почему в Америке все должны были петь, вымазав черной краской лица?

Будучи декабрьским ребенком, я взрослела не раньше конца года. Мне это казалось очень неудобным. Когда начался 1929 год, я говорила всем, кто интересовался, что мне уже пять лет.

— Нет, радость моя, тебе только четыре. День твоего рождения был только в прошлом месяце. — Поскольку я никогда не ладила с цифрами, я верила матери на слово. Она-то ведь точно знала, сколько мне лет. То был год Большого Краха и открытия моего «единственного недостатка», как это назвала моя мать.

Об обеих трагедиях она объявила на одном дыхании:

— Папи, ты слышал? Всюду только и разговору — Уолл-стрит рухнула, уж не знаю, что это значит. В Америке *миллионеры* выбрасываются из окна… и доктор сказал, что у ребенка кривые ноги! Я тебе говорила, что там что-то не в порядке!

Мой отец уже был осведомлен о первой драме, о второй — еще нет. Я быстро взглянула на свои ноги. *Мне* они показались совершенно прямыми. Но моя мать была уверена, что я «обречена на уродство». Поэтому последующие два года я спала с корректирующими колодками на ногах. Они отличались немецкой основательностью: вороненая сталь и кожа, и болты, которые завинчивались или ослаблялись гаечным ключом внушительных размеров. Весили они так тяжело, что я не могла во сне ворочаться. Лишь когда моя мать вернулась «настоящей кинозвездой Голливуда», мои ноги наконец-то вызволили из ночного заточения, и выглядели они абсолютно нормально — точно так же, как двумя годами раньше!

Однако — возвращаясь в год двадцать девятый — это все еще было время кандалов. Моя мать завинчивала их вечером, перед тем, как убежать в театр к восьми пятнадцати, и снимала на рассвете, перед тем как убежать на студию. В тот год она снялась в трех фильмах, по-прежнему немых, и играла главную роль в

ночном ревю «Два галстука», которое с успехом шло в Берлинском Театре: песни — на музыку ее друга Шполянского, а история основывалась на комическом противопоставлении двух галстуков-бабочек. Черный обозначал простого официанта, белый — господина из «высшего общества».

Торопливо, как обычно, моя мать поглощала обед. Набив рот картофельным салатом и кусочками сосиски, она пробормотала что-то о том, что сегодня ей надо в театр пораньше, потому что… дальнейшее было заглушено картофельным салатом. Мой отец и я ждали, пока она запьет его пивом.

— Что ты *пыталась* сказать, Мутти? — спросил отец с подчеркнутой вежливостью, которая обозначала у него некоторое раздражение.

Она запихала в рот корку ржаного хлеба и проворковала нечто, напоминавшее человеческое имя.

— Мы с ребенком подождем, пока ты перестанешь жевать.

— Я сказала, — начала моя мать, отчетливо выговаривая каждое слово, — что-очень-важный-американский-режиссер-который-собирается-снимать-Эмиля-Яннингса-в-звуковом-фильме-на-«УФА»-как-будто-бы-ожидается-сегодня-в-театре.

Мой отец не любил экивоков — он хотел, чтобы информация была точной и ясной.

— Ну и что?

Моя мать убирала со стола.

— А *мне-то* откуда знать? Говорят, он по всему Берлину ищет шлюху для картины… может, он подумал…

— Про тебя? — Мой отец улыбнулся, отрезав себе еще кусок сыра.

Раздраженная тем, что он никак не кончит есть, мать вернула ему хлеб и масленку.

— Не глупи. Что, ты не можешь представить меня в роли дешевой шлюхи в каком-нибудь…

— Могу.

Мать бросила на него взгляд, подхватила меня со стула: это был час надевания кандалов. Мой отец спокойно кончил ужин в одиночестве, запивая «Липтауэр» вином.

— Когда придет Тами, пусть взглянет на ребенка, я ее уложила, — услышала я голос моей матери, когда она в прихожей надевала пальто.

Тами? Чудесно! Теперь мне есть для чего не спать! Голос моего отца донесся из гостиной:

— Мутти, ты перечитывала недавно Генриха Манна?

— Ты о чем? — В голосе моей матери была теперь неподдельная досада. — «Учитель Гнус»? Кошмарная книга. Как этот фон Штернберг — какое *«фон»* может быть у еврея? Ну все равно, Яннингс, как всегда, будет переигрывать, а при звуке — тем более! Нет! Впечатление может быть только гнетущим. Как от фильмов Фрица Ланга… Я опаздываю — целую — вы с Тами заберете меня после театра?

Она уже спускалась по лестнице, голос доносился, как эхо. Отец крикнул ей вслед:

— Заберем… Мутти! Держись сегодня понезависимее в твоей большой сцене. Сегодня все будут заискивать перед американской знаменитостью. Если ты сделаешь вид, что тебе все равно, это тебя выделит.

— Вот еще!

Дверь захлопнулась. Она вступила на свой путь.

Обстоятельства первой встречи этих двух титанов в истории кинематографа так часто и столькими доброхотами анатомировались, подтасовывались и приукрашались, что никто уже не отыщет сквозь лабиринт слов пути к абсолютной правде. Даже сами главные персонажи этого спектакля, каждый в своей автобиографии, не обошлись без прикрас, живописуя, как все произошло. Не могу присягнуть за Джозефа фон Штернберга, но в отношении Марлен Дитрих скажу твердо, что на протяжении шестидесяти лет ее версии менялись при каждом пересказе и что в глубокой старости она все еще подправляла и перекраивала те две встречи, оттачивая мизансцены.

Я слышала, как это произошло на самом деле — до того, как оно было переиначено газетчиками, светскими хроникерами, рекламными агентами киностудий, университетскими учеными и вообще всеми, кто хотел быть частью легенды.

Спор о том, что надеть на первую встречу с Важным Американским Режиссером, занял целый обед. Моя мать считала, что лучше всего подойдет ее классический наряд «портовой шлюхи». Отец настаивал, чтобы она оделась, как леди.

— Ты хочешь, чтобы я выглядела как только-только из пансиона для благородных девиц? — язвительно спросила моя мать.

— Именно! — ответил отец с полнейшей невозмутимостью, — знак того, что он рассержен не на шутку.

— Ты, верно, спятил! Эта Аулу-Аулу или Лола-Лола, или Хупси-Пупси — не знаю уж, как он ее обзовет — дешевая девка! Я знаю от Марго, что на «УФА» кто-то сказал — она сама слышала, — что я как раз для этой роли, потому что уже «набрала колорита» И после этого мне надевать строгий костюм с белыми

манжетами? Смех!

Марлен Дитрих прибыла на первую назначенную ей Джозефом фон Штернбергом встречу на «УФА» в своем лучшем костюме и в белых лайковых перчатках, позволив себе лишь небольшую вольность в виде двух свисающих с плеч чернобурок. Вернулась она в ярости.

— Папи! Ты только послушай, как все было! Эмиль Яннингс и еще какой-то тип заглянули в офис посмотреть, кого принимает герр режиссер. Поглазели на меня и говорят: «Встань, пройдись туда-сюда»… Как будто я им лошадь! А этот Джозеф фон Штернберг, — она выделила *«фон»* коротким смешком, — *он-то очень* умный человек, не то что некоторые. Когда те два подонка вышли, он чуть ли не принес мне извинения… Мило? И *все равно* он хочет сделать пробу. Даже после того, как я сказала ему про свою жуткую нефотогеничность и что нос у меня задирается кверху вроде утиного клюва, и что пусть ему покажут те кошмарные фильмы, где я снималась…

— Ты ему так и сказала? — отец недоверчиво качал головой.

— Сказала, а что? Пусть сразу увидит, что они из меня делают на пленке… пусть знает!

Фон Штернберг уже знал: он нашел женщину, которую искал. Тем не менее пробу он устроил. В *тот* день она вернулась со студии совершенно очарованная.

— Нет, это чудный человек! Блестящий! А какой душка!.. Знаешь, что он сегодня сделал? Он сам заколол булавками это жуткое платье, которое на меня напялили в гардеробной. Сам возился с булавками. *Важный* режиссер! Потом он объяснил им, что делать с моими кошмарными волосами. Я сказала ему, что они всегда выглядят так, будто их только что вылизала кошка, но он даже не слушал. Он, Папи, все знает! Он может показать каждому, как ему делать свою работу… Представляешь? Поразительный человек. Никакого тебе *большого важного обсуждения,* никакой болтовни, как у других… Он *просто знает*. Ты, конечно, как всегда был прав — мне пришлось на пробе петь. Он сказал: «Что вы знаете на английском?» Папи — на английском! Ну… я и выдала «Сливки в моем кофе». Но это ведь не *вульгарная* песня, так что мне пришлось постараться сделать ее под дешевенькую субретку. Аккомпаниатор плохо знал мелодию, я разозлилась — а этому фон Штернбергу только того и надо! Он мне велел петь дальше, а когда тот будет сбиваться, орать на него. Я так и сделала. Потом я села на крышку рояля, скрестила ноги и спела «Wenn Man Auseinander Geht». Это пара пустяков, вот первая — кошмар!.. Ладно, кое-как мы ее одолели. И ты только

послушай: это фон Штернберг говорит, что он хочет сделать «Голубого ангела» на английском. Сразу на немецком и на английском! Они там на «УФА» не сделали еще ни одной звуковой картины, а уже хотят снимать сразу на двух языках! Хорошо, что меня там не будет!

Роль была ее еще до пробы, но она этого не знала.

Преодолев сопротивление руководства, Штернберг вынудил «УФА» подписать с Марлен Дитрих контракт на исполнение главной женской роли в «Голубом ангеле», первой в Германии полнометражной звуковой картине. Ее гонорар: пять тысяч долларов. Мой отец и друзья Марлен ликовали. Лилось шампанское, а моя мать смотрела на них, как на сумасшедших.

— Вы что, вы все думаете, что это будет легко. Ха! Неббиш! (ее любимое выражение на идише, выражающее сарказм и обозначающее у нее все что угодно, от «подумаешь» и «ну и что?» до «уж конечно», «еще бы» и «ври больше»). Она же портовая шлюха! Как я потом буду смотреть людям в глаза? А что, если этому Штернбергу взбредет в голову показывать голые сиси? Что мне тогда делать? А? Конечно, о *такой* возможности никто из вас не подумал!

Она метнулась на кухню принести моему отцу горчицу и еще салата из огурцов.

Меня расстроила ее выходка. Мне казалось, она зла на всех и вся. Но отец только улыбнулся и не перестал есть свои сочные колбаски, как будто все было в порядке. Я уже усвоила, что он обычно прав в оценке настроений моей матери, поэтому я последовала его примеру и стала доедать обед. К тому времени, как наша «бунтующая» звезда вернулась с кухни, кто-то за столом упомянул о новой книге, «Прощай, оружие», а кто-то еще сказал, что Викки Баум написала «Гранд-отель» Моя мать завелась: как она ненавидит Баум, зато этот Хемингуэй — просто мечта, раз он так пишет; и таким образом тема дискуссии переменилась. По-моему, в тот вечер наших гостей больше всего взволновала последняя новость о целой банде гангстеров, которых перебили в день какого-то святого в городе под названием Чикаго, — кроме, конечно, новости о превращении моей матери в «портовую шлюху».

К тому дню, когда Джозеф фон Штернберг впервые пришел к нам на обед, я уже была столько о нем наслышана, что не могла дождаться встречи с этим «важным американским режиссером, которому не положено «фон»» Когда передо мной появился приземистый маленький человечек с густыми висячими усами и самыми печальными, какие я когда-либо видела, глазами, я была несколько разочарована. Кроме длинного пальто из верблюжьей

шерсти, гетр и элегантной трости, ничего важного в нем не было. Разве что голос. Голос был чудесный, глубокий и мягкий — как бархат. Он прекрасно говорил по-немецки с легким австрийским акцентом.

Меня представили, я сделала книксен и стала ждать, как меня учили, чтобы он первым подал мне руку, разрешая ее пожать. Ничего подобного не произошло! Я ждала в полнейшем замешательстве, не зная, что делать.

— Джо, — сказал отец, — вспомни, ты в Германии. Ребенок ждет, когда вы обменяетесь рукопожатием.

Маленький человечек, кажется, смутился. С улыбкой он быстро пожал мне руку. Я решила, что взрослый, который может так смешаться перед ребенком, должен быть хорошим.

Я всегда думала о фон Штернберге в таком духе: что он человек уязвимый, неуверенный в себе, стеснительный. Он тратил массу энергии, чтобы притвориться своей противоположностью, попытаться скрыть то, что считал своей слабостью. Очень многие кончили тем, что возненавидели этого одинокого, талантливого коротышку, совершенно уверенные, что он — чудовище. Им просто застилал глаза их собственный мелочный эгоизм. Но — возвращаюсь в двадцать девятый год — тогда я детским чутьем, не умея еще анализировать, поняла, что этот человек — добрый, что его не надо бояться, что бы кто о нем ни говорил.

Теперь за обедом стал собираться только самый близкий семейный круг: моя мать, ее режиссер, мой отец, Тами и я, впитывающая все, как губка. Наша единственная тема: фильм, их фильм. Сначала фон Штернбергу было как будто бы немного не по себе от постоянного присутствия четырехлетнего ребенка, но когда он понял, что я не собираюсь мешать никому детской болтовней, он перестал удивляться и принял меня, а через некоторое время, как и все остальные, вообще забывал, что я тоже существую. Поскольку моя мать и фон Штернберг всегда говорили между собой по-немецки, для меня не было языкового барьера.

В тот период их относительно недавнего знакомства моя мать вела себя так, как если бы он был Бог. Как если бы даже его пальто обладало магической силой, она гладила его, прежде чем собственноручно повесить в стенной шкаф в прихожей. Она вызнала его вкусы и готовила только то, что он любил, подавая ему за столом первому, даже раньше, чем моему отцу, который, казалось, полностью соглашался с такой градацией в обращении. Пока Тами убирала со стола и вообще следила, чтобы никого не обошли вниманием, моя мать сидела неподвижно, как в трансе, вся превратившись в слух. Фон Штернберг чрезвычайно серьезно,

со страстью относился к фильму, который снимал.

— Я хочу сразу дать звук. Сразу же затопить им публику. Обрушить на нее сырой, необработанный звук: шумы раннего утра… тяжелые колеса на булыжной мостовой… лай собак… стук массивной посуды для завтрака. Поет канарейка. Учитель держит канарейку? Да! Учитель держит канарейку! Да! Звук! Звук! Какое точное слово в немецком для звука: «кланг»! Куда как лучше, чем наш «саунд»! «Кланг-фильм» КЛАНГ, — произнес он смачно. — Вы чувствуете, как оно вибрирует? Мы должны его слушаться! С первой минуты зал надо наводнить звуком, пусть публика примет его как условие немедля, она должна научиться слушать, сосредотачиваться на диалоге «поверх кланга».

Не скажу за других, но у меня мурашки бежали по спине. Какой чудесный коротышка! Внезапно уняв свой пыл, он повернулся к моей матери:

— Будь на студии в одиннадцать, завтра. С тобой хочет встретиться художник. Я видел некоторые наброски костюмов, вполне о'кей.

Моя мать только молча кивнула, она не сводила с него обожающего взгляда. Слово «о'кей» уже вошло в наш будничный лексикон. Мне оно нравилось, от него было так весело!

Хлопнула входная дверь. «Никогда!» Моя мать ворвалась на кухню. «Папи, ты где?»

Я знала, где он, но она была в такой ярости, что я не осмелилась сказать. Я знала, как она ненавидит этих его голубей, поэтому смолчала.

— Папи-и-и! Где ты, черт побери? Неужели *опять* на крыше?

В гневе что-то бормоча себе под нос, она сунула мне сумочку и перчатки. Я побежала класть их на место. Для таких заданий я подходила и всегда выполняла их правильно, в точности так, как хотела моя мать. Когда я вернулась, она стояла на табуретке и кричала в кухонное окно:

— Папи! Если ты там, спускайся немедленно! У меня неприятности!

Отец холодно откликнулся сверху:

— Мутти, тебя слышат соседи, ты звучишь, как торговка рыбой.

— О, Папи, пожалуйста, пожалуйста, спустись… — ее голос упал на две октавы. — Ты мне нужен. Все идет вкривь и вкось. Я не знаю, что мне делать. Папи, прошу тебя, спускайся, — умоляла она.

Мой отец, сделав ей внушение, пришел на помощь.

— Ты не можешь себе представить, во что они хотят меня

одеть. Я даже описать не могу, это такой… такой кошмар! И, конечно, не при ребенке!

Значит, мне велят уйти как раз тогда, когда все становится таким интересным? Я надеялась, что нет!

— Неужели это *так* вульгарно? — заметил отец, открывая дверь из прихожей в ванную.

Моя мать следовала за ним по пятам, я — за ней.

— Да не в том дело, Папи. Конечно, вульгарно, так оно и *должно быть*! Просто все по-идиотски! Идиотский вид — неинтересно, скучно, не на чем остановиться глазу. Без изюминки! Тощища!

Как хирург, готовящийся к операции, мой отец вымыл руки своим особым английским глицериновым мылом. Молча вытер их, спустил французские манжеты ворсистой блузы, застегнул их золотыми запонками, выдержал значительную, паузу и сказал:

— Я поговорю с Джо. Он просто тебя еще не знает. Не беспокойся.

Моя мать с облегчением перевела дух, бросила свое меховое манто на сиденье унитаза и пошла на кухню резать лук для готовки. В тот вечер Тами приготовила свой замечательный бефстроганов. Мистеру фон Штернбергу он нравился. После пудинга из красной смородины с ванильным кремом моя мать обвила Тами за худенькие плечи и вывела ее из столовой, закрыв за собой раздвижные дубовые двери. Про меня забыли, я осталась с двумя джентльменами. Мой отец щелкнул крышкой золотого портсигара, предложил фон Штернбергу сигарету, сам взял тоже, зажег обе зажигалкой «Данхилл» и начал:

— Джо, ты еще не выбрал время посмотреть город?

— Выбрал. Достаточно, чтобы не тратить больше энергию… Я благодарю Бога, Руди, за Эриха Поммера. Без него ничего бы не вышло… Будь у нас такие продюсеры, как он, какие фильмы мы бы делали! У него есть и вкус, и понимание, что такое процесс творчества. Редкость в нашем бизнесе.

— Джо, — сказал мой отец, стряхивая пепел сигареты в большую стеклянную пепельницу, — *именно об этом* я и хотел с тобой поговорить — о процессе, процессе творчества; воздействие образом, даже при звуке, — оно все еще ядро нашей профессии…

— Ядро? Да это ее жизненные соки! Вне образа ничего нет. Глаз видит задолго до того, как начинает слышать ухо.

— Джо, ты не думал о том, чтобы дать Марлен возможность *творить,* — он слегка нажал на это слово, — свои собственные костюмы? — Фон Штернберг поднял бровь, но ничего не сказал. — У нее профессиональный нюх на то, что уместно, что нет. Безошибочный. Я свидетель: он ее никогда не подводил. Ей

стоит только понять характер.

Попробуй: увидишь, с чем она к тебе придет. Пусть подберет все сама.

Фон Штернберг покурил в молчании, потом кивнул. Мне не терпелось увидеть, какой наряд состряпает моя мать. Я надеялась, его не сочтут слишком «вульгарным для глаз ребенка».

Она пришла в экстаз. День за днем Тами, Бекки и я получали указания, где искать — в стенных шкафах, по комодам, по старым шляпным коробкам, в обветшалых чемоданах, пыльных дорожных сундуках — искать давно забытые сокровища. Наша квартира приобрела вид обширной барахолки. Моя мать нашла пояс с огромной пряжкой из фальшивого бриллианта и зашлась от восторга. Поношенное кимоно вызвало взрыв ликования. «Красота! Красота!» — приговаривала она, роясь в тоннах тряпья, от которого отказалась бы даже Армия Спасения.

— Мне нужен воротник, старенький атласный, по возможности, и *грязно-белый.* Всем искать старые воротники! В том кошмарном ревю, помнишь, Тами? В том жутком номере с кордебалетом — не помнишь, нам навязывали на руки какие-то штуки из блестящей ткани… не помнишь? Какие-то безобразные манжетки — я их сохранила, но *где*? Может, вон в той шляпной коробке — я ее забрала из театра после «Бродвея».

Не успел отец вступить на порог, как она схватила его за руку.

— Не снимай шляпу! Едем смотреть на *шлюх*! Помнишь того, что всегда носил, кроме подвязок, белый атласный цилиндр? Мы должны найти его, мне нужны его панталоны.

Она уже тащила отца вниз по лестнице, не желая терять ни минуты — «Капризная Лола» вот-вот обретет свой облик.

О, как бы я хотела увидеть выражение лица фон Штернберга, когда Дитрих впервые представила ему свою концепцию его Лолы. Наверняка он удивился, может быть, даже чуть испугался, но он знал, что уместно, что нет. Тут он не ошибался. Хорошо, что при сем не присутствовал Яннингс — тогда бы он скорее разгадал, что «Голубой ангел» — это уже не его звездный путь, — и попытался бы что-то предпринять. Так или иначе, моя мать вернулась от фон Штернберга со словами:

— Он только взглянул на меня своими барочными глазами и знаете, что он сказал?

Мы все ждали, затаив дыхание. Она искусно подержала нас в подвешенном состоянии, потом, улыбнувшись, произнесла с триумфом:

— Он сказал: «Марленхен», — он назвал меня Марленхен! — «Чудо — чудо, просто чудо!»

Мы все бросились обнимать друг друга: она победила! В ту ночь моему отцу пришлось повозить ее по всем берлинским погребкам, чтобы она высмотрела побольше деталей «профессиональной» одежды.

Появился еще один новый бог — еще один маленький человечек. На сей раз без усов и без «фон», и глаза у него никогда не были печальные. В тот год я видела его не слишком часто — моя мать работала с ним главным образом на студии, — но слышала я о нем и о его музыке постоянно.

— Папи, никто, даже Шполи не мог бы написать эти песни. Каждый день я делаю новый дубль с песней. А слова! Как они у него получаются! Прелесть!

Она спела песню о том, что она, Лола, примадонна сезона, которую любят мужчины, у которой есть пианола, которую она никому не разрешает трогать. Это был ударный номер — мне понравилось.

— Папи, ты знаешь, что подразумевается под пи-а-но-лой? — со смехом проговорила моя мать. — Так вульгарно — и прямо в точку. Папи, он гений, это Холлендер. Для «Голубого ангела» он — добрый гений. Послушай-ка вот это — он сегодня бренчал-бренчал на пианино, прикидывал то так, то эдак — это моя любимая в фильме!

И снова — будто бы загудели медные трубы, зазвенели тарелки. Расставив ноги, руки на бедрах, она запела: она собиралась пойти и найти себе мужчину, который умел бы и хотел целоваться. Того, в ком есть огонь и кто знает, что с ним делать.

— Но вот другая, — про то, что все кого-то любят, «мотылек летит на огонек» и «что мне делать — все меня хотят» — это кошмар, а не песня. Слава Богу, когда кончится «Голубой ангел», мне в жизни не придется ее больше петь!

Теперь утро наступало как никогда рано. На улице было еще темно, а моя мать уже включала везде свет, откидывала с меня одеяло, развинчивала кандалы, запихивала меня в одежки, нахлобучивала на голову шерстяную шапку, ускоренным маршем волокла вниз по лестнице, за большую стеклянную дверь, на морозный воздух, по молчаливой улице к бабушкиному дому. Звук колокольчика отдавался глубоко в его недрах. Моя бабушка открывала массивную дверь, в тусклом свете вырисовывалась ее внушительная фигура, в этот предрассветный час полностью одетая, застегнутая, причесанная.

— Доброе утро, Лина, ты опоздала! — Моя мать подталкивала меня вперед, а бабушка принимала. Со вздохом

смирения, но с укоризной во взгляде она говорила:

— Ну, иди, Лина… иди на свою… работу. — Она несколько неуверенно выговаривала последнее слово, как будто хотела подобрать какое-то получше для обозначения рода деятельности моей матери. — Твой ребенок будет под присмотром. — И с прощальным кивком закрывала дверь.

Я не знала, почему моя бабушка была недовольна и почему моя мать всегда уходила, оробев, без единого слова. Но зато я знала, что говорить об этом не следует.

Первым делом я засовывала шапку и перчатки в карманы зимнего пальто, потом аккуратно вешала его на крючок, специально прибитый для меня, после чего полагалось снять ботинки. «Ботинки вносят в дом уличную грязь», любила повторять бабушка. Со шнурками приходилось повозиться — я дергала изо всех сил, так туго они были затянуты. «У аристократов лодыжки тонкие, это у крестьян они толстые», — часто слышала я от своей матери. И каждый раз, когда она шнуровала на мне высокие ботиночки, я думала, что у меня-то лодыжки крестьянские, потому что она затягивала их шнурками, как в корсет. Потом бабушка помогала мне надеть глухой фартук, застегивая его сзади, где я не могла достать. Крадучись, тихо, как кошка, в толстых войлочных туфлях, я шла за хозяйкой дома тщательно «мыть руки с улицы», перед тем как попасть в теплую кухню, где на большой чугунной плите дымился в ожидании меня завтрак.

Мать моей матери придерживалась строгих правил в очень многих вопросах, но я знала: если ее слушаться и делать все по ее, она будет благосклонна и даже добра. Пока моя мать блистала в панталончиках с оборочками и в поясе с подвязками, оседлав стул, я, взгромоздясь на высокий кухонный табурет, училась правильно чистить картошку, прополаскивать уксусом стекло — для блеска, окунать в кипяток цыплят, чтобы их легче было ощипывать; я училась защищать от моли турецкие ковры, натирая их с помощью щетки свежезаквашенной капустой, которая к тому же прекрасно восстанавливала их цвет. Это был мой любимый урок из курса «как стать хорошей женой». Ползая на коленях с тяжелой щеткой, я время от времени ухватывала из бочонка щепоть пряной капусты и с наслаждением жевала ее во время работы.

Бабушкин дом был такой тёмный, такой пустой, что в нем спокойно могли водиться привидения. Однажды я набралась храбрости и отправилась исследовать пустынные верхние этажи. На чердаке я нашла длинный низкий буфет, в который можно было залезть, пригнувшись, и в самом дальнем его конце, под

маленьким освинцованным окошечком — кукольный домик! Мирок, сотворенный во всех подробностях: люстрочки, которые по-настоящему звякали, если к ним прикоснуться, изящные стульчики с позолотой, красные бархатные шторы с кистями, камин, на резной деревянной полке которого теснились крохотные пастушки и оловянные подсвечники. Подобрав колени под подбородок, я сидела, очарованная, впивая в себя это лилипутское чудо, пока голос бабушки, позвавшей меня и эхом донесшийся снизу, не развеял чары. С того дня я молила Бога, чтобы мамин фильм снимался вечно, я делала все в точности так, как хотела бабушка, разбивалась в лепешку, лишь бы после сбежать в волшебный мир, который я открыла. Как туда попал этот маленький домик? Чьим он был раньше? Кто играл там до меня? Эти вопросы я никогда не осмеливалась задавать, и тайна навсегда осталась тайной. Бабушка наверняка знала, куда я скрываюсь каждый день, но молчала и даже словом не обмолвилась маме. Я часто задумывалась, почему.

По мере того, как развертывалась работа над фильмом, моя мать все реже и реже бывала дома. Случалось, что по утрам меня поднимал и препровождал к бабушке отец. Когда моя мать появлялась, она целовала меня, кормила, переодевала и рассказывала:

— Этот фон Штернберг — форменный сумасшедший! Не фильм, а катастрофа! Ничего не выйдет! Он понастроил деревянных боксов для операторов. Запирается туда вместе с ними и ис-че-за-ет! Как можно управлять фильмом, запершись в деревянном боксе?

Она снова целовала меня и убегала.

Поскольку «Голубой ангел» монтировался прямо во время съемок, моя мать информировала нас обо всех неурядицах, произошедших за день:

— Сегодня Яннингс делал сцену в классе, где ему надо было сказать английское «th». Вот он намучился! Умора. Снял по-английски целую картину в Америке с фон Штернбергом, и не может выговорить «th». Я в совершенстве произношу «th».

И, чтобы продемонстрировать свое произношение, она зажала язык между передними зубами и выпалила английский артикль так, что пудра из баночки разлетелась по всему туалетному столику.

Мне никогда не разрешали сидеть на съемках «Голубого ангела». Моя мать считала, что это вульгарный фильм, и его не подобает смотреть невинному ребенку. Но дома она ни о чем другом не говорила.

— Папи, ты будешь виноват в моем провале. Все так мерзко!

Толстые бабы — он рассадил повсюду огромных толстых баб в сцене с ночным клубом. Ты же видел — площадка крохотная. Она в любой момент может рухнуть под этими толстухами — и я сломаю себе шею. А дымище! Ты бы только посмотрел! Плотный, как туман. К чему беспокоиться о костюмах, если можно рассмотреть только огромные жирные фигуры в тумане!

— Ты думаешь, у меня проблемы с английским? У меня проблемы с *немецким*! Фон Штернберг все время говорит мне, чтобы я бросила свои замашки «утонченной леди» Кричит на меня. «У тебя роль девки, — кричит, — когда ты это поймешь, мадам из веймарского пансиона? Тут надо хоть немножечко играть!» Это все ты виноват, Папи!

Иногда она плакала, а мой отец обнимал ее, уговаривая не отчаиваться, уверяя, что в конце концов все пойдет на лад и будет чудесно. Она просто извелась с берлинским простонародным сленгом. Знать-то она его знала. Но признаться в своих обширных познаниях и затем продемонстрировать их перед толпой и перед фон Штернбергом — вот где был настоящий барьер для «девушки из хорошей семьи», как она любила себя называть. Английская версия не задавала ей столько хлопот, сколько преодоление внутреннего запрета на жаргон берлинских низов. В стихии английского языка моя мать всегда чувствовала себя иностранкой, значит, и маскироваться было легче. В последующие годы настоящая Дитрих редко проглядывала в англоязычных постановках. Этот язык вызывал к жизни нужный персонаж, а не Лини, какой она была в своих отроческих дневниках.

— Сценария как такового нет. Все, даже Поммер, волнуются, но фон Штернберг никому не позволяет вмешиваться. У него все в голове. Как замечательно работать с человеком, который знает, чего хочет и к тому же точно знает, как этого добиться, но все же лучше бы он хоть кое-что кое-кому рассказывал!

Раз на холодной утренней заре она ворвалась ко мне в комнату, зажгла свет, протянула мне гаечный ключ, бросив: «Сама!» — и принялась лихорадочно рыться в ящике для игрушек. В одну сторону полетел тряпичный кролик, в другую — клоун, кубики, мячики; все было перевернуто вверх дном. Она повернулась ко мне, и в ее взгляде было: «Это твои проделки!»

— Где он? Ты его брала?

Совершенно ошарашенная спросонья, я промямлила:

— Кого?

Что, вероятно, прозвучало очень виновато.

— Ты знаешь, кого! Моего негритенка! Куда ты его подевала?

— Мутти, я никогда с ним не играю. Мне же не разрешают. Но он был у Папи…

Она так и вскинулась.

— Папи! У тебя мой негритенок!

И выбежала вон. Теперь достанется отцу! Я совсем не собиралась на него наябедничать, но я просто видела, как он поправлял травяную юбку на мамином войлочном дикаре. Чуть позже, когда она быстрым шагом вела меня по темной улице, чтобы забросить к бабушке, черная кукла торчала у нее, плотно прижатая, из-под мышки. Черный дикарь неизменно сопровождал Дитрих повсюду. Он был ее амулетом в продолжение всей ее жизни — профессиональной. В повседневной жизни его место занимала астрология.

— Герр режиссер сегодня сказал, что мне наконец-то дадут посмотреть то, что они называют «прикидки» — то, что отсняли два дня назад. И еще предупредил, чтобы я молчала, пока они не кончат! Я *имею право* высказываться, только когда в просмотровой снова зажжется свет. Такие зануды эти американцы, ей-ей!

На другой день она вернулась в восторге.

— Папи, фильм все такой же вульгарный, но мистер фон Штернберг — это… это бог! Бог! Мастер! Неудивительно, что они все его ненавидят… они *знают*, что им до него далеко. Он рисует светом, как Рембрандт. Это лицо, там, высоко, на экране… эта проститутка с приморского бульвара — она *настоящая*! Она просто чудо!

Так я впервые услышала, как моя мать говорит о себе в третьем лице. Она начинала думать о Дитрих, как о произведении искусства, вполне отдельном от нее самой.

— А помнишь тех жутких толстух, от которых я была в ужасе — Джо еще насажал их по всей сцене? Так вот, они такие толстые, что я на их фоне выгляжу худышкой! Джо знал, зачем он ввел их в самом начале фильма — он уже знал, какой будет эффект!

— Помнишь, та кошмарная песня, о которой я тебе говорила, так вот, ее перевели на английский. И как она, ты думаешь, называется? «Вот опять я влюблена!» Это так они перевели «Я с головы до пят сотворена для любви!» Не хватало мне петь этот кошмар еще и по-английски — там надо переписать все слова, иначе в них нет никакого смысла!

— Сегодня я ему сказала: «Почему ты мне не даешь посидеть на чем-нибудь еще? Сколько раз можно использовать стул для эротики? Не попробовать ли, к примеру, бочонок — по крайней

мере, бочонок по-другому выглядит, а я могла бы, например, одну ногу вытянуть, а другую подтянуть к груди» Только ты знаешь, что он намерен сделать? Он сфокусирует свои камеры у меня между ног, так и знай… Нет, это не-вы-но-си-мо. Мне стыдно перед съемочной группой.

— У Джо потрясающая идея. Папи, ты знаешь, бывают такие открытки, которые мальчишки потихоньку рассматривают на уроках — там еще в одной сцене Яннингс находит такую и впадает в ярость. Так вот, Джо велел приклеить на нее маленькие перышки, поверх панталончиков. Потом идет сцена, когда он заставляет их всех дуть на открытку, перышки разлетаются и открывают — ты знаешь что. Блестящая идея? Вот это я понимаю — эротика!

Моя мать стала теперь такая важная, что к ней прикрепили собственную костюмершу — худую, костлявую старую деву по имени Рези. Она скоро стала для моей матери личной служанкой, готовой явиться по вызову в любой час дня и ночи. Рези суждено было оставаться с нами на протяжении съемок большинства штернберговских фильмов, и всегда она являла собой образец услужливости и восторженной преданности.

Как-то раз, пока еще снимали «Голубого ангела», я решила придумать себе другое имя. Моим настоящим именем меня все равно никто не звал, разве что когда я чем-то провинюсь. «Мария! Поди сюда!» означало большую неприятность. Некоторые дети придумывают себе друга, вымышленного товарища по играм; но я, как мне кажется, просто искала саму себя, поэтому в один прекрасный день объявила, что с этих пор меня надо звать Хайдеде. Бог знает, откуда я взяла это имя — может быть, тут была какая-то перекличка с Хайди[1] — я была глубоко в идиллическом альпийском периоде. Все восприняли мое заявление очень серьезно. С тех пор моя мать звала меня: Ребенок, Радость моя, Ангел, Любовь моя; отец: Ребенок или Кот, — а все остальные: Хайдеде, дочь Марлен Дитрих!

Как-то раз вечером у моей матери выдался свободный часок, и она присоединилась к нам за обедом.

— Сегодня в сцене, когда он ее душит, он и на самом деле чуть не задушил меня! Джо заметил, извинился и остановил съемку. Что происходит с Яннингсом? Он так блестяще играет. Какой актер! Иногда он даже пережимает, но тогда Джо устраивает с ним долгую беседу, а мы все ждем и отдыхаем — и потом Яннингс опять великолепен! Так почему же он вдруг

перестал играть и принялся душить меня всерьез?

Мой отец налил ей и себе пива.

— Если бы я был Яннингсом, Мутти, я бы в этой сцене не остановился на режиссерское «стоп!» и додушил бы тебя.

— Что ты хочешь сказать? — Моя мать была возмущена. — Опять я во всем виновата?

Ты же отняла у него фильм — «Голубой ангел» принадлежит теперь Марлен Дитрих, а не Эмилю Яннингсу, первоначальной его звезде. Он же это понимает!

— Ну, если это так, то это вина Джо, а не моя! Я просто делаю, что он мне велит. Яннингсу следовало бы задушить Джо, а не меня.

И она пошла надевать пальто, ей предстояло еще выступать в театре.

В Берлинской кинематографической индустрии прекрасно осознавали, что в ее недрах создается нечто феноменальное. В Голливуде не замедлили тоже прознать об этом. Будучи американским дистрибьютором «Голубого ангела» и «родной» студией Штернберга, «Парамаунт» решил, что неплохо бы заполучить говорящую по-английски немецкую секс-бомбу с аппетитными ляжками, о которых все судачили.

МАРЛЕН ДИТРИХ-ЗИБЕР
КАЙЗЕРАЛЛЕЕ 54 БЕРЛИН
29 ЯНВ 1930
ИМЕЮ УДОВОЛЬСТВИЕ ПРИГЛАСИТЬ ВАС ВЛИТЬСЯ В БЛЕСТЯЩИЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СТУДИИ ПАРАМАУНТ ТЧК ПРЕДЛАГАЮ КОНТРАКТ НА СЕМЬ ЛЕТ НАЧИНАЯ С ПЯТИСОТ ДОЛЛАРОВ В НЕДЕЛЮ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ ПЯТИСОТ ДОЛЛАРОВ В НЕДЕЛЮ НА СЕДЬМОЙ ГОД ТЧК МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ТЧК ПОЖАЛУЙСТА ПОДТВЕРДИТЕ ДЕПЕШЕЙ ТЧК БЕРЛИНСКИЙ ОФИС УСТРОИТ ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕРВЫМ КЛАССОМ И ВСЕГДА В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ ПОМОЩЬ
Б П ШУЛЬБЕРГ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ ПАРАМАУНТ

Читая вслух телеграмму, моя мать больше возмущалась легкомысленностью ее тона, чем предложением такого низкого гонорара.

— Какая самоуверенность у этих типов. Подразумевается, что я не смогу сказать «нет». Они меня даже поздравляют!

Она бросила телеграмму через стол моему отцу и пошла относить ланч Штернбергу на студию, где он монтировал

«Голубого ангела».

«Голубой ангел» был завершен, ревю закрылось. Моя мать осталась не у дел. Фон Штернберг собирался вскоре вернуться в Америку; она теперь редко с ним расставалась. Он все уговаривал ее принять предложение «Парамаунта». Она отговаривалась, во-первых, заботой обо мне; во-вторых, она не могла подписывать ни с кем договор, поскольку «УФА» все еще имела на нее права. Когда на «УФА» наконец решили больше не стеснять ее контрактом, она убедила себя, что никуда не годится, что все заблуждались на ее счет, что она вовсе не «чудо» и что ее якобы блестяще начавшаяся карьера в кино закончилась.

— Видишь? Что я тебе говорила? «УФА» я тоже не понравилась в фильме, то-то они больше не хотят иметь со мной дела.

— Не глупи. Они просто тупицы, которые не понимают, что упускают, а это тебе же на руку, — сказал мой отец.

— Ну да, это же замечательно! Теперь ты свободна и можешь подписать договор с «Парамаунтом». — Фон Штернберг пришел в полный восторг.

— Я не поеду в Америку, я тебе говорила. Я не знаю, что меня там ждет. Страну, которая делает из собаки кинозвезду, нельзя принимать всерьез. И потом — Ребенок. Что, тащить Ребенка через океан? И откуда ты знаешь, что теперь, когда «УФА» сказала «нет», эти большие боссы в «Парамаунте» не потеряют ко мне интерес?

— Не потеряют, поверь Мне, они хотят тебя заполучить, а когда я покажу им фильм, они будут тебя *умолять.* А ребенок? Ребенок получит только обилие солнца и собственный бассейн — что в том плохого?

Это звучало устрашающе. Солнце круглые сутки и какой-то бассейн. Мне сначала надо бы научиться плавать.

— Если ты настаиваешь, Джо, я поеду, но сначала одна. Поглядеть, так ли все «замечательно», как ты говоришь. Тогда я могла бы вернуться и, может быть, забрать Ребенка. Если же мне не понравится, а контракт уже подписан — что тогда? И как я могу быть уверена, что ты, только *ты,* будешь моим режиссером? Нет, нет и нет! Все это слишком сложно. Здесь я могу работать безо всех этих ужасных проблем!

— С меня хватит, я уже наслушался глупостей! — сказал фон Штернберг и вышел из комнаты.

С криком «Джо!» моя мать бросилась за ним следом в прихожую. Отец закурил. Мы ждали. Просунув руку под руку фон Штернберга и замкнув ее кольцом, моя мать ввела его обратно в

столовую и умоляюще взглянула на моего отца.

— Папи, скажи ему ты. Скажи Джо, что я не могу оставить Ребенка!

Фон Штернберг повернулся и двинулся было к двери. Она вцепилась в него.

— Радость моя!

Я знала, что на сей раз это относится не ко мне.

— Мутти, ты просишь, чтобы я решил дело? — чрезвычайно мягко спросил мой отец.

— Да, скажи Джо, что я не могу… — Она не договорила.

— Если ты действительно хочешь знать мое мнение, то я лично думаю, что у тебя нет никаких причин не ехать. — Моя мать метнула в него яростный взгляд. — Позволь мне закончить, будь добра. Если говорить о ребенке, то ты и так уже оставила ее — и ради менее важных вещей. Так что это будет тебе не впервой. Вот мой совет: поезжай в Америку. Доверься Джо. Слушай его. Делай то, что он тебе скажет. Если там будет Джо, который будет защищать тебя и руководить тобой, то это возможность, которая выпадает раз в жизни. Было бы глупо ее от себя отпихнуть. Ребенок останется здесь. Здесь у нее я, Тами и Бекки. Когда ты вернешься, мы все будем вместе, мы будем тебя ждать.

Фон Штернберг готов был расцеловать его. Для меня это означало, что моя мать поедет в Америку.

В день отъезда фон Штернберга мы все на прощанье перецеловались с ним — все, кроме моей матери. Она поехала к нему на квартиру помочь собраться, а потом, вечером, попрощаться уже у поезда, который должен был доставить его к пароходу.

Наутро я, набравшись храбрости, спросила:

— Мутти, если ты поедешь в Америку, как тебе Папи сказал, можно тогда у меня будет собака?

И — о чудо! — она ответила:

— Можно, только не беспородная.

И умчалась на студию записывать песни из «Голубого ангела» на граммофонные пластинки. С этой минуты я почти перестала обращать внимание на то, что происходит вокруг — я была поглощена рассматриванием своих книжек с картинками в поисках того, кого желала моя душа. К маминому отъезду я хотела уже выбрать породу щенка. Главное — чтобы его можно было крепко обнимать.

Пока моя мать паковала чемоданы, бережно укутывала свою черную куклу, составляла список покупок и целовала меня с тоской солдата перед отправкой на фронт, фон Штернберг у себя

в «Парамаунте» выторговал новые условия для своей протеже. Теперь мисс Дитрих предстояло по контракту сняться лишь в двух фильмах. Если затем она решит вернуться на родину, отказавшись от положения голливудской звезды, она должна будет дать официальную расписку в том, что, уйдя с «Парамаунта», не подпишет контракт ни с одной другой американской студией. Если же мисс Дитрих решит продолжить свою карьеру в Америке, ее контракт с «Парамаунтом» будет автоматически продлен, а жалованье существенно возрастет. К контракту был добавлен пункт, дающий Марлен Дитрих право выбора себе режиссера — неслыханная уступка студии еще неизвестному, неопробованному исполнителю.

В апреле 1929 года в одной берлинской бульварной газете появилась статейка, где о Марлен Дитрих упоминалось параллельно со шведской актрисой, уже ставшей звездой Голливуда. Возможно, это был самый первый раз, когда имя Дитрих прозвучало рядом с именем Греты Гарбо, и более чем вероятно, что именно эта параллель попала в поле зрения «Парамаунта». Свирепое соперничество между студиями было вполне оправдано. Их власть и престиж целиком зависели от талантов, которых они контролировали. Поскольку «Метро-Голдвин-Майер» владела Гретой Гарбо, все остальные крупные студии лихорадочно искали для себя грандиозную креатуру: в ореоле чужестранной тайны, европейской утонченности, гипнотического акцента и, по возможности, с высокими скулами и томными глазами, — с помощью этого набора можно было бы перещеголять «МГМ» по части кассовости. Вполне вероятно, что еще более, чем великолепные ноги и сексуальный пояс с подвязками из «Голубого ангела», на решение «Парамаунта» выполнить запросы Дитрих повлияло ее магическое сходство с Гарбо. И в силу той же установки на победу в состязании полнокровному, честному таланту суждено было превратиться в загадку по имени Марлен Дитрих. Можно только строить предположения, чем она могла бы стать, если бы ее дарованию позволили развиваться в тональности «Голубого ангела», где она блеснула непревзойденной манерой игры.

Чем она могла бы стать, и чем она стала, благодаря обожанию блестящего имидж-мейкера, алчности студийной системы, а пуще всего — благодаря ее собственному нарциссизму? Ее так тщательно лепили: эффектные крупные планы, вуали, туалеты, ноги, ни к какому полу не привязанная сексуальность, эта изумительная — всегда поражающая — красота, — пока рукотворные образы не подменили изначальное естество. На протяжении ее профессиональной жизни бывали

редкие моменты, когда снова просверкивала искорка из «Голубого ангела», но никогда больше ей не суждено было разгореться. Через некоторое время Дитрих перестала даже отмечать эти моменты. Легенды не нуждаются в поисках утраченного, они всегда — в *настоящем*.

Мамино путешествие в далекую Америку беспокоило меня только вот с какой стороны: а вдруг индейцы попытаются снять с нее скальп? Как можно осторожнее я подняла эту тему. Моя мать паковала свои шляпные картонки. Она сказала, что, хотя американцы все еще очень неотесанные, но снимать скальпы — это у них уже не в порядке вещей, так что я могу не беспокоиться на сей счет. Она не очень-то меня убедила. В один из своих редких визитов тетя Лизель читала мне «Последнего из могикан», так что я-то знала кое-что, о чем моя мать не задумывалась: Америка — место очень опасное. С другой стороны, я знала, что если моя мать решит не отдавать свои волосы, никакой краснокожий в целом свете не сумеет их заполучить. Так что, когда пришло время прощаться, я попрощалась без ненужных сомнений.

К тому же маленький человечек будет там защищать ее, значит, с ней все будет о'кей.

Ближе к вечеру 31 марта 1930 года моя мать, настоящая королева в белом шифоне и длинной горностаевой накидке, прижимала меня к себе и плакала. Я простудилась, и она не могла от меня оторваться, не хотела меня оставлять из страха, что я умру без ее присмотра. Но ей надо было уходить — это был вечер гала-премьеры «Голубого ангела» в «Глориа-Паласе», где предполагалось, что весь состав исполнителей выйдет на поклон вместе со звездой фильма, Эмилем Яннингсом. Сразу же по окончании вечера моей матери предстояло сесть на поезд, согласованный с пароходным расписанием, и отправиться в Бремерхафен, а там сесть на пароход «Бремен», отплывающий в Нью-Йорк.

— Как только услышишь телефонный звонок, тут же бери трубку, — говорила она Бекки, проверяя на мне кандалы. — Я постараюсь улучить минутку и позвонить, узнать, как Ребенок. Через два часа снова померяй у нее температуру, скажешь мне. Если мне удастся улизнуть с фильма, я еще забегу домой. Если бы пароход не отплывал сегодня ночью, я бы вообще не пошла на этот чертов вечер.

Мой отец и Вилли Форст, оба шикарные в своих фраках, уже звали ее из прихожей.

— Мутти, пора. Тебе надо попасть туда, пока не погасят свет.

Я аккуратно обняла ее, чтобы ничего не помять.

— Не забывай меня, — шепнула она, убегая.

Три часа спустя она уже была «звездой». Мгновенный триумф. Имя, ею придуманное, Марлен, впервые гремело под гул восторга и преклонения. Она как будто не слышала — все ее мысли были о моей температуре.

Она не разрешила моему отцу проводить ее до Бремерхафена, а отослала его домой — разбудить меня, самому померить мне температуру» удостовериться, что со мной все хорошо, передать, что она уже скучает.

В ту ночь он был очень красивый. Я всегда думала, что моему отцу фрак идет так же, как и моей матери.

— Папи, Мутти правда уехала? — спросила я. И, не дожидаясь ответа: — Но она вернется?

— Да, Кот, но не прямо сейчас. Сначала она снимется еще в одном фильме у мистера фон Штернберга.

— А сегодня правда было хорошо? Она имела успех?

— Да… большой успех. — Его голос прозвучал устало и как-то глухо. Он понуро сидел на краю моей постели. Я расхрабрилась.

— Ты мне принесешь завтра собаку, как она обещала. Принесешь? Ну, пожалуйста!

— Принесу, я уже выбрал.

Он наклонился ко мне, и я увидела гаечный ключ. В один миг кандалы были сняты, я крепко обняла его. Он спросил, прочла ли я молитвы. Только он один об этом и заботился. Он уложил меня, выключил свет и ушел, оставив дверь приоткрытой. Свет из прихожей приятно блестел на линолеуме в моей комнате. Я думала о том, как публике понравилась песенка про пианолу и хорошо ли выглядели манжетки из блестящей ткани, которые мы тогда отыскали, при костюме с белым атласным цилиндром… Я уснула, и мне приснился мой собственный щенок, которого можно любить.

Сев на пароход, моя мать в ту же ночь первым делом отправила нам радиограмму. Конечно, по-немецки, как всегда. В те дни слово «stop» (тчк) употреблялось в качестве универсального знака пунктуации в любом языке.

Р ЗИБЕР

КАЙЗЕРАЛЛЕЕ 54 БЕРЛИН 1 АПР 1930 03:16

ПАПИЛЯЙН СОСКУЧИЛАСЬ ОДИНОКО УЖЕ СОЖАЛЕЮ ПУТЕШЕСТВИИ ТЧК СКАЖИ МОЕМУ АНГЕЛУ ЧТО Я НЕ ВИДЕЛА ФИЛЬМ ТОЛЬКО ДУМАЛА МОЕЙ ОБОЖАЕМОЙ ТЧК ПОКОЙНОЙ

НОЧИ ЦЕЛУЮ -
МУТТИ

Р ЗИБЕР
КАЙЗЕРАЛЛЕЕ 54 БЕРЛИН 1 АПР 1930 11:48
ДОБРОЕ УТРО ТЧК КОРАБЛЬ КАЧАЕТ ПЛОХАЯ ПОГОДА СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР ТЧК ОДНА ПОСРЕДИ ОКЕАНА КОГДА МОГЛА БЫ БЫТЬ ДОМА И СЧАСТЛИВА ЦЕЛУЮ -
МУТТИ

МАРЛЕН ДИТРИХ ЗИБЕР
ПАРОХОД БРЕМЕН 1 АПР 1930 13:17
СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ МУТТИ ТЧК КРИТИКИ У ТВОИХ НОГ ТЧК ЯННИНГС ПОЛУЧАЕТ ХОРОШИЕ ОТЗЫВЫ НО ЭТО БОЛЬШЕ НЕ ФИЛЬМ ЯННИНГСА ТЧК ЕГО ПОХИТИЛА МАРЛЕН ДИТРИХ ТЧК РЕБЕНКОМ ВСЕ ПОРЯДКЕ ТЧК ЦЕЛУЮ И ТОСКУЮ -
ПАПИ

МАРЛЕН ДИТРИХ
П БРЕМЕН 2 АПР 1930 12:15
ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАМ ОБОИМ ТЧК НОВЫЙ ФИЛЬМ БУДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ МАРОККО НА ОСНОВЕ ИСТОРИИ АМИ ЖОЛИ ИЗ КНИЖКИ ЧТО ТЫ СУНУЛА В МОЙ БАГАЖ ТЧК ТЫ БУДЕШЬ БАСНОСЛОВНОЙ -
ДЖО

ДЖОЗЕФ ФОН ШТЕРНБЕРГ
ПАРАМАУНТ ГОЛЛИВУД КАЛИФ 2 АПР 15:01
КТО БУДЕТ ИГРАТЬ СО МНОЙ В ПАРЕ -
МАРЛЕН

МАРЛЕН ДИТРИХ
П БРЕМЕН 3 АПР 1930 12:15
ГАРИ КУПЕР БУДЕТ ИГРАТЬ С ТОБОЙ В ПАРЕ ТЧК БЛАГОДАРЮ ВОСТОРЖЕННУЮ ТЕЛЕГРАММУ ВЫРАЖАЮЩУЮ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДЪЕМ В СТРАТОСФЕРУ ВОПРЕКИ ТВОЕМУ УПОРНОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ ТЧК НЕ ЦЕЛУЙТЕ МОЮ РУКУ МАДАМ ТЧК ВЫ ПОЗВОЛИЛИ МОЕЙ КАМЕРЕ ПОКЛОНЯТЬСЯ ВАМ А ВЗАМЕН ВЫ БУДЕТЕ ПОКЛОНЯТЬСЯ СЕБЕ -
ДЖО

Р ЗИБЕР
КАЙЗЕРАЛЛЕЕ 54 БЕРЛИН 3 АПР 1930 14:51

НЕПРЕМЕННО ПОШЛИ ТЕЛЕГРАММУ ДЖО ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ ТЧК ОЧЕНЬ ТРОНУТА ТЧК ОБНИМАЮ РЕБЕНКА -
МУТТИ

ДЖ ФОН ШТЕРНБЕРГ
ПАРАМАУНТ ГОЛЛИВУД КАЛИФ 3 АПР 14:53
ТЫ ЗНАЕШЬ Я ОБОЖАЮ ТЕБЯ -
МАРЛЕН ДИТРИХ

МАРЛЕН ДИТРИХ
П БРЕМЕН 4 АПР 30 09:15
ВАША АПОЛОГИЯ ПРИНЯТА -
ДЖО

Р ЗИБЕР
КАЙЗЕРАЛЛЕЕ 54 БЕРЛИН 4 АПР 30 13:16
МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ У РЕЗИ С ПЕРВОЮ ДНЯ КАК У ВСЕЙ ПРИСЛУГИ НА БОРТУ ТЧК СЕГОДНЯ ОНА ВЫРОНИЛА ЧЕЛЮСТЬ ЗА БОРТ ТЧК МНЕ ПРИХОДИТСЯ ПОСЫЛАТЬ ЗА КАШЕЙ ПОТОМУ ЧТО ОНА НЕ ВЫХОДИТ ИЗ КАЮТЫ ТЧК ПОЗВОНИ МУТТИ СКАЖИ Я БЛАГОПОЛУЧНА И СКУЧАЮ ПО НЕЙ ТЧК И ПО ТЕБЕ ЦЕЛУЮ -
МУТТИ

МАРЛЕН ДИТРИХ
П БРЕМЕН 5 АПР 30 14:29
ЦИТИРУЮ РАЙХСФИЛЬМБЛАТТ ТЧК ИСПОЛНЕНИЕ МИСС ДИТРИХ ОШЕЛОМЛЯЕТ ТЧК ОНА БУКВАЛЬНО ВЕДЕТ ВО ВСЕХ СЦЕНАХ С СОВЕРШЕННОЙ ЛЕГКОСТЬЮ ТЧК ЭТО ТО ЧЕГО МЫ ДО СИХ ПОР НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ КОНЕЦ ЦИТАТЫ ПОЗДРАВЛЕНИЯ МУТТИ ТЧК ГОВОРЯТ ЭМИЛЬ ЯННИНГС ГОТОВ ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ ТЧК ЦЕЛУЮ И ТОСКУЮ -
ПАПИ

Р ЗИБЕР
КАЙЗЕРАЛЛЕЕ 54 БЕРЛИН 5 АПР 30 20:32
ПОМНЮ ЯННИНГС ПРЕДУПРЕЖДАЛ МЕНЯ НАСЧЕТ ДЖО ЦИТИРУЮ РАДИ ТВОЕГО ЖЕ БЛАГА КОНЕЦ ЦИТАТЫ КСТАТИ СПАСИБО ЗА СОВЕТ ТЧК ЦЕЛУЮ -
МУТТИ

МАРЛЕН ДИТРИХ
П БРЕМЕН

ВОСТОРЖЕННЫЙ ЭНТУЗИАЗМ ОТ ОТЗЫВА КРАКАУЭР ТЧК ЛОЛА-ЛОЛА ДИТРИХ НОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ СЕКСА ТЧК ЭТА МЕЛКОБУРЖУАЗНАЯ БЕРЛИНСКАЯ ПРОСТИТУТКА С ПРОВОКАЦИОННЫМИ НОГАМИ И ЛЕГКИМИ МАНЕРАМИ ЯВЛЯЕТ СОБОЙ БЕССТРАСТИЕ КОТОРОЕ ПОБУЖДАЕТ ДОИСКИВАТЬСЯ ДО СЕКРЕТА ЕЕ БЕССЕРДЕЧНОГО ЭГОТИЗМА И ХОЛОДНОГО ВЫСОКОМЕРИЯ КОНЕЦ ЦИТАТЫ ЦЕЛУЮ -

ПАПИ

Р ЗИБЕР
КАЙЗЕРАЛЛЕЕ 54 БЕРЛИН
ПОШЛИ ВЫРЕЗКУ ДЖО СЕКРЕТ В НЕМ ТЧК ЦЕЛУЮ -
МУТТИ

ДЖОЗЕФ ФОН ШТЕРНБЕРГ
ПАРАМАУНТ ГОЛЛИВУД
ПРОСТИ И НЕ ДУМАЙ ЧТО Я ПРИНИМАЮ ТЕБЯ КАК ДОЛЖНОЕ ТЧК ТЫ Ж ЗНАЕШЬ ЧТО НА ВТОРОЙ ДЕНЬ СЪЕМОК Я ПОНЯЛА ЧТО БЕЗ ТЕБЯ Я НИЧТО -
МАРЛЕН

МАРЛЕН ДИТРИХ
П БРЕМЕН
ПОЖАЛУЙСТА ПРОСТИ МОИ УЖАСНЫЕ И НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЕ ВЫПАДЫ ТЧК ТАКОЙ УЖ Я ТЧК ПЫТАЮСЬ СТАТЬ ЛУЧШЕ ТЧК БУДУ ЕЩЕ ПЫТАТЬСЯ -
ДЖО

Р ЗИБЕР
КАЙЗЕРАЛЛЕЕ 54 БЕРЛИН 7 АПР 16:00
ПРИБЫВАЕМ НЬЮ-ЙОРК ОПОЗДАНИЕМ ДВА ДНЯ УЖАСНЫЕ ВСТРЕЧНЫЕ ВЕТРА ТЧК НЕВАЖНО ТЧК МНЕ СТРАШНО ПОКИДАТЬ ЭТОТ НЕМЕЦКИЙ КОРАБЛЬ ПОСЛЕДНЯЯ СВЯЗЬ С МОИМ РОДНЫМ ЯЗЫКОМ МОЕЙ СТРАНОЙ ОБЫЧАЯМИ КОТОРЫЕ Я ПОНИМАЮ ТЧК ЛЮБЛЮ ЦЕЛУЮ -
МУТТИ

Я получила белый пушистый шарик с глазами-пуговицами и висячими ушами. Мой первый четвероногий приятель! Я была счастлива несказанно. Когда начали приходить мамины письма, каждое из них читалось вслух за обеденным столом: захватывающий сериал.

Отель «Амбассадор»

Нью-Йорк Сити
9 апреля 1930
Папиляйн,

Мне понадобится время, чтобы привыкнуть к Америке. Сегодня утром, еще на борту, мне сказали, что мой серый костюм не подходит для фотографов. Они хотели, чтобы я, в черном платье и норковом манто, сидела бы на своих чемоданах. Ты знаешь, я привыкла выполнять приказы, но сидеть на своем багаже? Надевать меховое пальто при жарком солнце? В четыре здесь, в отеле, пресс-конференция, и от меня ждут «туалета для коктейля», не знаю, какой у них тут принят.

Вечером я выхожу с Уолтером Вангером, главой восточного отделения «Парамаунта», и его женой. Он был в группе со студии, которая приехала на катере береговой охраны приветствовать меня на борту. Он сказал: «Я получил инструкцию отвезти вас пообедать и показать вам Нью-Йорк — вместе с моей женой». Инс-трук-ци-ю! Какая любезность, а?

Они заменят мне Рези, которая так и не покидала каюты, потому что не хотела выходить на палубу без зубов. Кстати, она сейчас у дантиста, и сегодня же ей сделают новые. Это устроила студия. Приятно иметь большие связи.

Предвкушаю эти четыре дня в Нью-Йорке.

Скажи ребенку, как я скучаю по ней и что я целую ее карточку.

Мутти

Пенсильванская железная дорога
10 апреля 1930
Папиляйн,

Я уже не собираюсь пробыть в Нью-Йорке четыре дня. Я сейчас в поезде, еду в Чикаго. Когда Уолтер Вангер зашел за мной вчера вечером, оказалось, что его жене «нездоровится». Я пошла с ним в какой-то сомнительный ресторан, который они называют «спикизи» [2] *. Он объяснил, что эти рестораны так называют потому, что когда они только открывались, их посетителям приходилось «speak easy», то есть говорить тихо, чтобы не привлекать полицию. М-р Вангер был мил и объяснил, что привел меня туда, услышав на пресс-конференции, что я обожаю Гарри Ричмана, а тут он поет собственной персоной. В самом деле, скоро м-р Ричман появился на сцене и спел «На солнечной стороне улицы», шлягер, который я не знаю сколько раз проигрывала на граммофоне, и услышать его вживе было потрясающе. Потом мой красавец-провожатый пригласил меня на танец и, обняв, прошептал: «Фон Штернберг прав, вы — находка века». После чего я почувствовала не только его объятья, но и его руки, и хотела*

даже спросить, неужели и это предусматривает инструкция, но мне было совсем несмешно и довольно неловко. Так что я сказала, что мне надо выйти попудриться, удрала из этого спикизи, нашла такси и вернулась в отель. Я позвонила Джо. К счастью, я застала его дома и рассказала, что произошло. Ты знаешь, я бы не очень рассердилась, если бы мужчина слегка потрогал мой зад — на то он зад и есть. Но мне не понравилось, что это было как бы само собой разумеющимся, как будто это записано в контракте, своего рода derecho del señor. У них вообще такая манера. И в порту, и на пресс-конференции: «Сядь на этот чемодан. Поддерни юбку. Выше. Выставь же ноги». Я им объяснила, что мне не нравится, когда меня сажают в позу перед журналистами и заставляют отвечать на глупые вопросы вроде «как вам Америка», когда я тут всего десять минут и еще даже не вышла из порта. Какой еще можно дать ответ, кроме как «отвратительно!» Так что я просто что-то промямлила.

Джо сказал: «Приезжай первым же поездом. Я улажу дела с твоим отелем. Ни с кем не разговаривай! Просто уезжай из Нью-Йорка. Я обо всем позабочусь».

Скажи моему ангелу, что я люблю ее. Целую и люблю.

Мутти

В поезде «Санта-Фе», Чикаго

11 апреля 1930

Дорогой мой Папи,

Я разговаривала с Джо из Чикаго. Он сказал, что встретит нас на станции Альбукерке (слышал бы ты, как это произносится), от нее день езды до Голливуда, — и, чтобы уберечь меня от дальнейших сюрпризов, поедет с нами в этом поезде. Поезд комфортабельный, мы берем еду в купе. Рези ужасно довольна своими новыми зубами. Последний день!! Джо встретил нас в Альбукерке Я не знала, какая это жертва, до сего момента: сейчас мы едем через пустыню, и зной невероятный. Мы совсем открыли окна, но ветер веет раскаленный и пыльный. Мы застлали простынями сиденья, потому что плюш обжигает ноги. Сходим на каждой станции, чтобы проветриться, но жара загоняет нас назад. А Джо проделал это путешествие вчера, и сегодня — во второй раз!

Он все организовал. Мы сойдем в Пасадене, это за одну остановку до Лос-Анджелеса, — чтобы спастись от корреспондентов. Там их тоже будет сколько-то, но это — «подконтрольная студии пресса», они печатают только те заметки, которые пишут для них на студии и отдают свои фотографии в отдел рекламы на одобрение и исправление, прежде

чем опубликовать. Какое это удобство, что Джо здесь командует.

Завтра — Голливуд.

Люблю. Целую. Скучаю.

Мутти

Беверли-Хиллз

14 апреля 1930

Папиляйн,

Ну вот, «великая находка века» уже в Голливуде. В миленьком домике, который Джо арендовал для меня в Беверли-Хиллз, жилом квартале недалеко от студии. Прибытие в Пасадену прошло хорошо. Цветы и зеленый «роллс-ройс», подарок от студии. У меня две прислуги, так что у Рези будет общество, если она выучит пару фраз по-английски.

Джо открыл для меня банковский счет на 10 000 долларов — от студии. Он показал мне, как подписывать чек. Прилагаю образец на тысячу долларов. Мой первый чек. Не вставляй его в рамочку. Потрать. В таком виде это трудно воспринять, как деньги.

Здесь голубые небеса, и погода невероятно мягкая по сравнению с Берлином. Завтра мы начинаем работу над костюмами. Один из них будет тот, что я привезла с собой: цилиндр, белый галстук и фрак, — Джо видел меня в нем на той вечеринке в Берлине. Мои реплики будут мне сообщать день за днем, фактически реплику за репликой. Так что учить мне нечего, а значит, и делать почти нечего. Я рву цветы и читаю.

Пытаюсь не есть. В Берлине я смотрюсь хорошо, но что хорошо для веселой проститутки из Любека, не подходит для «Марокко». Ами Жоли полагается быть томной и загадочной.

Я рада, что заработаю все эти деньги и с радостью жду съемок второго фильма у Джо, но тоска по дому меня изводит.

Люблю, целую,

М.

От времени, когда моя мать была далеко в Америке, у меня в памяти остались тихие-мирные отрывки воспоминаний: день, когда отец принес забавного игрушечного кота Феликса, который, как по волшебству, распушал хвост, если к нему подносили зажженную спичку; потом — мне разрешили по-настоящему изучить папину комнату. Если бы я знала, что представляла собой испанская инквизиция, я бы поняла, на что похожа комната моего отца. Темное монастырское дерево, кроваво-красные муаровые стены и повсюду — массивные религиозные атрибуты. Даже ничего не зная, я ощущала, что они зловещие и жуткие. По всему

алькову, где стояла его кровать, шла полка с подсветкой, уставленная аптекарскими склянками из прозрачного стекла, а в них — какие-то студенистые массы. Мой отец, на самом деле неудавшийся хирург, приобрел эти образцы у одного студента-медика, друга своей юности. Он рассказал мне, как что называлось и какова их функция в человеческом теле. Это было захватывающе. Сердце, плавающее в формальдегиде, очень симпатичная печень, кусок мозжечка и половинка почки. Мама делала отличное блюдо из почек под дижонским горчичным соусом, но эта, папина, освещенная почка была куда как интересней. Горели тонкие восковые свечи в железных поставцах, курился спиралью ладан в серебряном кадиле, светились человеческие органы, а я сидела, перебирая огромные четки из слоновой кости, и мне было как-то по-особенному хорошо и свято. Иногда я ждала, что целый человек вдруг материализуется из всех этих органов с полки, как какой-нибудь воскресший святой, но сколько я ни ждала, так ни разу и не дождалась. Отец возил меня к своим родителям, которые жили в маленьком домике в Чехословакии. Мне у них очень понравилось. Понравились и они сами, и жить у них; Тами заботилась о нас, любила нас, готовила замечательные русские блюда, наполняла дом своим счастливым смехом. Отец почти совсем не бывал сердитым, моей собаке позволялось спать со мной, а тетя Лизель учила меня читать. В общем и целом время было замечательное.

Папиляйн,

Работа над костюмами идет хорошо, просто наслаждение. Дизайнер, Трэвис Бентон, талантлив. Джо говорит нам, него он хочет, а мы с Трэвисом обсуждаем, какими должны быть костюмы. Он питает к Джо то же уважение, что и я, и готов переделывать эскизы по многу-многу раз. Мы оба одинаково выносливы, никогда не устаем.

Утомительно одно: все время говорить по-английски. Трэвис — американец, и Джо при нем наотрез отказывается говорить со мной по-немецки. Стоит мне заикнуться, что мне нужна передышка, он возражает: «Если тебе что и нужно, так это бегло говорить по-английски. Продолжай по-английски, будь добра». Он поправляет мою грамматику плюс произношение И я каждый день учу новые слова и новые выражения. Это все хорошо, но ты можешь себе представить, какая радость, когда можно поговорить с тобой. Поэтому брось беспокоиться, что это так дорого. У меня будет море денег, и я могу тратиться на то, чтобы слышать тебя и Ребенка.

Мы с Рези ходим на новые картины. Посмотрели «На западном

фронте без перемен». Здесь это имеет огромный успех. Потрясающе: это тот самый Ремарк, которого я видела у Мутцбауэра. Пришли мне, пожалуйста, роман. Я хочу прочесть его по-немецки, как он был написан.

Я хожу перед домом, поджидая почтальона. Пиши, пожалуйста.

Целую, люблю,
Мутти

Отец сказал мне, что мама посылает нам свои фотографии, которые снял мистер фон Штернберг: большие, красивые, — для чего-то, что называлось «Паблисити» И они прибыли в больших, серых, выложенных картоном конвертах с эмблемой «Парамаунт» Даже на детский взгляд, от них словно бы исходило сияние, как от Мадонны. Они были будто ненастоящие. Странное ощущение: смотреть на лицо своей матери, такое знакомое или кажущееся знакомым, и видеть, что ее превратили в божество.

Когда она позвонила, я закричала в трубку, надеясь перекрыть все шумы и хрипы, чтобы она слышала меня из далекого далека:

— Мутти, ты уже видела индейцев? А ковбои там есть? А солнце правда светит все время? Пришли мне настоящий индейский костюм, с луком и стрелами, с настоящими перьями и со всем прочим — ну, пожалуйста! Там растут пальмы? Ой, а вчера Папи играл на угре, и мы все смеялись и скучали по тебе.

Иногда письма и звонки заменялись маминым голосом, присылаемым на тонких целлулоидных пластинках, которые отец ставил на граммофон и проигрывал для меня.

«Радость моя… ты меня слушаешь?.. ангел мой. — Я кивала механизму. — Ты знаешь, что у меня во рту? Твой зубик, тот, что Папи послал мне. Вот как я могу хранить тебя в себе. Твою частичку. Радость моя… Я обхожу вокруг этого красивого дома, а тебя нигде нет. Тебе хорошо? Ты ешь с аппетитом? Я плачу, оттого что не могу готовить тебе и вдыхать твой чудный запах и причесывать тебе волосы и видеть твое спящее личико. Я скучаю по тебе, скучаю… скучаю. Моя жизнь пуста без тебя. Я скоро вернусь к тебе… скоро… любовь моя».

Мне не нравились эти пластинки; мне становилось не по себе от этого неестественного голоса — такого печального, такого тоскующего. Хотя отец настаивал, чтобы я слушала их по два раза, у меня было чувство, что ему они тоже не нравятся.

Беверли-Хиллз
Папиляйн,

Джо попросили сделать анонс, что бы представить меня отделу продаж, и мы сделали сценку, где на мне фрак с белым галстуком. Со студии слетела крыша: «Слаксы!» (Так тут называют брюки). Похоже, что «слаксы» женщины в Америке не носят. Такое ощущение, что на женщину в брюках мужчина даже не взглянет.

Джо сказал им: «Я отвечаю за режиссуру, и мисс Дитрих будет надевать то, что выбираю я». (Я в фильме ношу еще шорты, открытое платье и пр.). Все черное, кстати. Я упросила Джо позволить мне носить черное. Я ничего не ем, но все равно выгляжу толстой. Он так не думает, и нет ничего труднее для съемок, чем черное, но он согласился, в угоду мне.

Нас обоих пригласили на вечер к Шульбергу, что нам обоим меньше всего хотелось. Джо сказал, что мне не обязательно идти. Но, добавил он, «было бы мудрым позаботиться о добром к нам расположении. — Он возвел к небу свои барочные глаза. — Абсурдная растрата усилий, потому что доброго расположения не добьешься ничем иным, кроме как кассовой картиной». Мы пошли из вежливости. Я надела свою матроску, белые фланелевые брюки и яхтсменскую фуражку (чтобы слегка позаботиться о «злом» расположении).

Целую,
Мутти

Она прилагала к письму свою фотографию в «яхтсменском» наряде, снятую фон Штернбергом. Фотография произвела такую сенсацию среди дам из высшего общества Малибу-Бич, что, как она написала на обороте, студия планирует растиражировать ее тысячами с надписью: *«Женщина, которая нравится даже женщинам».* Мой отец посмеялся, вставил ее в рамочку и поместил среди других образов нашей королевы, которые уже теснили друг друга на длинном узком столе в нашей гостиной. Когда бы я ни входила в гостиную, магнетический взгляд этих прекрасных глаз словно бы следовал за мной. Лицо моей матери на фотографиях всегда вызывало во мне чувство суеверного страха, как будто она здесь, поджидает, вот-вот задышит, сойдет с этих бумажных картинок.

Голливуд. Начало

Папиляйн,

Завтра начинаем съемку. Конечно, забавны все эти: «Новая штучка из Германии», «Ответ «Парамаунта» на Гарбо» и «Великая находка века», но теперь я чувствую ответственность перед Джо всем этим быть, и хотя я уверена, что с его помощью все смогу, тем не менее нервничаю и боюсь.

М.

Морской туман на палубе маленького парохода где-то у берегов Северной Африки. Появляется женщина. Гаснущий свет дня чуть затеняет ее высокие скулы; изящная шляпка подчеркивает совершенные линии головы; и лишь глаза — глаза, которые столько повидали, доносят свою разочарованность до молчаливых наблюдателей. Из-под края вуали изгиб прекрасных губ намекает на страдание, пережитое когда-то в былом, когда она еще доверяла, еще верила в любовь. Ее веки устало приподнимаются, она изучающе смотрит на незнакомца, который подходит к ней с услужливым видом, и произносит: «I won't need any help» (Мне не нужна помощь). Как лопнувший воздушный шар, взрывается конечное «lp» в наушниках звукооператора; он срывает их с головы и в оторопи смотрит на режиссера. Фон Штернберг кричит «стоп»; все замирает на громадной площадке звуковой студии.

Сбылись ее многодневные тревоги. Она знала, что для своей первой американской роли, для звездной роли, гортанный, неотшлифованный английский, который работал на нее в «Голубом ангеле», не подойдет. Женщина-мечта, женщина-загадка, сотворением которой они с фон Штернбергом несколько недель занимались в портретной галерее студии, должна была иметь безупречный выговор. Задолго до начала съемок «Марокко» ее лицо уже стало идеалом, грезой всех фотографов-портретистов. Сотни изображений новой Дитрих, какой ее видел фон Штернберг, ходили по всему «Парамаунту»; возбуждение, ими вызываемое, превосходила только радостная истерия рекламного отдела студии. И вот теперь впервые магическое лицо заговорило — и одним-единственным звуком разбило вдребезги очарование образа.

Звукооператор предложил фон Штернбергу перекрыть все слово звуком пароходной сирены. Главный оператор, несогласный так резко прервать крупный план, в свою очередь, предложил вставить слово позже, когда мисс Дитрих овладеет

правильным английским произношением. Сойдясь с режиссером, они совещались на пониженных тонах. Как ребенок, который ждет наказания, звезда осталась стоять на положенном по сценарию месте в молчаливом страхе.

— Благодарю за ваши логические предложения. Мы сейчас устроим десятиминутный перерыв. Всем освободить площадку. Остается только мисс Дитрих.

Наедине с ней, на затемненной, пустой площадке фон Штернберг зажег ее сигарету и тихо заговорил по-немецки. Да, они могут заблокировать любые ошибки в произношении звуком сирены, как замазали «th» в слове «moth», выдававшее в ней немку, когда она в Берлине пела по-английски «Вот опять я влюблена», а если в сцене ночного клуба у нее тоже будут проблемы, их можно снять с помощью простых аплодисментов. Где-то можно будет дать пистолетный выстрел, где-то — уличные шумы, цоканье подков — все это можно сделать, но ведь он и она находятся в процессе создания звезды, существа блистательного. У такого существа должен быть свой собственный, уникальный звук, своя собственная песнь Лорелеи, ей негоже полагаться на дешевые механические трюки. Она должна соблазнить своим голосом уши всего мира, как соблазнила его глаза, и начинать этот процесс надо с самого начала.

Она знала, что он прав, и кивнула. Призвали команду. Дитрих предприняла новую попытку — провал! Снова и снова повторяла она неподатливую фразу, но от стыда, от боязни показаться смешной спотыкалась на окончании. В панике она утрировала произношение — полный кошмар. Ситуация была на грани комического. Но никому не приходило в голову смеяться. На двадцатой попытке все уже жалели ее, злились на фон Штернберга: что бы ему отказаться от этого слова, вот уперся! На тридцатой попытке все уже ненавидели его за жестокость, за травлю этой красивой и вконец растерявшейся женщины.

Фон Штернберг наконец прекратил пытку. Выключив прожектора, он снова подошел к ней, мягко сказал по-немецки:

— Ну-ка, послушай меня внимательно. Представь, что твой ум — чистый лист. Забудь все! А теперь я хочу, чтобы ты сказала это слово по-немецки: H-E-L-P. Каждой букве этого слова соответствует точный звук, такой же, как в немецком алфавите. Поняла?

Она кивнула, цепенея от ужаса перед очередным провалом.

— Скажи это слово *по-немецки!* Ну, давай!

Она сделала, как он велел — сработало! Звук получился на славу. Команда едва удержалась от аплодисментов.

Это был худший день в моей жизни. Вышло, по-моему, с сорок девятой попытки — или с сорок восьмой — не хочется вспоминать. К концу дня меня трясло от позора и от изнеможения. Но Джо был прав. По крайней мере мне не надо бояться завтрашнего просмотра.

Фон Штернберг послал к ней в артистическую уборную предложение заключить мир, подписавшись «Злодей». Она вложила записку в письмо моему отцу без дальнейших комментариев.

Папиляйн,

Сегодня парикмахеры сказали, что мои волосы выглядят на экране слишком темными и их надо обесцветить. Я отказалась. Вошел Джо и сказал им: «Чушь» Главный у парикмахеров возразил: «Это необходимо. Иначе нет возможно». Джо отрезал: «Все возможно, ничего необходимого нет». Он меня прикрывает, он все держит под контролем, защищая меня всеми способами. На площадке никого ко мне не подпускает. Сегодня звукооператор велел мне говорить погромче. Джо ему: «Вам запрещено разговаривать с мисс Дитрих. Все вопросы — ко мне, а я передам ей, если сочту нужным». А его терпение! Он сносит и мои черные наряды, и как я прячусь за спинками стульев, когда говорю «страстные слова».

Гари Купер приятный и симпатичный. В газетах написали, что Лупе Велес (его подружка) грозилась выцарапать мне глаза, — если я только к нему подойду. К нему подойдешь! В перерывах между сценами она сидит у него на коленях. Я держусь поодаль, видит Бог, и не разглядываю, что они делают, но, по-моему, они делают то, что положено только за закрытыми дверьми.

Нелли Мэнли — девушка, которую ко мне приставили как личную парикмахершу, но ты же знаешь, я сама убираю волосы. Девушка, правда, хорошая и делает, что ей велят. Я проходила мимо гримерной Бинга Кросби и услышала голос Таубера. Это было «Warum?» («Почему?»). Я остановилась послушать. А Нелли: «Вы бы лучше не останавливались. Завтра в «Репортере» будет: «Дитрих в гримерной у Бинга!»» Она имела в виду «Голливуд-репортер», газетенку, которую тут все читают и обсуждают.

Пришлось слушать из моей гримерной — с открытой дверью. Теперь я знаю, почему Бинг Кросби такая большая звезда и почему я так люблю его пластинки. Он все сдул у Таубера. У меня такая меланхолия. Очнусь: оказывается, я прижимаю фотографию Ребенка к сердцу. Как мне хочется снова обнять ее…

— Мисс Дитрих, сделайте все в точности, как я говорю. Посмотрите на него, на счет «раз — два» скажите: «Тебе лучше сейчас уйти…» Направьтесь к двери, считайте «раз-два-три-четыре», *медленно*! Обернитесь, не смотрите на него, скажите: «Ты…» *Пауза.* Считайте «раз-два-три-четыре». Переведите глаза на его лицо. Не мигайте. *И только тогда* скажите — *медленно*: «Кажется, ты мне нравишься».

Он снял сцену крупным планом, я еще не видела, чтобы так долго держали крупный план. В студии говорят, что такого «иди ко мне» во взгляде там еще не снимали. Джо в точности знал, как выйдет на пленке лицо, как будут выглядеть эти длинные ресницы. Когда был просмотр, я подумала, что это предел сексуальности. Но если смотреть, зная, что все идет на счет «раз-два-три», — может быть очень забавно!

Когда почтальон принес мой индейский костюм, оказалось, что там ничего не забыто. Даже томагавк, раскрашенный в зеленый и голубой, с кожаными ремнями. В тот вечер мне разрешили нацепить его на себя к обеду. Даже если бы не разрешили, вряд ли кому-нибудь удалось снять его с меня!

— Мисс Дитрих, что я велел вам сделать?

— Вы велели вынуть сигарету из пачки.

— А разве я не упомянул при этом, что вам страшно?

— Но вы велели не подавать виду!

— Чтобы не заметил Менжу, а не я.

От его недовольства она, как всегда, разнервничалась. Глубоко вздохнула, прежде чем выговорить:

— Мистер… фон… Штернберг… я… я не знаю, чего вы от меня хотите.

— Повторить!.. Звук! Мотор!

С внутренней дрожью, пересиливая себя, униженная и пытающаяся этого не выдать, она повторила сцену. Стараясь, чтобы не дрогнуло лицо, вытянула сигарету из пачки. Камера зафиксировала напряженность ее черт и дрожание пальцев.

— Стоп! Так и оставим!

Это было то, чего он добивался: дрожь руки.

Папиляйн,

Джо лучше удается вытянуть из меня то, что я чувствую, чем мне самой. Из-за Мутти актерское дело дается мне ох как трудно. Во мне засело: «Нельзя выдавать свои чувства, это дурной тон». Джо говорит мне, что делать, и я делаю. Я — его солдат, он

— мой командир, и он ведет меня через каждый дюйм фильма. «Поверни голову налево, теперь направо, не торопись…» И это очень удобно — выполнять приказы, — но иногда утомляет… Операторы называют меня Розовым Ангелом, потому что считают, что я чересчур сдержанная, никакого темперамента. Когда на площадке Джо фон Штернберг, там немного места остается для темперамента. Честно говоря, тут все — просто его орудие по извлечению эмоций.

Визуально ему удалось то, что, как говорили парикмахеры, невозможно без обесцвечивания волос, — он изменил их оттенок. Он дает подсветку сзади, так умело, что над головой как будто ореол. Это поэт, который пишет не словами, а образами, а вместо карандаша у него — свет и камера.

Я — его творение, дело его рук. Он придает впалость моим щекам — тенями, — он распахивает мои глаза, и я сама заворожена своим лицом на экране, и каждый день предвкушаю просмотр, чтобы увидеть, как я, его создание, буду выглядеть.

По завершении съемок началась личная одиссея фон Штернберга: вырезать, клеить, формовать «Марокко» в магическое целое, которое ему виделось. Потом он прокрутил фильм для моей матери — только они вдвоем сидели в просмотровой. Она не произнесла ни слова, не выпускала его руку из своей, сжимая ее всякий раз, как что-то казалось ей замечательным. Он любил рассказывать, что после просмотра его рука была вся в синяках и распухшая. В тот вечер, по дороге домой, она сунула записочку в карман его брюк:

Ты — Ты один — Маэстро — Даритель — Оправдание моей жизни — Учитель — Любовь, за которой мне должно следовать сердцем и разумом.

Ей так понравилось написанное, что она послала копию моему отцу. Почти сразу же был запущен в производство их следующий фильм. На сюжет, набросанный фон Штернбергом, о прекрасной шпионке X-27, которую в финале расстреливает красивый офицер. Для американского рынка фильм назвали «Обесчещенная». На «МГМ» поспешно готовились к съемкам «Мата Хари», следующей ленты с Гретой Гарбо.

«Парамаунт» выпустил в прокат «Голубого ангела» не раньше, чем их новая иноземная собственность стала угрозой для Гарбо и получила бурное одобрение за роль, снятую в Америке. Так что к тому моменту, когда сделанный еще в Германии фильм ударил по американскому рынку — в декабре 1930 года — публика была

уже загипнотизирована загадочной героиней вышедшего за месяц до того «Марокко». Хотя Лола из «Голубого ангела» была очень хорошо принята, этой шикарной оторве, этой портовой проститутке было не переломить впечатления от разочарованной и томной героини «Марокко». К тому времени, когда вышел второй американский фильм Марлен Дитрих, три месяца спустя после двух первых, ее имя уже заняло звездное место перед названием фильма, где ему предстояло стоять еще многие годы.

Совершенно не разбираясь в деловой стороне киноиндустрии, моя мать сделала, что ей велели, удовлетворила все чаяния фон Штернберга, упаковала вещи, дала ему поручение найти дом побольше «с бассейном для Ребенка» и одарила прощальным поцелуем. Она спешила в Берлин ко дню моего рождения. Мне исполнялось шесть лет.

Шел к концу 1930 год. Ей было без малого двадцать девять. Она снялась в трех фильмах, которые будут жить вечно, из них два — главным образом благодаря ей. Она стала звездой мирового кино. Какой год для романтической девушки из Шёнеберга!

Провожая ее на станцию, фон Штернберг опустил прощальную записочку в карман ее брюк.

Любимая — любимейшая из всех — я благодарю тебя за чудесную записку и за все хорошее и плохое — все было прекрасно. Прости меня за то, что я такой — я бы не мог, не сумел быть другим.

Прощай, любовь моя, да будут прекрасными твои дни,
Твой Джо

Приезд моей матери предвозвестило прибытие ее новых дорожных сундуков, сделанных для нее на заказ в Америке: двухтонные, серые, с латунными замками, украшенные большими черными «М» и «Д». Их было шесть, каждый величиной с кладовку. Они перегородили нашу прихожую, как каменный забор с монограммами. После того как их разгрузили, их серые камчатные недра стали моими любимыми игрушечными домами.

В первый момент я не узнала тоненькую изящную леди, вошедшую в наш дом — но когда она покрыла меня поцелуями, все стало ясно: вернулась моя мама. Все же разница чувствовалась: какая-то новая властность, уверенность в себе, как будто королева стала королем. Я, конечно, облачилась по такому торжественному случаю в свой индейский костюм. Она упала на колени, тиская и сжимая меня так сильно, что я чуть не задохнулась.

— Что? Ты простужена? Папи! У Ребенка кашель! Я оставила тебя больной, возвращаюсь — ты снова больна? Немедленно снять этот дурацкий наряд и марш в постель… — Жизнь вернулась на круги своя.

Поприветствовать мою мать сбежались все ее берлинские друзья. Ловя каждое ее слово, мы слушали голливудские истории, мы слушали, как снимались ее первые американские фильмы.

— Погодите, вот увидите «Марокко». У вас дух захватит — и это все работа фон Штернберга. Я выгляжу сногсшибательно, крупные планы — восторг. Но когда дойдет до рук… — толстуха! И такая же беда с бедрами. Ноги, конечно, мы должны были показать, но Джо больше не хотелось выставлять пояс с подвязками; кроме того, в Америке они из подвязок *делают дело.* Подвязки их *шокируют* — как будто это что-то из Маркиза де Сада. Так что мы остановились на шортах из черного бархата — чтобы скрыть бедра. И снова беда! Из-под черной линии шорт белые бедра просто выпирали, но я поправила дело длинным боа с бахромой. Я свешивала его на то бедро, которое было ближе к камере!»

Она наложила себе в тарелку еще порцию фаршированной капусты. Вероятно, она порядком оголодала. Перед самым обедом я видела, как она жевала ломоть ржаного хлеба с гусиным салом.

— Лучше всего в «Марокко» — это когда я в своем собственном фраке. Выглядит шикарно. Фон Штернберг *начал* с него. Публика, конечно, ждет *ноги* — так вот же вам на закуску брюки! Неплохая идея? Авторство, естественно, Джо. Он знал, как отлично будут выглядеть цилиндр и фрак, а… Гарбо, вы знаете, почему-то выглядит кошмарно в мужской одежде — что очень странно, потому что все говорят, что она из герл-скаутов. Так что я делаю, когда я во фраке? Я подхожу к столику одной хорошенькой женщины и целую ее — в губы — потом откалываю от ее платья гардению, подношу ее к носу и вды-ха-ю! Вы понимаете, как и зачем я это делаю. Ничего себе? Потом я перебрасываю цветок Куперу. Публика неистовствует. А если даже американцы принимают эту сцену, представляете, что будет, когда фильм привезут в Европу?

Вообще, поскольку они в чем-то очень умны, — она подцепила еще один соленый огурчик, — в чем-то они могут быть совершенно тупые. Они точно так же переживают за меня, когда я ухожу вслед за Купером в пустыню. Ей-богу! Джо *заставил* меня идти за ним по пустыне — на высоких каблуках! Мы с ним просто переругались из-за этого. Наконец, он разрешил мне снять эти дурацкие туфли на середине съемки. Песок, конечно, обжег мне ступни, но по фильму получилось хорошо, что сначала я была в

туфлях. Он знал. Он это мысленно прокрутил в голове, а теперь это всем нравится. Джо говорит, что иногда я могу ужасно ошибаться — и он прав. А слышали бы вы, какие вопросы задают американские репортеры! Вот уж кто не стесняется! «Какой у вас размер обуви? Сколько вы весите? Ваш рост?» Забавно… такая неотесанность. Лезут в личную жизнь. О таких вещах должны знать только в гардеробной… но американцам подавай всю подноготную. Наконец, мне пришлось спросить Трэвиса Бентона, сколько во мне роста. Он сказал: «Пять футов и шесть дюймов». Что бы это значило? Ты не знаешь, Папи, сколько это по *человеческим* меркам?

Мой отец ответил:

— Один метр шестьдесят семь с половиной сантиметров.

— Час от часу не легче!

— Мутти, — осмелилась я спросить, — а твой дикарь был в «Марокко»?

Она налегла на яблочный штрудель.

— Разумеется, мой ангел… а теперь у меня есть еще одна кукла. Мистер фон Штернберг подарил мне *кули* — тоже из войлока, с настоящими черными волосами, в остроконечной соломенной шляпе и в деревянных китайских башмаках. Обе куклы сидят на моем гримировальном столике в сцене с туалетной комнатой. И в «Обесчещенной» тоже.

В то Рождество у нас была самая большая за все время елка, и на ней столько красных восковых свечей, что они согрели всю комнату. Я получила в подарок бакалейный магазинчик с прилавком мне по пояс, на нем — медные весы, маленькие гирьки и несколько лотков со всевозможной колбасой из марципана. На вид она была такой настоящей, что, казалось, пахла копченой свининой. Я часами могла возиться, нарезая ее на кусочки ножичком, взвешивая и отпуская покупку, крутя ручку серебристого кассового аппарата и выдавая сдачу. Главными покупателями были Тами и Бекки. Мое последнее Рождество в Германии выдалось особенно запоминающимся.

Теперь, когда мне «официально» исполнилось шесть лет, я знала, что уже доросла до школы. Мне так хотелось пойти в школу учить разные предметы, быть среди ровесников, завести товарищей, носить в ранце за спиной толстые учебники и, может быть, даже деревянный пенал с мягким ластиком и фетровой тряпочкой для перьев. Но времени для всего этого не было: нас поджидал пароход и новая жизнь в месте под названием Голливуд. Может быть, там дети тоже ходят в школу? Может, и мне разрешат пойти в школу? Я спросила об этом отца.

— Нет, Кот. Там все говорят по-английски, сначала тебе надо будет выучить язык. Только тогда тебе разрешат пойти в школу.

Я уже знала «о'кей» и решила, что остальное выучу быстро.

— А у американских детей есть деревянные пеналы с тряпочкой для перьев?

— Может, и есть.

Я почувствовала, что отца, занятого составлением списка покупок, начинают раздражать мои вопросы. Лучше было его не трогать.

Пока моя мать была в Лондоне на премьере «Марокко», у меня заболел щенок. Отец повез его к доктору. Вернулся один и сказал мне, что щенок умер и «что это даже к лучшему, потому что, оказывается, он родился с опухолью в нижней части кишечника и умер бы так или иначе». Отец был так же точен в своем отчете, как когда объяснял про свои колбы с человеческими органами. Он потрепал меня по плечу, сказал, чтобы я не переживала, и пошел отменять забронированное для собаки место в багаже мисс Дитрих на пароходе «Бремен». Я могла поплакаться только Тами. Она никогда не храбрилась, не скрывала своих чувств, не притворялась. Я рассказала ей про свою печаль, и она обняла меня и успокоила без риторических фраз.

Перед самым отъездом из Берлина моя мать повела меня к доктору, чтобы он осмотрел мои «кривые» ноги. Доктор объявил, что теперь они в полном порядке. Моя мать поцеловала сначала его, потом мои ноги. Вернувшись домой, она велела Рези: «Распакуй колодки, мы их оставляем, Ребенок поправился!» Мой отец только улыбнулся и никак не прокомментировал это «чудо» современной медицины.

Бекки ехала с нами.

— Поскольку никто из вас все равно не знает по-английски, будете учить его все вместе, — заявила моя мать.

Начались прощальные визиты. Я отдельно навестила бабушку. Она посмотрела на меня, как на обреченную, наказала хорошо вести себя, слушаться маму, помнить, что я немка — что бы ни случилось. Потом поцеловала меня так нежно, как никогда, и сказала: «До встречи». Перед уходом я успела попрощаться и с маленьким домиком на чердаке.

Меня одели в белую кроличью шубку и такую же шапку, муфта на шелковом шнуре свисала из-под воротника. Мой роскошный дорожный костюм довершали белые гамаши и ботинки с меховой оторочкой. Снаряжение — как для экспедиции на Северный полюс, только с данью элегантности. На моей матери было парижское шерстяное платье «арт деко» от Пату и

леопардовая шуба — из «Голубого ангела», которая каким-то образом попала в ее коллекцию. Мой отец не одобрил этот ансамбль.

— Нельзя сочетать узорчатое платье с таким пестрым мехом, как леопардовый, — заметил он.

Моя мать пытливо взглянула на себя в зеркало, хотела было переодеться, но времени уже не оставалось.

Пароход «Бремен» был большой невероятно! Лаже запрокинув голову, я едва могла различить верхушки его гигантских дымовых труб. Как могла такая громадина и такая тяжесть плавать по воде и доплыть до Америки? Оставив мою мать и представителей студии «Парамаунт» разбираться с толпой репортеров, мой отец провел Бекки, Рези и меня по крытому трапу на пароход. Запах резины и политуры для металла был для меня, словно удар кулаком в живот, а ведь мы еще не тронулись с места! Но я проглотила слюну и прошла по слабо освещенным коридорам до нашего отсека на пароходе. Все было громадным, пустым, с острыми углами: роскошь из сверкающего хрома, меловой белизны и угольной черноты, — все холодное, как лед. Посреди этого необъятного пространства одиноко торчали необходимые предметы меблировки. Мы разместились с размахом — каждому по каюте, даже особая каюта для сундуков. Багаж, который не мог нам понадобиться за семь дней пути, поместили в трюм. Молодые люди, голубоглазые, с выцветшими волосами, в жестких форменных жакетах стали вызванивать на колокольчиках, которые держали в руках, простенький мотивчик, выпевая: «Все на берег, кто на берег!» Все заволновались, засуетились, заплакали.

Моя мать поцеловала моего отца; моя мать поцеловала Вилли Форста; моя мать поцеловала Тами; моя мать поцеловала еще многих, а они в ответ целовали ее. Я поцеловала моего отца, прижалась к Тами. Тами крепко поцеловала меня, обняла с выражением боли и сунула в руки сверток в русской упаковочной бумаге. Моя мать отдавала последние указания остающимся. Загудел пароходный гудок.

Не желая поднимать суматоху, — ее уже прекрасно узнавала публика, — мать осталась в каюте, а мы с Бекки вышли на палубу, в толпу машущих руками и что-то кричащих людей. Среди провожающих, сгрудившихся внизу, на причале, мы пытались разглядеть моего отца и Тами. Я стояла у поручней, неистово размахивая руками в надежде, что они меня увидят. В глубоком кармане моей кроличьей шубки лежал прощальный подарок Тами — деревянный пенал с фетровой тряпочкой для перьев и с мягким

ластиком. Хотя в школе он мне ни разу не пригодился, я многие годы носила его, как талисман.

Я вернулась в наши каюты и попала как раз на процедуру стерилизации. Так состоялось мое посвящение в тот ритуал, который сопровождал всю мою жизнь с Дитрих. У нее была мания, граничащая с фобией: боязнь микробов. Где бы мы ни располагались: во дворце, в замке, на первоклассном пароходе, в поезде или отеле, — на свет первым делом извлекались бутыли с медицинским спиртом и начиналась «процедура *унитаз».* Эту манию не поколебало даже открытие пенициллина. После того, как была устранена «грязь, которую люди оставляют на сиденьях унитазов», я стала наблюдать, как Рези вынимает визитные карточки из многочисленных букетов и складывает их в большой коричневый конверт с надписью ««Бремен» — апрель 1931». Сама того не осознавая, я училась правилам работы, которая позже стала моей. Пока Рези собирала урожай маленьких белых карточек, она объясняла мне, что Мадам сохраняет карточки вовсе не для того, чтобы посмотреть, кто прислал цветы. Мадам никогда не пишет благодарственные записочки тем, кто посылает цветы. Карточки сохраняются по одной-единственной причине: на тот случай, если когда-нибудь Мадам придет в голову спросить, кто в такой-то день *не послал* ей цветы. Не стоило опасаться, что цветы, посланные друзьями, останутся незамеченными: все, кто близок к Мадам, знают, что не надо посылать «личные цветы» тогда, когда мадам засыпают цветами «официальными». Преподносить цветы моей матери всегда было делом очень сложным.

На другой день со мной случился первый, но, к сожалению, не последний приступ морской болезни. Моя мать была очень мила со мной, поддерживала голову над обеззараженным унитазом, дала мне почистить зубы своим специальным розовым зубным порошком из Лондона. Но я почувствовала, что порчу ей путешествие, что я, как спутница, далека от совершенства. Я знала, как она любит, чтобы все было красивым — музыка, стихи, места, люди. То, что люди думали, было неважно — лишь бы в это время они красиво выглядели. Ну, а наблюдать рвоту ни в каком случае нельзя было счесть приятным для взгляда! Я решила подчинить себе свой желудок, но была обречена на неудачу: в Голливуде меня поджидала качка в лимузинах и на извилистых горных дорогах.

На «Бремене» была специальная комната, где пассажиры первого класса могли оставлять своих отпрысков. Я, никогда не бывавшая среди детей, нашла, что игры в обществе — это захватывающе. Брунгильда с пышным бюстом в крахмальной

форменной блузе и матросской фуражке методично надзирала за чередой наших развлечений. «Лошадь-качалка» — мы качаемся; «сказочный час» — слушаем истории о детях, заблудившихся в ужасно темных лесах, где их поджидают голодные ведьмы; «Панч и Джуди» — смотрим, как кукла с очень большой дубинкой бьет по голове куклу с очень большим крючковатым носом; «час рисования» — рисуем! Каждому было выдано по жестяной коробке с красивыми цветными карандашами и по книжке-раскраске с изображением животных. Каждый день предстояло раскрашивать одно из них. Первый день был «ослиным». Искренне желая стать частью этого странного, нового для меня детского мирка, я старательно взялась за работу, решив, что самый подходящий цвет для ослиных ушей — красный. Трудясь над их раскрашиванием, я вдруг получила резкий шлепок по плечу.

— Что ты делаешь? — раздраженно прозвучало по-немецки.

— Раскрашиваю уши ослу, мадам.

— Красным? — Гневная Брунгильда повернулась к другим детям. Кто из вас видел когда-нибудь осла с красными ушами?

Я заметила, как некоторые быстро прикрыли ладошками своих ослов. Раздались смешки и злорадное хихиканье. Брунгильда вырвала провинившуюся страницу из моей раскраски и, ткнув длинным указательным пальцем в картинку еще совсем голого осла, велела мне тоном, не допускающим возражений, на *сей* раз сделать все правильно — или распрощаться с цветными карандашами на весь остаток трансатлантического пути. Меня также предупредили, что если я залезу за контурные линии, то получу еще один неприятный сюрприз. С того часа мои ослы всегда были безупречно серыми. Много лет спустя я отомстила тевтонскому угнетению творчества тем, что устранила раскраски из воспитательного процесса своих детей.

В пароходном бассейне я не плавала, потому что плавать не умела — так же, как Бекки и Рези, — моя мать плавать ненавидела. Кроме всего прочего, она никогда не позволила бы какой-то чужой публике пялиться на нее в купальном костюме. Так что я просто сидела, глазея на леди и джентльменов, проходящих мимо меня по кафельному полу в купальниках из плотной синей шерсти, в резиновых шапочках и цветных шлепанцах. Пароходные бассейны, даже самого высокого класса, всегда пахли дезинфекцией и искусственным теплом, а от пронзительных воплей восторга и от плеска воды, отдающегося эхом от кафельных стен, казалось, что это место — какой-то подземный санаторий для умалишенных.

Я знала, что моя мать ожидает отчета о том, что я делаю,

когда мы не вместе, поэтому я решила рассказать ей про случай с ослом.

— …а няня сказала: «Красным?» И потом спросила других детей…

Моя мать, сидя за туалетным столиком, прервала меня:

— Радость моя, не надо говорить, лишь бы что-то сказать. Говори, только когда тебе действительно есть что сказать — что-нибудь интересное и умное. Ты уже большая девочка, скоро семь лет, пора бы это понять.

— А я думала, что это интересно, — пробормотала я.

Моя мать поплевала на краску для ресниц, тщательно растерла ее маленькой щеточкой.

— То, что делают дети, как правило, не очень интересно. Будь спокойна и слушай, что говорят умные люди. Учись у них и все запоминай, как я тебя приучила.

Она щеточкой подчернила ресницы.

— Я лучше буду слушать, что ты говоришь, Мутти.

Это были не сарказм и не лесть. Я не лукавила. Я знала, что моя мать в самом деле очень умна — это говорили все.

Она взглянула на меня в зеркало и улыбнулась в знак одобрения. Мой ответ ей понравился. Я решила это запомнить.

Наконец настал долгожданный день. Все было упаковано: сундуки, шляпные коробки, чемоданы. Подготовлен длинный список чаевых, разложены костюмы, в которых нам предстояло сойти на берег. Пока моя мать занималась прической, я забралась на самую верхнюю палубу парохода, высматривая *Америку*. И вот в пелене морского тумана я увидела гигантскую леди с высоко поднятым факелом, как будто она освещала нам путь в надежную гавань — и сердце вдруг сказало мне, что Я ДОМА.

Меня с Бекки и Рези — в моем представлении мы уже были «труппой» — послали на берег первыми. Один из представителей «Парамаунта», которые материализовывались из ничего, стоило нам появиться в любом уголке света (они были так похожи друг на друга, словно на «Парамаунте» их размножали клонированием), быстро и уверенно провел нас за огромную загородку и усадил под огромным знаком с буквой «S». Я хотела было уже спросить у Рези, что это значит, когда вдруг появилась моя мать, белая, как мел, схватила меня за руку и бегом потащила за собой. Репортеры, нюхом учуяв сенсацию, пустились за нами по пятам. Парамаунтовский близнец крикнул: «Сюда!» — втолкнул нас в большой черный автомобиль, и мы помчались прочь от причала в спасительный отель «Амбассадор», на перевалочную станцию перед большой стоянкой в Нью-Йорке, откуда мы должны были отправиться в Чикаго. Пока мы не вошли

в наши номера, моя мать не произнесла ни звука и не ослабила тиски на моем запястье. Не сняв ни шляпу, ни пальто, она заказала междугородный разговор: Голливуд, — потом закурила и с застывшим лицом села ждать. Телефон зазвонил. Она схватила ушную трубку, подставку и по-немецки закричала в трубку с микрофоном:

— Джо? Тебе не придется встречать мой поезд! Ты меня слышишь? Я возвращаюсь в Берлин ближайшим пароходом. Как ты посмел позволить этой женщине так обойтись со мной и с моим ребенком? Мне предъявляют иск? Ты, с твоей любовью контролировать всех и вся, не можешь проконтролировать свою собственную жену! Я забираю своего ребенка обратно в Европу, где у людей еще сохранились хорошие манеры!

Она бросила на рычаг ушную трубку, потом снова подняла ее и заказала разговор с Берлином. Снова мы сидели и ждали. Она снова молча курила. Я в парадном костюме ерзала на стуле, гадая, что такое иск и что теперь будет. Зазвонил телефон.

— Папи?

Последовал точный отчет обо всем, с ней произошедшем.

— Да! Судебный исполнитель, прямо у трапа! Эта уродина, его жена, меня преследует! Да… я знаю… в это трудно поверить! Она говорит, что я украла у нее мужа!!! Да он никогда не был у нее на первом месте! Она заела его жизнь! Мы уезжаем из Америки!

Начался телефонный перезвон. Комнат в наших номерах было много, и в каждой — по телефону. Мы с Бекки и Рези сбились с ног, бегая от аппарата к аппарату, натыкаясь друг на друга, отвечая на звонки разных важных персон «Парамаунта», его юристов, фон Штернберга и прочих. Поскольку наш английский сводился к «Хелло» и «Вейт плиз», мы судорожно спешили передать трубки моей матери — из всей компании только она одна говорила по-английски. Она металась из комнаты в комнату, заявляя всем и каждому, что собирается обратно в Берлин, «где еще есть благородство». Тем временем я проголодалась и, кроме того, я все время пыталась сообразить, где в этом дворце может быть замаскирована туалетная комната. Мать заказала еще раз Берлин, потом позвонила в какое-то «бюро обслуживания», чтобы подали завтрак.

В считанные секунды к нам вкатился столик, уставленный самым прекрасным на свете фарфором. А в высоких стаканах с мерцающей водой плавало что-то похожее на настоящий лед в маленьких кубиках — чары Америки! Еда была интереснейшая. Кусочки мяса назывались смешно: «бекон», но зато на вкус были… Сок в большом кувшине выжали из настоящих

апельсинов, а блюдо под названием «желе из красной смородины» хотя моя мать и сочла его кошмарным, мне очень понравилось на вид: оно сначала тряслось, а потом таяло на пропитанном маслом ломте теплого хлеба, который назывался «тост» Наконец, нас во второй раз соединили с моим отцом.

— Да, Папи! Да. Я знаю! И Шульберг, и Ласки, и Эдингтон говорят то же. Я отказываюсь от *великой* карьеры в порыве гнева. В ответ на *оскорбление,* сказала бы я! Они все твердят, что я теперь такой ценный член «большой парамаунтовской семьи», что студия защитит меня ото всего! Я могу ответить только: *неббиш*! Что же они тогда не остановили судебного исполнителя у трапа, а? Да, я знаю… знаю… да… Целую тебя. Ребенок тоже. Если это подхватят берлинские газеты, позвони Мутти, скажи ей, что это неправда… и Лизель тоже позвони.

В глубокой задумчивости она подцепила ломтик бекона с моей тарелки, отхлебнула кофе, а затем, расправив плечи, объявила «труппе», что мы продолжаем путь в Чикаго и Голливуд. Люди с «Парамаунта» бережно вывели нас из отеля, минуя хищную прессу.

— Бог мой! Опять цветочная лавка! — воскликнула моя мать, когда мы сели в «XX век ЛТД» и оказались в салоне пульмановского вагона. Я уже заметила, что где бы ни появлялась моя мать, там тут же возникала оранжерея! Прежде чем приступить к дезинфекции, она велела Рези вызвать звонком проводника.

Деликатный стук в дверь, вежливое «да, мэм» — и перед нами оказался человек с черным лицом! Я знала, что это дурной тон — пялить на кого-либо глаза, — но не могла удержаться. Моя мать что-то сказала ему по-английски, и я, не понимая слов, поняла приказ, потому что в несколько присестов все корзины с цветами были вынесены. Она удовлетворенно оглядела наш опустевший салон.

— Теперь можно дышать! Почему люди так любят уничтожать цветами кислород, непостижимо. Неужели они не понимают, что это всего лишь купе в поезде?

Меня распирало от впечатлений.

— Мутти, у этого человека черное лицо! Прямо как у твоего дикаря!

— Радость моя, в этой стране ты увидишь много таких, чаще всего это слуги и чечеточники, танцоры. А в Беверли-Хиллз все садовники — китайцы. В этой стране всего понамешано!

Чуть ли не каждую минуту в моем новом доме открывались захватывающие сюрпризы!

На другое утро мы прибыли в Чикаго. Я искала взглядом

гангстеров, но были только близнецы с «Парамаунта», которые препроводили нас в отель «Блэкстон», снова в номера-люкс, где все было — красный бархат и позолота, — и где мы приняли ванну, прежде чем сели на поезд «Санта-Фе», который должен был доставить нас в Калифорнию. После устранения пожирающих воздух цветов и инфекции «грязнуль» мы расположились в наших купе на четыре дня, на весь путь до места назначения. В одном купе сразу же приготовили нижние и верхние полки — это стало нашей спальней; другое — гостиной. Моя мать облачилась на все время в свою дорожную пижаму, писала, отвечала на телеграммы, читала. Еду нам подавал любезнейший проводник. Бекки и Рези было позволено ходить обедать в то, что называлось «вагон-ресторан». Мне так хотелось пойти с ними и посмотреть, что это такое!

В Альбукерке (я долго училась выговаривать это слово) я увидела первого американского индейца. Вернее, индианку. Большая тучная леди, обвешанная разноцветными бусами, сидела у железнодорожного полотна и продавала безделушки и корзинки тугого плетения. Я подбежала к ней по платформе, держа в руке долларовую бумажку, которую мне дала мама, и надеясь, что успею что-нибудь купить, прежде чем поезд тронется и оставит меня одну в американской пустыне. Моя мать кричала в окно, чтобы я поторопилась, она уже начала нервничать. Я указала пальцем на маленький полированный камушек — такого цвета я никогда не видела. Индианка протянула его мне: особенно яркий на коричневой мозолистой ладони. Я энергично кивнула, отдала ей свой доллар, мы обменялись сокровищами. Я сделала книксен и бросилась назад, в поезд, сжимая в кулаке мою первую бирюзу, нагретую солнцем пустыни.

Следом за мной вошла какая-то светловолосая женщина. Моя мать подставила ей щеку для поцелуя и познакомила нас. «Мисс Нелли Мэнли со студии, приехала сделать мне прическу». Женщина обняла меня и сказала: «Хай, малыш». Я не поняла эти английские слова, но объятие было красноречиво. Я немедленно полюбила ее.

Меня разбудил резкий запах цитрусовых. Я быстро спустилась со своей полки на пустую нижнюю — мамину. Встав на колени и опершись руками о край открытого окна, я смотрела, как невысокие деревья, ряд за рядом, темно-зеленой листвой подрагивали в ритме нашего поезда. Плодов на них было столько, как будто на них набросили полотнища материи в оранжевую крапинку. Апельсин в Берлине дарили на Рождество, как ценный подарок, а тут они висели тысячами. Я уже начала принимать эту магию, как «в Америке все есть».

Когда поезд снова остановился, я поняла, что мы наконец-то в Пасадине, потому что в наше купе вошел мистер фон Штернберг и обнял мою мать. Она отпрянула, холодно произнесла:

— Ну? Все улажено? Нам выходить из этого поезда или, может быть, нет?

Он отвечал по-английски. То, что он сказал, ее удовлетворило, потому что она надела свою широкополую мужскую шляпу, поправила галстук, взяла меня за руку, и мы вышли на платформу.

Нас поджидала немалая толпа джентльменов с большими квадратными камерами наготове, но когда они увидели меня, то в полном замешательстве повернули головы к фон Штернбергу. Он объяснил моей матери по-немецки, что дети считаются неподходящей компанией для загадочных звезд кино и что мне надо постоять в сторонке, за кадром.

— Да? Сначала меня обвиняют в разрушении семьи, а теперь мне не позволяют быть матерью? Это *мой* ребенок. Она *принадлежит* мне. Никакая *студия* не может диктовать мне, *что* мне делать или не делать с моим собственным ребенком. Она им не нужна? Тогда они не получат и меня!

И мы зашагали к темно-зеленой легковой машине, крылатая эмблема на капоте которой сверкала под солнцем.

Фон Штернберг нагнал нас. Моя мать была в такой ярости, что не переставая повторяла свою угрозу вернуться в Германию на следующем же пароходе. Мне стало даже жаль маленького человечка. Он пытался втолковать ей, что эту проблему уладят тоже, что «материнство» — абсолютно новый образ для голливудской звезды с романтическим амплуа. И что поэтому пресса так поступила. Но можно изменить отношение к этому — и у него уже есть одна идея, если только она ему доверяет.

— Что, доверять тебе? После этого демарша с твоей женой и судебным исполнителем?

— Ты должна знать, что мне ничего не было известно. Любимая, я бы никому не позволил обидеть тебя!

— Обидеть? Нет, Джо, — осрамить, растоптать, унизить!

Остаток пути мы проделали в гробовом молчании. Холмы и извивы дороги, всюду — большие эвкалиптовые деревья, высокие тонкие пальмы, высокие толстые пальмы, низкие коренастые пальмы, пышная трава, усыпанные цветами кусты. Потом изумрудные ковры протянулись каймой вдоль безупречно чистых тротуаров, низкие белые домики с терракотовыми крышами, затейливой ковки ворота, всюду — буйство цветов: они вились, свисали, пышно цвели, занимая все свободное пространство. У меня дух перехватило от такого чуда, и я спросила: «Это

Голливуд?» «Нет, — ответили мне, — это Беверли-Хиллз, где мы будем жить». Так значит, нам предстояло жить в раю!

Машина свернула к дому, стоявшему среди кипарисов и банановых деревьев, которые высились так неподвижно и неуместно, как искусственные на борту «Бремена». Фон Штернберг горел желанием показать моей матери дом, который он снял для нее. Этот наш новый дом был совершенно в стиле «арт деко» тридцатых годов. Элегантный, холодный, как картина Эрте, от всего веяло бесстрастием — тут можно было существовать, не жить. Я была слишком мала и не понимала, почему меня приводит в смущение все это холодное совершенство, мне просто показалось там неуютно. Комнат было невероятное множество, и у каждой было название и назначение. Ведя меня за руку, моя мать, куря сигарету, обходила их поочередно, следом за фон Штернбергом, она даже была раздражена его энтузиазмом. Распахнув огромные застекленные двери, мы оказались в столь же огромной гостиной, которая выходила в *мой* сад. Я вступила во владение им без промедления, даже не дождавшись, пока фон Штернберг договорил: «А это — сад для ребенка с ее личным бассейном». Бассейн был прямо-таки олимпийский, весь в мозаичном кафеле, как на пароходе «Бремен», но поверхность воды искрилась под яркими лучами солнца, как миллион бриллиантов, вот в чем была разница. Да, изысканный дом нашелся для моей матери. Я приняла это пронизанное солнцем царство, ощущение неуюта прошло. Началась моя настоящая жизнь. Поскольку я всегда мысленно распределяла свои детские воспоминания по тем местам, где мы жили, по фильмам моей матери, по ее любовникам и особым событиям, то этот первый голливудский дом стал домом «Шанхайского экспресса», «Белокурой Венеры», Мориса Шевалье, похищения ребенка у Линдбергов и угрозы похитить меня.

Следующий день был полон первооткрытиями. Главное: толстая инвентарная книга, в которой было описано, пронумеровано и оценено все в нашем доме до последней салфеточки. Моя мать ненавидела такие описи. Она бы предпочла жить там, где все было бы ее личной собственностью. В те времена меблированные дома предполагали полностью укомплектованное хозяйство. В наших инвентарных списках никогда не бывало меньше восьми обеденных сервизов на пятьдесят человек, по шесть сервизов для ланча и чая, все из прекрасного фарфора, несколько дюжин хрустальных бокалов и столько столового белья, что хватило бы на Букингемский дворец. Предметом гордости дома были золотые столовые приборы. Серебро высокой пробы предназначалось для ланча. Но подобная

роскошь никогда не производила впечатления на мою мать. Она принимала все изыски, как естественные спутники славы. Следуя примеру матери, я как ни в чем не бывало ела суп солидной золотой ложкой.

В самый первый раз, когда меня взяли на «Парамаунт», я даже не обратила внимания на знаменитые кованые ворота, я была слишком взволнована. Наш важный американский режиссер собирался сделать мою фотографию! Сначала мне вымыли голову, и парикмахерша Нелли сделала мне прическу, потом появилось не платье, а мечта: из органди в цветочек с рукавами фонариком. Я забеспокоилась было: мне казалось, у меня на фотографии будут слишком толстые руки, но решила довериться мистеру фон Штернбергу, он должен был что-нибудь придумать. Моя мать облачилась в черный вельвет, с единственным украшением: скромным воротничком из венецианского кружева. Фон Штернберг сотворил свой первый портрет Вечной Мадонны: женщина, от которой исходило сияние, держала на коленях дивное дитя. Результат так очаровал мою мать, что она заказала несколько дюжин фотографий и разослала их всем друзьям и знакомым. Осчастливленный Штернберг наконец-то получил прощение.

Студийные боссы, поначалу так противящиеся новому имиджу актрисы-матери, тоже остались довольны. Они сообразили, что им достался приз: теперь с именем Дитрих связывались не только «сексуальность», «загадка», «европейская утонченность» и непревзойденные ноги, но еще и «ореол Мадонны». Пусть на «МГМ» кусают себе локти! Грете Гарбо не удастся второпях раздобыть себе ребенка! Рекламный отдел получил распоряжение напечатать несколько тысяч почтовых открыток «Дитрих с ребенком» — для утоления жажды поклонников. К распоряжению прилагалась памятка: обрезать негативы, чтобы я получалась по пояс. Поскольку фон Штернберг снимал только наши лица, отделу реклам нечего было беспокоиться. Еще много лет на официальных портретах меня не снимали во весь рост. В случаях, когда это было абсолютно необходимо, меня снимали сверху, чтобы тело выходило покороче. Такое решение удовлетворяло как «Парамаунт», так и мою мать. Так я дольше оставалась «маленькой девочкой». Сохранились мои фотографии в десятилетнем возрасте, где мне никто не дал бы больше шести-семи.

За одну ночь материнство стало голливудской модой даже для «роковых женщин», а ребенок — непременным аксессуаром. Агентства по усыновлению завалили заказы на «миловидных маленьких девочек». На мальчиков спроса не было. Моя мать

торжествовала, фон Штернберг вздохнул с облегчением, довольный, что наконец-то угодил ей. На «Парамаунте» ликовали. Круг продаж для их главной звезды расширился, теперь можно было бы привлечь и зажиточную публику «Библейского пояса»[3] — той части страны, что до сих пор была недоступна для Голливуда.

Мы в нашем Беверли-Хиллз погрузились в «предфильмовую подготовку». Почти каждое утро к завтраку приходил фон Штернберг в просторных белых фланелевых брюках, шелковой рубахе и жокейской фуражке. Завтракали в саду. Моя мать угощала его своей знаменитой яичницей-болтуньей под синим с белой каймой тентом, под которым, вокруг стола со стеклянной крышкой стояли железные стулья со спинками затейливого рисунка и с подушками на сиденьях. Тускло блестело серебро, сиял фарфор, сверкал хрусталь, на моей матери была свободная пижама кремового шелка и широкополая соломенная шляпа; легкий ветерок шелестел банановыми листьями, в бассейне отражалась безоблачная небесная лазурь… простенький голливудский завтрак…

Иногда по утрам место фон Штернберга занимал Морис Шевалье, тоже в белых фланелевых брюках, но в лихом берете. Этот новый мамин друг мне, пожалуй, нравился. Он много смеялся, умел рассмешить ее, у него была особая манера подмигивать: он мигал на месте точек и запятых, — и, конечно, он любил мамину яичницу. Таково было главное условие для вхождения в круг поклонников Дитрих. Они *должны были* обожать ее яичницу-болтунью — или относились в разряд глупцов, неспособных оценить все остальные прелести жизни. Моя мать придерживалась твердого мнения, что если у кого-то не в порядке одно чувство, то и *все остальное* попадают под сомнение. Когда Шевалье занимал мою мать, я обычно ретировалась. У них и французский был какой-то свой, я не разбирала слов, хотя все было понятно и так — из озорных подмигиваний, смачных улыбок, игры глаз и бурной галльской жестикуляции. Но Шевалье меня все-таки не интересовал. У него на уме было одно: покрасоваться, поставить всех в известность, что Шевалье обожает мсье Шевалье, — остальное не имело значения.

Вечера мы проводили в нашей гостиной — или «приемной», как она фигурировала в инвентарной книге. Моя мать занималась дамским рукоделием — вышивала по канве, туго натянутой на деревянные пяльцы, фон Штернберг пролистывал сценарии, беря их по нескольку штук с полу, из высокой стопки, лежавшей подле

его кресла, и неодобрительно покачивал головой. Я смотрела на огонь в камине, надеясь, что кто-нибудь из них захочет включить большой деревянный приемник, который всегда преподносил множество потрясающих вещей.

Однажды, перед началом работы над фильмом с моей матерью, фон Штернберг подарил мне большого попугая. Впридачу к нему прилагались: пятифутовый насест, жестяные плошки для еды и длинная цепь, закрепленная на одной его лапе с безобразными когтями. Птицы, вероятно, были пунктиком фон Штернберга, потому что год спустя студия, по его распоряжению, построила в нашем саду целый птичник, который он населил всевозможными экзотическими пернатыми. Таким птичником мог бы гордиться любой зоопарк! Но случилась беда: вероятно, разные виды птиц были друг с другом несовместимы и враждовали; в общем, в одно прекрасное утро мы нашли в птичнике только трупики в ярком оперенье. Пока я, рыдая, копала маленькие могилки вокруг роскошных клумб в саду, чем чуть не довела наших садовников-японцев до харакири, прибыла команда с «Парамаунта», разобрала конструкцию и устранила все ее гнетущие следы. Но и та, первая птица, не принесла мне радости! Попугай выглядел щеголем: в синем с красным гусарском мундирчике, с роскошным хвостом, свисающим чуть ли не до земли, но его кривой клюв мог убить. А пронзительный взгляд говорил, что он совсем не прочь это исполнить. Его ястребиные когти были готовы вцепиться во все, что двигалось в пределах его досягаемости. Как я его ненавидела! Он сидел на своем насесте у стеклянных дверей в сад и выжидал. Выход в сад мог стоить жизни. Моя мать была вынуждена выходить через парадную дверь, огибать дом и проникать в сад со стороны аллеи — чтобы избежать нападения этого красно-синего разбойника. Почему от него не избавились или хотя бы не пересадили на другое место, я так и не поняла. Может быть, тут присутствовал мотив «пощадить чувства Джо», хотя его чувства не щадили в гораздо более серьезных вещах, чем избавление от хищного попугая. Я знала про нелюбовь моей матери к домашним животным. В этом прекрасном доме, устланном ценными коврами, я не осмелилась сначала попросить себе щенка. А теперь, когда этот попугай пачкал все своим пометом и шелухой от тыквенных семечек, надежды услышать от моей матери «да» почти не осталось.

«Я растолстела», — сказала моя мать и перестала есть. Дитрих никогда не прибегала к диетам. Она даже не знала, что такое калория. Точно так же, как она никогда не пользовалась кольдкремом, который был основой косметики в тридцатые годы, она отвергала уход за собой до последней минуты. Теперь, как и в

дальнейшем, на протяжении всей своей профессиональной жизни, она принялась за подготовку к работе: пила кофе, чай, английскую соль в горячей воде — стаканами, — курила и не ела, а пощипывала. Эта ее манера есть всегда меня поражала. Соленые огурцы, квашеная капуста, сырые сосиски, селедка и салями. Поскольку она питалась таким образом задолго до изобретения витаминов в таблетках, то как ей удалось избежать бери-бери, истощения или, по крайней мере, гастрита, остается медицинской тайной.

Каждый день после обеда у меня был «час бытового английского» с фон Штернбергом. Он расстроился, когда моя мать не согласилась учить меня сама, и сказал, что это родительское небрежение: девочка будет жить в чужой стране, среди новых людей и чужих обычаев в полной изоляции, — и устранить языковой барьер необходимо. Когда моя мать возразила, что мне нет никакого резона учить английский, потому что в доме все говорят по-немецки, он прекратил дискуссии и выработал собственную программу помощи, составив лексикон из того, что могло мне понадобиться. Никакой чепухи типа «карандаш моей тети лежит на столе», только полезные слова: «звуковой павильон», «гримерная», «гардеробная», «складская», «примерочная», «территория студии», «дизайнер», «режиссер», «досъемочный», «отпечатать» и всякое такое, без чего нельзя на студии. Я была ему очень благодарна. В промежутках между уроками я слушала по радио «Лам и Эбнер» и, оттачивая гнусавый американский выговор, беседовала с садовниками, подхватывала коротенькое японское слово и окружала его певучими окончаниями, которые усвоила от одной из горничных, ирландки. Моя мать, раздраженная всей этой мешаниной, велела мне *прекратить,* слушать только Кросби, который поет, «как Таубер», что смазало все акценты в моей речи, и она потекла, как постное масло. Раздосадованный фон Штернберг принес метроном и с его помощью вернул меня в нужный ритм. А моей матери заметил: «Тебе, любовь моя, это тоже пригодится. Тебе неплохо бы немного попрактиковаться в каденции».

В ту ночь, лежа в постели, я слышала, как они спорили внизу, в комнате моей матери. Я боялась, не будет ли это означать конец моим занятиям английским. Но уроки продолжились, и метроном остался.

К тому моменту, когда мы въехали в ворота студии, призванные на «досъемочное» обсуждение костюмов с главным «дизайнером» «Парамаунта», я уже могла сказать, к кому и зачем мы едем на самом что ни на есть *английском*. Это давало чувство опоры.

Меня представили. Я сделала книксен джентльмену, который выглядел так, будто бы только что сошел с яхты, и моя мать велела мне сесть в кресло с подушечкой для головы.

Частные владения Трэвиса Бентона в гардеробной «Парамаунта» имели вид весьма британский, все тут носило отпечаток элегантной мужественности. Он так экспансивно, с такой теплотой обнял мою мать, что я немедленно поняла: они друзья.

— Трэвис, радость моя.

Ага, еще одна «радость». Я оказалась права: он был особенный. Они затараторили по-английски, перемежая разговор смешками. Им было так весело: хотела бы я понять, что они говорили.

В тот вечер моя мать рассказала своему режиссеру об утренней встрече с дизайнером.

— Джо, сегодня Трэвис спросил меня: «А кто-нибудь знает, что она вообще-то делает в этом фильме? Почему она там на первом месте? И сколько костюмов мы должны сделать?» А я ему: «Об этом надо спрашивать не меня. Все, что я знаю, это то, что дело происходит в поезде, который идет куда-то на восток. Джо даже еще не дал ей имя!»

Фон Штернберг перестал писать, поднял глаза от своего бювара.

— Ее зовут Шанхайская Лилия, и дело происходит не только в поезде.

— Предположим. Но потом Трэвис спросил меня, знаю ли я, кто герой, и я снова должна была признаться, что нет. А *он знает*. Он сказал, что это некий Клайв Брук, что он англичанин до мозга костей, что у него выдающаяся челюсть, но что больше абсолютно ничего выдающегося.

— Узнаю Трэвиса, проницательно и, по сути, верно, — произнес фон Штернберг, на сей раз не отрываясь от бювара.

— Это значит… мне *снова*… быть загадочной? — Моя мать блеснула в этой фразе своим превосходным еврейским акцентом.

— Представь себе… прекрасной и загадочной… тебя что-то не устраивает? — в тон ей отвечал фон Штернберг.

Я надеялась, что мне разрешат наблюдать, как будет твориться это «загадочное». И уже на другой день мои надежды сбылись. По дороге на студию моя мать рассуждала сама с собой — под предлогом моего физического присутствия: между нами еще не установились отношения профессионального сотрудничества, это пришло позже.

— Я толстая! Еще хуже, чем в «Марокко». Даже если я совершенно перестану есть, все равно к моменту съемок я не

похудею настолько, насколько надо. Черное — все снова должно спасти *черное*… но не сплошь, это урок из «Марокко»… надо найти что-нибудь, чтобы разбить однообразие. Черное — как можно разбить черное черным… никак нельзя… побольше слабительного, сесть на один кофе, курить… Поезд — Китай — жара — пыль — Джо говорит, все очень восточное, курильня опиума — такое чувство. Так, может, она должна выделяться… как редкостная экзотическая птица… Перья?

Она перегнулась через стеклянную перегородку, отделявшую нас от шофера.

— Гарри, когда приедем на студию, то не сразу в примерочную, а сначала в гардеробную, и прибавь-ка ходу!

Моя мать ненавидела машины, никогда не училась их водить и при езде соблюдала всяческие осторожности. Ездить на большой скорости было строго запрещено. Если она позволяла поднять скорость до сорока с лишним миль в час, это означало, что у нее либо роман с шофером, либо что-то чрезвычайно срочное.

Как только Гарри подкатил к гардеробной, она выскочила из машины, взлетела вверх по лестнице, ворвалась в офис Бентона с криком: «ПЕРЬЯ! Трэвис — перья! Как ты считаешь? Черные перья! А ну-ка, у какой птицы перья хорошо выходят на пленке?» Поскольку «перья» по-немецки и по-английски звучат похоже, я поняла, что нам предстоит рассматривать оперенье экзотических черных птиц.

Все коробки были большие: квадратные и продолговатые, глубокие и мелкие. Я даже не представляла себе, что на свете так много черных птиц. Перья с завитками, перья острые, перья пушистые, веером, редкие, плотные — но все черные, зловещие, пахнущие джунглями. Моя мать расхаживала посреди, погружая руки в содержимое коробок, перебирая, пропуская между пальцами все это изобилие, присматриваясь к форме, оттенку и способности преломлять интенсивный свет, льющийся с потолка огромной примерочной.

— Страус? Плотноватые… зато длинные, может, подойдут к неглиже в какой-нибудь сцене? А это что за белая цапля? Да, что-то заказывали из белого, на шляпу, ближе к концу фильма, чтобы передохнуть от черного… Райская птица? Она плохо кончила… Черная цапля. Тонковаты и какие-то жидкие… Черный лебедь? Скучно… Ворон? Жесткие. Орел? Слишком широкие и вообще идут только к фильмам про индейцев. Марабу? Чересчур пушистые.

Следуя за ней по пятам, Трэвис Бентон допытывался у своего помощника, куда положили последнюю партию груза из джунглей

Амазонки. Вдруг он замер, крутанулся на каблуках.

— Чарли! Достань мне бойцовых петухов — хвосты настоящих мексиканских бойцовых петухов! А если в них не хватит блеску, мы их подсиним!

Петухи, которые в конце концов пожертвовали свой плюмаж на благо «Шанхайского экспресса», были в прекрасной форме: когда прибыли их перья, иссиня-черный цвет даже просвечивал сквозь тонкую оберточную бумагу. Моя мать осталась довольна — чмокнула Трэвиса в обе щеки и вызвала меня из отведенного мне угла.

— Поди сюда, радость моя, взгляни! Мечта! Черные, с собственным блеском! Узкие, естественной формы! Вот теперь Трэвис может заняться первым костюмом — это будет эмблемой фильма.

И Трэвис сделал костюм, ставший эмблемой фильма!

Несколько недель я наблюдала процесс творения шедевра. Не помню, чтобы я скучала, следя за этим поразительным служением совершенству. Даже в моем нежном возрасте я понимала, что это привилегия — быть причастным к такому процессу. День и ночь они трудились, иногда по двадцать четыре часа кряду. Моя мать не проявляла признаков усталости, у нее был на редкость крепкий мочевой пузырь, она могла часами сидеть в полной неподвижности, а поскольку она к тому же морила себя голодом, то такие банальные вещи, как перерыв на обед и на прочие физиологические нужды, отпадали на все время, пока Дитрих готовила костюмы для фильма, а позднее — для сцены. Трэвис Бентон знал за ней эти способности.

Он мне нравился. Независимо от времени суток, а это могло означать от шести утра до двух ночи, Трэвис выглядел, как один из своих эскизов: элегантный, с ноткой ноншалантности. Он заботился о костюме главного дизайнера «Парамаунта» так же тщательно, как о своих подопечных звездах экрана, щеголяя в кашемировом блейзере, безупречно белых фланелевых брюках и кремовой шелковой рубашке с пестрым шейным платком. У него был вид Рональда Кольмана задолго то того, как Рональд Кольман приобрел этот вид. Особенно гордился он своими ботинками — в студии говорили, что они ручной работы и специально сделаны для него в Лондоне. На его любимой паре красовались черные завитушки на белом фоне — как на ботинках для гольфа без язычка и ремешков. Он обожал принимать позы, выставляющие их на показ. В общем, вид его выражал всегдашнюю готовность провести вечер за крикетом с последующим светским ужином. И лишь его бедный нос не соответствовал этому образу: он цвел «a la мистер Филдз». Но

поскольку я никогда не видела, чтобы он выпивал, багрянец носа объяснялся, вероятно, высоким кровяным давлением — оно часто подскакивало у тех, кто работал с Дитрих.

За время работы над их первыми двумя фильмами Трэвис неизбежно должен был прийти к выводу, что если большинство людей и принадлежит к человеческой породе, то только не моя мать. Поэтому он разработал сменную систему для персонала и график перерывов на еду для себя и своих помощников, в число коих включил новое лицо — меня. Не думаю, чтобы моя мать замечала какие-то перемены вокруг нее — разве что прибытие нашего ланча из студийной провиантской. А между тем одна стайка чистеньких маленьких леди периодически сменяла другую, и профессиональная принадлежность обозначалась у них подушечкой для иголок, привязанной к запястью. Трэвис заботился о своих людях по доброте душевной, а не под диктатом профсоюзных законов. Во времена Великой Депрессии было так плохо с рабочими местами, что счастливцы, имеющие работу, разбивались в лепешку, чтобы ее сохранить. Подчеркнутая услужливость, созданная годами Великой Депрессии, замечательно соответствовала отношению моей матери ко всем тем, кто обслуживал ее за плату. Ни один не покидал своего места, не подавал виду, что чем-то недоволен. Они сносили все, обуздывали остатки гордости, выполняли любые приказы, зная, что, если они вспылят, их ожидает голодная смерть.

Никогда не заглядывая в то, что происходило вне ее мирка, Дитрих естественно принимала такое поведение «маленьких людей». Она искренне полагала, что, если платит кому-то жалованье, значит, ей принадлежит не только труд работника, но и его жизнь. Она не нанимала людей, она владела ими. Такая позиция великой голливудской звезды времен Великой Депрессии не встречала ни в ком сопротивления. Позже *почтение к легенде*, особенно в Европе, по инерции приводило к тому же результату.

По системе питания Трэвиса Бентона мне полагались какие-то удивительные вещи. Раз он заказал нечто под названием «яичный салат на белках». Прибыл мой первый сэндвич в вощеной бумаге, а с ним — тяжелая стеклянная бутылка с шипучей коричневой жидкостью, которую он назвал «кока-кола». АМБРОЗИЯ!

Моя мать бросила на него весьма критический взгляд из зеркала, но она была слишком занята прилаживанием петушиных перьев к шляпному колпаку, чтобы оспаривать неортодоксальное меню. Пока я поедала свой божественный ланч, стараясь не шуршать бумагой, моя мать работала. Это был день вуалей. Ей нужно было повторить впечатление «взгляда из-под вуали»,

которым она так успешно пользовалась и в «Марокко», и в «Обесчещенной», и подыскать вуаль для шляпы с петушиными перьями. Вуали были разложены во множестве на сером ковровом покрытии пола. Она подобрала образец с ярлыком «Черная-3», посмотрела на свет сквозь паутинку, усеянную черными мушками, выпустила ее из рук; взяла «Черную-10», с алмазными блестками, подержала перед глазами, выронила; отбросила «Черную-5», узнав в ней ту, что была в «Марокко». Три часа спустя пол в примерочной выглядел так, как если бы все пауки мира заткали его своей паутиной. Ей ничего не нравилось, ничего не подходило. Начало смеркаться. На улице «Парамаунта» зажглись причудливые викторианские фонари. В те времена люди работали, пока их не отпустят. Сменилось четыре смены, а Трэвис еще ни разу не зевнул. Я украдкой зевала, выходя в уборную, но долго там не задерживалась и быстро мчалась назад из страха, что нужную вуаль найдут без меня, и я пропущу великий миг открытия.

— Марлен, душа моя, ты совершенно уверена, что вуаль нужна? Может быть, достаточно перьев? Мы так удачно сейчас их уложили, подчеркнув одну щеку. Не рассеет ли вуаль эффект?

— Нет, нет, Трэвис, чего-то не хватает. Может, эти все слишком тонкие? Какие-нибудь образцы поплотнее, а?

Изможденный персонал внес «Черную-39», «40», «41», «42». «39»-я была в крупную крапинку, и лицо под ней выглядело, как после черной оспы. «40»-я — вся в переплетении завитков, «41»-я — в горизонтальную полоску, что никак не вязалось с диагональным расположением перьев на шляпе — какие-то тени от жалюзи. Но моя мать задумчиво держала ее перед глазами — и тут что-то произошло! Ее лицо просияло. Трэвис испустил дикий вопль (потом я узнала, что он из Техаса), в экстазе забил в ладоши, маленькие леди чуть не попадали на колени, в облегчении переводя дух. Моя мать только улыбнулась, аккуратно сняла с себя заколотую булавками шляпную форму, протянула ее и «41»-ю Трэвису, чмокнула его в щеку, взяла меня за руку и быстро вывела из гардеробной с потушенными огнями. Пора было идти домой, готовить обед для нашего режиссера!

Наконец настал день, когда костюм был завершен. Фон Штернберга вызвали в гардеробную в первый раз взглянуть на Шанхайскую Лилию. Он вошел в примерочную и стал как вкопанный, не сводя глаз с моей матери. Она стояла на высокой платформе, отражаясь в системе расположенных позади нее зеркал. Томный взгляд из-под вуали, гладкая прическа, плотно прилегающая к голове черная шляпка. Длинное платье, короткая накидка из струящегося крепа, отделанная перьями. Как

ослепительно черные океанские волны, они окружали ее шею, струились по плечам, переходя к более тусклому черному цвету туго натянутых перчаток из тончайшей кожи. Великолепная нить крупного хрусталя ублажала взгляд, останавливающийся на уровне талии, где рука держала черно-белую сумочку в стиле «арт деко». Редчайшая, невиданная черная птица! Мы все ждали, затаив дух. А вдруг он взорвется? Скажет, что на пленку этого снять нельзя? Это мы все, в том числе и моя мать, и так знали! Но он, не говоря ни слова, медленно подошел к ней, подал ей руку, помог сойти вниз; низко склонясь, поцеловал ее перчатку и тихо сказал по-немецки:

— Если ты полагаешь, что мне хватит умения снять это, тогда я могу предложить тебе одно — попытку сделать невозможное.

Обернувшись к встревоженному Трэвису, он кивнул и продолжал по-английски:

— Великолепное воплощение невозможного. Я поздравляю всех вас.

И вышел.

Всеобщий вздох облегчения мог бы сдвинуть с места и понести по волнам десятимачтовую шхуну. Потом мы отпраздновали событие.

Трэвис разлил запретное шампанское по бумажным стаканчикам, и даже маленькие леди пригубили по глотку. В альянсе Штернберг — Дитрих состязание талантов играло уникальную роль. Она задавала ему и его камере невыполнимые задачи, он требовал от нее того, что выходило за рамки актерской компетенции. Они бросали друг другу перчатку, как дуэлянты, в полной готовности убить или быть убитым, и ликовали, когда удавалось преодолеть очередное непосильное испытание.

На другой день мы начали работу над черным шифоновым неглиже с длинными страусовыми перьями, и Трэвис угостил меня, как он сказал, «солодовым шоколадом». После этого я больше ничему уже не удивлялась. Я поняла, что достигла зенита — высшей точки американского кулинарного совершенства! (Конечно, пока не попробовала арахисового масла и сэндвич со студнем).

По воскресеньям мы оставались дома на «релаксацию». Моя мать мыла голову и давала волосам отдохнуть, ходила без макияжа и занималась готовкой. Фон Штернберг ставил в саду мольберт и раскладывал стул, открывал большой деревянный ящик с рядами серебристых тюбиков и, держа кисть большим и указательным пальцами, принимался рисовать пылающие гибискусы под голубым небом. Я могла наблюдать за ним часами. У него был счастливый вид — совершенно не такой, как в будни,

никакой напряженности, никакой угрюмости. Даже сам выбор красок свидетельствовал об этом: ни черного, ни темных теней, все яркое и воздушное, все сверкает оттенками алого. Я раскладывала рядом с ним на траве книжки с картинками. Училась читать по-английски, следя за приключениями Сиротки Анни и Дагвуда. «Деток Катценьяммер» я не любила — для меня, новоявленного американского ребенка, они были «слишком немецкими».

По воскресеньям появлялась и наша тайная старушка-поставщица. К тому времени я уже знала все о Запрете[4], о гангстерах и расстрелах Дьявольского Питья. Так что, когда содержимое расшатанной детской коляски издавало звяканье стекла вместо детского плача, я знала: прибыл наш милый бутлегер. Эта маленькая леди была совершенно бесподобной. Она беззубо скалилась, любила, чтобы ее называли миссис Глэдис-Мэри, и обращалась со своими бутылками до чрезвычайности бережно, разворачивая их фланелевые одеяльца, аккуратно вынимая и протягивая нам так нежно, будто это были настоящие младенцы. Мне всегда хотелось спросить ее, почему джин обернут в розовое одеяльце, а шотландское виски — в голубое, но я не осмеливалась. Старушка была взбалмошная, могла обидеться на такой интимный вопрос и прекратить снабжать нас незаконным спиртным.

Уладить дело с женой фон Штернберга не удалось так скоро, как все этого желали. Теперь она заявляла, что требует денег в возмещение ущерба, нанесенного ее достоинству, и заявляла об этом в прессе. Мою мать беспокоил пункт о морали, включаемый в каждый голливудский контракт, дабы каким-то образом контролировать сексуальные эксцессы актеров. Хотя моя мать была уверена, что ни одна студия не посмеет использовать против нее положения этого пункта, но все ж он представлял некоторую угрозу для образа Незапятнанной Аристократки, играющей Падшую Женщину, — абсолютно чуждую ее натуре роль. Внезапно пришло известие, что скоро к нам в гости прибывает мой отец. Но без Тами. Я была ужасно разочарована. Мне так хотелось показать ей все чудеса моего нового царства. Я еще не понимала, что настало время скрывать ее от глаз прессы.

— Не ешь ливерную колбасу, радость моя, это папина любимая.

Точно так же я не была допущена до семги, генуэзской салями и камамбера, который Шевалье привез прямо из Парижа в подарок Папи. Весь дом до последнего уголка был вычищен, вымыт, вылощен и убран цветами. Появилась стопка кашемировых свитеров. «Папи мог забыть, я ему говорила, что тут

вечерами прохладно». С V-образным вырезом, с высоким воротом, под горло — «кто знает, какой фасон Папи предпочтет для Америки». А на случай, если никакой, была припасена коллекция шерстяных джемперов в его любимых тонах: коричневых, зеленых, беж и серых. Были предусмотрены непременные пижамы из плотного темно-зеленого шелка, элегантные утренние шлафроки, итальянские шлепанцы, слаксы «Калифорния», купальные трусы и махровые халаты. В те времена одежду купить было нетрудно — имей только деньги. С изысканной едой дело обстояло напряженней. Импортные товары попадались редко, специальных магазинов для них еще не было. Глэдис-Мэри раздобыла якобы настоящее немецкое пиво, которое мой отец оценил потом, как мочу в бутылках! Предназначенная для него комната выходила окнами в сад, размерами была больше, чем мамина и чем та, где держал вещи наш режиссер. Мы все трудились, чтобы создать особенный комфорт для дорогого гостя. Моя мать сочла, что лампы с шелковыми абажурами в изголовье кровати слишком кокетливы, а изогнутая деревянная спинка кресла неудобна, так что из хозотдела «Парамаунта» прибыл грузовик и привез лампы кованого железа с плафонами из настоящего пергамента и трон с высокой спинкой красного дерева, оставшийся от какого-то фильма про Изабеллу, королеву Испании — мы все знали, что мой отец будет от него в восторге. Фон Штернберг внес свой вклад: великолепное распятие, которое было повешено над постелью Папи. Комната к его приезду получилась — то ли комната, то ли исповедальня.

Студия «Парамаунт» всячески приветствовала многосторонность своей звезды. «Образ Жены» мог сослужить им службу так же, как «образ Мадонны», не повредив амплуа Женщины-загадки. Сила Дитрих была как раз в том, что, какую бы роль она ни решала играть в жизни, это никогда не вредило установившемуся образу обольстительной Роковой Женщины — вот в чем Гарбо не могла с ней сравниться, а, впрочем, даже и не пыталась. Это удивительное хамелеоново свойство играть в жизни, что практически граничило с шизофренией, развело Дитрих с ее главной соперницей. Гарбо была другого ранга, одной-единственной категории — «Божественная». А в котомке у Дитрих теснилось множество трюков.

Мы все поехали встречать моего отца в Пасадену. Он вышел из вагона в белом льняном костюме — лощеный европеец с головы до пят, поцеловал мою мать, которая была, как всегда, в мужском пиджаке, шляпе и при галстуке с единственной уступкой образу Встречающей Мужа Жены: в белой юбке вместо обычных ее

брюк. Отец подхватил меня, не охнув, посадил на изгиб руки, другой рукой обнял фон Штернберга за плечи — и так мы позировали прессе для знаменитой впоследствии фотографии, обошедшей мир: «Марлен Дитрих с семьей». Снова сработала директива «Парамаунта» по урезанию меня. Никто не увидел ни как низко свисали мои ноги, ни отчаянного напряжения руки моего отца, удерживающего у бедра мой вес, ни того, что режиссер и его звезда были в одинаковых ботинках.

Теперь наши разговоры за столом опять завертелись вокруг еды и новостей. Отец рассказал, что самые разные немецкие миллионеры поддерживают какую-то «нацистскую» партию, особенно мистер Гутенберг, босс на «УФА» и один из председателей «Круппа», и еще кто-то по фамилии Тиссен. Завязывались жаркие споры об одном немецком фильме про пансион, где девочки занимались друг с другом такими вещами, о которых нельзя говорить при ребенке. И читала ли моя мать новую книгу Перла Бака под названием «Добрая земля»? На что моя мать ответила вопросом: «Это та, что про Китай?» Когда отец ответил утвердительно, она взорвалась: «Тут Китай, там Китай, все с ума посходили с этим Китаем! Мир кишмя кишит этими косоглазыми! Если я увижу еще хоть одно желтое лицо, меня вырвет!» — И вышла принести моему отцу добавку фаршированной капусты.

Фон Штернберга несколько удручила ее выходка, но мой отец со значением подмигнул ему, и наш коротышка заулыбался, а к тому времени, как моя мать вернулась, они уж увлеклись дискуссией о диффузии света и о ком-то, кто получил за нее Нобелевскую премию.

Явился Шевалье, получил высочайшую похвалу своему камамберу и вмиг стал новым приятелем моего отца. Я так и не поняла, чем они понравились друг другу, но дружили они много лет. Как всегда, когда появлялся Шевалье, все автоматически переключались на французский, так что я извинилась и пошла слушать по радио «настоящий американский язык».

Я шла из-за клумбы. Я снова кого-то хоронила (я все время устраивала похороны среди гардений) — наверное, еще одну ящерицу или червяка. Поистине эта склонность к похоронам доказывала, что я все же дочь своего отца. Я услышала, как они разговаривают во внутреннем дворике. Меня остановило имя Морис. Я подумала, что он собирается к нам на ланч, и затосковала: опять все будет по-французски; моя мать тем временем говорила:

— Ну да, Папи, он любит меня. Но ты же знаешь, у него в

семнадцать лет была гонорея, он от этого импотент.

О боже! Зачем моей матери нужно было говорить отцу, что Шевалье ее любит? Мужьям обычно не нравится слышать такое от собственной жены. Однако мой отец запрокинул свою белокурую голову и рассмеялся. Я застыла, как вкопанная.

— О, Мутти, не могла же у них у ВСЕХ быть гонорея! — проговорил он. Это слово, вероятно, означало что-то смешное.

— Ты не поверишь, у скольких! Ну, а Джо, он же еврей, а им всегда надо, просто без перерыва! Особенно если они коротышки и у них вкус на высоких голубоглазых христианок!

Теперь смеялась моя мать.

— Марго шлет тебе свою любовь, и Бергнер тоже. Они все скучают по тебе.

— А я как скучаю по ним! Здесь женщины совершенно безмозглые, все как одна. По крайней мере, уж на студии точно, а при Джо кроме студии ничего не увидишь. Там эта вульгарная Бэнкхед, кошмар как она обращается со статистами. Потом это страшилище Клодетта Кольбер, «французская торговка». Ломбард хорошенькая, но совсем безликая, по-американски, и пытается подражать мне. Ну, кто еще?.. Еще хористочки у Кросби… Вот на студии Гарбо — там есть красивые женщины. Я не имею в виду Норму Ширер, она, как дохлая рыба, а эта новенькая, Харлоу, совсем простушка. Но *некоторые* есть очень интересные, только при Джо, конечно, до них не доберешься!

— Мутти, ты здесь счастлива? — очень серьезно спросил мой отец.

— Счастлива? Что значит — счастлива?

Я повернулась и пошла назад к бассейну. Я-то думала, что она счастлива. Ведь ее любило столько людей…

Мне запомнилось утро, когда отец наблюдал, как я в своем верном спасательном круге весело барахтаюсь в воде. Подойдя к другому, глубокому краю бассейна, он позвал меня:

— Мария, плыви сюда!

Мучительно пытаясь понять, чем я заслужила свое настоящее имя, я подгребла к нему. Он наклонился, вынул меня из круга и бросил назад в воду. Отфыркиваясь, я всплыла на поверхность, перепуганная насмерть. Отец крикнул: «Плыви!» Я бросила на него отчаянный взгляд и поняла, что лучше сделать, как он велит. В тот день я научилась плавать, плавала всю жизнь, как рыба, но страх утонуть так и не покинул меня.

Мы еще не успели купить второй батон ливерной колбасы и еще не успело домылиться сандаловое мыло «Роже Галле», как снова был извлечен и нагружен новыми сокровищами бежевый, телячьей кожи чемодан отца с инициалами Р.З. В день отъезда он

подарил мне щенка терьера по имени Тедди, наказал хорошенько за ним присматривать, чтобы он не умер, велел заботиться о маме, хорошо себя вести, прочесть до конца все книжки, которые он привез из Берлина, решить все арифметические задачи, которые он мне задал, писать ему каждый понедельник письма, быть примерной девочкой… Боюсь, что, как только у меня на руках оказался щенок, я перестала слушать. Моя мать плакала. Фон Штернберг пришел отвезти отца на Юнион Стейшн в пригороде Лос-Анджелеса, а не в Пасадену. Отъезд Рудольфа Зибера, мужа Марлен Дитрих, нельзя было афишировать. Я сжимала в объятьях щенка, надеясь, что моя мать разрешит мне его оставить. Здорово! Она разрешила!

Ни бабушкиного дома по утрам, ни даже зимнего холода! Еще не рассвело, воздух чуть прохладен, слегка пахнет апельсинами, песками пустыни и уютным мягким кожаным сиденьем «роллс-ройса», который везет нас на работу. Охранник у ворот студии замирает в приветствии.

— Доброе утро, мисс Дитрих. Доброе утро, крошка Хайдеде.

Спасибо фон Штернбергу — я сумела отбарабанить:

— Доброе утро, мистер Мак, — гордясь своей безупречной интонацией.

Уличные фонари, висевшие вдоль ряда гримерных, были зажжены: свет горел в комнате Кэрол Ломбард, а также у Клодетты Кольбер и у Бинга Кросби. Это не означало, что сами звезды были на месте, их свита иногда приезжала раньше, чтобы все подготовить. Поскольку моя мать никогда не верила в то, что кто-то способен все сделать правильно без ее присмотра, она и ее свита составляли единое целое.

Этот день, начало первых съемок, остался в калейдоскопе «первых разов», которых было еще столько в моей жизни. Запах грима, молотого кофе и датского печенья; огромный гримерный отдел — ярко освещенный; известные лица, без грима, без прикрас, усталые, полусонные, уязвимые в своем человеческом несовершенстве — в ожидании, когда на них налепят маски искусственного совершенства. Парикмахерский отдел, столь же ярко освещенный, столь же явно обнажающий естественную паклю на головах богинь и проплешины на макушках богов; вместо льняного масла, основы грима, — сладкий, клейкий запах лосьона и лака для волос; снова запах кофе и датского печенья. Моя мать становится частью толпы — откровение, которое меня потрясает. Я-то думала, что она уникальная, единственная в своем роде. Я смотрю, как она отталкивает опытные руки, сама принимается за обработку своего лица, проводит вдоль носа,

посередине, тонкую линию, светлее ее обычного тона, окунает закругленный конец шпильки для волос в белый грим, подкрашивая нижнее веко. Гляжу на ее отражение в большом, подсвеченном лампами, зеркале, вижу внезапно выпрямившийся нос, расширившиеся глаза, и мое первоначальное представление возвращается: да, она все равно уникальна.

Снова ее артистическая уборная. Одевание: быстрое мельканье множества помогающих рук, точность движений, безошибочных и не дублирующих друг друга. Ее окончательный взгляд, от которого я впадала во что-то среднее между удушьем и безмолвным удивлением. Жесткая команда: «Идем!» — побуждающая всех к немедленному действию; мы садимся в ждущий нас лимузин. Оцепенелая поза моей матери. Когда я заметила ее в первый раз, я испугалась. И только потом, поняв причину, поняла: эта ненормальность шла автоматически. Раз загримирована, волосы уложены, шляпа, вуаль, петушиные перья на месте — она не позволяла себе никаких морганий, сглатываний, поерзываний, потягиваний, подергиваний, кашля, чихания, ни единого слова; весь вес сосредоточен на одной ягодице, кончики пальцев упираются в сиденье, чтобы уменьшить давление тела на все части туалета, которые могут помяться; замерший взгляд; накрашенные губы приоткрыты и неподвижны. Иногда, если костюм был особенно замысловат, моя мать, я готова поклясться, просто переставала дышать до той минуты, пока мы не подходили к дверям съемочной, и лишь затем возвращалась к жизни — во всем великолепии своего нетронутого, ничем не поврежденного совершенства.

Машина медленно обогнула угол. Гарри был специально натаскан в том, как довозить произведение искусства до места назначения. Угрюмый железнодорожный двор, пустой, если не считать нескольких одиноких пульмановских вагонов — и вдруг, резко… КИТАЙ! Жара, пыль, суета, толпы народа, снующего туда-сюда, — кишмя кишащий народом Китай. Куры, козы, бумажные фонарики, кули в соломенных шляпах, мальчишки в лохмотьях, тощие собаки, котомки, чемоданы, корзины, ящики и коробки, пакеты всех форм и размеров. Надо всем этим — море вымпелов, длинные, узкие, белые полотнища, разрисованные китайскими знаками.

Посреди всей этой живописной толкотни — поезд; *настоящий* поезд, огромный черный локомотив которого извергает пар, а на самом верху его — наш коротышка, с деловым видом разрисовывающий задник декорации. Поскольку природа в тот день отказала фон Штернбергу в облаках, он неустрашимо рисовал собственные. Он терпеть не мог, когда кто-то брал над

ним верх, и поэтому обычно находил способ восторжествовать над подобными «личными оскорблениями» со стороны природы. Только перед моей матерью он мог сознательно капитулировать, как перед превосходящей его силой.

Воскреснув, моя мать аккуратно вышла из машины, и весь этот бешеный вертящийся островок псевдо-Востока замер. Куры перестали кудахтать, у собак лай застыл в глотках; плотники, электрики, статисты, порядка двухсот человек, глазели на нее как зачарованные. Фон Штернберг, заметив внезапную тишину, спустился посмотреть, что помешало всеобщей работе, обнаружил свою звезду в переливах черных тонов, помахал ей, улыбнулся в знак согласия с оказанными ей почестями, потом крикнул:

— За дело, ребята!

И снова принялся рисовать свои белые тени.

Меня включили в команду. Трэвис сделал мне специальную форму «персонала мисс Марлен Дитрих»: белый халат, как у парикмахеров. Моя работа заключалась в том, чтобы, должным образом одетой, наготове стоять вне освещенного круга рампы с ручным зеркалом в руке. У меня были точнейшие инструкции. Если моя мать кричала: «Гардероб!» — мне не следовало двигаться; это означало, что она обнаружила крошечную складку на платье, и костюмерша подбегала к ней с черной подушечкой и горячим утюгом, подкладывала подушечку под складку, устраняла позорное вздутие, затем, завершив свое дело, отступала обратно в тень. Но если клич был «грим», это означало, что бегут к ней я и гримерша Дот Пондел. Я передавала моей матери ее драгоценное зеркало, а Дот — еще более драгоценную кисточку для губ, предварительно окунув ее в липкую красную краску. Если клич был «волосы», мне снова приходилось подбегать, на сей раз меня сопровождала Нелли с расческой. В те дни, еще до появления пэнкейка и лака для волос, эти призывы звучали часто и усугублялись стремлением Дитрих к совершенству. У нее не только было шестое чувство по поводу любого непорядка, но был еще и собственный дозорный — зеркало во весь рост. На специальной передвижной платформе, снабженное тремя сильными лампочками с каждой стороны, оно устанавливалось так, чтобы вслед за камерой фон Штернберга перемещался взгляд Дитрих. Она пользовалась этим зеркалом постоянно, уточняя и исправляя все, что казалось ей хоть сколько-нибудь несовершенным. Фон Штернберг никогда не вмешивался, никогда не терял терпения из-за этой ее маниакальной склонности.

Во время моей первой съемки я получила несколько важных уроков. Когда раздается команда: «Тишина в студии! Камера!

Звук! Мотор!» — именно тогда у вас в горле начинает першить, именно тогда вам просто необходимо кашлянуть. Но делать этого ни в коем случае нельзя. Если вы проявили слабость или глупость и произвели хотя бы крошечный шумок, кто-нибудь в ярости орал: «Стоп!», — и двести пар глаз начинали искать подлеца, осмелившегося испортить дубль! Никогда не ешьте перед началом съемки крекер, не запив его хорошенько водой! Проглотите — убедитесь в том, что не застряло ни крошки. Сделайте вдох — убедитесь, что в горле не першит. Если вам нужно «выйти», лучше крепко скрестите ноги: это непозволительно до следующей паузы. Знайте, что причина «ветров» — напряженные мышцы, так что лучше расслабьтесь. Зато как только услышите режиссерское «стоп!», кашляйте, чихайте вволю, пускайте газы — жизнь прекрасна! Как эти Геракловы подвиги по самоконтролю под силу кинозвездам, у которых напряжение еще больше, плюс ответственность за съемку самих себя, всегда меня изумляло.

Я узнала также, что иногда Нелли из парикмахерского отдела приходится стоять перед запертой дверью артистической уборной моей матери, пока та что-то делает внутри. В таких случаях мне говорили, что в одной из просмотровых студии для меня устраивают показ фильма. Потрясающе! Я бежала в надежде, что увижу новый фильм с братьями Маркс или с Кэрол Ломбард. Если, пока я сломя голову неслась по студии, мне навстречу попадался фон Штернберг, в этом случае он меня не замечал, а просто проходил мимо, наклонив голову и сгорбившись, в каком-то тягостном раздумье.

Моя мать начала много общаться с Анной Мэй Вонг. Между дублями они разговаривали — не репетировали, а просто тихо беседовали, курили, тянули холодный кофе через соломинки. Мать часто возилась с прямой челкой мисс Вонг и заставила Трэвиса переделать одно из ее кимоно, чтобы оно было пошикарнее. Мисс Вонг нравилась ей намного больше, чем исполнитель главной роли, который оказался точь-в-точь таким, как его описал Трэвис — с единственным достоинством — фотогеничной челюстью. На третьей неделе съемок «Шанхайского экспресса» я впервые увидела, как всех выгоняют с площадки. Я не знала, из-за чего, и когда в то утро закричали: «Очистить площадку», заколебалась — посмотрела на мою мать в ожидании указаний. Когда она кивнула и обронила «иди», я присоединилась к сотне с лишним мужчин и женщин, повалившихся к выходу. Было похоже, что команда уже привычна к таким приказам. Тогда я не знала, что у фон Штернберга команда обычно не расходилась между съемками эпизодов, и что очистка площадки была для них

процедурой приятной. Это означало, что они могут выйти на яркое солнце, покурить, прислонясь к стене, прибавить себе калифорнийского загара, в то время как Дитрих оставалась внутри, и ее учили, как играть роль. После одной из таких головомоек мы наконец вырвались на ланч. Поскольку мать никогда не ела за работой, наши ланчи заключались в том, что ела я, а она в это время приводила в порядок лицо и волосы.

В тот день она в полном молчании, медленно и целенаправленно совершая каждое движение, сняла длинное черное бархатное платье, передала его девушке из гардеробной — за время перерыва его должны были осмотреть, освежить и погладить; расстегнула свой специальный бюстгальтер, протянула его Нелли, которая дала ей другой, более удобный; надела хлопковый гримерный халат, туго завязала пояс; завела граммофон, поставила на него пластинку Таубера и села за стол, внимательно рассматривая свое лицо в ярко освещенном зеркале.

Фон Штернберг постучал в дверь, получил в ответ «войдите» и возник в дверях со своим бутербродом. Она встала, поспешила дать ему нормальную тарелку и льняную салфетку. Я налила ему кока-колы — она ему тоже очень нравилась!

— Любимая, я тебя вымотал?

— Нет, ни в коем случае. Я просто стараюсь тебя не подвести!

Он доел хлеб с ветчиной, вытер усы, поцеловал мою мать в шею, улыбнулся ей в зеркале и вернулся к работе.

Мне были поручены мелкие «специальные» задания. Я научилась раздувать перья и растрясать меха так, чтобы моя мать оставалась довольна. Я также стала экспертом по выщипыванию ресниц. В те дни искусственные ресницы были чудовищно грубыми. Чтобы они подошли к лицу Дитрих, их надо было выщипать наполовину. Моя мать стояла надо мной, пока я выдергивала реснички с тончайшей ленточки.

— Да… еще… еще… а то у меня глаза будут, как у Гарбо. Она наклеивает эти щетки вместо ресниц. И еще говорит, что это ее настоящие глаза! Неббиш!

Мне было также разрешено раскладывать по местам черные восковые карандашики для бровей, которые Дот затачивала своим верным перочинным ножом. Я надеялась, что когда-нибудь меня сочтут достаточно взрослой, чтобы допустить к этой работе.

Из-за осветительского искусства фон Штернберга, поистине волшебного, слабые, тонкие волосы матери приобретали объем и невероятный блеск. Поползли даже слухи, что освещение фон Штернберга здесь ни при чем, что Дитрих на самом деле посыпает волосы настоящей золотой пылью, чтобы получить эту

особенную искристость. Слуху дано было расцвести — уникальный случай. Мать отказывалась его комментировать, начальство парикмахерского отдела таинственно улыбалось, на губах Нелли лежала печать, а для отдела рекламы наступили золотые деньки. В то время как по всей стране гуляла песня «Братишка, не найдется лишних десяти центов?», колонки сплетен объявляли: «Марлен Дитрих каждый день растирает в порошок пятидесятидолларовую золотую монету и посыпает им волосы».

«Парамаунт» также застраховал на миллион долларов ее ноги — отдел рекламы ликовал. Спустя много лет, когда мать сломала ногу, она горько оплакивала утрату парамаунтовского полиса. Как ей хотелось бы снова стать балованным защищенным актером-контрактником!

Мы только что пришли с площадки на ланч, когда какой-то джентльмен в мятом льняном костюме распахнул дверь, не постучав, и вошел в гримерную.

— Привет, Хай-де-де-е… язык сломаешь… миленькое имя… ну, ты и растешь! Смотри, поаккуратнее! А то вымахаешь, крошка, и нам придется тебя снимать только в сидячем положении!

Раскатистый хохот, блеск в глазах, нахальное подмигивание — все это мигом прекратилось, как только моя мать медленно повернулась к нему от своего туалетного столика.

— Доброе утро, Марлен! Ах, да, мисс Дитрих! Я знаю, вы заняты… но это займет не более секунды, клянусь вам. Понимаете, у нас возникла просто *гениальная* идея по поводу вашей малышки, по поводу ее дня рождения! Вы только послушайте, прошу вас! Вы будете в *восторге*!. Знаете заднюю площадку, там, где Штернберг выстроил свой Китай? Там, где поезд, бестолковые куры, толпа статистов и все такое — ну вот, у нас потрясающая идея! Что вы скажете о *китайском дне рождения для дочери Марлен*? Прямо там, на площадке! Мы соберем детишек всех звезд, оденем их маленькими кули! «Фотоплэй», «Сильвер Скрин» — все придут это отметить! Китайские хлопушки… и все такое. Это станет общенациональной новостью. А в довершение всего — знаете что? Вы с Клайвом Бруком вносите торт в форме поезда, а на нем: «С днем рождения, Хай-де-де-е (господи, ну и имечко!)!» От актеров и всей команды «Шанхайского экспресса», большими китайскими буквами из глазури! Каково, а?

Я была зачарована! Чудесно и потрясающе! Я хотела свой день рождения прямо сейчас!

На протяжении всей его речи у моей матери не дрогнул в лице ни один мускул. Теперь же она медленно встала, заметила

мое возбуждение, бросила на меня свой коронный взгляд из-под приспущенных век, способный остановить на ходу несущегося во весь опор носорога, затем перевела тот же ледяной взор на прожектера-импресарио. Медленно поднялась изящная рука под черной тканью. Указывая на дверь гримерной длинным белым указательным пальцем, моя мать с нажимом произнесла: «ВОН». Джентльмен выбежал на подгибающихся ногах. Вряд ли кто-нибудь лучше сыграл роль леди Макбет.

Происшествие, конечно, не разбило мне сердце, но я бы не отказалась поучаствовать в таком празднестве. Это был не последний раз, когда «Парамаунт» пытался устроить его для меня. Но все подобные планы отметались, и моя мать была права. До безобразия экстравагантные дни рождения, которые Джоан Кроуфорд впоследствии устраивала для своих драгоценных чад, доказали врожденный хороший вкус моей матери, иногда ею проявляемый.

Мой седьмой день рождения начался на рассвете очередного великолепного дня при вечном свете солнца. Я думала о том, когда же наступят зимние холода и мне наконец разрешат отправиться в школу. Но солнце светило без устали, пенал так и лежал, завернутый в красивую бумагу. Мой отец, который уже работал в Париже, дублируя для «Парамаунта» иностранные фильмы, поблагодарил жену за мое существование.

ПАРИЖ 13 12 1931 ДИТРИХ ГОЛЛИВУД
ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ ЭТИМ ДНЕМ БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ МУТТИ ЛЮБЛЮ
ЦЕЛУЮ
ПАПИ

Делать покупки мы могли в единственном месте — в универсальном магазине Буллока в Уилшире. В Беверли-Хиллз тогда магазинов не было. Родео Драйв была просто ленивой улочкой посреди деревушки с пальмами, которую Лорел и Харди использовали как декорацию. Поэтому алы выезжали на машине с шофером в Голливуд, на Уилширский бульвар, почти в пригород Лос-Анджелеса, где стояла копия Крайслер-Билдинга! Не столь высокая, не столь величественная; в общем, нельзя было представить на ней Кинг-Конга, но для города, состоявшего из одноэтажных фазенд, дощатых бунгало и лотков с фруктовыми соками в форме апельсинов, это был небоскреб — восьмиэтажка «арт деко» — геометрические линии, бетон и стекло.

Моей матери, по-видимому, понадобилось что-то, чего она не могла достать на студии, поэтому однажды утром она решила

съездить к Буллоку и захватила меня с собой. Так как в нашем доме она одна бегло говорила по-английски, ей пришлось ехать самой. Ей это было не по душе. Я волновалась — впервые мы ехали не на студию, а в другое место. Телефонные столбы, бензоколонка, украшенная красными летящими лошадьми, хилые пальмы, лотки с хот-догами в форме такс — Уилширский бульвар 1931 года не сильно отличался от сегодняшнего, разве что на месте маленьких домиков встали банки из черного стекла и прозрачность стен больше не обязательна. В тот день жаркое солнце светило на фоне голубого, как почтовый конверт, неба. Я знала, что такое абсолютно невозможно в канун Рождества — значит, наверняка, это было очередное волшебство, во что я легко могла поверить! Волшебство входило неотъемлемой частью в мою новую жизнь.

Швейцар, одетый в буллокские оттенки «беж и горький шоколад» провел нас через разукрашенные стеклянные двери. Гарри припарковал зеленый «роллс-ройс» прямо у магазина: улицы в те времена всегда пустовали. Сводчатый первый этаж напоминал французский собор, он вполне подошел бы для съемок «Горбуна из Собора Парижской Богоматери». Это было грандиозно.

А в самом центре стояла она — ГИГАНТСКАЯ рождественская елка. Я едва не опрокинулась на спину, пытаясь разглядеть серебряную звезду на ее верхушке. Но, что самое удивительное, елка была вся в снегу! Как это могло быть? Снаружи — солнце, внутри — снег? Однако еще чудеснее было освещение. Не свечки, как у нас в Берлине, а электрические лампочки, и все голубые! Все гирлянды, все игрушки и все стеклянные шары… Пречистая Матерь Божья! Я стояла как загипнотизированная. Не помню, что мы в тот день делали и куда ходили, я пребывала в сапфировом сне. Когда мы добрались до дома, я ни о чем другом не говорила.

Поскольку мы всегда соблюдали свои немецкие обычаи, Рождество отмечалось 24-го вечером. 25-го только ели. Санта Клаус никогда к нам в дом не приходил. Он был для тех людей, «которые покупают эти идиотские поздравительные открытки». Так или иначе, моя мать никогда не любила оставаться в тени, особенно если дело касалось щедрости. За всю свою жизнь она ни разу не сделала анонимного подарка, ни частному лицу, ни организации. Она считала благодарность слишком важным оружием, чтобы пренебрегать ею. В семье Дитрихов она, и никто другой, была дарителем. Даже в Германии я всегда знала, от кого получаю какой подарок и какая степень благодарности соответствует каждому из них. В это мое первое американское Рождество я была немного постарше, но правила действовали те

же. Сперва нужно было терпеливо ждать в новом платье и туфельках перед закрытыми дверьми гостиной. Затем под граммофонные звуки «Тихой ночи» двери открывались и внутри оказывалось маленькое зеленое деревцо, освещающее затемненную комнату своими крошечными свечками, и воздух пах хвоей и шоколадом. Именно эту первую минуту Рождества я любила больше всего — особенно минуту встречи со сверкающим деревом, музыку и запах дома.

В тот год на мне было шелковое платье, белое американское платье фирмы «Мэри-Джейнз». Как только заиграла музыка, фон Штернберг и моя мать открыли тяжелые двойные двери, ведущие в нашу гостиную, и мир засверкал, заискрился голубым цветом: во всем своем двадцатифутовом великолепии там стояло дерево из магазина! Не хватало только звоночков, издаваемых лифтами.

Моя мать была очень довольна своим сказочным сюрпризом. Все на студии прослышали о «голубой елке для ребенка» и о том, как ей удалось перекупить ее у Буллока. Это действительно было похоже на сказку — мне так хотелось всем рассказать про свое дерево, но все уже о нем знали.

Чтобы снять рождественские фотографии при нормальном освещении, со студии приехали плотники, распилили дерево на части, затем вновь собрали его в саду, где на жарком солнце от испарений белой краски меня затошнило, пока я позировала среди заново сколоченных вместе веток. В те дни еще не было цветной пленки, поэтому, когда я позеленела, а дерево пожелтело, как прогорклое масло, на фотографиях это не отразилось. Мне всегда хотелось показать их кому-нибудь еще помимо персонала. Это великое голливудское дерево.

Париж, воскр., 14 февр. 1932

Муттиляйн,

Я так рад, что у тебя было приятное рождество и что ты не очень страдала оттого, что меня с тобой не было. Я правильно сделал, что поехал к своим родителям. Они получили не самые дорогие подарки: я привез им то, что им действительно было нужно — небольшое радио. Они в восторге.

Подарки тебе — конечно, дело другое: четыре браслета с бриллиантами! Ты мне обещала, что пришлешь их фотографии, я жду с нетерпением, очень любопытно увидеть их. Я не знал, что Джо заплатил и за кольцо с сапфиром.

Я также не знал, что у вас с ним были такие ужасные ссоры. Я знаю, он человек нелегкий, но со временем это должно пройти. Он тебя любит и мучает потому, что любит, потому, что чувствует себя рядом с тобой несколько беспомощным и таким

образом компенсирует свою слабость. Да, вот что я вспомнил: перед Рождеством я послал тебе фотографию, где мы втроем, это фото из какой-то газеты, один наш бухгалтер хотел бы получить на нем автографы — Твой и Кота — и я попросил, чтобы ты отправила фото непосредственно ему. Он до сих пор не получил его, так подпиши и отправь! Сделай это, пожалуйста, ты же знаешь этот тип людей.

Надеюсь, тебе понравились шляпы и чулки, которые я тебе купил в Берлине. Не забывай обо мне.

Папи

«Шанхайский экспресс» вызвал шквал восторженных рецензий. Фон Штернберг уже написал следующий сценарий для моей матери. Он рассказал нам его содержание. В этом фильме она должна была играть преданную мать, идеальную, жертвенную жену, уличную проститутку, бойкую певичку в ночном клубе, элегантную содержанку, звезду кабаре — и вновь любимую, «лишь — однажды — неверную» жену. Мне показалось, что фон Штернберг слегка переборщил, но моей матери это понравилось, она была в полном восторге — даже одарила его одним из своих лучших поцелуев. Наш режиссер просиял: «Парамаунт» принял сценарий «Белокурой Венеры».

Герберт Маршалл должен был играть многострадального мужа, а актер второго плана Кэри Грант — открытие Мэй Уэст — получил роль «шикарного любовника». Но студия заупрямилась по поводу концовки. Я так и не узнала, кому принадлежал какой ее вариант, я знала только, что первый, написанный фон Штернбергом, был отвергнут, оскорбленный, он отказался от картины; на нее был назначен другой режиссер. Моя мать категорически отказалась работать с кем-либо, кроме фон Штернберга, он втайне очень был рад тому, что она заняла такую позицию; студия была в ярости.

26 апреля 1932 года «Парамаунт» объявил, что Марлен Дитрих временно отстранена от работы из-за отказа выполнять условия контракта и что в «Белокурой Венере» ее заменит Таллула Бэнкхед. Таллула якобы сказала: «Я всегда хотела примерить панталоны Дитрих», — отчего она не стала дороже «Парамаунту» или офису Хея, могущественному цензору киноморали, но рассмешила Дитрих. Затем «Парамаунт» объявил, что студия предъявляет Джозефу фон Штернбергу иск на сто тысяч долларов за нанесенный ущерб. Его ответ был характерен: «Всего-то сто тысяч? Это даже оскорбительно!»

Большинство звезд, отстраненных от работы, впадали в панику. Они лишались средств к существованию, их карьера

«зависала», статуе звезды подвергался угрозе. Но мою мать было не так-то легко пронять. Она высыпалась, убирала дом, пекла и варила на целый полк, все пробовала, весь день лакомилась, а потом, вырядившись в пух и прах, отправлялась на всю ночь танцевать с Шевалье. Раз, правда, она слегка на него разозлилась: заметив, как он поглядывал на Джаннет Макдональд в студии, однако простила его, потому что он прекрасно танцевал, и, как она заметила, «не злиться же из-за всякой ерунды». Конечно же, их видели вместе; конечно же, их фотографировали щека к щеке; конечно же, Шевалье гордился всем этим вниманием; конечно же, фон Штернберг ревновал. Однажды ночью он дождался ее, и их словесный поединок был таким бурным, что разбудил меня и даже Тедди, который забрался по лестнице ко мне наверх из кладовой, где спал в своей корзинке. О Боже — ну неужели мать не могла прошмыгнуть через дверь из сада, чтобы не расстраивать так нашего коротышку? Ведь он так усердно работал, подарил ей чудесное сапфировое кольцо, такое голубое, прямо как моя рождественская елка! В конце концов он любил ее — разве она не могла быть чуть-чуть подобрее?

Хотя я никогда не была слишком близка с Шевалье, я понимала, что моей матери он нравился главным образом тем, что был совершенно «неамериканцем» К нему тянуло даже моего отца. Посреди всего этого «американизма» иностранцы в своей ностальгии выискивали друг друга. Но даже если я это и признавала, я все равно не могла сочувствовать постоянному стремлению матери к далеким европейским берегам. Поскольку и Дитрих, и Шевалье были звездами «Парамаунта», студия, естественно, выпустила и их фотографию в обнимку. Агентства новостей подхватили ее и распечатали по всему миру. Мой отец протелеграфировал, чтобы получить разрешение использовать фотографию на рекламной открытке для «Полидора», европейской фирмы грамзаписи моей матери. Мать написала ответ, так объясняя щекотливую ситуацию:

Папиляйн,

Я могу авторизовать открытку, которая нужна «Полидору» но не могу послать отпечатки, потому что Джо побывал на студии ночью, вынул негативы из папок и уничтожил их. Он обвинил меня в неверности, в том, что я намеренно пытаюсь его обмануть. Обозвал меня шлюхой, потом спросил, спала ли я с Морисом. Я просто не выношу сцен ревности…

В доказательство того, что ей пришлось выстрадать, она приложила извинения фон Штернберга:

Любовь моя, моя истинная любовь,

Я уже сожалею о том, что сказал. Ты не заслуживаешь таких обвинений, а я вел себя, как обычно, несносно и необъяснимо. Каким-то образом, где-то я сбился с пути и не могу найти самого себя, Я не сделал ничего, чтобы заслужить твое уважение, и сделал слишком мало, чтобы сохранить его. Слова нельзя просто стереть, и за каждое нехорошее слово надо платить штраф. Именно это я и делаю,

Джо

Из-за нерабочего расписания моей матери внезапно стали возможны «семейные» экскурсии. Мы стали ходить в кино, как обычные люди, вместо того, чтобы заказывать и смотреть фильмы на студии. Конечно, нам никогда не приходилось платить, нас пропускали потихоньку через боковые двери уже после того, как гас свет, чтобы мою мать не узнали, и мы так ни разу и не досмотрели ни одного фильма до конца, потому что нам приходилось пробираться к выходу до того, как зажгут свет. И все же было весело делать вид, что мы «ходим в кино», как *обычные* люди! Еще мы ездили к океану. Я очень любила эти поездки — смотреть на чаек, на высокие буруны, на бесконечный горизонт. Мать никогда не подставляла себя солнцу, и не только из-за своей профессии: в то время она в принципе отвергала загар. Она считала, что загар — это для мужчин, и то только для красивых, так что к океану мы обычно ездили ближе к вечеру, на закате.

Впервые я услышала об этом по радио, в комнатке дворецкого, затем разрыдалась одна из служанок: кто-то украл ребенка у того человека с немецким именем, который в одиночку перелетел через океан. Я подумала, как это ужасно и как мог кто-то поступить так жестоко. Мне пришлось спросить у нашего шофера, что такое *выкуп.* Когда он мне сказал, я стала надеяться, что мистер Линдберг достаточно богат, чтобы выкупить своего ребенка. Шли дни. На поиски были брошены все знаменитости ФБР, но ребенка так и не нашли. Я решила, что, может быть, сработает метод моего отца, и прочла прочувственную молитву. Слухи росли, как грибы. Не было такого штата, где бы не нашлось свидетелей, видевших похитителей. Вся Америка искала младенца Линдберга. Когда было объявлено, что его могли перевезти в Южную Калифорнию, мы тоже включились в поиски. Теперь по дороге на пляж Гарри было велено заезжать во все темные аллеи, во все узкие проулки, а мы, высовывая головы из «роллс-ройса», впивались глазами в каждую тень, в тускло

освещенные окна каждой лачуги, надеясь найти этих ужасных похитителей. Выкуп был заплачен, а 12 мая ребенка Линдберга нашли мертвым.

Спустя три дня мы получили первое письмо с требованием выкупа. На нем стоял почтовый штемпель: «Аркэйд Стейшн, Лос-Анджелес, 15 мая 1932».

ТРЕБУЕМ 10 000 ДОЛЛАРОВ. 16 МАЯ В ОДИННАДЦАТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПРИПАРКУЙТЕ МАШИНУ ПРЯМО У ВАШЕГО ДОМА. ПОЛОЖИТЕ ПАКЕТЫ С ДЕНЬГАМИ НА ЗАДНИЙ БАМПЕР НЕ ДАЛЕЕ ШЕСТИ ДЮЙМОВ ОТ МОСТОВОЙ. НЕ ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ. ПРИНИМАЕМ ТОЛЬКО ПЯТИ- И ДЕСЯТИДОЛЛАРОВЫЕ БАНКНОТЫ. НЕ МЕДЛИТЕ. ПОМНИТЕ ЛИНДБЕРГА. ХРАНИТЕ МОЛЧАНИЕ. НЕ ДЕЛАЙТЕ ГЛУПОСТЕЙ.

Моя мать позвонила отцу в Париж, чтобы приезжал на первом же корабле: «Поторопись, Папи!» Но даже если бы он выехал немедленно, ему все равно потребовалось бы не менее десяти дней, чтобы добраться до нас. Я думала, успеет ли он вовремя, пока меня не украдут. Моя мать совершенно потеряла голову. Были призваны фон Штернберг и Шевалье, непременно с «ружьями наизготовку». По-видимому, их экипировал реквизиторский отдел «Парамаунта», так как они прибыли вооруженные до зубов, с заряженными карабинами. Фон Штернберг упорно предлагал позвонить в ФБР и начальнику отдела рекламы «Парамаунта», чтобы заткнуть рот прессе. К тому времени дом уже был запружен местной полицией, окружной полицией и полицией штата, начальством студии, охранниками, рекламщиками и прочим персоналом «Парамаунта». Моя мать, обвив меня рукой за талию и судорожно прижимая к себе, с остекленевшими глазами твердила: «Пока ты со своей матерью, ты в безопасности. Со своей матерью ты в безопасности. Никто не сможет отнять тебя у меня». Она так упорно это повторяла, что перепугала меня до полусмерти. Когда приехало ФБР, я поняла, что со мной все кончено, теперь спасти меня мог только Эдвард Г. Робинсон! Вход в сад и во все ранее доступные комнаты был «воспрещен» — меня посадили в одну из задних комнат для прислуги и приказали не высовывать оттуда нос. Проснувшись однажды ночью, я обнаружила рядом с кроватью на полу спящего фон Штернберга с револьвером в руке; в другой раз — мелодично храпящего Шевалье, тоже одетого и вооруженного.

Пришло еще одно требование выкупа, со штемпелем от 17 мая. Затем еще одно — 25 мая.

ПОСЛУШАЙ, МАМАША, НЕ БУДЬ ДУРОЙ. ДРУГИЕ ЗАПЛАТИЛИ, И ТЫ ТОЖЕ ЗАПЛАТИШЬ.

Я включила радио в комнате прислуги и услышала, что «дочурку Марлен Дитрих Хайдеде грозятся похитить» Ну и ну! Про меня сказали по радио — пусть даже под этим идиотским именем. Я надеялась, что и в следующем выпуске новостей про меня тоже объявят.

Моей матери, должно быть, пришлось нелегко со мной во время этого страшного для нее периода. Я воспринимала происходящее, как великолепный сценарий, я чувствовала, что играю в собственном захватывающем фильме и наслаждалась статусом звезды.

30 мая пришло еще одно требование выкупа:

РЕШАЙСЯ. ДЕНЬГИ ИЛИ ПРИШЬЕМ ДЕТОЧКУ. КАК ТЫ НАСЧЕТ ЭТОГО? ПОМНИ ЛИНДБЕРГА!

Газеты нарезали ровно по размеру банкнот, запаковали в аккуратные пачки, сверху и снизу каждой приложили по меченой пятидолларовой бумажке, которая должна была обмануть похитителей. Наготовив достаточное количество пачек, их уложили в два больших коричневых пакета для продуктов и поместили на бампер взятой из реквизита студии машины, которую припарковали у нашего дома. Затем пар пятьдесят острых глаз стали наблюдать за этим бампером из специальных укрытий в доме и в саду. Тянулись часы, моя мать разносила всем кофе и бутерброды, чтобы поддержать наблюдателей «в хорошей форме», но никто так и не явился за газетными деньгами, а требования выкупа внезапно прекратились.

К тому времени как приехал отец, угроза отпала, но, конечно, переполох остался. Отец взял дело в свои руки, отослал мать в постель (она поднялась в спальню и уснула впервые за много недель), велел мне вернуться в мою прежнюю комнату и сесть за книжку, приказал издерганной прислуге прибрать дом и приготовить приличный ланч для мистера фон Штернберга, мистера Шевалье и для него самого и сервировать стол в саду ровно через час. Затем, вместе со своими приятелями, отправился проверять наш запас контрабандных вин. На следующий день для меня наняли телохранителей. Первые несколько недель на постоянном дежурстве было четверо охранников днем и четверо ночью. Поскольку дальнейших требований выкупа не поступало, их число сократили вдвое. В качестве дополнительной предосторожности один собаковод привел к нам огромную

немецкую овчарку, якобы натренированную в полиции для нападения, которая должна была вонзить свои острые, как бритва, клыки в любого, кто посмотрит в мою сторону. Собака испытывала страстную тягу к мячам. Стоило бросить ей что-нибудь катящееся, и она тут же стремительно пускалась за ним вприскочку — вот так свирепый убийца! Весь день собака только и делала, что виляла своим длинным пушистым хвостом, выпрашивая разрешения погонять по лужайке любимые игрушки. Из нашего попугая и то вышел бы сторож получше.

Несмотря на все меры предосторожности, моя мать твердила, что мы должны уехать в «безопасный» Берлин. На любое возражение: дескать, нельзя оставлять карьеру звезды, — она отвечала ледяным взглядом, сопровождаемым фразой: «Если бы я не была знаменитой кинозвездой, никакого похищения не было бы». С такой логикой никто не мог поспорить. Но у всех были свои причины удерживать ее в Голливуде. Фон Штернберг боялся, что, если она сейчас уедет, он ее потеряет. Я боялась, что потеряю Америку; отец — свою комфортабельную жизнь в Париже. Только Шевалье ничего не терял, так что он просто спокойно ждал, что же придумают остальные. Понимая, что только рабочая дисциплина в состоянии рассеять ее ужас, фон Штернберг капитулировал, приняв все парамаунтовские поправки к сценарию, и «Белокурая Венера» снова стала созданием Дитрих-Штернберга.

И все же потребовалась совокупность гарантий со стороны полиции и ФБР и моего священного обета никогда больше не болтаться вне пределов нашего дома и обнесенного стеной сада, — лишь тогда моя мать согласилась остаться в Америке и вернуться к работе. Узнав, что к съемке фильма с ее так называемой заменой еще по-настоящему не приступали, она сказала:

— Ага! Так это был просто трюк студии, чтобы я поволновалась! Глупый народец! Всех-то и дел, что Таллула теперь не сможет похвастаться, что побывала в панталонах Дитрих!

И разразилась хохотом. Мы дружно вздрогнули, как птичья стая, услышав от нее этот внезапный смех. Она смеялась — благодаря фон Штернбергу! Наш «солдат» был вновь в боевой готовности — в готовности выполнить свой магический долг.

На каждое окно и каждую дверь поставили по железной решетке. Ворота держали под током. Ночью, при опущенных шторах, было еще не так плохо, но днем мне казалось, что мы отбываем срок в Алькатраце. Правда, мои телохранители были добрые, как заботливые отцы: они знали, что сделают все для

моего блага, но мечтали, чтобы им не пришлось этого делать. Они тайком приносили мне леденцы и мою любимую запретную жевательную резинку, разговаривали со мной, мы подружились. Так протекали наши солнечные дни. Мой отец взял на себя роль строгого преподавателя для балованной недоучки, драгоценного чада кинозвезды, стоял надо мной, пока я делала примеры, читала немецкие книжки, практиковалась в написании готических завитушек. Затем он взялся за совсем уже непосильную задачу: разобраться в чековых книжках моей матери без отчетных корешков.

После трудов я плавала, одевала Тедди в детское платье, засовывала его в свою нарядную кукольную коляску и катала по саду, пока моя собака-убийца рыскала в поисках своих круглых предметов, которые она все время прятала и потом забывала, где. Наш «ястреб» ждал, чтобы кто-нибудь попытался пройти мимо него. Служанки служили, охранники охраняли. Жизнь была тихой и «ну-у-удной», как это произносила моя мать. Я уже достаточно хорошо выучила английский, чтобы наконец пойти в школу, но эта мечта теперь растаяла окончательно. Никакой всякой всячины на уроках вместе с другими детьми, никаких друзей, никаких ночевок в гостях, никаких встреч с настоящими родителями, никакой жестяной коробки с ланчем, и мой пенал снова остался без места. Потенциальные похитители оказали моей матери огромную услугу: они дали ей правдоподобный и даже похвальный повод для того, чтобы вечно держать своего ребенка рядом, изолировать его от нормального мира, который, может быть, стал бы для меня более важным, чем тот, в котором жила она и который контролировала. Внешний мир сочувствовал ее заботливым усилиям, верил, что она всего лишь прикрывала меня от опасности, хотя на самом деле она просто придерживала меня для себя самой.

Я чувствовала, что что-то потеряла. Просто я была слишком мала, чтобы понять масштабы этой потери.

Пока отец еще оставался у нас в гостях, возобновились наши обеды. Мать начала думать о других вещах, которые отобрало у нее мое существование. Она осторожно спросила отца:

— Папи, ты перед отъездом говорил с Мутти? Ты предложил ей приехать сюда? Что ты ей сказал?

Отец помедлил, как если бы просто не хотел говорить о моей бабушке.

— Ну? — Мать стояла перед ним с посудиной в руках, не сводя с него глаз.

— Мутти, ты должна понять, как себя чувствует твоя мать и что она думает. Как она без Берлина? Все ее друзья там… там ее

дом. Никто не верит, что эта политическая ситуация продлится долго…

— Никто не верит! Тогда почему ты упросил «Парамаунт» дать тебе работу по дублированию фильмов в Париже? Почему ты пакуешь вещи, оставляешь Берлин и переезжаешь туда?

— Потому что я уверен, что происходящее в Германии чрезвычайно опасно, что может стать еще хуже… и в конечном итоге может привести нас к очередной войне!

— Вот видишь! Так почему же Мутти к нам не переехать?

Она с силой плюхнула на стол посудину с картофельным пюре, так что выплеснулась подливка.

— Потому что… — терпеливо начал отец.

Мать прервала его:

— Война! Это *слишком* театрально. Уезжать, бросать родную страну — слишком громкий поступок. Я не об этом говорю! Я говорю о том, чтобы *жите* здесь со мной и с Ребенком, на солнце, пока я снимаюсь. Ты же не можешь сказать, что жизнь здесь, с пальмами, слугами, шоферами — даже сейчас, при телохранителях — ничуть не лучше, чем старый дом, берлинский холод и трамваи! Я еще могу понять Лизель — это все ее ужасный муж, он, наверное, просто не дает ей взять с собой сынишку, от которого она без ума, но Мутти? Она совсем одна, никого вокруг! Какая разница, посылать ей туда деньги или ей самой жить здесь на всем готовом?

Я видела, что отец колеблется — ответить или нет. Я почувствовала, что бабушка не хочет жить с нами и что отец знает, почему, и даже до некоторой степени с ней согласен.

Тедди изжевал элегантную новую туфлю отца и доставил нам серьезные неприятности. Отец очень рассердился на его невоспитанность. Когда он обрушился с претензиями на мать, та пожала плечами, заметила: «А чего еще можно ожидать от собаки?» — и отправилась готовить обед для своих мужчин. Я клятвенно заверила отца, что Тедди научится хорошо себя вести, но все было бесполезно: отец сказал, что захватит собаку с собой в Европу. Теми ожидало «воспитание» Рудольфа Зибера — ужасная судьба!

Когда приехал фон Штернберг, чтобы отвезти отца на станцию, я прижимала Тедди к себе. Он был еще такой маленький! Я шептала ему в мохнатое ухо, чтобы он не боялся, а просто беспрекословно слушался, сразу же делал все, что ему велят, тогда все будет в порядке, затем поцеловала его и передала новому хозяину. Я молила Бога о том, чтобы снова увидеть его. Мы с матерью проводили их только до ворот под током, поскольку дальше идти было опасно: похитители до сих пор

могли подстерегать нас за банановыми деревьями. Просунув руки между прутьями, мы махали, пока машина не повернула на бульвар Сансет.

Думаю, что Бадди-убийца скучал по своему новому другу не меньше, чем я. Целыми днями мы грустно бродили по бульвару. Один охранник принес мне в банке зеленую лягушку (как мило с его стороны), а с «Парамаунта» мне прислали чистокровного шпица с таким пушистым воротником, каким мог бы гордиться сам сэр Уолтер Рэлей. Его родословная была похожа на юридический документ. Этот «чистокровный» все время вертелся под ногами, тявкал, чуть ли не довел и так чувствительного Бадди до нервного срыва. Я серьезно подумывала о том, не подсунуть ли его «ястребу!» В мой мир миловидные дворняги не допускались. Допускались те, что могли бы получить приз на Вестминстерском конкурсе, не менее того. В годы моего голливудского детства у меня перебывали: черный, как смоль, скотч-терьер — из тех, кому дают смехотворные имена типа Сэр Макдафф Абердинский; ирландский сеттер — Девица из Шонесси О'Дей; чао-чао с чернейшим из вообразимых языков, которая носила титул Цинь Мин Су У, которая укусила служанку и продержалась всего неделю… и многие, многие другие. Одно время я думала, что перебрала все элитарные собачьи породы. Что случилось со всеми этими собаками? Я на самом деле не знаю; знаю лишь, что как только садовники расставляли свои маленькие зеленые баночки с сильным ядом от муравьев, собаки, похоже, исчезали вместе с муравьями. Передо мной встают видения четырехногих трупиков, на которых в ужасе натыкаются садовники, — моя мать тогда звонила на «Парамаунт», чтобы мне срочно прислали новую собаку — поскорее «уберечь Ребенка от жестокости жизни». Вообще-то, учитывая нелюбовь матери к домашним животным, эта постоянная смена собак должна была сильно подтачивать ее щедрость по отношению к «Ребенку», но она все равно продолжала заказывать благородные замены. То, что мои друзья так внезапно исчезали, поначалу меня немного пугало. Почему они меня покидали? К тому времени, как я набиралась храбрости кого-нибудь спросить, появлялась новая собака, и мать говорила мне, чтобы я играла с ней и «радовалась». Я делала то, что мне велели.

Я осталась дома, за решеткой; собаки и телохранители прислушивались к малейшим шорохам в кустах. Некоторое время моя мать ездила на студию без меня. Каждое расставание могло стать последним, а возвращаясь, она облегченно вздыхала, что я еще на месте. По вечерам она рассказывала мне, как идет подготовка костюмов. Сколько я ни надеялась, она так и не

привезла мне «яичный салат на белках».

— Знаешь, что мы сегодня делали? Решили одеть ее во фрак! Но на сей раз во все белое. Отличная идея? Даже цилиндр — и тот белый.

Я спросила:

— Как в «Голубом ангеле»?

— Нет, нет. Гораздо элегантнее… Единственное, что мне не очень нравится, это лацканы — белое на белом… теряется рядом с манишкой.

Я рискнула:

— Может, можно как-то сделать, чтобы они блестели?

Мать замерла — она переодевала туфли, — посмотрела на меня, и так началось наше сотрудничество! Этим отношениям было суждено просуществовать весь оставшийся период ее профессиональной жизни. Возможно, в этом единственном плане мы действовали как соратники — почти наравне.

Так вот, тогда она просто уставилась на меня.

— Что ты сказала?

Решив, что, наверное, я переступила запретную грань, я оробела.

— Повтори! — приказала она.

— Ну, Мутти… я просто подумала… если ты говоришь, что белые лацканы на фоне белой рубашки будут теряться при съемке, можно посыпать лацканы блестками… может быть…

Последние слова прошелестели еле слышно. У меня пересохло в горле.

— Именно! Фальшивые бриллианты! Поди сюда! — Она схватила телефон, набрала номер: — Трэвис! Ребенок знает! Что делать с лацканами — да, она знает! Фальшивые бриллианты по всей поверхности! Гениально? Теперь мы можем отделать и ленту для шляпы, и разрезы карманов — всюду блестки. Я знаю, это сложно для Джо, но он сообразит, что делать. Вот, скажи Ребенку сам, какая она умница…

И она протянула мне трубку.

Трэвис Бентон сказал мне, что я «гений»; я его вежливо поблагодарила.

За обедом в тот вечер фон Штернбергу все рассказали про мою «дизайнерскую» изобретательность. Он милостиво улыбнулся, бросил на меня взгляд, как бы говоривший: «Спасибо, детка. Именно это мне и было нужно — блики света на лице моей богини!» — и вернулся к своему любимому венгерскому гуляшу.

— Радость моя, мы делаем шляпу для сцены в ночлежке. Дешевенькую, дрянную, поля бросают тень на лицо — может быть, добавим гроздь ярких вишен, для блеска. Кружевная блузка

с прорехами, чтобы вид был вульгарный и нищенский…

Я так и видела ее — свою мать — жалкую, унылую. Правда, я не знала, что такое ночлежка. Однако что бы это ни было, я знала: фон Штернберг наполнит что угодно своей чудесной светотенью.

Отец, вернувшись в Париж, встретился со своим приятелем Шевалье. Они отправили совместную телеграмму:

ПАРИЖ ДИТРИХ ГОЛЛИВУД КАЛИФ
ПРИЯТНО ПООБЕДАЛИ В БЕЛЬ ОРОР ЛАНГУСТЫ НЕ ТАКИЕ ХОРОШИЕ КАК ВАШИ ТЧК ВЫПИЛИ ЗА ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗА МАРИЮ ТЧК СКУЧАЕМ БЕЗУМНО
МОРИС РУДИ

— Радость моя, сегодня мы снимали сцену в ванной. Мальчик, который играет ребенка, очень мил. Помнишь, как я тебя мыла в Берлине, когда ты была маленькой? Вот так я и играла, в большом белом фартуке, прямо как будто мою тебя. — Ее голос слегка потеплел, когда она вспомнила «добрые старые времена». — Мистеру фон Штернбергу понравилось, как я сыграла, так что сегодня все было легко, но потом, после сцены, я расплакалась, потому что там не было тебя, и нам пришлось рано прерваться на ланч — чтобы мне привести в порядок глаза. Герберт Маршалл играет роль мужа. Приятный человек, тоже англичанин, но актер рангом повыше… только вот он плохо ходит — у него протез. На что он только не пускается, чтобы отвести вам глаза! И знаешь — во время просмотров хромота практически незаметна. Почему человек с деревянной ногой пошел в актеры? Забавно. Нелли и Дот передают тебе приветы, все спрашивают, где ты. Я им говорю: в надежном месте.

Я скучала по студии. Я надеялась, что мать долго не выдержит, решит, что она так больше не может, позовет меня снова, и я снова возьму в руки зеркало и займу свою позицию. Мне ужасно хотелось посмотреть, как она играет обезумевшую жену, которая принесла в жертву все. Но понадобилось много времени, чтобы она капитулировала, и поэтому я не видела ни великого номера с вуду, ни шикарного взъерошенного парика, прямо как у Гарпино, который был на ней, когда она вылезала из шкуры гориллы.

— Радость моя, как тебя там не хватало! Бьют барабаны, я раскачиваюсь в шкуре гориллы… медленно сбрасываю одну лапу — появляется прекрасная рука, как шея белого лебедя — потом опять качаюсь, как в джунглях, — появляется другая прекрасная рука… опять качаюсь. Меня чуть не укачало! Потом я медленно

откидываю назад огромную обезьянью голову, и появляется лицо — волосы гладкие и туго стянуты — лицо Нефертити на тучном теле гориллы. Каково?

Мы устроили воскресный ланч во внутреннем дворике: холодное мясо ломтями, картофельный салат, черный хлеб и сыр. Мать тоскливо смотрела на эту снедь и возмущенно затягивалась сигаретой, выпуская кольца дыма, пока мы объедались. Фон Штернберг глотнул «мочи», доставленной нам Глэдис-Мэри.

— Любимая, ты слышала, что Академия выдвигает Гармса за лучшую операторскую работу в «Шанхайском экспрессе»?

— Невероятно! Они собираются наградить *его* за *твою* превосходную работу?

— Он великолепный оператор, он это заслужил.

— Идиоты. Посмотри, с кого они начали, с этой… с этой… «девицы на выданье» — Дженнет Гейнор. Вот уж ей-богу! Повздыхала на фоне намалеванных парижских крыш — и, пожалуйста, награда за *роль*! А Гарбо! Они чуть было не наградили ее за этот кошмарный «Гранд-отель»! Вообще она бывает очень даже недурна, но тут такое безобразие — когда она бегает за Бэрримором (не мужчина, а какой-то окорок) — это уж слишком… Эта чванливая Академия — за что она раздает свои награды? Им что, как детям, нравится награждать самих себя? Они что, *не знают,* когда они хорошо работают? Им нужно получить награду, чтобы узнать?.. И в довершение всего этого бреда они идут в эту жуткую кокосовую рощу с фальшивыми кокосами на картонных пальмах — и сами себе аплодируют! Ужас — до чего может дойти актерское тщеславие!

Больше в нашем доме не говорили об академических наградах.

Утро, когда в наш дом пробрался молочник, стало для меня переломным. Моя мать решила, что если он ускользнул от боевого пса и вооруженных охранников, не говоря уже о попугае, то это значит, что я буду в большей безопасности за воротами студии «Парамаунт». Так что мне, по крайней мере, удалось увидеть костюм для номера вуду (горилла, к сожалению, уже висела в гардеробной в ожидании фильма про джунгли). Я снова была «дома». Практически сразу же у меня возникло чувство, что я никогда и не отсутствовала, разве что теперь за мной повсюду ходил телохранитель. Ничего особенного: все думали, что это просто какой-то статист из гангстерского фильма, который заблудился и ищет свою площадку.

Моя мать так редко влюблялась в кого-то, не прибегая к романтическим приправам, что таких людей я не забывала

никогда. Мэй Уэст, ее соседка по артистической уборной, принадлежала к их числу. Ей разрешался свободный, легкий американский стиль общения, и она никогда не испытывала на себе «дитриховский лед». Она могла запросто открыть дверь в гримерную моей матери, одновременно стуча по косяку: единственный человек, который после такого оставался безнаказанным!

— Привет, голубка! — Она отступила назад, упершись руками в свои знаменитые бедра, закатив глаза, идеально подражая себе самой, и оглядела смелый костюм моей матери, предназначенный для сцен вуду. Оценивающе присвистнула. — Неплохо, милочка, *совсем* неплохо!

— Да ты погляди, Мэй, — опять ноги! Вечно одно и то же, подавай им ноги!

— Ну да! Ты дашь им низ, а я дам им верх!

Своими маленькими ручками она приподняла мощный бюст, и так уже выпирающий из тугого корсета, который она носила всегда, даже под ночной рубашкой. Мать рассмеялась. Мэй Уэст умела ее рассмешить.

— Нам ведь женщин тоже нужно привлекать, не одних мужчин. Помни об этом. Если бы только мужчин, я бы просто выставляла для них… — С этими словами она высвободила из корсета одну грудь — не грудь, а загляденье!

Шокировать мою мать было легко. Мэй Уэст это знала и любила ее подразнить. Со своей знаменитой вызывающей ухмылкой она аккуратно уложила алебастровое сокровище обратно в чашечку из китового уса, дала Дитрих шлепок и выпорхнула из комнаты! Мать запрокинула голову и расхохоталась. Она ценила хорошую игру, как опытный зритель. Я не поняла всего смысла сцены, но навсегда запомнила ее из-за того заразительного веселья, которое возникало между двумя подругами. Я часто задавалась вопросом, почему их дружба никогда не выходила за пределы территории «Парамаунта». У них было столько общего, по крайней мере, в профессиональной области. Их великолепное подтрунивание над самими собой, их способность смотреть на свой образ в фильме со стороны, их чутье на то, что на них поработает, а что нет, и поразительное свойство: иметь успех как у мужчин, так и у женщин. Однако Мэй никогда не приходила к нам в гости, и для нее никогда не готовили специальный обед. Гримерные, соседствующие друг с другом, были единственной декорацией дружбы этих двух мировых знаменитостей, которым так удавалась роль женщины-вамп. Мне всегда хотелось увидеть их вместе в одном фильме. Как это было бы здорово! Впрочем, играя в одном фильме, они

могли бы и перечеркнуть друг друга.

Мать написала отцу:

«и она действительно ее вынула, Папи, и тыкала ею то туда, то сюда, как некоторые в разговоре тычут пальцем. Джо дал роль любовника одному молодому красавчику-кокни по имени Кэри Грант. Его нашла Мэй. Как ты думаешь, чем он занимается? Чтобы подзаработать, он прямо на площадке продает ***рубашки,*** *и он такой очаровательный, что люди стекаются со всей студии, чтобы их купить!»*

8 сентября 1932

Папиляйн,

Я начала укладывать вещи. «Бремен» отплывает 10 октября. Срок аренды дома истекает через месяц. Ребенку будет полезно снова повидать Германию. Она уже американка на двести процентов, а я сгораю от нетерпения снова ступить на родную землю и повидать Мутти.

Студия опять говорит, что даст мне другого режиссера. До чего же они глупы! Джо говорит о наших боссах, что это «люди, которые знают, чего хотят, но не знают, как это выговорить». Я жду того чудесного дня, когда этот дом останется позади. Если придется вернуться, секретарь Джо подыщет нам новый. Решетки и ворота под током всегда будут напоминать нам о страхе и кошмаре, в котором жили Ребенок и я.

Целую,

М.

Мне мысль о возвращении совершенно не нравилась. Берлин уже превратился в воспоминание о зимнем холоде и каменных домах; и потом, если я буду далеко, то как же я узнаю, станет ли президентом этот добрый мистер Рузвельт из радиоприемника?

ПАРИЖ 15 СЕНТЯБРЯ 1932 4:07

ДИТРИХ

ГОЛЛИВУД КАЛИФ

ТЕБЕ НЕ СЛЕДУЕТ ЕХАТЬ В ГЕРМАНИЮ СЕЙЧАС ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ОПАСНАЯ ТЧК НОВЫЕ ВЫБОРЫ ПОВЫСИЛИ ОПАСНОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ТЧК ТЫСЯЧА ПОЦЕЛУЕВ

ПАПИ

Я чуть было не вскрикнула от радости, когда моя мать прочла телеграмму, но вовремя прикусила язык. В тот же вечер она показала телеграмму фон Штернбергу.

— Любимая, Руди, должно быть, прав. Даже здесь, на студии,

я слышу о всяких странных вещах, которые происходят на «УФА». Я знаю, как сильно тебе хочется отсюда уехать, но советую тебе подумать, прежде чем решишь сбежать просто потому, что хочешь сбежать от меня.

Последнее замечание он смягчил одной из своих самых нежных улыбок. Моя мать уже готова была возразить, когда фланирующей походкой вошел Шевалье. Его приход означал обычно уход фон Штернберга. Так случилось и на сей раз.

«Белокурая Венера» вышла на экраны; провал был громкий. Дитрих в роли хранительницы очага определенно никому не понравилась. Номер с гориллой, ногами и белым фраком был вполне о'кей, но все остальное американская публика отвергла. Нисколько не расстроившись, моя мать сердилась лишь, что какие-то дурацкие политические игры не дают ей вернуться в Берлин. Тем не менее она решила прислушаться к предостережениям отца. Офис фон Штернберга получил распоряжение аннулировать наши места на «Бремене», но места на поезде были сохранены. Мы могли по крайней мере спастись от «интеллектуальной пустоты» Голливуда, переехав в Нью-Йорк. Моим телохранителям было велено взять с собой зимние вещи и побольше патронов.

За исключением того дня, когда я сложила свои пожитки и покинула материнский дом ради глупого и неудачного раннего брака, я не помню ни одного раза, когда мы по-настоящему готовились к переезду из одного голливудского дома в другой. Если мы что когда и упаковывали, то только одежду — по чемоданам и саквояжам. Мы не знали, что такое день ожидания грузового фургона. Мы просто выходили через парадную дверь, а переездом занимались другие. Так было и сейчас. Моя мать всегда верила в целебную силу морского воздуха. Точно так же как в Германии она увозила меня на море, когда я заболевала, так и теперь увезла, но на сей раз — чтобы ее ребенку оправиться не от простуды, а от пережитых страхов. Она распорядилась найти ей «дом на берегу океана, но не в этом ужасном Малибу, где живут все нувориши вроде Шульбергов», и мы отправились в Нью-Йорк.

Мы поселились в усадьбе колониального стиля с элементами древнегреческой архитектуры — в доме для гостей, выстроенном для Марион Дэвис, любовницы Уильяма Рэндольфа Херста. Главная постройка, тоже с привкусом Афин, но в четыре раза больше нашей, располагалась слева; хозяев от арендаторов отделял маленький Уимблдон. Поскольку все то время, что дитриховская команда жила по соседству, Херсты не

пользовались своей приморской резиденцией, я так никогда и не видела эту знаменитую чету. Позже мать рассказывала мне о банкетах в личном Тадж Махале Херстов — Сан-Симеоне. Но в Афинах — Санта-Монике — во время нашего там пребывания никаких вакханалий не устраивалось.

Наш «домик» для гостей украшал вход наподобие Парфенонского, винтовая лестница в стиле Тюдоров с версальской люстрой, свисавшей со сводчатого потолка на цепи такой толщины, что она могла бы выдержать якорь океанского лайнера. Портик позади дома, выходящий на Тихий океан, был выполнен в духе Кейп-Кода, колонны, поддерживающие его крышу — в голливудско-коринфском стиле. Внизу, где положено быть саду, располагался бассейн. Дом и бассейн окружала высокая белая стена. Она ограждала нас с одной стороны от хайвея Тихоокеанского побережья и от земляного вала высотой в пятнадцать этажей напротив парадной двери, а с другой, сзади — от океана, во время отлива находящегося на расстоянии восемнадцати футов. Расположенный посреди рева двадцатифутовых валов и грузовиков, спешащих в Сан-Диего, дом был безумен и прекрасен. С ним у меня связаны: «Песнь песней», Мерседес де Акоста, Фред Перри, Брайан Эхерн, третий визит моего отца, на этот раз особенный, потому что он привез с собой Тами, с которой я была счастлива, и, очень значительное — большое землетрясение 1933 года.

Мерседес де Акоста была похожа на испанского Дракулу. Мальчишеская фигурка, черные как уголь волосы, стрижка, как у тореадора, белое, как мел, лицо, глубоко посаженные черные глаза с тенью печали. Ее таинственный (или же чахоточный вид) затронул романтические струны в душе моей матери. Мерседес де Акоста была известна не столько своим искусством сценаристки, сколько тем, что была любовницей Греты Гарбо. Она утверждала, что обслуживала таким же образом Дузе. Моя мать рассказала мне, как нашла ее рыдающей на кухне во время вечеринки у Тальбергов. Гарбо вновь жестоко обошлась с этой несчастной латинянкой, так что Дитрих просто не могла не утешить ее. Было много версий этой встречи на кухне, но они неизменно заканчивались тем, что «жестокую шведку» сменяла «блестящая аристократка». Моя мать упоминает об их первой встрече в письме к отцу:

У Тальберга была очередная роскошная вечеринка. Я познакомилась с писательницей — испанка, очень привлекательная, по имени Мерседес де Акоста. Говорят, что Гарбо сходит по ней с ума. Для меня она оказалась спасением от голливудской

узколобости. Здесь даже церкви, и те строятся в форме кассовой будки.

Целую

И на следующий день:

Папиляйн,

Я снова видела Мерседес де Акосту. Ей явно тяжело с Гарбо: во-первых, та крутит на стороне (кстати, поэтому Мерседес попала в больницу с гонорееей), а во-вторых, она из тех скупердяек, которые пересчитывают каждый кубик сахара, проверяя, не крадет ли служанка. Мне жаль Мерседес. Она была бледная, осунувшаяся, нездоровая. И одинокая, грустная, прямо как я. Меня потянуло к ней, и я принесла ей домой охапку тубероз. Пообещала, что буду готовить ей вкусную еду, поправлю и здоровье и придам сил.

Де Акоста крепла не по дням, а по часам. У дверей нашего храма появлялись гонцы, иногда по четыре-пять раз на дню, с толстыми пергаментными конвертами от «поверженной» латинянки, на которых рельефными буквами было выбито: МЕРСЕДЕС ДЕ АКОСТА. Она также любила подписываться романтическими псевдонимами: например, «Белый Принц» или «Рафаэль». К моей матери она обращалась согласно своей пылкой фантазии: «Золотая», «Чудная», «Дражайшая» и так до тошноты. Следует признать, что спустя несколько недель прочитывались уже не все письма Белого Принца. Некоторые просто запихивались нераспечатанными по ящикам. Те, которые моя мать читала, она ненадолго оставляла у себя, затем пересылала отцу.

МЕРСЕДЕС ДЕ АКОСТА

Чудная,

Сегодня исполняется уже неделя с тех пор, как твоя прекрасная дерзкая ручка раскрыла лепестки белой розы. Прошлой ночью было еще чудеснее, и всякий раз, как мы видимся, это чудо волнует все больше и больше. О, это изысканное белое женское личико! Перед тем как лечь спать, не позвонишь ли ты мне, я хочу просто услышать твой голос.

Твой Рафаэль

После того, как она пожила у нас дома, я поняла кое-что про нашу «любовницу-латинянку». Она была настолько «сражена» страстью, что от нее разило скукой! Может быть, Грету Гарбо это и удовлетворяло, но я знала, что моя мать скоро начнет

задыхаться. Однако, пока она пребывала в промежутке между двумя картинами, и такое «поклонение» помогало ей убивать время. Так что моя мать доиграла роль «Золотой» и «Чудной» до конца, и, как в любой из ее ролей, костюм должен был соответствовать образу. Мне довелось играть с ней рядом.

В Голливуде стало модным развлечением ходить на теннисные матчи. Знаменитых теннисистов всеми способами заманивала к себе на вечеринки голливудская элита, вечно ищущая свежую кровь, свежих звезд. «Кровосмесительные» списки гостей были постоянным кошмаром для хозяек голливудских салонов. Великий Билл Тилден имел большой спрос в качестве банкетного гостя. С ним состязался по части приглашаемости Фред Перри — еще один теннисный чемпион. В отличие от Тилдена, который блистал лишь на корте, Фред Перри был очарователен и в свете: красавец с черными гладкими волосами, орлиным носом и атлетическим телосложением. Мне было интересно, заметила ли свое сходство с ним де Акоста. В то время мужская форма тенниса состояла из безукоризненно белых фланелевых брюк, слегка подвернутых, и из белоснежной шелковой рубашки, которую после матча заменяли на столь же белоснежный трикотажный свитер. Звездный состав дома на Санта-Моника-Бич носил именно такие фланелевые брюки, рубашки и свитера с одной лишь вариацией: белым же беретом a la Шевалье. Де Акоста, всегда так одевавшаяся, конечно, была в экстазе. Ей даже в голову не приходило, что на такую форму одежды нас мог вдохновить кто-то, кроме нее. Она же считала себя ответственной за мою новую стрижку под мальчика — как будто не знала, что Дитрих никогда не любила у женщин мужскую стрижку. Я носила брюки и раньше, и мне в них нравилось, но теперь они стали дневной формой. Фред Перри учил мою мать играть в теннис с неистощимым терпением, успевая между летающими мячиками пылко ее обнимать и бегло целовать. Я втайне надеялась, что «сраженная» испанка придет и застанет за этим занятием «сраженного» англичанина, но моя мать весьма ловко не давала своим поклонникам пересекаться.

Фон Штернберг вернулся наконец из очередного долгого путешествия, которые он предпринимал даже тогда, непременно в какие-то дикие и далекие места, словно бы надеясь найти там некое невозможное исцеление. Любовь к моей матери иссушила его, сделала злым, скорее на себя, нежели на нее. Позже я поняла, что он ненавидел то, что считал своей унизительной слабостью, толкавшей его на страстную любовь к женщине, которую он уже презирал. Он был слишком умен, чтобы не понять, что его талант

загублен.

Вероятно, не сознательное решение, а внутренняя необходимость побудила его согласиться с распоряжением студии сменить режиссера для Дитрих, так как было совсем не похоже на фон Штернберга, чтобы он посоветовал моей матери послушаться не его, а чьих-то еще приказов. Если бы он и моя мать решили не расставаться в профессиональной области, ни одна студия мира не смогла бы их разлучить. Вместе они были непобедимы. Поэтому в день, когда у них состоялась та трагическая и бурная встреча, я думаю, исход ее был предрешен фон Штернбергом задолго до его приезда к нам. Я и раньше часто видела, как они спорят, крепко-накрепко упершись профессиональными каблуками в землю и не уступая друг другу ни пяди. Но на сей раз все было по-другому. Он был подавлен, но тверд. Она, с застывшим лицом, вся собралась, как всегда, когда ее одолевали страх и тревога. Они говорили, но так сдержанно, так контролируя свои взрывоопасные чувства, что воздух раскалился. Он сказал ей, чтобы она снималась в следующем фильме, «Песни песней», без него, и чтобы, по своему контрактному праву самой выбирать себе режиссера, она выбрала Рубена Мамуляна.

— Таким образом ты окажешься в руках джентльмена, который к тому же очень талантливый и перспективный режиссер.

Все еще ни слова от моей матери, только недоверчивый взгляд, впившийся в его лицо.

— У него не достанет сил сражаться с тобой, вбивать тебе в голову, что от тебя требуется, чтобы эпизод удался. Но если ты будешь думать сама, может быть, и получится приемлемое исполнение. К тому же тебе понравится заниматься дизайном костюмов. Вне всякого сомнения, ты будешь прекрасна, поскольку они применят мое освещение.

Бросив на нее последний взгляд, фон Штернберг повернулся и вышел из комнаты. Она осталась стоять в оцепенении. Я побежала за ним. У него был предельно усталый вид.

— Я сделал все возможное, Кот. Береги свою мать!

Когда он выходил из дома, я отметила, что на нем тоже белые фланелевые брюки. Бедный Джо!

Мать, склонив голову, медленно вступила на винтовую лестницу, ее гнев был заметен лишь по тому, как побелели костяшки пальцев, когда она опиралась о черные лакированные перила. Мне хватило ума оставить ее в покое. Она вошла в спальню и тихо закрыла за собой дверь. Меня еще не водили на пьесы Шекспира, но когда много лет спустя я увидела, как мать повторила такой же выход, я вспомнила этот случай и сразу

поняла, что это уже была отработка роли леди Макбет. Все в доме стихло. Живым остался только граммофон матери, на котором Таубер пел ее любимый австрийский Schmaltz. Именно тогда я впервые увидела этот картинный «уход», знаменитый уход Дитрих, ее воплощение скорби. В последние годы она надолго запиралась в спальне, но тогда, в тридцать втором, вынырнула спустя всего лишь сутки. В руке у нее была моя записочка. Моя очередная записочка со словами любви к маме. Она ими очень дорожила и, кажется, они поднимали ей настроение, поэтому я писала их часто, подсовывая свои карандашные писульки под дверь ее спальни. Я почувствовала, что после ухода Штернберга моя записка будет очень кстати. Я написала:

О Мутти! Ты такая грустная, я по тебе скучаю и люблю Тебя.
Кот

Она поцеловала записочку, потом сунула ее в карман брюк, протянула мне руку, и мы пошли в библиотеку, разбирать почту.

МЕРСЕДЕС ДЕ АКОСТА
Моя Чудная,
Как это гадко, что тебя могут обидеть или ранить… Хотела бы я заключить тебя в свои объятья, чтобы защитить от любой боли!
Надеюсь, что я ни в коем случае не послужила причиной вашего разрыва, что мистер фон Штернберг не знал обо мне. Потерять такого друга, как мистер фон Штернберг, и навредить своей работе только из-за любви ко мне, поистине, значило бы заплатить слишком высокую цену. Прекрасная, обворожительная Жар-птица, не забывай, у тебя есть твои и только твои крылья, и тебе не нужно никого, ты сама можешь взлететь ввысь, в заоблачную высь!

Что-то в этом письме рассердило мою мать, потому что она отшвырнула его, воскликнув: «Слишком много она о себе мнит, эта женщина!» И Белый Принц получил отставку на весь оставшийся день. Только много лет спустя, когда я обнаружила письма де Акосты, разбирая вещи в отцовском доме, я поняла, что вызвало это замечание матери: эгоизм де Акосты, возомнившей, что она может играть столь важную роль в жизни Дитрих, чтобы стать причиной разрыва между ней и фон Штернбергом. Это было непозволительно ни для кого, кроме самого фон Штернберга.

Несколько следующих дней принесли моей матери своего рода комическое утешение. Не так давно к окружению Дитрих

примкнула новая парочка. Эти два молодых человека все время оказывались под рукой. Пробовали все кулинарные блюда моей матери, всегда к месту восклицая: «Божественно!»; с восхищенным кудахтаньем внимали любым ее излияниям, проявляли достаточно ума, чтобы ни разу не подать виду, что впитывают любую пикантную новость с намерением блеснуть затем в своем собственном кругу; днем и ночью были доступны звонкам и готовы доставить куриный супчик с пылу с жару кому-нибудь, кто мчался на полной скорости в своей развалюхе, украдкой записав на будущее его имя и адрес; бегали по поручениям, постепенно и с помощью лести становясь сначала полезными, а после незаменимыми и, следовательно, постоянной величиной в искомом ближнем круге Дитрих.

К сожалению, мать привлекала таких людей — на протяжении многих лет у нас не было от них отбоя. Слава влечет стервятников, охочих до отбросов. Моя мать всегда поддавалась на это. Кроме того, она питала слабость к гомосексуалистам и была наивна по отношению к жуликам из их числа. Позже Клифтон Уэбб назвал эту парочку «личными Розенкранцем и Гильденстерном Дитрих» Что он имел в виду, она в то время не поняла, просто подумала, что это его очередная острота.

В тот день, когда возбужденные «мальчики» впорхнули в дом, меня отправили плавать. Тридцать лет спустя мать рассказывала мне об этом так:

— Они пришли к нам в дом на пляже и сказали: «Случилось самое страшное». Гарбо должна была ехать на север, куда — не знаю, и они ей купили всю теплую одежду, как она велела, в магазине Армии и Флота. Ты знаешь Гарбо, она никогда и на цент бы не раскошелилась. Упаковали все в машину, она стояла перед домом Мерседес де Акосты, и они очень долго ждали. Наконец де Акоста отправилась домой к Гарбо и узнала, что та уехала не с ней, а с Мамуляном. Де Акоста плакала, так что, конечно же, я ее взяла к себе и накормила. В те дни между штатами были границы (здесь я не стала возражать, так как не хотела прерывать рассказ), и когда пограничники остановили машину для досмотра, они, конечно же, узнали Гарбо, так что ей, естественно, пришлось вернуться в Голливуд!

— А де Акоста так все и плакала? — спросила я.

— О, она всегда все драматизировала — настоящая ис-пан-ка! Потом, когда у меня была стрептококковая ангина, и доктор сказал, что ты можешь заразиться, я легла в больницу — в какую-то местную больничку неподалеку от Санта-Моники. Там у меня была медсестра, которая мне сказала: «Отгадайте, кто лежит в нашей больнице! Грета Гарбо! У нее гонорея!» — Мать выдержала

эффектную паузу. — Заразилась от Мамуляна.

— От Мамуляна? Неужели? — изумилась я.

— Где же еще она могла ее подцепить?

Настал день, когда моей матери пришлось смириться с тем, что теперь называлось «дезертирством Джо». Возможность исков со стороны «Парамаунта», а также очередного отстранения от работы и, хуже того, коварный слух о том, что «Дитрих кончилась» и не удержится в звездах без своего творца, возымели на нее наконец необходимое воздействие. Впервые со времен «Голубого ангела» она осталась без личного защитника. Она позвонила отцу в его парижскую квартиру, передала всю сцену предательства Джо, подбавив от себя то тут, то там несколько реплик, чтобы оттенить драматизм ситуации. Он молча выслушал, дал ей доиграть сцену вплоть до развязки, согласился, что с ней поступили несправедливо, затем спокойно поставил ее на путь, по которому ей логически следовало идти. Он знал, что этой немке нравилось получать приказы, но и что отдавать приказы Дитрих — дело тонкое. Вышло что-то в этом роде:

— Мутти, ты столько перенесла — сначала с Ребенком, потом со сложным фильмом, а теперь это! Я не могу сейчас простить Джо его безрассудство! Оставить тебя! Поступок жестокого и эгоистичного человека!

— Нет, Папи. Я думаю, что он действительно делает это ради моего же блага.

По последней реплике я поняла, что отец на правильном пути — он сделал так, что она начала защищать фон Штернберга.

— Но ты прав! Я должна заставить себя встретиться с этим Мамуляном. Говорят, он приятель Гарбо, ты знал? Мило! Мне только этого не хватало! То де Акоста, а теперь он — я окружена любовниками Гарбо! Да, я ему позвоню.

Мне дали трубку, чтобы сказать отцу до свидания, и я воспользовалась этим, чтобы послать поцелуй Тами.

Моя мать не стала сама звонить Мамуля ну, Дитрих никогда не делала первый шаг в делах — только в любви. Она считала, что леди не подобает вступать в торги. Она призвала своего агента. Раньше она никогда не устанавливала с ним профессиональных отношений, потому что все и так было в волевых руках фон Штернберга. Но теперь ей нужен был новый буфер, посредник, верный адъютант.

Гарри Эдингтон прибыл в наш греческий храм — невзрачный субъект в обязательном кашемировом пальто с хлястиком. Он был проницателен, сообразителен, наделен чувством юмора и нью-йоркским здравым смыслом. Мать с многозначительным видом

протянула ему сценарий «Песни песней».

— Вы читали эту вещь?

Эдингтон не только читал сценарий, но однажды посоветовал и моей матери сделать то же самое. Однако он был достаточно хитер, чтобы не напоминать ей об этом. Устроившись в серебристо-черном кресле «арт деко», таком гигантском, что его ноги еле доставали до пола, он под пристальным взглядом моей матери начал перечитывать то, что еще и во второй раз требовало концентрации усилий. Лицо его оставалось непроницаемым. Ни единого чувства, ни одобрения, ни отрицания — не за что зацепиться, никакого предлога для схватки. Я сидела на своем обычном наблюдательном посту — в углу километровой, тоже серебристо-черной кушетки. Мать курила. Прошло много времени, Эдингтон вздохнул, положил толстый сценарий на столик из стекла и хрома и посмотрел ей прямо в глаза.

— Да, это худший сценарий из всех, какие я когда-либо читал. Вы правы. Нам придется что-то предпринять. А пока засуньте его куда-нибудь — чтобы дом не провонял!

Моей матери это понравилось! Перед ней был профессионал, вкусы которого совпадали с ее вкусами и который был готов за нее сражаться. Он тут же уехал, сказав ей: «Положитесь на меня».

То, с чем он столкнулся на «Парамаунте», потрясло даже его. Дитрих должна была приступить к работе над «Песнью песней» по первому же приказу, независимо от того, что она думала о сценарии. Если она отказывалась, ее отстраняли от работы, лишали трехсоттысячной зарплаты и подавали иск на сто восемьдесят пять тысяч долларов — затраты студии на предварительную подготовку к съемкам. Парамаунтовское начальство решило взять Дитрих, лишенную прикрытия фон Штернберга, в ежовые рукавицы. Эдингтон был слишком хорошим агентом, чтобы поставить своего клиента лицом к лицу с этим приговором. Он знал, что ему предстоит совершить почти невозможное: сделать, чтобы Дитрих подчинилась, согласилась сниматься — и сгладить антагонизм в дальнейшем. Втайне он был поражен столь жестким отношением студии к Дитрих и понимал, что если бы ему разрешили действовать в качестве ее агента раньше, такая ситуация никогда бы не возникла.

Я всегда восхищалась тем, как он обращался с моей матерью. Он плохо ее знал, но инстинктивно всегда находил к ней правильный подход. Он вступал в нашу гостиную, как генерал, заботящийся о жизни своих солдат. Он докладывал ей о силе врага. Мне, как всегда сидящей в углу своей кушетки, было очевидно, что он добывал дополнительную информацию о моей матери: например, он явно знал, что Дитрих тратила все до

цента, никогда не экономила и не копила денег, поскольку упоминал не только об убытках, которые принесет отказ сниматься, но и о риске удержания определенных сумм из будущего жалования. То, что «по закону студия права», он иногда подбрасывал, но тут же добавлял, что это не самая важная проблема. Проблема в том, что любое судебное разбирательство может задержать ее в Калифорнии, без всяких средств к существованию и на весьма долгий срок. Приводя этот довод, он знал, что она уже у него в руках, но считал, что небольшое закрепление успеха никогда не повредит, и как бы невзначай предложил: почему бы не встретиться с Мамуляном, послушать, что предложит тот? Может быть, вдвоем им удастся спасти положение, разделаться с этой картиной — зато потом получить свой *приятный, долгий* отдых в Европе. Эдингтон был гениальным агентом. Его войска — моя мать и я — решили сражаться под его началом. Мать согласилась встретиться с Мамуляном в присутствии Эдингтона. Дитрих всегда заботилась о том, чтобы с первой же встречи над противником был численный перевес.

Рубен Мамулян не походил на типичного голливудского режиссера. Никаких башмаков и хлыста, как у фон Строхайма, никакой напыщенности, как у Сесиля Де Милля. Его стиль определял серый фланелевый пиджак Ист-Кост-Айви Лиги, вполне гармонирующий с брюками, с рубашкой от «Брукс бразерс» и со сдержанным галстуком. А спокойствие! Не просто спокойствие — штиль! Штормовые ветра не касались парусов этого человека; даже позже, работая с Дитрих, которая перечила ему непрестанно, он оставался невозмутимым. «Песнь песней» была единственным их совместным фильмом. Мне всегда казалось, что он движется, как в замедленной съемке, будто снимают его под водой.

Мамулян согласился: сценарий далек от совершенства, — но добавил, что нельзя предсказать, что получится при постановке. Будучи прежде всего театральным режиссером, он привык дорабатывать приемы и характеры в процессе самой работы, что в кино рискованно с технической точки зрения и практически невозможно с Дитрих. Но это ему только предстояло узнать. Пока же, сказал он, он признателен студии, что ему вообще собираются платить за то, что он считает привилегией, и почему бы не облегчить и не упростить себе жизнь, согласившись с требованиями «Парамаунта»?

— Джозеф фон Штернберг никогда бы не согласился быть режиссером фильма, который ему не нравится, — категорически изрекла мать.

Ей не удалось вывести Мамуляна из себя. Только Эдингтон, я

заметила, вздрогнул. Мамулян признал, что он, разумеется, не фон Штернберг, и с этим ничего не поделаешь, но постарается сделать все возможное; в конце концов он всегда был почитателем ее красоты и таланта, теперь же с удовольствием мог отметить, что она ко всему прочему очень умна. После этого заявления я знала, что мы будем снимать «Песнь песней». Бедный Мамулян — он не ведал, во что впутался.

Дитрих еще не была готова «простить» и вернуться во «вражеский стан». Ее лояльность никогда не распространялась на студию — только на фон Штернберга. Однако нужно было начинать обсуждение костюмов, и впервые дизайнерские собрания перенеслись к нам в дом.

Фильм «Песнь песней», как исторический, требовал исследовательской работы, чтобы не допустить очевидных ошибок. Целые поколения учились истории по фильмам — огромная ответственность для всей киноиндустрии, либо принимавшаяся всерьез, либо полностью игнорировавшаяся. В те дни, по сравнению с нынешними, голливудская интерпретация истории, даже в бытовом ее плане, была гораздо ярче и цветистее. В период Великой Депрессии никто не хотел платить за то, чтобы увидеть реальность — это можно было получить бесплатно! Трэвис прибыл в Санта-Монику, нагруженный толстенными фолиантами из отдела истории костюма. Меня зачаровывали эти исчерпывающие собрания деталей быта в рисунках, иллюстрациях, репродукциях. Там были книги по истории обуви во все века; головных уборов; перчаток, сумочек и ридикюлей; драгоценностей и бижутерии; париков и причесок; детских пеленок; фартуков, платков и косынок и еще много чего. Помню один заголовок: «Портянки викингов», — им была посвящена целая глава! При Де Милле Египет и раннее христианство, естественно, занимали целую комнату в отделе истории костюма. Я могла часами сидеть, рассматривая эти информационные сокровищницы. Историю я выучила тоже по голливудскому методу. Например, узнала, что при дворе Людовика XVI под изысканными париками дам прятались маленькие мышеловки — для мышей, населяющих эти взбитые стога грязного, напудренного конского волоса. Зачем нужна какая-то там школа, если можно и без нее приобрести столь уникальные знания? Поскольку моя мать все еще не считала школьное обучение необходимым для ее восьмилетнего «вундеркинда», меня оставили в покое посреди свивальников кельтских крестьян. Когда за меня наконец взялись, было уже поздно, и я не смогла усвоить базисную структуру грамматики, правописания и арифметики. Зато что касается пеленок и свивальников, то здесь

я когда угодно получила бы «А с плюсом».

Итак, мы изучали муфты, горностаевые хвосты и юбки с оборками времен Эдуарда. Из всех прекрасных костюмов «Песни песней» матери больше всего нравился ее вариант главного вечернего платья. Она знала, что будет выглядеть в нем великолепно. Тот факт, что с исторической точки зрения этот костюм был несколько невыдержан, полностью игнорировался. В конце концов, если ты выглядишь так сногсшибательно в приспущенном с одного плеча черном бархате и в невероятной шляпе с черным эгретом, кому нужна какая-то там подлинность! Много лет спустя, когда Сесил Битон воссоздал этот костюм в «Моей прекрасной леди», ему пришлось обойтись без роскошных перьев — их ношение было запрещено. Но в 20-е и 30-е годы убийство прекрасных животных ради украшения людей процветало. Позже мать стала относиться к законам охраны природы, как к выпадам лично против нее. Она их ненавидела. Если Дитрих хотела носить котиковый мех, как кто-либо смел сказать, что это не дозволено? Много лет она нелегально провозила перья райской птицы из одной страны в другую, затем тщательно хранила их под покровом бескислотной бумаги в старых чемоданах. Шкурки животных, рваные и по большей части изъеденные молью, остающиеся от старых меховых пальто и костюмов, также убирались в архив и мирно истлевали: она никогда их не использовала, но и никогда с ними не расставалась.

Первая часть «Песни песней» не задела изобретательскую жилку моей матери. Она просто повторила, несколько приукрасив, свой образ «хорошенькой крестьяночки» из «Обесчещенной». Это был отправной пункт.

Мы все еще находились в досъемочном периоде, ни о прическах, ни об особенно важном «свадебном платье» еще не было договорено, ничего еще не было определенно решено и не «принято к работе» (термин студии, означавший, что ткань наконец раскроена и отдана портным), когда внезапно в нашем доме разразился скандал. Моя няня Бекки влюбилась! Точно не знаю, в кого, но думаю, в бакалейщика. А в нашем доме считалось скандалом, если кто-то, кроме моей матери, осмеливался влюбиться, не говоря уже о том, чтобы захотеть выйти замуж и покинуть дом! Это расценивалось как тяжелейшее преступление. Моя мать, столь фанатично оберегающая свою личную жизнь, не испытывала никакого уважения к личной жизни других. Поэтому наш дом сотрясали испуганные рыдания бедной Бекки и, в ответ, резкие прусские обвинения в дезертирстве и неблагодарности.

Наконец, как маленькая Ева, изгнанная Бекки выбежала на хайвей, и больше ее не видели. Наверняка мне без нее было грустно и одиноко, но почему-то в памяти этого не осталось, может быть, из-за того, что последовало за уходом Бекки. Мать, как всегда, когда у нее были неприятности, позвонила отцу. Этот трансатлантический призыв помочь Ребенку привел к тому, что отец совершил еще один долгий вояж в Америку, на сей раз взяв с собой Тами — присматривать за мной. Стыдно сказать, но я была так счастлива, что Бекки и ее преданность были забыты.

Пока мы ожидали прибытия замены, «мальчикам» было приказано смотреть за Ребенком — когда я играла на берегу океана или плескалась в бассейне олимпийских масштабов. Хотя к тому времени я уже плавала как рыба, они тряслись надо мной: лишь бы не произошло несчастного случая и им не пришлось бы держать ответ. Поскольку мы активно не любили друг друга, я уверена, что этот период был особенно мучительным для них. Я нарочно ныряла в самом глубоком месте бассейна и оставалась под водой как можно дольше, сводя их с ума. Когда молодые люди «больше не могли этого выносить», де Акоста вызвалась сменить их на посту. Все, что угодно, лишь бы пробраться в дом, в круг ее Золотой и Чудной. Вообще-то я уже была большая девочка и не нуждалась в столь неусыпном надзоре, но зато все были при деле, а моя мать спокойна.

Наконец настало время познакомиться с партнером. Хотя Брайан Эхерн этого не знал, но Дитрих заочно уже наполовину одобрила его. Он был англичанин, а значит, по определению, «культурный», играл в театре, следовательно, непременно был рангом выше, чем киноактер. Единственное, что работало против него, это его вероятная глупость, заключавшаяся в том, что он согласился на «такую дурацкую роль в таком плохом сценарии».

Брайан Эхерн не разочаровал ее ни в одном из этих априорных выводов. В тот день, когда он пришел, я сделала книксен, пожала ему руку и сразу же полюбила этого очень милого человека. Мы стали друзьями — навсегда. Он называл меня Кот и был мне просто за отца. Он стал любовником моей матери почти сразу же, и де Акоста заволновалась. Прислуге, отвечающей на телефонные звонки нашего испанского Лотарио, делались резкие знаки: Дитрих нет дома. Моя мать, болевшая редко и считавшая «плохое самочувствие» распущенностью, начала отказывать де Акоста под этим предлогом. А та любила мою мать и саму себя слишком сильно, и ей не могло прийти в голову, что это ложь.

Я никогда не могла понять, как мать управлялась со всеми

своими амурами, никогда попросту не поселяя своих любовников у себя. Когда мне шел второй десяток, она отвозила меня в разные дома и отели и оставляла под присмотром гувернанток-компаньонок, которые иногда имели свои причуды и странности. Но когда я была еще «ребенком», за нашим завтраком ни разу не появлялся чужак в халате — даже фон Штернберг. Хотя у нас было столько разных любителей знаменитой яичницы моей матери, они всегда звонили в парадную дверь полностью одетыми. Спустя много лет только Синатра и Габен утверждали, что Дитрих отличала их своими приходами. Вообще же это было не в ее правилах — покидать комфорт своей среды; почитателям ее постели полагалось приходить к ней самим. Вероятно, эти предрассветные маневры были для всех и утомительны, и неудобны: вставать, одеваться и уезжать домой лишь для того, чтобы вернуться несколько часов спустя, как будто ничего не произошло. Уверена, что именно мать настаивала на этих сценариях — «из-за Ребенка».

К тому же у нее тогда оставалось время на непременный ритуал спринцевания холодным раствором уксуса. Самым ценным имуществом моей матери, помимо ее корсета, была розовая резиновая спринцовка. Она держала как минимум четыре запасных на тот случай, если одна протечет. Белый уксус «Хайнц» покупался ящиками. Даже когда в 1944 году она открыла спирали и закупила целую дюжину, отправляясь на войну, она все равно не рассталась со своей верной резиновой спринцовкой как предметом первой необходимости, готовым выполнить свой долг за морем. Меня всегда удивляло, как матери удавалось избежать беременности все эти годы. Только один раз ее безотказный метод уксуса в воде не сработал, и она обвинила в этом своего партнера. Метод был безупречным! Погрешности исключались! В 1965 году, когда ей было шестьдесят четыре года и она снова сходила по кому-то с ума, она спросила меня по телефону из Австралии:

— Радость моя, что такое… я скажу по буквам… странное слово… К — Карл, О — Океан, Н — Нэнси, Д — Денвер, О — Океан, М — Марлен.

В такие моменты я обычно думала, подслушивают ли разговор телефонистки. Я тщательно описала вид и функции предмета нашего разговора. Она воскликнула:

— Ах, *это*! Этим я никогда не давала им пользоваться! Ерунда. Копаться с этим в темноте… И вообще они сразу делаются такие довольные и милые, когда им говоришь, что это не нужно!

На самом деле тогда в подобных играх, затеваемых якобы для

моего блага, не было необходимости. Я привыкла, что вокруг моей матери всегда кто-то вертится. Мне было все равно, какого они пола и зачем они ей вообще. Если они приносили мне дорогих кукол и сюсюкали над «дивным ребенком», они мне не нравились, и я их избегала. Если они не считали нужным обхаживать ребенка только из-за того, что «занимались» его матерью, я их уважала, как фон Штернберга и, много лет спустя, Габена.

Если они обращались со мной как с самостоятельным существом — как Брайан Эхерн — я любила их. Несколько моих лучших друзей вышли из рядов любовников моей матери. Конечно, это безумие, такая жизнь, я знаю: ее сложно объяснить и столь же сложно принять, — но только по обычным меркам. Я же не была знакома ни с одной семьей, и критерии для сравнения попросту отсутствовали. К тому же за исключением театрально-эффектного, но безжизненного католицизма моего отца, я не была вхожа в религию и не получила никаких моральных основ. А если не знаешь, что такое «нормальная» семья, то как можно понять, что твоя — ненормальная? Моя мать вечно была сначала влюблена, потом разочарована в любви, потом у нее начинался новый роман. Может быть, таковы матери вообще? Когда наконец я встретила первую настоящую семью, мужа, жену и дочь, то муж спал с моей матерью, жена была бы не прочь делать то же самое, и, хоть я и подружилась с их дочерью, но, конечно же, не могла вывести представление о «нормальности» из наблюдений за такой семейной жизнью.

Я никогда не осуждала мать за ее чувственное обжорство — а только за то, как она обходилась с теми, кто любил ее. Иногда меня смущала частота, с какой менялись ее партнеры в постели, но с годами я к этому привыкла. Вероятно, я возненавидела бы ее, если бы она была побуждаема сексуальным аппетитом. Но все, чего Дитрих хотела, в чем нуждалась, чего жаждала, это Романтики — Романтики с большой, огромной буквы, — признаний в абсолютной преданности, лирической страсти. Сопровождающий это секс она принимала лишь как неизбежное бремя, которое женщинам приходится претерпевать. Она могла объяснять это мне на полном серьезе. Я уже была взрослой женщиной, с собственной семьей, но она чувствовала, что мне все равно нужно некоторое сексуальное образование.

— Они все время хотят всунуть в тебя свою «штуку» — вот все, что им надо. Если ты им не дашь этого прямо на месте, они говорят, что ты их не любишь, злятся и уходят!

Она предпочитала оральный секс, что давало ей возможность вести сцену. К тому же считалось, что европейские женщины

очень искусны по этой части.

Еще Дитрих обожала импотентов.

— Они так милы. Можно спать, и это очень уютно!

«Уютные» мужчины, естественно, ее обожали. Ее неозабоченность, очевидное наслаждение, которое она получала, несмотря на их мужское бессилие, обычно приводили к чудесному исцелению. Но стоило им восстановить свое сексуальное равновесие, как она теряла к ним интерес и выставляла их вон.

На несколько дней досъемочная работа по «Песни песней» приостановилась. Даже наш очаровательный англичанин был временно отложен в сторону. Мы носились, как угорелые, прибирая комнаты, готовясь к приезду отца и Тами. Все вещи, которые могли понадобиться, понравиться и тому подобное для Папи, были обдуманы и запасены. Оставалось предвосхитить возможные потребности Тами. Моя мать выбрала со всех полочек и из всех ящичков в своей ванной те кремы и лосьоны, которые она никогда не употребляла. Все, не нужное Дитрих, но за что Тами должна была быть благодарна, перенесли в ее комнату. Так состоялась первая репетиция того, что с тех пор стало непременной процедурой, совершавшейся каждый раз, когда Тами приезжала жить с нами en famille. Ее всегда размещали в соседней комнате с моей матерью, напротив моего отца. Даже в многочисленных отелях, где мы останавливались вместе, сохранялось то же расположение. Неужели они действительно думали, что, поместив Тами напротив моего отца или на несколько метров в стороне, они оставляют меня в неведении относительно их реального спального распорядка? Что эти искусно инсценированные маневры закамуфлируют столь вопиюще очевидное? Неужели все это делалось потому, что «Ребенок не должен знать»? Может быть, была и другая причина, чтобы постоянно напоминать этой нежной, чувствительной женщине о ее положении «любовницы мужа», пребывающей во владениях жены? Как трепетала Тами, что ее обнаружат, когда она пересекала коридор на пути к спальне отца — на протяжении всех этих лет, во всех этих шикарных домах и фешенебельных отелях! Я много думала о том, почему она разрешала так с собой поступать. Я была еще слишком мала, где мне было понять, что такое одержимость в любви, какую она несет в себе разрушительную силу и как легко могут ею манипулировать другие в своих собственных целях. Хотя к 1933 году я уже обладала «вековой мудростью» в том, что касалось отношений между мужчиной и женщиной, женщиной и женщиной, между

гомосексуалистами, хотя я хлебнула алчности, лицемерия и собственнической материнской любви, я абсолютно ничего не знала о сексе: ни о его биологической, ни о его эмоциональной стороне. Я не представляла себе, что какой-то реальный физический акт может иметь что-то общее с отношениями, царившими вокруг меня. Даже когда я повзрослела и уже знала, что происходит в спальне отца, я все еще чувствовала себя так же, как когда пребывала в невинности — просто испытывала жалость к этой милой женщине, которой приходилось крадучись и стыдясь перебегать коридор. Это сокрытие от меня роли, занимаемой Тами в браке Дитрих и Зибера, продолжалось и после того, как я выросла, завела семью, и можно было уверенно допустить, что теперь-то Ребенок во всем осведомлен. В 1944 году, когда моя мать вступила в Организацию Фронтовых Бригад и уехала на войну и за славой, я некоторое время жила в отцовской квартире в Нью-Йорке. Когда мать уехала, Тами переместилась в спальню отца. После стольких лет разных увертoк и уловок и Тами, и я с облегчением вкусили внезапную роскошь честности. Отец совершенно не понял нашу реакцию. Разумеется, когда наша «героиня» вернулась с войны, Тами отправилась обратно в свою комнатку. Отцу было тогда сорок семь лет, Дитрих — сорок два, а мне — двадцать. И эта жестокая игра в спальни возобновлялась, как по нотам, каждый раз, когда мать жила с нами; но никогда, даже в моих самых ранних детских воспоминаниях, мать с отцом не спали в одной комнате. Вероятно, это было бы чересчур, даже ради блага Ребенка. Ребенку предоставлялось думать все, что угодно, про такую ненормальность.

Наконец, великий день настал. Мне даже разрешили съездить одной на вокзал Пасадены, чтобы встретить отца с Тами. Много лет спустя я поняла, что в этот ненадежный период своей карьеры Дитрих не хотела, чтобы на передние страницы газет попала еще одна фотография «счастливой семьи», на сей раз с Тами вместо фон Штернберга. Но в тот день я просто была рада тому, что одна со своим телохранителем еду встречать Тами. Я ее так долго не видела — и вот мы со слезами на глазах и счастливым смехом сжимаем друг друга в объятьях.

Вскоре все разместились и принялись за дело. У матери начались примерки, но теперь я уже не сопровождала ее на студию, а оставалась дома. Дитрих объясняла всем и каждому:

— Руди любит пляж, зачем лишать его этого удовольствия! От примерок ему одна тоска. Пусть всем будет хорошо! — И она улыбнулась, стоически вздыхая — Вечный Попечитель истомленных солнцем. Руди и на самом деле не скучал —

заводил себе все новых друзей. Со своим всегдашним австрийским шармом он обсуждал с Фредом Перри историю теннисных ракеток, сочувственно слушал де Акосту, сплетничал с «мальчиками», раздобывал нелегальную выпивку со своим старым приятелем Шевалье и недоумевал, почему новая английская пассия его жены остается в стороне. Мысль о встрече с мужем любимой женщины в благопристойное мировоззрение Брайана не укладывалась. Тами убирала, готовила свои восхитительные русские блюда и любила меня без притворства и показухи. Когда мать возвращалась с работы, стол был накрыт, вкуснейший обед готов, дом до блеска вычищен, Ребенок доволен. Разумеется, Тами всего лишь выполняла то, зачем ее привезли, и потому ни признательности, ни благодарности не удостаивалась.

Тами плавала наподобие моей матери, — как беременная лягушка, но, в отличие от матери, не боялась воды и с готовностью училась у меня «американскому» кролю. Мы обе опасались моего строгого отца, и потому плавали украдкой, пока он корпел в доме над счетами, пытаясь спасти мать от разорения. Эта работа ожидала его в каждый приезд. Он притворялся, будто тяготится этой дополнительной нагрузкой, но в глубине души эта трудная задача — распутывать финансовую сумятицу, в которой всегда находилась мать, ему нравилась. Теперь у меня было с кем исчезать каждый раз, когда материализовались «мальчики» или появлялся Дракула, с намеленным лицом, вечно «умирающий от любви». Поскольку они вызывали у Тами такое же отвращение, как и у меня, мы в таких случаях подолгу гуляли по пляжу, избегая встречи с роящимся вокруг матери сбродом. Когда рядом была Тами, сопровождавшие меня повсюду постоянные тени в полном деловом облачении были не так несносны. Я строила для нее замки на песке и все уверяла ее, что американский песок намного лучше того, что был у нас в Свинемюнде. Она любила газированную воду с мороженым, тягучее пиво, гамбургеры со всеми мыслимыми гарнирами, все американское и — меня! И что было в ней лучше всего — о чем я совсем забыла сказать: поразительно, насколько она не была немкой; даже Гете она считала немного чокнутым. Это решило все! Я поняла, почему так люблю ее!

Наш Белый Принц появлялся все реже и реже. Хотя ее письменные излияния продолжали приходить, их регулярность явно начинала досаждать матери. Было очевидно, что чрезмерная эмоциональность де Акосты стала, наконец, надоедать ей.

Так всегда происходило с матерью; неизбежно наставало время, когда даже самый «свой» человек становился совершенно «чужим». Это был только вопрос времени, но охлаждение

происходило всегда. Когда-нибудь, где-нибудь, как-нибудь — любовница, подруга, некогда объект ухаживания, обожаемое, главное на свете существо переступит черту, сделает роковую ошибку, какой бы она ни была, и в любой момент — бам! — дверь в покой Дитрих захлопывалась. Рано или поздно такое будущее грозило всем. Теперь же близился час Белого Принца. Матери надоело вечное «Грета то» да «Грета се» и потребность де Акосты непременно ей об этом рассказывать тоже наскучила.

Золотая,

…попытаться объяснить мои истинные чувства к Грете было бы невозможно, так как я не понимаю даже сама себя. Я знаю только, что в своих чувствах создала образ человека, которого не существует. Мой разум видит подлинного человека, шведскую служанку с лицом, которого коснулся Бог, но интересующуюся лишь деньгами, своим здоровьем, сексом, пищей и сном. Однако лицо и обманывает разум, а душа превращает ее во что-то, что помогает обману. Я действительно люблю ее, но люблю лишь того человека, которого сотворила, а не того, кто существует на самом деле…

До семнадцати лет я была настоящим религиозным фанатиком. Затем я повстречала Дузе и до встречи с Гретой относилась к ней с таким же фанатизмом, пока не перенесла его на Грету. Но все эти периоды фанатизма не помешали мне влюбляться в других людей, что, по-видимому, составляет еще одну часть моей природы. Так было с тобой. Я страстно любила тебя. Я бы могла любить тебя и сейчас, если бы разрешила это себе.

Мать подняла глаза от письма и сказала отцу:

— Ты только почитай это! Она хочет это себе «разрешить»? Ну и ну! Де Акоста чересчур щепетильна в выборе слов! — Она вернулась к письму:

Как часто, когда я не с тобой, я ужасно желаю тебя, и всегда желаю, когда я с тобой. Я знаю, что ты чувствовала мое желание, потому что я знала тебя в моменты, когда ты его чувствовала.

Я всего лишь то, что я есть, и Богу известно, что я отдала бы все на свете, чтобы быте другой. Ты увидишь, я преодолею это «безумие», и тогда, может быть, ты меня снова немного полюбишь. Но если я действительно преодолею его, чему тогда я стану молиться? И что тогда превратит эту серую жизнь в сияние звезд?

Я бы хотела исправить одно сложившееся у тебя заблуждение;

знай, что я никогда не притворялась перед студией, что дружу с Гарбо, когда я с ней не дружила! Три с половиной года Грета мне твердила, что очень хочет сыграть в «Жанне д'Арк», и хотела, чтобы я ее написала. Когда мы были в Кармеле, она снова сказала, что с большим удовольствием снялась бы в этом фильме, чем в каком-нибудь другом, и горевала по поводу того, что в нем будет сниматься Хепберн.

Мать хмурилась! Качала головой, зажигала сигареты — казалось, что письмо никогда не кончится:

— Папи, она снова о Гарбо и о «Жанне д'Арк». Какая глупость! Можешь себе представить, что Гарбо слышит *голоса*? С ее религиозностью по-шведски? Эта девчонка Хепберн тоже будет чудовищной, но, по крайней мере, очень «насыщенной» и ужасно элегантной, когда будет гореть на костре!

Отец рассмеялся, мать продолжала хмуриться над письмом:

Когда я вернулась в студию, мне поручили «Камиллу». Я сказала им, что уверена — Грета за нее не возьмется. Тогда Тальберг спросил, что, по-моему, ей понравится. Я предложила «Жанну д'Арк» и сказала правду, упомянув, что она много раз мне говорила, как бы ей этого хотелось.

Может быть, для тебя это письмо ничего не значит. Но я всегда буду хранить в памяти дни и ночи, когда ты любила меня, и как дивно старалась вытаскивать меня из приступов моей «изумрудной» тоски. Может быть, в конце концов, твои усилия были не столь тщетными, как тебе кажется, так как сейчас я оглядываюсь на них как на что-то чудесное и необычное; они придали мне силы.

Драгоценная, целую тебя повсюду — во все места. И целую твой дух так же, как и твое прекрасное тело».

Мать оставила Белого Принца носиться по волнам. У нее были гораздо более важные заботы. Студия не унималась. Теперь им понадобилось, чтобы мать позировала для обнаженной статуи, которая играла важную роль в «Песни песней». К этому времени она решила, что уже достаточно «проституировала» для этого фильма. Так выражалась она каждый раз, когда из-за денег приходилось делать что-то заведомо халтурное. Она отказалась — заявила студии, что они могут использовать чье угодно прекрасное тело, приделать к нему голову Дитрих и дать сообщение, что Дитрих позировала в обнаженном виде для статуи из фильма — то-то радость для бульварной прессы!

— Легковерные поклонники все равно ведь поверят всему,

что ни прочитают, — так завершилась ее тирада.

Но была и еще одна, гораздо более важная причина, по которой она отказалась позировать обнаженной. Ее груди. Хотя она утверждала, что принесла в жертву моей младенческой алчности безукоризненную пару алебастровых куполов, я-то давно знаю, что ни в каком таком разрушении неповинна. Груди Дитрих, как в старости, так и в молодости, были ужасны — отвислые, жидкие, дряблые. Бюстгальтеры и, главное, ее тайная «твердь» были важнейшими предметами в жизни всех нас, ибо она считала, что люди из ее ближайшего окружения должны разделять ее страдания — в частности это.

Дитрих покупала каждую модель, каждый фасон всех когда-либо изобретенных бюстгальтеров. Когда ей казалось, что она нашла подходящий, он немедленно заказывался дюжинами, лишь для того, чтобы кончить жизнь в сундуке после того, как оказывалось, что он все-таки не подходит. Прибыв в новый город или страну, мы первым делом отправлялись на поиски галантерейной лавки. Может быть, на сей раз нам удастся найти волшебный покрой, который смог бы превратить эти, по ее выражению, «отвратные» груди в дерзко торчащие юные желуди, о которых она так страстно мечтала. Каждая примерка доставляла ей смертную муку. Каждой блузке, каждому платью, каждому свитеру предназначался свой собственный тип лифчиков — их, чтобы не перепутать, мы всегда возили с собой в пакетах с пометками «для примерок». Для некоторых платьев с низким вырезом, когда никакими уловками не удавалось достичь должной высоты подъема, использовались широкие полосы клейкой ленты, которые стягивали и укладывали плоть в очертания молодой, эстетически безупречной женщины. Лишь много позже, когда родилась идея ее удивительного корсета — наиболее тщательно хранившегося секрета Легенды Дитрих, она смогла расслабиться и являться во всем своем великолепии — в том числе и «обнаженной» — когда хотела.

Но даже она не могла ничего придумать в те моменты, когда любовники ждали в предвкушении явленного наконец совершенства. Она коллекционировала тонкие шелковые ночные рубашки и отработала особый трюк — быстрое, как ртуть, выскальзывание из одеяния прямо под простыню. Столь же искусной она была в обратном маневре. Секс всегда происходил в полной темноте. Более длительные или особенно романтичные связи она обычно описывала так: «Понимаешь, когда тебе не приходится это делать прямо сразу, когда тебе дают поспать вместе — мило и удобно, не только одна эта работа!» Специально для этих избранных она придумала ниспадающие шифоновые

ночные рубашки со встроенными бюстгальтерами из тонкой ткани, покрашенными под цвет кожи — нечто неслыханное в те дни.

«В жизни» — чудное изречение, с которым я росла. Это значит: что-то настоящее, в противовес всему, с чем ассоциируется работа «кинозвезды», следовательно, нереальному. Для тех, кто живет в мире фантазии, очень важно блюсти это различие. Так вот, «в жизни», наедине с собой, Дитрих носила грубую пижаму и давала своим грудям свисать как им вздумается.

Каждый любовник играл определенную роль в романтических фантазиях моей матери, обычно даже не осознавая того, что он вообще занят в какой-то роли. Даже если они жили с ней, они никогда не становились людьми «в жизни». Она выдумывала сценарии, которым любовники бессознательно следовали, в полной уверенности, что только они одни и знают ее, потому что любят. Но никто из них никогда не знал ее. Реальность и романтика не могли смешиваться в жизни Дитрих.

Дитрих считала, что ее руки и ноги тоже непривлекательны, и поэтому скрывала и их. Еще одно высказывание, с которым я выросла, было «после русской революции». В тридцатые годы бытовало такое мнение, что как только нагрянут орды большевиков, они выявят и перебьют всех аристократов, с одного взгляда опознав их по холеным белым рукам. Поэтому мать всегда убеждала меня не бояться казаков. Увидев ее руки, любой истинный русский автоматически сочтет, что она «свой брат», крестьянка. Это одна из немногих ситуаций, когда она относила себя к тому, что считала «низшей кастой». Руки Дитрих на фотографиях первыми подвергались ретушированию. Пальцы удлинялись, утончались и сглаживались.

«В жизни» она старалась, чтобы они выразительно двигались, были заняты в ритуале курения, засунуты в карманы брюк или же облачены в тончайшие перчатки.

Не было случайностью и то, что туфли Дитрих носила превосходные, неизменно ручной работы: примерки занимали кучу времени, но результаты в конечном итоге достигали искомого совершенства ног. В тех кошмарных случаях, когда ей все-таки приходилось показывать стопы, она прятала их под тонкими чулками, драгоценностями, грязью и гримом, как в «Иностранном деле» и «Золотых серьгах», или под золотой краской и браслетами, как в «Кисмете».

Вообще-то она не просто думала, что *ее* стопы непривлекательны; она считала, что человеческая *стопа* безобразна как таковая. Да и носы ей тоже не нравились! Кстати,

Дитрих полагала, что человеческие существа в целом — решительно непривлекательны. Она всегда изумлялась при виде обычных людей в многолюдных местах, таких как аэропорты или фойе отелей:

— Поглядите, сколько в мире безобразных личностей! Неудивительно, что *нам* столько платят!

Этот милый мистер Рузвельт стал господином Президентом, и Глэдис-Мэри с ее детской коляской больше не появлялась. Все пели «Счастливые дни снова с нами», а на свой тридцать первый день рождения мать купила себе подарок. Конечно же, она не думала о нем как о подарке. Для нее это был просто предмет первой необходимости. Неуклюжий зеленый «роллс-ройс» больше не соответствовал ее имиджу. Как сама Дитрих из ресторанной ночной бабочки выросла в блистательную роковую женщину, так и ее машине пришла пора сделать то же самое. В порядке исключения мы изучали на этот раз не глянец ее лица, а столь же сияющие образцы автомобилей.

Под влиянием ее всегдашнего стремления к совершенству и с помощью знаменитого дизайнера кузовов вдохновенного Фишера был спроектирован и собран по специальному заказу, а затем доставлен нам на дом дитриховский «кадиллак». Это случилось задолго до появления удлиненных лимузинов, и ни один гараж, ни в Америке, ни, позже, в Европе, не имел достаточной глубины, чтобы вместить новую машину. Своей исключительной длиной она была обязана специально сконструированному багажнику, похожему на одетый в металл комод, который висел сзади, и отдельной водительской кабине, торчавшей спереди. Какая машина! Славный катафалк, просто шик-модерн! А ее серое велюровое нутро, в котором уличные шумы заглушаются, как в могиле! А углубленные тройные зеркала по обеим сторонам заднего сиденья, которые разворачиваются одним движением пальца, как по волшебству, и у каждого своя подсветка; и, чудо из чудес, радио, которое играет — даже когда машина движется! Несколько дней я искала розетку; мать не могла понять, как оно может играть без нее. Пол был устлан шкурами тибетских козлов. Они выглядели так шикарно, что мать никогда их не сменяла, хотя порой начинала ненавидеть, потому что своими высокими каблуками постоянно застревала в их длинной шерсти, теряла равновесие и падала на заднее сиденье каждый раз, когда входила в машину. К этой новой колеснице прилагался и новый шофер. Плюгавого Гарри из массивного зеленого «роллс-ройса» сменил высокий и сексапильный Бриджес, под стать лоснящемуся черному «кадиллаку». Не столь великолепный, как машина, но

почти. Важной разницей было то, что машина не знала про свою сексуальность, а наш шофер знал. Ливрею моя мать подобрала ему сама: нечто среднее между костюмами Фэрбенкса в «Зендском узнике» и Рудольфа Габсбурга, известного по Майерлингу. Весь в черном, что идеально подходило к его мускулистому телосложению — от высоких английских ботинок, блестевших, как эбонит, до шоферских перчаток из мягчайшей итальянской кожи. Для полноты картины не хватало только меча. Вместо этого ему пришлось довольствоваться отличным пистолетом — защищать меня.

Время начала основных съемок мне всегда становилось известно заранее. Из единственного элегантного цветочного магазина в Беверли-Хиллз начинали прибывать длинные белые коробки, похожие на миниатюрные гробы, от имени режиссера и партнеров-звезд. На сей раз это были красные розы на длиннейших в мире стеблях от Мамуляна, который не знал ее пристрастий в цветах (пока что), и туберозы от Брайана, который знал, ибо учился быстро.

Проезд на студию «Парамаунт» из Санта-Моники дольше, чем от Беверли-Хиллз. Дитрих сидела в машине, напряженная, как солдат перед атакой. Я укутывала ее пледом из черно-белой обезьяньей шерсти. По утрам в этом пустынном городе всегда было холодно. Как обычно, она молчала, и только раз приспустила окно перегородки, чтобы спросить Бриджеса, все ли термосы он захватил с собой. У нее была привычка брать на работу пять больших термосов, с супами, бульонами и кофе по-европейски. Когда мы проезжали через ворота «Парамаунта», ощущение было такое, как будто все происходит в первый раз. Нелли и Дот были уже там, ждали на тротуаре перед гримерной. Как обычно, мать вошла первой, включила свет и проследовала к своему гримерному столику в задней комнате. Мы шли за ней, каждая неся свою ношу, свою долю ответственности: Нелли — два венка кос, точно сочетающихся с волосами матери; Дот — специальный чемоданчик с гримом, в выдвижных, как концертина, футлярчиках; я — ее и свой гримерные халаты на вешалках, перекинутыми через руку, и наконец Бриджес — большую кожаную сумку с термосами. Все это в полном молчании. Ничего необычного. Мы все были хорошо выдрессированы и знали свои обязанности. Мать сняла брюки и свитер, Дот повесила их в шкаф. Я подала матери гримерный халат, она туго затянула пришитый к нему пояс и закатала рукава. Дот опустилась на колени, расшнуровала мужские полусапожки, сменила их на бежевые туфли без задников. Я поставила зеленую жестяную коробку с «Лаки Страйк» и золотую

зажигалку «Данхилл» около большой стеклянной пепельницы, рядом с подносом, где лежали пуховки из пуха марабу. Дот налила в чашку мейсенского фарфора кофе, добавила сливок. Нелли начала укладывать волосы. Сперва пальцы взбивают волны, затем укладывают спирали на черепе идеальными кругами и закрепляют шпильками; их ей подает мать. Какой сноровки требовал этот процесс в те дни — ведь заколки и бигуди еще не изобрели!

Сидя под феном, мать принялась разучивать текст. Я никогда раньше не видела, чтобы она этим занималась. С фон Штернбергом напечатанный сценарий служил скорее успокоительным средством для студийных боссов. Мать всегда выслушивала сюжет в его пересказе, затем обсуждала костюмы, а про диалоги никогда даже не расспрашивала. Она знала — когда придет время, режиссер скажет ей, что говорить, как говорить и с каким выражением глаз. Своими дух захватывающими достижениями на экране она обязана не только своей невероятной внутренней дисциплине, но и абсолютной вере в гениальность своего наставника.

Но в случае Рубена Мамуляна она решила, что гений тут не ночевал, поэтому не сочла возможным доверять ему, не прочтя сначала назначенной на тот день сцены. Я наблюдала за ней. У Дитрих был интересный метод запоминания. Она никогда не произносила текст вслух и не просила подсказок. Она просто перечитывала сцену снова и снова, совершенно беззвучно. Только убедившись, что текст выучен, она допускала подсказки, и то только в том случае, если это была минная сцена. В коротких она вполне полагалась на свою память. Знать то, что ей полагалось знать, она считала своим долгом. Но кто еще занят в этой сцене, ее не интересовало. У них свой долг, у нее свой, а уж долг режиссера — смонтировать результаты в одно. В некоторых поздних фильмах ей пришлось приспосабливаться к более традиционным методам работы с партнерами; она уступала, но всегда с внутренним раздражением и нетерпением. Она считала, что кинофильм — это технический процесс; пусть машины и управляющие ими творческие мужи творят свое волшебство; актеры должны молчать и делать то, что им скажут. А хочешь «играть» — иди в театр.

Перед тем как гримировать рот — последняя сигарета. В те дни помада была такая густая, что сигареты тут же прилипали к этой гуще. Волосы уже причесаны, положение волн выверено, косы подвязаны знаменитым уэстморским узлом — это нечто типа полупетли с прямой шпилькой, которая едва не вонзается в кожу. Больно по-настоящему! Через несколько дней съемок череп

бывал весь изранен, но накладные волосы не сдвигались ни на дюйм, а это было главное. Прибыли девочки из пошивочного цеха с запланированным на сегодня костюмом. Их всегда называли «девочками» вне зависимости от возраста. Девочки из парикмахерского и гримерного цехов никогда не имели дела с пошивочной. Каждый был мастером своего дела, и тщательно очерченные границы между департаментами строго соблюдались во всей киноиндустрии. И вот все готово. Дитрих выглядит идеально, не захватывающе, а просто идеально, и знает это. Она тихо стоит и вдет, пока мы соберем весь инвентарь, необходимый нам на площадке.

— Идем!

Свет выключен, дверь заперта. Большинство звезд оставляли двери своих гримерных нараспашку, разве что хотели уединения. Дитрих запирала свою дверь, даже когда уходила. Я села в машину первой. Кто-то обязательно должен был сесть в машину раньше Дитрих, так ей было легче не помять платье; это стало правилом даже «в жизни». В пятидесятые годы, когда ее мучили боли в ногах (она скрывала это от прессы), данное правило чрезвычайно помогало ей притворяться проворной, как прежде. Каждый, кто находился у нее в услужении, обязан был уметь выполнять эту процедуру — дать Дитрих войти в машину последней и выйти из нее первой. Нелли сидела впереди с Бриджесом. Дот пошла пешком — там было недалеко — и встретила нас у входа в звуковой павильон. Кажется, в то утро это был номер пять. Было ровно восемь тридцать, когда она распахнула перед Дитрих и ее окружением пухло обитую дверь.

По периметру огромной, залитой искусственным светом площадки всегда темно, и глазам нужно привыкнуть к этому после яркого солнца. Мы стали искать отведенное нам место. В нынешние времена у звезд есть свои дворцы на колесах, эдакие мощные Виннибеги. В тридцатые же годы им приходилось довольствоваться деревянными комнатками на маленьких колесиках, похожими на цыганские кибитки, стоящими прямо на площадке. Мы обнаружили гримерный столик, уже подключенный и освещенный, и всемирно известный символ Голливуда — режиссерский стул, на полотняной спинке которого большими черными буквами было выписано «МИСС ДИТРИХ», — символ привилегий, персональный стул, на котором не полагалось сидеть никому другому. Это тоже одно из всеми принятых и строго соблюдаемых правил.

В то первое утро съемок «Песни песней» мать обнаружила пропажу одного жизненно необходимого предмета — своего зеркала. Мамулян тихо подошел к ней поздороваться. Думаю, что

ему удалось сказать лишь «Доброе…»

— Мистер Мамулян, где мое зеркало?

Мамулян повернулся на своих начищенных до блеска каблуках; тут же рядом возник помреж.

— Зеркало мисс Дитрих, где оно?

— Зеркало мисс Дитрих? Боюсь, что не знаю… сэр!

— НАЙДИТЕ ЕГО немедленно… пожалуйста.

При звуке столь непривычного здесь «пожалуйста» мать слегка изогнула бровь, но ничего не сказала. Внезапно раздался страшный грохот, и огромное, в человеческий рост зеркало Дитрих, установленное на особой тележке, въехало на площадку. Я взглянула на Мамуляна и поняла по его лицу, что он думал, будто мы искали обычное ручное зеркало, а не этого мастодонта, тянувшего за собой соединительную коробку и толстые провода.

Электрики включили зеркало и, следуя указаниям матери, установили его так, чтобы она, стоя в своей позиции на съемочной площадке, могла видеть себя точно так же, как ее видит камера. Мамулян и Виктор Милнер, оператор, смотрели как зачарованные. Ей хватило нескольких секунд, чтобы поймать точный угол и позицию первой съемки. В тот день мы пережили несколько памятных моментов. Ко времени пятого дубля она поняла: что-то неладно. Мамулян не реагировал ни на одну ее реплику. На шестом дубле она еле дождалась сигнала к съемке, протянула руку вверх, к подвешенному микрофону, подтянула микрофонный журавль ко рту и на максимальном усилении выдохнула, выплеснула свое горе: «Джо, где ты?» Ее вопль души долетел до самых отдаленных уголков этой необъятной площадки. Потрясенная съемочная группа затаила дыхание; Нелли, Дот и я вообще перестали дышать. Все глаза сошлись на Мамуляне. Камера продолжала снимать.

Режиссер спокойно сказал: «Стоп». Затем: «Попробуем еще раз, хорошо?»

Все перевели дух. Позже подошел звукооператор, но не к режиссеру, как она привыкла, а прямо к ней.

— Марлен, можно в этой последней фразе побольше голоса? Немного погромче?

Она застыла на месте. В отсутствие фон Штернберга Дитрих внезапно стала доступной. Поначалу это ей очень не понравилось, но постепенно новое чувство товарищества стало даже доставлять ей удовольствие. В поздних фильмах она вообще стала «своей в доску», была с бригадой запанибрата, выделяла отдельных фаворитов, но все равно всегда оставалась эдакой «хозяйкой поместья». Ей так никогда и не удалось воспринять легкость и естественность американки.

Она снова отыграла сцену, усилив голос — слегка. Когда Мамулян крикнул: «Стоп — снято», на ее изумленном лице бушевало море эмоций. Она сошла с площадки и тихо обратилась к нему в мягких полутонах:

— Мистер Мамулян, я могу сыграть это и получше.

— Зачем, Марлен? Это было идеально. Давайте прервемся на ланч.

Мы отъехали обратно в гримерную в тишине; никто не осмеливался произнести хоть слово. Человек из отдела рекламы, назначенный на «Песнь песней», ждал перед дверью и, не спроси разрешения, прошел за нами внутрь. Он объявил, что только что переключил звонок от Луэллы Парсонс прямо на личную линию моей матери. Как раз когда он сообщал Дитрих об этом святотатстве, зазвонил телефон; он взял трубку, признал в говорящей светскую хроникершу, заверил ее, что «Марле-е-ен» на месте и прямо умирает от желания поговорить с ней, и сунул трубку прямо под нос шокированной матери.

Она была в ловушке. Бросать трубку перед носом самой могущественной голливудской хроникерши было не принято. Много лет спустя, она научилась мстить и делала это регулярно и с удовольствием, но не сейчас. Сейчас она пыталась побороть свою ярость; фразы выходили какие-то очень немецкие:

— Да, сегодня был очень приятный первый день. Да, мистер Мамулян был очарователен и также очень талантлив. Да, я ожидаю в дальнейшем работать с мистером Эхерном. Да, это должен быть интересный фильм. Но сейчас у меня только один час на ланч и чтобы перегримироваться, пожалуйста, извините меня. Сейчас я должна попрощаться и повесить трубку.

Она едва не расколотила трубкой аппарат.

— Вот так, Марле-ен. Коротко — но здорово! Так; в пять вечера у нас здесь будет интервью, и будут фотографы. Это из «Фотоплея», здорово, а? Просто наденьте шикарный халат, понимаете, как если бы они вас просто застали отдыхающей. И дайте ножку, так, чуть-чуть!

— Мистер Мамулян этого никогда не допустит, — сказала она как бы про себя.

Она ошибается, Мамулян это уже одобрил, сказали ей.

Она аккуратно выбрала из зеркальной коробочки сигарету, прикурила от хрустальной настольной зажигалки, игнорируя огонек, услужливо протянутый к ней галантной «Рекламой», выдохнула дым; затем *очень* тщательно и отчетливо произнесла в адрес его, его отдела, студии «Парамаунт» и самого Господа Бога нижеследующее:

— Мисс Дитрих поступит в ваше распоряжение к шести

часам, не ранее. На мисс Дитрих будет надето то, что *она сама* считает подходящим. Мисс Дитрих не будет обсуждать мистера фон Штернберга. Мисс Дитрих будет отвечать только на вопросы, имеющие отношение к этой картине. Мисс Дитрих будет давать интервью только до тех пор, пока *она* будет считать, что оно имеет значение для фильма. Никаких вопросов о ее личной жизни. Вы закончите интервью — *вежливо* — ровно в шесть тридцать!

— Но… Мисс…

Она окатила его своим знаменитым ледяным взглядом. Она еще не закончила с ним и с целым миром — пока.

— После этого… *ничего*!.. больше не будет устроено, запланировано или решено без моего *предварительного* разрешения!.. теперь… идите… на свой ланч!

Нелли практически пришлось вывести его из гримерной. Фон Штернберг бросил ее на съедение волкам? Пусть будет так! В этот первый день первого фильма без его защиты Дитрих решила, что будет защищать Марлен Дитрих — сама! Никто не мог бы сделать этого лучше — и никогда не сделал.

Все это время фон Штернберг был в Берлине, выторговывая возможную сделку о совместной работе с «УФА». Страх перед евреями и ненависть к ним, вызревавшие в немецком обществе уже давно, дольше, чем это замечалось со стороны, уже готовы были вырваться наружу, стать удобным инструментом, чтобы навеки изменить мировое сознание. Мой отец, как всегда, предчувствуя беду, позвонил фон Штернбергу в Берлин и попытался дать понять о грозившей ему опасности, предупредив, что ни добытая им арийская приставка «фон», ни американский паспорт не защитят его, если он слишком засидится в Германии. Джо упрямо отказывался беспокоиться по поводу нацистов, но зато живо отреагировал на восторженные отзывы матери относительно съемок «Песни песней», которые появились в германской прессе.

56 ТЕЛЕГРАММА = БЕРЛИН 69 5
МАРЛЕН
ГОЛЛИВУД
РАД ЧТО ТЕБЕ ТАК НРАВЯТСЯ СЪЕМКИ ТЧК СТЫЖУСЬ ЧТО НИКОГДА НЕ МОГ СДЕЛАТЬ РАБОТУ ПРИЯТНОЙ ТЕБЕ ТЧК ДЕРЖУ КУЛАКИ ЗА ТВОЮ НОВУЮ РАБОТУ ТЧК НАДЕЮСЬ ОНА БУДЕТ ТВОЕЙ ЛУЧШЕЙ ТЧК ЛЕЖУ В ОТЕЛЕ С ИНФЛЮЭНЦЕЙ НО СКОРО СНОВА БУДУ НА НОГАХ ПОТОМУ ЧТО ТЕМПЕРАТУРА СПАЛА ТЧК ЦЕЛУЮ КОТА И СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНЫЕ ФОТОГРАФИИ ЦЕЛУЮ СЧАСТЛИВО

Мать немедленно позвонила в Берлин. Как мог он — не кто-нибудь, а он, — поверить тому, что написано в газетах? Разве он не знает, что она *ненавидит* в этом фильме каждый кадр? Что она любит *только его*? Что без него все вокруг сплошное несчастье и посредственность?

— Там нет лица! Я видела рабочие кадры — я там хорошенькая, как старлетка! Никакой таинственности! А иногда я даже выгляжу толстой! Они просто не знают… Как им объяснить?..

Фон Штернберг сразу же протелеграфировал в ответ. Счастливый тем, что она по-прежнему нуждается в нем, он заменил все «тчк» на «целую». Как обычно, он послал это по специальному телеграфному адресу матери — «МАРЛЕН ГОЛЛИВУД». Поскольку в Соединенных Штатах была всего лишь одна Марлен, это было зарегистрировано как ее официальный телеграфный адрес — потому что возможность второго такого же адреса исключалась. В 1933 году носившим имя «Марлен» не могло быть более трех лет от роду.

65 ТЕЛЕГРАММА = БЕРЛИН 118 15
МАРЛЕН
ГОЛЛИВУД
СПАСИБО ЗА ТВОЙ ГОЛОС ЦЕЛУЮ ЗВОНИ МНЕ ЧАЩЕ ИНАЧЕ Я ПРОСТО ВПАДАЮ В СПЯЧКУ ЦЕЛУЮ Я ОТЛИЧНО ПОНИМАЮ ТВОЕ СОСТОЯНИЕ МОЕ МОЩНОЕ ЯСНОВИДЕНИЕ МОГЛО ТЕБЕ ЭТО ПРЕДСКАЗАТЬ ДАВНО НО ЭТО БЫЛО НЕИЗБЕЖНО ПОТОМУ ЧТО КОГДА Я УЕХАЛ Я БЫЛ СТОЛЬ РАЗБИТ И ПОДАВЛЕН ЧТО НЕ МОГ БЫ СНЯТЬ ФИЛЬМ ЦЕЛУЮ НУЖНО ПОКАЗАТЬ ОПЕРАТОРУ НАШИ СТАРЫЕ ФИЛЬМЫ ОНИ ЕМУ ПОМОГУТ ПОНЯТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ С ОСВЕЩЕНИЕМ НО НИКТО ТЕБЯ НИКОГДА НЕ СНИМЕТ ТАК КАК СНИМАЛ Я ПОТОМУ ЧТО НИКТО ТЕБЯ НЕ ЛЮБИТ ТАК СИЛЬНО КАК Я

Мать была достаточно умна, чтобы понять: то, что позволено властному фон Штернбергу, не позволено Дитрих. Нельзя просто так взять авторитетного и уважаемого оператора за шкирку, затащить его в операторскую будку и начать обучать его собственному ремеслу на примере чужих талантливых работ. Но вот что она сделала: потихоньку зарезервировала для себя один из частных демонстрационных залов студии и устроила просмотр «Марокко» и «Шанхайского экспресса». Люди, ответственные за выдачу фильмов на просмотр, наверное, думали, что Дитрих устраивает нарциссовы оргии. Мало кому удавалось понять

способность моей матери увидеть себя со стороны — как Нечто, Высшее Произведение, которое требуется постоянно изучать на предмет малейшего несовершенства, чтобы немедленно его опознать, выправить, улучшить, отполировать; идеальное создание. Фон Штернберг и она — создатели и стражи этой святыни на протяжении более чем пятидесяти лет.

Она взяла меня с собой. Я тогда впервые увидела «Марокко». Это был и первый раз, когда я смотрела фильм с точки зрения профессионала, не просто как зритель. Мать дважды прокрутила «Марокко» и весь остаток дня смотрела «Шанхайский экспресс». Она уже превращалась в того талантливого художника по свету и оператора, каким оставалась всю последующую жизнь. У нее было подлинное чутье на черно-белое изображение, на игру света и тени. Спустя годы, когда кино стало цветным, ей стало скучно. «Никакой больше таинственности», — говаривала она.

Было уже темно, когда мы вышли из демонстрационного зала. Мы прозанимались весь день — и не сделали ни одной записи. В этом была вся Дитрих. Она никогда не делала заметок для себя, только для других, «людей слишком тупых, чтобы что-либо запомнить». Мы пошли домой. Де Акоста пришла на обед, мы ели приготовленный Тами бефстроганов. Мать детально излагала каждую сцену фильмов, которые мы в этот день посмотрели, описывала каждый кадр, каждый образ, и всякий слушал ее на свой лад.

На следующее утро мы выехали в половине пятого и прибыли на место к восьми утра. Там все еще устанавливали освещение для первой сцены этого дня. Мать вышла на площадку, посмотрела из-под руки вверх на осветительную решетку, пересчитывая источники света и оценивая их расположение. Команда вновь затаила дыхание — что-то надвигалось. На сей раз Дитрих заходила слишком далеко, перешагивала через границы, считавшиеся в киноиндустрии священными и нерушимыми. Она взглянула через плечо на свое отражение в зеркале, которое сегодня ожидало ее в полной готовности. Затем быстро оглядела съемочную группу, стоявшую толпой у тележки с камерой, затем поднявшегося со своего стула Мамуляна.

— С вашего разрешения, джентльмены, — и не дожидаясь этого самого разрешения, начала выдавать инструкции электрикам, управлявшим освещением сверху.

— Так… вы… слева… опустите немного… не так быстро! Медленнее… еще… медленнее… еще… СТОП, ТАК ДЕРЖАТЬ!

Глядя в свое зеркало, она уловила момент, когда нужно было закрепить лампу. Теперь она набросилась на заросли ламп мощностью поменьше, висевших на отдельных стойках, а затем

перешла на важнейшие, ключевые лампы. Она уменьшала свет, затем снова медленно увеличивала его. Начали появляться тени, очертания предметов обострились, наполнились объемом. В атмосфере площадки почти физически ощущалось уважение к ее знаниям и мастерству. Она вновь взглянула на свое отражение, затем выпрямила плечи, нашла точный наклон головы, зафиксировала на лице свою восхитительную неподвижность и уставилась прямо в объектив камеры. Мамулян приподнял видоискатель — прямо на него, во всей своей сверкающей красоте, смотрела Лилия Шанхая. Он почтительно опустил объектив, поглядел на исполненное священного трепета лицо оператора, и, будучи честным человеком, сказал, напрочь забыв о сдержанности:

— Прекрасно! Марлен! В высшей степени прекрасно!

Она устремила глаза на людей, стоявших за пределами светового пятна, в тени. Воздев в приветствии руку, произнесла нежно: «Спасибо, джентльмены!», — и все эти здоровые, крепкие парни сорвали с себя свои огромные резиновые перчатки и зааплодировали.

У нее получилось! В одиночку она сумела добиться того, что замыслила! Я так ею гордилась, что чуть не расцеловала! Конечно же, я не могла этого сделать из-за грима, но мне, правда, очень хотелось.

После этого многое изменилось. В моей матери возобладала Марлен Дитрих, Кинозвезда. Остальные категории ее жизни стали для нее не столь важны. К тому же «Песнь песней» была первым фильмом, в котором режиссер не приходил с ней после работы домой, чтобы и дальше играть роль героя-любовника. Она внезапно ощутила себя свободной в своих поступках и в выборе партнеров, ее больше не преследовал образ «подозрительного мужа», всегда готового разоблачать и обвинять. Настоящий муж никогда не шпионил за ней и не обвинял, а только некоторые фавориты из числа эрзац-мужей — эта несносная склонность характера всегда приводила ее в ярость.

— Почему они не могут научиться быть, как Папи? — говаривала она. — Почему они должны все так усложнять?

Переплетения ее романов иногда, действительно, становились очень запутанными, но мать была превосходным сценаристом по части оправдательных историй и могла жонглировать своей мнимой невиновностью с непревзойденным искусством. Непонятно почему, но почти все любовники на них клевали. Их легковерие меня удивляло, но, если подумать, у большинства людей, мучающихся от безумной любви, мозги превращаются в кашу.

Шевалье все еще был тут и «по-галльски» поклонялся ей. Он презентовал ей великолепное кольцо с изумрудом, ограненным в квадратную оправу. Это был единственный раз, когда воздыхатель дарил ей такой безупречный камень, и с него-то и началась ее любовь к изумрудам. Прекрасные сапфиры фон Штернберга бледнели по сравнению с этим камнем. Тот факт, что этот редкий самоцвет достался ей от «величайшего скряги на свете, даже если принято во внимание, что он француз», всегда забавлял ее. Когда в 1972 году Шевалье умер, мать сразу же стала поглощать в огромных количествах Контрексвилль (мочегонную минеральную воду), приговаривая:

— Он не мог писать, поэтому и умер! Я от этого умирать не собираюсь! Но Шевалье был *таким* скаредным, он, наверное, не мог даже собственную мочу отдавать за так!

Де Акоста, все глубже погружаясь в отчаянье, предлагала матери все блага мира; она писала:

Я доставлю тебе в постель кого угодно! И это не потому, что я тебя люблю недостаточно сильно, а потому, что я люблю тебя чрезмерно! Моя Прекрасная!

Интересно, что произошло бы, если бы мать поймала ее на слове и сказала: «Доставь мне… Гарбо!»

Отец, по-видимому, остался доволен тем, как он обустроил присмотр за домом и за мной — его чемоданы из воловьей кожи уже были сложены и ждали грузовика из «Парамаунта». У Тами теперь был целый чемодан нарядов, которые ей отдала мать. Если бы она сделала из себя блондинку, то могла бы сойти за бледную копию Дитрих; полагаю, впрочем, что она была таковой и без перекиси. Я хотела, чтобы она осталась со мной, но, конечно же, не высказала столь безумного желания; я знала, что она принадлежит отцу. Поэтому они отправились на вокзал, на поезд, на пароход — и в Париж. Тами и я плакали, мать с отцом нет. Не помню, кому или чему досталась забота присматривать за мной дома. Снаружи остались телохранители, они стерегли меня и патрулировали жаркий тихоокеанский пляж в деловых костюмах с бросающимися в глаза выпуклостями под мышками. Искусностью маскировки они никогда не отличались. Правда, они были милы и пытались как-то вписаться в окружение, но на пустынном пляже это им удавалось с трудом.

Фред Перри где-то затерялся. Думаю, где-то в районе Констанции Беннетт, которая в то время коллекционировала теннисных игроков. Брайан вернулся, был по-романтически влюблен, приобрел легкий привкус Британской Империи. Спустя

годы, когда он играл Роберта Браунинга в «Бэрретах с Уимпол-стрит», его игра напомнила мне о временах «Песни песней» и о доме в Санта-Монике. Он был откровенно счастлив; мои воспоминания о его романе с матерью тоже относятся к числу счастливых. То есть до той поры, пока для него тоже не наступило время почувствовать на себе боль и обиду, не зная, откуда они исходят. Но в те первые месяцы 1933 года Брайан еще не подозревал, что его ожидает, и, следовательно, был беззаботным счастливцем.

Брайан обосновался у нас прочно, остальные поклонники разбежались. Я любила его — в том числе и за это. Впрочем, его было очень легко полюбить. Он был таким добрым. Он подарил мне мою первую книжку Шекспира на английском и научил не только читать, но и кое-что из нее понимать.

Мы даже съездили вдвоем, только я и он, в Билтморский театр в центре Лос-Анджелеса (кто когда забирался в такую даль!), и я впервые смотрела оперетту Гилберта и Салливана — ««Пинафор», корабль флота Его Величества». Взять киношного ребенка и приобщить его к очарованию театра! Я не могла в это поверить. Существует на самом деле что-то волшебное, и совсем не обязательно, чтобы в нем принимала участие мать. Потрясающе! Я по уши втрескалась в Брайана Эхерна, когда мне было восемь лет, и эта любовь ни разу не пошатнулась, лишь вызрела до состояния преданной дружбы. Я всегда была благодарна ему за то, что он для меня сделал.

В детстве у меня было два настоящих друга, у которых я училась. Тами научила меня тому, что такое трагедия, а Брайан показал мне, что я существую, что пуповина, которой мать привязывала меня к себе, это ее пуповина, а не природная. Я была еще слишком мала, чтобы все это понять, но чувствовала, что эти два хороших человека любят меня, именно меня, и не за что-то особенное, не за какие-то мои заслуги. Значит, меня можно было любить безотносительно к моей матери? Этим пьянящим открытием я ни с кем не поделилась. Такие открытия нужно защищать от людского вандализма, как самое ценное имущество. По мере того, как я росла, я копила в себе все самое важное, наблюдала, слушала, говорила только тогда, когда приходилось отвечать, и обычно лишь то, что хотели слышать взрослые. Мое обучение по части лицемерия было феноменальным. У моей матери был «идеальный» ребенок. Она этим очень гордилась и приписывала себе все заслуги за мои непогрешимые манеры, мою прекрасную осанку, посадку со скрещенными лодыжками и руками на коленях. Всегда послушная, готовая беспрекословно выполнять приказы, и в то же время живая и сообразительная

девочка, демонстрирующая свое отличное воспитание, когда с ней говорили коллеги матери и другие важные персоны. Мое поведение за столом было безупречным — пять вилок и пять бокалов разных размеров меня не смущали, лишь надоедали и утомляли. Просто это означало долгую трапезу! Но нужно было, держа свою и так негнущуюся спину и вежливо улыбаясь, подождать, пока твоя прекрасная мать начнет есть, и только тогда выбрать подходящий прибор и взять первый кусочек мусса из утки с апельсином (mousse de Canard à l'orange).

Я всегда подозрительно отношусь к безукоризненно ведущим себя детям и к их самодовольным родителям. Я ищу: где-то за этим идеальным экстерьером, возможно, скрывается настоящий ребенок, умоляющий, чтобы ему дали вылезти наружу.

Благодаря отцу у меня теперь была наставница, которая приходила к нам по утрам, давала мне уроки немецкой литературы, следуя указаниям моей матери о том, что «на самом деле существенен лишь Гете», следующей по важности была каллиграфия. Из-за того, что эта каллиграфия имела дело лишь с готическим немецким шрифтом, она ничему меня не научила, кроме определенного мастерства в обращении с перьевыми ручками. Я до сих пор отличаюсь умением делать фетровые тряпочки для вытирания перьев. В полдень, после столь энергичных и плодотворных занятий шофер забирал меня и увозил в страну сказок — в ту реальность, которую я предпочитала всему. В конечном итоге хорошо, что мать не пустила меня в школу. Даже в возрасте «всего лишь» восьми лет я, наверное, провалилась бы при поступлении даже в подготовительный класс.

В те дни, когда у меня были уроки чечетки, я не ездила на студию. Я увидела Руби Килер в «42 улице» и сразу же поняла, что мое истинное призвание — короткая плиссированная юбка, развевающаяся над сверкающими туфлями для чечетки. На студии немедленно были заказаны переносная деревянная танцплощадка и соответствующий костюм. Вместе с площадкой прибыл мускулистый, развязный чечеточник, безосновательно считавший себя Басби Беркли. Он прибыл, щелкнул каблуками и презентовал мне огромные белые атласные туфли для чечетки. Мы с ним — я при этом выглядела как Микки-Маус — доблестно боролись за осуществление моей мечты. Я успела добраться лишь до «Shuffle off to Buffalo» и до смехотворной версии «Suzie-Q», прежде чем мы оба согласились, что мое истинное призвание в чем-то другом. Но ему были нужны деньги, и он хотел удержать место в отделе танцев студии, а я должна была делать то, что мне велено, особенно если я сама об этом просила; поэтому мы пошли

на компромисс — я заводила граммофон, а он танцевал.

Приходя домой, мать рассказывала мне о том, как прошел день на студии:

— Радость моя, как жаль, что тебя там сегодня не было! Брайан был такой потешный! Знаешь сцену, где нам надо с романтическим видом вместе бежать вверх по холму, держась за руки? Ну так вот, мы были на этом настоящем холме за павильоном, и они еще добавили искусственной травы, чтобы выглядело поестественнее. И мы эту сцену переснимали и переснимали, как когда работали с господином фон Штернбергом. Брайан не мог правильно бежать, даже на своих длинных английских ногах. Их в театре не учат взбегать по холмам.

После каждого дубля нам приходилось чиститься искусственная трава липнет ко всему — снова гримироваться, укладывать волосы. Тут сплошь солнце, освещение, рефлекторы, ветер, жучки — их привлек клей на искусственной траве — мы с Брайаном выглядели ужасно, совершенно никакой романтики! А потом мы снова замираем в искусственной траве, ждем «Мотор!», чтобы войти в кадр и начать бежать. Так? Вдруг Брайан смотрит под ноги и видит крошечного ужа, белеет, хватает меня за руку и мчится вверх по холму — и тащит меня за собой! Он напуган до чертиков, не может остановиться! Мамулян кричит «Стоп», я кричу: «Мы пробежали наши отметки!», а он все равно бежит. Мы бы сейчас уже были где-нибудь в Пасадене, если бы кто-то не схватил Брайана и не удержал его — физически! Мамулян все еще кричит «Снято!», я где-то во время этой сумасшедшей гонки потеряла одну из моих прекрасных туфель, и, конечно же, именно *этот* дубль они приняли! Мамулян был так счастлив, что у Брайана *наконец* получилось. Если бы они знали, что все это из-за *змеи*!

Вот так приходили и уходили солнечные деньки. «Песнь песней» близилась к завершению. Мать все еще готовила, но теперь только в те дни, когда ее не вызывали, или если Брайан приходил на ужин. Конечно же, продолжались и наши воскресные кулинарные безумства. Какая бы ни стояла жара, печь у моей матери не простаивала никогда! И каждый раз все тот же рецепт! Если ты делаешь лучший в мире Гугельхопф, зачем печь что-то другое? Немножко похоже на ее карьеру — не пытайся изменить совершенство, просто воспроизводи его!

В тот день мать снималась в сцене с бархатным вечерним платьем. Я трудилась над своей немецкой каллиграфией, когда внезапно мои прописи полетели в сторону, парта съехала к

противоположной стене, стул сложился, выкинув меня на голубой линолеум. Моя учительница вскрикнула, схватила меня за руку, и мы побежали к главной лестнице. Пока мы пытались по ней спуститься, она дыбилась под нами. Свисавшая со сводчатого потолка огромная люстра раскачивалась, позвякивая сотнями хрусталиков.

— Мы должны спуститься по лестнице и встать в дверном проеме — это единственное безопасное место! — закричала учительница. Она, по-видимому, была истинной калифорнийкой, приученной к землетрясениям. Мы добрались до парадной двери как раз в тот момент, когда за нами обрушилась люстра, рассыпая повсюду стекло. Мы распахнули тяжелую дверь как раз, когда насыпь съехала с чудовищным ревом прямо на шоссе Тихоокеанского побережья, полностью заблокировав его землей и вырванными с корнем пальмами. Грохот стоял невероятный. И вдруг все остановилось — гробовая тишина! Пальмы, казалось, подрагивали, опускаясь обратно в почву, момент апокалиптического затишья — и затем людские крики и отовсюду вой сирен. Мы были в безопасности, но моя мать никак не могла об этом знать.

В момент землетрясения она была в студии. Когда первый толчок потряс звуковой павильон, те, что находились в узких проходах, местах наиболее уязвимых, похватались одной рукой за страхующие перила, другой — за свои гигантские дуговые лампы. Огромная площадка опустела в одну секунду. Мать, придерживая у пояса свою длинную юбку, побежала в гримерную, думая лишь о том, чтобы добраться до телефона и позвонить мне. Она неслась по раскачивающемуся под ней тротуару, уже почти добежала до двери, когда прямо перед ней выскочил Шевалье и, раскрыв ей объятья, прокричал: «Mon amour, по крайней мере мы можем умереть *вместе*!» Под этим «по крайней мере», как мать объясняла каждый раз, рассказывая эту историю, имелась в виду их неспособность заниматься любовью в силу импотенции Шевалье, но «умереть»? *Это* у них, «по крайней мере», могло получиться вполне. Она даже не остановилась, просто обежала вокруг него, но прежде чем ей удалось добраться до двери, она столкнулась с хорошо известной актрисой, чье имя все время от нее ускользало. Эта безымянная звезда, согласно преданию, воскликнула:

— Куда вы бежите, Марлен?

На что, как утверждает мать, она ответила, едва переводя дыхание:

— Ребенок! Я должна дозвониться до ребенка! Она в Санта-Монике!

— Не расстраивайтесь так. С ней все будет в порядке — мои дети тоже там, а я не волнуюсь!

Мать закричала на нее:

— Да, но *ваши* дети приемные!

Надо отдать ей должное — она сама рассказывала эту нехорошую историю, добавляя:

— Не ужасно ли, что я так сказала? Но ведь это *правда*. Откуда ей знать — у нее никогда не было *собственного* ребенка.

Поскольку все телефонные линии были оборваны, я тоже не знала, что могло случиться с матерью при землетрясении. Лонг-Бич, всего в нескольких милях от нас по побережью, сровнялся с землей, но наш греческий храм устоял, если не считать того, что бассейн теперь находился в комнате для игр, а прихожая была засыпана битым стеклом.

Мать договорилась, что на эту ночь мы переедем в отель «Беверли-Уилшир». Когда починили телефон, мы поговорили, и, поскольку она не могла проехать через грязь и завалы, мы договорились встретиться в отеле. В машине, по дороге туда, служанка матери все время плакала и бормотала: «В Германии у нас не бывает землетрясений! Никогда!» Конечно же, вся эта драма была очень захватывающей, к тому же мне нравился «Беверли-Уилшир»: фонтанчик в их аптеке выдавал лучшую в Голливуде газировку к черно-белому мороженому! Мы с матерью поселились в сдвоенном номере. Перед тем как лечь спать в ту ночь, мы поставили наши стаканчики с зубными щетками на ночной столик так, чтобы их края почти соприкасались. Когда (и если) начнутся новые толчки, стаканы столкнутся и начнут звякать, чего будет достаточно, чтобы разбудить двух нервно спящих людей и предостеречь их от грозящей опасности.

Наша уловка со стаканами не раз будила нас в течение той ночи. Каждый раз мы кидались вниз по лестнице в фойе, шестью этажами ниже, сталкиваясь с другими окаменевшими от ужаса гостиничными постояльцами в блестящих халатах. Пользоваться лифтами было слишком опасно и потому запрещено. После каждой такой тревоги мы снова залезали в свой номер спать, только для того, чтобы в скором времени снова проснуться и опять спасаться бегством. После пятого или шестого повторения этого номера братьев Маркс я, помнится, раздвинула наши стаканы и сказала матери, что, будет землетрясение, не будет землетрясения, — ей все равно надо рано утром ехать на съемки и она должна спать. Она согласилась; к тому же, если случилось бы какое-нибудь бедствие, мы бы умерли *вместе*. Мать всегда успокаивала мысль, что те, кого она любит, умрут вместе с ней. Бедный Шевалье был бы потрясен, узнав, что он в эту категорию

не входит! При этом мнения тех немногих привилегированных, кого моя мать удостаивала этой чести, умереть вместе с ней, никто никогда не спрашивал — подразумевалось, что все мы будем только рады окончить свой земной путь в любой момент, лишь бы в компании моей матери.

К утру отель «Беверли-Уилшир» все еще стоял, а по коммутатору объявили, что машина и шофер мисс Дитрих готовы. Пошла работа, как ни в чем не бывало. «Парамаунт» выделил людей и шланги, чтобы откачать наш бассейн из дома, а отдел реквизита повесил другую хрустальную люстру. Поскольку все версальские оказались заняты в съемках, мы вместо них получили люстру в стиле Франца-Иосифа. Она выглядела очень мило. Австрийский ампир хорошо сочетался с голливудской Грецией. Но избавиться от запаха хлорки нам так и не удалось. Когда моя деревянная танцплощадка прогнила от сырости и завоняла плесенью, мои уроки танцев были отменены, и славе Руби Килер более ничто не угрожало.

Мамулян, выглядевший изможденным, но счастливым, пропел вожделенные слова, которые почему-то всегда трогают душу: «О'кей, ребята, готово!» — «Песнь песней» — «в коробке». Он нежно поцеловал мать в щеку и при этом покраснел — он по-прежнему оставался ее поклонником, даже после всех этих недель, полных напряжения и раздоров.

После того, как фильм полностью завершен, компания всегда устраивает для себя прощальную вечеринку. Огромная семейная пирушка — все друг друга любят, все клинки на время упрятаны. «Важные шишки» одаривают друг друга и членов съемочной группы. Подарки, которые дарила мать, пользовались заслуженной славой. Двадцатидолларовые золотые монеты, разрезанные вдоль со вставленными внутрь тонкими, как бумага, часами: одна из половинок служит крышкой и открывается при нажатии на пружинку на ободке; золотые наручные часы от Патек-Филипп с ремешками из черной или коричневой крокодиловой кожи. Она испытывала страсть к мужским часам и всегда дарила их с выгравированными на обратной стороне личными посланиями, со своей уникальной подписью снизу. На третьем месте были золотые портсигары и драгоценные запонки; затем шли бумажники из крокодиловой кожи — с золотыми уголками или без оных, золотые зажигалки и так далее вниз по шкале роскоши. Для немногочисленных женщин предназначались клипсы от Картье: особо важным — с бриллиантами, тем, что помельче — с рубинами, далее — с сапфирами, далее — с гравировкой по золоту, за этим следовали сумочки, шарфы и духи.

У Брайана был контракт с лондонским театром. В голливудском же его контракте оговаривалось, что он может в любой момент вернуться в Англию, не выжидая известного периода после окончания работы над фильмом, — обычно приходилось именно выжидать на случай возможных пересъемок. Прощание с ним было не слишком грустным — мы ожидали в скором времени увидеть его где-нибудь в Европе. Так что мы просто поцеловали нашего любимого англичанина на прощанье. Он оставил в цветочном магазине заказ на дюжину тубероз, которые каждый день должны были доставлять матери, и с достоинством удалился. Мать была похожа на лошадь из пословицы, которая закусывает удила, чуя, что стойло уже близко. Скоро и она сможет выбраться из Голливуда.

4 ТЕЛЕГРАММА — ПАРИЖ 38 18
МАРЛЕН
ГОЛЛИВУД КАЛИФ
НЕ СОВЕТУЮ ЕХАТЬ В ГЕРМАНИЮ БЕЗ НОВОГО АМЕРИКАНСКОГО КОНТРАКТА В РУКАХ ТОГДА НИКТО НЕ ПОМЕШАЕТ ТЕБЕ ОСТАВИТЬ ГЕРМАНИЮ ТЧК ЛЮБЛЮ ЦЕЛУЮ
ПАПИ

Конечно же, она была вне себя. Это означало очередную задержку. Но она понимала, что мой отец, скорее всего, прав. Эдингтон торговался с ней по поводу очередного контракта еще с самого начала «Песни песней». Теперь она, наконец, разрешила ему представить ей этот контракт. Когда он объявил, что за ней сохраняется право утверждать как сценарий, так и режиссера, она подписала новый контракт без дальнейших разговоров. Пункты, касавшиеся числа фильмов в год и оговаривавшие значительное увеличение ее гонорара, были для нее второстепенны. Важнейшей частью любого соглашения она всегда считала право — в особенности оговоренное в контракте право — на принятие важных решений.

И снова отец, как всегда, обладая нюхом ищейки и обширной информацией о том, куда надо, а куда не надо ехать, совершив краткую разведывательную поездку в национал-социалистическую Германию и вновь обретя тихую гавань в Париже, телеграфировал оттуда:

98 ТЕЛЕГРАММА — ПАРИЖ 44 2
МАРЛЕН
САНТА-МОНИКА КАЛИФ
СИТУАЦИЯ БЕРЛИНЕ УЖАСНАЯ НИКТО НЕ СОВЕТУЕТ ТЕБЕ

ЕХАТЬ ТЧК БОЛЬШИНСТВО БАРОВ И ТЕАТРОВ ЗАКРЫТЫ ТЧК КИНО НЕВОЗМОЖНОЕ УЛИЦЫ ПУСТЫ ВСЕ ЕВРЕИ ИЗ БЕРЛИНСКОГО ПАРАМАУНТА ПЕРЕВЕДЕНЫ В ПАРИЖ ЧЕРЕЗ ВЕНУ И ПРАГУ ТЧК ЖДУ ТЕБЯ ШЕРБУРЕ ТЕЛЕГРАФИРУЙ КОГДА И СКОЛЬКО КОМНАТ И НАСКОЛЬКО ТЧК ПОЛУЧИЛ ПЯТЬ ПОСЫЛОК ФОТОГРАФИЯМИ ФАНТАСТИКА ВЕЛИКОЛЕПНО СКУЧАЮ ЦЕЛУЮ

ПАПИ

Мать была не слишком расстроена: коль скоро она может оставить Америку, Париж вполне сойдет. Было решено воспользоваться зарезервированными местами на «Европе», поскольку та останавливалась в Шербуре перед тем, как пришвартоваться в своем немецком порту приписки Бремерхафене. Мы составили списки вещей, отец начал поиски идеального отеля для Идеальной Женщины, которая собиралась заплатить за всю эту дорогостоящую поездку — ведь у нее в руках контракт на запись шести новых песен для компании «Полидор», которая выпустила ее пластинки с «Голубым ангелом» и «Марокко».

Слух о том, что городской совет Парижа не впустит Дитрих в пределы города в мужском наряде, попал на первые полосы газет всего мира. Я так никогда и не узнала наверняка, было ли это правдой или же просто гениальной уткой в рекламных целях, для паблисити. Спустя годы, отель «Коннот» в Лондоне воспользуется подобной тактикой в борьбе со штанами Дитрих; тогда ее в этом «изгнании из отеля де-люкс» будет сопровождать Кэтрин Хепберн, и снова мировая пресса жадно проглотит эту наживку. Как может быть плохой уловка, работающая уже тридцать лет! Я знаю одно — историю о том, как моей матери отказали в доступе на парижские бульвары в штанах, всегда рассказывали в жанре анекдота, а не как реально имевший место оскорбительный эпизод. Думаю, если бы какой-нибудь город имел наглость по-настоящему отказать Дитрих во въезде из-за неуместного наряда, это гарантировало бы такую ярость с ее стороны, рядом с которой поблек бы дантовский ад, а отнюдь не хиханьки-хаханьки.

И все же по каким-то причинам отец разыскивал отели за пределами самого Парижа, в то время как мать приступила к длинной и изнурительной процедуре позирования для рекламных фотографий в студии — впервые без любящего и волшебного глаза фон Штернберга, глядящего из-за черной завесы фотокамеры. Несколько дней ушло на подготовку, на сборы личных нарядов и профессиональных костюмов, их аксессуаров, драгоценностей, накладных волос, задников и студийных

реквизитов из портретных галерей. По заказам из главного офиса доставляли не только личные вещи Дитрих: на потребу поклонникам ее снимали и в костюмах из «Песни песней», особенно в ее любимом черном бархатном платье, приспущенном с одного плеча.

Юджин Ричи хорошо запомнил свои уроки. Во время этих сеансов 1933 года он снял одни из самых прекрасных портретов Дитрих. Как обычно, она должна была принимать участие в каждой стадии процесса. Коль скоро объектом съемок была именно Дитрих, она все фотографии рассматривала как свое имущество. Она никогда не понимала «дерзости», как она говорила, фотографа, посягнувшего на обладание хотя бы одним изображением ее лица. Лицо Дитрих принадлежало Дитрих и больше никому. В последующие годы она бесилась каждый раз, когда Харрел или Хорст продавали какую-нибудь фотографию Дитрих и не отдавали ей деньги, или если Милтон Грин жаловался, что она использует его работу в своих собственных проектах, когда ей заблагорассудится, ни разу не спросив у него разрешения.

После этих сеансов, как и всегда после фотосъемок, она возглавляла просмотр пробных отпечатков, решала, какие снимки заслуживают одобрения, отбрасывала те, которые, по ее мнению, не соответствовали дитриховскому стандарту. Затем наступало время ретуширования. Она изменяла форму носа, рук, коленей, хотя в те дни ее редко снимали в полуобнаженном виде. Волосы, уголки рта, линия плеч и бюста — все это совершенствовалось с помощью ее безжалостного воскового карандаша. Как и во всех случаях, когда результат ее труда приходился ей по душе, она заказывала отпечатки лично для себя, каждый раз дюжинами, разных размеров: самые маленькие — восемь на десять дюймов, самые большие — шестнадцать на двадцать, на глянцевой и матовой бумаге таких отменных сортов, которые сегодня найти уже невозможно. Как только отдел фотографий прислал тяжелые картонки, наступило «время рассылки». Специальные картонные контейнеры, серые, как слон, с эмблемой студии, всегда находились под рукой, в невероятных количествах, как дома, так и в гримерной. Каждый знакомый, друг и член семьи получал образцы — новейшие доказательства ее красоты. Когда с этим было покончено, она брала пачки с фотографиями и таскала их по студии: обнаружив знакомого, она тут же усаживала его их разглядывать. На званые обеды она приходила нагруженная эталонами красоты и фотографического совершенства размером двенадцать на двадцать. Часто во время обеда наступала пауза, и немало жен дымилось от злости, пока мать демонстрировала свои

величественные изображения. О фотографе даже не вспоминали. Ведь, в конце концов, если бы не было ее, ему бы вообще нечего было фотографировать. А она вот даже подретушировала, исправила его ошибки.

Фон Штернберг вернулся, бегло просмотрел черновую версию «Песни песней», увидел, что Дитрих в нем нуждается, и решил, что согласится ставить следующий ее фильм; он увидел на крупном плане, с каким выражением Брайан смотрел ей в глаза, зашел в наш храм на пляже, встретил «поверженную» испанку, увидел повсюду фотографии Брайана и Шевалье в рамочках и поплелся домой в одиночестве зализывать раны.

Уже в процессе укладывания чемоданов мать решила «простить» фон Штернберга за то, что он ее покинул, начала обожать его, готовить для него, разрешила ему любить себя, писала ему теплые письма, которые лично доставлял наш сексапильный шофер, тоже не понравившийся Джо.

К тому времени, как чемоданы были уложены, фон Штернберг уже снова впал в убеждение, что всегда был и остается *единственным.* Когда твоя любовь настолько глубока, принимать ложь за правду становится отчаянной необходимостью.

Мать приказала фон Штернбергу найти ей дом, где-нибудь повыше, подальше от моря. От соленого воздуха ее особые французские швейные иглы, лежавшие в саквояже, заржавели, и это навсегда покончило с Тихим океаном! Серые гробы были расставлены в ряд в ожидании парамаунтского грузовика. На мне была новая куртка цвета морской волны с такой же шелковой тесьмой, и я аккуратно держала в руке белые хлопковые перчатки. Я наблюдала за матерью, пока та спускалась с лестницы. В ней произошли едва уловимые изменения. Она снялась в своем первом американском фильме без фон Штернберга и выжила. Мир при этом не рухнул. Она еще не была полностью в этом уверена, но не исключала возможности, что Марлен Дитрих стала могущественной звездой сама по себе, без обязательного присутствия своего творца. Это постепенно пробивающееся осознание стало поворотным событием в жизни матери. Больше ей никогда не суждено было быть столь же зависимой, столь же послушной по отношению к нему. В дальнейшем вся работа с фон Штернбергом будет движима уважением и искренней благодарностью, но уже никогда — полной профессиональной зависимостью. Она была сама себе госпожа, и у нее были деньги, чтобы это подтвердить. В тот день мы погрузились в поезд под названием «Вождь»; наши эмоции развевались по ветру, как флаги.

Не успели мы отъехать от станции, как мать уже начала

устанавливать в поезде свой обычный порядок. Как только мы вошли в купе, все шторы были опущены и закреплены. Ведь через окна могут глазеть разные лица в надежде увидеть кинозвезду. Теперь, спрятавшись от взоров любопытных, заперев все двери, она сняла наряд, в котором уезжала, и, поскольку в нем больше не было нужды, сразу же упаковала его в специально помеченный саквояж, ожидавший рядом. Очередной набор одежды, помеченный наклейкой «По прибытии в Чикаго» и собранный неделями раньше, уже висел в одном из шкафов в нашей гостиной. Когда все было завернуто в бумагу и сложено к полному ее удовлетворению, ставший лишним саквояж был отослан в багажный вагон, где он присоединился к таким же своим братьям, в количестве примерно сорока штук. Поскольку «гробы» отправили вперед, мы путешествовали «налегке».

Далее она сняла ненавистный пояс с подвязками, который регулярно оставлял на ее пояснице красные рубцы, затем — дорогие шелковые чулки. Она выполоскала их и аккуратно развесила поверх полотенца сушиться. Сняв бюстгальтер и уложив его вместе с той блузкой, к которой он прилагался, она надела свою любимую модель, с широкими лямками. Раз уж Дитрих не должны видеть в течение следующих нескольких дней, она может позволить себе роскошь предать забвению хранителя своей телесной красоты.

Она вымыла лицо, как обычно, только водой с мылом и распрямила все свои завитушки. Пижама цвета морской волны и, в тон ей, мужской шелковый халат довершили перевоплощение. С лицом без грима и зализанными назад волосами она была похожа на молоденького юношу. Очень сексуального молоденького юношу, как будто прямо из пьесы Ноэла Коуарда.

Матери больше нравилось ездить с запада на восток, а не наоборот. В этом случае Голливуд оставался позади, а чудовищную жару пустынных штатов легче переносить в начале пути, чем в конце, когда уже надо готовить себя к прибытию. Меня всегда удивляло, почему она так ненавидит жару — ведь она никогда не потела. Вероятно, у нее не работали потовые железы, и с этим феноменом просто нужно было смириться. Дитрих невероятно гордилась тем, что она никогда не нуждалась в прокладках от пота ни в одном из своих платьев или костюмов. После того, как изобрели дезодоранты и антиперспиранты, она обожала всем рассказывать, что она в таких вещах абсолютно не нуждается.

«Не понимаю, почему людям становится так жарко. И это так *противно* выглядит! — и ужасно для одежды!»

Я часто думала: может быть, мать просто в один прекрасный

день решила, что больше не будет потеть, и после этого оставалась сухой всю свою жизнь. Я бы не поклялась, что это невозможно. Как бы то ни было, но когда все остальные истекали потом и блестели, Дитрих лишь дивилась такому различию между Избранными и остальным человечеством и… оставалась сухой.

В эту поездку мне впервые разрешили стать Личным Служителем матери. Привести в порядок ее письменный стол было почти то же самое, что разложить на столе инструменты для хирургической операции на сердце. У каждого предмета было точное место и назначение. Пепельница — слегка подальше от центра и правее. Бокал для воды прямо рядом с ней. Поскольку в те дни в Америке нельзя было достать минеральной воды из Европы, мы везли с собой собственную воду из источника. Бокал наполняли на три четверти, а бутылку уносили. На узком, покрытом красным лаком китайском подносе (реквизит, присвоенный на «Шанхайском экспрессе») лежали красные и синие карандаши и уотерменовские ручки, расположенные точно по центру, прямо на большом листе промокательной бумаги. Далее, подальше от центра и чуть-чуть левее, флакон с синими чернилами. Рядом с ним — два футляра, в одном — голубая писчая бумага с монограммами, в другом — конверты. Под этим — золотой филигранный портсигар и зажигалка. Немного левее — пачка бланков телеграфной компании «Вестерн Юнион» с подрезанными по размеру листочками копирки. И в заключение — блюдце, наполненное пятидесятицентовыми монетами для чаевых. Они звенели и подпрыгивали, особенно на поворотах.

В Альбукерке наш поезд настигла первая телеграмма фон Штернберга, где он говорил своей возлюбленной богине, что без нее он погиб; к тому времени, как мы доехали до Канзас-Сити, он понял, что жизнь без нее действительно невыносима:

142 51 = ЛОС-АНДЖЕЛЕС КАЛИФ 11 523

МАРЛЕН ЗИБЕР САНТА-ФЕ ВОЖДЬ ГЛАВНАЯ ГОСТИНАЯ ВАГОН 202 = ПРИБЫТИЕ КАНЗАССИТИ 9:45

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ БОГИНЯ

ВСЕ СНОВА ТАК ОПУСТЕЛО И Я ГОРЮ СТРАСТЬЮ К ТЕБЕ И ЛЮБЛЮ ПОЖАЛУЙСТА ПРОСТИ МЕНЯ ЗА ВСЕ МОИ ГЛУПОСТИ ВСЕ МОИ МЫСЛИ ТОЛЬКО О ТЕБЕ

ДЖО

В Чилликоте, штат Иллинойс, на свое одиночество стала роптать наша Испанская Любовница, а Шевалье протелеграфировал, что ждет с нетерпением, страстно желая

увидеть мою мать в Нью-Йорке. Поклонники по всей Америке беспрестанно сообщали моей матери о том, как много она для них значит. Поездка доставляла ей истинное наслаждение.

Пока мать на разных языках писала и шифровала свои телеграммы, я лежала, свернувшись клубочком, на постели в соседнем купе и смотрела на то, как бесконечная пустыня превращается в бесконечные кукурузные поля. Но как только раздавалось «Радость моя…», надо было двигаться — и быстро. Это означало, что мы по расписанию приближаемся к остановке и что у Дитрих наготове ворох телеграмм, которые нужно отнести нашему проводнику. Тогда я пробегала по вагону и останавливалась за спиной проводника, а тот распахивал тяжелую дверь, поднимал железную площадку, под которой скрывались ступеньки и, схватив особую складную скамеечку-подножку, прыгал на платформу — все это в одном длинном движении, еще до того, как поезд полностью остановится. С помощью складной скамеечки-подножки я могла быстро спуститься на перрон, и через пропасть прыгать не приходилось. Я отдавала проводнику бланки. Пока он мчался в здание вокзала к телеграфистам, я ждала и дышала воздухом Канзас-Сити.

Вот он возвращается, передает мне привычный сверток с бежевыми конвертами «Вестерн Юнион» для матери. Я взбираюсь наверх. Держась одной рукой в белой перчатке за свою скамеечку, а другой ухватившись за перила, он повторяет свой маневр в обратном порядке — прямо как в фильме, который пускают наоборот; на сей раз, наполовину повиснув в воздухе, он кричит «по вагоонам!». Этот цирковой номер мы повторяли на каждой станции по всей Америке, и с течением времени становились большими друзьями. Мои друзья-проводники рассказывали мне истории о настоящих семьях с настоящими детьми, и о местах, которые называются фермы. От них я впервые узнала, что мы живем в эпоху Великой депрессии, что существуют очереди за хлебом, что цвет кожи может причинить человеку большие страдания и предопределить всю его жизнь.

Мать никогда не испытывала добрых чувств к обслуживающему персоналу. Она не любила черный цвет — разве что в одежде. На ее расспросы о причинах моего долгого отсутствия я отвечала, что сидела в туристическом вагоне. В те дни в нем была платформа с перилами, вроде маленького балкона, в самом конце поезда. Это было волшебное место, и я действительно проводила там много времени. Днем можно было видеть все те места, где ты был секундами раньше; ночью вместе с тобой мчались звезды, а воздух пах жимолостью.

Я таила в себе эти дружеские связи и потому сохранила их.

Спустя годы, я поняла, насколько глубоко укоренился расизм в моей матери.

Это был всеобщий порок того поколения, особенно среди тех, кто рос в окружении одних только белых людей; однако с легендой о Дитрих это увязывалось слабо. Однажды, в ответ на какой-то мой намек в этом роде, она воскликнула:

— Но ведь Нэт Кинг Коул был моим другом! Я его *любила!* Он был великолепен в Лас-Вегасе! — Она была глубоко обижена и потрясена. — Как ты можешь такое говорить, что я их не люблю? У меня и служанки бывали черные! Я только тех не выношу, кто считает, будто они могут работать нянями! И вечно эти их ужасные парики. Как можно разрешать *им* быть нянями? У них руки всегда как будто грязные!

Разве что Лина Хорн, была приемлема в рядах нянь; она не только мылась, но, как полагала моя мать, великолепно выглядела в белом.

По прибытии в Чикаго все пошло, как обычно. Матери пришлось выдержать натиск ожидавших ее репортеров и фотографов; между тем мой телохранитель утащил Рези, Нелли и меня в отель «Блэкстоун». Она вошла в отель, так же, как и я, через кухню, и поднялась в номер по служебному лифту. Подобные тайные побеги от прессы и поклонников стали столь обычным делом, что в некоторых отелях я вообще не знала, как выглядят их фойе или даже, где они находятся, зато знала, какой в этот день будет суп и что, судя по запаху, салат из морской живности сегодня заказывать не следует.

«Блэкстоун» всегда означал для нас банный день. В первый раз после отъезда из Калифорнии можно было по-настоящему помыться. Даже когда мы ехали на запад, мы все равно там мылись, пусть даже проделали это не далее, как вчера. Это было просто так принято — приводить себя в порядок в отеле «Блэкстоун» в Чикаго. Включая волосы, разумеется. Бронируя для Дитрих номер, всегда требовалось заказать и настоящую сушилку для волос, которую обычно приносили из салона красоты. Мать сидела под огромным металлическим куполом и читала, пока горничные накрывали стол для завтрака.

Что придает завтраку, поданному в номер, особый характер? Может быть, то, что его вам приносят вместе с изысканными свежими цветами в узкой серебряной вазе? Свежевыглаженная льняная скатерть, скользкая от крахмала, яркость соков в сверкающих льдом бокалах, безукоризненно поджаренные тосты на хромированных подставочках, блестящий джем с

вставленными в него филигранными ложечками, весь фарфор одного образца — что? Секрет, наверное, в том, что так приятно именно с этого начать свой день. Матери же все радости этого времени роскоши и изысканного изобилия были неведомы. Она выпивала свой кофе, не упустив заметить, что скоро сможет пить «настоящий» кофе в Париже, откусывала кусочек тоста и ворчала: «подогретый Котекс» Я не могла понять, что она имеет в виду, но явно что-то неодобрительное. Мне часто хотелось, чтобы мать хоть в чем-нибудь находила удовольствие — просто так, ради самого удовольствия! Но нет, для удовольствия ей требовалась весомая причина, иначе это было бы легкомысленным, а, следовательно, подозрительным. Насколько же она была немка! Годы спустя, она, бывало, говорила мне тоскуя: «Помнишь, как мы с тобой смеялись?», и я соглашалась, чтобы ей было приятно, но редко вспоминается мне, чтобы мать смеялась просто от радости.

Пора, пора! Бегом, мимо пышущих паром локомотивных депо, на «20-th Century Limited» — он вот-вот уже отойдет! Мы отмыты до блеска и даже до скрипа и готовы к Нью-Йорку. Поскольку «Амбассадор» не так на виду, как гостиницы поновей, именно он назначен местом свиданий, о которых, как я позже узнала, мать договорилась с Шевалье. В Нью-Йорке до отплытия «Европы» у нас было всего два дня, а она обычно была против «утренников» — ее термин, которым она обозначала свидания, назначенные на более раннее время, чем обычный cinq-a-sept (с пяти до семи) — период, считавшийся в Европе наиболее подходящим для занятий любовью. Меня спросили, хочу ли я сходить в кино! Это все равно что спросить алкоголика, хочет ли он выпить! Я сразу же поняла, что меня выдворяют, и, чтобы развить успех, попросила разрешения пойти в новый мюзик-холл «Радио-Сити» и побыть там до конца, чтобы увидеть все! Органный концерт Вурлитцера и все такое. Как я любила этот гимн в честь «арт деко»! «Радио-Сити» мне каждый раз напоминал о нашем первом доме в Беверли-Хиллз, и как дома я там себя и чувствовала. Потом я упросила Нелли: «ну давайте еще разок посмотрим шоу, *пожалуйста*!» — и мне разрешили пойти посмотреть всю программу целиком, фильм и все остальное, с начала до конца! Может быть, Шевалье тоже восхитительно провел день и вечер — но уж я-то, во всяком случае, точно!

Когда я вернулась с изнемогающими глазами, но счастливая, мать сидела за письменным столом — спокойная и в идеальном порядке — ни одного торчащего волоска, как если бы ничего не случилось. Не понимаю, как ей всегда удавалось сохранять столь

целомудренный вид.

Я вымыла руки и переменила «грязные уличные туфли», после чего она зачитала мне последнюю телеграмму от отца:

40 БРОУД-СТ
ТЕЛЕГРАММА = ПАРИЖ
МАРЛЕН ДИТРИХ
ОТЕЛЬ АМБАССАДОР ПАРК-АВЕ 51 СТРИТ НЬЮЙОРК
БЫВШАЯ ЖЕНА МОРИСА ШЕВАЛЬЕ К СОЖАЛЕНИЮ В ШАТО МАДРИД ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ ТЧК В ВОСКРЕСЕНЬЕ СМОТРЮ ЧУДНЫЙ ОТЕЛЬ ВЕРСАЛЬ НЕМНОГО ПОДАЛЬШЕ НО УДИВИТЕЛЬНО ТИХИЙ ТЧК В ГОРОДЕ НЕВОЗМОЖНО ТЧК БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ШЕРБУРЕ ТЧК КУПИ БИЛЕТЫ НА СПЕЦПОЕЗД НА КОРАБЛЕ ЛЮБЛЮ СКУЧАЮ ТВОЙ НАВЕКИ
ПАПИ

Я была уверена, что он найдет идеальный отель. Мой отец был врожденным турагентом.

Мы попрощались с Нелли: она ехала с нами лишь в качестве парикмахерши, а теперь возвращалась в Голливуд. Из «Амбассадора» мы вышли под конвоем. Рези, мой телохранитель, я и наш близнец из нью-йоркского офиса «Парамаунта» вышли из отеля через фойе и сели в ожидавший лимузин. Что-то там сегодня на кухне, подумалось мне. Мать, которая по распорядку должна была отбыть позже, разумеется, по «подземному ходу», могла бы мне об этом рассказать.

Наша группа прибыла на пирс North German Lloid, где наш пароход «Европа» маячил над нами; сходни торчали из его корпуса, как гарпуны из боков убитого и перевернувшегося кверху брюхом кита. Повсюду предотъездная суматоха, мчатся носильщики, чемоданы и сундуки громоздятся в сумасшедшие лабиринты, в которых теряются сотни людей, все кому-то кричат, а те кричат еще кому-то, появляются, исчезают, все кого-то ищут — друзей, возлюбленных, родных, каюты, палубу А, палубу Б, верхнюю палубу, экономa, стюардов, тетю Эмили, носильщика, которому сдали всю ручную кладь, а он исчез — «может быть, вон в том направлении»? На пирсе играл духовой оркестр, в полном спокойствии, как если бы это был обычный тихий воскресный концерт в парке. Как на церемонии вручения Оскара музыка подбирается под награждаемого, так и здесь — она всегда отражает национальную принадлежность судна. Не могу вспомнить, что давали под «Бремен» или в тот вечер под «Европу», но, скорее всего, это был какой-нибудь похоронный

марш в тевтонском ритме. Наверное, что-нибудь из Вагнера — и очень много тубы. Слава Богу, хоть у Австрии не было океанского лайнера. Мать наверняка захотела бы поехать на нем, и тогда нас затопили бы рыдающими скрипками и аккордеоном. Французы, однотипные, как всегда, играют свой государственный гимн. С французами можно быть уверенным только в одном — что они прижимисты, а уж чего хорошего у них — так это надо поискать. Англичане — вот это показушники! У них на «Канард-лайн» был репертуар, включавший в себя «Уложи все свои проблемы в старую сумку и улыбнись, улыбнись, улыбнись!», «Долог путь до Типперери», «Правь, Британия!» и гвоздь программы — пока буксиры мягко вытягивали корабль из гавани, хор распевал «Auld Lang Syne»! Несколько слезинок среди всего этого веселья никогда не помешают. Эффект был столь сильным, что впоследствии вошло в обычай играть этот прилипчивый мотивчик при всех отплытиях, независимо от национальности корабля. На американских рейсах играли Сузу, и уж этого превзойти не мог никто, хотя англичане отставали ненамного. Мы никогда не путешествовали на американском корабле. Моя мать, европейка навеки, хотела поскорей отделаться от всего американского и не затягивать свое общение с посредственностью, пересекая океан «по-американски».

«У них, наверное, за обедом подают кока-колу», или «Уверена, что американские стюарды говорят «Хай!»», или «На всем фарфоре у них, наверное, американский флаг, и весь корабль в стиле нуворишей, как отель «Уолдорф-Астория», — вот некоторые из ее высказываний.

Без музыки не обходилось и на борту. Уже не духовой оркестр, но целенаправленные усилия «смягчить нравы дикого пассажира». В те дни это было, как музыкальный автомат в наши. На каждом корабле был свой Пальмовый дворик, где дамы в длинных черных юбках и мягких белых блузках наяривали на разнокалиберных струнных инструментах. Все они, наверное, попадали туда по распределению центрального отдела кадров, потому что все были похожи на «правильных» учительниц музыки из пансиона для благородных девиц, которым не продлили контракта после того, как их застукали в беседке за неприличными занятиями с учителем гимназии. На немецких рейсах особенно любили танго, и вот теперь дамы из ансамбля Пальмового дворика трудились над одним из самых любимых танго Валентино как раз в тот момент, когда меня доставили на борт — инкогнито и в безопасности от похитителей. Мой телохранитель сжал мне плечо: «До скорой встречи, детка, счастливого пути», — и был таков.

Как обычно, наши каюты были самыми лучшими, *намного* выше ватерлинии, так что мы могли открывать иллюминаторы, когда хотели. Потребовались бы трехсотфутовые волны, чтобы добраться до них и замочить наши плюшевые ковры. Богатым всегда выделяют самые безопасные места, будь то на корабле, самолете или поезде. Похоже, их считают слишком драгоценным грузом, чтобы подвергать риску. Это меня смущало в детстве, смущает и теперь.

Попасть в каюту и передвигаться по ней было делом нелегким. Прежде всего надо было пробиться через ботанические сады — они материализовались на борту в преддверии явления там моей матери; после этого вы оказывались лицом к лицу с горой саквояжей и картонок для шляп, которые все еще предстояло отправить в соответствующие помещения и распаковать. В те дни в каждом большом отеле, на каждом пароходе и поезде были свои отличительные ярлыки, которые автоматически приклеивались к каждому месту багажа бдительным персоналом, державшим наготове длинные кисти с янтарного цвета клеем. Серые сумки моей матери были до такой степени обклеены этими цветными нашлепками, что походили на слонят, усыпанных конфетти. Как отцу, так и матери эти ярлыки нравились, так что мы всегда брали с собой запасные, вместе с толстой кисточкой и баночкой клея, на тот случай, если какие-нибудь из них порвутся при перевозке и нужно будет их заменить.

Поездка в те времена все еще была драматическим приключением, очень волнующим. Даже самый безразличный пассажир, а таких было немного, и тот испытывал посасывание под ложечкой, когда корабль был готов к отплытию. В классе люкс наступало время праздника. Даже наиболее привилегированные особы заражались этой атмосферой, беспокоясь только о том, что, если испортится погода, их бокалы с шампанским могут соскользнуть со стола для бриджа им на колени. Но даже это не было бы катастрофой, поскольку у каждого было как минимум два смокинга, а в крайнем случае можно было обойтись и фраком. Дамы брали с собой в каюту по меньшей мере шесть вечерних платьев, в то время как дюжины других лежали в чемоданах в трюме. Мать никогда не заботилась о таких вещах. Она ненавидела карточные игры и никогда в них не участвовала, свои бокалы с напитками надежно держала рукой за ножку, а ее смокинги и вечерние платья всегда висели наготове, на всякий пожарный.

Рези ключом из своей огромной связки — на каждом метка с названием и содержимым сумки — отперла «слонов» и теперь была погребена под лавиной белой оберточной бумаги. Началось

великое распаковывание — «пока не пришла фрау Дитрих!» Это был мой шанс — скорей бежать, пока меня не призвали подавать ей подбитые ватой плечики.

Я до сих пор помню чувство возбуждения, которое охватывает тебя, когда идешь в разведку на новом корабле. О, я знала, что за пределы первого класса меня не пустят. Большая экскурсия будет потом, о ней специально для меня договорился капитан, а проведет ее старший помощник, блестящий офицер при полном параде, в галунах и всем прочем, и тогда уж меня попотчуют такими деликатесами, как посещение машинного отделения — так это было и на «Бремене».

А сейчас я сама по себе, и это лучше всего. Первым делом я спускаюсь в главное фойе. «Европа», гордость германского флота, родная сестра «Бремена», который впервые отвез меня в Америку, была очередным гимном тому, что позже станет считаться архитектурным стилем нацистской Германии. На самом деле корабль был прусским до мозга костей и существовал задолго до того, как его облюбовал фюрер. Массивный и мрачный, с множеством римских гирлянд, переплетающихся с вырезанными из дуба когтистыми орлами. В столовой первого класса можно было бы поставить целиком все «Кольцо Нибелунгов», и оно пришлось бы точно ко двору. Аура корабля отражалась и на его команде. В сороковые годы, когда «Уорнер бразерс» выпускала свои отличные фильмы с антинацистской пропагандой, актеры, игравшие гестаповцев, штурмовиков и командиров подлодок, всегда напоминали мне персонал «Бремена» и «Европы» тридцатых годов. Уверена, что все они в конечном итоге оказались где-нибудь на «Графе Шпее», сражаясь за Отечество. Но я о корабле: из-за узорчатой резины, покрывавшей коридоры и лестницы, корабль вонял как шинный завод. Это, а также легкая, но постоянная вибрация, было единственным, что напоминало о том, что ты живешь на корабле, а не в отеле. Фойе на главной палубе было забито народом. Стюарды в белых бушлатах и маленьких черных бабочках «Чаплин» бегали вокруг, раздавая огромные корзины цветов высотой со стулья; их фестончатые, в форме вееров, стенки и выгнутые ручки были украшены сатиновыми ленточками из реквизита Джаннет Макдональд в «Майском времени». Немецкие стюарды разносили эти цветы с несколько осуждающим выражением, как будто считали все это легкомысленной экстравагантностью.

Это было мое первое отплытие от американской пристани, и мне хотелось увидеть все. Я поднялась в лифте на прогулочную палубу, а по остальным лестницам, остававшимся до открытой верхней палубы, расположенной прямо под гигантскими

дымовыми трубами, пробежала сама. Это было мое любимое гнездышко: оттуда все было видно. Причалы, разнообразные вымпелы пароходных компаний рядом с флагами их стран развеваются на легком вечернем ветру, ярко-желтые такси непрерывно подъезжают и отъезжают, вдали высится почерневшая железная конструкция метромоста высоко над улицей, а далеко внизу, подо мною — все эти люди в постоянном движении, как вода в гавани, и ночной прилив, с которым нам предстоит отплыть. Я еще дальше перегнулась через перила. Вот-вот должна прибыть мать. Еще задолго до ее появления можно было почувствовать нарастание напряжения, поток возбуждения, захлестывающий толпу — так животные предчувствуют бурю задолго до первого грома. Вот и она, а вместе с ней зажимающие ее в тиски неистовые мужчины со своими удостоверениями прессы, заткнутыми за ленты широких шляп — такие, кажется, вечно пятятся задом наперед; одни выстреливают в нее своими вопросами, другие вырывают перегоревшие лампочки из своих рефлекторов, облизывают кончики новых и вворачивают их на место одним молниеносным движением.

Мать вся в белом, и, если бы о ее руку опиралась хорошенькая женщина, они бы составили потрясающую пару. Меня, по правде говоря, никогда не смущала ни мужественность матери, ни недостаток в ней женственности. Мне никогда даже не приходило в голову задуматься над этим. «Дитрих» не была ни мужчиной, ни женщиной — «Дитрих» была просто Дитрих, с начала и до конца. Мне никогда не приходило на ум связать ее образ с образом «женщины-матери».

Увидев, как она пробирается к специальным сходням, а толпа движется вместе с ней, как ее неотъемлемая принадлежность, я поняла, что мне надо вернуться в каюту и как можно скорее. Ожидалось, что я должна быть на месте и встречать ее с радостью. Стоило мне провиниться еще до начала поездки, и она злилась бы на меня на всем пути через Атлантический океан, а затем эту злость подхватил бы отец — эдакая воспитательная родительская эстафета. К тому же я еще не вынула и не рассортировала открытки, приложенные к массе присланных цветов. Эта забота теперь была поручена мне, что позволяло матери выбрасывать те цветы, которые она ненавидела, не заботясь о том, кто что прислал. Там было множество ирисов, гладиолусов и дельфиниумов, так что мне было ясно — как только она войдет, начнет выкидывать целыми охапками. Я влетела и, к счастью, успела — как раз вовремя!

Она казалась спокойной, не злилась, как это обычно бывало после схваток с репортерами. Она позвонила и вызвала стюарда,

горничную и официанта, которые тут же выросли, как из-под земли. Она болтала с ними, вперемежку с этим отдавая приказания — это совсем было на нее непохоже. И вдруг я поняла! Все говорили по-немецки. Мать была дома! Она была счастлива. Когда она прочла меню, то облизала губы и заказала все — франкфуртские сосиски, тушеную кислую капусту, печеночные клецки, красную капусту, жареную картошку, ливерную колбасу с черным хлебом. Если бы на «Европе» запаслись ржаным хлебом с гусиным смальцем, она заказала бы и его.

Как я и предсказывала, ирисы и прочее были изгнаны с глаз долой, после чего она набросилась на привычную пачку телеграмм.

МАРЛЕН ДИТРИХ
ПАРОХОД ЕВРОПА
ТЫ БЫЛА ПРАВА НАША ВСТРЕЧА ВЧЕРА БЫЛА ГРАНДИОЗНА ТЧК СЧАСТЛИВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ И УДАЧИ
МОРИС

213 = ПАРКВЕЙ ГОЛЛИВУД КАЛИФ 453 13 МАЯ 1933
МАРЛЕН ДИТРИХ
ПАРОХОД ЕВРОПА НЬЮ-ЙОРК
ДУМАЮ ТЫ УЕЗЖАЕШЬ НАМЕРЕННО ВЕЗДЕ КУДА НИ ВЗГЛЯНУ ВСЕ КАК-ТО УНЫЛО СЧАСТЛИВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ НЕ ЗАБУДЬ ВЕРНУТЬСЯ
РУБЕН 812

54 138 = ЛОС-АНДЖЕЛЕС КАЛИФ МАРЛЕН ДИТРИХ ПАРОХОД ЕВРОПА
МОЯ ДОРОГАЯ ФРЕЙЛЕЙН ФОН ЛОШ БЕЗ ТЕБЯ СОВСЕМ НЕВЕСЕЛО ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ В ВОСКРЕСЕНЬЕ ТЧК ОН ПЛАКАЛ КОГДА ПОКИДАЛ ВАШ ДОМ ТЧК Я ПЫТАЛСЯ БЫТЬ ОЧЕНЬ МУЖЕСТВЕННЫМ ТЧК ВИДЕЛ ВЧЕРА Ш НЕВЕРОЯТНО ОЧАРОВАТЕЛЕН ДУМАЕТ ЛИШЬ О ВАС МЫ ТОЖЕ НО ЭТО НАВЕРНОЕ НЕ ТАК ИНТЕРЕСНО ТЧК БЫЛО ЛИ В ПОЕЗДЕ ОЧЕНЬ СКУЧНО БРЕНТВУД СОВСЕМ НЕ СПИТ МУЧАТ УЖАСНЫЕ КОШМАРЫ БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СВОИ СТАРЫЕ ФИАЛКИ ПОСЫЛАЕМ НАШУ ЛЮБОВЬ ВАМ И ВАШЕЙ КОШЕЧКЕ
(Без подписи)

«Фиалки» — цветок, символизирующий лесбийские отношения, был остроумно выбран «мальчиками» для самоназвания. Под «Ш», конечно же, имелся в виду фон

Штернберг, «Брентвуд» означало де Акосту. Очень мирская кличка, подумала я, для Белого Принца. «Кошечка» относилось ко мне и представляло собой плохо замаскированный намек, который, однако, полностью прошел мимо матери. Ей никогда не удавалось понимать саркастические двусмысленности. Расшифровка телеграмм была одной из тех немногих игр, в которые я в детстве играла.

«Все на берег, кто на берег!» — Зигфриды снова затянули свою песенку. Я решила рискнуть и спросила разрешения выйти на палубу посмотреть, как мы снимаемся с якоря. И получила утвердительный ответ! — да, сегодня явно особый день. Как обычно, я степенно вышла, тихо закрыла дверь, а затем… рванула! Теперь *все* вокруг сияло. Повсюду развевались бумажные вымпелы, новогодняя ночь в мае! У духового оркестра открылось второе дыхание, все махали руками, кто-то кричал, давая последние наставления, которых уже никто не понимал, но все равно кивали в знак согласия, детей поднимали на руках, чтобы они видели и их видели. Я стояла на месте и ощущала, как корабль пришел в движение. Буксиры, источавшие огни, принялись за свою геркулесову работу — конвоировать наш гигант на безопасную глубину. Мое первое отплытие из Америки и первое из моих дежурств — они с тех пор повторялись каждый раз, когда мы переплывали океан. Я ждала появления Леди. Она была так прекрасна и говорила всему миру, что позаботится о нем и обеспечит его безопасность в этой чудесной стране. Когда мы уезжали, я ей всегда говорила «до свидания», а когда возвращались, благодарила ее за то, что она приветствует меня по возвращении домой. Наверное, я как-то раз открыто выразила свои чувства, потому что, помню, мать сказала: «Статуя Свободы? Просто смешно. Она же француженка. Американцы даже собственных статуй не могут сделать, они никуда без французов!»

Конечно же, мать никогда не участвовала в обязательных занятиях по учебной тревоге, а мне, наоборот, нравилось залезать в эти огромные жилеты, такие тяжелые, что диву даешься — неужели они действительно не тонут? — а потом стоять в очереди и получать «серьезно» произносимые инструкции и запоминать тех, кто будет сидеть в «твоей» шлюпке, когда наступит Трагический Момент. В такие минуты, когда меня определяли в группу «женщин и детей вперед», я чувствовала себя очень важной.

«Европа», казавшаяся такой набитой пассажирами, на самом деле была лишь наполовину заполнена в первом классе. Американцы уже опасались путешествовать на том, что юридически считалось германской территорией. Мать пробыла в

своем благодушии довольно долго — пока мы не увидели «Майн кампф», которую продавали в книжной лавке. Это ее потрясло, хотя и не до глубины души. Для нее «Европа» была пока еще «Отечество». Мы не подозревали, что это будет наше последнее путешествие на германском корабле.

Когда по краям обеденных столов были установлены металлические бордюры, не дававшие блюдам с них соскальзывать, я поняла, что мой желудок и я в беде. Корабль задраивали — предстояла качка.

РАДИОТЕЛЕГРАММА ПАРИЖ
МАРЛЕН ДИТРИХ
ПАРОХОД ЕВРОПА
СОЖАЛЕЮ ЧТО КОРАБЛЬ ПУСТ ОЧЕНЬ ЖАЛЬ НАДЕЮСЬ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ СПОКОЙНО В СМЫСЛЕ ПОЛИТИКИ ТЧК НЕСЧАСТНОГО КОТА УКАЧИВАЕТ БЕДНАЯ МОЯ НАДЕЮСЬ ПОГОДА УЛУЧШИТСЯ ТЧК ТЫ БУДЕШЬ ЗА ВСЕ ВОЗНАГРАЖДЕНА ЧУДЕСНЫЙ ОТЕЛЬ ДВОРЕЦ ТРИАНОН ВЕРСАЛЬ ПРЕКРАСНЫЙ ПАРК ТЧК ЦЕЛУЮ ТЕБЯ И ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ
ПАПИ

Леди из Пальмового дворика ретировались. Корабль плясал танго сам по себе. Маринованную сельдь в сметане определенно не стали заказывать. Официанты раскачивались взад и вперед на каблуках в такт с кораблем, мужественно ожидая клиентов в пустой столовой. Мать пила шампанское, писала и читала телеграммы.

РАДИОТЕЛЕГРАММА
3 ВЕСТ ЛОС-АНДЖЕЛЕС КАЛИФ
МАРЛЕН ДИТРИХ
ПАРОХОД ЕВРОПА
МОЯ ЗОЛОТАЯ СКАНДИНАВСКОЕ ДИТЯ ПОСМОТРЕЛА ТВОЮ КАРТИНУ И РЕШИЛА ТЫ И ТВОЯ ИГРА ПРЕКРАСНЫ ТЧК ТЫ УЛЫБНЕШЬСЯ УЗНАВ ЧТО ОНА ВЫБРАЛА ТОГО ЖЕ РЕЖИССЕРА ТАК ЧТО ЖИЗНЬ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ ТЧК СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ И БЕСПОКОЮСЬ О СИТУАЦИИ В ЕВРОПЕ ТЫ ДОЛЖНА ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ СКОРЕЕ ЛЮБОВЬ МОЯ

Наконец-то, земля! Нашей первой остановкой был Саутгемптон, и на борт доставили настоящую почту. Брайан рассчитал время до точки. От него было письмо из Лондона:

Аппер Порчестер-стрит
Кембридж-сквер, 2

Понедельник. Радость моя, твоя дорогая телеграмма пришла сегодня утром, и я весь день думал о чем приятном можно было бы тебе радировать. Мне не пришло в голосу ничего, кроме «я тебя люблю». Интересно, ты догадалась бы, от кого радиограмма? В конце концов, все тебя любят, а я заметил, что никто не подписывает для тебя телеграммы, так что ты могла подумать, что эта пришла от мисс де Акосты, или от мистера фон Штернберга, или от Мориса, или Рубена, или Гари Купера (Бинга Кросби, ты, наверное, не заподозрила бы).

Так вот она от меня! Любимая моя, это было божественное время, не правда ли? Помню, как ты глядела на свои фотографии на полу, так страстно и возбужденно, а Мария читала воскресные комиксы, так увлеченно и тихо. Я вижу, как ты подходишь к площадке в своей широкой серой юбке и в маленькой синей блузке с буфами на рукавах, и твои волосы отливают красно-золотым цветом на солнце Я вижу тебя и в твоих красных штанах, как ты сидишь на вершине холма под зонтом и ждешь, когда я приду, а рядом с тобой аккуратно наполненная корзинка для пикника. Я слышу, как ты говоришь по телефону: «У аппарата мисс Дитрих», и вижу, как ты входишь, подобно озорному ребенку, с подарком для меня, спрятанным за спиной У меня есть и другие воспоминания, о ярко-красных цветах и о зеркале и красном лоскутном одеяле, на котором ты лежишь, как цветок. У меня есть воспоминания, которые поднимаются во мне и заставляют задыхаться от желания…

Это было необычное время, и столь нежданное, лакомый кусочек, подкинутый Богами просто как сюрприз. Может быть, это был лишь сон, но даже если так, это все равно наше: пусть недолго, но мы были покойны, счастливы и довольны, и, что касается меня, то я осознал истинную ценность этих часов еще до того, как они прошли. Так что теперь, что бы ни ожидало нас в будущем, этот сон нам уже приснился, и воспоминания о нем останутся с нами.

Берегись простуды. В Калифорнии кровь разжижается (хотя иногда бежит очень быстро), и я чудовищнейшим образом простудился и чувствую себя ужасно. Обязательно сообщи мне о Марии и передай ей мою любовь, если считаете, что ей это не противно. Я поистине предан ей.

Увы! Я также очень предан и матери, а это так сложно.

A bientôt mon amour

(До скорого, любовь моя!)

Это одно из тех писем, что я нашла в доме отца после его смерти. Он хранил его почти пятьдесят лет. Я рада, что сохранил.

Такие люди, как Дитрих, никогда не стояли в очереди ни за чем. Даже при паспортном контроле. Эконом лично пришел в нашу каюту, чтобы забрать документы еще до прибытия в Шербур. Когда мать передавала ему наши паспорта, я увидела, что мой такой же, как и ее, бежевый, с обложкой, покрытой надписями немецким шрифтом и этими вечными стоическими орлами. У меня немецкий паспорт! Значит, я немка? Помню чудовищное ощущение потери, панику, как будто я упала глубоко-глубоко вниз. До этого момента я думала, что принадлежу Америке, а теперь вдруг выяснилось, что не принадлежу! Но ведь Германия — страна моей матери, а не моя! Никогда… так *кому* же я принадлежу? Мать всегда говорила мне, что я принадлежу ей, теперь я начала в это верить по-настоящему, и это меня пугало.

Париж — Вена

Отель Трианонского дворца оправдывал свое название. Золушка могла в любой момент потерять там свою туфельку. Сплошные зеркала, французские окна — до самого пола — и позолота. Нашему номеру не хватало для полного счета только мадам Помпадур, возлежащей на младенчески-голубом шезлонге. Поскольку «в жизни» Дитрих никогда не возлежала, наш шезлонг никогда не использовался, но выглядел он хорошо, весь в шелковой парче и золотых листьях. С того момента, как мы очутились на французской земле, мать говорила только по-французски. Она говорила по-французски с таким мастерством, что в памяти вставали образы дворовых франтов, низко кланяющихся и размахивающих своими кружевными платками поверх светло-сатиновых бриджей. Париж так соответствовал ее безоглядной любви ко всему аристократическому. Людовики были ребята в ее вкусе, а «пусть едят пирожные» не слишком расходилось с ее собственными воззрениями. Роман с Парижем был самым длинным в ее жизни, и, как в любом из ее амурных дел, то, что она любила, становилось ее собственностью — как компенсация за растраченные эмоции. Каждый раз, когда мать начинала романтизировать на тему каких-либо мест или предметов, они вызывали во мне подозрения. Это означало либо то, что на горизонте появился новый воздыхатель, либо, если такового рядом не было, что она влюбилась в город, в стихотворение, в книгу, в песню — словом, пустилась по волнам чувств. На белую лилию, например, могла изливаться страсть столь же напряженная, как на любовника, — и обычно столь же быстротечная. Париж и все французское были предметом такой страсти поздней весной 1933 года.

«Попробуй fraises des bois, радость моя. Это вкус Франции! Дикая клубника, растущая на солнце — ее собирают молодые девушки в белых платьях!»

Она разговаривала большими буквами и восклицательными знаками. Ее слова были исполнены лирики. Изображения пятнистых маковых полей a la Моне стали привычным окружением. Пластинки Таубера исчезли, вместо этого изливал душу Шевалье. В утренних сценах роль звезд отводилась круассанам. Она отбросила штаны и дефилировала повсюду в светлом шифоне. Все было сплошная сладость и галльское наслаждение. Мы все вздохнули с облегчением. Особенно отец, который уже устал дрожать от страха — ведь он сам выбрал жилье, без ее предварительного одобрения.

В первое же утро, для того, наверное, чтобы подчеркнуть, как в Европе безопасно, мне сказали, что я могу выйти одна поиграть в саду. Если уж что-то разрешили, то мешкать не следует — и я ускакала прочь. Выяснилось, что играть на улице труднее, чем я ожидала, поскольку вся территория вокруг отеля была спроектирована так, чтобы соответствовать архитектуре. Очень «правильные», ухоженные тропинки, усыпанные белым гравием по границам аккуратнейших клумб, похожих на вышитые узоры на скамеечках для ног, деревья, подстриженные под такие формы, которых не могло иметь ни одно приличное калифорнийское дерево.

Вот я и бродила в своем плиссированном кисейном платье взад-вперед по маленьким беседкам, пока не почувствовала, что «время игр» следует считать истекшим, и мне пора возвращаться. Вот-вот должны были подать ланч в нашей столовой, обклеенной вручную расписанными обоями с ленточками и розовыми бутонами. Хрупкие позолоченные стулья уже были расставлены, мать сидела за столом. Я еле успела переобуться и притвориться, что вымыла руки. К счастью, никто этого не заметил, так что ничего мне не было, и я начала уплетать винегрет с белой спаржей. Блюда, заказанные отцом, выглядели столь же декоративно, как и все, что окружало нас. Только французы могут рисовать на вареных цыплячьих грудках картинки из желе и трюфелей. Здесь мне пришлось согласиться с матерью; и нет ничего, что сверкало бы ярче, чем хрусталь-Баккара и севрский фарфор на белой льняной скатерти, обшитой кружевами шантильи. Вся трапеза напоминала картину в Лувре, но, если бы кто-нибудь предложил мне гамбургер с кетчупом, я была бы в экстазе! Я действительно была ужасно неблагодарным ребенком, но ностальгия по дому проникает и во дворцы.

Расслабившись, мать накинулась на еду с энергией водителя грузовика, заправляющегося на трассе во время трансконтинентальной перевозки. Так у нее было всю жизнь. То обжирается, то морит себя голодом. Изысканно есть она не умела, а поглощала пищу со смаком — в этом она несколько отступала от образа «леди».

Все говорили по-французски, даже Тами. Я подросла, и теперь мать с отцом переходили на этот язык всякий раз, когда «Ребенку не следовало знать»; но коли уж *французский должен был стать* повседневным языком, я решила, что лучше, пожалуй, поскорее его выучить — всегда опасно не знать того, о чем люди говорят или думают.

Мы разрушили совершенство розового лосося, приютившегося среди ломтиков лимона и темно-зеленых пучков

петрушки, артишоков с лавандовыми кончиками и свинцово блестевшей белужьей икры; серебряная филигранная корзинка, до краев наполненная маленькими дрожжевыми булочками, еще теплыми от печи, опустела; бутылка из-под белого бургундского, над которым охали и ахали, теперь пустая торчала вверх дном из серебряного ведерка на треножнике; и ни одной сладкой крошки не осталось от всех малиновых пирожных. Мать поднялась; в кругу семьи от меня не требовалось вставать одновременно с ней, равно как и отцу. Тами вскочила, невзирая ни на что. Она всегда действовала под девизом «лучше перебдеть, чем потом жалеть». Обычно в таких случаях ей говорили: «Сядь!», что она немедленно и делала, бормоча неловкие извинения за свою «глупость». Мне так и не удалось научить ее правильно угадывать настроение матери, хотя я пробовала это сделать каждый раз, когда мы оказывались вместе. До некоторой степени мы все боялись матери, но Тами просто каменела от страха, и все мои тщательные наставления до нее не доходили. Уже в Санта-Монике я начала ее прикрывать, участвуя в ее промахах, например, делая так, чтобы приказы типа «Сядь!» касались нас обеих. «Гнуться» легче, когда ты не один. Но мы с Тами не так часто бывали вместе, а когда бывали, я вовсе не всегда была столь добра и готова на жертвы, и тогда ей приходилось все принимать на себя, всю тяжесть. Чтобы сломать ее дух, а затем уничтожить рассудок, потребовалось почти тридцать лет. Мать и отец были весьма основательными людьми.

На сей раз мы сели обратно вместе. Мать вышла из комнаты, отец позвонил официантам убрать со стола. Мать вернулась, переодевшись во фланелевую юбку и полосатую шелковую рубашку. Мы были готовы к работе! Тами отправили гулять с Тедди, который по праву воспитанника отныне принадлежал отцу, хотя я готова поклясться, что, когда мы только приехали, он мне подмигнул.

Отец приготовил жене особый сюрприз. Он стоял в саду, похожем на огромный вольер — миниатюрный версальский бальный зал, а посередине — кабинетный рояль, черное дерево которого соперничало в блеске с паркетом, на котором он стоял.

— Для тебя, Мутти, чтобы ты работала над песнями. Звук здесь лучше, чем в отеле, и тебе никто не помешает.

Мать подошла к инструменту, села, подняла крышку, взяла несколько аккордов, посмотрела на отца, улыбнулась:

— Он идеально настроен! Ты и об этом подумал!

Не могло быть большей похвалы от Дитрих, чем услышать, что фортепьяно настроено хорошо! Отец был полностью вознагражден и заулыбался в ответ. Именно тогда я решила, что

Париж, наверное, — счастливое место, и таким он и остался для меня, навсегда.

Наши дни пошли своей обычной рабочей чередой. Мы вставали и шли в бальный зал работать; делали перерыв на ланч; за едой не перемывали другим кости, а говорили о деле; затем спешили назад, к роялю. Считалось, что процесс создания песни для Дитрих должен меня интересовать, и он интересовал. Каждое утро мне выдавали стул в стиле Людовика и разрешали слушать. Мать стояла, никогда не садилась, как всегда. Рояль был весь покрыт длинными нотными листами, заточенными карандашами и пепельницами. На низеньком столике поблизости, в ведерке, охлаждалось шампанское Тэттингер. Пройдут годы, прежде чем автор «На западном фронте без перемен» приучит ее к Дом Периньону от Моэ и Шандона, которое, как затем будет объявлено по миру, было шампанским Дитрих — всегда. Всему, что мать знала о винах (а легенда утверждает, что она была знатоком), ее научил Эрих Мария Ремарк, знаток истинный.

Могущество славы моей матери сильно — намного сильнее, чем могло показаться, — облегчало переговоры о контрактах; все же то, что отцу удалось убедить немецкую фирму грамзаписи разрешить немецкой звезде записываться во Франции, было большой удачей. Каким фальшивым предлогом он воспользовался для того, чтобы матери не пришлось ехать работать в Берлин, я так и не знаю. Ситуация, надо полагать, была очень деликатной. Гитлер стал германским канцлером, присутствие беженцев уже ощущалось, и повсюду ходили слухи о личных трагедиях, однако пока что об этом никто еще особенно не беспокоился, кроме тех, кому ситуация угрожала непосредственно и тех — совсем немногих — кто на самом деле понимал доктрину «Майн Кампф» и ужасные последствия ее претворения в жизнь. Слава Богу, мой отец был одним из этих немногих просвещенных. Без его совета моя жизнь и жизнь Дитрих могли бы сложиться совсем по-другому. К чести ее надо сказать, она увидела правду в том, что он ей говорил, и не спорила с решимостью отца любой ценой удержать ее за пределами Германии. Однако ее политический опыт, столь превозносимый во всем мире — утверждают, что она еще в начале тридцатых годов была чуть ли не ясновидящей, — был обязан своим существованием наставникам, а вовсе не ее интуиции. Впрочем, так бывало всегда: стоило Дитрих воспринять какую-либо идею, она сразу же делала ее своей собственностью с таким душевным жаром, какому позавидовала бы сама Жанна д'Арк.

Теперь она стала покровительницей художников, бежавших из Германии. Эта роль ее устраивала, и она играла ее

великолепно. Тот факт, что она была пруссачкой, лишь укреплял положение и подчеркивал ее гуманность. Используя моего австро-чешского отца в качестве мажордома, Дитрих правила своим эмигрантским двором, и в нашем версальском отеле процветал маленький Берлин. Ее старый приятель Шполянский, Холландер, наш гений песен из «Голубого ангела», композитор Петер Кройдер и его аранжировщик Ваксман, работавший с ней над новыми песнями, — они и многие другие приехали, их приняли, ввели в святилище высоких чувств, накормили, одарили советами и утешениями.

Круассаны и разукрашенные цыплячьи грудки исчезли, и, благодаря великолепному ноу-хау моего отца в вопросах потребительства, их место на причудливо разрисованном цветами фарфоре заняли бублики, куриная печенка и копченая белая рыба. В то время как шеф-повар отеля Трианонского дворца рвал на себе волосы, у матери функционировала лучшая во Франции еврейская закусочная. Теперь я слушала новоприбывших бездомных, ощущала их страх и ужас, тоску по дому и по родине, но, по большей части, все это мне казалось, даже в мои восемь лет, абсолютно невероятным. Они произносили странные новые слова: «нацисты», «СС», «гестапо», но когда я пыталась их найти в словаре, их там не оказывалось. Когда я спрашивала Тами, что они значат, ее охватывало такое беспокойство, что отставала. И вот однажды днем меня оставили одну на половине отца, и я отправилась в его кабинет поискать книгу, о которой все время упоминали. Найдя ее, я устроилась в высоком епископском кресле и приготовилась прочесть «Майн кампф». Конечно же, книга оказалась слишком трудной, но я нашла несколько знакомых слов; «еврей» — *это* слово я слышала часто, оно всегда произносилось с оттенком презрения, как в тот раз, в Берлине, когда мать впервые поиздевалась над приставкой «фон» фон Штернберга. Некоторые слова я раньше никогда не слышала, например, «ариец». Я искала другие слова, когда вдруг услышала в холле голос отца. Поскольку никому не позволялось без разрешения входить к нему в кабинет, я быстро поставила тяжелую книгу точно на то место, откуда взяла, и убежала.

Вернувшись в тот вечер в отель и чувствуя себя очень храброй после своего набега на такое взрослое чтение, я спросила мать, что значит «ариец».

— Вот ты и есть арийка, радость моя! Но тебе этого еще не понять — ты еще слишком маленькая. Теперь иди спать. Нам завтра работать!

Я привыкла к этой уловке — мне редко удавалось получить на какой-либо вопрос информативный ответ. Наверное, именно

поэтому я в детстве выуживала информацию, редко задавая прямые вопросы.

Так значит, я не только немка, а не американка, я еще и арийка? Я уже решила, что не буду немкой. Теперь мне нужно было как можно скорее выяснить, что означало это новое слово, чтобы и этим тоже больше не быть!

Наши занятия в бальном зале продолжались. Мать хорошо писала стихи к песням. Сидевший в ней поэт, хотя и невозможно сентиментальный и уставший от мира, что и сам осознавал, отзывался балладами, хорошо подходившими к ее стилю. Кое-какие знаменитые песни, приписываемые другим, были написаны Дитрих, но, хотя она и дымилась, когда тем или иным джентльменам возносились гимны за слова, часть которых им не принадлежала, она никогда не раскачивала их ненадежные лодки. Возможно, к такой внезапной потере мстительности имел отношение тот факт, что эти самые джентльмены знали некоторые не вполне достойные поступки и за ней самой.

В то лето была написана одна из моих любимых песен — «Allein in Einer Grossen Stadt» («Один в большом городе»), очень современная композиция в стиле Брехта, и одна из тех, что нравились мне меньше, «Mein Blondes Baby» («Моя белокурая малышка»). Мать обожала ее, стихи могли быть взяты из какого-нибудь ее письма. В тот день, когда эта песня была закончена, мать усадила меня рядом с роялем и спела для одной меня, глаза ее наполнились слезами, а голос, в своем трехнотном диапазоне, рыдал о ее белокурой малышке, которая никогда не должна ее покидать.

Это был характернейший пример того, как моя мать понимала материнство. Как эта песня, так и ужасное стихотворение Жана Ришпена, которое по ее настоянию декламировалось при всяком удобном и неудобном случае и посылалось всем тем, кто ей был интересен, включая позже моих детей, основаны на «мученичестве» материнства — самом высоко ценимом представлении Дитрих о самой себе.

Жил один бедный дурень, который любил девушку
Давным-давно,
Но она оттолкнула его и сказала ему:
Приказываю, принеси мне сердце своей матери
И отдай его моей собаке.
Он пошел и убил свою мать
Давным-давно
И взял сердце, и оно было огненно-красным.
Он нес его, но споткнулся и упал,

И сердце покатилось по песку.
Он увидел, как сердце катилось по пыли
Давным-давно,
Раздался крик,
И сердце заговорило:
«Ты не ушибся, сынок?»

Эту кошмарную идею мать просто обожала. Теперь, пока она пела свою «Белокурую малышку», я сидела очень тихо, отчаянно пытаясь найти нужную похвалу, которой от меня ожидали. В конце концов меня ведь «обессмертили в песне», и радостная благодарность с моей стороны подразумевалась сама собой. Но это была такая ужасная песня, что похвала застревала у меня в горле. Надо полагать, я приняла компромиссное решение — просто вскочила и обхватила ее руками за шею, потому что помню, как она воскликнула:

— Ребенок понимает! Она знает, что я ей говорю! Без нее — нет ничего!

Она была счастлива и довольна — я все сделала правильно!

Когда мы не писали песен в Версале, мы работали в Париже — выбирали наряды. Французская пресса отнеслась к пристрастию Дитрих к мужским костюмам критически. Передовицы теоретизировали на темы того, что «настоящим леди» не следует пренебрегать условностями. В конце концов французская индустрия моды, в то время исключительно женская, составляла важную часть экономики страны, так что их панику при мысли о том, что женское население может предпочесть свои тесные оборчатые юбки удобству пары брюк можно понять. Хотя Эрмес демонстрировал женские брюки еще в 1930 году, информационные агентства подхватили эту «новую» дискуссию и, при усердной поддержке со стороны парамаунтского отдела рекламы, раздули историю до уровня международного мини-скандала. Это не помешало Дитрих разгуливать по Елисейским полям в своих костюмах в тонкую полоску. Продавщицы в магазинах бросали своих клиентов в разгар совершения покупки и бросались наружу, чтобы взглянуть на то, как она проходит мимо; в открытых кафе прекращалось всякое обслуживание, стыла еда, таяло мороженое, но клиенты не обращали на это внимания, они тоже глазели на нее; иные замирали с зажатой в руке или уже заткнутой за воротник салфеткой и следили за тем, как она идет по бульвару. Одни машины тормозили посреди потока, другие ехали вдоль тротуара, держась на одном уровне с ней. Люди забывали переходить улицы на перекрестках,

жандармы забывали свистеть. Число следовавших за ней поклонников неуклонно росло, пока за нами не образовывалась огромная толпа. И дело было не в мужском костюме: такое случалось каждый раз, когда появлялась Дитрих, вне зависимости от того, что на ней было надето!

В первый раз, когда такое произошло, это было действительно страшновато. В Америке такое никогда не случалось. Там они молчали — и как молчали! Прямо, как толпа линчевателей в фильме, что я когда-то видела. Но эти лица были не сердиты, и тишина была скорее благоговейной, нежели угрожающей. Я знала, как ведут себя поклонники, но то, что происходило здесь, совершенно не вписывалось в картину Поклонения Кинозвезде. Никто не пытался ни дотронуться до нее, ни даже приблизиться к ней. Они просто хотели пребывать в ее ауре и задать праздник своим глазам. Этот необычный дар вызывать почтение к себе у огромных масс народа был даром особенным, необъяснимым, колдовским. Он не покидал ее всю жизнь. Те из нас, кто сопровождал ее и опасался, что ее вот-вот разорвут на кусочки, постоянно дивились тому, как, глядя на орды проталкивавшихся к ней алчных поклонников, она уверенно заявляла:

— Не волнуйтесь! Они меня не тронут. Они никогда так не делают.

И, клянусь Богом, она была права! Они никогда этого не делали!

Никакого истеричного безумия в адрес Дитрих — она внушала трепет Затаенного Дыхания. Пусть газеты печатают свою ложь — народ Парижа обожал ее.

Брайан, неизменный рыцарь-защитник, волновался по поводу «брючных» статей, появлявшихся в британской печати, и в одном из своих писем дал ей непрошеный совет. По отношению к Дитрих такие шаги никогда не были разумны. Каждого, кто не был с ней согласен, она считала «адвокатом дьявола».

Мать прокомментировала:

— Право же, Брайан никак не может остановиться. Он думает, что это я изобрела штаны. Он что, никогда не слышал о Жорж Санд? Я-то думала, он образованный человек! Раздули невесть что! — и продолжила чтение:

— Могли бы уехать ненадолго на каникулы — в деревне сейчас так мило, О Бог мой, как бы мне хотелось, чтобы ты не была столь знаменита! Я бы сказал тебе «поехали», и мы бы укатили к Итальянским озерам, и остановились бы в Комо, и пошли бы в

оперу Ла Скала в Милане, а потом — в Венецию. Было бы так славно в это время года, и мы были бы так счастливы. Увы…

Мать оторвалась от письма.

— «Увы»? Когда кончится это ля-ля? Прямо Шекспир!

Брайан определенно как-то напортачил в этом письме. Из всех людей, влюбленных в мою мать, он был моим самым любимым, и я не хотела его потерять. Я наблюдала за ее лицом с тревогой.

Увы, я не знаю, как тебя вообще можно увидеть. Если я приеду в Версаль, каждый чистильщик обуви в отеле об этом сразу же узнает, и на следующий день это будет во всех газетах мира. Это все для меня слишком трудно, и нередко по вечерам мечтаю я о том, чтобы снова вытащить свой добрый старый Крайслер и умчаться обратно в Санта-Монику. Ах, дорогая моя, может быть, мне все это приснилось, и на самом деле ничего этого не было.

Как Мария? Обычно я не люблю детей, они меня смущают. Она — единственная на свете, кого я по-настоящему обожаю.

Это скучное письмо. Я хочу сжать тебя в объятьях, и мир кажется таким безжизненным и бесполезным, пока я этого не могу сделать.

Посылаю тебе свою самую сокровенную любовь, Дитрих.

Эхерн

Но когда она кончила читать, все было в порядке, она не сердилась.

— Брайан тебе посылает свою любовь, радость моя. Как только работа закончится, он приедет в Париж.

Когда в комнату вошел отец, мать протянула ему письмо Брайана, сказав:

— Милое письмо от Брайана. Прочти, что он пишет про штаны. Это очень смешно! — и она ушла одеваться.

Отец выбрал из своего золотого портсигара сигарету, захлопнул крышку, засунул портсигар в карман своей кашемировой тужурки, прикурил от прекрасной зажигалки Картье, устроился в парчовом кресле у доходящих до самого пола французских окон и начал читать. Я стояла и наблюдала за его лицом. Мне не нравилось, что отец читает то, что ей написал Брайан. Никакой истинной причины для недовольства у меня не было, но все же я чувствовала себя при этом неловко. Одно было ясно: когда я увижу Брайана в следующий раз, мне придется сказать ему, чтобы он не использовал слова «Увы!» в письмах к ней.

Отношение матери к почте в целом было довольно необычным. Когда дома был отец, работа по вскрыванию и сортировке писем поручалась ему, а когда его не было — мне. Счета складывались в коричневую папку-гармошку, приглашения — слева от промокательной бумаги, рабочие письма — вместе с прочим рабочим материалом в центре, личные — справа. Телеграммы, конечно, вскрывались, разворачивались и передавались ей немедленно. Письма от поклонников обычно пересылались ей через студию. Те, которые пробивались к ней непосредственно, выбрасывали, не открывая. Дитрих никогда не заботилась о почте поклонников, пока ей не стало далеко за семьдесят, когда она стала нуждаться в этих постоянных доказательствах верности, чтобы вновь увериться в себе, и тогда она пересылала их мне, чтобы и я наверняка знала, насколько всеобъемлюща любовь к ней незнакомых людей. В отношении писем матери не свойственно было чувство своего, личного. И это в столь фанатично «личностном» человеке — ошеломительный парадокс! Сначала, в детстве, я думала, что она доверяет только отцу и мне, потом поняла, что она давала читать интимные письма кому угодно.

Позже все попытки защитить ее от шантажа превращались в непреходящий кошмар.

Если кто-нибудь пытался предостеречь ее от этой беспечной привычки, на него обычно бросался холодный взгляд и ему говорилось:

— Просто смешно! Никто бы не осмелился! К тому же слуги не умеют *читать*! Если бы они умели, им не пришлось бы быть слугами!

Из всех своих личных писем она хранила и держала под замком только письма от самых знаменитых людей, и то скорее как хранят спортивные трофеи, нежели как память о человеческих отношениях. Наверное, именно поэтому отец сохранял всю ее макулатуру, в то время как Дитрих хранила письма Хемингуэя и Кокто. Моя мать, находясь в процессе причисления к сонму бессмертных, инстинктивно знала, с какой стаей редких птиц ей нужно летать.

Из выдающихся домов моды, от великих кутюрье приходили изысканные, тисненые приглашения на открытия их осенних и зимних коллекций. Их доставляли молодые курьеры, выглядевшие как перекроенные версии мальчиков на побегушках от Филип Морриса, или же аккуратно одетые и вычищенные подмастерья, которые на время сняли свои наперстки лишь для того, чтобы пробежаться до Версаля и передать Мадам

приветствие своего хозяина. Дитрих знала, чего хочет. И выбирать из множества вариантов ей было незачем. Она знала, какой дизайнер подходит для ее имиджа, а какой нет. Поэтому мы ходили смотреть только коллекции Пату, Ланвена, Молине и мадам Алике Гре. Но не Шанель. Мать называла ее «маленькой женщиной в черном костюме»; никогда не носила ее одежду вплоть до пятидесятых годов и никогда не подозревала, насколько сильно было влияние Дитрих на этого великого дизайнера; вплоть до того, что она изобрела бежевые туфли, черные спереди, для костюма с петушиными перьями в «Шанхайском экспрессе»!

Мы вчетвером, а также сверхвыдрессированная Зибером собака, врывались в любое священное учреждение, выбранное нами в тот день для осмотра осенней коллекции. Нас приветствовала directrice, «страж у врат» и буфер для творческого гения, неизменная фигура с внушительным авторитетом. Эти леди были генералами в армии специалистов, сержанты-инструкторы одновременно для роскошных любителей одеться и для примерщиц. Управляющая Магазином, Мать-Настоятельница, Доверенное Лицо, Наперсница и Верный Друг Короны и, что почти так же хорошо, Очень Богатых Людей. Их беспокоило все, начиная от менструальных спазм заведующей бусами и кончая задержкой поставок шелковой кисеи из Италии. Эти избранные дамы могли бы быть находкой для любого правительства. Помимо административных способностей у них были и другие общие черты: все они носили горделивые жемчуга, и у всех были многочисленные порученцы, высылаемые навстречу простым смертным.

Выразив вслух радость дома моделей и упомянув о чести, оказываемой ему присутствием мисс Дитрих, мадам директриса отодвинулась в сторону, и появилась стайка маленьких леди, одетых в черные платья из чистого хлопка с безупречно белыми воротничками и манжетами. Они поспешили исполнить то, что, казалось, было их единственным предназначением в жизни: поставить веретенообразные золотые стулья под нужным углом по отношению к подиуму, усадить мадам Дитрих и ее окружение и выдать им маленькие блокнотики, похожие на приглашения к танцу, с тонкими карандашами, висящими на шелковом шнурке. Эти преданные леди были неизменным атрибутом каждого дома моделей. Я часто думала, уж не покупают ли их, как пуговицы — наборами по дюжине штук зараз.

Мы с Тами любили эти вылазки. Мы сидели в своих позолоченных креслах с карандашами наперевес, напряженные от возбуждения и предвкушения. Тедди тоже — у него была страсть

к манекенщицам. Внезапно все разговоры прекращались, и очень элегантный голос объявлял:

— Mesdames et Messieurs, дамы и господа — Numéro Un, номер один: «Rêve du Matin», «Утренний сон»! — и начиналось видение!

Манекенщицы в те дни не гарцевали, не скакали, не подпрыгивали и не хихикали, они скользили — очень медленно, вдоль узких, серых, как голуби, подиумов, повертывались, вращая тазом, задерживались в этой позе, давая аудитории достаточно времени осмотреть покрой и отделку на спине творения, которым они владели лишь временно, на миг показа, затем проскальзывали назад, чтобы исчезнуть в то мгновение, когда с противоположной стороны появлялся следующий номер. Великие манекенщицы обладают немыслимым чувством времени и владеют координацией мышц, достойной олимпийского гимнаста. Я никогда не уставала наблюдать за их работой.

«Утренний сон» оказался ансамблем из глубоко плиссированного тяжелого шелкового жоржета с перламутровым отливом, такого же цвета шляпки-«колокола» с крошечной полоской вуали над глазами, длинных серых лайковых перчаток и огромной муфты из молочно-серых лисьих шкур, хвосты которых волочились по полу.

Шелк и атлас, бархат и шерсть, жоржет и креп, перья, бусы, бахрома и тесьма. Платья для ланча, для выходов за покупками, для дневного чая, для свиданий, для «скромных» обедов. Вечерние платья для интимных вечеринок, обедов в ресторанах, ночных клубов и неформальных уикэндов. Бальные платья для оперы и для увы-столь-частых банкетов в шато. В глубокой сосредоточенности мы с Тами записывали все кодовые номера шикарных нарядов, без которых мы просто не могли жить и которые должны были купить! Пока мы витали в облаках и играли в наши «мечтательные» игры, отец трудился в поте лица, объясняя матери, что то, что она выбрала, для нее либо слишком витиевато, либо слишком цветасто, либо просто чересчур. Думаю, что она в некотором смысле была похожа на нас и хотела все, вплоть до серебряного платья с металлическими нитками с пятифутовым шлейфом, окаймленным чернобурой лисой. Они спорили о коллекциях только во время этого первого магазинного турне по Парижу. На следующий год она уже была гораздо более разборчива. К тому же она научилась искусно избегать отца. Отец, с такой очевидной легкостью отказавшийся от своего статуса любовника, партнера по браку, действительного мужа и отца, держался за свой титул Королевского Советника с удивительным, порой, упорством. В детстве я не понимала, что

это была единственная оставшаяся у него роль, за которую он мог сражаться.

Дитрих в те дни никогда не покупала одежду, чтобы носить ее в реальной жизни. Состояние «в жизни» наступало очень редко. Купальный халат, одежда для готовки, наряд «для поездки на студию» могли без всяких замен жить несколько месяцев. С парижской одеждой обращались так же, как и с любыми костюмами на студии, для каждого наряда требовались свои аксессуары. Так что мы ходили на показы дамских шляп; специально для нее кроились туфли, сумочки и перчатки изготовлялись на заказ. Мастер «по перчаткам» приходил к нам в отель с саквояжами, наполненными тончайшей кожей всех животных, известных человеку, и, кажется, некоторых неизвестных. Он порхал и суетился, его паучьи пальцы дрожали, разбрасывая по обюссонским коврам тончайшие в мире булавки. От орлиных глаз матери не укрывалось даже самое крошечное вздутие. Снова и снова маслянистую кожу закалывали булавками, разглаживали, снова закалывали, пока руки у матери не начинали выглядеть так, как будто они были облиты разноцветным медом. Но она все еще не была удовлетворена. Наконец, своим «терпеливым» тоном она говорила ему:

— Теперь идите домой, а завтра возвращайтесь и принесите этот белый порошок, который используют скульпторы и врачи. Тогда мы сделаем слепок с моих рук, и вы можете их колоть сколько угодно, пока не сделаете, *как надо*!

Ее всегда интриговало то, как дизайнеры обуви делают слепки с ее ног, и теперь, имея виды на пятьдесят пар перчаток, ей пришло в голову гениальное решение отдать свои руки нервному французскому перчаточнику так же, как она отдавала свои ноги темпераментному, но гениальному итальянскому сапожнику. Она даже стала поигрывать с идеей, чтобы «Парамаунт» прислал ей статую из «Песни песней».

— Тогда мне и на примерки одежды не надо будет ходить! Они могут колоть своими булавками, как сумасшедшие, а мы все сможем пойти поесть!

Она бы так и сделала, только груди у статуи были такими, какие она хотела иметь, но не имела. Поэтому на протяжении нескольких недель алы придумывали все новые и новые вариации на тему, как пользоваться гипсовыми моделями частей тела Дитрих вместо настоящих.

Когда наконец эти знаменитые перчатки были доставлены, потребовалось двадцать минут, чтобы их натянуть на руки. Когда это было сделано, мать попыталась пошевелить пальцем и не смогла!

Это была самая тугая пара перчаток XX века. Их смоделировали по неподвижным рукам, поэтому любое движение было абсолютно невозможным. Каждый раз, когда мать смеялась по-настоящему, она делала в штаны. Теперь она бежала, пытаясь успеть в туалет, и оглушительно смеялась.

— Я не успею! Радость моя, быстро, расстегни мне молнию! Я их не могу снять даже чтобы пописать, они такие тугие!

Наконец она устроилась на сиденье, все еще смеясь и глядя на свои руки в перчатках.

— Знаешь, они действительно безукоризненны! Такие перчатки подошли бы даже тетушке Валли. Они как раз годятся для фотографий. Мне не придется ретушировать руки — наконец-то!

С тех пор каждый раз, когда мать ходила в туалет, мы все кричали: «Мутти, ты не в своих спецперчатках? Тебе помочь?» Переодевшись в сухие штаны, она упаковала пятьдесят безупречных пар: черные — в черную оберточную бумагу, белые, бежевые, жемчужные, серые и коричневые — в белую.

СТУДИЙНЫЕ ФОТОГРАФИИ — ПЕРЧАТКИ — ЧЕРНАЯ ЛАЙКА
3/4 ДЛИНЫ

СТУДИЙНЫЕ ФОТОГРАФИИ — ПЕРЧАТКИ — ЧЕРНАЯ ЛАЙКА
ДЛИНА ДО ЗАПЯСТЬЯ
2 ПУГОВИЦЫ

Когда все перчатки аккуратно пометили, отец занес данные в свою дорожную инвентарную книгу и поместил коробки в одну из огромных запасных спален, зарезервированную для «вещей, которые поедут обратно в Голливуд» и уже наполовину заполненную ими.

Поскольку контракт обязывал мать записать шесть песен, причем две из них по-французски, мы теперь переключились с немецкой Weltschmerz (мировой скорби) на галльскую драму. Одна из песен — «Assez» («Довольно») меня очаровывала. Я не могла понять текст, а мать на сей раз, казалось, уклонялась от того, чтобы перевести его для меня. Ритм опять был очень новым и возбуждающе острым. Я сидела на своем стуле и слушала, как она проговаривает песню. Дитрих было очень трудно петь текст, если только мелодия не была ритмичной разлюли-малиной a la Таубер. Это она обожала и самозабвенно набрасывалась на такие песни. Однако при более сложных мелодиях отсутствие у нее широкого диапазона и систематического образования заставляло

ее произносить текст речитативом — недостаток, обернувшийся великолепно работавшим на нее приемом. В конце концов Дитрих не была бы Дитрих, если бы она когда-нибудь научилась петь. Неосознанно превращать свои профессиональные недостатки в великолепные достижения было ее стилем. В то время как звезды ходили к учителям пения и корпели над гаммами, Дитрих каркала и проговаривала текст, а мир замирал. Она даже была более удачливой актрисой при исполнении песен, чем своих ролей. Музыкальная структура песни не оставляла места, чтобы приукрасить центральную тему. Это ограничение заставляло ее соблюдать простоту — рассказывать сюжет песни, изображать одно главное чувство и переходить к следующему номеру. Ей, неизменной немке, это подходило, и у нее, неизменной Дитрих, это получалось грандиозно, как если бы все так и было задумано.

Наши дни стали другими, когда начались первые примерки. Мы отправлялись в Париж всей компанией, приезжали в десять, примеряли костюмы до двенадцати, ели до трех и снова примеряли костюмы до пяти, затем возвращались в Версаль, чтобы вымыть и уложить волосы как раз ко времени вечернего представления выхода к обеду в девять часов. Ланчи, как правило, были приятны, даже если они длились три часа. Но обеды были еще длиннее, показные и всегда неудобные, и не только потому, что мне приходилось носить кисейные платья с буфами на рукавах, которые кусались. В Голливуде в девять часов ложились спать. Когда у тебя будильник поставлен на предрассветное время, и когда тебя по пятам преследуют камеры, только и ждущие, чтобы тебя уничтожить, не очень-то станешь рисковать по-пустому, ну, разве что ты актер и входишь в роль, в которой тебе не помешала бы лишняя пара морщинок, или алкоголик — но тогда ты и так занимаешься самоуничтожением. Но Европа означала бесконечные вечера и поздние ночи.

Первые примерки обернулись катастрофой. Это было первое магазинное турне моей матери по Парижу в качестве звезды, и ничто не подготовило ее к «гражданскому» методу шитья одежды. В нашем мире первая примерка устраивалась бы в понедельник — изысканный костюм, идеальный со всех ракурсов любых мыслимых камер как в покое, так и в движении, и, спустя два дня, он был бы уже полностью готов. Однако эти столь дорогие швейные лавки тридцатых годов стремились угодить женщинам, рассматривавшим свои встречи с «кутюрье» на одном уровне со встречами с «куафером» (парикмахером), как свою ежедневную обязанность, вокруг которой планировались все их беспечные дни.

Дитрих считала всех тех, кто не зарабатывал себе на жизнь,

«праздными богачами». Когда со своей специальной презрительной интонацией мать говорила «праздные богачи!», перед вами сразу же возникали образы Вандербильтов и Рокфеллеров, корчащихся в адском пламени, поддерживаемом мрачными и мстительными ордами. На «нуворишей» просто не обращалось внимания (даже презрения они были недостойны), но богатым все время попадало, разве что ей понравится кто-нибудь из них; тогда правила менялись. Впрочем, изменялись они каждый раз, когда это было в ее интересах. В конце концов, ведь это она выдумывала правила, поэтому у нее было и право их изменять. Поэтому вам нужно было научиться доверять лишь тем диктатам, которые были в силе в данный момент, и никогда не полагаться на те, что были канонизированы днем раньше. После того, как у меня несколько раз были неприятности, когда я делала что-то не в той последовательности, я быстро это раскусила. Одно правило никогда не менялось: Дитрих всегда права.

Она стояла в примерочной и просто смотрела в зеркало. Я точно знала, о чем она думает. Дитрих ожидала, что все работники будут абсолютно преданы совершенствованию своего ремесла. Ведь она-то была! Думаю, всю первую неделю мы провели в распарывании швов. Сперва леди-генералы, призванные на спасение своих передовых отрядов, пустили в ход свой шарм и силу убеждения, затем силу авторитета. Это сработало с королевой Румынии, когда та слегка вышла из себя, — почему бы не со знаменитой кинозвездой? Они вскоре поняли, почему! У настоящих царственных особ не было ястребиных глаз голливудских царственных особ. Я могла понять возражения матери, работа *действительно* шокировала. Дизайн был чудесным, исполнение — как если бы все снималось исключительно общим планом; но, с другой стороны, «в жизни» — это «в основном» и было общим планом. Мать не рассматривала эту одежду как личные наряды, хотя смущенным француженкам это было невдомек. Дитрих обычно не хватало великодушного терпения на дураков, но теперь искусство создания одежды было тщательно объяснено с применением большого числа наглядных примеров, адресованных испуганным женщинам в белых швейных халатах, с портновскими метрами, висящими у них на шее, как ожерелья. К счастью, французский моей матери никогда не был столь же остер, как другие ее языки, так что наши Булавочные леди отделались лишь строгим наставлением, а не были уничтожены на месте. В Голливуде мы разработали систему, следуя которой я могла дать матери знать о том или ином недостатке, не выдавая ее — не указывая на

конкретное несовершенное место реально, физически. Она глядела на меня в зеркало. Если мне нужно было показать ей на что-то, за чем недоглядели она или Трэвис, я сперва устанавливала контакт между нашими отражающимися в зеркале глазами, затем переводила свои на то место в костюме, на которое, как я думала, ей следовало обратить внимание. Все, что ей надо было делать, это следовать за моим взглядом. Я знала, что больше ничего не требуется. Как только погрешность обнаруживалась, она тут же заставляла ее исправить. В эту интимную игру «заметь вздутие/морщину/кривую линию» мы играли всю жизнь. Я всегда знала, как она ненавидит, когда ее трогают, и изо всех сил старалась, по мере возможности, держать руки при себе. Только позже я стала задумываться — как же ей удавались все ее физические связи, несмотря на это отвращение к телесному контакту.

Пока руки и булавки летели во все стороны, а нервы трещали, мы, группа поддержки, сидели в этих вездесущих хрупких креслах, смотрели, различали — и ждали еды. На первом месте — отец в своем твидовом костюме вересковых тонов — приглушенных зеленого и коричневого; затем Тами, она выглядит очень мило в костюме, который за день до того носила мать и в котором она выглядела божественно; я в своем голубом морском костюмчике, куртке и шляпке, легко держу в руке белые хлопковые перчатки, скрестив (также легко, как и требуется) лодыжки в белых носочках, и рядом со мной Тедди, прямой, как шомпол, держащий (легко) между зубами поводок из лакированной кожи. Все в ряд, как русские матрешки. Наконец споры, которые по-французски всегда звучат так возбужденно, заканчивались, и мы делали перерыв на ланч.

Мы ели либо в «Маленькой Венгрии», где подавался лучший в Европе гуляш, либо в «Белль Орор», где подавалась целая Аладдинова сокровищница закусок. Там можно было есть каждый день, что мы часто и делали, ни разу за неделю не повторившись в выборе блюд. В обоих заведениях всегда стоял наготове любимый столик моего отца. Поскольку наш распорядок никогда не менялся, это было все равно что пойти поесть домой. Мы никогда не заглядывали в тщательно подобранные меню. Специальные блюда дня всегда с гордостью объявлял нам сам владелец заведения. Отец затем оценивал их, применяясь к своим энциклопедическим знаниям о способностях шеф-повара, потом советовал нам, что заказать. Мы редко не соглашались с его кулинарными решениями. Даже если бы нам захотелось сменить жареную телятину aux rosmarin et truffes Lombardie (с розмарином и ломбардскими трюфелями) на ягненка provençal et sauce du

Midi (по-провансальски, с южным соусом), это не стоило возни с необходимой в этом случае заменой закусок, супа, овощей, салата, сыра и десерта. Чтобы дополнить перемену главного блюда, нужно было заново все уравновесить.

— Мутти, если ты настаиваешь на телятине вместо того, что тебе следовало бы заказать сегодня — именно же, баранины, тебе нужно поменять сельдерей по-гречески на артишоки в уксусном соусе, суп из свежего гороха на суп-пюре из огурцов, картофельное суфле на дюшес, зеленые бобы на шпинат, салат из эндивия на помидоры, а глазированные груши просто невозможны! Но крем-брюле можно оставить.

Теперь наступала моя очередь:

— Кот, тебе спаржа, только что привезли с юга, затем палтус bonne femme, жареные помидоры, молодая картошка, мягкие сыры и малина со сливками. Тами, ты будешь есть то же, что и я.

Я научилась сразу же просить печенку. Она автоматически и без всяких дальнейших дискуссий требовала: жареного лука, картофельного пюре, красной капусты и салата из огурцов. Не спрашивайте меня, почему это было нерушимым правилом для печенки, но в «Маленькой Венгрии» это было так. Мой ланч от этого становился намного легче. Печенка стала известна как «любимое блюдо Ребенка». «Ребенку она так нравится! По крайней мере, она больше не вспоминает об этих своих ужасных гамбургерах!» Опять про меня говорили так, как будто меня нет. Не так уж я и любила эту печенку, просто она спасала мой обед от превращения в Гастрономическую Встречу в Верхах. Блюдо для Тедди было всегда наготове, в каждом ресторане знали о его любимом меню из вареной баранины и овощей. Я ему завидовала.

Выбор вин был следующим великим решением века. В зависимости от того, насколько мать упорствовала в отклонении от намеченной стези потребления пищи, это могло занимать уйму времени, а у нас для ланча было всего три часа! Поскольку почти все готовилось на заказ» между первым блюдом и главными обычно ждали и ждали. Во время этой задержки я съедала весь хлеб и все масло на столе, мать почти не отставала. Когда весь хлеб был съеден, а десять официантов еще не успели ринуться к столу, чтобы пополнить запасы, мне разрешали выйти из-за стола и выгулять Тедди. Он вообще-то не хотел двигаться, но, как и я, приучился даже не помышлять о потенциальных радостях, доставляемых непослушанием. Поэтому мы выходили в парижскую весну и вместе наблюдали за жизнью. Мы возвращались в «напряженный момент». Мать энергично курила (она это делала только в моменты раздражения), выпуская короткие стаккато клубов дыма, тогда еще не ставшие

знаменитыми стараниями Бетти Дейвис. Тами глядела настороженно. Как оказалось, отец, когда ему подали пробку от вина, выбранного для телятины, обнаружил еле различимый запах плесени. Это, разумеется, неизбежно повлекло за собой резкий выговор вину на идеальном французском, чтобы все слышали, и его немедленное изгнание в подземелья столь же сырые и вонючие, как его пробка. Так бывало; отец впадал в ярость по чисто внешним причинам, таким, как еда, вино и обслуживание: еще и поэтому мы ели то, что нам было приказано, и ограничивали наш список ресторанов. Как многие неудачники, он был тираном в тех вещах, в которых это ему сходило с рук. Я каким-то образом догадалась об этом уже в детстве. Рестораны служили ему подмостками, чтобы играть Нерона, а его знаменитая жена играла штамп христианина. С ней рядом он всегда выбирал публичное место для своих вспышек гнева в адрес тех людей, которые не могли ему нахамить в ответ. Служащие дрожали за свои места, заведения — за потерю покровительства Дитрих; Тами, я и Тедди просто боялись, и точка! Но Дитрих — и это одно из очень странных противоречий ее характера — искренне верила, что женщины не должны возражать своим мужчинам, что мужчины — верховные существа, чью власть следует смиренно терпеть.

— Папиляйн, мне на самом деле не нужно это специальное вино… то, которое у меня было с супом, отлично подойдет к телятине… честное слово!

Тами быстро кивала в знак согласия. Не то чтобы ее мнение чего-нибудь стоило, но она постоянно пыталась внести гармонию. Я быстро вжалась в велюровую табуреточку. Не обращая внимания на беспокойную женскую половину, отец повернулся ко мне:

— Кот, я тебе заказал свежего лимонада, — сказал он тоном, не допускающим и мысли, что я могу осмелиться попросить чего-либо другого.

— Спасибо, Папи.

Я молилась, чтобы лимонад был изготовлен из свежевыжатых лимонов. Непостижимым чутьем он мог точно угадать, когда был выжат сок — утром или только что. Когда подавали лимонад, он пробовал его и, если обнаруживал, что сок был утренним, начиналась настоящая заварушка. За едой говорили по-немецки. Мать с отцом обсуждали новоприбывших берлинцев, в то время как мы с Тами ожидали появления дамоклова меча, известного также под именем «Пожалуйста, подайте… действительно свежий лимонад». Вот и он! Высокий граненый стакан, покоящийся на серебряной подставке. Прежде чем я успела схватить его и

проглотить залпом, на него наложил руки отец и, разумеется, устроил дегустацию. Мы затаили дыхание. Отец облизал губы, поставил стакан передо мной, сказал: «Можешь пить, Кот. Он свежий», и возобновил разговор ровно в том месте, на котором он был прерван его лимонной вендеттой. Что за облегчение! Еще и поэтому я любила кока-колу. Это было безопасно, она просто была, всегда все та же, чудесная штука, неизменная во всем мире. В тот день у нас была вполне приятная трапеза, но ближе к концу нам пришлось поторопиться, трех часов просто не хватало для ланча — в Европе. Наверное, мое пожизненное пристрастие к быстрой еде родилось в то лето 1933 года.

В другом нашем излюбленном месте ланч был немного полегче — в некотором смысле. Как только владелец ресторана, которому была оказана «неоценимая» честь, и его элегантный метрдотель усаживали нас, сразу же появлялись тележки. Их рамы из красного дерева наполированы до блеска, их глубокие серебряные подносы уставлены рядами продолговатых стеклянных блюд, до краев набитых сокровищами садов, морей и ферм. Они катились к нам стройными колоннами, подталкиваемые гордыми официантами, похожими на нянек, выгуливающих свои английские коляски в Булонском лесу. Мы не просто ели в «Белль Орор» — мы там обжирались! Каждый раз, когда мы приходили, мы обнаруживали какое-нибудь блюдо, которого еще не пробовали и которое надо было добавить ко всем остальным, о которых уже знали, что мы их хотим снова. Уже сшитые и утвержденные юбки приходилось распарывать и перешивать, пояса заново измерялись и расширялись. Мать набирала вес! Прежде это означало настоящий кризис, но, поскольку ей не нужно было сниматься на следующий день, обычное голодание и прочищение желудка английской солью были необязательны — пока. Но что-то нужно было делать с примерками, и поэтому в нашей компании появился еще один участник — «сбруя»! Это было новейшее изобретение, оно изготовлялось из телесного цвета резины и запахом слегка напоминало велосипедную шину. Мы покупали их дюжинами.

Мать, ненавидевшая даже пояса с подвязками, терпеть не могла эти резиновые штуки, особенно полосу, которую они оставляли под ее узкими юбками. Пояс, по крайней мере, позволял беспрепятственно видеть линию от бедра до промежности во время ходьбы, но эта штука перерезала линию и создавала собственную — как раз посредине ляжки.

— Из-за них выглядишь, как будто у тебя короткие ноги и старая плоская задница! — говорила она; тем не менее, она терпеливо проносила эти штуки целые две недели, потом часть

отдала Тами, остальные — нашей горничной, и на этом все кончилось. Однако пока наш резиновый друг еще был в фаворе, он играл главную роль в шоу, которое можно было озаглавить «Шалости в комнате для девочек». Почему мать называла туалет комнатой для девочек, я так и не узнаю. Может быть, она это услышала в свой первый приезд в Голливуд и так и запомнила. За всю свою жизнь она ни разу не спросила, как пройти в «туалетную комнату», «уборную», «дамскую» или даже просто в общепринятый «туалет». То есть, в тех случаях, когда ей это было нужно, а значит, практически, никогда! Дитрих считала очень дурным тоном вставать из-за стола, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Благодаря этому, а также невероятной дисциплине, требуемой ее профессией, а также ее патологическому страху перед любым незнакомым туалетным сиденьем, ее почки научились подчиняться строжайшему режиму — я такого больше ни у кого не встречала. Конечно же, от тех из нас, кто входил в ее ближайшее окружение, ожидалось то же самое.

Поэтому, когда внезапно посреди одной из наших пирушек за ланчем мать взяла Тами за руку и, встав, объявила, что они идут в «комнату для девочек», я была поражена. Поскольку мне идти никто не приказывал, я осталась на месте и взглянула на отца. Ему не понравилось, что они вот так вышли из-за стола, я это четко поняла. Мы не разговаривали. Мы сидели и ждали. Ропот прошел по залу, как бывало всегда, когда Дитрих являлась между смертными. Они вернулись, хихикая, как две озорные школьницы. Мать пролезла на свое место, прижимая к груди свою крокодиловую сумочку, как будто это было какое-то тайное сокровище. Отец улыбнулся: ее веселый вид был так заразителен!

— Мутти, что это ты надумала? Если ты так дальше будешь смеяться, тебе придется вернуться в туалет!

На сей раз мать действительно смеялась так, что даже Тами не удержалась и прыснула.

— Но, Папи! Мы ходили в туалет не писать! Нам не нужно было. Знаешь, что мы сделали? Мы сняли свои сбруи, чтобы можно было больше есть! — Сказав это, она жестами пригласила нас нырнуть вместе с ней под стол и там показала нам свою резиновую пакость, спрятанную в сумочку. Когда мы вынырнули на воздух, отец своим лучшим профессорским голосом спросил:

— Но что вы сделали со своими чулками?

— Обернули вокруг пальцев и завязали узлом — как шлюхи!

Теперь смеялись уже все. Я думала о том, смогу ли найти это слово в своем словаре. Судя по интонации, с которой оно было произнесено, я в этом несколько сомневалась.

Еще не раз почтила Дитрих своим посещением «комнату для

девочек» в «Белль Орор». Ее зеркальное великолепие стало свидетелем еще и другой уловки, нацеленной против потолстения — приема «два пальца в рот, чтобы вызвать рвоту». В конце концов ведь то, что мы устраивали, вполне напоминало вакхические оргии, так почему же до конца не пойти по стопам римлян — сблевать, чтобы снова есть! Я это ненавидела. Ненавидела хихиканье, ненавидела звуки их рвоты. Моя работа заключалась в том, чтобы стоять на страже и смотреть, чтобы никто не вошел, пока они не закончат. Я чувствовала, что это нехорошо, плохо для Тами, не для матери — той все сходило с рук. Ничто не могло ей навредить, она не жила в нашей реальности. Но Тами была реальна, и ей это могло навредить. Они проделывали так по всей Европе и находили это забавным. Я беспокоилась, но не знала, что сделать, чтобы их остановить. Это было задолго до того, как открыли булимию, но я ощущала ее зловещую тень над теми, кого я любила. Я просто не знала, как это называется.

Матери пришло в голову идеальное решение проблемы этих неудобных примерок после ланча. Мы стали примерять платья утром, а шляпы после полудня.

— Моя голова не толстеет, — говорила она. — И если у нас будет время, сможем после шляп купить вуали, чтобы отложить их до того времени, когда они нам понадобятся в Голливуде. И еще я хочу эти чудесные шелковые гвоздики. На студий таких нет, и никогда не знаешь заранее…

Сверхъестественная женщина! Спустя год она уже выстраивала вокруг этих цветов первый костюм для фильма «Дьявол — это женщина». Мы также начали «покупать кожу».

Стоило видеть, как мой отец осматривал сумки у Эрмеса — это было настоящее представление! Сперва он надевал перчатки. Оставить отпечатки пальцев на ярком кожаном глянце было святотатством. Каждый вручную прошитый шов изучался на предмет мельчайших недостатков, прожилки на коже рассматривались как при дневном свете, так и при искусственном освещении торгового зала. Ничто не ускользало от этих глаз истинного знатока. Продавцы стояли сбоку и дрожали! Он не торопился. Бывало, просмотрит дюжину сияющих вершин совершенства, или, по крайней мере, казавшихся таковыми нам, простым смертным, пока не найдет то, что его удовлетворяло. Нас, трех женщин, часто отсылали посидеть в одном из кафе рядом с «Эрмесом». Мать, раздосадованная, но покорная, пила кофе и курила свои сигареты. Мы с Тами любили эти «инспекторские» перерывы и заказывали малиновое мороженое в

тяжелых серебряных чашах, окруженное крошечными печеньицами в форме вееров. Мы научились есть быстро — Дитрих далеко не всегда так легко потакала бзикам своего мужа.

Обычно мы возвращались как раз к тому времени, когда он находил сумку, единственно достойную матери, и со спокойной совестью мог посоветовать ей купить вещь без промедления. Не было в Европе магазина, персонал которого не вздрогнул бы при виде того, как Рудольф Зибер входит в его священные пределы. Однако, при всем своем тайном томлении духа, они уважали его поразительные знания и вкус. За все годы, пока над матерью витал волшебный ореол ее славы, отцу ни разу не показали низкокачественный товар. Они бы не осмелились! Многие писали о муже Дитрих, что он якобы сорил ее деньгами. Возможно, внешне это так и выглядело, но не на самом деле. Мать обожала его изысканность, его инстинктивное чутье на все корректное и достойное, его утонченное чувство роскоши, и потакала всему этому, покупая все, что он одобрял, и затем отдавая ему. С другой стороны, он всегда пытался научить ее не проматывать деньги. Когда это наконец стало невозможным, он удовольствовался единственным, что ему еще оставалось — показывал ей, что было хламом, а что поистине стоило потраченных денег. В любом случае она бы все всем купила, но он мог, по крайней мере, проследить за тем, чтобы ее не надували.

Все мы знали, что мать никогда не устает; она никогда не понимала тех, кто сходит с дистанции и издевалась над ними, так что, готовясь к нашим поздним обедам «У Максима» и прочим буйным ночным набегам, отец назначал несколько важных встреч, которые обязательно надо было провести в его парижской квартире, и отправлялся домой поспать. Тами, под предлогом присмотра за ним, также украдкой отправлялась отдыхать. Меня оставляли в качестве охранника и компаньонки нашей священной личности, и мне это было не в тягость. Я была воспитана так, чтобы идти нога в ногу с поразительным отсутствием спокойствия у моей матери. Правда, я беспокоилась насчет Тедди. Я надеялась, что песик выдержит этот темп, у него впереди еще были Вена и Зальцбург.

«У Максима» — сплошная «Belle Epoque» — кисточки, алый бархат, зеркала и золото. Свечи и лампы из граненого стекла, свет столь мягок, что каждая женщина была похожа на нетронутую деву, а каждый мужчина — сама туманная таинственность. Все вокруг блестит! А меня это не трогает! Разве не ужасно? Я знала, что это должно меня трогать и даже поражать, но, когда приходишь из мира, в котором тебе могут сделать точную копию чего угодно, очень трудно сохранить

уважительный взгляд на реальность. В этом я не уникальна, такова профессия. Ты живешь в мире визуальных иллюзий, сделанных так, чтобы они выглядели реально. Во дворе у тебя Древний Рим, а заливы Красного моря — за углом. Вся история этого мира лежит перед тобой, обозревай — не хочу, только перейди из одного звукового павильона в другой. Все на месте — но все мертвое, пока какой-нибудь бог не закричит «Свет, камера, мотор!», и внезапно все приходит в движение и оживает, но даже и это — лишь имитация. Это как-то меняет твое отношение к жизни. Это не то что плохо, по крайней мере, не всегда плохо, просто это совсем другое. Думаю, что именно по этой причине актеры общаются только с себе подобными — им нужно быть с теми людьми, которые реагируют так же, как они сами. Они ищут безопасности и привычной обстановки в своей среде обитания, среди особей своего же вида. Но моя мать этим никогда не занималась. Актеры в конце концов все-таки цыгане, а она была «прирожденная аристократка». Она терпела актеров лишь с малюсенькой буквы «а», «киношников», как она их называла, — только по необходимости, или когда была влюблена в одного из них. Но очень быстро она бросала их и продолжала свои беспрестанные поиски «авторов важных книг», пламенных государственных мужей, бравых генералов, выдающихся музыкантов, людей всеми признанных — знаменитых и почитаемых. В конце концов, вид назывался Живые Легенды.

В тот вечер мать была особенно прекрасна. На ней было одно из новых вечерних платьев, которое наконец-то пришлось впору — изысканный черный бархат с перьями всех на свете райских птиц, выкрашенными в соответствующий цвет, от Пату. Перья развертывались веером от ее обнаженных плеч, отбрасывая свою таинственную тень на блестящую кожу. Длинные вечерние перчатки, из той же материи, что и платье, браслет с бриллиантами и рубинами в стиле Мэй Уэст, великолепная квадратная бриллиантовая брошь — вот вам роскошная кинозвезда! Мой отец, в превосходного покроя фраке, с неброскими бриллиантовыми запонками, со своими белокурыми волосами, которые лишь слегка темнее ее волос, был как никогда похож на ее столь же роскошного брата. На черно-белой фотографии они составляли поразительную пару. Мы с Тами не отставали: она в своем длинном черном шелковом платье с поясом, усыпанным блестками, которое так нравилось фон Штернбергу на моей матери, я в новом синем, как сапфир, бархате с широким кружевным воротником a la три мушкетера. При виде нашей компании поток машин на улицах останавливался. Разговоры прерывались на полуслове. Самые

знаменитые, могущественные и богатые люди бросали свои дела, чтобы только усладить глаза и прочие чувства, воздать Дитрих минуту почести, как будто она сделала что-то особенное, чтобы ее заслужить. Что сделала? — снялась в нескольких очень хороших фильмах, отдав им свою преданность, мастерство и огромный труд, отделала и отточила свой имидж, родилась невероятно красивой. По-видимому, этого было достаточно для того, чтобы занимать место среди ангелов. Это не вызывало у меня сомнения, просто всегда смущало.

— Радость моя, не волнуйся за свое платье. Ты можешь сидеть на шелковом бархате. Он не мнется. Но только настоящий французский бархат. Любой другой оставляет большие вмятины, прямо на заду, которые не проходят.

Она поднесла шампанское ко рту и стала оглядывать ресторан сквозь тонкий край бокала. Дитрих любила ловить точный крупный план, была ли рядом камера, чтобы его снять, или нет.

— Папи! Не могут же они все быть декоративными статистами?

Я поперхнулась утвержденным лимонадом, матери пришлось похлопать меня по моей несгибаемой спине. Она любила вот так заставить меня смеяться какой-нибудь шутке «для внутреннего употребления». В таких случаях отец и Тами оставались вне игры. Я попыталась объяснить Тами, которая чувствовала, что не вписывается в момент веселья:

— Тамиляйн, когда нам нужны люди, чтобы заполнить сцену, знаешь, например, в автобусе, или на улице, мы набираем «статистов» Но если режиссеру нужны мужчины и женщины в вечерних платьях, по-настоящему элегантные, прямо как здесь, тогда центральное управление кадров нанимает людей из особого списка, там помечено, что у них есть собственный хороший вечерний костюм, и они могут выглядеть как леди и джентльмены. Они являются на площадку, причесанные, напомаженные и завитые, и украшают собой ее. Вот почему их зовут «декоративными статистами». Еще они умеют прилично танцевать. Медленный фокстрот, вальс, иногда танго, но не для музыкальных номеров, просто фоновые танцы на площадке. Это обычно актеры постарше, которым не повезло в жизни, и они очень-очень аккуратны со своей одеждой.

— Наверно, это очень печально, Котик.

Мне всегда нравилось, когда Тами заставляла мое кошачье имя звучать мягко и скромно.

— Наверное, это ужасно — иметь работу только потому, что у тебя есть вечернее платье. А что, если с ним что-нибудь случится?

Тами была самым сострадательным человеком из всех, кого я знала. Она готова была защищать всех, кроме себя самой. Если бы судьба не предопределила ей стать жертвенным агнцем для моих матери и отца, какой женой и матерью могла бы она стать!

Однако мы уже достаточно поговорили. За одним столом с моей матерью нельзя было увлекаться частными разговорами. Разговор вела она, но не входила в него, если только не играла роль ученика, а ее она автоматически воспринимала в присутствии «великих» умов. С фон Штернбергом это было еще ничего, но позже она стала чудовищно переигрывать, в буквальном смысле припадая к их ногам в своем вульгарном поклонении. Ноэл Коуард считал это фальшью и дурным вкусом; Кокто, естественно, обожал; Орсон Уэллс, хорошо ее знавший, улыбался и продолжал есть; Хемингуэй приказывал ей встать; Паттон фыркал от удовольствия и хлопал себя по пузу, Эдвард Р. Мерроу, Эдлай Стивенсон, сэр Александр Флеминг просто краснели, а де Голль полагал, что это в порядке вещей — разве не должны все ему поклоняться? Мы с Тами, разумеется, никогда не принадлежали к этому зачарованному кругу, поэтому выпрямились, отвернулись друг от друга и направили все свое почтительное внимание на отца, который в это время читал вдохновенную лекцию на тему преимуществ черного вишневого соуса перед соусом из севильских апельсинов, рекомендованным в тот вечер под жареную утку.

Значит, похоже, что я буду есть утку. Во всяком случае, не всегдашнюю печенку. Посмотрим… вот оно что: куча сердцевин артишоков, вырезанных в форме маленьких бледно-зеленых корзинок, наполненных муссом из весеннего горошка; глазированные луковые жемчужины, ниспадающие с отдельных пучков тушеного бельгийского эндивия, перевязанных заплетенными веревочками лука-скороды. Но прежде нам нужно пережить закуски, суп и рыбные блюда. По крайней мере, у меня есть мой способствующий пищеварению лимонад, чтобы все это промыть, но взрослые проходили через пять разных сортов вина, не считая сухого шампанского, поданного, когда отец составлял план обеда, и сладкого вина, подаваемого к десерту. Если вы считаете, что можно было спросить: «Почему *пять* вин, если мы насчитали только четыре блюда без вина?» Вот и не угадали — а сыр? Для сыра просто необходима была своя особенная бутылка, названная в честь одного из банкиров Ротшильдов или что-нибудь в этом роде! Я потеряла счет всем этим этикеткам. К тому же мое воспитание по части вин началось серьезно только после тринадцати лет. Я не могла понять, как им удавалось все это

выпить. Вечер длился и длился. Моя спина, казалось, спеклась навсегда. Челюсти болели от того, что жевали весь день. Мать выглядела так, как будто только что пробудилась от двенадцатичасового сна. Хитроумный перерыв на сон помог отцу держаться. Тами не осмелилась бы сникнуть, даже если бы от этого зависела ее жизнь. Если бы я заснула на камамбере, меня никогда бы не простили! Я изо всех сил щипала себя за ногу, это меня всегда будило — по крайней мере, на некоторое время.

Кто-то подошел к нашему столу, чтобы поприветствовать Дитрих. Он выглядел столь же элегантно, как отец, говорил по-французски и, наверное, был важной персоной, потому что мать встала, когда он целовал ей руку. Отец тоже приподнялся, мы с Тами, разумеется, вскочили. Официанты, наверное, подумали, что мы уходим, не дождавшись блинов Сюзетт! Дитрих всегда вставала в присутствии пожилых леди и тех, кого она считала заслуживающими ее уважения. Из-за того, что мне полагалось вставать каждый раз, когда вставала она, это иногда могло выглядеть очень странно. Поскольку известные люди ходили в известные места, чтобы посмотреть там на других известных людей, кто-нибудь все время приближался к нашему столу, чтобы поцеловать ручку «Марлен» Только она встанет, мы тут как тут, словно поплавки, которым положено всплывать на поверхность. Иногда, наверное, мы выглядели так, как будто ожидаем автобуса! Отец беседовал о том, как правильно разжигать жаровню, когда я наконец попросила разрешения выгулять Тедди и сказала: «Пожалуйста, можно Тами тоже пойдет?» Мы получили в ответ:

— Да! Но только недолго, скоро подадут ваши пирожные с лимонным суфле.

Как чудесно было глотнуть свежего воздуха! Мы обняли друг друга за талию, а Тедди нас выгуливал.

— Тамиляйн, как ты думаешь, может ли лимонный торт от «Максима» быть сделан из вчерашних выжатых лимонов?

Воображение рисует картину, как мы, окаменевшие от изнеможения, сидим и ждем, пока Папи исправляет Максима и его бракованные лимоны, и это так смешно, что мы начинаем хохотать и уже не можем остановиться. Мы приходим в возбуждение, тискаем друг друга, от смеха из глаз льются слезы. Тедди останавливается, разрешая нам прислониться к фонарному столбу и прийти в себя. Вот он решает, что все в порядке, окидывает нас критическим взглядом — «ай-ай-ай» и отводит обратно к «Максиму».

Конечно же, все это время делались сотни телефонных звонков в день. Мать часто звонила в Берлин, иногда говорила со

своей матерью и сестрой. В общем-то никаких особенных разговоров, просто она сообщала им свои новости. Она вообще редко кого-либо спрашивала о делах, так в этих звонках информацию сообщала мать, а они в Берлине слушали.

— Мутти, эта работа просто смешна, никто не знает своего дела! Песни идиотские. Мне нужно изменить все слова. Все, что они могут, это писать песни для фильмов типа «Голубого ангела»! Знаешь, как я ненавидела «Голубого ангела» — вся эта ужасная вульгарность! Руди заключил этот контракт, так что мне *приходится* это делать, записывать все эти пластинки — он говорит, что мне нужны деньги! Я столько этих денег зарабатываю в Голливуде — как это может быть, что мне снова уже нужны деньги? Но он настаивает. Отель, что он снял, прекрасный и очень дорогой. Но ты его знаешь, он мне и Ребенку достает только самое лучшее. Тебе и Лизель в Австрии уже заказан отель и все остальное. Мы приедем из Парижа раньше вас. Руди выслал вам билеты. Не поверишь, как Ребенок вырос — даже еще больше, чем на фотографиях. Подошло Лизели пальто, которое я послала? Я взяла сверх большой размер. Она может его носить в поезде, ей пойдет. Дай мне знать, что тебе еще нужно из Парижа. Не бойся, у Руди есть время пройтись по магазинам. Тут Ребенок, хочет тебе что-то сказать.

— Ты себя хорошо ведешь? — Не дождавшись моего ответа, бабушка продолжает в своем тоне директрисы: — Не мешай матери. Запомни, всегда помогай, в чем только можешь, но знай свое место, Мария.

Когда мать говорила со своей сестрой, интонация ее была мягче, как будто она очень терпеливо обращается к застенчивому ребенку, без обычной немецкой отрывистости слов:

— Лизельхен, ты получила шерстяные чулки? Правда, они чудесные? Просто идеальные? Я знаю, ты всегда любишь держать ноги в тепле. Вчера я тебе послала шнурки для ботинок. Их нашел Руди — он всегда все находит!.. Привези мне книжки с собой, немецкие книги — это единственные умные книги… Мутти сказала, что тебе понравилось коричневое пальто и что оно не слишком велико. У тебя есть шляпа, которую можно под него носить в поезде?.. А новой сумочки тебе не нужно?.. Что? Хочешь что-то отсюда? Что я тебе могу привезти, дорогая?.. Что угодно! Мольера?.. По-французски? Я скажу Руди, он купит. Но не слишком ли много книг?.. Нет, нет, конечно, это не чересчур дорого. Ты можешь получить все, что хочешь!.. Я просто думала, ты захочешь какую-нибудь красивую *одежду*. Не бойся, получишь свои книги и платье под пальто! Тут Ребенок… — она протянула мне трубку. — Радость моя, скажи что-нибудь приятное Лизель!

— Здравствуйте, тетя Лизель…

— О, Хайдеде, — она все еще меня так называла. Ее так легко смущали всякие перемены, что я так и не сказала ей, что теперь меня называют Кот. Моя тетя Лизель мне всегда немного напоминала Тами. Они обе так опасались рассердить тех, кто выше их по рангу, что все время делали ошибки просто из-за того, что переусердствовали.

— Милая Хайдеде, мне так не терпится тебя снова увидеть, дитя мое! Когда мы встретимся, ты мне должна будешь все-все рассказать про Америку и Голливуд, и про твой большой дом с бассейном, и про твою мать, которая так много работает и которая очень, очень красивая! Она всегда была такой прекрасной! Ты знаешь? — Она радостно лепетала, как всегда, когда бывала возбуждена. Наверное, бабушка, как случалось часто, сделала ей выговор, чтобы следила за собой, потому что Лизель вдруг задержала дыхание, прошептала: — Целую тебя, детка, осмотри все чудеса Парижа, — и быстро повесила трубку.

Пока мы работали, ели и делали примерки, фон Штернберг писал «Красную императрицу» и ругался с «Парамаунтом» Мать не говорила о своем следующем фильме, ее это просто не интересовало. Когда все будет сделано, обговорено и одобрено к вящему удовлетворению ее «руководителя», он даст ей знать, и только тогда мы вернемся в Голливуд и приступим к работе, станем облагораживать его замысел. Фон Штернберг был единственным, кто мог похвастаться таким абсолютным профессиональным доверием со стороны Дитрих. После того, как они расстались навсегда, она продолжала искать признаки его покровительственного гения в каждом режиссере. Только когда ее отчаянные поиски неизменно кончались полным разочарованием, она выпускала на свободу свой собственный гений и далеко затмевала его. У нее было достаточно ума, чтобы понять, что каждый ее инструмент, с помощью которого она мастерски выстроила свое капище, изначально принадлежал ему. На протяжении многих лет неуемное публичное признание ею великих заслуг фон Штернберга (разумеется, по отношению к самой себе) смущало и временами даже злило его. Он заслуживает почитания не за одно только то, что открыл одну — пусть уникальную женщину. Возможно, он в начале своей связи с матерью подозревал, что ни за что большее его почитать не будут.

Мать получила официальную телеграмму из всемогущего «главного офиса». Читая, она сначала нахмурилась, потом рассмеялась.

— Папи, послушай это… — и она прочла телеграмму вслух:

МИСТЕР ФОН ШТЕРНБЕРГ ИНФОРМИРОВАЛ НАС ЧТО ОН ПРОВЕЛ С ВАМИ ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ И ОЧЕРТИЛ ВАМ ОБЩИЕ ЛИНИИ СЮЖЕТА ТЧК ПОЖАЛУЙСТА ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ОФИЦИАЛЬНО ДАТЬ МИСТЕРУ ФОН ШТЕРНБЕРГУ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ТЧК НАДЕЮСЬ ВСЕ ВЫ В ДОБРОМ ЗДРАВИИ И ПРИЯТНО ОТДЫХАЕТЕ ТЧК С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ ЭМАНУЭЛЬ КОЭН ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Правда, очень смешно? Джо им сказал, что у нас были «телефонные переговоры»! Они такие глупые, что поверили ему. Зачем нам нужны переговоры? Он мне скажет, что делать, и я сделаю.

Очень просто! И *они* собираются «официально» дать разрешение *мистеру фон* Штернбергу? Они должны целовать его ноги, а не задницу Де Милля. Эти русские евреи всегда были скорнячками, а теперь каждый из них мнит себя Богом!

Сказав это, она послюнявила кончик своего карандашного огрызка и протелеграфировала свой ответ фон Штернбергу — не «Парамаунту»:

ДЖОЗЕФ ФОН ШТЕРНБЕРГ
СТУДИЯ ПАРАМАУНТ
ГОЛЛИВУД КАЛИФ
ВОЗЬМИ СЕБЕ ОТ МОЕЙ НЕИЗМЕРИМОЙ ЛЮБВИ СТОЛЬКО СКОЛЬКО НУЖНО ТЧК НЕ ОЧЕНЬ МНОГО ЧТОБЫ ЭТО ТЕБЯ НЕ БУДОРАЖИЛО НО И НЕ СЛИШКОМ МАЛО ЧТОБЫ ЭТО ТЕБЕ НЕ ПРИЧИНИЛО СТРАДАНИЙ ТВОЙ САМЫЙ СТРАСТНЫЙ ПОКЛОННИК НАВЕКИ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ ТЧК ПРИВЕТ ОТ ПАПИ

Когда наступило время писать пластинки, мать не взяла меня с собой в студию. Вместо этого отец повел меня в собор Нотр-Дам. Он был такой прекрасный! Прямо как в «Соборе Парижской Богоматери», только гораздо больше и химер гораздо больше, чем я помнила. Когда я оказалась внутри, я остановилась, как вкопанная, под огромным окном. Оно было круглое, как гигантский драгоценный камень — переливалось разными цветами! Вот то, чего не хватает фильмам — цвета! Например, этой невероятной синевы, прозрачной, но еще более густой, чем у матери в сапфировом кольце или на моей знаменитой рождественской елке. А красный цвет! Как будто смешали в одну кучу все рубины в мире. Отец рассказал мне, что это называется розеткой, что она имеет тридцать футов в диаметре и не

менялась уже более шестисот лет! Что ее использовали как образец совершенства все мастера-строители. Белое стекло, еще мягкое, «прополаскивали» — окунали в расплавленное и растолченное цветное стекло, и там оно покрывалось тонкой цветной пленкой. Когда делали стекло, в него добавляли окиси (что бы это ни значило) металлов: меди — для зеленого цвета, кобальта — для синего, марганца — для пурпурного. Он не сказал, что давало этот восхитительный красный, так что, может быть, это все-таки были размельченные рубины! Я старалась внимательно слушать урок, но окно с небесными лепестками так заворожило меня, что я пропустила многое из того, чему пытался научить меня отец.

— Теперь подойди сюда, Кот, — и я узнала, что именно делает арку готической. С тех пор, увидев колонну из папье-маше в отделе реквизита, я начинала выхваляться всеми этими новыми познаниями в области архитектуры. Я украдкой заглянула в полумрак нефа… где-нибудь там, может, до сих пор скрываться бедный горбун. Отец научил меня не поворачиваться спиной к алтарю с распятием, а также тому, что перед тем, как встать на колени для молитвы, нужно сделать книксен. Я знала это из фильмов Де Милля, но сама никогда этого не делала. Внутри этого огромного сводчатого храма стояла прохлада и тишина. Отец сказал, что если хочу, я могу помолиться. Помню, я смутилась, я не знала, как правильно молиться в церкви. Я чувствовала, что делать это так, как в фильмах, несколько фальшиво, но мне действительно хотелось сказать что-нибудь «хорошее», так что я решила поблагодарить Бога за особенный день. Я надеялась, что это сойдет за приемлемую церковную молитву. Мы зажгли перед маленьким алтарем высокую свечу. Отец заплатил за нее, опустив монетки в щель на металлическом ящике. Падая вниз, они ужасно громко зазвенели, но никто не обратил внимания. Когда мы вышли, солнце ярко ударило нам в глаза, прямо как софиты, расставленные для съемок. Помню, в этот день я была как-то необычно счастлива. Отец обратил меня, если не в католичество, то во все веры сразу.

В тот вечер нам подали обед в номер. Матери лень было переодеваться. Она рассказала мне о том, чем занималась в тот день, и как ей не хватало меня, чтобы я сидела перед ней, пока она пела. Инстинктивно я почувствовала, что ей не понравится мой церковный энтузиазм. В качестве урока истории Нотр-Дам вполне подходил, но эмоциональное переживание по его поводу, вне всякого сомнения, подверглось бы осуждению. Отцу проницательности не хватило:

— Мутти, я сегодня водил Кота в Нотр-Дам, и она молилась!

Мать повернулась ко мне в своем кресле и улыбнулась:

— Ты молилась? Ты всего лишь ребенок, ты не можешь знать, как надо молиться — серьезно!

Она повернулась к отцу.

— Один из скрипачей сегодня был ужасен, просто любитель какой-то! Я показала ему, как играть, но это было бесполезно. Нам пришлось его заменить, и мы потеряли драгоценное время. Этого бы никогда не случилось, если бы ты нам разрешил записываться в *Берлине*!

Отец сжал зубы, один из мускулов на его лице дёрнулся. Он позвонил официантам, чтобы те убрали со стола.

Религия была табу, с моей матерью ее следовало избегать. То есть, в том случае, если вы во что-нибудь верили! Дитрих не любила Бога. Он мог творить вещи, над которыми она не была властна. Это ее пугало и делало Его врагом. Она считала, что если кому-нибудь было нужно божество, это был признак личной слабости.

Это неизвестное нечто, которое якобы там парит наверху с ангелами? Что они все там делают? Сидят друг на друге? Смешно! Конечно же, Библия — это лучший из всех когда-либо написанных сценариев, но нельзя же ей по-настоящему верить!

Она гордилась своей логикой и вытекающим из нее презрением ко всякой религии. Однако она призывала религию на помощь — в тех случаях, когда это ей было удобно. В более позднем возрасте каждый раз, когда она летала на самолете, при взлете, на свет извлекался маленький замшевый мешочек, из которого выныривала золотая цепочка, увешанная

одним крестом
одной чудотворной медалью
одним орденом св. Христофора
одним знаком Козерога
Звездой Давида
…и кроличьей лапкой.

Мать не любила рисковать. Может быть, что-нибудь там наверху и есть, в конце концов! Когда самолет приземлялся, она снимала цепочку с шеи и клала ее назад в мешочек, чтобы ни разу больше не употребить вплоть до следующего полета в облаках. На земле Дитрих не чувствовала необходимости в талисманах для дополнительной защиты.

У меня было новое платье для оперы! Оно просто возникло у меня на кровати из ничего, как платье Золушки! Голубой, как незабудка, шелк, с фестончатым кружевным воротником и жакет-болеро в тон. Обязательные белые перчатки были из настоящей

лайки, и мои туфельки «Мэри-Джейнз» тоже. По такому особому случаю даже мои носочки были из шелка. Отец снова блистал во фраке, на сей раз с черными жемчужными запонками, и нес в руках чудесный цилиндр, который вынырнул из специальной коробки, плоский как блин, и принял свою естественную форму, когда отец похлопал им по согнутому колену. Прямо как черный шелковый попрыгунчик. Я ждала, когда мне разрешат самой открыть его для отца. Иногда отец разрешал мне это когда я была в перчатках. У меня очень хорошо получалось щелкать цилиндрами, у матери их были дюжины и открывать их было одной из моих обязанностей, но отец не доверял мне по части одежды настолько, насколько доверяла мать. Она в тот вечер была видением в белом шифоне, тонкая материя прилегала к ее телу, как вторая кожа — греческая статуя, и только. Я помогла ей замотать груди широкими полосами клейкой ленты, так, как мы делали в студии, чтобы они выглядели обнаженными и безупречными без поддержки бюстгальтера. Скульптурный эффект сглаживался многочисленными слоями белой лисы, сшитыми с ярдами шифона, скроенного по косой линии. Она выглядела так, как будто завернулась в кучевые облака. Почему Дитрих всегда казалась такой высокой, когда на самом деле рост у нее высоким не был? Высокие каблуки тут были ни при чем. Она никогда не носила обуви высотой в четыре дюйма. Такую обувь она называла «туфлями для шлюх» Это слово… она его произносила так часто, а я так по-настоящему и не знала, что это значит, знала только, что выглядеть похожей на шлюху можно в фильмах, но *ни в коем случае* не в жизни.

Во всей красе мы приехали на площадь Оперы, к зданию театра, полностью освещенному и похожему на огромный праздничный торт, какой бывал на вечеринках со съемочной группой. Тами с нами не поехала. Может быть, наша добрая фея не принесла ей наряд на этот вечер. Мы поднялись по пролету величественной лестницы, обставленной золотыми крылатыми статуями, и вверх еще по одному, столь же впечатляющему пролету, покрытому царственно-красным ковром, который отбрасывал розовый отблеск на белые мраморные перила. У нас была собственная ложа. Мы подошли, ливрейный лакей отворил ложу и поклонился. Мы вошли. Занавеси из алого бархата поддерживают золоченые херувимы, хрустальные шары изливают свет из огромных люстр. Еще одно фантастическое зрелище, еще одно бесконечное разнообразие цветов. И Квазимодо тоже здесь — прямо там, под широкой сценой, прячет свое ужасное лицо и ожидает, пока погаснет свет. Я уже не говорю о декоративных статистах! К окончанию съемок Брайан подарил мне изысканный

театральный бинокль — сплошное золото и перламутр. Я ни разу не смогла воспользоваться им в Голливуде, но теперь я наверстывала упущенное! Я фокусировала его на сногсшибательных женщинах в расслабленных позах, на скучающих мужчинах, в основном, старых и еще старее, на вдовах только что из салона красоты с завитыми локонами и серебряными кружевами, на джентльменах с элегантными часовыми цепочками поперек процветающих животов, на всей этой возне с программками, оперными перчатками и длинными жемчужными ожерельями. Переведя бинокль из расфуфыренной секции наверх, я увидела там возбуждение и нетерпение — там была молодежь, и она была счастлива быть там. И куда бы я ни смотрела, я натыкалась на театральные бинокли, направленные на нас, точнее, на нашу ложу и на ее особый аттракцион. Не могу вспомнить, что мы слушали в тот памятный вечер, я была слишком захвачена мишурой. Помню, впрочем, что леди, которая так прекрасно пела, была очень толстой, и что ее гриму очень помог бы мистер Уэстморе, и что баритон соответствовал размерам своей возлюбленной, но никак не ее голосу, и мы с матерью согласились в том, что его следовало бы «синхронизировать». Во время антракта мы элегантно прогуливались по мраморным залам. Все пили шампанское и старались подобраться поближе к матери, которая вела себя обычным образом — как будто была одна на необитаемом острове — и спокойно курила свою сигарету, в то время как леди и джентльмены глазели на нее, притворяясь, что не глазеют. Тоненькие звоночки, похожие на те, которые были на корабле, призвали нас обратно в наше красное бархатное гнездо, и началось очередное представление — то, «на которое не удалось бы продать ни одного билета в Рокси».

— Должно было быть намного лучше! — сказала мать, поднимаясь, чтобы уйти. Она просидела несколько часов, но на ней не осталось ни одной складки — нигде. Как ей это удалось? Я постаралась быстренько разгладить складки на моем шелковом платье. Дитрих никогда не понимала проблем, с которыми сталкивались мы, простые смертные, когда пытались держаться с ней наравне. По этой необычной лестнице было так же замечательно спускаться, как и подниматься. Пока ожидали своей колесницы, к нам приблизился молодой человек с очень некрасивым лицом и почтительно поцеловал матери руку. Она была явно польщена. Кто бы это мог быть? Они говорили по-французски так, будто были знакомы. Спустя несколько минут он поднял тонкую белую руку в знак прощания и удалился вниз по мраморной лестнице. За ним упорхнула целая стайка

хорошеньких юношей, чьи белые, подбитые атласом вечерние накидки развевались сзади, как изящные маленькие летучие мыши.

В течение многих лет мы часто встречали Жана Кокто. Мой отец полагал, что он был перехваленной посредственностью. Думаю, Габен тоже так думал. Ремарк однажды сказал, что хотел бы, чтобы Кокто бросил попытки быть поэтом, считающим себя одновременно и Пикассо. Мать хранила все его записочки. Она тоже отозвалась на его привычку рисовать рожицы посреди текста:

— Почему Кокто не может просто написать нормальное письмо, которое можно прочесть! Вместо того, чтобы создавать маленькие сокровища для потомков! Наверное, они от этого делаются ценнее. Когда-нибудь их можно будет продать и сделать состояние!

Было очень поздно, и мы отправились обедать в ночной клуб. Это оказалось шоу похлеще оперы! Гигантский казак с папахой и карабином, пристегнутым за широкой спиной, открыл дверь нашей машины. Уже одно это давало довольно точное представление о том, что вас ожидает внутри. И действительно, перед нами лежала царская Россия — сверкающая светом тысячи свечей и кусочков горящего мяса, нанизанных на тонкие рапиры. Стонали балалайки, и моя мать чуть не падала в обморок. Всю свою жизнь Дитрих переживала трагедию белых русских, как их называли, которые бежали из своего отечества от террора русской революции. Несмотря на то, что бегство Тами давало ей веское доказательство противного, в глазах матери все это являло собой сценарий по Толстому, снятый Эйзенштейном. Она романтизировала Россию. Она всегда хотела сыграть Анну Каренину, ненавидела Гарбо за то, что в этом фильме снялась она, и отказалась его смотреть. Она отождествляла себя с героями, «умершими за любовь» Сомневаюсь, могла ли мать по-настоящему любить кого-нибудь настолько, чтобы броситься из-за него под поезд. Но в том, что она могла живо себе представить, как она делает это в отороченном соболями бархате и фиалках, я уверена. Задолго до «Красной императрицы» Россия означала казаков на диких лошадях, плачущие балалайки, покрытые лаком красные сани, в которых уютно примостились укутанные в волчьи шкуры любовники, несущиеся по сибирским просторам, в то время как дюжие крестьяне в косоворотках поют свои грустные славянские песни, махая им вслед руками. Ни Карл Маркс, ни Сталин не изменили для Дитрих лирической версии Матери-России. Осада Сталинграда в сороковых годах как раз играла на руку ее драматической интерпретации, и, когда все мы

торжествовали по поводу героического сопротивления нашего тогдашнего союзника гитлеровским армиям, Дитрих чувствовала, что ее многолетнюю верность всему русскому удалось отстоять. Ее триумфальное турне по Советскому Союзу в 1964 году только укрепило ее преданность. С тех пор всем приходилось учиться держать свои мнения о коммунизме при себе — разве что кому-то очень хотелось в сотый раз выслушать одну из любимых доктрин Дитрих:

— Русские — только они знают, как обходиться с художниками! Они нас уважают! Они все интеллигентные! Они чувствуют душой! Американцам нужно у них поучиться. Но им всем прополоскали мозги, они так боятся России, что дрожат в постелях и играют в младенцев!

«Распутин» низко поклонился, ожидая заказа. Заказывать в русском ресторане было несколько легче. Винные дискуссии исключались, приносили водку, а все закуски заменяла икра. Графин с водкой должен быть заморожен, икра — от свежей белуги, в пятифунтовых лоточках с костяными или перламутровыми ложечками; однако, поскольку все эти требования автоматически выполнялись в любом мало-мальски уважающем себя русском заведении, отцу никогда не приходилось суетиться много. Место моей печенки всегда занимал шашлык. Мне нравилась участь мяса на огне.

Мамочка, — мой отец тоже умел вести себя очень театрально, когда этого требовала обстановка, — холодный борщ к котлетам по-киевски, но если ты настаиваешь на бефстроганове…

Я наложила на свою тарелку очередную гору икры; была полночь, и я умирала с голоду. Поскольку у матери были очень строгие взгляды на русскую кухню, о которой она все знала от Тами, она так просто не сдавалась, могло пройти немало времени, прежде чем они согласятся. Я смотрела, как все вокруг пьют водку: большим и средним пальцами обхватив полную до краев рюмку, искусно подносят ее к нижней губе, голову слегка запрокидывают назад, вливая все содержимое целиком прямо в глотку, резким движением опускают рюмку. Задерживают дыхание, закусывают — и все сначала. Я наполнила свою рюмку водой и устроила блестящее представление. Как я задержала дыхание! Это было достойно Сары Бернар.

— Глядите! Папи! Что только что сделал Ребенок? Радость моя, откуда ты научилась делать это с таким совершенством?

Мать заставила меня повторить всю сцену. Она была в восторге!

— Вы видели? Дочка Марлен Дитрих пьет… водку!

Это прошептал потрясенный голос за соседним столиком.

Мать внезапно заметила, что за ней и за ее ребенком наблюдают и судачат в их адрес.

— Радость моя, — прошептала она, — сделай это еще разок! Они действительно думают, что я даю тебе пить настоящую водку. «Чего только кинозвезды не позволяют своим детям!» Я уже вижу заголовки: «Дитрих разрешает дочери пьянствовать в парижском ночном клубе!» Какие все-таки люди глупые, во всем мире одно и то же. А теперь сделаем это вместе, чтобы их по-настоящему шокировать! — и в полный унисон мы хлопнули по одной и вернулись к икре. С тех пор каждый раз, когда мы бывали в русском ресторане, я должна была заново повторять эту сцену. Она всегда разыгрывалась перед залом, битком набитым возмущенными зрителями, и мать наслаждалась каждым таким представлением.

Прибыли первые экземпляры новых пластинок. Нам всем пришлось сесть и слушать, в то время как мать смотрела на выражение наших лиц и управляла граммофоном. Все происходило с большой помпой. Слушать записи моей матери всегда было торжественной процедурой, полной подводных течений, если вы не знали правил. Ожидались безоговорочные поздравления от всех, кроме уважаемых профессионалов и меня. После трех прослушиваний «штатных» слушателей отпускали. Немногие привилегированные должны были остаться еще на четыре-пять прокруток, прежде чем она убеждалась, что мы впитали и распробовали все сполна. Только после этого она принимала наши комментарии и возможную критику. Если она уважала ваше мнение, конструктивная критика воспринималась великолепно. Она даже развивала ваши предложения, если вы были достаточно умны и представили их таким образом, чтобы ей осталось место для собственных усовершенствований.

Новые пластинки рассылались всем. Она, как обычно, заказала свои дюжины экземпляров. Запаковывать их было целым мероприятием. Пластинки на семьдесят восемь оборотов в минуту были толстыми и ломались, как стекло. Они и весили целую тонну, но это не имело значения, в те дни все в любом случае нужно было посылать морем или по железной дороге. Первые две посылки были адресованы фон Штернбергу и де Акосте.

Приезжал Брайан! Я натерла до блеска свои лучшие туфли и вычистила матроску, поплевав на платяную щетку, как меня научила мать, чтобы захватить даже самые крошечные волоски. Может быть, мне удастся сводить его в Нотр-Дам. Мне не

придется говорить ему про Квазимодо, Брайан сам отправится разыскивать его в полумраке! Однако пригласить его не хватило времени, он прибыл слишком поздно, успел лишь наспех поцеловать меня и был похищен на обед. Мы с Тами и Тедди обедали в номере и слушали музыку, которая наплывала из нашего репетиционного зала, которому вернули его первоначальную роль зала бального.

Наутро у нас царила очень странная атмосфера. Если бы меня не выдрессировали, я бы обязательно принялась задавать вопросы. От Брайана — ни следа. Ни единого телефонного звонка. Я очень о нем беспокоилась. Два дня спустя мать вошла в нашу гостиную со своей обычной чашкой кофе в одной руке и с письмом в другой.

— Папиляйн, письмо от Брайана — наконец-то! — объявила она.

Он вернулся в Лондон? Но ведь он только что приехал! А я даже не успела сказать ему, чтобы он не использовал слово «увы», когда ей писал! Почему он уехал? Что случилось?

12 июня 1933 г.

Моя дорогая, любимая,

я тебе причинил большое огорчение? Я определенно поставил себя в самое жалкое положение. Надеюсь, что таких ужасных суток у меня больше не будет, но ах! я так не хочу, чтобы, тебе было плохо.

Во всем виноват Руди. Уже много лет никто не производил на меня такого впечатления. Его прямота, честность и достоинство, а главное, его естественная доброта — это больше, чем я мог вынести. Если бы он был враждебно настроен или неловок по отношению ко мне, я бы это понял и не обратил внимания: но я был глубоко тронут тем, как гордо и любяще он говорил мне о «своей жене» и тем, как он держал тебя за руку и смотрел на тебя, и твоими собственными рассказами о его преданности. Что бы ты мне ни говорила, все заставляло меня чувствовать себя все ниже и ниже (хотя, Бог свидетель, в моих чувствах к тебе нет ничего низкого), до тех пор, пока, сидя за обедом, я вдруг не понял, что ситуация более, чем странная. Это было невозможно. Я смотрел, как ты опираешься на его плечо и понял, что очень сильно тебя люблю и очень хотел бы не любить. Мне хотелось сжать тебя в объятьях и уже не отпускать, но за тобой я видел Руди, и тогда мне хотелось плакать. Жизнь так невероятно сложна и запутанна, и кажется, что мы почти ничего не можем с этим поделать. Я смотрел, как ты уезжала, а потом повернулся, поднялся к себе в номер и сел там, как был — в пальто, с головы до

ног в шампанском и в чувствах. Я так устал, что уже не мог ясно думать. Я вслепую добрался до Северного вокзала, сел на поезд и сидел, тупо глазея из окна и думая о тебе всю дорогу до Кале. Твое счастье для меня важнее, чем счастье Руди и чем моя собственная любовь.

Понимаешь ли ты все это и напишешь ли ты мне, что ты об этом думаешь? Есть одно обстоятельство, которое возвышается над всем остальным. Оно очень таинственно, но абсолютно реально — я люблю тебя. Бесполезно дальше обсуждать то, что мы думаем по этому поводу.

Я немедленно прилечу на самолете, если ты думаешь, что разговор нам поможет, но значение имеют лишь две вещи — я не должен делать тебя несчастной и должен быть честным с Руди. Как можно примирить одно с другим?

Она окончила читать письмо Брайана. Она протянула его моему отцу и вошла в спальню, оставив дверь открытой. Раздраженным голосом заказала личный разговор с Лондоном. Она сидела на краю кровати, курила, допивала кофе и ждала, пока гостиничный оператор ей перезвонит. Французские телефоны не звонили, как обычные, они булькали. Она сняла трубку из золота и слоновой кости с высоких позолоченных рогулек и заговорила:

— Брайан? Я только что получила твое нелепое письмо! Не понимаю, что с тобой случилось! Радость моя, ты, наверное, шутишь! Весь этот психоанализ бедного Руди. Он мой муж! Какое это имеет отношение к делу? Нельзя же быть *настолько* буржуазным…

— Кот! Иди к себе в комнату, — сказал мой отец тоном, который заставил меня поторопиться.

Брайан все-таки вернулся. Тами даже пришлось пойти с ними обедать, чтобы получились две пары. Мы с Тедди ели в номере. Я не очень расстраивалась из-за этого, по крайней мере с Брайаном было все в порядке, и он вернулся. К тому же трудно дружить с кем-нибудь на публике, когда душой общества была мать. Я вполне счастливо легла в постель вместе с подарком, который мне привез Брайан. Прекрасная книга со странными иллюстрациями. К тому времени как Алиса провалилась в кроличью нору, я уже глубоко спала.

Настало время нашей давно задуманной встречи с семьей матери. Появились рулоны оберточной бумаги, саквояжи, коробки для шляп и чемоданы. Некоторые из них должны были сопровождать нас в нашем первом австрийском свидании, остальные отправлялись дальше в Вену с Тами и Тедди. Не помню, где мы встретились с бабушкой и тетей Лизель. Место, надо полагать, было выбрано с большой тщательностью, так как оно было укромным, и ни один репортер нас там не нашел. Деревушка в стиле Хайди, вплоть до остроконечных шалашиков-ковчегов с изображением Мадонны на холмистых тропинках, вплоть до горных цветов, вышитых на всем. Отель был похож на часы с кукушкой, и в нем были громадные пуховые одеяла, покрытые красно-белыми клетчатыми пододеяльниками.

Надо мной сразу захлопотала тетя, и меня спокойно осмотрела мать матери. Я, в общем-то, не помнила их как людей, помнила лишь чувства, которые испытывала, когда была с ними. Они не изменились. Моя бабушка все еще заставляла меня думать, что меня собирается судить высший из всех судов страны

— для моего же блага. Не то, чтобы «нехорошее» чувство, просто слегка неудобное. Лизель по-прежнему была похожа на сбежавшую канарейку, усевшуюся тебе на плечо и надеющуюся, что там она будет в безопасности, пока снова не найдет свою клетку. Я познакомилась с ее сыном. Он выглядел как-то по-вагнеровски и носил темно-коричневые рубашки. Мы сразу же друг другу не понравились.

Гостиная в отеле была прохладная. Послеполуденное солнце отбрасывало тени на деревянный фриз ручной работы с вырезанными белками и дубовыми листьями; герань, красная, как губная помада, выглядела очень мило за шестистекольными окнами. Мы пили чай и ели пирожные на голубом дрезденском фарфоре, на белой скатерти, покрывавшей стол на одной ноге. Отца не было. Чай разливала старшая из присутствующих дам. Мать сидела очень прямо, руки на коленях. Ее мать не спрашивала, с чем она предпочитает чай. Она налила в него сливок, насыпала сахару и протянула дочери чашку через стол.

— Спасибо, Мутти. Пожалуйста, Ребенку без сливок. — Мать ненавидела чай со сливками, а я любила. Может быть, она хочет, чтобы я с ней поменялась чашками? Я не понимала, как мне это сделать, когда ее мать сидит и смотрит, эта уж никогда не упустит… Я чуть не выронила свою хрупкую чашку. Внезапно, прямо как в комиксах, когда над головой Дэгвуда появляется лампочка — знак того, что у него появилась отличная идея, я так и села, ошеломленная, в своем кресле; я поняла, что моя мать, правившая над нами всеми одним поднятием бровей, боится этой дамы, которая вот сейчас разливает чай. Это как обнаружить, что твоего начальника тоже могут уволить. Это была сногсшибательная мысль. Бабушка заговорила голосом гувернантки:

— Лена, это очаровательный отель. Но две ванные — вовсе не обязательно. Одной нам бы вполне хватило. Отдельная комната для мальчика — тоже излишняя роскошь.

— Мутти, прошу тебя. Уже и то нехорошо, что тебе пришлось сюда приехать, но Руди не разрешает мне ехать в Германию…

Ее мать перебила ее:

— У твоего мужа есть свои причины. Возможно, они справедливы. За политическим климатом нужно внимательно следить, а не относиться к нему легкомысленно, как делают многие. Германии нужен вождь, который восстановит ее национальную гордость. Мессия? Нет, это граничит с фанатизмом, а это взрывоопасно для израненной нации.

Я цеплялась за каждое ее слово. Какая захватывающая дама! Лизель дотронулась до руки матери своей дрожащей рукой.

— Пожалуйста, Муттиляйн, прошу тебя — потише. Будь осторожна… пожалуйста!

Вошла официантка со свежим кувшином горячей воды. Моя тетя быстро поднесла палец к губам, призывая к молчанию. Мать взяла сестру за другую руку, разжала ее и погладила в знак утешения.

— Лизельхен, не надо бояться. Мы в Австрии! — но тетя с умоляющим взглядом продолжала прижимать палец к губам. Официантка закрыла за собой дверь. Тетя повернулась к моей матери, слова катились у нее изо рта, как камушки вниз по крутому холму:

— Ах, Киска! Ты не знаешь. Ты не знаешь! Дети маршируют, и дети слушают — тайком! Им *приказывают* подслушивать! И докладывать, что люди говорят! И они так и делают, так и делают! Они этим гордятся! Ночью они бродят по улицам, и иногда разным людям достается! И никто ничего не делает, чтобы их остановить. Никто! Почему? Киска, почему? Наш прекрасный Берлин, который мы так любили! Что происходит?

Я хотела обнять ее, но не посмела. Моя бабушка была очень раздражена этим взрывом эмоций со стороны своей старшей дочери. Мать, казалось, больше озабочена страхом своей сестры, нежели тем, что она, собственно, хотела передать. Мой двоюродный брат насупился и, похоже, очень нервничал. Я недоумевала, почему. В этой святочной гостинице мы надолго не задержались.

В день, когда мать прощалась с бабушкой, она плакала, как заблудившийся ребенок, и та сказала ей:

— Довольно! Лена, тебе действительно нужно учиться управлять своими эмоциями!

Мы с Лизель сжимали друг друга в объятьях, нам двоим нравилось дотрагиваться до людей, хотя мы жили с теми, кто никогда не дотрагивался. Она прошептала мне на ухо:

— Хайдеде, заботься о матери и поцелуи ее от меня, и скажи, что я ей так благодарна за… *все!* — и она быстро отступила назад, чтобы ее мать не застукала ее за неподобающими разговорами. Я сделала книксен, воспитанно пожала всем руки и сказала «до свидания» бабушке. Она посмотрела на меня с высоты своего внушительного роста.

— Ты оказалась хорошей девочкой. Это делает честь воспитанию твоей матери.

Поистине редкая похвала. Моя мать была довольна донельзя! Мне оставалось только бросить холодный взгляд на кузена, который в ответ холодно взглянул на меня, после чего мой отец загрузил своих троих подопечных в ожидавшую машину и отвез

их на железнодорожную станцию, чтобы они вернулись в Берлин. Мы с матерью ждали его возвращения в отеле: отцу предстояло оказать транспортные услуги и нам. Мать грустила. Ей не удалось убедить свою мать покинуть Германию и переехать к нам в Америку. Я смотрела на нее, стоящую у окна с геранью. Может быть, она чувствовала, что ее мать не хочет с ней жить, где бы то ни было? Я была уверена, что не смогла бы угодить им обеим, если бы мы стали жить вместе.

Наш следующий гостиничный номер был похож на вылепленные из гипса венские пирожные. Завитушки, купидоны, грозди винограда, урны и горлицы; стены увешаны зеркалами в золотых рамах, в них отражается атлас в цветах по сине-коричневому фону. Номер сошел бы за детскую прямо-таки королевского размаха, если бы мы не устроили в нем, как обычно, эдакий торговый зал цветочного магазина. Пестрые слоны тоже нарушали всю эту хрупкую красоту, и в этот раз я не жалела о материнской мании все распаковывать сразу же по приезде в новое место.

Она переоделась в свободную пижаму из черного бархата с белым шелковым пояском, который выглядел бы идеально на спине скаковой лошади во время скачек.

— Радость моя, вот и *Вена!* — Она распахнула французское окно, вышла на «джульеттовский» балкон в стиле рококо и воздела руки кверху, как будто хотела обнять весь город. — Город музыки и поэтов, смеха и мечты! Радость моя, иди, посмотри!

Ее немецкий окрасился очаровательной австрийской интонацией. Я присоединилась к ней, и мы вместе стали дышать «воздухом Моцарта». Она заказала свою давнюю мечту — «настоящий венский кофе со *шлагом!* Оказалось, что этот вездесущий *шлаг* — на самом деле всего лишь очень густые, очень жирные взбитые сливки, и что венцы не могут без него жить. Даже матери пришлось признать, что они его употребляют практически со всем.

— Папиляйн, венцы, наверное, *это* делают тоже со *шлагом!* — говорила она, и все смеялись. Что такое «это», мне было непонятно, но звучало смешно, так что я смеялась вместе со всеми.

Я принялась за свою работу — выбирать карточки из цветов. Брайан прислал массу белых и желтых тюльпанов. Отлично, они ей нравятся, особенно если цвета смешаны. Мне нужно было найти американские одноцентовые монеты, чтобы бросить в вазу. Почему-то медь предохраняет тюльпаны от увядания, а мать требовала, чтобы ее тюльпаны стояли по стойке «смирно». Фон Штернберг прислал белые розы, слава Богу, не желтые. Желтые

означали «конец романа», что бы это ни значило. Мать иногда говорила странные вещи по поводу цветов. А красные розы служили только для «начала романа». Впрочем, она терпеть не могла красный цвет у роз, особенно когда это были розы с длинными стеблями, которые не влезали ни в одну вазу и были слишком высоки, чтобы их ставить на стол. Она не переносила даже их названия, например «Американская красавица». Де Акоста сваляла дурака. Ее карточка угнездилась в букете орхидей, к тому же больших и пурпурных. Как только их заметят, непременно отдадут горничной; Мэй Уэст они, наверное, понравились бы. Парамаунтская подборка из лилий, белых ирисов и львиных зевов последует прямо за ними. Там были даже «эти ужасные гардении, которые продавщицы приносят на танцы», от кого-то, кого я не знала. Горничным достанутся отличные трофеи.

Очень немногие по-настоящему знали, как угодить моей матери в смысле цветов. Хочешь осчастливить Дитрих — пошли ей горшок с геранью. Еще ей нравились ландыши, васильки, белая сирень, разные европейские полевые цветы и, в тридцатых годах, туберозы. Но ярко-красная герань была ее любимым цветком, причем только одно растение в обычном цветочном горшке, а не причудливая охапка. В тот день самым лучшим было подношение Шевалье. От него был большой букет белой сирени, к которому прилагалась ваза с васильками — для отца. Я гордилась нашим французом. Мать сразу же заметила васильки — теперь она вырвала голубой цветок и сунула его отцу в петлицу:

— Папиляйн, ну разве он не милый? Он запомнил, как ты любишь носить васильки в петлице и как мы тогда прочесали Беверли-Хиллз, пытаясь тебе что-нибудь найти. Я его свела с ума! Мы искали везде, мы доехали аж до Голливудского бульвара. Думаю, что Морис любит тебя не меньше, чем меня. — Отец улыбнулся.

На следующий день репортеры и австрийские поклонники проследовали за нами до Дома Кнайзе, знаменитой швейной мастерской, где мы заказали фраки, смокинги, вечерние накидки, двубортные костюмы, однобортные костюмы, пальто, платья, все виды рубашек — и для отца, и для матери. Так прошел первый день в «Кнайзе» Во второй день мы занимались только отбором ткани. Теперь мать по-настоящему наслаждалась. Вот это она хотела носить, предвкушала, как будет носить. К тому же она всегда утверждала, что мужские портные знают, что делают, что они истинные мастера, даже если они не в Голливуде, а портные Кнайзе — лучшие в мире. Она никогда не меняла своего мнения по поводу Кнайзе, и была абсолютно права. Спустя годы, когда,

бежав в Америку перед началом второй мировой войны, Кнайзе открыл свой магазин рядом с отелем «Сент-Риджис» в Манхэттене, она была его первым счастливым посетителем, и впоследствии доверила ему шить все свои фраки и аксессуары для мужской части своих сценических представлений. Она даже разрешила ему сделать специальную манишку, которая потом была пришита к ее секретному корсету, чтобы облегчить ей ее знаменитые быстрые переодевания. Знак высочайшего доверия со стороны Дитрих — позволить кому-то чужому увидеть, не говоря уже о том, чтобы потрогать, ее корсет.

В ожидании первых примерок мы сидели в уличных кафе, ходили на концерты и ели. Можно было выбирать — Моцарт до тошноты или *шлаг* до тошноты. Как мне хотелось, чтобы хотя бы раз один из этих вечно шныряющих повсюду скрипачей, настойчиво и душераздирающе пиликающих вам прямо в уши при всяком удобном случае, вдруг взял да грянул «Калифорния, вот и я», но они только и делали, что пилили свои трели да свиристели.

У отца и матери были смежные примерочные. Трудно было решить, кто из них выглядит лучше в новых смокингах. Каждый день мы с Тедди бродили от одного к другому, осматривая и одобряя. У Кнайзе не было нужды в моих фокусах с зеркалом. Они отрывали рукава еще до того, как отряд Дитрих — Зиберов успевал найти какое-либо несовершенство.

Завтрак был в разгаре, когда отец вдруг задохнулся, схватился за бока, дернулся и опрокинул стул, его лицо побледнело и заблестело от внезапно выступившего пота. Ему явно было очень больно! Испуганная мать вскочила, закричала, допытываясь что с ним. Тами, обхватив его руками, попыталась уложить на диван. Пока отец пытался перебороть волны боли, мать заказывала срочные звонки в Голливуд, Лондон, Париж и Нью-Йорк, разыскивая лучших в мире специалистов по «ужасной боли в спине». Тем временем отец пришел в себя, настолько, что смог позвонить управляющему отеля и попросил, чтобы прислали доктора.

Мать была в ярости!

— Ты хочешь какого-то гостиничного докторишку? Что *такой* может знать? Не будь отеля, у него не было бы и пациентов! Я добуду тебе величайшего специалиста! Он поймет, в чем дело! Не то что какой-то ничтожный идише доктор!

Она расхаживала по комнате, курила, ждала, пока ее соединят, тут в дверь нашего дворца осторожно постучали. Тами поспешила открыть дверь, и на пороге оказался маленький

человечек, прямо из центрального отдела распределения ролей. Полосатые брюки, визитка, целлулоидный воротничок и манжеты, жемчужная галстучная булавка, гетры и пенсне на внушительном носу. Это было роскошно! Готовый персонаж для Пола Муни! Он подошел к предполагаемому герру Зиберу, скрипевшему зубами на диване, открыл свой черный чемоданчик, достал орудия своего ремесла — даже беглым взглядом не удостоив нашу «знаменитую кинозвезду». Он мне сразу же понравился. У меня была тяга к людям, не подпадающим под ее чары прямо сразу и автоматически. Мать вышла, чтобы в уединении своей комнаты дожидаться своих важных телефонных звонков, а наш венский профессор невозмутимо взялся за своего пациента.

— Герр Зибер, неприятность, которая вас только что постигла — это почечная колика! Очень болезненно… Да… Очень болезненно. В вашей почке образовался камень, или, возможно, сразу несколько этих чужеродных частиц, и в настоящее время они пытаются покинуть этот орган и переместиться в ожидающий их мочевой пузырь. Отсюда и боль — от этого прохождения. Вам чрезвычайно повезло, поистине чрезвычайно, что это свершилось само по себе. В противном случае вы бы имели несчастье оказаться лицом к лицу с необходимостью удаления этих чужеродных гранул хирургическим путем.

Он выписал рецепт, пристегнул свою авторучку обратно к нагрудному карману, уложил сумку, протер стекла пенсне, вновь разместил его у себя на носу, пожал отцу руку, вежливо поклонился Тами и, напоследок отдав своему пациенту предписание выпивать минимум три литра минеральной воды в день, покинул наши пределы. Я чуть не захлопала в ладоши! Мать, услышав диагноз, вызвала прислугу, заказала несколько ящиков «Виттель» и взяла командование на себя.

— Папиляйн, в постель! Тами, найди экономку и достань лишних подушек. И еще бутылочек с горячей водой, Папи не спину. Я иду вниз, приготовить бульон из говядины. В этом расфуфыренном отеле на кухне наверняка найдется вырезка, но, скорее всего, ни одной стеклянной банки, чтобы ее в ней сварить! Ну ничего, я добуду. Кот, отнеси рецепт вниз консьержу. Пусть пошлет посыльного сразу же, хотя, скорее всего, Папи это ничем не поможет… и убери эту собаку к Тами в ванную — прочь с дороги!

Зазвонил телефон.

— Это Голливуд… Наконец-то! Джо, радость моя! Руди умирает от боли! У него камни в почках! А… какой-то маленький гостиничный доктор-еврей, выглядел так, как будто забрел сюда

из другого павильона. Пользы от него никакой быть не может, но ты же знаешь, Папи… *должен* настоять на своем. Но теперь *ты* выясни, кто там лучший специалист по камням. У Пикфорд ведь были какие-то проблемы когда-то? Ну так?.. В Калифорнии глубокая ночь… Ну и что? Позвони Пикфорд, этот ее муженек наверняка еще не спит, упражняется в фехтовании. Он там точно ночью ничего другого делать не может!

Мать повесила трубку. Телефон зазвонил опять.

— Мерседес? Радость моя! У Руди камни в почках — мне нужен хороший врач. У Гарбо вроде бы были какие-то проблемы с мочеиспусканием… или это у Строхейма, когда она с ним делала эту ужасную картину, где она была похожа на бледную курицу?

С годами у отца вышло много камней. Он собирал их, держал в зеленой кожаной флорентийской шкатулке, и все говорил мне, что когда-нибудь соберется сделать из них для меня ожерелье. Они были похожи на маленькие шарики пемзы, я не думала, что из них вышла бы такая уж драгоценность, и надеялась, что он вылечится раньше, чем их наберется достаточно, чтобы нанизать их на нить и заставить меня носить вместе с моим «несминаемым» синим бархатом. На протяжении многих лет каждый раз, когда мы бывали «en famille» и отец опорожнял мочевой пузырь, все останавливались и прислушивались, надеясь услышать характерный «дзинь». И если слышали, мы громко ликовали!

Отец пока еще был «наш больной», и сопровождать мать на различные оперы, балеты, концерты и спектакли, которыми заслуженно славился венский сезон, завербовали меня. Для своей новой работы я получила два кисейных платья — белое, с небесно-голубыми кантами, и бледно-желтое, с вышитыми по краям маргаритками. И еще одно, мое любимое — льняное, цвета морской волны, с длинными рукавами — оно хорошо скрывало несколько новых складок у меня на поясе, результат вездесущего *шлага.* Поскольку я действительно была единственным непривлекательным объектом в сфере материнской ауры, я чувствовала, что, если не могу соперничать даже с мебелью, то, по крайней мере, должна попробовать слиться с деревянной резьбой. Но в бело-золотой интерьер вписаться нелегко, а вот скрыться в тени можно — и морская синева для этого идеально подходила.

В тот день я сопровождала мать на утренний спектакль с кумиром венской публики Гансом Яраем в его последнем триумфе, и мне было велено надеть свои желтые маргаритки. Он, надо полагать, произвел на меня большое впечатление. Не помню, что это было: оперетта, обычная пьеса, комедия или

драма, не помню даже названия. Но представление, сыгранное моей матерью, — это запомнилось. Мы сидели в своей ложе в одном из тех театров в стиле рококо, что напоминали мне кафе-мороженое в Голливуде, где подают шестьдесят девять сортов; и вот на сцену большими шагами выходит человек в чем-то, как мне помнится, очень «габсбург-гусарском». Стройные ноги, обтянутые белым трико без единой складки, голос, который сделал бы честь Валентино, мечтательно-романтическое лицо, от которого захватывает дыхание, если вы к этому предрасположены — а мать была! Она наклонилась вперед в своем кресле.

— Радость моя! Он — прекрасен! Эти глаза… погляди… Погляди на эти глаза! — прошептала она сценическим шепотом, который расслышал бы и глухой в Югославии. На нас стали оборачиваться и «шикать». Даже сам попавший в милость джентльмен украдкой взглянул одним столь «прекрасным» глазом в ту сторону, откуда донеслось это восторженное восклицание. Каждый раз, когда эмоции матери вот так «выскакивали» на публике, я съеживалась. Дитрих умела «влюбляться» как-то по типу камикадзе. Ганс Ярай стал ее венской интерлюдией, и мне было интересно, как отреагируют на этого новичка в трико фон Штернберг, Белый Принц, Шевалье, Фред Перри, отец и Брайан. Больше всего я волновалась за Брайана — остальные, я была уверена, умели защищаться, а вот Брайан мог и не уметь.

Мы ринулись за кулисы. Люди раздвигались в стороны, чтобы дать нам пройти. Господин Ярай склонился над протянутой ему рукой, легко прикоснувшись своими полными губами к ее алебастровой коже. Он поднял глаза и заглянул глубоко ей в душу! Да, надо признаться, он был *нечто!* Если существует такая вещь, как «внешность, напоминающая взбитые сливки», то у него она точно была! Если бы не этот ужасный акцент, у него могли бы быть неплохие шансы пробиться в Голливуд. Они там все время искали людей типа Рамона Наварро.

— Ребенок от вас в восторге, — пропела мать. После эпизода с целованием руки их взгляды как сомкнулись, так и не разомкнулись ни разу. — Она говорит, что просто обязана иметь у себя в комнате вашу фотографию. — Когда Дитрих говорила за вас, разумнее всего было не возражать. Она была убеждена, что ее мнения были истиной в последней инстанции, не оставляющей места для сомнений. Да, я сочла господина Ярая симпатичным — в его пользу говорила его сливочная внешность да новоявленный интерес моей матери, но это ничего не значило: от меня ожидалось вполне определенное к нему отношение. Поэтому я повела себя согласно роли — делала реверансы и была очень благодарна за четыре милые фотографии восемь на десять, на

которых он поставил автограф «Славной маленькой Хайдеде», а втайне желала, чтобы это были фотографии Кларка Гейбла. Мать получила ровно дюжину.

Она ворвалась в комнату отца, держа фотографии ближе к телу. Это была картинка: «юная дева в пылу любви» Если бы на ней была большая соломенная шляпа, за ней непременно развевались бы голубые атласные ленты!

— Папиляйн! Он прекрасен! Как он двигается! А одежда! Совершенство! Его глаза… ты знаешь, как я ненавижу у мужчин темные глаза, но… у него? Это совершенство! Он отдал мне все свои фотографии. Смотри. Видишь, что я имею в виду! — и она разложила господина Ярая на постели отца. Карие глаза отца осмотрели изображения, лежавшие перед ним, и снисходительно улыбнулись.

— Я тебе говорил, Муттиляйн, что он тебя заинтересует, что ты *должна* его увидеть. Видишь, я был прав.

— О, Папиляйн. Да, да, ты был до того прав! Но ведь ты всегда прав! Ты всегда *знаешь!* — Она заключила глянцевые изображения в свои объятия и выплыла из комнаты.

Тами, поправляя отцу подушки, спросила, понравилось ли мне представление, но я заметила, как отец бросил на нее предупреждающий взгляд — «заткнись и молчи», и потому просто спросила, лучше ли ему, а предмет последнего увлечения матери оставила в покое.

Вальсы Штрауса пронизывали весь наш номер, заставляя звенеть каждую хрустальную слезинку! Ритмичная, лиричная, податливая Вена! Яркое солнце, тень листвы, любовное томление! Мать дефилировала в цветастом шифоне. Я заводила граммофон и переворачивала пластинки. Мы без конца заказывали новые пластинки «Голубого Дуная» «Ганс — то, да Ганс — се» — это стало ее любимой темой для разговора. Мы внимательно слушали: какой он чудесный, какой чувствительный, какой славный, какой нежный, как ему нужны новые рубашки, достойные его красоты, и как он пошел вместе с ней к Кнайзе, где она заказала дюжину шелковых рубашек, чтобы они обнимали его «безупречные плечи» За этим последовали халаты и пижамы.

Огромные охапки сирени заполнили все комнаты — и они не были от Шевалье. Каждое утро мы занимались почтой, телеграммами и звонками. Приходили длинные письма от фон Штернберга. Его одиночество, казалось, раздражало ее.

Любимая,

ты сегодня утром сказала мне по телефону, что не посылала мне никаких новостей потому, что ничего от меня не слышала. В

первые недели, когда я получал от тебя новости каждый день и слышал, что ты по мне немного скучаешь, все было в порядке, но потом наступило полное затишье, и внезапно мой бедный разум утратил связность. Потом я вдруг слышу, что у тебя все прекрасно, и это меня очень обрадовало, но и испугало, в том смысле, что я могу испортить твою радость своими жалобами. Я ведь в таком жалком положении с тех пор, как с моим фильмом для «Метро-Голдвин-Майер» ничего не вышло. Но его было невозможно снимать, и я был рад отделаться от всего этого как можно скорее, потому что в глубине души знал, что ***без тебя ничто*** *не имеет значения. И вот я один, уткнулся носом в угол, который пахнет нафталином. Не могу даже описать, как* ***мне тебя не хватает.*** *Это пронизывает мое сердцу и душу как застойный нескончаемый туман, набрасывающий вуаль на день и на ночь. Во всем этом так много страдания. Я так бы хотел приехать в Европу, чтобы повидаться с тобой* ***хотя бы час,*** *но понимаю, что это было бы сумасшествием, раз ты не разделяешь моего энтузиазма.*

Сегодня мне лучше, поскольку я поговорил с тобой. Куда бы я ни пришел, мне все сочувствуют.

Твой ответ — я его уже знаю: «Ты бросил меня. Ты покинул меня». Ты мне сказала по телефону из Вены — ты считаешь, что нам хорошо побыть некоторое время врозь; я знаю, это так, и зная, отчаянно скучаю по тебе. Я уверен, что все, что приносит мне страдания, идет мне на пользу.

Все *вокруг меня осуждают и критикуют, и я, конечно же, этого заслуживаю. Людям прямо-таки доставляет удовольствие разрывать меня на куски. Надеюсь, ты хоть иногда на моей стороне, не из чувства долга, разумеется, а потому, что любишь меня* ***хоть немного*** *и хорошо понимаешь.*

Но довольно о себе. Тебе, конечно, очень хорошо в Вене. Надеюсь узнать побольше подробностей в письме от тебя, но, надо полагать, у тебя нет на это времени. Еще я хочу знать, почему ты так надолго задержалась в Париже. Там что, ***Форст*** *снимает новый фильм?*

Мать крикнула отцу в соседнюю комнату:

— Папиляйн, опять Вилли Форст! Джо опять о Вилли Форсте — он ревнует даже к людям, которых я знала *до* встречи с ним! Это прямо мелодрама какая-то! — и вернулась к чтению письма:

Что ты делаешь, и как живешь, и куда ходишь, ***и как выглядит твоя новая одежда,*** *и кто твои новые друзья? ЭТО УЖАСНО — НЕ ЗНАТЬ!*

Ты, наверное, уже достаточно наслышана про твой фильм. Монтаж был скучным, и фильм плохо кончается — его сохранили только из-за твоей роли в нем. Думаю, ты всем понравишься, хотя фильм оценит далеко не каждый. В некоторых сценах ты чудесна, и я решил (потому что меня охватило что-то типа ревности), что в своем следующем фильме доведу эти куски до настоящей кондиции. Эхерну критики перемыли все косточки — по-моему, несправедливо, потому что он очень хорош, насколько это ему позволяет его роль. Когда роль сыплется, начиная со свадьбы и дальше, он получается глупым и скучным, но это недостаток сценария и режиссуры — совершенно ясно, что нужно быть настоящим дураком, чтобы винить в этом англичанина.

Мамулян снимает фильм с Гарбо, и думаю, что главную мужскую роль получит Нильс Астер. В остальном я про это очень мало знаю (и, прости, особенно не интересуюсь).

На студии ничего нового. Сейчас у нас очень нудный период. Кстати, хотел тебе еще сказать, что Гейбл заболел (мозоли или что-то в этом роде), и мне повезло, что я не делаю фильм для «МГМ», потому что без него он ничего бы не стоил, а никого другого на роль боксера-профессионала не было, все остальные — обычные педики.

Купер и Шевалье торчат здесь…

— Папи! — закричала она, — теперь Джо снова взялся за историю с Купером. Он мне никогда не поверит. Он все еще думает, что у меня с ним что-то было. Смешно! Купер только и умеет, что говорить «Угу» да «А?» Лупе Велес это приходилось делать с ним *самой.*

Она продолжила чтение:

…и по-дружески здороваются со мной, а в глазах дичь какая-то.

Думаю, пора кончать эти разговорчики. Поговорим о важном! Новый фильм. Атмосфера фильма и роль безумно интересны. Я хочу разработать тему флирта между Императрицей и «наложницей» эрцгерцога. Ужасно забавно заставить Императрицу полюбить молодого человека, чей долг — спать с эрцгерцогом. Миниатюрный бордель, в котором растет девочка, прежде чем стать Императрицей, — есть над чем поработать. А потом ухаживания за ней пятидесятилетнего монарха, думающего, что она девственница, ее ум и влюбленность, невзирая на последствия, политические враги, которых она себе наживает из-за своих привязанностей и из-за своего сердца, отношение к прежней Императрице и к своим противникам, ее храбрость и то, как она

живет в эпоху, отмеченную чумой, восстаниями и убийствами, манеры и моды той эпохи, еда без ножей и вилок, одними пальцами, длительные омовения рук, затравленный вид тех, за кем постоянно следят, опасности, грозящие Императрице, бесконечная череда отрубленных голов, отравлений, ведьмы, старый ревнивый эрцгерцог, шныряющий повсюду, маскирующиеся политики — не ясен только конец: следует ли нам ее изгнать, или ее должны обезглавить, как это принято считать, по политическим мотивам, или она должна с радостью принять казнь, потому что откажется отречься от любви к молодому человеку и произнесет историческое высказывание, что де она предпочитает умереть как его любовница, нежели как русская Императрица.

— Папи! — крикнула мать, — тебе…

— Мутти, — закричал в ответ отец. — Если хочешь со мной *поговорить*, иди *сюда*!

Сцена меняется; мы расселись на постели в ногах у отца, и мать заканчивает свою фразу:

— Тебе стоит это прочесть, — Джо в своем письме привел целый сценарий. Если мне придется играть все, что здесь написано, картина будет длиться пять часов! Об *этом* пускай и думать забудет!

Мы сидим тихо, и она продолжает:

Я еще никогда не начинал работу, имея в руках столько материала, и еще никогда не начинал с таким замечательным персонажем. Пока что я оставлю за ним некоторое место для маневра, чтобы ты могла на последних этапах подстраивать роль так, как тебе бы хотелось, прежде чем мы начнем фильм и ты приедешь сюда. Костюмы тоже очень приятные и забавные, хотя картины Гольбейна обычно окостеневшие, и им не хватает очарования.

Подготовительная работа для фильма очень трудная, и хорошо, что у нас будет много времени, чтобы все проработать вместе. Я мог бы говорить об этом часами, жаль, что это невозможно. Конечно, я был бы невероятно счастлив, если бы ты поверила в эту идею и при этом доверилась мне и моим решениям.

Начинается очередная серия исторических фильмов, и я хотел бы быть наготове.

Прежде чем стать Императрицей, ты можешь изучить возможности, очарование, изящество и гуманность Императрицы, а также окружающую ее жизнь. Если бы ты это сделала, ты бы мне очень помогла. Как только почувствуешь хотя бы малейшую симпатию к этому персонажу, пожалуйста, протелеграфируй мне

и доставь мне удовольствие, потому что я знаю — ты будешь в восторге от фильма, когда он будет снят, и было бы здорово, если бы вся работа и все планирование могли держаться на твоем незримом энтузиазме. Прости мне мой режиссерский пыл — я понимаю, он тебе не всегда нравится.

Мать дочитала письмо фон Штернберга до конца; качая головой, она передала его отцу, сказав:

— Джо чересчур глубоко залезает в этот фильм. Выглядит так, будто он планирует создать эпическое полотно! Почему бы просто не снять красивую картину о трагедии русской императрицы и оставить все большие «дела» Эйзенштейну? Прочти его, Папи, и потом скажи мне, что ему завтра передать, когда я ему буду звонить. Мне нужно вымыть и уложить волосы.

Я вышла вместе с ней, чтобы помочь ей со шпильками.

Каждый день мать, выглядевшая богиней, уезжала куда-нибудь на ланч, возвращалась, чтобы только успеть переодеться, и уезжала в театр — всегда на пьесу с Яраем и всегда одна. Этот порядок никем не обсуждался — это просто происходило без комментариев, и ее свита приняла это без вопросов. Как при съемках фильма — нужно было следовать сценарию. Вечные вальсы становились уже невмоготу, да и без огромной серебряной рамы, в которой хранилась святыня — лицо Ганса Ярая и которую мать установила рядом с моей кроватью, я вполне могла бы обойтись, но в целом было довольно приятно, что она так сильно занята кем-то другим вместо меня. Отец пил воду и вел свои гроссбухи. Тами вышивала салфетки с прекрасными русскими узорами и учила меня раскладывать пасьянс. По вечерам нам приносили ужин в номер без особой помпы, и потом мы читали книги перед сном, прямо как настоящая семья, какую показывают в кино.

Однажды утром мать вернулась к завтраку и объявила: «Мне нужно нижнее белье!»

Отец оторвался от своей газеты.

— «Никогда не знаешь, как сказала вдова, натягивая черные кружевные трусики», так, что ли? — спросил он с улыбкой.

Мать рассмеялась. Это было одно из тех выражений, что часто цитировались у нас в доме — не знаю, из какого анекдота. На самом деле «в жизни» Дитрих никогда не носила кружевных трусиков.

«Кружева залезают между ног и намокают — сворачиваются колбаской и застревают там. Когда ходишь, кажется, что у тебя под одеждой черви», — это была одна из ее излюбленных

доктрин, а также: «Кружевные трусики — это для cinque-a-sept и для старлеток, которые носят белые б…ские туфли».

У Дитрих было вполне определенное мнение по поводу нижнего белья в целом. Комбинации она никогда не носила, их вшивали во все предметы ее одежды, так что они становились неотъемлемой частью любого одеяния, как личного, так и рабочего. «Комбинации — это для женщин, которые покупают дешевую одежду и должны примерять ее в магазинах».

Мужские майки она тоже ненавидела и никогда не ложилась в постель с мужчиной, на котором была майка. Если по той или иной причине очередной любовник оказывался в таком присущем «рабочему классу» белье при первом «раскрытии», он уже был в беде, еще не добравшись до постели. Однажды она рассказала мне об одном актере, тогда восходящей звезде, а ныне эдаком талантливом старом чудаке, заслуживающем того, чтобы остаться инкогнито.

— Ты не поверишь! Он носит майки! Как мужики, которые роют ямы на улицах! Ну и ну! И это в солнечной Калифорнии! Как низко можно пасть! Я так смеялась, что захотела писать — так что пришлось бежать в туалет. Очень романтично! Когда я вышла, он лежал на кровати, глядел на меня своими коровьими глазами, весь — сплошное обожание, и вдруг… у него *волосатая грудь*! Ты знаешь, как *это* противно! Слава Богу, он был импотент, так что все вышло мило и уютно!

Я часто задумывалась — бедняга страдал этой своей немощью еще до обнаружения майки или заболел сразу же после этого? Подвергнуться осмеянию со стороны Дитрих — это могло бы свести на нет и Казанову.

Теперь же мать позвонила в Париж и заказала набор белья, с немедленной доставкой в Вену. В тридцатые годы из магазина спокойно могли отправить кого-нибудь из персонала с набором товаров ночным поездом, чтобы угодить ценному клиенту — это отнюдь не считалось расточительством.

Спустя два дня у нас на пороге появилась костлявая леди в дорожном костюме из коричневого сержа, в аккуратном войлочном колоколе, и при ней черная картонка с образцами.

— Мадам, я только что прибыла из Парижа с наборами, заказанными по телефону, — объявила она, еле двигая тонкими губами на усталом лице. Расстегнув два кожаных ремешка, она разложила свои товары, прямо как человек от «Щеток Фуллера», приходивший к нам на кухню в Голливуде. Только это уже были не щетки для овощей! Это были мечты из атласа, крепдешина и тончайшего шелка — персик и жемчуг, папоротник и бледная лаванда, сливки и белая глазурь. Все шуршало и скользило. Мать

совершенно безучастно выбрала то, что хотела — необходимости что-либо примерять не было, все было выбрано и сделано по мерке. Еще она выбрала несколько менее барочных ночных рубашек для Тами, после чего отпустила мадемуазель «Коричневый серж».

— Радость моя, позвони консьержу, чтобы он заказал такси. Когда ваш поезд отбывает в Париж? — она повернулась к даме, укладывавшей свои сокровища.

— Через три часа, мадам.

— Радость моя, скажи администратору, что дама, приехавшая из Парижа к мадам Дитрих, будет есть в столовой, скажи, чтобы записали на мой счет, и чтобы через час посыльный проводил ее в такси на станцию.

Мадемуазель была потрясена такой щедростью и со множеством задыхающихся merci отправилась насыщаться в роскошной гостиничной столовой отеля. Мать сгребла в кучу свое новое убранство и отправилась показывать его отцу. Выполнив свою работу на телефоне, я вошла в комнату отца в тот миг, когда она спрашивала у него совета, какую из новых ночных рубашек, по его мнению, она должна нынче ночью надеть для Ганса.

— О, Мутти, — воскликнула я, — надень бежевый крепдешин с вшитыми кружевами, она самая лучшая!

Мать задумалась на секунду, потом засмеялась:

— Ребенок прав, Папи! Какой у нее глаз — потрясающе. Она все знает об одежде для меня. Если ты действительно когда-нибудь сомневался, что она твой ребенок… — и, оборвав свою фразу на полуслове, она вышла из комнаты.

— Кот! Пойди проверь свою комнату. Посмотри, хорошо ли ее убрали горничные. Если нет, доложи мне! — сказал отец.

Необычный приказ. Отец всегда держал гостиничный персонал в жесткой узде и в результате добивался самого добросовестного сервиса. В некотором смысле его за это даже уважали. Действительно ли мой отец сомневался в том, что я его ребенок? Может быть, я была не его дочкой… тогда чьей? Только маминой? Возможно. Она мне всегда говорила, что я принадлежу только ей. Я вернулась доложить, что моя комната — «само совершенство».

Полностью оправившись от болезни, отец решил меня эвакуировать. Оставив Тами и Тедди охранять венский форт и помогать матери в ее входах и выходах, он повез меня в Ауссиг-на-Эльбе, где жили его родители. Мы подъезжаем к маленькой ферме, и — вот они, здравствуйте! Моя бабушка Роза; маленькая и круглая, уютный сверточек накрахмаленного голубого льна с

самой сладкой улыбкой в мире, и мой дедушка Антон, длинный и угловатый, эдакий австрийский Линкольн, молчаливо глядящий на жену с таким видом, что сразу становилось понятно, что по-настоящему значит слово «брак».

Бабушка прижала меня к себе, в словах не было необходимости. Если она тебя любит, это видно сразу, без эмоций и прикрас. Это было по-настоящему — прямо как ее хлеб, с жаром и уверенностью поднимавшийся в большой черной печи. Дедушка положил мне на голову большую тяжелую руку и посмотрел на меня с удовольствием, а я на него — с радостью. Отец пожал руки родителям, затем занялся нашим багажом, одновременно обсуждая с отцом нашу поездку в его новом «паккарде». Меня проводили ко мне в комнату; бабушка волновалась, не выросла ли я из резной деревянной кровати, расписанной колокольчиками.

Мать протелеграфировала, что она по мне скучает, так что нам пришлось уехать раньше, чем планировалось. Бабушка передала со мной банку своего лучшего варенья матери на завтрак и крепко обняла меня. Я уцепилась за нее и плакала. Дедушка подарил великолепную маленькую лисичку, которую он выстругал специально для меня, так что я еще немного поплакала. Отец сказал, чтобы я прекратила мелодраму и залезала в машину; затем по всей форме попрощался с родителями, и мы отъехали. Мне было неважно, что это выглядит театрально — я всю дорогу вниз по холму махала им. Всего четыре дня, но они были чудесными!

— Ангел мой! Как я по тебе скучала! Моя жизнь без тебя опустела! Я не спала ни разу, пока тебя здесь не было! Тами ничего не умеет делать правильно. Она перепутала все карточки из цветов. Обслуживание в этом отеле вдруг стало ужасным. Снаружи репортеры, только меня и ждут, мне приходится спасаться от них через черный ход — и это в Европе! Прямо как в Чикаго! Папи, почему ты не забрал Тедди в Ауссиг? Каждый раз, когда мне была нужна Тами, она «гуляла с собакой». А пока она наконец вернется, я уже все сделаю сама!

Она целовала меня в глаза.

— Твое прекрасное лицо. Как мне не хватало твоего прекрасного лица! — Она отошла назад, чтобы осмотреть меня. — Твои волосы — когда ты в последний раз мыла голову?

— Прости меня, Мутти. Посмотри, что мне сделал дедушка, — и я показала ей на ладони великолепную лису.

— Радость моя, пойди переобуйся и вымой руки. Папи, ты должен прочитать эту телеграмму и сказать мне, что отвечать, — сказала она, направляясь к письменному столу.

У себя в комнате я завернула лису в самый чистый носовой платок и засунула глубоко в ящик ночного столика. Могла бы и не нарываться. Она ненавидела, когда мне нравились подарки от других, считалось, что я должна любить только ее подарки. Может быть, про замечательное бабушкино варенье лучше вообще не упоминать? Безопаснее всего вообще не говорить о моей дивной поездке! Тами одарила меня беглым приветственным поцелуем — она выглядела осунувшейся, абсолютно истощенной.

За время нашего отсутствия господин Ярай, надо полагать, сделал что-то не так, или же пресса подобралась слишком близко, потому что внезапно по всем комнатам пронеслась оберточная бумага, и Вена исчезла в облаке пыли за нашим «паккардом», а мы поехали в Зальцбург — лучшую из всех возможных реклам для Австрии: цветущая горная деревня с Замком Спящей Красавицы и замысловатыми фонтанами, украшенными гирляндами с изображениями Моцарта; культура сочилась там из каждой трещины между булыжниками. Конечно же, такие «опереточные» декорации немедленно требовали костюмов, и мы отправились к лучшим в мире тирольским галантерейщикам, Ланцам из Зальцбурга. Платья с узким лифом, накидки, шляпы, охотничьи куртки, юбки, оборчатые крестьянские блузки, пуговицы из серебряных монет или оленьей кости, и *на всем* вышита горная флора и фауна. Можно было бы вырядить десять дорожных свит «Принца-студента», и на их складах ничего не поубавится. Матери потребовалось всего несколько минут, чтобы преобразиться. В темно-зеленой юбке, черном строгом жакете со своими отличительными фестончатыми, бутылочного цвета отворотами и пуговицами из серебряных монет, и опять же в бутылочной зелени дерзкой велюровой шляпе, украшенной великолепной щеточкой из щетины кабана, она была похожа на шикарную австрийскую мэршу. Мы с Тами справлялись не так успешно.

— Муттиляйн, прошу тебя! Я не могу носить все эти прекрасные вещи. Это все чересчур дорого! — все время шептала Тами, пока мать забрасывала вешалки с одеждой в ее спаленку.

Тами, не глупи. Нельзя же ходить по Зальцбургу одетой, как венская госпожа или как какая-то туристка. Надень это голубое платье с рукавами с буфами и красный полосатый передник и иди сюда, я на тебя посмотрю! — приказала мать, после чего перешла на меня.

— Радость моя! Больше на один размер? Это невозможно. Выйди сюда, дай на тебя посмотреть!

За спиной матери собрался завороженный круг покупателей, по достоинству оценивших целенаправленность и мастерство, с которыми она одевала своих подопечных. Я приготовилась к

инспекции. Чересчур туго набитый чехол для чайника — доярка, с которой что-то не в порядке! Я была уверена, что слышала, как публика хихикает.

— Да… жилет слишком тугой. Выпрямись! Сутулясь, ничего не скроешь, только сделаешь хуже. Может быть, я смогу найти что-нибудь темное! Сними это и жди! — и она устремилась прочь, твердо решив достичь невозможного. Отец также подвергся метаморфозам, отказавшись лишь от кожаных шорт с подтяжками, украшенных эдельвейсом. Наконец мы оказались на улице, прямо как семейство фон Трапп на прогулке. Это задало стандарт для всех наших будущих визитов в Зальцбург. В наши списки багажа был внесен новый чемодан, помеченный «Австрия-Зальцбург спец.». Каждый год, пока Гитлер не захватил Австрию без малейшего усилия, мы ездили туда играть Доярок среди Лютиков.

— Папиляйн… — у матери рот набит венской колбасой и горячим картофельным салатом: мы были очень последовательны, меню обычно соответствовали костюмам.

— Я хочу австрийский крестьянский домик — старый и прекрасный, с темно-зелеными ставнями, маленькими окошками и белыми кружевными занавесками, с полностью резным фасадом и со стихотворением над дверью, и с цветочными ящиками, полными красных гераней, перед каждым окном. — Она взяла себе еще огуречного салата и черного хлеба.

— Ганс носил бы свои прекрасные тирольские пиджаки, Брайан мог бы гулять, Ребенок бы делал гирлянды из полевых цветов, Тами кормила бы цыплят, я бы готовила всякие овощи из сада, а ты бы сидел на солнышке на темно-зеленой скамейке и читал газеты. Мы могли бы даже завести *настоящую* корову! — Отец уже вытащил свою записную книжку от Эрмеса и принялся записывать все необходимое для ее «деревенского счастья». Никто из нас не сомневался, что он способен найти в точности такой дом, какой был заказан.

— Мутти, сейчас слишком поздно. У тебя осталось мало времени, но после следующего фильма — пожалуйста. Сейчас Ганс ждет тебя, Джо беспокоится, когда ты примешься за костюмы… и ты знаешь, что наш отъезд намечен на…

— Да, Папиляйн! — перебила она его. — Знаю. Сначала мне нужно сделать деньги! Хорошо еще, что Джо на сей раз сделал меня принцессой. Со всеми этими огромными юбками того периода им не удастся увидеть… Ноги! — она захихикала. — Как это не понравится «Парамаунту»! «Никаких ног в фильме Дитрих?» Одно это стоит целого фильма! — Она жестами

приказала официанту выловить еще несколько колбасок из дымящегося горшка рядом с нашим столом. В тот день она была в очень хорошем настроении.

— Папи… а Екатерина Великая разве не была лесбиянкой? Наверное, была. Она не могла бы так править Россией, если бы была *нормальной*. По крайней мере костюмы будет интересно делать. Трэвис Бентон, наверное, как сумасшедший, занимается «исследованиями» — и нарисует так, чтобы все выглядело «доподлинно исторически» и не годилось для камеры! Он создает себе репутацию человека, одевающего Дитрих, а всю работу делаю я. Он ничего не понимает в «контурах» Почему все педики такие суетливые? Они всегда всех одевают чересчур пышно, но на сей раз мы используем много русского соболя — это будет стоить целое состояние! Пусть студийные боссы вопят, Джо с ними справится. Может быть, мы разрешим им самим сшить шкуры — как они когда-то делали!

Образ парамаунтских иерархов, сидящих, скрестив ноги, на своих столах из красного дерева и усердно работающих старыми скорняцкими иглами, так ей понравился, что она весело расхохоталась и напала на новую колбасу с особым смаком. На самом деле, она, похоже, с нетерпением ожидала своего следующего фильма, что для моей матери было очень необычно. Наша первая «историческая» картина! Звучало здорово!

Отец зачитывал нам расписание культурных мероприятий, которое он составил для пополнения нашего образования, и вот я слышу, что мы идем на концерт очередного скрипичного квартета, естественно, игравшего Моцарта. Моцарт, Моцарт, Моцарт. Не могу больше! Я изо всех сил старалась его полюбить. Все вокруг так восторгались его музыкой, что я поняла, что со мной что-то не в порядке, потому что я от нее засыпала. Раз уж все были в таком жизнерадостном настроении, я осмелилась спросить разрешения остаться в тот вечер в отеле и отправиться прямо в постель.

— Что? — мать повернулась ко мне. — В постель? Ты больна? У тебя жар? Папи, Ребенок плохо выглядит! Радость моя, в чем дело — живот? Эта жирная колбаса и тяжелый картофельный салат? Папи, тебе не следовало этого заказывать!

Она взяла меня за руку, заставила нас сесть в лифт и подняться в номер. Мне было приказано быстро раздеться, пока она ходила за градусником. Я расстегнула новый расшитый жилет, сняла оборчатый белый передник и попыталась подумать о том, что делать дальше. Притвориться больной казалось наиболее безопасным способом справиться с этой деликатной ситуацией. Я

молилась о температуре! Настоящей, высокой! Пожалуйста! Прямо сейчас!

Мать вернулась, сунула большой плоский градусник мне под мышку и стала ждать. Я изо всех сил прижимала руку к боку, надеясь, что давление повысит таящийся там жар моего тела, какой бы он ни был, чтобы ртутный столбик поднялся. Не повезло.

— Ангел мой, с тобой все в порядке! — вздохнула она с облегчением.

Мне все равно было велено оставаться в постели, а она ушла на террасу допивать кофе. Я так и не узнала, откуда она узнала правду. Подозреваю, что от моего отца, потому что час спустя одна из служанок, закрепленных за нашим номером, передала мне, что Мадам велела сообщить своему ребенку следующее устное послание. Служанка очень нервничала, пытаясь изложить все в должном порядке:

— Фрейлейн Хайдеде, вам нужно встать, умыться, одеться к вечернему выходу — надеть ваше бледно-голубое шелковое платье, пообедать одной внизу в столовой. Обед заказан на шесть часов, после чего вам нужно сопровождать фрейлейн Тамару на концерт Моцарта, который начинается ровно в восемь.

Она с облегчением сделала неуклюжий реверанс и ретировалась. Когда мать сердилась, она никогда не впадала в ярость, никогда не употребляла силу. Выказывать недовольство подобным образом она считала плебейством. Ее любимым примером, подтверждающим это воззрение была Джоан Кроуфорд:

«Эта ужасная, вульгарная женщина с выпученными глазами бьет своих детей. Они все в синяках, а она все время говорит, что «они только что упали с велосипедов»! Ужасно! Все знают, что на самом деле происходит у нее дома, но что можно ожидать от человека ее класса — дешевая чечеточница! Правда, все эти дети (зачем она завела себе двоих, это тоже безумие), они все приемные, и никогда нельзя сказать, может быть, с ними *что-нибудь* и не в порядке».

Методы наказания моей матери были гораздо более утонченными, рассчитанными на пробуждение чувства стыда и, следовательно, на восстановление послушания. Отец научился ее технике и тоже использовал ее очень удачно. Правонарушитель просто переставал существовать. Крибле-крабле-бумс! Я была стерта из ее мира. Она не разговаривала со мной и не глядела на меня; когда я приходила на завтрак, она вставала и выходила из-за стола. Она сама управлялась с цветочными карточками, открывала письма, прицепляла запонки к манжетам, чистила

обувь, наливала кофе и даже игнорировала булавку, которую я ей протягивала, используя другие, лежавшие в коробке, чтобы уложить волосы. Отец также избегал меня. Я не учла, что он тоже ярый поклонник Моцарта. Быть такой «невидимой» так одиноко! Тами тоже послушно отдалялась от меня, но это ничего, я знала, что она не осмелится быть со мной ласковой, если меня объявили персоной нон грата. Даже Теми не мог меня утешить; когда он попытался, ему жестко сказали «Нет!» и заперли в ванной. Я сидела на кровати и думала о своей Большой Беде. Поскольку даже Ганс Ярай казался неспособным ее отвлечь, такое положение может длиться неделями!

Я все еще была наказана, когда узнала, что Брайан тоже сделал «ужасную ошибку» Он написал личное и откровенное письмо одному из «мальчиков». В высшей степени опасное дело. Ему следовало бы знать, что таким людям никогда, никогда не следует доверять. Письмо Брайана, конечно же, немедленно переслали Дитрих, и конечно же, с мысленным облизыванием губ. Бедный Брайан. Почему ему нужно было быть таким невинным, и это в тот момент, когда Ганс Ярай все еще в фаворе. Он даже *не знает* про него! От все еще счастливого и ничего не подозревающего Брайана мать получила телеграмму:

МАРЛЕН ДИТРИХ
ОТЕЛЬ ЕВРОПА ЗАЛЬЦБУРГ
БУДУ НАХОДИТЬСЯ НА СОСЕДНЕЙ ВЕРШИНЕ ТЧК РОЛЬ НЕИНТЕРЕСНАЯ НО УИКЭНДЫ МНОГООБЕЩАЮЩИЕ Я ОБОЖАЮ ТЕБЯ ДО БЕЗУМИЯ ДИТРИХ
БРАЙАН
ОТЕЛЬ АЛЬПЕНГОФ ПЕРТИЗАУ

Она немедленно телеграфировала ответ Брайану, чтобы тот не планировал приезжать, что мы как раз уезжаем из Зальцбурга, чтобы навестить ее мать в Швейцарии. На следующее утро мы отправились в Париж, где Гансу Яраю было велено ее ожидать.

Со мной снова говорили, но мне этого уже не хотелось. Я очень хотела позвонить Брайану и поговорить с ним, помочь ему, указать, что он должен делать, но, хотя я проработала все возможности заказать телефонный звонок из Парижа в Австрию так, чтобы этого никто не обнаружил, ни одна из них не была достаточно безопасной, чтобы осмелиться ее испробовать.

«Плаца-Атене» был очень элегантен и очень приличен. Там подавали изысканный послеполуденный чай в зале, полном маленьких инкрустированных столиков, поставленных каждый в

отдельную нишу и окруженных расшитыми креслами. Матери вдруг разрешили находиться в Париже, что неудивительно — у Дитрих рано или поздно все получалось, как надо! Брайан, прочтя о том, что и она, и Ярай приехали в Париж, понял, что она ему солгала.

Дитрих,

я тебя не задержу. Ты причинила мне большую боль, больше, чем кто-либо когда-либо в моей жизни. После всего, чем мы были друг для друга, и всего, что ты мне говорила, невероятно, как могла ты нанести мне столь жестокие, столь ужасные удары? Если ты хотела избавиться от меня, тебе достаточно было сказать мне одно слово. Я не Шевалье и не де Акоста, и у меня слишком много гордости, чтобы укорять тебя или умолять, но, если хочешь знать, я дьявольски перестрадал за последние несколько недель и не могу найти утешения ни в чем и ни в ком. В своей жизни я причинял людям боль, хотя, думаю, никогда не делал этого сознательно, и теперь я с ужасом думаю о том, что им было так плохо, как сейчас мне.

Я знаю многих Дитрих, но та, которая сделала это мне, слава Богу, мне чужая. Я ее не знаю, и она мне не нравится, и я ей не буду писать, потому что иначе мне пришлось бы говорить горькие и ироничные вещи.

Вместо этого я пишу той Дитрих, которой отдал свое сердце, и которая в ответ дала мне огромное счастье и наслаждение. Она дала мне нежность, страсть и утешение, и тысячу воспоминаний, которые я всегда буду хранить. А если потом она вновь их отобрала — что с того? Это другая женщина с тем же именем; я благодарен той и люблю и теперь точно так же, как любил тогда, и всегда буду любить ее.

Если в какую-нибудь необычную минуту тебе случится встретиться с той Дитрих, если какое-нибудь событие или слово вновь воскресит ее на миг, пожалуйста, скажи ей, что она до сих пор держит в своих руках мое бедное сердце, и что моя любовь к ней глубока и подлинна, хотя я и знаю, что той Дитрих больше нет.

Тебе, которая сочетает в себе всех Дитрих, я желаю счастливой дороги и счастья, и успеха в Голливуде. Надеюсь, что ты нашла себе сердечного дружка в Зальцбурге и в Вене, и желаю тебе находить их и впредь.

Я буду следить за твоей карьерой с большим интересом, так как верю в твой талант — независимо от моего преклонения перед твоей красотой.

В ближайшем будущем мы, разумеется, встретимся в студии,

но пусть это тебя не смущает.

Пожалуйста, передай мою любовь ребенку-мечте, который мне очень дорог.

Эхерн

Как обычно, мать передала это письмо на суд отца и, пока он читал его, пробежалась глазами по последнему любовному посланию де Акоста:

Золотая, Прекрасная,

сегодня пришло твое письмо, и я была так рада получить его, потому что мне казалось, что прошло уже много месяцев с тех пор, как я что-то слышала непосредственно от тебя.

Я знаю, что ты пользовалась большим успехом в Вене, читала о тебе во французских газетах.

Я также прочла, что ты покупаешь много женской одежды. Надеюсь, не чересчур женской! И надеюсь, что ты не откажешься от своих штанов, когда вернешься, потому что тогда могут сказать (и уже говорят), что это был всего лишь рекламный трюк.

Я все время встречаюсь с «другой особой» которая совершенно изменила свое отношение ко мне — она прекрасна и мила, и совершенно не такая, какая была в прошлом году. У нее были чудовищные сложности с назначением на главную мужскую роль, и в конце концов она остановилась на Джоне Гилберте. Думаю, это плохой выбор, и, по-моему, она тоже так считает.

Буду счастлива снова увидеть твое прекрасное личико.

Твой Белый Принц

Я нервничала и становилась «поперек дороги». Все находились в ужасном напряжении — может быть, мы все просто очень устали. Но, конечно, не моя мать. Она снова была в городе, который она любила больше всех в мире, с воздыхателем, которого в тот момент любила больше всех, с письмами, которые надо было послать, звонками, которые надо было сделать, ланчами, к которым надо было одеваться и которые надо было поглощать, романтическими ужинами, на которых надо было быть прекрасной. У Дитрих всегда бывало так — чем больше ей предстояло, тем больше энергии она генерировала.

Время тащилось медленно. Изо дня в день я надеялась увидеть «гробы», выстроенные в ряд для укладывания вещей, но они, забытые, так и лежали в камере хранения. Мать была занята — она писала собственный сценарий:

ДЖОЗЕФ ФОН ШТЕРНБЕРГ
СТУДИЯ ПАРАМАУНТ ГОЛЛИВУД КАЛИФ
РАДОСТЬ МОЯ ПРОПУСТИЛА СЕГОДНЯШНИЙ РЕЙС И ПРОПУСТИЛА РЕЙС НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ И РЕЙС ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ ТЧК БУДУ ВЕЧНО БЛАГОДАРНА ЕСЛИ ОТЛОЖИШЬ ТЧК ОТБЛАГОДАРЮ ЗА УСЛУГУ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЕЙ ПРИБЫТИИ НЬЮ-ЙОРК ТЧК ЦЕЛУЮ

Я впервые наблюдала, как она заключает сделку. Я знала, как сильно она ненавидит пресс-конференции, и еще я знала, что ни одного корабля мы не пропускали!

ГОЛЛИВУД КАЛИФ 20 33
МАРЛЕН ЗИБЕР
ОТЕЛЬ ПЛАЦА-АТЕНЕ ПАРИЖ
ДОРОГАЯ МОЯ Я В ОТЧАЯНИИ ПОТОМУ ЧТО ЗНАЮ ТЫ ХОЧЕШЬ ОСТАТЬСЯ ПОДОЛЬШЕ В ЕВРОПЕ ПОТОМУ ЧТО Я ОБЪЯСНИЛ ТЕБЕ КАК МНОГО Я УЖЕ ОЖИДАЮ И НАСКОЛЬКО ТЫ МНЕ НЕОБХОДИМА ТЧК ОТКЛАДЫВАТЬ НАЧАЛО СЪЕМОК ОПАСНО НАПРИМЕР ИЗ-ЗА КОНКУРЕНТОВ ПОТОМУ ЧТО Я ХОТЕЛ БЫТЬ ПЕРВЫМ С КОСТЮМИРОВАННЫМ ФИЛЬМОМ И ПОТОМУ ЧТО КОРДА ТОЖЕ ПЛАНИРУЕТ ЭТО ТЧК НЕСМОТРЯ НА ЭТО КОНЕЧНО СОГЛАСЕН НА ЛЮБУЮ ЗАДЕРЖКУ ТОЛЬКО БЫ ТЫ БЫЛА ДОВОЛЬНА ХОЧУ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ТО ЧТО ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ ТЕБЕ ТЧК ТОЛЬКО ТЫ ОДНА ДОЛЖНА РЕШАТЬ ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ ДЕЛАТЬ СО СВОИМ ВРЕМЕНЕМ ТЧК НЕ ДУМАЙ ЧТО ТАКИМ ОБРАЗОМ Я ТЕБЯ ЗА ЧТО-ТО УКОРЯЮ Я ТОЛЬКО ХОЧУ С ТОБОЙ БЫТЬ АБСОЛЮТНО ЧЕСТНЫМ И ВСЕГО ЛИШЬ ПОДТВЕРЖДАЮ ЧТО ТЫ И ТОЛЬКО ТЫ КАК Я ТЕБЕ ВСЕГДА ГОВОРИЛ СВОБОДНО РАСПОЛАГАЕШЬ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ ПОТОМУ ЧТО Я НЕВЕРОЯТНО СЧАСТЛИВ ЧТО ИМЕЮ ПРИВИЛЕГИЮ РАБОТАТЬ С ТОБОЙ СНОВА ТЧК ЦЕЛУЮ ЦЕЛУЮ ЦЕЛУЮ

Ее ответ последовал сразу же, но дал ей выигрыш во времени, поскольку был послан письмом:

Ты мне посылаешь телеграмму на шести страницах, чтобы я почувствовала себя виноватой, если останусь. Будь так любезен, протелеграфируй мне недвусмысленный ответ. Что это за «последствия», которыми ты мне грозишь? Манипулировать мною совершенно ни к чему. Я лучше всего отвечаю на прямоту и честность. Стыдись!

МАРЛЕН ЗИБЕР 31 АВГ 33
ОТЕЛЬ ПЛАЦА-АТЕНЕ ПАРИЖ
ПОЧЕМУ ТЫ ХОЧЕШЬ ЧТОБЫ Я СТЫДИЛСЯ ТЧК Я СОВСЕМ ОДИН С ТЫСЯЧЕЙ ЗАБОТ ТЧК ЛЮБИМАЯ ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СНОВА СПРОСИШЬ Я ТЕБЕ ЛИШЬ ЕЩЕ РАЗ СКАЖУ ХОТЯ ТЫ БУДЕШЬ НА МЕНЯ СЕРДИТЬСЯ ЧТО ОТПЛЫТЬ ДЕСЯТОГО ЧИСЛА АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО ТЧК ТЫ ТАКОЕ ЧУДЕСНОЕ СУЩЕСТВО ЧТО Я УВЕРЕН МОГУ РАССЧИТЫВАТЬ НА ТЕБЯ ЧТО ТЫ ВЫПОЛНИШЬ СВОЙ ДОЛГ ДАЖЕ КОГДА ЭТО ТРУДНО ТЧК НЕ ЗЛИСЬ НА СВОЕГО БЕДНОГО РЕЖИССЕРА

Наконец отцу надоело и он принял командование. Он зарезервировал нам места на пароходе «Париж», отплывавшем через две недели, и перевез Тами и Тедди из гостиницы к себе в парижскую квартиру.

Наш австриец вернулся в свой город *шлага*; пришла пора покидать Европу. Я поцеловала Тами на прощанье, крепко обняла. Я прошептала ей на ухо, чтобы она не боялась моего отца, помнила то, чему я ее учила, и больше заботиться о себе самой. Потом я тискала Тедди, он даже запищал. Отец отвез нас в Гавр, ловко обошелся с репортерами, разрешив им лишь определенное количество вопросов и больше ничего, устроил нас и нашу поклажу в каютах, убедился в том, что чемоданы на борту и в надлежащей секции трюма, щедрой рукой раздал чаевые многочисленным стюардам, от которых зависел наш комфорт, и передал матери бланки для телеграмм, журналы, европейские газеты, а также список вещей, багажную книжку и помеченные ключи. Поцеловав ее в щеку, он велел ей отныне забыть обо всем, кроме предстоящей работы. Пусть не беспокоится — он позаботится о Гансе, о ее матери и сестре, об ее эмигрантах и обо всем, что ей может захотеться заказать из Парижа. Она должна передать от него наилучшие пожелания Нелли, Дот, Эдингтону и де Акосте; передать привет шоферу Бриджесу и «мальчикам», и еще он посылал свою любовь Шевалье и фон Штернбергу. Мне было строго приказано:

— Кот, приглядывай за Мутти и больше не причиняй ей таких неприятностей, как во время этой поездки. Понятно? И запомни, книгу, которую я тебе дал прочесть, ты должна закончить к тому времени, как корабль прибудет в Нью-Йорк.

Он быстро поцеловал меня и исчез в глубине корабельного коридора. Мать курила и выглядела всеми покинутой. Я налила ей бокал шампанского, что всегда помогало, затем осмелилась попросить у нее разрешения выйти наверх, всего на секундочку! Я бежала так быстро, что добралась как раз вовремя, чтобы увидеть,

как озорная тирольская шляпа отца появилась на сходнях. Я махала и кричала ему, но сквозь «Марсельезу» он меня не слышал. Я смотрела на него, пока он не исчез в толпе.

«Париж» был несколько староват, но, как множество французских дам, очень хорошо сохранился и все еще был прекрасен. В этот конкретный сентябрь 1933 года Атлантический океан решил показать всем смертным мореплавателям в их глупых суденышках, кто настоящий хозяин. Огромные волны поднимали нашу галльскую даму, затем давали ей соскользнуть вниз — снова и снова. Пока «Париж» танцевал свое безумное танго по бушующему морю, меня стошнило — но мне было наплевать. *Я ехала домой*! Все остальное — ерунда!

Голливуд. Звездные годы

Некогда задерживаться в «Амбассадоре». Мы спешим. «Мать-Россия» ждет среди апельсиновых рощ. Мама чистила лицо, спала и слала телеграммы в Вену — опять целый поток. Я рассказывала приятелям-охранникам об Эйфелевой башне и австрийских церквах, которые внутри выглядят, как цирковые калиопы. У них для меня тоже были новости: у кого кто родился, как мистер Рузвельт спас Америку и что было в пропущенных мной выпусках комиксов.

Мы уже почти приехали. Я спустилась в темноте по лесенке со своей полки, молясь Богу, чтобы не разбудить спавшую внизу маму, тихонько открыла дверь и выскользнула в коридор. Все еще не дыша, я прикрыла купе и бросилась бежать через все вагоны к моей любимой открытой площадочке в хвосте поезда. Я как раз успела увидеть, как мы въезжали в пустыню. В своей специальной «дорожной» пижаме я сидела, обхватив колени, в соломенном кресле и ждала рассвета. Колеса отстукивали свой ритм, почти не нарушая тишины. Мягкий воздух был напоен особой смесью запаха остывающего песка и перекати-поля. Красно-фиолетовые тени чуть золотились по краям. Нотр-Дам, конечно, увидеть стоило, но я была глубоко уверена, что Бог живет в Америке.

— Опять мы в этой ужасной стране, — бормотала моя мать, сходя с поезда в Пасадене. Фон Штернберг, Нелли, Бриджес, «кадиллак», мои охранники, отборные репортеры из «Парамаунта» и багаж — все ждали, пока Дитрих целовала в щеку своего режиссера. Щелкали фотоаппараты.

Я уже шмыгнула в машину, подальше от чужих глаз. После угрозы похищения меня не разрешалось фотографировать. Из-за риска быть опознанной или что-то в этом роде. Я знала одно: в Америке при виде фотоаппарата я должна прятаться; вот я и скрылась, послушная приказу.

Мы катили по шоссе; мама держала речь.

— Париж — единственный цивилизованный город на свете! Папи заставлял нас все время есть! Я потолстела — все мне узко. В Вене не было ничего интересного, кроме «Кнайзе», — я купила тебе там халат. Я сказала: «Для мистера фон Штернберга», и у них нашлись твои мерки. Но ты бы видел Руди в то утро, когда он заболел. — Моя мать завела пластинку «почечная колика Руди в Вене» Я наклонилась вперед на откидном сиденье и погрузилась в свои мысли; мимо плыли улицы Пасадены. Почему моей матери не интересно, что другие делали в ее отсутствие? Я никогда не слышала, чтобы она хоть у одной живой души спросила: «Как

дела?» Почему? — размышляла я, не подозревая, что так будет и через пятьдесят пять лет.

Мы ехали долго. Мама все курила и говорила. Мне не терпелось увидеть дом, где мы должны были жить на этот раз.

Район Бель-Эр расположен на отлогих холмах между Санта-Моникой и Беверли-Хиллз и огорожен металлическим забором со сторожевыми домиками. За ажурными воротами — подумаешь, что там чуть ли не Букингемский дворец, — среди растений с самой густой листвой, какая только известна человечеству, прячутся друг от друга самые богатые и знаменитые. Они выбираются из этого роскошного загона только затем, чтобы заработать еще денег или потратить их, и заползают обратно, в свое надежное в те времена укрытие от всех зол внешнего мира. Пока телевидение, молодежь и адвокаты не переворошили всю кастовую систему Голливуда, для кинозвезды самым большим достижением — в смысле местожительства — было водворение в Бель-Эре. Актеры с Беверли-Хиллз просили помечать их дома на туристических схемах, которые с уличных лотков увядающие нью-йоркские актрисы продавали любопытным по пятачку. Бель-Эр коробило такое откровенное тщеславие. Сквозь их дворцовые ворота не проникало ничто. Если сегодняшний дежурный не находил вашего имени в списке прибывающих либо отбывающих, вам приходилось дожидаться подтверждения из дома, что вы «свой». Не знаю, как они сейчас поддерживают такой же уровень безопасности, при всех этих вездесущих бегунах трусцой, но тогда… Тогда никто не бегал и даже не ходил. На улицах можно было видеть только японцев-садовников и актеров из Англии, да и тех останавливала полиция и спрашивала: «По какому делу?»

Синкопический звук клаксонов трех автомобилей возвестил наше прибытие. Охранник в униформе — Св. Петр у врат Рая с револьвером на поясе — заглянул внутрь машины, внимательно все оглядел, признал в нас своих новых подопечных — но все-таки сверился со списком, есть ли там имя Дитрих, — отдал честь и взмахом руки пропустил нас. Мы двинулись вверх по склону холма, повернули, потом снова поехали вверх и наконец подкатили к дому Колин Мур. Что это был за дом! Настоящее жилище блистательной кинозвезды 1930-х! У него, конечно, был почтовый адрес, но его все знали как «дом Колин Мур в Бель-Эре».

Я думала, мы приехали в Мексику! Терракотовая черепица, прохладные плитки пола, повсюду вазы, ажурные перила. Гостиная казалась необъятной; темным, кроваво-красным колоритом своего убранства она напоминала картины Гойи; по стенам были развешаны шестифутовые канделябры. Все это будто

бы ждало Панчо Виллу. Колин Мур, звезда немого кино и aficionada недвижимости, должно быть, питала страсть к изукрашенным дедушкиным часам, потому что они были повсюду и — совсем не по-испански — бренчали, били и отзванивали минуты, тридцатиминутные периоды, часы и все остальные интервалы, заслуживающие какого-либо звона. Моя мать немедленно выпотрошила их, и они стояли молча во время всей дитриховской оккупации их территории. «Новая Испания», возможно, и заняла интерьер, но пространство позади дома, несомненно, принадлежало Голливуду. Вдоль всего здания шла крытая галерея, на которой стояло множество стульев в стиле «Великий Гэтсби» и кушеток, обитых вощеным ситцем, — веранда «совсем как в Ньюпорте». Сбоку, под высокими банановыми пальмами, был выстроен и полностью оборудован миниатюрный кинотеатр. В то первое утро на нашей новой гасиенде мне живо представилось, как я продаю билеты своим телохранителям, да и все домочадцы собрались, и я провожаю их к голубым плюшевым креслам, освещая путь маленьким фонариком. Может быть, мы даже поп-корн сможем делать на нашей огромной кухне и раздавать перед началом «Последнего триумфа братьев Маркс»! Увы, этому видению не суждено было стать явью, мой «личный» кинотеатр зарастал паутиной, и от него вместо запаха топленого масла исходил дух запустения. Холмистые лужайки? Наши лужайки круто спускались вниз, мимо ренессансного розария и дальше, пока не упирались в огромнейший бассейн из всех, когда-либо виденных мной. В доме при бассейне могла бы спокойно разместиться семья из четырех человек. Из-за того, что моя мать ненавидела купание, ненавидела солнце, существуя исключительно в четырех стенах; из-за того, что фон Штернберг никогда не отдыхал, из-за того, что у меня не было друзей; из-за того, что Дитрих за все время ни разу не устроила у себя приема, всей этой голливудской роскошью наслаждался один-единственный человек — ребенок, не достигший и девяти лет.

Пока моя мать усиленно дезинфицировала сиденья унитазов, давая очередной бой наглому сифилису, а затем распаковывала вещи, я с ее разрешения опробовала свой новый водоем. Фон Штернбергу, восседавшему на веранде в кресле, которое вскоре будет называться креслом Джо, были выданы ручки, карандаши и бумага; при этом ему было также сказано, что если уж он непременно хочет писать свой сценарий на веранде, то пусть, по крайней мере, следит, чтобы Ребенок не утонул. Для этого ему пришлось бы просто приклеить к глазам бинокль, потому что тонула бы я очень далеко, за полем для гольфа. Фон Штернберг ни разу не поднял головы от работы. Он знал, что я расскажу

маме, как фон Штернберг следил за *каждым* моим движением, а я знала, что и он в случае чего отчитается о моем отменном послушании.

Новая горничная, в накрахмаленном переднике — белые манжеты на черном платье из тафты — домаршировала до бассейна и с сильнейшим немецким акцентом пропела, что фрау Дитрих ждет меня «для покушать». Меня всегда тянуло спрашивать новых горничных, как их зовут, и сообщать в ответ, как зовут меня, но мама, однажды застав меня за этим делом, прочитала мне такую нотацию на предмет сохранения подобающей дистанции между хозяевами и слугами, что я больше не смела инициировать знакомство — по крайней мере, до тех пор, пока не узнавала «помощниц» получше и не решала, донесут они маме о моих удручающе-демократических наклонностях или нет.

Какой-то восточный джинн включил поливочный разбрызгиватель, спрятанный в изумрудной траве, и я увидела, как водяные струи, изгибаясь и каскадом ниспадая на землю — прямо маленький Версаль, — образовали тысячи туманных радужек. Рукотворные росинки пали на розы, и те как будто укачивали их в колыбельках из своих нежных лепестков. Крошечные серо-голубые и ядовито-зеленые колибри, чье яркое, переливающееся оперение делало их похожими на драгоценности, замирали над цветами, как в кадре замедленной киносъемки. Я была очарована всем этим волшебством. Разумеется, мне попало за то, что я вымокла и заставила взрослых ждать, пока Ребенка переоденут в другой сарафанчик, но я решила при первой же возможности снова совершить поход в свой радужный мир позади дома.

— Любимая, я собираюсь пригласить какого-нибудь неизвестного актера на роль графа Алексея.

— Кого-кого? — спросила мама, нарезавшая вареную ветчину.

— Графа Алексея — эмиссара российского императорского двора, сопровождающего княгиню Софию Фредерику, то есть тебя — это ты помнишь?

— А, того, кто в меня влюбляется, — прервала его мама. — Но зачем же сразу сарказм? Я приехала в эту даль, потому что ты хочешь, чтобы я сыграла в твоем русском фильме! Лично я предпочла бы остаться в Европе! — Она подложила фон Штернбергу огуречного салата, повернулась ко мне и показала на блюдо с крошечными жареными цыплятами:

— Ешь, ангел, это тебе. Джо, где эскизы Трэвиса? Я думала, они будут здесь раньше нас. И у Нелли нет ни одного эскиза

причесок. Что они тут делают в «Парамаунте»? Прячут джин «В. С. Филдс»? Ты умолял меня «поспешить», а когда я примчалась, бросив все на бедного Папи, оказывается, что ты еще не закончил сценарий! — Она откусила огромный кусок ржаного хлеба, густо намазанного печеночным паштетом. — На шитье костюмов уйдут *месяцы,* а ты думаешь о каком-то неизвестном актере!

Фон Штернберг положил нож и вилку. Медленно вытер губы, откинулся на стуле:

— Мутти, тебе, по крайней мере, нравится этот *дом,* который я тебе нашел? — спросил он.

— Да, очень, очень импозантный, очень «звездный», в духе старых времен. Кухня хорошая — совсем не американская, ну и спален достаточно для моих чемоданов. — Она начала убирать тарелки. Фон Штернберг сказал, что его ждут на студии, и ушел, а я отправилась к своим радугам.

У ворот «Парамаунта» нас приветствовал Мак:

— Здравствуйте, мисс Дитрих. Привет, Хайдеде! Добро пожаловать! Это был мой дом. Студии не меняются. Ну да, они расширяются, модернизируются, украшают офисы окнами из черного стекла, но атмосфера, дух их — неизменны. Извивающиеся проходы между площадками, заваленными кабелями, разбросанные тут и там треножники, генераторы, грузовики, микрофонные журавли, софиты, реквизит, ценное оборудование, сваленное в кучу за воротами за недостатком места; вон ковбой в запыленных сапогах беседует с команчем, а вон Саломея пьет кофе из бумажного стаканчика в тени фургона переселенцев. Везде делаются декорации, жужжат пилы, а запах свежераспиленного дерева — мой самый-самый любимый. Пока моя мать занималась выражением своей досады в связи с Трэвисом, я бродила по студии и входила в курс событий. Мэй Уэст закончила сниматься в «Я не ангел», где главную мужскую роль играл наш продавец рубашек из «Белокурой Венеры». Мне нравился Кэри Грант, и я радовалась его успеху. Работа с Мэй Уэст была лучшим в мире «ускоренным курсом» комедийного искусства! К тому же он был ей симпатичен, и она старалась выложиться.

Я зашла в парикмахерский отдел. У них была новая кофеварка, но от грима пахло по-старому — жиром и кольдкремом. В продовольственной лавке появился новый зеленый салат. В целом же не изменилось ничего — спокойствие и безопасность моего мира были нерушимы.

Прибыл фургон Бекинсов. Мы распаковывали коробки с

надписью «Студия. Парикмахерская». Полотенца, коврики для ванных, посуда, пепельницы и сигаретницы, зеркала, грим, шпильки, карандаши, ручки, точилки, пачки бумаги, резинки, фотооткрытки, граммофон, пластинки, вазы, телефонные книги, какие-то особенные вешалки и термосы… Я спешила. Надо было выполнить просьбу — мама уже ждала меня. Я торопливо искала ту коробку, которую помогала складывать после «Песни песней», с пометкой «Для уборки» Поскольку все было написано по-немецки, находить нужные ящики всегда приходилось мне или маме. Пока звезда «Парамаунта» первой величины боролась со своими любимыми микробами, я искала одну-единственную коробку, на которой не было указания ее содержимого — только номер 1. Мама боялась, что коробку с надписью, даже немецкой, «Дитрих. Куклы» непременно украдут. Возможно, она была права. Ведь эти куклы были не только талисманами Дитрих, но могли по праву и сами считаться своего рода кинозвездами. Они сидели на туалетных столиках Лолы в «Голубом ангеле», Эми Джолли в «Марокко» и Хелен Фарадей в «Белокурой Венере». Контрабандой проникающие в каждый фильм Дитрих, они и сейчас найдут себе местечко — даже в империалистической России.

Мы еще только-только начали съемки, когда мне подарили пару гончих, наверно, чтобы холмистые лужайки не пустовали. Они были точь-в-точь свои глянцевые фарфоровые копии и носили претенциозные клички, данные им явно в насмешку: Молния и Вспышка. Но у них была километровая родословная, и еще мою мать тронул их очень уж хрупкий вид. Она не ошиблась и на этот раз: обе собачки умерли на другой же день от двусторонней пневмонии. Собак заменили четырьмя кроликами, которые стали размножаться с ужасающей быстротой. Они радостно скакали, выедая проплешины в роскошных лужайках.

День ясный, жаркий, солнце ослепительное; сейчас восемь утра, мы завтракаем на веранде; мама читает нашу библию — ежедневный «Голливудский репортер» Все, кто так или иначе связан с кинобизнесом, потребляют его каждое утро вместе с апельсиновым соком. Моя мать никогда не пьет апельсиновый сок: «Только американцы могут вдарить кислотой, да еще со льдом, по пустому желудку!» Она читает «Репортер» за кофе и сигаретой. Сегодня «мальчики» явились на «божественную яичницу» Марлен. Закончив восторгаться ее собственным вариантом быстрорастворимой холестериновой смерти, они усиленно приканчивают все, что осталось на столе. Мама говорит:

— «Репортер» пишет, что Майер подумывает о Джаннет Макдональд в «Веселой вдове», просто смешно! — мама никогда

не любила Джаннет Макдональд.

— Ну скажите мне, как люди ходят на эту слащавую кривляку? Эти ее вечные розочки на всем, чуть приоткрытые губки, переливчатый голосок, шелковые туфельки, семенящие мелкими шажками — сплошной «трепет». Как «изячно»! Нельзя же принимать все это всерьез! Неужели *она* делает *большие сборы*? Шевалье говорит, что терпеть ее не может. Как-то он мне сказал, что от нее пахнет дешевым тальком, а я спросила: «В каком месте ты нюхал?» Конечно, он ошалел и не нашелся, что ответить.

Со льстивой аудиторией моя мать давала волю своему острому, как рапира, языку и развлекалась от души. Я сижу и жду, надеясь, что она быстро покончит с «Репортером», чтобы самой почитать его. Но сегодня некогда — мы едем на студию сочинять платье для первого выхода в «Красной императрице».

— Юная! Юная! Она должна быть ЮНАЯ, Трэвис! Юную Дитрих надо делать совсем не так, как других актрис! Никто же не поверит в девственную чистоту. Дитрих должна выглядеть гипертрофированно-юной!

Я не совсем поняла про «девственную чистоту», но чувствовала, что по сути она права. Фон Штернберг мне рассказывал, что ей предстоит сыграть большой путь — от молоденькой девушки до императрицы. По своему обыкновению Дитрих думала подчеркнуть в своей героине внешнее перевоплощение, которое стало бы опорой актерской игре.

Трэвис покраснел больше обычного. Он был ужасно чувствителен к критике, особенно со стороны своего самого драгоценного достояния. Возможно, инстинкт говорил Трэвису, что Дитрих тоже блистательный художник и поэтому необходима ему для поддержания репутации; но в то же время ее талант не мог не беспокоить самолюбие Трэвиса.

Во время их перебранки, которую мама назвала бы «дискуссией», я взяла со стола тяжелую пачку эскизов и разложила их на полу. Мама предпочитала смотреть на эскизы именно так — сверху вниз.

Я не хотела показаться невежливой, но раз уж Трэвис прежде позволял мне класть рисунки на пол, я подумала, что таким образом можно, пожалуй, прервать их «дискуссию». Мама отвернулась от него, и мы стали изучать разложенное у наших ног великолепие. Вот оно, «платье молодой девушки», каждая деталь которого должна была усиливать образ, — сплошные кружева и бантики, пышный кринолин. К картонке с эскизом пришпилены образцы тканей: голубая тафта для бантов, кружево

для лифа цвета внутренности морской раковины. «Свадебное платье», от которого просто дух захватывает; его представляют образцы старинного серебряного кружева с нашитыми на них жемчугами и бриллиантами. «Платье для осмотра войск», ставшее самым знаменитым в фильме, — синий бархат и мех горностая; «бальное платье» из черного бархата, с аппликацией из шелкового шнура, свернутого в спиральный узор, с вышивкой мелким бисером, с открытыми плечами, с широченной юбкой на каркасе, с высокой тиарой. И везде жемчуг, жемчуг. Фон Штернберг еще дописывал сценарий, поэтому не все костюмы были придуманы, но то, что мы увидели, поражало воображение.

— Трэвис, это изумительно! — мама нагнулась и подняла эскиз моего любимого «платья для осмотра войск» — А почему бы нам не сделать его не из синего, а из бутылочно-зеленого бархата и отделать норкой? Белый мех горностая будет слишком контрастировать с темной тканью. И с такой высокой шляпой лицо лучше смотрится в полутьме. Важно ведь лицо, а не шляпа. Добавь немного пышности плечам, чтобы рукава казались уже. Может быть, удлинить жакет, как в амазонке, чтобы он *прикрывал* обруч? И заострить полочки внизу и отделать застежку широкой полосой из норки, чтобы как-то рассечь эту линию каркаса. Плетеная застежка хороша, только доведи ее до самого низа, а с воротника, наоборот, убери: при высокой шляпе шея вообще исчезнет, если ее закрыть. Ты полагаешь, сюда подойдут высокие сапоги? И короткая стрижка, может быть? У нас уже есть прекрасные перчатки, я купила их в Париже. Дорогая, завтра мы принесем коробку с пометкой «Темно-зеленый — короткий» и покажем Трэвису. А сейчас я хочу посмотреть, как у Джо продвигается дворец. При таких пышных юбках двери должны быть широкими.

И мы отправились в отдел декораций озадачивать фон Штернберга.

Через эти двери проехал бы боком десятитонный грузовик. Мама тут же увеличила радиус своих кринолинов, чем чуть было не посрамила русские двери-иконы фон Штернберга. Как он любил свои двери! Высокие, как маяк, и каждая со своим собственным барельефом из эмали и золота на религиозные сюжеты, с разукрашенными медными ручками чуть ли не в двух метрах от пола. Актерам, открывающим эти двери по ходу действия, не придется играть усилие — они именно таковы, какими кажутся: огромные, массивные, невероятно тяжелые произведения искусства. А какие скульптуры! Изможденные, мрачные люди с эль-грековскими лицами, с жилистыми, паучьими руками. Везде, везде эти привидения. Одни в

болезненном объятии сжимают дерево, превращаясь в спинки банкетных кресел. Другие, с тонкими свечками в руках, изображают мрачную процессию; еще одни склонились в позах мучеников и обнимают зеркала, служа овальной рамой и опорами будуарного трюмо. Они, как Франкенштейн, чье красноречивое страдание вызывает, скорее, жалость, чем страх. Скульптуры были творением фон Штернберга, его призраками; но ведь и вся «Красная императрица» — это фон Штернберг, все в ней создано им или под влиянием его артистического видения. В ней одной из всех фильмов антураж соперничал с моей матерью за «звездность», и Дитрих знала это. Но фон Штернберг был великодушным гением и направил все освещение на нее, поэтому она оставила в покое его скульптурные излишества и ограничилась минимумом критики.

— Эти унылые лица везде и всюду! Куда ни повернись, везде перед тобой очередной кадавр. Россия ужасна, но не до такой же степени! Я понимаю, Джо хочет «декаданса», но, может быть, он перебарщивает? Впрочем, возможно, он действует на контрастах, как в «Голубом ангеле», когда он поставил позади меня на сцене всех этих толстых дурнушек.

Поскольку Дитрих, в отличие от других актеров, никогда не обсуждала свою работу с коллегами, ее спонтанные замечания, слышали лишь те, кто находился в непосредственной близости, будь то в примерочной, гардеробной, в кухне или в ванной вечером, когда я ради компании сидела на краю ванны и смотрела, как она намывает лицо мылом «Кастилья».

Вот и сейчас она надраивала лицо, с остервенением чистила зубы, ополаскивала их своим французским эликсиром с запахом высушенных розовых лепестков, от которого вода окрашивалась в красный цвет, и между сплевываниями продолжала:

— Завтра мы примеряем белые парики. Они должны блестеть, а не походить на вату. Цвет из волос, которые студия покупает у всех этих итальянских монастырей, надо вытравить, — вот что придаст им скучный вид. А эти локоны штопорами на эскизах ужасно банальны, во всех книгах нарисованы такие. Кто носил подобные парики? И выглядел соответственно?

Она надела пижамную куртку и погасила свет в ванной; по дороге в спальню я спросила:

— Ты имеешь в виду Тоби Винг, Мутти?

— Да, ту, что вечно ошивается в уборной Бинга Кросби и потом получает роли в плохоньких фильмах.

Мама легла, как всегда, на краешек кровати, будто это была не постель Коллин Мур, а солдатская походная койка. Я завела часы, выставила будильник, поцеловала ее и погасила свет. Она

уснула еще раньше, чем я закрыла за собой дверь.

На следующее утро фон Штернберг спросил:

— Мутти, ты прочитала дневник Екатерины Великой, что я тебе оставлял?

— Ну зачем, Джо? Это Бергнер надо, особенно с Кордой. Скажи мне, что делать, и все будет прекрасно! Знаешь, Трэвис желает, чтобы норковая шляпа у меня с головы опрокинулась — как Французская революция! Не хочет, чтобы она была похожа на шляпу Гарбо в «Королеве Кристине». Я ему говорю: «У нее на голове меховая корзина для фруктов!» На ней все выглядит «навешанным», как на вешалке. Но Трэвис уперся и твердит, что могут подумать, будто он подражает Адриану. Я говорю: «Чепуха! Никто и не вспомнит, что было на Гарбо!» Твой бульон в зеленом термосе, милый. Пойдем, ангел, — обернулась она ко мне, и мы отправились в отдел костюмов.

На самом деле участие в «Красной императрице» доставляло Дитрих большое удовольствие. Впервые играть монаршую особу было приятно, со своим аристократизмом Дитрих чувствовала себя в ней естественно. Тот факт, что Элизабет Бергнер, которой она когда-то поклонялась и дарила свою дружбу, снималась в фильме на эту же тему в Англии, не волновал ее ни в малейшей степени. Один осмотр гвардии, где Дитрих в высокой меховой шляпе, затмит любую сцену Бергнер, пусть даже та поднимется на небывалую для себя высоту актерской игры. Мама снова оказалась права: спросите любого киномана, кто играл Екатерину Великую, и он без колебания ответит: «Марлен Дитрих».

Мы были завалены рулонами ткани. Пока мама с Трэвисом ворошили их, рассматривали, находили что-то, потом отбрасывали, я сидела и слушала их разговор, попивая солодовый напиток и ожидая, когда же она найдет именно то, что, как ей кажется, она и ищет.

— Трэвис, я же знаю, есть бархат чернее. У этого ворс слишком короткий, и он не будет выглядеть богато на экране. И где жоржет, который мы не использовали в «Белокурой Венере»? Ты не отдал его Ломбард? Тот выцветший атлас, в который ты задрапировал ее для рекламного ролика… Право… Отлетающий от плеч? a la «вамп»? Ломбард? Она выглядела глупо… — Мама целеустремленно ползала под стеллажами с тканями; ее голос звучал как будто из обложенной ватой пещеры.

— Кстати о *глупости*. Где ты нашел этот матросский костюм, который на нее напялили? Право, Трэвис, ты не мог этого сделать! Ломбард бывает иногда такой смешной. Если ее правильно снимать, она могла бы стать большой звездой. Ты следи, во что она одевается. Ломбард обожает выглядеть, как я.

Ну и сделай ей «дитриховский» костюм из той белой фланели, что мы нашли, только жакет должен быть покороче, чем ношу я. У нее американское тело. И зад, поэтому следи за линией подола.

Мама показалась из своей пещеры.

— Трэвис, где же этот черный? Он ведь был у нас. Не может же он весь быть на спине Мириам Хопкинс! — Она набросилась на рулоны, лежавшие у дверей.

— Ты видел, что они сделали с Долорес Дель Рио на «Уорнер бразерс»? Ей не хватает только кастаньет! Портят такое чудесное личико! А что Адриан делает в «МГМ»? Я видела фотографии Джин Харлоу в «Обеде в восемь» — он столько рюшек навесил ей на руки! Просто абажур какой-то! И потом, у нее на халате рукава из *сморщенных перьев* — похоже на эти штуки, которыми размахивают в Америке на футбольных матчах! У него что, проблемы с рукавами? Но с Марион Дэвис у него получилось отлично — не иначе, как он Херста испугался! — Она подняла рулон белого газового шифона. — Вот, *это* мы когда-нибудь используем! Припрячь его, Трэвис. «Никогда не знаешь, сказала вдова…»

Трэвис закончил за нее нашу поговорку о «черных штанах». Он был «особой приближенной…» и имел разрешение на подобные вольности.

Недели проходили в бесконечных утомительных примерках. Даже Дитрих иногда артачилась:

— Какой толк придумывать туфли, никто не увидит их под всеми этими кринолинами. К тому же общими планами Джо только устилает полы монтажной!

Тем не менее она часами примеряла туфли и сапоги — на всякий случай. Во время обеденного перерыва она писала письма в своей уборной.

«Парамаунт Пикчерс»
14 октября 1933 г.
Дорогой Папи,

Посылаю тебе рисунок настольного набора от «Гермеса», очень модного. Конечно, на этот раз он не круглый и подставка из кожи — что-то новенькое. Образец монограммы в стиле КС — на другой стороне. Если не подойдет, выбери другие, только очень современные буквы. Я в ужасной депрессии. Оправдалось мое подозрение, что Джо завел — или у него всегда был, или он возобновил, или начал в мое отсутствие — роман с секретаршей. Наверно, ты один можешь понять, какой это для меня шок. Преодолеваешь столько проблем, и вдруг… Тем ужаснее и непостижимее все это. Его странные путешествия, по поводу

которых я никогда не роптала; но подумать только — он как какой-то мелкий буржуа спал со своей секретаршей, да еще привел ее помогать мне, а я доверяла ему; могу только посмеяться над своей простотой. Я думала, он мне верен, искренен в своей любви ко мне. Поверила в него. Подумать только — я еще себя упрекала, что это ***из-за меня*** *он так несчастен. Оберегала его, никому не разрешала приезжать сюда. Трагикомедия. Все изменилось, я в полной растерянности.*

Представляю, как ты шокирован. Да, это ужасная новость.

Но сейчас мне надо держать себя в руках и делать вид, что я ничего не знаю, пока я не соберу достаточно доказательств, чтобы бросить их ему в лицо.

Вчера ее машина стояла около его дома до без четверти двенадцать, а сегодня утром, когда я спросила его, что он делал вчера вечером, он сказал, что рано лег спать. Это и есть самое настоящее доказательство, потому что если бы не было причины скрывать ее, ему и не надо было бы делать это. Я слишком слаба и не могу следить за ним, и что делать, не знаю. Я знаю только, что он лжет мне.

Я телеграфирую тебе, как только узнаю что-то. Я уверена, что сейчас ты говоришь: «Вот и хорошо, теперь она может поступить, как захочет». Это правда, но от шока никуда не денешься, и не потому, что он с кем-то спит, а потому что он предавал меня все эти годы.

Целую тебя тысячу раз — ты мой единственный друг, я люблю тебя.

Твоя Мутти

Фон Штернбергу было отказано в допуске в уборную, а на нашей плите больше не булькал его гуляш. Я забеспокоилась. Что мог натворить наш маленький мужчина, чтобы навлечь на себя такие неприятности? Моя мать ходила с каменным лицом. Звонила в Вену, говорила Гансу, как скучает по нему, как божественны его любовные письма.

Обычное для периода съемок творческое возбуждение в студии вдруг резко спало. «Что вы хотите этим сказать — завтра примерки не будет? Студия закрывается на День благодарения?» — Мы были в нашей уборной, мама говорила по телефону с Трэвисом, находившимся в здании через улицу.

— Это не серьезно… Целая студия прекращает функционировать, чтобы поесть *индейки*? В этой стране каждые две минуты какой-нибудь «праздник», но этот в самом деле смешной! Что за семейный schmaltz?.. И все время есть! Если они действительно так «благодарны», пусть работают и зарабатывают

деньги для семьи вместо того, чтобы тратить их на лишнюю еду!

День благодарения всегда был моим любимым праздником. Накануне интендант накормил нас обедом по полной программе с индейкой! Каким-то образом мне удалось скрыться с осуждающих глаз моей матери и устроить свое собственное празднование в студии со всеми деталями ритуала. Для Дитрих все праздники, земные или небесные, были табу. Все, из-за чего закрывались магазины или из-за чего нельзя было требовать к себе людей для немедленного исполнения приказаний, приводило ее в ярость.

Милый Папи,

Сегодня День благодарения, и мы не работаем. Кажется, Мамулян сделал очень плохой фильм с Гарбо. Это не из-за костюмов — я видела секретные эскизы. Завтра они начинают переснимать кое-что и делать новый конец.

Постарайся найти что-нибудь о фильме Бергнер. Здесь англичане не могут назвать свой фильм «Екатерина Великая» потому что мы первые застолбили это название, но там мы ничего не можем сделать. Мы делаем очень мало рекламных кадров, чтобы до выпуска поменьше видели наш антураж.

Целую

Рождество и Новый год ничем не запомнились. Нам надо было снимать фильм, и вся наша энергия была сосредоточена на Российской империи восемнадцатого века. Переделанное «платье молодой девушки» со слоями пышных шифоновых воланов и веселыми бантиками было само совершенство, оно напоминало викторианский крестильный наряд, сделанный как будто из сахарной ваты. Моя мать дала ему наконец «добро», поцеловала Трэвиса в щеку, сунула эскиз под мышку и отправилась сочинять достойный этого платья парик. Небольшая челочка, мягкие, воздушные белокурые локоны, связанные нежно-голубой шелковой лентой.

Наверное, у нее в голове прочно засело, что она должна быть «молоденькая-молоденькая» Когда наконец начали снимать первую сцену в «Красной императрице», она пустилась играть такую «невинность с широко открытыми глазами», делать такие «ужимки и прыжки», изображая застенчивость, что получилась какая-то деревенская дурочка, напялившая на себя вместо юбки корзину. Впрочем, в ролях «чистых» Дитрих никогда не была сильна — ни в кино, ни в жизни, хотя сама была уверена в обратном, равно как и многие ее поклонники.

Моя мать делала пробные съемки полностью законченного банкетного платья. Я держала оборону в костюмерной, занимаясь тем, что подписывала стопку маминых фотографий, — еще одна моя «работа», требовавшая внимания и сноровки. Подпись Дитрих была скопирована на медном штампе, который нужно было ровно покрыть чернилами, а потом шлепнуть на фотокарточку, сильно прижать и при этом ни чуточки не сдвинуть, иначе края смажутся и станет ясно, что это она не сама подписывала. Мне разрешалось испортить три-четыре карточки, не больше. Я терпеть не могла это занятие, вечно боялась сделать все не так; к тому же после сотни шлепаний у меня начинала болеть рука.

Дверь скрипнула и открылась, вошла Дитрих; почтительная стайка костюмерш, Дот и Нелли составляли ее свиту.

— Ангел, ты будешь играть меня! — объявила она. Моя рука замерла в воздухе, и я уставилась на маму.

— Господин фон Штернберг повсюду ищет красивую девочку, которая сыграла бы меня-принцессу. Но ведь у меня же самой есть красивейший ребенок на свете — вот он! Так что ты будешь играть Екатерину Великую в детстве!

На меня направились лучезарные улыбки. Я была ошеломлена. Я не могла играть собственную мать. Я совершенно не красотка. И щиколотки мои слишком толсты для принцессы. Мама же всегда говорила, что у настоящих аристократов тонкая кость, как у скаковых лошадей, — именно поэтому она сама такая тонкокостная. Я — скорее тягловая лошадь! И как же быть с приказами не давать себя фотографировать? Что же вдруг случилось? Ничего, что меня на огромном экране увидит весь мир?

Встань! Девочки снимут с тебя мерки. Нелли, Ребенку нужен точно такой же парик, какой на мне в первой сцене.

Появился фон Штернберг в сопровождении Трэвиса и своих загнанных ассистентов.

— Марлен, я написал новую сцену для Ребенка, поинтереснее, она создаст настроение. Дадим ее наплывом на твой первый кадр, где ты, по моим новым планам, будешь качаться на качелях, когда тебя позовет эрцгерцог, твой отец. — У фон Штернберга была манера говорить так, как будто он выстраивал сцену, что раздражало мою мать. Когда ей приходилось его выслушивать, как сейчас, чувствовалось, что ей хочется сказать: «Ближе к делу!» — но, конечно, она не позволяла себе этого при людях. Она знала свое место благоговейной «ученицы» великого «мастера» Фон Штернберг никогда не просил ее об этом и не ждал такого поведения, но Дитрих так решила — на публике она будет с ним почтительна.

Я стояла, опутанная сантиметрами, и все еще не могла прийти в себя. Фон Штернберг оглядывал меня профессиональным взглядом, впервые после тех знаменитых портретов мамы со мной два года назад.

— Все выйдите из уборной мисс Дитрих! Подождите за дверью, я позову вас!

«Все» умели немедленно подчиняться, когда фон Штернберг приказывал очистить помещение, будь то павильон или гримуборная. В мгновение ока алы втроем остались одни. Фон Штернберг взглянул на мою раздраженную маму и спросил: «Марлен, сколько сейчас Коту — девять?»

— О, Джо! Ты же знаешь, что они всегда хотят сделать ее старше. Ей всего семь с половиной!

Странно, я была уверена, что мне «всего девять». Но мамам лучше известен точный возраст детей, так что я, наверно, опять что-то перепутала.

— Сколько бы ей ни было, она на вид все равно старше, чем должна быть в этой сцене, слишком высокая. Я думал поместить ее в классной комнате в замке, но можно положить ее в постель — скажем, она больна. Крупный план, подушки, куклы — роста никто не увидит, только лицо, а оно, конечно, юное.

Он еще раз пристально взглянул на меня, остался доволен, повернулся к маме и сказал:

— Позови их. Скажи Трэвису, пусть придумает ночную рубашку. Будет видно только верх — кружева на шее и на запястьях. Я хочу снять ее детские ручки. Хорошая мысль — скопировать твой парик. Он зашагал по костюмерной улице, бросая на ходу приказы своим ассистентам. Он хотел, чтобы спальня принцессы восемнадцатого века была построена, декорирована и подготовлена к съемкам за два дня.

Пока костюмерши суетились вокруг меня, мама рассказывала Трэвису, чего они с Джо хотят, Нелли позвонила парикмахерам и сказала, что мы придем измерять мою голову. Слава Богу, думала я, они не собираются показывать мои крестьянские запястья!

Когда я появилась на площадке, чтобы начать сниматься, мои гримеры в белых униформах обрабатывали Марлен Дитрих, орудуя расческой и ручным зеркалом. Она выглядела точь-в-точь как я, только в увеличенном варианте, а я выглядела, как она, только в уменьшенном! Фон Штернберг подвел меня к подаренному мне командой стулу, на парусиновую спинку которого только что нанесли через трафарет надпись «мисс Зибер», и сказал: «Сиди и не двигайся». В парике было жарко, от спиртового клея чесались виски и лоб. Ночная рубашка почему-то была тяжелой, хотя и шелковистой и приятной для моих голых

ног; рюшки покалывали кожу. Накрашенные ресницы постоянно слипались, лицо стянуло от грима и пудры. На губах был вкус вазелина. Шея ныла от неподвижности и моей боязни не удержать на месте уложенные локоны. Я была на ногах с пяти утра, несколько часов надо мной колдовали и суетились, мне хотелось есть. Я старалась сидеть на стуле как можно «легче», сознавая, что не должна помять костюм. Все было ужасно неудобно! Я была настоящей кинозвездой!

Моя «комната принцессы» имела только три стены, да и те были кое-как скреплены на обратной стороне, но внутри них все было очень мило. Я мечтала, чтобы когда-нибудь у меня была изящная, женственная спальня, а не такая «функциональная» комната со сверхжестким матрасом и подушкой из конского волоса. Мать моей мамы говорила: «Спи на плоском — укрепляет спину!» Моя мама, конечно же, соглашалась и добавляла своего колорита к поучению: «Мягкие подушки — для тех женщин, которым нечего делать и которые целый день валяются в постели и едят шоколадные конфеты».

Мама опустилась на колени, чтобы снять с меня шлепанцы. Шесть человек помогли мне забраться в постель. Еще люди поправляли окаймленные кружевом простыни, шелковое покрывало, атласные подушки. Фон Штернберг придал моим плечам, шее и подбородку нужное положение и научил, когда, что и как произнести.

— Ангел, оближи губы! — подсказывала мама из темноты.

— СВЕТ!

Я знала, что нельзя смотреть прямо на пылающие софиты, потому что тогда из глаз потекут слезы и размажут грим. Вздохни, но не двигайся! Что фон Штернберг велел мне говорить? И когда? КОГДА мне это говорить? Она придет в ярость, если я не справлюсь! Ей будет стыдно за меня! Я должна знать, как снимаются фильмы, — Я СЕЙЧАС ЧИХНУ! СЕЙЧАС ТОЧНО ЧИХНУ! Или меня стошнит…

— ХЛОПУШКА!

— КРАСНАЯ ИМПЕРАТРИЦА — СЦЕНА ПЕРВАЯ, ДУБЛЬ ПЕРВЫЙ!

Хлопушка прогремела, как гром! Я В ПАНИКЕ! Я НЕ ХОЧУ СНИМАТЬСЯ В КИНО!

— НАЧАЛИ!

Я НЕ ЧИХНУЛА, МЕНЯ НЕ ВЫРВАЛО И Я НЕ ОПОЗОРИЛА СВОЮ МАТЬ!

— СТОП! ПРОЯВИТЕ ЭТО!

— Хорошо, очень хорошо, Мария. Вот теперь передохни…

Мне давал режиссерские указания сам ДЖОЗЕФ ФОН

ШТЕРНБЕРГ, меня не отругали да еще возвысили до обращения по имени — Мария — и все это на протяжении ОДНОГО УТРА!

— Давайте попробуем еще раз, — сказал режиссер.

— ТИШИНА НА ПЛОЩАДКЕ! — прокричал помреж.

— Джо, — прошипела мама из-за камеры, — подушка промялась и дает тень на ее правую щеку. — И моя «горничная» ступила прямо в кадр, в «горячий кадр», как они говорят, расправила подушку, запудрила пуховкой блик у меня на носу и ретировалась, пройдя между стояками осветительных приборов. «Все в порядке, — сказала она, — снимайте».

Поразительно, но моей матери сходили с рук такие вольности. Целый день она суетилась, все поправляла и во все вмешивалась, но никто не сказал ни слова и не попытался ее остановить. Меня это смущало. Конечно, если фон Штернберг не возражал, тогда все в порядке. Я уже была настоящим ветераном киносъемок, когда начали готовить мой крупный план. Придется долго ждать, пока установят свет и камеру, — может быть, мне выпить кока-колы? Или даже съесть хлеба с арахисовым маслом и салатом с желе? Все равно грим придется подправлять. Моя мать, едва я высказала свои пожелания, бросилась исполнять их. Ну и ну! Действительно, в положении «звезды» что-то есть!

На площадке никого не было, когда какая-то женщина пододвинула ко мне стул, села и с улыбкой спросила, не я ли Мария Зибер. Я сказала, что я, и она пожала мне руку.

— Сейчас мы проведем урок, Мария, — и она достала из своей вместительной сумки учебник, тетрадь, карандаши и резинки. Разложив картонную таблицу с алфавитом у меня на коленях, она показала на букву «А» и, не переставая улыбаться, ласково спросила: «Ты знаешь, что это?»

Я подумала, какая она милая, и решила подыграть ей. «А» произнесла я, как умела, — на немецкий лад.

— Нет-нет, дорогая, это неправильно. Попробуй еще раз — ну? — Она постукивала пальцем по большой черной букве и все улыбалась.

— А, — послушно повторила я, начиная недоумевать по поводу всего происходящего.

Ее улыбка слегка потускнела.

— Нет, дитя, не «А-а-а-а». Ты же можешь произнести простое «А»!

Она немного расстроилась, я это видела. Я решила прочитать весь алфавит, чтобы показать, что я не совсем тупая.

— Это БЭЙ, это ЦЭЙ, это ДЭЙ, а только теперь ЭЙ.

Улыбка исчезла с ее лица, когда я показала на «Е», произнося его по-немецки, то есть так, как по-английски произносится буква

«А».

— Что вы делаете с моим ребенком? Как вы СМЕЕТЕ? ДЖО! С Ребенком какая-то женщина! ПОСТОРОННИЙ на площадке!

Мама кричала. Как стая гончих псов, фон Штернберг и половина команды окружили прежде улыбавшуюся, а теперь до смерти напуганную леди.

— Так кто вы? — Голосом судьи, выносящего смертный приговор, фон Штернберг вел допрос, а мама с силой прижимала меня к своей грудной клетке. Моя макушка доставала ей до груди, но сейчас я старательно играла «маленькую», поэтому стояла, подогнув колени.

— Но… но… Сэр, она девятилетний ребенок, снимающийся в кино! Она же должна нормально учиться! Я учительница студийной школы. Таков закон! — вопила дама в благородном негодовании.

Фон Штернберг был готов сказать ей что-нибудь примиряющее и выпроводить с площадки, но моя мать взвилась!

— Какой закон? Кто смеет говорить, что мой ребенок должен ходить в школу? Мой ребенок гениален! Ей не нужна школа. Она говорит на двух языках — а вы? Скажите своим начальникам — чему учить ребенка, *решаю я*, а не какой-то *дурацкий* закон! — Мама вошла в образ и играла «праведный гнев» Она выплескивала его на трепетавшую учительницу.

— Мы здесь снимаем *кино*. Это стоит больших ДЕНЕГ — больше, чем вы заработаете за всю жизнь, — а вы лезете к нам со своими глупостями! Так что покиньте площадку и заберите ваш *алфавитик*! Моему ребенку предстоит КРУПНЫЙ ПЛАН!

Участие в киносъемках дало мне на мгновение почувствовать, что значит быть звездой; в Голливуде у меня появились собственный стул и преподавательница, которая приходила к нам домой каждый день и учила меня произносить «Е» как «и-и-и», а не как «ЭЙ» Таков был закон! Даже Дитрих задело бы, если бы ее дочь ославили как прогульщицу. Я узнала также, что мне было, как я и подозревала с самого начала, девять лет от роду.

В конце концов мне понравились нормальные уроки языка *моей собственной* страны. Учеба моя не была регулярной, уроки сдвигались туда-сюда, в зависимости от расписания тех съемок, в которых участвовала я, и тех, которые, по мнению моей матери, можно было провести без моего священного присутствия. Никто из попечителей образования ни разу не пришел проверить, как в действительности обстоит дело. Не знаю, поспособствовал ли «Парамаунт» как-нибудь тому, что его звезду оставили в покое, но то, что ей преподавали уроки гордыни и себялюбия, похоже, закон устраивало.

Как только учительница обнаружила, что ее ученица «щелкает» книги, как орехи, ее преподавательский дух воспарил; но — чем выше летаешь, тем больнее падать, и он-таки грохнулся оземь, когда она попыталась преподать мне черную магию арифметики. В конце концов она избрала тактику, которой в дальнейшем следовали, не сговариваясь, и все другие мои преподаватели. Если ребенок так любит читать, а по всем остальным предметам программы безнадежен, то зачем осложнять жизнь ему и себе и «хлестать мертвую лошадь»? Так что я занималась в свое удовольствие любимым чтением, а преподаватели расслаблялись, получали свою зарплату и радовались небывалому зрелищу довольного ученика. Время от времени кое-кто из учителей предпринимал попытку хотя бы кратко преподать мне историю Египта, Греции и Рима. Но тут я пересказывала им истории Сесиля Де Милля, утаскивала домой Wardrobe book и кое-чему их сама учила!

Я тщательно скрывала свою любовь к чтению на английском. Мою мать и так раздражал мой, как она выражалась, «двухсотпроцентный американизм». Я изо всех сил старалась не забывать говорить по-немецки, если она была рядом, и когда мне повелевали «найти что-нибудь почитать», я брала из ее шкафа Шиллера, Гете или Гейне. Уроки немецкого языка продолжались. Учителя не трудились узнавать друг у друга, что они преподавали своей подопечной, поэтому было много путаницы. Довольно сложно находиться в тростниках с корзиной Моисея по-немецки, участвовать в восстании Спартака по-английски и сниматься с Марлен Дитрих в фильме о царской России — и все это одновременно!

На просмотрах отснятой пленки с моими сценами все приходили в *экстаз*! «Ребенок великолепен!» Награды Академии маячили на моем безоблачном горизонте. Отдел рекламы прыгал от радости и вовсю «раскручивал» «маленькую красавицу, талантливую дочь…» Моя мать не то что препятствовать им — она даже остановить их не пыталась. Она заказала пятьдесят дюжин моих фотооткрыток с кадрами крупного плана и разрешила мне их собственноручно подписать *фиолетовыми чернилами*!

Фон Штернберг устроил экранный просмотр моего материала. Предстать перед зрителями на большом, большом экране — безжалостный тест на профессиональную пригодность! Ну и как? Да, я выглядела пятилетней девочкой, но это сомнительное достижение стало единственным: сцена в целом была слишком вычурна, монотонна и мрачна. И боже мой, до чего же ТОЛСТОЕ у меня лицо! Я тут же решила, что, как раньше

чечеточнице Руби Киллер, так теперь Ширли Темпл не стоило опасаться конкуренции с моей стороны. Моя «звездность» быстро испарилась, и я снова могла подписывать за маму открытки с ее изображением вместо своего, «Марии — дочери…»

Одно время в детстве я действительно считала, что это мое настоящее имя. Помню, в благодарственной записке по поводу какого-то подарка я написала «Искренне Ваша, Мария, дочь Марлен Дитрих». Мама, проверив записку, объявила ее «замечательной» и отослала. Мне до сих пор неловко вспоминать об этом.

Учеба на время прервалась. Предстояло снимать «прибытие в Санкт-Петербург», с чем уроки, конечно, соперничать не могли. На съемочной площадке пахло лошадьми и искусственным снегом, на ней толпились ковбои, разодетые как привратники Шехерезады в Париже. Огромные фальшивые черные усы, скрывавшие под собой калифорнийские улыбки, делали их похожими на настоящих «свирепых русских». Парикмахерский отдел предоставил нашему фильму пышные гривы и хвосты; благодаря им пони, взятые напрокат у секции поло загородного клуба «Ривьера», выглядели как низкорослые дикие сибирские лошадки.

Но меха Дитрих были настоящими. Просторная, до полу накидка с круглым капюшоном — серебристый русский соболь, причем самка! Баснословная стоимость, утверждала Дитрих, — вот что нужно, чтобы обеспечить фильму аутентичность. Но что-то говорило мне, что ей просто доставляет удовольствие видеть, как продюсер Адольф Цукор рвет на себе волосы! Она сказала мне как-то, и злорадный огонек горел у нее в глазах:

— В кои-то веки «Парамаунту» не надо объяснять, почему что-то стоит целого состояния. Они помнят цену хорошему меху! Но как ты думаешь, они *когда-нибудь* шили из *настоящего соболя*?

Дублерша Дитрих в накидке из коричневой белки стояла на разметке и ждала, пока установят свет. Считалось, что дублерам необходимо внешнее сходство со звездами. На самом деле все, что требуется, — это рост, комплекция и цвет волос плюс крепкие ноги, выносливость и бесконечное терпение. Некоторые звезды допускают дублеров в тесный круг своих приближенных, используют как «шестерок», а то и конфидантов, берут с собой при переходе на другую студию. Дитрих не делала этого никогда.

Дублерше было велено двигаться по направлению к царской карете, которая находилась в центре декорации зимней сцены. Карета, стоявшая на огромных колесах со спицами, была вся из черного дерева и стекла, с серебряными фонарями и подушками с кисточками. Отлично подобранная восьмерка черных лошадей

ожидала спокойно, лишь время от времени подергивая кожей под непривычно тяжелой изукрашенной упряжью. Это были лошади-ветераны, специально обученные для киносъемок. Наверное, они стояли и думали: в вестернах с Томом Миксом было куда легче — там скачешь во весь опор до хорошей пены, потом тебя вытирают, кормят и отводят домой! А тут стоишь целый день в чем-то белом и липком, оно попадает в нос и ужасно пахнет! Когда работали лошади, в команде появлялся еще один человек — подметальщик. Его обязанностью было бегать между лошадиными ногами с совком наизготовку и немедленно действовать, как только «что-нибудь» шлепнется. Чем больше лошадей, тем больше старательных человечков. Кошмаром для них были слоны. А козы вообще сводили их с ума: подметальщики предпочитали, чтобы экскременты спокойно лежали и ждали, пока их уберут, так нет — эти маленькие черненькие шарики только и делали, что отскакивали и терялись!

Фон Штернберг сидел верхом на своей любимой игрушке — съемочном подъемнике. Он на нем ездил, как ведьма на метле, и иногда казалось, он кадры придумывает специально, чтобы покататься!

— Мы готовы, мисс Дитрих, дайте знать, когда вы будете готовы. — Помреж только что реверанс не сделал. Мама надела свою соболиную накидку и поправила капюшон, чтобы он ровно обрамлял ее лицо, Нелли вспушила прядки волос ловким взмахом расчески, Дот провел по губам смоченной в глицерине кисточкой, а дублерша оставила позицию, как только Дитрих предъявила на нее свои права. Она выглядела такой мягкой и уютной, будто гладкий конфетный мишка, который решил не спать зимой, чтобы подивиться на засыпанную снегом Россию! Дитрих все еще была убеждена, что нужно играть «невинное удивление», и упорно держалась за этот образ вплоть до сцены, которую всегда называли «окончательное исчезновение». Мне эта сцена казалась глупой: красивый гвардеец дворцовой охраны идет за ней в кусты — и вдруг на экране затемнение. По мне — бессмыслица, но после этой сцены мама больше не изображала «девочку». Говорят, фон Штернберг буквально вздохнул с облегчением в тот день, когда его звезда перестала порхать, опустила знаменитые веки и вновь подставила свое лицо под его изысканное освещение.

Милый Папи,

Наконец-то у меня есть время написать тебе. Сегодня я имею первый выходной, да и то потому, что прошлую неделю работала вечерами. Похоже, фильм удастся. Фото тебе уже посланы. Может быть, что-то уже дошло. Джо очень мил — счастлив, что

мне все еще интересно. Что мне все небезразлично, в том числе и он сам. Я выгляжу лапочкой в фильме, очень молодой, повторяю, в фильме. В жизни у меня на щеках морщины, как ты уже успел заметить. Я просто старею. Маска от Ардена, которую прислала Томи, очень хороша, но у меня пока нет хорошего ночного крема.

Здесь тепло. Сегодня получила телеграмму из Вены, где идет снег. Он пишет ласковые письма, но кому это помогает? В понедельник я подписываю страховку на твое имя в сто тысяч долларов в случае смерти и в двести тысяч — смерти в результате несчастного случая. (Разумеется, я умру не в постели).

Тебе надо приехать на следующий фильм и работать с нами. Подумай, пожалуйста, — твое присутствие было бы очень полезно. Первый раз в жизни мы будем получать гонорар с проката. Ты мог бы нам очень помочь, если бы работал в компании.

Люблю тебя,

Мутти

На что мой отец ответил:

…о твоем и Джо предложении приехать работать с вами над следующим фильмом. Звучит заманчиво — но на какую работу ты определишь «Господина Дитриха»?

Пока снимали «Красную императрицу», я почти не виделась со своими учителями. Мой скучающий охранник и главный садовник подрались: подстригая газон машиной, садовник наехал на спящего в траве охранника и срезал мыски с его только что купленных двухцветных ботинок. Горничную с сильным немецким акцентом застукали за примериванием чулочных поясов моей матери. Наш любвеобильный шофер, по слухам, сделал что-то «возмутительное» либо с прачкой, либо с подручным мясника. Розовый сад пожирали ненасытные гусеницы, а новая собака, по-моему, чау-чау, слопала кролика — их уже было шестьдесят — на завтрак! Иногда трудно было решить, где интереснее — дома или на студии!

По утрам в воскресенье мама выпивала большой стакан теплой воды с английской солью, пытаясь сбросить вес за свой единственный выходной день. В перерывах между позывами в ванную мы отвечали на письма и делали телефонные звонки. Сначала папе:

— Папи, если я вдруг убегу, поговори с Катэр. — Он знал о процедуре с английской солью и не нуждался в объяснениях.

— С Джо опять стало трудно! Я не виновата, если Купер все время лезет в мою уборную… — смеялась она. — Я сказала

уборную! Правда, Папи!.. И Морис постоянно звонит. Каждый вечер я варю Джо обед, а утром готовлю крепкий чай ему для студии. Гансу я только перезваниваю, когда ему меня плохо слышно, и все равно он сердится! Он не понимает, что я здесь *только* ради него… Скорее, поговори с Папи…

— Она понеслась в ванную, а я взяла трубку, чтобы не разрывать связь с Парижем.

— Привет, Папи. Как твои камни?

Папа не успел закончить отчет об урологическом статусе своего организма, как мама вернулась и возобновила разговор.

— Папи, ты бы позвонил Джо!.. Скажи ему, что я люблю только его. Поэтому я и нахожусь *здесь* и снимаюсь в таком сложном фильме. Неужели я должна все время *делать это* с ним, чтобы он мне поверил? — Она сунула мне черно-золотую трубку и прошептала:

— Детка, скажи Папи, что скучаешь по нему.

— Папи, это опять я. Я по тебе скучаю.

Он ничего не ответил, поэтому я продолжала.

— Как Тами? Она получила мое письмо, где я ей рассказываю, как моя новая собака съела кролика? Можно мне поговорить с ней одну минуточку?

Мама вышла из комнаты, надо было говорить быстро.

— Тамиляйн? Как я по тебе скучаю! Да, с фильмом все в порядке. Все такое русское — тебе бы понравилось. Но здесь нет ни одного *настоящего* русского — нигде! Как бы мне хотелось, чтобы ты приехала! У нас тут есть колибри, и их крылышки действительно гудят, когда они ими машут. Вот бы тебе на них поглядеть! Напиши мне письмо, пожалуйста, я тут же отвечу, обещаю. Я тебя люблю. Поцелуй Тедди. — Я положила трубку за мгновение до прихода мамы.

Затем она позвонила в Берлин:

— Муттиляйн, ты получила фотографии? Да, они очень красивые. Конечно, большие портреты будут сделаны только после окончания съемок. Да, очень тяжело, но мне нужны деньги. Если тебе что-нибудь нужно, позвони или телеграфируй Руди — он в Париже. Да, дай трубочку Лизель… Ты, дорогая? Да, я работаю. Это эпохальный фильм, и господин фон Штернберг делает из меня красавицу. Нет, именно *он* делает! Он *делает* меня красивой. Я сказала Мутти звонить Руди, если ей что-нибудь нужно или она вдруг захочет уехать. Что? Лизель, эту линию не прослушивают — они еще не зашли так далеко! Хорошо, но не забывай, что я говорю из Америки. *Здесь* все спокойно. А вот и Ребенок… — она поманила меня рукой.

— Поговори с Лизель… Она все так драматизирует!

Я взяла трубку:

— Тетя Лизель, вам бы понравился наш новый дом. Он похож на испанский. В саду есть настоящие банановые пальмы, а розы растут на маленьких деревьях, а не на кустах! — Она не произносила ни слова в ответ, поэтому я спросила: «Тетя Лизель, что с вами?»

— Катэрляйн, скажи Киске, чтоб не присылала эти американские газеты… Почту вскрывают, а если придут с обыском… Скажи ей, пусть пишет осторожнее!

— Хорошо, тетя Лизель, я скажу. Не волнуйтесь, пожалуйста. Целую вас. — Я передала трубку маме.

Она сказала какие-то теплые слова сестре и повесила трубку. «Лизель и вправду боится! «Они» — то, «они» — это! Вечно этот Гитлер! Хоть бы какой-нибудь еврей убил его, да и дело с концом. Ангел, сейчас мы позвоним в Вену Гансу», — и я снова проделала все хитрые маневры, которые нужны были в 1934 году, чтобы соединиться с Европой. Когда наконец телефонистка позвонила, мама перенесла телефон в спальню и говорила с Яраем несколько часов. Брайану мы не звонили. От него все еще не было известий. Де Акоста пребывала в состоянии «трагической мрачности», сознавая, вероятно, что ее карьера на закате. «Мальчики», правда, были безумно довольны жизнью. Маме удалось затащить одного из них в фильм на роль придворного. На него надели атласные штаны до колен, вышитый камзол с небольшим удлинением, покрывавшим его аккуратный зад, белье с пышными кружевами на шее и запястьях и… атласные бальные туфли на высоких каблуках! Божественно! Они были в полном восторге от костюма и, конечно, от своей Марлен, благодаря которой все это стало возможно!

Учителя безропотно ожидали; мы должны были вот-вот начать снимать сцену родов.

Она полулежит на горе шелковых подушек. Блики света на белых волосах подобны отблескам луны на водной глади, глаза, в которых видна мягкая усталость, смотрят, как покачивается и вращается на тонкой цепочке крупный бриллиантовый кулон, свисающий с безупречной формы пальца ее алебастрово-белой руки. Камень улавливает свет, преломляет его и, кружась на цепочке, разбрасывает блики по комнате. Белый туман тончайшего газового полога окутывает кровать вместе с нею. Вначале микроскопическая сетка газа дается резко, затем фокус расплывается, и завеса исчезает; одновременно рука с кулоном становятся все резче. Потом и они расплываются, уступая экран ее лицу; оно так прекрасно, что у вас захватывает дух, и вы уже не помните тот путь сквозь три измерения, через которые прошел

ваш взор.

Моя мать всегда говорила: «Мы не знали, что создаем шедевры! Мы просто работали! А теперь о фильмах пишут книги, профессора выискивают «смысл» в каждом кадре. Почему это так, что имеется в виду, как сделано *то-то*… Целая история! Нам надо было снять фильм, и мы его снимали! И *все*!»

Возможно. Но в тот день команда «Красной императрицы» наблюдала за работой мастера; люди сгрудились в затененной части площадки и смотрели, тихо перешептываясь. В огромном павильоне было темно, раскаленный белый луч высвечивал лишь небольшой круг, где маленький человек с поникшими усами творил над любимым лицом свое совершенное искусство; магию профессии и счастье быть в ней ощущали все присутствующие.

В те вечера, когда мама не нуждалась в моем обществе в ванной, мне повелевали сидеть у себя в комнате, не выходить и рано ложиться спать. Но обычно бывало так, что я восседала на краешке ванны, слушала и смотрела, как она готовилась ко сну. В тот день я занималась дома и не была на студии, и мама рассказывала мне о том, что я пропустила в первый день съемок сцены банкета. Она сплюнула в розовую мраморную раковину.

— Тебе стоило бы посмотреть сегодня — это было ужасно. Во-первых, Джо сделал стол — он занимает целый проход перед грим-уборными. Уже это невозможно. Потом всем нужно сидеть на этих огромных стульях под нависающими над тобой мертвецами! Ты не представляешь, как они затеняют лицо. Мертвецы держат свечи, мертвецы на столе, у стульев, у стен — везде и всюду, между горячим воском и софитами, *жара*!

Она взглянула в зеркало, обработала замеченный на носу прыщик.

— Этот ужасный человек Джеффи все время жалуется, что в парике он похож на «сумасшедшего». Он и *должен* быть безумцем. Так чего же он хочет? Выглядеть, как Берримор? Наверно! Ты знаешь, он ненавидит Джо. Он ведет себя на площадке неслыханно. Все время говорит, что он из *«театра»*! Пусть едет в свой Нью-Йорк и сидит там. Актеришка!

Она села на унитаз, достала мозольную подушечку и помассажировала покрасневший мизинец на ноге.

— Такие прекрасные туфли мы сделали. И все зря! Под столом их никто никогда не увидит. Даже когда я встаю, все равно можно ли что-нибудь увидеть под этим ужасным костюмом? Ничего не видно, кроме *жемчуга*. Трэвис совсем спятил с этим жемчугом! Не знаю, почему я это позволила. Я похожа на Мэй Уэст в тиаре a la королевская! Радость моя, подай

мне еще одну мозольную штучку. В парижских туфлях я такого никогда не испытываю. Почему в Америке никак не научатся делать обувь?

Она выключила свет. Мы вышли из ванной, и она забралась в постель, но вместо того, чтобы лечь, подложила подушки под спину и села. Что означало желание говорить. Мне не разрешалось сидеть на маминой кровати, когда она там находилась, поэтому я принесла стул и села слушать.

— Реквизитор — как его?.. Неважно. Тоже сошел с ума — наверно, друг Трэвиса — с этой муляжной едой. Ты бы видела! Хватило бы на двести человек, а сколько нас за этим нескончаемым столом — пятьдесят? Ты не можешь себе представить! Лоснящиеся от краски свиные головы! Поросята целиком, а из фазаньих задов торчат целые кусты оранжево-коричневых перьев! Бесконечные блюда с раскрашенной едой! Бесконечная *сцена*! Все тянется и тянется… Радость моя, подай мне пилку для ногтей.

Я сходила в ванную и принесла ее любимую пилку — ту, которой она пользовалась в «Марокко».

— Почему это у меня ногти не растут? Как у Кроуфорд. У нее просто когти ястребиные! — Она засмеялась.

— Этому красавчику, сыну Фэрбенкса, наверно, так нравится. Говорю тебе, сцена банкета будет очень занудной, как бы там Джо ни резал ее при монтаже. Он на меня сегодня разозлился. Он освободил площадку и сказал: «Мисс Дитрих сейчас будет *плакать?*» Но я не заплакала — ты же знаешь, что со мной бывает, когда он кричит, — у меня просто сжимается под ложечкой. Он иногда ведет себя, как какой-нибудь простолюдин, несмотря на всю свою гениальность. Все терпеть его не могут и хотят уйти из фильма, поэтому мне приходится держаться так, будто это никак невозможно. А расползающаяся от жары склеенная картонная еда, а этот браслет! Ты еще не видела браслет! Трэвис думал скрыть под ним полноту моей руки и сделал его от запястья до локтя! Из *жемчуга*! *Уму непостижимо*! И он есть в первом кадре, так что ничего не поделаешь, снимать нельзя! Повторяю, эта сцена чудовищна! Детка, поставь будильник на четыре тридцать. Я хочу успеть поймать Джо утром прежде, чем он пойдет на площадку.

Она легла на бок и поджала ноги. Я поцеловала ее и выключила свет, но, думаю, она еще не спала, когда я закрыла за собой дверь.

На следующий вечер я ждала ее в холле, предвкушая новую порцию саги о банкете. Мама меня не разочаровала: она заговорила прямо с порога:

— Джо сегодня орал на всех! Если мы *когда-нибудь* закончим картину, это будет чудо! Любич приходил на студию и пытался успокоить Джо. Наверно, кто-нибудь ему позвонил. Ты бы видела… Любич в роли «главы крупной американской киностудии» Джо говорит, он сует нос не в свое дело! Пусть делает свои потешные фильмы и перестанет строить из себя «шишку» и оставит Джо в покое. Я заставила их положить настоящий виноград в одном месте на столе и стала есть его, виноградину за виноградиной. *Медленно.* Джо снимет это крупным планом. Свое одобрение он выразил так: «Я иду на это только потому, что ей надо хоть что-то *делать*, а не просто сидеть в своих ужасных жемчугах».

Мама сняла запонки, отдала их мне и, на ходу засучивая рукава своей полосатой рубашки, прошагала на кухню готовить ужин для своего режиссера и своего ребенка. Я поднялась наверх, чтобы положить запонки на место, повесить ее жакет для поло, а уж затем пойти на кухню мыть салат.

На следующий день мои учителя наслаждались приятным долгим обедом на залитой солнцем веранде, пока Бриджес возил меня на студию — взглянуть на этот стол. Он точно соответствовал маминому описанию. Но стулья… они были действительно фантастичны! И дело не в отбрасываемой ими тени. Сама атмосфера декорации подчинялась духу этих «мертвецов» Никто ни с кем не разговаривал, кроме как по крайней необходимости, и если взглядом можно убить, то фон Штернбергу точно было несдобровать — опасность глядела на него со всех сторон. Моя мать, потрясающе красивая даже под грузом искусственных драгоценностей, Отрывала свои виноградины и спокойно взирала на назревающее смертоубийство. В обеденный перерыв фон Штернберг пришел в уборную за своим чаем. Мама подправляла грим. Смотря на режиссера в зеркало, она сказала:

— Девчушка, что играет проститутку, очень хорошенькая. Глаз своих черных не отрывает от тебя. Может быть интересно — а, Джо?

— Мутти, ты сводничаешь или пытаешься выведать, свободна ли она?

Мама усмехнулась и повернула зеркало к себе. Каким-то образом фон Штернбергу удавалось оставить за собой последнее слово. Он поставил стакан и был уже у дверей, когда мама, обернувшись, сказала ему вдогонку: «Хочешь, поделим ее?»

Дверь хлопнула. Я продолжала раскладывать косметические салфетки. Да, эта парочка иногда вела престранные разговоры. Гари Купер поскребся в дверь со словами: «Привет, красавица», —

но не остановился. О Господи, должно быть, фон Штернберг столкнулся с ним перед нашей уборной. Похоже, сегодня Джо не везет!

Все было готово к сцене смотра дворцовой охраны. Огромные каркасы кринолинов сложнейших костюмов моей матери не давали ей поместиться в машине, которая должна была возить ее на съемки и обратно, поэтому Бриджесу приказали парковать наш бесполезный катафалк за воротами студии, а к дверям уборной подгонять грузовичок. Высокие колеса и планчатые борта делали его похожим на старомодный фермерский фургон. Забавно было ездить на нем: я чувствовала себя картошкой, которую везут на базар! Плотники соорудили для нас специальные ступени; мы взбирались на грузовик, держались за борта и громыхали по улицам студии, при этом гигантские юбки моей матери раскачивались и отплясывали джигу сами по себе.

Когда настал день бутылочно-зеленого бархатного с норковым мехом шедевра, мы с Нелли и Дот втроем водружали маму на машину, потому что из-за широчайшего кринолина она просто не могла видеть ступеней. Настоящий подвиг с нашей стороны, если учесть, что мы старались не дотрагиваться до костюма, боясь оставить на бархате Замятины от пальцев. Но оказавшись в грузовике, мама не смогла ухватиться за борта! На ней были знаменитые «каляные» перчатки, которые не давали согнуть пальцы! Но все-таки мы нашли способ спасти российскую императрицу от падения с грузовика: она обхватила руками меня, а я, покрепче упершись ногами в пол и уцепившись за борт машины, удерживала нас обеих. Мы смеялись всю дорогу.

Когда съемочная группа увидела Дитрих в костюме для «смотра войск», стены павильона сотряслись от свиста. Киношники — народ пресыщенный. Они видят, или видели, или уверены, что увидят когда-нибудь где-нибудь практически все, что может называться фантастичным, грандиозным, великолепным или просто чудесным, — профессия такая. Поэтому, если они хотя бы замечают вас, это уже редкая честь. Если свистят, значит они хотят *показать*, что оценили вас по достоинству. Услышать же от них главную похвалу — аплодисменты — за это, думаю, многие актеры отдали бы жизнь.

Шеренга одинаково высоких, одинаково красивых мужчин стоит по стойке смирно. Фон Штернберг кричит: «Мотор!»

Она материализуется. Стоит и смотрит, как никто никогда не смотрел — и никогда уже не будет смотреть. Она не просто прекрасна, не просто Дитрих — это слабо сказано! Китайская ваза

периода династии Мин, картина Моне, «Давид» Микельанджело. Единственная и неповторимая, непревзойденное произведение настоящего искусства. Она слегка наклоняет голову вбок, осматривая строй своих фаворитов, медленно, очень медленно поднимает и опускает глаза, на мельчайшую долю секунды задерживая взгляд на том, что ниже талии, покусывая соломинку, которую держат ее чувственные губы, — и творит историю кинематографа!

Этот образ — Дитрих в высокой норковой кубанке, осматривающая свою гвардию, — стал своеобразной зрительной эмблемой «Красной императрицы»; для «Голубого ангела» такой эмблемой была Дитрих в поясе для резинок и белом атласном цилиндре. Только когда я стала много старше, до меня дошло, что она и в эту сцену сумела привнести струю своего особого бисексуального эротизма. Знаменитая шапка и спрятанные под ней гладко зачесанные назад волосы делали ее лицом похожей на красивого мальчика. Ее опущенные в этот момент глаза стали настоящей актерской находкой. Тот факт, что моя мать «не ведала, что творила», всегда изумлял меня. Я долго не верила в это. Ну как же она могла не знать, что делает? Взгляд невинного юноши вниз, будто бы на приключившееся возбуждение плоти — это ведь не могло выйти само собой, такое надо придумывать! Но нет! Когда спустя много лет я наконец решилась спросить маму, она ответила:

— Ты шутишь! О чем ты говоришь? Я играла Екатерину Великую — при чем тут лицо юноши? Разве можно надевать такую меховую шляпу поверх девичьих локонов? Это выглядело бы просто смешно на экране, вот я и убрала волосы… И получилось прекрасно. Ты же видела мои фотографии, которые Джо сделал тогда, — прелесть! Вообще все шляпы, из под которых свисают волосы, имеют глупый вид.

Дитрих ввела в свой имидж гибридную сексуальность еще задолго до того, как общество стало к последней толерантным. И как всегда, она ничего не заметила! Удивительные вещи случались у Дитрих сами собой!

Напряжение нарастало, фон Штернберг ругался, а Дитрих, не желая опускаться до уровня, как она говорила, «торговки рыбой», беспощадно критиковала его в письменной форме. Поскольку в фильме она была все время в париках, ей не надо было мыть волосы в обеденный перерыв, и она использовала это время для изложения своих взглядов. Она указывала ему, в чем он ошибается, что неправильно в его картине, в его идеях и в его биографии. Свою ярость она вбивала в клавиши портативной пишущей машинки. Дитрих никогда не перечитывала

написанного в запальчивости, потому что никогда не сомневалась в своем абсолютном праве говорить в любой момент что угодно и кому угодно.

Мне или Нелли, если я отсутствовала, поручалось носить мамины письма через улицу, в кабинет фон Штернберга. Дитрих всегда писала через копирку, ей нравилось подогревать свое «справедливое возмущение», цитируя собственные письма к жертве. Фон Штернберг иногда тоже писал ей в ответ, но по-немецки, надеясь, наверное, что так она лучше поймет его оправдания.

Прочитав эти письма, она запихивала их в конверты и отправляла моему отцу безо всяких комментариев.

Мои учителя отчаялись увидеть меня снова. Предстояло зафиксировать на пленке захват Екатериной российского трона. Фон Штернберг хотел делать эйзенштейновский монтаж штурма казаками дворцовой галереи. Каскадеры-наездники стояли наготове. Лошади, чувствуя напряжение момента, били копытами по рассыпанным по площадке опилкам. Перед ними были специально укрепленные ступени дворца, к копытам приделаны куски каучука, чтобы смягчить удары. Стройный, великолепный молодой человек в мамином белом гусарском мундире, в высоком горностаевом кивере и с длинной саблей, выглядел точь-в-точь как и требовалось — изящная, эффектная женщина в военном обмундировании во главе верного кавалерийского отряда. Он проверил поводья и — в который раз — угол атаки. Все участники сцены знали, как действовать, чего ожидали от каждого, — чего требовал режиссер. Надо было делать сложные, опасные и абсолютно безумные вещи. Для каскадеров — обычное дело. Однако они нервничали. Стольким лошадям, которым предстояло на полном скаку брать лестницу, не хватало пространства; кто-то мог получить травму в тесноте и сумятице.

— ТИШИНА НА ПЛОЩАДКЕ!

Лошади всхрапывали, ржали, люди затаили дыхание и молились.

— СВЕТ — ЗВУК — НАЧАЛИ!

Руки крепче ухватились за поводья, мышцы ног напряглись.

— МОТОР!

И — *вперед!* Они нахлынули — стремительные, дикие, безрассудные. Люди и животные бросились в атаку. Поднимаются по лестнице выше и выше. Грохот копыт чудовищный. Человеческий вопль, высокий, отчаянный, прорывается сквозь оглушительный шум.

— Стоп! Стоп! — кричали ассистенты режиссера в мегафоны.

На ступенях корчилась лошадь. Чьи-то руки ласково гладили ее прекрасные ноги, нежными прикосновениями нашли перелом. Это была любимая сцена моей матери в «Красной императрице», хотя сама она в ней не снималась.

— Прислушайся к топоту копыт… вслушайся! Вот что сделало эту сцену бесподобной — звук!

Я пожалела, что не осталась в этот день дома.

Я возвращалась после очередной курьерской миссии и увидела Нелли, стоящую «на стреме». Когда у мамы был какой-нибудь «особый» гость, дверь уборной закрывалась, запиралась, а Нелли выставлялась в качестве часового. Так, это не Джо — я только что доставила ему на площадку мамино письмо. Тогда кто же это? Кто сегодня в студии, но не занят на съемках? Ну конечно, не наш так называемый ведущий актер! Хотя он и был высок, темноволос и по-своему красив, маму он почему-то не интересовал.

— Где Джо откопал этого Джона Лоджа? В Бостоне? Не удивительно — он такой зануда! Джо это делает, чтобы я… После «Марокко» и Купера он поставляет мне только голубых и зануд. Ревнует! Это смешно!

Может быть, Шевалье назначили примерку гардероба? Или Купер решился наконец бросить скрестись в дверь и войти внутрь? У моей матери давно не было такого свидания. Во время «Песни песней» гримерная запиралась часто, а сейчас нет. Я подошла к Нелли, у которой был озабоченный вид, — как всегда, когда она охраняла уединение моей матери. Я очень любила эту женщину, похожую на птицу. Нелли досталась не та роль: с этим костлявым телом, тонким острым носом и обесцвеченными кудряшками ее трудно было принять за классного голливудского стилиста, скорее она походила на туповатую Билли Бурке. Мы с Нелли подружились за долгие годы знакомства. Мы поддерживали друг друга на нелегкой службе у нашей звезды. Говорят, мама подарила ей стоакровое апельсиновое хозяйство, вдобавок к машинам, домам, бессчетным туалетам и просто деньгам. Если и так, то в этом не было необходимости. Нелли не надо было подкупать, как многих других. «Бескорыстная преданность» — еще одно ее имя.

Я задала ей обычный вопрос: «Сколько мне надо отсутствовать?»

Она прощебетала: «Твоя мама так утомилась! Ей нужно отдохнуть. Так что, детка, приходи через часик, не раньше, ладно?»

На моей руке красовались новые часы, которые мне подарил

наш продюсер в честь моего дебюта в кино; у них был лаковый ремешок, а цифры в темноте светились. Я посмотрела, который был час.

— И еще, детка, мама распорядилась, чтобы тебе в столовой дали все, что ты захочешь, — добавила она. Я уже знала: каждый раз, когда дверь уборной запиралась, я могла идти и есть все что угодно бесплатно! Мне надо было только написать печатными буквами свое имя на листочке, который мне давала официантка.

Целый час! У меня был целый час! Я съем… плавленый сыр с ветчиной с белым хлебом… большой стакан овощной шипучки и даже кусок лимонного пирога… и у меня еще останется время пробраться в павильон к Де Миллю и посмотреть, как Клодетт Кольбер играет Клеопатру!

Я чмокнула Нелли в щеку и пошла прочь. Почему Нелли всегда говорила, что мама «должна отдохнуть»? Она же знала, что моя мама никогда не отдыхала, потому что никогда не уставала, как нормальные люди. По дороге я заметила, что дверь уборной Бинга Кросби тоже была закрыта, а перед ней «на стреме» стоял его студийный шофер. Я завернула за угол и пустилась бежать!

Между съемками кавалерийской атаки и последней с Дитрих сцены фильма я ухитрилась отведать десять видов пая и решила, что в «Парамаунте» самый лучший на свете кокосовый крем! Моя приятельница официантка отрезала мне большие куски, а плату брала, как за обычные, — двадцать пять центов. Мне хотелось бы что-то дать Магги, но мне не разрешалось включать в счет чаевые, и денег как таковых у меня не было. Никогда не было. Я решила попытаться как-нибудь достать хоть сколько-нибудь, чтобы отплатить приятельнице за ее доброту. Я знала, что в карманах моей матери рыться бесполезно, — у нее тоже никогда не было настоящих денег. Все — аренду дома, питание, нашу работу — оплачивал нам офис фон Штернберга; каждую неделю все представляли свои счета. Бриджес покупал бензин, все газеты и журналы. Если что-то нужно было мне, в магазин шли мои охранники. Я подумала было проинспектировать мамин шкаф, где она держала свои парфюмерные запасы, и, может быть, изъять флакон французских духов, которых там стояли десятки. Но мне было как-то неудобно дарить Магги, которой приходилось так тяжело трудиться, столь дорогие духи. Тогда я впервые осознала, что мы в своей жизни обходились без наличных денег. И из-за того, что их не было, деньги стали каким-то «запретным плодом» для меня. Мне надо было придумать, как достать хоть сколько-нибудь. Как? Придумала! ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА! Я попрошу денег на жвачку и буду прятать то, что мне дадут, пока не накоплю… сколько? Доллар? Можно иногда поработать

челюстями для виду, чтобы они не догадались! На следующее утро перед отъездом на студию я попросила у ночного дежурного мелочи на жвачку. И он с широкой улыбкой грациозно протянул мне неначатую пачку «Джуси фрут». Тогда я обратилась к Бриджесу — и он дал мне «Риглиз спирминт». Мак у ворот студии ради моего удовольствия расстался со своим «Блэк Джеком». Все были так щедры на жвачку! Что бы мне «захотеть», на что нужны были бы наличные деньги? Может быть, договориться с Трэвисом? Он всегда спрашивает меня, какой подарок я хочу на день рождения или на Рождество. И хотя был только февраль, я, подловив его по дороге к вышивальщицам, сказала:

— Трэвис, можете вы мне вместо подарка в этом году дать настоящие деньги? Хотя еще долго до дня рождения, но я хотела бы их прямо *сейчас*. — Я умоляюще смотрела на него, вся сжавшись от страха. Ну конечно, он решил, что я шучу, и пересказал всю забавную сцену моей маме!

— Мария! Поди сюда! Трэвис сказал мне, что ты просила у него денег. У тебя есть собаки, бассейн, безумно дорогой кукольный дом, сад, тебе разрешается находиться в студии вместе со мной. У тебя есть все! Ты можешь даже *заказывать* еду в столовой! Ты получаешь все, что хочешь, *бесплатно*!.. Я работаю только ради тебя! Бриджес ждет в машине, он отвезет тебя домой… у тебя даже *шофер* есть! — Она круто развернулась и направилась к своему туалетному столу.

На сегодня я была отлучена от мамы. По дороге в Бель-Эр я все думала о том, что она говорила. Слово «работа» не выходило у меня из головы. Что там все время делали эти ребятишки из сериала «Наша банда»? А! ЛИМОНАД! Оказавшись дома, я тут же кинулась к ящику со льдом, достала все лимоны, прихватила пачку сахару, нашла огромный хрустальный кувшин со стаканами, притащила из гаража к нашим шикарным воротам какой-то ящик и открыла свою лимонадную торговую точку. Охранник вынес раскладной стул и устроился в тенечке у дороги, а прежде помог мне написать объявление. Вышло очень мило: темно-желтые и оранжевые буквы на белом листе из альбома для рисования:

СТОП! СВЕЖИЙ ЛИМОНАД!

БОЛЬШОЙ СТАКАН — всего 3 цента!!

Я ждала до самого вечера. Тарелка, готовая принять добычу, стояла пустая! Кажется, в Бель-Эре не было жаждущих. Перед

маминым приездом охранник помог мне спрятать «оборудование» у садовника в сарае. На следующее утро, когда она, все еще не разговаривая со мной, уехала, мой «партнер по бизнесу» съездил в город и купил еще лимонов. Он опять пристроился в тени, а я, с новым запасом напитка и веры в свою удачу, опять принялась ждать. Резной хрусталь изумительно переливался на солнце, я сидела «за прилавком» и читала без разрешения — комиксы, — а лимонад закипел! Мой бодигард так захотел пить, что попросил продать ему горячего лимонаду. Но я не могла брать с него деньги — он столько помогал мне, прятал мои вещи и все такое. В шесть часов мы сдались и вернулись в дом, чтобы приготовиться к приезду мамы. Если бы с нами был Брайан, мне не пришлось бы заниматься всей этой ерундой. Он дал бы мне… ну… по крайней мере, целый доллар и безо всяких расспросов, хотя я бы от него ничего не скрывала. В какое-то мгновение у меня промелькнула мысль обратиться к фон Штернбергу, но я тут же отказалась от нее. Бедный Джо! Наверно, его эта запертая дверь уборной расстроила — всегда расстраивала.

Они приехали домой вместе и скорей всего вели в машине «дискуссии», потому что губы моей матери были плотно сжаты, глаза горели, а ноздри трепетали. Она подавала обед с видом оскорбленной невинности, атмосфера была накалена до предела. Мы с Джо сегодня оба были в немилости у Дитрих, поэтому набивали рты в молчании и мечтали поскорей убраться из столовой.

Самым худшим оказался день съемок последнего, триумфального крупного плана Екатерины Великой. Дитрих и фон Штернберг явились не в духе и все время подзуживали друг друга, пока, наконец, у них не началась настоящая ругань. Она кричала, что он «тиран, еврейский Гитлер, скверный американишка, злое чудовище!» Он отвечал, что она «ничего не может сделать точно», «неспособна ничего сыграть», но «начинает тут же кричать, если что-то ее не устраивает».

Фон Штернберг, по крайней мере, трижды очищал площадку, и мне приходилось выходить на улицу. Я боялась, что они убьют друг друга! Хотя до сих пор они враждовали только на словах, наносили друг другу раны с помощью своих острых умов и ядовитых языков, но всегда можно было ожидать, что в один прекрасный день они достигнут критической точки и перейдут к физическим действиям. Я стояла на солнышке, чувствуя озноб и ненавидя их обоих за то, что они такие злые и что мне страшно.

Ей надо было звонить в большой соборный колокол, когда она провозглашала свою победу и объявляла себя Императрицей всея Руси. Чтобы было похоже, что героиня раскачивает огромный

колокол, она тянула сверху вниз толстую веревку, пущенную между ее ног, к которой через систему блоков были привязаны мешки с песком. К другому концу веревки для натяжения прикрепили массивное деревянное распятие со стальной окаемкой. И когда актриса тянулась вверх, чтобы ухватиться за веревку, а потом наклонялась вперед и тащила ее вниз, до самых колен, крест бил ее по ногам. Она проделывала это снова и снова, пока не «ударила в колокол» восемь раз. Ей приходилось каждый раз тянуть, наверно, килограммов десять весу, и это в великолепном гусарском обмундировании, включая кивер и саблю.

— Стоп! Мисс Дитрих, что это вы делаете? Звоните дворецкому на званом обеде в Вене?.. Это кремлевские колокола! Попытайтесь хотя бы здесь сыграть правдоподобно!

После двадцатого дубля:

— Мисс Дитрих, можете вы изобразить экзальтацию на своем хорошеньком личике? Вы *не австрийская фермерша, созывающая своих коров на дойку!* Вы захватываете трон!

Уже на двадцатом дубле она так сильно закусила губы, что Дот пришлось срочно подгримировывать ее рот.

На двадцать пятом дубле у нее, никогда не потевшей, на лице выступили капли пота, и его пришлось промокать и припудривать.

На тридцатом дубле руки ее, державшие веревку, дрожали. Команда в шоке наблюдала за происходящим. Без перерыва, без отдыха — и ни звука протеста с ее стороны!

На сороковом дубле у нее подгибались ноги.

На пятидесятом дубле ее лицо вместо победного триумфа изображало немой страдальческий крик — и именно этот дубль фон Штернберг и оставил!

— Стоп! Проявите это! Благодарю вас, леди и джентльмены. — И он покинул площадку.

Так закончилась «Красная императрица» Когда мы стянули белые лосины с маминых ног, на изнанке ткани уже была кровь. Острые металлические края распятия разодрали ей кожу внутри бедер. Нелли плакала:

— О, мисс Ди! Вам надо немедленно показать ноги студийному врачу!

— Нет! — рявкнула мама. — Никто не должен об этом знать, слышите? Никто! Принесите мне губку, большой таз и спирту! Катэр, запри дверь и никого не пускай!

Она взяла в руки большой коричневый флакон и просто вылила медицинский спирт на свои изрезанные ноги. Я почувствовала, как жгучая боль наполнила всю уборную. Но она

даже не вздрогнула! Мы забинтовали ей ноги льняными салфетками для рук, заколов их английскими булавками. Домой ехали в полном молчании. В тот вечер она специально приготовила венгерский гуляш с яичной лапшой — как любил фон Штернберг. Когда он не появился к семи тридцати, она позвонила ему:

— Джо, милый! Где ты? У меня готов ужин!.. Не смеши меня. Почему бы мне не хотеть тебя видеть?.. Не торопись, если тебе нужно еще поработать. Я приготовила твой любимый гуляш, но он подождет!

Мы с ним сидели на противоположных концах длинного испанского обеденного стола. Я свирепо смотрела на него, он был тих и странно не уверен в себе. Мама подавала, прихрамывая. Все молчали, мама маячила взад-вперед.

— Джо, милый, ну как гуляш? Хочешь еще соуса?

Как обычно, она не присела. Я попросила отпустить меня и ушла. Мне было все равно, что кто-то мог на меня рассердиться, я ненавидела этого подлого коротышку. Мама не позвала меня обратно.

На следующее утро машина фон Штернберга еще стояла у нашего дома. Завтракали мы все вместе на нашей солнечной веранде, и меня заставили извиниться перед ним за возмутительное поведение накануне вечером — выход из-за стола. Мама хромала уже меньше, хотя тихонько постанывала при попытке положить ногу на ногу. Фон Штернберг смотрел на нее глазами кокер-спаниеля.

— Джо, дорогой, я ничего, правда, — успокаивала она его. — Ты был прав: у меня действительно не получалось то выражение, которое ты хотел. Но теперь оно у тебя есть, так что отрежь все остальное. Зафиксируй его! Мне не следовало заставлять тебя так волноваться!

Я отпросилась делать домашнее задание по немецкому.

Я была слишком мала и, конечно, не знала, что на самом деле происходило во время этих сеансов «запертых дверей» в маминой уборной. Но даже если бы и знала, я не поняла бы ни самих ее поступков, ни их эмоциональных последствий. Однако в любом случае я хотела бы «взять обратно» свое безапелляционное осуждение фон Штернберга, которого самого следовало бы пожалеть. «Паккард» фон Штернберга поселился рядом с нашим «кадиллаком». Моя мать сама наложила на себя епитимью, но таким образом, что, используя эмоциональное состояние других, одновременно и разрешила щекотливую ситуацию, и наказала своего обидчика!

Мы занимались традиционной по завершении фильма проблемой подарков. Я прикрепляла бирки, Нелли сверяла списки. Мама ушла в гардеробную посмотреть там, что она сможет приберечь. Каждый раз, после окончания съемок, меха, драгоценности, бисер, любые украшения, которые можно было еще раз использовать, тщательно изыскивались и спарывались с костюмов и аккуратно складывались в ожидании будущих фильмов. Иногда я думаю, что мания моей матери хранить любой, самый ободранный кусок меха происходит от этой голливудской бережливости. Трэвис всегда позволял ей покопаться в меховых обрезках и взять все, что ей приглянется. В отличие от экономных кинозвезд, моя мать не стала просить студию продать ей роскошную соболиную накидку императрицы, чем порадовала бы студийных бухгалтеров. Дитрих ожидала, что, по большому счету, «Парамаунт» должен *подарить* ей русских соболей. Но такие широкие жесты не были свойственны студии. Дитрих так и не простила «контору» за «невоспитанность».

Я уверена, что, знай она, что ей не подарят накидку, она сумела бы ее как-нибудь стянуть, когда разбиралась с костюмами. Но в тот момент она еще пребывала в неведении относительно своей потери и принесла из гардеробной под полой своего пальто всего лишь опушку от платья из будуарной сцены да норковую шляпу. У нее было хорошее настроение, поэтому я сделала очередную попытку:

— Мутти, я записала золотые зажигалки и кошельки из крокодиловой кожи для звукооператоров. Часы от Картье уже привезли, и все гравировки в порядке. Как ты думаешь, не подарить ли нам что-нибудь и официантке? Той, что всегда помогает нам, когда нам что-нибудь нужно из буфета?

Мама согласилась, взяла список и приписала внизу: «Официантка из столовой. Фотография с автографом» — и отправилась в монтажную навестить фон Штернберга. Я-то думала, что получу, по крайней мере, новенькую пятидолларовую купюру! Я «позаимствовала» одни часики, множество которых было приготовлено для «секретарш, редакторов, ассистентов, костюмерш, гримеров и парикмахеров» и, захватив подписанное фото из готовой пачки, побежала к Магги с подарком по случаю окончания фильма. Она просто обомлела! Марлен Дитрих помнила ее? Она ходила и всем показывала фото: «Смотри, что мне подарила Мисс Дитрих! Представляешь? Она чудо! Господи, фотография с *личной* подписью! Подарок — лучше не придумаешь!»

Закрытие фильма отмечали в декорации банкета. Фальшивые поросячьи головы сменились гигантскими блюдами с

традиционными бутербродами с салатом и яйцами, нарезанной ветчиной и, естественно, огромными мисками с «русским салатом». Смесь мокрых от мытья, склеенных майонезом овощей, конечно, тоже присутствовала, подобно обязательному цыпленку на благотворительных обедах. Хотя все радовались, что фильм закончен, но веселья не наблюдалось. После того как присутствующие по нескольку раз подошли к стойке бара, атмосфера несколько разрядилась. Я помогала носить большие коробки из-под продуктов, которые мама наполнила своими экстравагантными подарками. Она раздавала их персонально всем присутствующим, получала робкую благодарность или поцелуи, в зависимости от положения одариваемого. Никто не говорил с фон Штернбергом. Он стоял в сторонке и наблюдал за Дитрих. Когда она приблизилась к нему со специально выбранным для него подарком, он как-то попятился, пытаясь уйти дальше в тень, но она вытащила его на середину и произнесла так, чтобы все слышали:

— Моему повелителю! Единственному мужчине, который умеет сделать меня красивой, знает, как надо освещать меня, *гению*, который ведет меня за собой и добивается того, чего хочет, потому что он один знает, как должно быть! Я ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ! — Она наклонилась и почтительно поцеловала его руку.

Ее галантный жест вызвал аплодисменты. Вскоре мы уехали; Джо с нами не было.

Почти сразу же начались портретные съемки. Для воспроизведения «смотрового» лица мама позвала фон Штернберга, чтобы он ее осветил, что тот и сделал, внеся небольшие изменения. Он улучшил это лицо. Никто не думал делать портрет из сцены родов, даже его создатель. Весь сеанс был посвящен лицу в высокой меховой шляпе. Остальные портреты не выдерживали с этим никакого сравнения, кроме сделанных тогда же некоторых фото «Дитрих вне съемок». На одном из них она снята в белом костюме от Кнайзе, в любимой белой шляпе с широкими опущенными полями, в фон-Штернберговском голубом шейном платке в белый горошек, смягчавшем налет мужественности в ее облике, с изумрудом Шевалье и с новым обручальным кольцом — от Ярая. Я надеялась, что Джо, просматривая пробные снимки, примет его за свое.

У моей матери была замечательная коллекция обручальных колец. Они хранились в «гермесовской» шкатулке среди принадлежностей для шитья и каких-то безделушек, подаренных поклонниками. С годами иголки и катушки исчезали, а количество колец росло. Я одно время любила доставать их и

складывать из них пирамидки. Кольца были самой разной ширины, от еле видных кружочков до непропорционально толстых и широких золотых обручей — это от тех, кто не сомневался, что получит желаемое. Бриллиантовая часть коллекции была мамина любимая. Кольца с бриллиантами тоже варьировали от тонюсеньких до широченных. Некоторые несли на себе выгравированные даты или какие-нибудь многозначительные слова, или же просто ласкательное имя. Кажется, все, с кем дружила Дитрих, мужчины равно как и женщины, в какой-то момент дарили ей обручальные кольца: они мечтали завладеть тем, чем завладеть было невозможно. Она иногда носила эти кольца, когда дарители были поблизости, но чаще всего она заходила к себе в комнату, снимала с пальца эти символы вечной преданности и опускала в шкатулку для шитья, наращивая кучку трофеев. Я вела им учет. Но я так и не видела ее настоящего обручального кольца. Должно быть, она положила его куда-нибудь еще задолго до того, как мы стали покупать вещи в «Гермесе».

Хотя фон Штернберг начал редактировать фильм еще в процессе съемок, сейчас он взялся за монтаж серьезно. Как обычно, он надел специальные белые хлопчатобумажные перчатки, чтобы уберечь руки от порезов об острые края пленки, а целлулоид — от отпечатков пальцев. Вместе с «официальным» редактором они заперлись в монтажной со своей «мовиолой» и не вылезали оттуда несколько недель. Моя мать затеяла специальную ночную службу доставки еды.

Ночью студия представляла собой жутковатое место. Темно, тихо, неподвижно, как будто замерло. Ночной сторож, который занимал себя тем, что крутил ручки большого деревянного радиоприемника, стараясь поточнее настроиться, знал нашу машину и впускал нас на территорию. Мы медленно двигались вперед, а свет фар выхватывал калейдоскоп случайных, но казавшихся знакомыми деталей: нью-йоркский уличный фонарь, фасад дома в маленькой Италии с его покосившейся верандой, улицу старого Сан-Франциско, на брусчатке которой машина подпрыгивала, ажурные балконные решетки Нового Орлеана — и все появлялось на миг и тут же пропадало. Тишина полная!

Мы заворачиваем за угол и вдруг — ослепительный свет! Люди, камеры, жужжащие генераторы! Все бешено движется, шумит, пар струится от столовского грузовика. Ночная съемка, и сюда привезли сорокалитровые фляги с кофе. Этот кусочек Лондона девятнадцатого века бурлит, а кусочки других миров стоят вокруг него в мертвом молчании. Мы едем дальше, пока не

оказываемся перед старым трехэтажным дощатым строением. Из окон второго этажа сквозь щели жалюзи пробивается свет, за этими окнами сидят два джинна и кромсают-клеют работу многочисленных талантов, превращая их в один достойный образец их искусства. Мы отдаем им термосы с супом, бульоном и кофе, курицу, ветчину, бутерброды с салями, тарелки, чашки и полотняные салфетки. Маме демонстрируют лучшее из сделанного. Она испытывает глубочайшее уважение к искусству монтажа, к таланту безошибочно чувствовать, что сработает для зрителя. Я тихо сижу и слушаю. Проходит несколько часов, мы пускаемся в обратный путь. Сторож машет нам рукой, пропуская через ворота. Три часа утра, и улицы еще пусты. Мы едем быстро; Бриджес доставляет нас домой к четырем часам.

Мы успели посмотреть черновой монтаж до отъезда. Проекционный зал был заполнен до отказа. Моя мать сидела рядом с фон Штернбергом и постоянно комментировала происходящее своим обычным «шепотом», который слышали все.

— Здесь ты сделал сорок дублей и выбрал *этот*?

— Это ты меня заставлял проделывать раз сто — не стоило!

— А где сцена, для которой мы сшили такое красивое бархатное платье? Ты *вырезал* ее?

— Видишь, я была права! Я говорила, что в этом фильме не будет видно никакой обуви!

И по поводу финальной сцены с колоколом: «Джо, надо было сделать еще пятьдесят дублей. Ты был прав — я здесь ужасна. Не надо было останавливаться. Я могла работать еще и еще, пока ты не добился бы нужного эффекта».

Удастся ли мне когда-нибудь посмотреть законченный фильм в тишине?

Я упаковала куколок, гримерная была уже пуста. Дело двигалось в сторону одного из нью-йоркских пирсов. Стадо маленьких «слоников» ожидало нашего отъезда. Я попрощалась с горничными и нашим чувствительным садовником — собак и кроликов уже не было — и вышла из дома вслед за мамой и фон Штернбергом. Дом Колин Мур сняли еще на год, и мы в нем поселимся, когда снова приедем. Мне было в новинку знать, где мы будем жить следующий раз, и мне это понравилось! В поезде я стянула оставленные на блюдечке чаевые для проводника — пятьдесят два цента, завязала их в носовой платок и вошла в «Вальдорф-Асторию», имея в кармане *настоящие деньги!*

Брайан был в Нью-Йорке. Мне так и не пришлось его увидеть, но мама однажды долго разговаривала с ним по телефону из своей спальни, а когда вышла, то выглядела умиротворенной и заказала в номер чай «Эрл Грей» с тонкими огуречными

бутербродами. Мне этого было достаточно! Значит Брайан был вновь приближен! Я была так счастлива, что даже новое путешествие в Европу почти не казалось неприятным.

Отец встретил наш поезд У парома; Тами с Тедди ждали в номере «Плаца-Атене» Мы вернулись в мамин Париж. Интересно, эти молоденькие девушки все так же порхают по отелю и собирают цветочки? Она заказала международные разговоры с фон Штернбергом, Брайаном, Шевалье, Яраем и другими. Отец распоряжался доставкой багажа, раздавая чаевые по своей собственной системе, которая немедленно и неизменно приводила прислугу в рабочее настроение. Система была примерно такова: вселяясь в отель, давай всем *вдвое больше* того, чего они обычно ожидают, — у тебя сразу появится кредит, тебя будут обслуживать в надежде на щедрое вознаграждение и в следующий раз. Больше не плати до самого отъезда. Если предполагаешь когда-нибудь еще приехать сюда, тогда плати, причем не скупись. Если нет, то не обращай ни на кого внимания и не давай *ничего.* Первая инвестиция обеспечивает вам хорошее обслуживание. А дальше вы ни при чем — вольно им верить в вашу платежеспособность.

Я была готова к скорому отъезду в *schlag*-filled Вену, но мы не уехали. «Красная императрица» разожгла мамины «меховые» аппетиты, и мы пошли покупать меха!

Африка, Аляска и большая часть Сибири лежали у ног моей матери. Она стояла, а от нее, как лучи от солнца, расходились разложенные веером вороха шкур: леопард, тигр, гепард, всевозможные лисицы — рыжие, серебристые, бурые и белые, бобер, нутрия, котик, горностай, каракульча, шиншилла, зебра, снежный барс, норка и наш знаменитый серебристый соболь. Кошмар для нынешних защитников животных, но в те времена их еще не существовало. Она указывала на связки шкурок и говорила, что из них следует сделать: из норки — накидку до полу, к той, украденной шляпе из сцены смотра гвардии. Для накидки длиной три четверти подойдет светло-рыжая лиса, отмеченная кивком головы. Две чернобурки с висящими лапками и мордочками с блестящими черными носами — чтобы небрежно набрасывать на плечи черных костюмов. Дымчатые лисицы — для тех же целей, только с серыми фланелевыми костюмами. Тренчкот из молодого котика — носить с белыми фланелевыми брюками. Пальто покроя поло из нутрии — ходить в студию по утрам в холодную погоду. Когда однажды в Берлине мой отец раскритиковал мамин дорожный ансамбль, она решила больше не любить тигров и леопардов. Комбинированные меха считала вычурными, только отвлекающими взгляд от того, на кого они

надеты. Горностай — это для королевских одежд, для тех, кто носит «серебряные кружева и старинные тиары» При виде горностаевых шкурок с хвостами она содрогнулась и сказала: «Ну, это годится лишь для старых королев и костюмных фильмов». Шиншилла была любимым поводом для насмешки: она подходила только «величественным старым развалинам с подсиненными волосами и огромными отвислыми грудями» Единственное, что оправдывало шиншиллу, был ее потрясающе малый вес, жаль только, что эта невесомость не досталась какому-нибудь менее «уродливому меху».

В 1980 году Уолтер Райш, талантливый сценарист и старый мамин друг, рассказывал мне: «Твоя мама позвонила мне однажды и сообщила, что только что получила свою новую пластинку и хочет, чтобы я ее послушал. В то время она снимала квартиру у Митчела Лайзена, в доме на Бульваре заходящего солнца. Ее некому было привезти, поэтому я предложил приехать и забрать ее около часа дня. Она сказала, что будет ждать меня на улице, и таки ждала, держа в руках граммофон, одетая, несмотря на жаркое солнце, в длинную накидку из шиншиллы. Выглядела она, как всегда, *потрясающе!* У меня дома она поставила пластинку, и мы двадцать минут слушали одни аплодисменты, вырезанные из ее лондонского альбома. Это было в тот день, когда умер Любич».

Дитрих в вечерних мехах днем? Да еще в нелюбимой шиншилле? В жару? Милый старичок продолжал:

— Ты знаешь, что твоя мама не была на похоронах фон Штернберга? Но когда его вторая жена вернулась домой, она застала там Марлен. Она прилетела аж из Нью-Йорка, чтобы побыть с вдовой. Она сказала, что не пришла на кладбище, потому что не хотела отвлекать внимание на себя.

Все это было рассказано мне благоговейно и с величайшим уважением. Несмотря на все, что он знал о моей матери, старичок оставался ее поклонником. Он продолжал вспоминать важные, как ему казалось, детали: «Она сидела рядом с женой Джо, такая печальная и такая прекрасная, вся в черном, закутанная в длинную накидку из шиншиллы». Опять накидка, которой у моей матери точно никогда не было! Я не стала разубеждать пожилого джентльмена — возможно, шиншилла как-то зафиксировалась в его памяти и теперь постоянно вспоминалась.

«Она стояла, а с нее осыпались… бриллианты», — звучало бы примерно так же, потому что у Дитрих никогда не было столько бриллиантов, чтобы они с нее «осыпались». Люди говорили, например: «Она стояла в дверях в своем неглиже из марабу», — скорей всего, речь шла о старом махровом халате, который она

унесла из какого-нибудь пижонского отеля. Или: «Марлен шла по одной из улиц Лас-Вегаса в своем знаменитом блестящем платье». Да, только она НИКОГДА НЕ ХОДИЛА, да еще по улицам Лас-Вегаса. Никогда! А блестящее платье — оно для сцены и только, затянутая в него дама могла не ходить, а лишь семенить ногами, как гейша! Подобное смешение воображаемого и реального происходило постоянно. Исходящий от живых легенд, вроде Дитрих, магнетизм столь силен, что способен запутать и тех, кто, казалось бы, не должен поддаваться иллюзиям. Фантазия становится реальностью, а затем, от многократного повторения, и общепринятым фактом. Благодаря Уолтеру Райшу, я придумала этому феномену название: синдром шиншиллы.

Мне тоже купили новую шубу взамен белого кролика, из которого я выросла. К ней полагался такой же берет, и все это было сделано из нежнейшей серой белки. Но пусть бы я ходила в шерстяном пальто, а белку я бы лучше кормила орехами.

Странно, но мама не спешила увидеть Ярая. Она разговаривала с ним по утрам и поздно вечером, но когда я заводила пластинку «Голубой Дунай», она просила поставить Бинга Кросби. Она, может быть, не одобряла того, что он делал в своей грим-уборной, но она обожала его пение. Я думаю, Джо понравилось бы, что мы все еще не расставались с русской темой. Мы видели «Жар-птицу» Стравинского, когда он сам дирижировал. Танцевал Серж Лифарь, наследник Нижинского, его прыжки и пируэты вызывали восторженные крики зрителей. Он весь, и спереди и сзади, состоял из мышц, игравших под его белым трико. В темноте ложи мама повернулась к отцу и прошептала:

— Он что, набил туда «Котекс» или это у него свое? — Я так и не спросила Нелли, что такое «Котекс». Я знала, что американские тосты были на вкус, как «Котекс», но неужели его еще можно было куда-то набивать? В свой дорогой театральный бинокль я пыталась рассмотреть, что же так заинтересовало маму.

Мы и ели «по-русски» каждый день. Надо было сцену банкета снимать в «Корнилове». Мы набивали свои желудки, и если бы не моя обязанность стоять на часах у «комнаты для девочек», мне вообще нравилось бы там есть. Но произошла КАТАСТРОФА с ЧЕРНЫМ ХЛЕБОМ!

Не помню, был ли с нами Падеревский в тот ветер, но, как обычно, при нашем появлении зал благоговейно замер. Дитрих, великолепная в черном вечернем платье, в бриллиантах и новой

норковой накидке до полу, ее импозантный муж в смокинге, очаровательный ребенок в бархате, симпатичная гувернантка, тоже в вечернем наряде, и свита из знаменитых гостей. Пресса недавно решила, что Тами входит в состав челяди Дитрих, и приставила ее ко мне. Я не осмеливалась спросить, почему ко мне, а не к тому, при ком она действительно состояла, — к моему отцу. В тот день, когда я услышала, как моя мать спрашивает швейцара, не видел ли он «мисс Тамару, гувернантку ее дочери», я решила больше вообще не думать на эту тему. Если кто-то не хотел заявлять на нее своих притязаний, то я владела ею с удовольствием. Итак, мы явились в ресторан, вокруг нас поднялась суета. Королева Парижа величественно направляется к своему столу. Сиятельная процессия почтительных подданных движется следом. Все присутствующие тянут шеи и пожирают нас глазами. По мановению холеной руки моего отца мы все рассаживаемся в надлежащем порядке. Я кладу руки на колени, фиксирую позвоночник и жду начала обсуждения меню и заказа блюд. Сидящие за столом переговариваются по-немецки, по-французски, по-польски, по-чешски, по-русски. Почти на всех этих языках мой отец в состоянии говорить о еде и заказывать ее в ресторане. В тот ветер он был само обаяние и терпеливо беседовал со всеми своими подопечными. Каждый хотел чего-нибудь особенного, никто не повторял заказов друг друга. «Нет… нет… нет, свежая икра?» — нет, только *прессованная* годилась для начала такого ужина. Моя мать немедленно открыла дебаты по поводу достоинств свежей белуги по сравнению с прессованной. Я уж боялась, что так мы и до полуночи не доберемся до главного блюда. Наконец контроверза осетровых яиц была разрешена, и мой отец завершил организационную часть. Задерганный официант отправился выполнять его указания. Я была такая голодная, что мне хотелось съесть собачьи пирожки, которые Тедди аккуратно подбирал под моим аулом. И когда подали первое блюдо, тут-то ОНО и разразилось. Как все великие стихийные бедствия, безо всякого предупреждения! Отец взглянул на свой борщ. Он был великолепен с горкой сметаны, плавающей, как айсберг, по красно-фиолетовому морю. Отец обежал глазами стол — лицо его слегка омрачилось. Я осмотрелась, стараясь понять, что не так. Не мой же лимонад — папа сам сказал, что он свежеприготовленный, и позволил мне пить его. Отец поднял руку. Старший официант бросился к его столику.

— Где черный хлеб? — спросил мой отец с теми мягкими модуляциями, которые не сулили ничего хорошего.

— О, мсье Зибер! Тысяча извинений! Наш пекарь — тот, что служил в царской пекарне, как раз сегодня утром… Его молодая

жена… красавица из Минска, умерла родами! Такая трагедия… мы все рыдали! Младенца назовут Наташей в честь…

— Вы подали борщ без черного хлеба? — мой отец прервал это душераздирающее повествование.

— О, мсье! Такая трагедия! Она была так юна…

— Вы хотите мне сказать, что у вас *нет* черного хлеба?

— Oui, мсье, *да, да!*

Беднягу трясло. Мой отец медленно снял большую льняную салфетку с колен, положил ее сбоку тарелки и поднялся. Весь стол сделал то же самое, и мы с королевской важностью удалились из зала, как отряд зомби, гипнотически следующий за своим вожаком. Дитрих не позволила своему мужу забыть этот достопамятный ужин. Сей случай подвиг ее на изобретение защелкивающейся вечерней сумочки. Мир моды решил, что это очередная дитриховская остроумная выдумка. Но мы-то знали, что с того вечера всякий раз, когда мы ходили в ресторан, где подавали борщ, она клала в эту сумочку ломтики ржаного хлеба.

— Радость моя, не забудь черный хлеб для Папи — мы сегодня едим борщ! — кричала она мне, собираясь в ресторан. И прежде чем заказывать еду, объявляла своим летящим голосом, слышным в каждом углу зала: «Мы можем взять борщ! Я принесла черный хлеб для Папи».

В тот знаменитый вечер мы и так чувствовали себя ужасно, но мой отец, я думаю, получил за него больше всех. Мама так и не оставила эту игру — брать с собой в рестораны хлеб для него.

Неотразимая в новой накидке из рыжей лисы, в сопровождении сорока чемоданов и моего отца, мама наконец отправилась в Вену. Меня с собой не брали! Никакого *schlag*. Никакого Моцарта. Никакого глупого лепета по поводу Ганса Ярая. Замечательно! Я осталась с Тами и Тедди в квартире отца. Мне не позволяли входить в его личные комнаты, но я все равно туда заглядывала. У него была такая же монастырская обстановка, как в берлинской квартире. Входишь в спальню и ждешь — вот-вот увидишь монаха! Прошлый раз я не заметила этой мрачности. Запах воска и благовоний был невыносим. Как Тами могла спать в этой гробоподобной кровати? Чувствовать себя покойником. Банкетные стулья Джо очень понравились бы моему отцу — «мертвец» смотрелся бы прекрасно в ногах этой кровати!

«Детки» отлично провели время без родителей. Мы себя не стесняли. Мы гуляли в Люксембургском саду, делали кораблики из бумаги и веточек и пускали их плавать между роскошными, купленными в магазинах игрушечными пароходами в большом фонтане. Мы ходили по Елисейским Полям, и нас никто не

замечал, никто не выражал нам восхищения, никто за нами не следовал. Куда бы мы ни шли, мы всюду были, как настоящие люди, — никто! Когда мы заходили куда-нибудь поесть, мы сами делали заказы и ели, что хотели, причем так быстро, что иногда официант не успевал все записать. Когда нам эта шутка удавалась, мы очень смеялись. Чувство свободы было восхитительным. Как мы мечтали, чтобы это время не кончалось!

Позвонил отец, заказал цветы в гостиничные апартаменты и велел мне переехать туда, чтобы воссоединиться с ними. «Мистер и миссис Рудольф Зибер», больше известные как «Марлен Дитрих и ее муж», возвращались раньше запланированного срока.

В воздухе пахло грозой. Что-то, должно быть, пошло не так в Вене. Но почему тогда Тами плакала? Ярай к ней не имеет никакого отношения. Она была так спокойна последнее время, выглядела так хорошо, даже, кажется, наконец-то пополнела. Все это как-то не вязалось одно с другим. Мама была ужасно сердита на *что-то*, целыми часами говорила по телефону за закрытой дверью. Папа угрюмо ходил по комнатам, а Тами с каждым днем все больше замыкалась в себе. Не мог же Ганс Ярай сделать всех такими несчастными. Не такое уж важное место он занимал в нашей жизни. Может быть, Гитлер сотворил что-нибудь ужасное, о чем мне не говорили? Я волновалась за Тами. Почему она вдруг стала такой хрупкой, такой потерянной?

Как-то днем я хотела зайти к маме в комнату, как вдруг у самых дверей услышала: «Джо? Я звонила. Где ты был? Я тут жду, когда ты мне перезвонишь! Это о Тами. Ты представляешь, что сделала *эта женщина?..*» — Она захлопнула дверь, чтобы я не слышала. «Эта женщина»? О Тами? Это все равно, что назвать меня Марией! Знак *серьезной* неприятности. Что такого страшного она могла натворить?

В напряженном молчании мы упаковали вещи, попрощались со знакомыми и уехали.

Пароход «Иль де Франс» сверкал, как флакон французских духов. Ему оставалось еще целый год быть гордостью французского пассажирского флота до того, как «Нормандия» отняла этот титул у него, да и у всех лайнеров высшего класса, которые когда-либо существовали или будут существовать. Но пока будущий король еще покоился на своей верфи, «Иль де Франс» держал двор и был полон жизни. Весной 1934 года его бежевая мраморная лестница отлично служила для выходов Дитрих, а шикарная столовая первого класса оказалась идеальной сценой для знаменитой встречи.

Первый раз Эрнест Хемингуэй и Марлен Дитрих встретились как раз у парадной лестницы «Иль де Франс» История повествует об этом примерно так: Дитрих в белом атласном вечернем платье с большим вырезом на спине и глубоким декольте, увешенная бриллиантами, спускается по лестнице. Длинный атласный шлейф, отороченный шиншиллой, тянется за ней; она приближается к столу и видит, что оказывается тринадцатым гостем. Она отшатывается в суеверном ужасе, но какой-то молодой человек в нескладном прокатном сюртуке, зайцем проникший в первый класс из четвертого, подходит к прекрасной огорченной звезде и говорит:

— Не волнуйтесь, мисс Дитрих, последним буду я.

Поскольку «Прощай, оружие!» уже вышло и получило известность, было продано в Голливуд, и по нему сделали фильм с Купером и Хелен Хейс, а Хемингуэй возвращался в Америку со своего первого сафари, можно было предположить, что он уже имел собственный смокинг, мог себе позволить путешествовать, а возможно, и путешествовал, первым классом, а также, что он получил приглашение на обед, в котором Дитрих согласилась участвовать исключительно с целью познакомиться с человеком, чьи произведения она знала и любила. На ней было черное бархатное вечернее платье с закрытой спиной и воротником стойкой, с длинными рукавами и всего *одна* бриллиантовая брошь. В конце концов она пришла на частный званый обед и не собиралась подражать Жозефине Бейкер в «Фоли Бержер». Ведь так лучше, не правда ли? Больше подходит людям, которым предстоит в скором будущем стать «живыми легендами»? Если мифы о вас и «синдром шиншиллы» переплетаются, значит, в вас действительно что-то есть. Эта комбинация опрокинет любую логику и переживет вечность.

Что Дитрих и Хемингуэй были приятелями — это правда. Что она звала его Папой, а он ее — Kraut или Дочкой, как и других поклонниц из своего зачарованного ближайшего окружения, — это тоже правда. Что они когда-либо были любовниками — неправда. Правда, что ему нравилось, что все были убеждены в обратном, и она не сердилась на него за это. Она даже специально всегда «с возмущением» отрицала любые утверждения об их якобы любовных отношениях. Для моей матери Хемингуэй был храбрым Военным Корреспондентом в плаще с поднятым воротником, Охотником, не струсившим перед несущимся на него носорогом, Одиноким Философом с рыболовной леской в кровоточащих руках. Кем бы он себя ни представлял, она верила в этот образ и принимала его. Она, горячая и безусловная поклонница всех его фантазий, обожала его и была убеждена, что

лучше ее у него друга никогда не было. Он восхищался ее умом, равно как и красотой, и с робкой гордостью купался в волнах ее безудержной лести. Когда в 1961 году этот мягкий, грустный человек забрызгал стену своими великолепными мозгами, моя мать искренне горевала и все спрашивала меня:

— Зачем он сделал эту глупость? Наверно, из-за жены. Она его довела! В *этом* причина… А что еще? Или ты думаешь… у него был рак?

Если бы им суждено было поменяться судьбами, он как друг знал бы и мог бы понять причины *ее* поступков. И она должна была бы понимать его. Письма его к ней полны страхов и тревожных предчувствий. Я храню их все. Жаль, что его вдова не разрешила мне поместить какие-то из них в этой книге. Они замечательные — как он сам! Но моя мать не видела в людях больше того, что было доступно взгляду, скользящему по поверхности.

Я никогда не понимала, почему ангар таможни нью-йоркской гавани назывался ангаром. Он шел по всей длине пирса, занимал площадь футбольного поля и был такой же открытый, если не считать куполообразного стеклянного навеса над ним. Ледяные ветры с моря продували его насквозь, ноги у нас превратились в ледышки, пока мы стояли в очереди под вывеской с первой буквой нашей фамилии. Как всегда, нас окружали двенадцать сундуков — Стоунхендж на Гудзоне! Еще шестьдесят с лишним мест громоздились вокруг. Мы стояли под большой красной буквой «З». Для всего мира мы начинались на «Д», но на таможне Соединенных Штатов мы, Зиберы, знали свое место. Буквы, от «Г» и дальше, начинались у ближайшего к трапу входа, и люди, готовые к неизбежной муке ожидания, курили и кутались в специально оставленные при себе пледы, наглухо застегивали шубы. Бетонный пол был ледяной, и многие женщины взбирались на свои чемоданы, спасая ноги. Серебряные фляжки ходили по рукам, люди знакомились и начинали общаться друг с другом, хотя позади у них было несколько дней совместного плавания на пароходе. Сама собой возникла компанейская атмосфера, люди с общей первой буквой в фамилии вдруг нашли друг друга. Мне тоже хотелось сидеть на чемоданах и веселиться вместе со всеми. Но до вершин наших куч багажа было не добраться, к тому же мама не одобряла шума в ожидании «серьезного дела» В некотором смысле она была права. Серьезность подобает контрабандистам. На этот раз у нас были не только платья, костюмы, халаты, сумочки, туфли, шляпы и перья на баснословные суммы, но и те новые меха! Моя мать никогда не

признавала факта существования таможенных инспекторов. Всю жизнь она считала их «врагами». Она ненавидела их, ненавидела систему, дававшую им власть, ненавидела взгляд их «глазок-бусинок», их зачин: «Мисс Дитрих, не считаете ли вы нужным что-либо продекларировать?» — который они произносили, держа под мышкой сочиненную отцом пятистраничную декларацию. Но больше всего была ей ненавистна их злорадная просьба, произносимая обычно сладчайшим тоном, но звучащая, как предвестие конца: «Откройте их, пожалуйста. Все!» Я не знаю, что хуже — проходить таможню или знать, что после этого попадешь в лапы журналистов, ожидающих в засаде снаружи! Как бы то ни было, обычно нам удавалось освободиться задолго до того, как очередь доходила даже до «К» «Парамаунт» высылал старательных молодых людей для помощи с организацией «прибытия Дитрих». Обычно они чередовались — с целью уменьшения риска нервных срывов и соответствующих медицинских расходов. Кроме того, в те времена все крупные отели отправляли своих представителей встречать важных гостей. Человек из «Вальдорф-Астории» был организатором-ветераном. Он ждал нас со своей собственной командой обученных помощников и с фургоном; карманы его гостиничной униформы оттопыривались от пяти- и десятидолларовых купюр. Чтобы только вытащить нас с этого пирса, к счету моей матери в отеле могли приплюсовать «чаевую» наценку в триста долларов, и это во время Великой депрессии!

Я любила Вальдорфские Башни, святая святых «Вальдорф-Астории», с лифтами в закутках и незаметным боковым входом. Мы остановились надолго. Я занималась рисованием цветочков, подружилась с горничными и официантками, приставленными к нашим поднебесным апартаментам, и удирала (с охранником, следовавшим по пятам) одним глазком взглянуть на только что построенный Эмпайр Стейт Билдинг. Я стояла на тротуаре, запрокидывая голову в попытках разглядеть вершину, и чувствовала, что теряю равновесие. По утрам я обычно распаковывала доставленные накануне из книжного магазина посылки, убирала с маминого ночного столика стопки Гете и заменяла его на Хемингуэя, Фолкнера, Фицджеральда и Синклера Льюиса. Я была рада, что мама наконец-то оторвалась от своих германских «богов». Для этого понадобился милый, добрый американец Хемингуэй! Она наслаждалась жизнью. Я редко видела ее, в основном когда она ненадолго приходила в отель переодеться в перерывах между литературными обедами, зваными ужинами в узком кругу с «умными» разговорами, между театрами и ночными клубами. Для Дитрих было нехарактерно

участвовать в компании. Но сейчас, как и впоследствии, в период под названием «Габэн и французские патриоты», она имела широкий круг общения, не сосредоточиваясь на ком-то одном. Мы даже и язык сменили и теперь говорили по-английски; возможно, именно под влиянием общего духа Америки в маме пробудилась не свойственная ей веселость. Мне это нравилось! Иногда она брала меня с собой на обеды. Я вела себя тихо, ела копченого лосося, смотрела и слушала. Сухой закон только что отменили, и все, похоже, наверстывали упущенное, поглощая бесчисленные коктейли, причем не из толстых керамических кофейных кружек, как раньше, а из высоких стеклянных бокалов в форме лилии. Дороти Паркер, утонченно хрупкая, нервная леди, небрежно бросала резкости мужу, Скотту Фицджеральду. Мне он был симпатичен, в нем было что-то особенное, какая-то детская нежность, которая, правда, исчезала, когда он, приканчивая целую бутылку виски, отчитывал жену за пьянство в дневное время. Почти все эти люди либо собирались работать в Голливуде, либо уже прошли через его горнило. И с каким же удовольствием они его хаяли! Блестящее, убийственное красноречие, хотя именно благодаря Голливуду они купались в роскоши.

Нью-Йорк весь кипел. После Европы его американская энергия заряжала вас до самой последней клеточки. Тосканини дирижировал в Карнеги-Холл, Марта Грэм, танцовщица-«босоножка», изображала «флюидное движение серой ткани», Джордж Коэн попытался поставить «Ах, пустыня!» О'Нила, а Мелвин Дуглас — комедию из светской жизни «Леди достаточно»; Хелен Хейс выступила в роли молодой Мэри, шотландской королевы; Фанни Брайс сама была «Сумасбродством Зигфельда»; Джером Керн подарил Бродвею «Роберту»; достраивался Рокфеллеровский центр. Вам бы в голову не пришло, что существуют столовые для бедных, что отчаявшиеся люди продают на улице яблоки по пятачку за штуку! Когда я ходила гулять со своими телохранителями, я тратила весь свой доллар на эти яблоки; мне было неудобно, что я не могу дать больше. Телохранитель одалживал мне деньги, занося их в список расходов как «фрукт — Ребенку».

Я подружилась с одним из вальдорфских швейцаров. Вечерами я иногда спускалась вниз, к главному входу. Мне нравилось смотреть, как подъезжали лимузины и, выпустив своих изящных пассажиров, откатывали от тротуара, чтобы уступить место новым импозантным колесницам. Мой друг в великолепной длинной ливрее, украшенной множеством медных пуговиц и витых галунов, умел открывать дверь с таким шиком, что вы

только диву давались. От него, в перерывах между «роллс-ройсами», я наконец узнала, что такое ночлежка.

Я никак не могла понять некоторые парадоксальные вещи. Однажды я спросила маму, что такое Великая депрессия.

— Американская депрессия? О! Впервые она приключилась, когда я приехала сниматься в «Марокко». Все миллионеры повыпрыгивали из окон небоскребов из-за того, что потеряли сколько-то из своих ненаглядных денег. Им надо было всего-навсего перестать паниковать и найти работу! Сегодня вечером я возьму бежевую атласную сумочку к этим туфлям и надену норковую пелерину.

Я не была с мамой, когда она покупала изумруды, но на этот раз, когда мы, уезжая в Чикаго, зашли в «XX век ЛТД», к нашему «особому ручному багажу» добавился сделанный на заказ футляр для драгоценностей. Это были какие-то «мистические» драгоценности. Неизвестно, откуда они взялись, а у их исчезновения столько версий, причем мама так убедительно излагала их, что правда окончательно утонула в море выдумок. И хотя они были частью нашей жизни, они принадлежали и сфере высокого искусства. Они стали чем-то вроде младших детей в семье, я их опекала. Я должна была следить, чтобы они не пропали и чтобы им было хорошо. Они жили в коричневом кожаном футляре весом и размером почти с мамин граммофон. Каждая вещь была совершенна. Самый мелкий изумруд был не меньше мраморного шарика из детской игры, самый мелкий бриллиант — не менее четырех каратов. Три браслета разной ширины, две большие заколки, большая булавка и невероятной красоты перстень. В главный бриллиантовый браслет — шириной больше манжеты мужской сорочки — был вделан огромный изумруд. Совершенной формы кабошон величиной с яйцо первого сорта лежал во всю ширину маминого запястья. Из-за своего размера это был единственный камень, закрепленный намертво в своем бриллиантовом окружении. Все остальные можно было менять! Это чудо дизайнерской мысли сделало коллекцию моей матери поистине уникальной и завоевало ей заслуженную славу. Я должна была составлять те комбинации, которые мама придумывала для своих вечерних туалетов.

— Радость моя, на сегодня мне нужны: одна заколка, один перстень и один средний браслет. — И ловким движением я мгновенно вставляла гигантский круглый изумруд в оправу, повторяла тот же маневр с другими камнями — и желаемые украшения готовы служить своей хозяйке. Крошечные зеленые озерца в окружении белого пламени! Я ужасно гордилась своими «сестрами» и «братьями» Через всю Америку я провезла шкатулку

с драгоценностями, прижимая ее к груди, ни на миг не выпуская из виду; я даже не ходила на свой любимый балкончик — так я боялась, что последний вагон резко качнет и шкатулка вырвется у меня из рук! Если бы можно было, я заперлась бы в гостиной и не показывалась бы до самой Пасадены.

Как обычно, все были готовы и ждали нашего прибытия, чтобы поприветствовать нас. В машине мама показывала фон Штернбергу великолепный подарок, который сделала себе сама.

— Джо, не правда ли, они изумительны? Большой браслет, конечно, сильно в духе Мэй Уэст, но он будет хорошо смотреться на фотографиях. Солидно выглядит, как подобает украшениям Дитрих! Дорогая, покажи мистеру фон Штернбергу, как это работает.

Машина шла гладко и ни разу даже не покачнулась, пока я демонстрировала свое искусство сборки.

Джо, кажется, расстроился. Наверно, он думал, что теперь его прекрасные сапфиры будут на вторых ролях… Я высунула голову из машины, как Тедди, и вдохнула напоенный запахом цветущих апельсинов воздух. Я дома! В носовом платке у меня завязан припрятанный доллар. Я даже знала, где мы будем жить. Так почему же мне было грустно? Не знаю.

Мы распаковали вещи, продезинфицировали туалетные сиденья, ответили на звонки де Акосты и «мальчиков», расставили цветы, присланные Брайаном, Морисом, Купером, Яраем, Любичем и Мамуляном. Прочитали телеграммы от Хемингуэя, Дороти Паркер, Скотта Фицджеральда, Кокто, Падеревского, Лифаря и Колетт. «Парамаунт» привез новую собаку для меня, а Джо остался пообедать. Все вернулось на круги своя.

Примерно через неделю позвонил отец. Обычный разговор, наказы купить и прислать из Европы кучу вещей, которые, несмотря на то, что мы только что вернулись оттуда, нужны были маме «позарез» Потом она передала мне трубку с обычным «Поговори с Папи».

— Папи? Как дела у Тами?

Я не успела подготовить дипломатический ход для получения информации. Тами была в таком состоянии, когда мы ее оставили, что мне просто хотелось знать, как она.

— Катэр, это невежливо. Так резко не говорят. Сначала поздоровайся. Ты всего неделю в Америке, а уже разучилась вести себя.

Первый раз в жизни я не послушалась его.

— Можно мне поговорить с Тами?

— Нет! Дай мне Мутти!

Я вернула трубку маме и пошла к себе в комнату. Я знала, что меня все равно отошлют туда; можно и заранее отправиться.

— Твой отец говорит, что не разрешает тебе сегодня купаться в бассейне. Сиди у себя в комнате и читай. А мне пора в студию — я еду одна! — Она закрыла дверь и ушла, раздосадованная таким развитием событий.

А я действительно тревожилась о Тами. Надо было придумать, как поговорить с ней. Я бы по голосу сразу поняла, как она себя чувствует. Бесполезно пытаться потихоньку заказать разговор с Парижем — папа всегда сам брал трубку. И уж в этом случае у меня были бы действительно серьезные неприятности. Ладно, завтра я сделаю по-вашему и добьюсь своего!

— Мутти, я прошу прощения за то, что рассердила Папи вчера. Я не хотела. Ты будешь сегодня звонить ему? Можно мне будет извиниться?

— Алло, Папиляйн? Катэр очень сожалеет, что расстроила тебя. Она рядом со мной и хочет извиниться.

— Папи? Извини меня, пожалуйста, за вчерашнее, я не нарочно. Ты прав, я поступила нехорошо.

Папа был очень доволен. Я осторожно вела разговор, не спеша отвечала на его вопросы. Проходили минуты, и скоро он скажет: «Ну, хватит тратить деньги», — и повесит трубку! Теперь или никогда:

— Папи, как Тедди? Овощи ест? Ведет себя хорошо?

Мне было сказано, что собака образцовая, хорошо обученная и поэтому послушная.

— Папи, а как Тами? Не так нервничает? Больше не доставляет тебе столько хлопот?

— Ей гораздо лучше, Катэр. Да, иногда с ней трудно, ее поведение бывает неконтролируемым.

— Да, Папи, я знаю, но ты всегда *такой* терпеливый. Я же видела, иногда это действительно трудно.

— Катэр, Тами здесь, у телефона, хочешь поздороваться?

— Да, Папи, если можно.

Наконец-то голос Тами, ласковый, нежный…

— Катэрляйн… я так скучаю по тебе. Целую тебя.

— О, Тамиляйн, я тоже, я тоже скучаю! И я тебя целую!

По ее тону я поняла, что ей в самом деле лучше. Это все, что мне нужно было выяснить. Я отдала трубку наблюдавшей за мной маме и пошла в бассейн поплавать.

Мама осмотрела маленький рояль, велела его немедленно настроить и выдала Бриджесу длинный список пластинок для

покупки. Период техники hi-fi еще не наступил, и крещендо шопеновских концертов разносилось по дому, звуки эхом отскакивали от испанских стен, давая мощный резонанс. Я гадала, кто играл. Но кто бы это ни был, то, что я слышала, доставляло мне большее удовольствие, чем Штраус в исполнении Ярая. Звуки музыки навевали мне образ пианиста: высокий, жилистый, костлявый, с горящими страстными глазами, немного дикий, «необузданный», вроде Падеревского? Мама вспомнила о вышитых накидках с кисточками, которые были наброшены на все вещи, когда мы первый раз приехали на «гасиенду». Тогда она их сразу же спрятала в сундуки и не выбросила только потому, что они значились в инвентарном списке. В тот вечер, когда мы в первый раз ожидали на мамин обед нового поклонника, мы снова все покрыли этими испанскими накидками. Были зажжены все свечи. Цвет темно-красных роз соперничал с колоритом стен, напоминавших картины Гойи; крышка идеально настроенного пианино была поднята, бутылка хереса из Толедо стояла на серебряном подносе. Интуиция подсказывала мне, что он был испанцем и играл на пианино. Так и оказалось, но это все, что я угадала! Хосе Итурби был низкорослый, приземистый и толстый, хотя в своем роде и «душка». На вид — ни дать ни взять скромный бухгалтер, но пустите его к роялю, и от его коротких, широких, квадратных пальцев в воздух польются звуки, полные страсти и блеска! Что мама — его сбывшаяся мечта, становилось ясно с первого взгляда. Что для нее он был музыкальным гением, показывало почтение, с каким она целовала его руки, и обожание, с каким она смотрела на него, когда сидела, прижимаясь к его маленьким коленям. С этого дня я имела много свободного времени для чтения, плавания, срывания апельсинов с деревьев и общения с Лордом Гамлетом Эльсинорским, моим новым датским догом, который был похож на желто-коричневого пони и ел, как лошадь.

Фон Штернберг исходил сарказмом по поводу нашего пианиста. Но с другой стороны, Джо вообще чувствовал себя с нами несчастным. Придя в дом, он должен был снимать испанскую накидку со своего кресла. Беря листок бумаги со стола, натыкался на любовные записки Ярая с текстами в духе открыток на Валентинов день: «Твои губы так далеко, и все же они близко, потому что они — в моем сердце!» или «Когда моя грудь вновь ощутит прикосновение твоей любимой головки?» Естественно, что, если моя мать всюду разбрасывала личные письма, притом открытые, Джо читал их — я и то читала! Но то, что мне это было безразлично, не значит, что Джо не чувствовал обиды. Я начала патрулировать дом, пряча любовные письма

перед приходом Джо. Подозрение закралось в мою душу, что мама вовсе не любила его, по большому счету. Она взяла от него все, что он мог ей дать, а потом просто терпела его, как бы делая ему одолжение.

На каждом углу по всей Америке мальчишки-газетчики кричали:

Экстренный выпуск! Экстренный выпуск!

Мы все с ума сошли! Мама целый день сидела у радио, слушая бюллетени о состоянии каждой из малышек. Потом позвонила фон Штернбергу на студию.

— Джо! Ты слышал? Женщина родила сразу пятерых. Что они там в Канаде делают?.. А фотографии в газетах ты видел? Она же страшная, а он «mennuble»! — Еще одно любимое словечко из идиша, означающее «маленький, неуклюжий, неопределенный, бесцветный, слабак и прирожденный неудачник». — И теперь у них будет *пять дочерей дурнушек!*.. Но сразу пятерых? Как это возможно?.. А сколько с ними хлопот! Я могла бы поехать помочь им. Лишние руки не помешали бы! Узнай через радиостанции, как туда добраться. Если есть поезд, позвони мне.

Я молилась, чтобы она не заставила меня составлять с ней вместе списки!

Дитрих так и не сумела облагодетельствовать «пятерняшек» Дионн. Вместо этого мы погрузились в подготовку «Испанского каприччо» У нового фильма имелась куча названий. Вначале его назвали, как книгу — «Женщина и марионетка». Когда остановились на музыке Римского-Корсакова, он побыл «Испанским каприччо», пока Любич не решил, что никто не будет платить, чтобы посмотреть фильм с непонятным названием, и придумал более завлекательное «Дьявол — это женщина». Название впечатляло. Но не помогло, потому что публика решила, что не хочет больше видеть Дитрих в костюмном фильме. Мы, правда, тогда этого не знали.

Мы начали ходить к Трэвису на студию.

— Марлен! Вы выглядите великолепно! Накидка из рыжей лисы! Цвет волос — просто *идеальный*! А костюм… Вот бы нам позволили сделать фильм о современности… Эти туфли! Мы бы их обязательно использовали!

— Трэвис, для этого фильма нам понадобятся кружева. Не воздушные французские, а более тяжелые — типа испанских. Что там в книгах пишут? Это будет из того же периода, что и «Кармен»? Или и здесь уже кто-нибудь что-нибудь изменил? — Она стояла у стола, перелистывая толстые научные книги.

— Вы задержались в Нью-Йорке, дорогая… Там, как всегда, весело?

— Кое-что было действительно хорошо, а кое-что — ужасно. Я видела «Сумасбродство» Зигфельда. Эти его девочки очень милы! Но уж больно высоки для женщин — должно быть, это

мужчины. И что-то у них к головам привязано, что они должны нести. Я боялась, они свалятся с лестницы! Вам не кажется, что суеты здесь чересчур? Еще на экране — это я понимаю, но на сцене? Похоже на «цирк»… И эта страшненькая Фанни Брайс! Что ей делать среди прелестных танцовщиц Зигфельда? Нельзя быть такой уродливой! Нос! Вы когда-нибудь видели этот нос? Насколько по-еврейски можно выглядеть? Нельзя позволять себе ходить с таким носом, а потом запеть! Трэвис, вы не знаете, откуда у нее этот акцент? В мире нет страны с таким произношением. Откуда оно?

Трэвис засмеялся:

— Думаю, из той части Нью-Йорка, что называется Бронкс.

— Не может быть! И она не хочет от него избавляться?

Через тридцать три года мы с мамой видели Барбару Стрейзанд в роли Фанни Брайс в «Смешной девчонке». В темном зрительном зале мама ясно и отчетливо, громче звука на экране, произнесла:

— Да, *нос* у нее в самый раз!

Было всего два часа ночи. Мама необычно рано вернулась с приема у Уильяма Рэндольфа Херста. Я встретила ее в холле.

— Это абсурд! Туда ехать дольше, чем на студию из Санта-Моники!

Мы начали подниматься наверх.

— Что этот человек о себе думает? Что он Людовик XIV? Ты бы видела этот дом! Музей — но плохой!

Мы вошли к ней в спальню.

— Название «нувориш» слишком хорошо для него! Эта Марион Дэвис ничего не знает, но ведь он-то мог бы заплатить, чтобы его научили, что в одной комнате нельзя иметь пол Pompeii, красные мраморные колонны и скульптуры пастушек с оленями да еще предлагать людям там *есть*! Массивные золотые приборы — это точно Дэвис, а тарелки? Наверно, она купила их у какого-нибудь промотавшегося венгерского князя, или ей сказали у Аспри, что от них отказалась английская королева. Оно и понятно!

Я начала расстегивать ее золотое вечернее платье.

— Я сосчитала набор вилок и подумала, что это шутка! Десять смен блюд? Но там не было ни одного человека, у кого хватило бы ума поддержать разговор хотя бы в продолжение супа! — Она освободилась от платья, переступив через его ворот. — Платье надо отправить в студию. Левый рукав тянет, пусть Трэвис поправит… Не забудь к нему лифчик.

По дороге в ванную она на ходу отстегнула чулки-паутинку

от бежевого атласного пояса. Я держала наготове халат, пока она снимала лифчик. Она просунула руки в рукава, села на унитаз и стала снимать чулки, а я пошла прикреплять лифчик к золотому платью. Прежде чем класть ее вечерние туфли в предназначенный для них замшевый мешок, надо было дать им остыть. Поэтому я присела подождать на край ванны, держа в руках обувные распорки.

— Милая, в котором часу завтра придет маникюрша?

— В девять, Мутти, а ресницы красить придут в десять тридцать.

Она осмотрела свое лицо в зеркале.

— Пора уже. Американцы говорят смешные вещи по поводу окрашивания ресниц. Ты достала французскую тушь из «запасной косметики»? — Она протерла умытое лицо лосьоном из гамамелиса и осмотрела ватный тампон в поисках следов грязи. — Гейбл был там сегодня. Вот что может сделать один удачный фильм… А Харлоу! Но это тоже показатель интеллектуального уровня сегодняшнего вечера. — Она плеснула в раковину моющей жидкости и начала стирать свои чулки и трусики.

— Тебе бы там понравилось. Давали кока-колу и яблочный пай. Яблочный пай! На этих ужасных тарелках! Вообще ты не можешь себе представить всю эту безвкусицу. Кто-кто, а Херст мог бы позволить себе хорошего повара. Но сам он еще не так плох — просто богатый и вульгарный. Конечно, Дитрих он посадил по правую руку от себя. Когда я сказала, что должна уходить, потому что мой ребенок болен и нуждается во мне, ты бы видела, какая поднялась суета! Я еле выбралась оттуда. Целый час шла до входной двери! Натыкалась на лакеев! Только американский миллионер может заставить бегать по дому лакеев в бриджах! Я тебе говорила, что он воображает себя Людовиком XIV, а Марион Дэвис думает, что она мадам Помпадур. Правда, у нее красивые ляжки, но на экране их не видно. О, этот ужасный обед! Я съела только немного рыбы и розового желе — это и то много! — Она нагнулась над унитазом, сунула палец в горло и вызвала у себя рвоту. Я подала ей влажную салфетку. Она спустила воду и еще раз вычистила зубы. — Не забудь, если завтра кто-нибудь от Херста позвонит, ты больна. — И она запрокинула голову, чтобы прополоскать горло.

Я убрала остывшие туфли, вынула из бисерной сумочки содержимое, завернула ее в черную папиросную бумагу, пометила и положила к другим сумкам. Мама забралась в постель. Я завела часы, выключила свет, поцеловала ее на ночь и уже была у двери, когда она вдруг села, зажгла свою лампу и сказала:

— Солнышко, знаешь, чего мне хочется? Два кусочка ржаного хлеба с паштетом. Вот теперь я проголодалась!

Я поспешила вниз на кухню. Когда я вернулась с едой, мама стояла и рассматривала свое золотое платье.

— Тянет вот здесь… по внутреннему шву под мышкой. Надо заново вшить рукав.

Я поставила лаковый поднос на кровать и пошла за маленькими ножничками, которыми мама любила распарывать швы. Я была уверена, что она не станет ждать, пока Трэвис и костюмеры исправят недоделку. Так что в три часа утра мы, уминая бутерброды с паштетом, перешивали рукав в тысячедолларовом платье. Она шила, а я вставляла нитку в тончайшие иголки, которые мадам Грэ подарила нам в Париже.

В свободное от сердечных излияний в письмах к маме время фон Штернберг занимался сценарием. По крайней мере, пытался ускорить его написание, оттесняя от этого дела Джона Дос Пассоса, который валялся больной в каком-то голливудском отеле. Джо все время повторял:

— Бедный, несчастный Дос Пассос. Студия выписывает его сюда. Девятнадцать часов на самолете, и вот теперь он больной, лежит весь в поту и слабеет. В перерывах между приступами я учу его, как писать диалоги для кино. Так дело не пойдет. Я сам напишу сценарий, и пусть себе Любич думает, что это сделал его великий «испанский» поэт!

При слове «больной» моя мать бросилась на кухню, Бриджес съездил в Беверли-Хиллз, накупил термосов, и выхаживание «поэта, лежащего на смертном одре», началось. Через некоторое время Дос Пассос, по-видимому, выздоровел и отправился восвояси, в Нью-Йорк, потому что мы перестали готовить куриный суп, а термосы снова наполняли любимым бульоном Джо.

Мама перестала есть. Предстояла серьезная работа над костюмами — от замысла до примерок. Чем меньше было текста в сценарии, тем большее значение мама придавала костюмам. Интуиция говорила ей, что фильм «Дьявол — это женщина» будет в основном зрелищным. Но она не могла предвидеть, что в нем образ Дитрих достигнет своего совершенства и что он станет прощальным подарком — таким великолепным! — фон Штернберга легенде, в сотворении которой он сыграл столь важную роль.

Для первых пробных снимков она нарочно придала себе ужасный вид.

Однажды Трэвис, явно оскорбленный в лучших чувствах,

встретил нас словами:

— Марлен, главная контора хочет пробные кадры! Они сошли с ума! Еще ничего даже не придумано! Мы с тобой ничего еще даже не *обсудили.* А они хотят смотреть? Что смотреть, господи? Ни разу за все эти годы… — Нос Трэвиса приобрел цвет стоп-сигнала.

В маминых глазах блеснул воинственный огонек, она приняла вызов.

— Трэвис, где этот ужасный огрызок блестящей ткани, который ты непременно хочешь показать публике в нашей рекламе? В который ты заворачивал Ломбард два года назад?

— Марлен, ты не станешь его надевать! Он омерзителен!

— Да-да, я знаю. И еще добудь мне ту дешевую вуальную ткань — ну, широкую, всю в завитушках. Дорогая, пошли Бриджеса домой и вели привезти одну из шалей, которыми мы покрываем пианино, — большую, она на спинке дивана.

Трэвис совсем скис, а девушки-костюмерши с ужасом наблюдали, как моя мать задрапировывалась в ветхую ткань, обертывая ее несколько раз вокруг себя и делая на груди множество складок. Она сварганила длинные перчатки из вуальной ткани, приказав девушкам отрезать их выше локтей и подшить, только «не аккуратно» Она напялила кусок вуали с самой уродливой частью рисунка на голову, накрутила еще несколько ярдов материала вокруг плеч и в довершение накинула на себя нашу рояльную шаль. Выставив вперед правое бедро и уперевшись в него рукой, а левую с виднеющимся над неровным краем перчатки голым локтем положив на левое, наклонив голову и прижав подбородок к груди, она опустила ресницы, как Мэй Уэст в постельных сценах, и пропела на манер Лупе Велес Тихуана: «Si, si, senor! Было много caballeros до того как меня стали звать Конча!»

Трэвис катался по полу от смеха, девушки визжали, и все мы горячо аплодировали.

— Ну, теперь все пошли! И выдадим им их пробы! Единственная загвоздка — они настолько тупы, что могут подумать, что мы серьезно! Однако это заткнет им рот, и мы сможем работать, не обращая внимания на их глупость.

Мы двинулись в отдел рекламы с криками «Ole!» Мама оказалась права на сто процентов! Главная контора одобрила костюм и оставила Бентона и Дитрих в покое. Начальство так никогда и не поняло, что же эти двое великих художников задумали. Впрочем, это вообще мало кто понял. Даже «Унесенные ветром» с костюмами Уолтера Планкетта не смогли превзойти фильм «Дьявол — это женщина». Хотя последний и считается

лучшим по воспроизведению исторического контекста, но при создании его костюмов практически никакие общепринятые ориентиры не использовались. Разве что какие-то детали, навевающие некий образ «старой Испании» Все здесь было плодом чистого воображения, нашедшего совершенное материальное воплощение. Потрясающая операторская работа фон Штернберга сделала Дитрих такой прекрасной, какой она не была ни до, ни после «Дьявола». Здесь она нравилась себе больше всего, и это единственный фильм, копию которого она пожелала иметь у себя. Моя мать всегда умела распознавать совершенство в неодушевленном предмете. Дитрих, инстинктивный знаток красоты, безошибочно чувствовавшая великое.

Кружева… Я и не представляла себе, что может быть столько разных кружев. Всюду кружева. Подлинные, старинные, просто чудесные и *тяжелые* — ничего трепещуще-воздушного. Если кружева могут быть «драматичными», то комната просто источала драму. Моя мать ходила вокруг, как купец, рассматривающий товар на восточном базаре; при этом она по обыкновению сплетничала с Трэвисом.

— Мне пришлось пойти на этот обед к Херсту. Чудовищно! Ребенок тебе поведает. Она так смеялась, когда я ей рассказывала подробности. Один-единственный интересный мужчина — из любовников Гарбо. Не понимаю, как она их заполучает. Он весь вечер был пьян; хотя, если приходится спать с Гарбо, *надо* напиваться. Вот это может подойти… — Она слегка дернула за край и развернула рулон великолепных белых кружев ручной работы. — Очень хорошие. Сделай к ним платье и, может быть, большую шляпу. Если Джо пустит на нее свет сзади, рисунок будет просвечивать насквозь.

— Великолепно, совершенно великолепно! — Сидя на краешке стола и держа свой большой альбом на колене, Трэвис делал наброски — стремительные элегантные движения карандаша рисовали будущие шедевры из белого шелкового крепа и старинных кружев.

— Ты видел Клифтона Уэбба в этой его пьесе в Нью-Йорке?

— Боже, Марлен, когда же я смогу уехать отсюда!? Я столько лет без отпуска!.. Мне нравится Клифтон. Ты знаешь, что он никуда не ходит без своей матушки Мэйбл. Поэтому он и не женился.

— Да? А я думала, по другой причине.

Трэвис засмеялся. «Миляга Клифтон — душа общества. Отличное чувство юмора. Нам нужны гребни… разные испанские гребни. Какие-то с длинными, какие-то с короткими зубьями, с

закругленным верхом. Сделаем черепаховые и из слоновой кости». Трэвис продолжал рисовать.

— Трэвис, не переусердствуй с мантильями. Не надо мне слишком много занавесок, свисающих со спины. Все так делают, если хотят чего-нибудь «испа-а-а-нского». Кстати, о занавесках. Ты видел, что Орри-Келли сделал с Долорес дель Рио в этом костюмном фильме на «Уорнер бразерс»? Она похожа на окно французского chateau (замка). Ему нелегко придется, когда надо будет одевать эту лупоглазую с кудряшками — как бишь ее? Джо говорит, прекрасная актриса. Она только что снялась в фильме по Моэму.

— Ты говоришь о Бэтт Дейвис?

— Да-да, именно. Но почему надо быть такими уродками? Совсем не обязательно быть дурнушкой, чтобы играть в кино!.. Чулки… надо подумать о чулках. Такая женщина, как наша героиня, не станет носить чулок. А на босу ногу не наденешь туфли с каблуками. Может быть, нам пустить вышитое кружево прямо по чулкам, спереди. Тогда ноги, когда они будут видны, покажутся частью костюма. Такого еще не было. Позвони Уиллису, пусть придет сюда!

— Потрясающая идея, Марлен! Потрясающая! Уиллис на неделю лишится сна! Он будет в восторге! — Трэвис поднял трубку и позвонил Уиллису — специалисту по трикотажу для звезд.

Мой отец с Тами едут в Америку! Ходят слухи, что он даже побудет здесь некоторое время, потому что фон Штернберг дает ему какую-то работу в «Дьяволе». Представляю, как Тами понравятся колибри у меня в розарии.

— Конечно, это дело рук нацистов, — взволнованно говорила мама. Она обсуждала с папой по телефону убийство австрийского канцлера. — Я хочу, чтобы ты немедленно приехал, сейчас же! Не надо ничего выжидать. Бери с собой Мутти и Лизель. Оставь собаку — ну в самом деле, Папи! В Париже у тебя найдутся друзья, которые возьмут к себе твоего бесценного пса! Если Мутти заупрямится, скажи ей, что у нее будет свой дом. Ей не придется жить вместе с кинозвездой.

Так вот почему ее мать не желала жить с нами? Мне это не приходило в голову. Мама продолжала:

— Если этот щенок Лизель вступил в гитлерюгенд, так это папашино влияние. Я давно ей говорила, что он дрянь! Не может же она сидеть и дрожать, и молиться, чтобы он изменился. Он нацист! Еще самих нацистов не было, а он уже был нацистом. Приедешь, поможешь мне с Джо и с картиной. А то тут все с ума

сходят: «Джо пишет, этот знаменитый автор Любича пишет!» Наверно, половина сценаристов тайно стучит на машинке, сочиняя диалоги, которые Джо все равно выбросит в корзину, а вместо них сделает еще один крупный план!

Когда наконец мой отец прибыл, одна только Тами сопровождала его. Меня это устраивало, но мама была в ярости оттого, что он не сумел уговорить ее мать уехать из Германии. Тами поселили поблизости от комнаты отца. Я показала ей крошечные гнездышки колибри, устроенные среди розовых шипов. Я крепко обняла Тами и спросила:

— Они все еще сердятся на тебя?

Она покачала головой, всхлипнула и сказала, что все в порядке.

Когда мой отец пребывал с нами, моя жизнь всегда менялась. То, что я не получала формального образования, возмущало его до глубины души. Множество учительниц всех форм и размеров прошло поэтому через нашу испанскую гостиную, представлявшую собой отличную сцену для папиных инквизиторских интервью с потенциальными служащими. Верный себе в вопросах экономии, он в конце концов нанял двуязычную учительницу. По утрам она должна была учить меня по-немецки, после обеда — по-английски. Ну и как же я должна была успевать на обсуждения костюмов и причесок, на примерки, а также надписывать открытки, прибирать грим-уборную? Моему отцу всегда как-то удавалось вмешиваться в важные дела и нарушать их установленный порядок. Обязанности личной горничной перешли к Тами, так что я могла побольше спать, но ведь нам надо было делать фильм! Как он мог не понимать этого и отвлекать меня своими пустяками? Две недели я боролась за свою свободу. Помощь пришла с неожиданной стороны.

Однажды утром отец вошел ко мне в классную комнату и прервал урок о Гете. Я возликовала и стала качаться на стуле.

— Прошу прощения, фройляйн Штайнер, но Мария должна срочно подойти к телефону! — Отец произнес это сквозь сжатые зубы.

Я кинулась в мамину спальню и схватила трубку.

— Алло!

— Мария?

Это была Нелли, в голосе ее звучала досада.

— Нелли, в чем дело?

— Послушай, милая, за тобой едет Бриджес. Твоя мама хочет использовать те гвоздики, которые она купила в Париже в последний приезд. Она говорит, ты знаешь, где они, и хочет, чтобы ты привезла их.

— Хорошо, но что делать с уроками?

— Не знаю… Твоя мама только сказала: «Пусть Мария привезет гвоздики. Она знает».

Отец был в ярости, учительница смутилась, но что я могла сделать? Я быстро собрала коробки с гвоздиками и вышла ждать Бриджеса.

— Наконец-то! — Мама устремилась ко мне и схватила коробки. Усевшись за туалетным столиком, она стала пробовать: — Послушай, если мы воткнем гребень сзади, отведем волосы вправо, а цветы прикрепим углом вдоль изгиба пряди, чтобы они доходили прямо до лба — как ты думаешь? — Она прикладывала цветы к голове, смотря на меня в зеркало. — Ну как?

— Мутти, эта линия может быть слишком контрастной на фоне твоих волос. Может быть, взять красную, потом розовую, а потом красную более светлого оттенка?

— Вот видите! — Она повернулась к обступившим ее стилистам, дизайнерам, парикмахерам, Трэвису и Нелли.

— Ребенок чуть вошел — и тут же понял! Радость моя, а что бы нам сделать с этой дыркой? Может быть, закроем ее челкой? Нелли, дай мне несколько прядок из тонких волос, совсем тонких, как у младенца.

Целый день мы работали над знаменитой прической с гвоздиками в «Дьяволе»; моя учительница теряла время, а папа кипел от возмущения.

Две недели меня сдергивали с занятий и доставляли на «Парамаунт», пока все до одной прически не были придуманы. Единственным намеком на то, что у мамы какие-либо разногласия с папой, была ее фраза: «Дорогая, если все твои уроки будут сделаны *к ночи*, никто не запретит тебе ездить на студию».

С тех пор каждое утро, ровно в восемь часов мои тетради лежали на столе открытые, готовые к инспекции. Грамматика, арифметика, сочинения — все было сделано, не самым лучшим образом, но сделано, и я была свободна! Учительница подружилась с охранниками, плавала в бассейне и больше не чувствовала себя виноватой. Папа решил, что моя собака нуждается в дрессировке и сконцентрировал все внимание на превращении Лорда Гамлета в образец собачьего послушания; Тами отлично готовила и смотрела за хозяйством — одним словом, челядь Дитрих функционировала нормально.

Я провинилась. Мы придумывали прическу к белому платью с бахромой; специально изготовленный огромный испанский гребень должен был сидеть на мамином затылке. Она зачесала

все волосы назад и забрала их в пучок в форме восьмерки. Но получилось слишком элегантно, слишком серьезно, поэтому она соорудила посреди лба опрокинутый вопросительный знак. Выглядело это возмутительно — фривольно — и совершенно фантастично. На самом деле, локон был такой очаровательный, что она не убирала его на протяжении почти всего фильма. Как только я его увидела, я непроизвольно продекламировала известный лимерик про девочку с локоном посредине лба, которая была «очень-очень хорошая, когда вела себя хорошо, но которая, когда вела себя плохо, была ужасно противная».

Едва последние слова слетели с моих губ, как до меня дошло, что я сделала, но было уже поздно! Я ничего не могла придумать в свое оправдание. Бриджеса за мной не присылали целую неделю, так что знаменитую кружевную шляпу сочинили без меня.

Когда выдавалось свободное воскресенье, мы «выходили в свет» Джо, мой отец, Тами, мама и я загружались в нашу машину и ехали в загородный клуб «Ривьера» смотреть матчи по поло. Всем, кроме меня, разрешалось наряжаться корректно, как «на спектакль в воскресный день» Мне всегда велели надевать платья из органди, заказанные накануне и доставленные от Буллока, с широкополыми шляпами подходящих цветов. Одно было особенно отвратительное, из накрахмаленной белой кисеи, с рисунком из ярко-красной земляники, фестончатым подолом и пышными рукавами «фонариком». Наверное, они хотели, чтобы я выглядела совсем ребенком. У меня есть фотографии, где мы сидим в нашей ложе, — я похожа на рассерженное клубничное мороженое.

Агенты ФБР ликвидировали американского «врага общества № 1», «Красная императрица» получила после премьеры убийственные рецензии. Ни то, ни другое не стало для нашей семьи потрясением. Мама не питала ни малейшего уважения к кинокритикам, презирала их мнение, а так как в 1934 году было далеко до ее периода под названием «Я люблю гангстеров», то с Дилинджером она еще не познакомилась. К тому же мы пребывали в состоянии глубокого кризиса по поводу внешности героини.

— Что-то не так. Не то лицо. Никакой тайны в нем, ничего от экзотической птицы. Такое лицо не вяжется с этими костюмами, — бормотала моя мать целыми днями. Некий рефрен, который она исполняла за туалетом по утрам, у плиты за готовкой и в машине по дороге на студию. Как заклинание! Дот и Уэстмор перепробовали все. Весь гримерный отдел занялся поиском лица для Дитрих. Пол уборной был устлан портретными

и прочими фотоснимками. Все дитриховские лица, все образы, когда-либо придуманные для нее, тщательно рассматривались, анализировались, после чего отвергались. Нужный грим, который сочетался бы с подчеркнуто стилизованными костюмами — отчасти ее собственным творением, — никак не находился. На вопрос Джо: «Могу ли я помочь?» — ему было сказано, что это не его забота, — у него есть более важные проблемы, и пусть он идет и решает их. По мере того, как костюмы с каждой примеркой становились все прекрасней, все великолепней, ее недовольство своим гримом росло. Все утверждали, что она выглядит умопомрачительно, но я знала, что это ровным счетом ничего не значит. Дитрих должна выглядеть умопомрачительно для Дитрих — ничье иное мнение в расчет не принималось. Однажды она резала лук и шмыгала носом, из которого отчаянно капало.

— Брови! — воскликнула она, взмахнув своим восьмидюймовым ножом.

Я бросила горох, который лущила, и мы понеслись наверх, к ней в спальню. Затаив дыхание, но не в страхе, а просто в ожидании результата, я смотрела, как она выщипывала свои брови полностью. Ни у нее, ни у меня не было сомнений, что она права и что решение найдено! Мы обе горели нетерпением увидеть, что же получится. Стряпня была заброшена, Бриджес получил приказ доставить нас на студию. Там мама наложила полный грим, как для съемок. Нелли сделала прическу с гвоздиками; Дот, Трэвис и все остальные молча наблюдали. Когда все было готово, мама заточила кривым ножичком черный восковой косметический карандаш и твердой рукой прочертила две летящие дуги над верхними веками — и вот вам самая экзотическая птица, которая когда-либо залетала в эту комнату и торжествующе улыбалась! Вот наконец чудо, которое так долго ускользало от нее!

Есть люди, которые знают: даже в том, что выглядит идеальным, может чего-то недоставать. Есть те, кто понимает это, только когда им укажут. Моя мать принадлежала к первой категории, тогда как большинство актеров принадлежит ко второй. Может быть, это еще одно тонкое различие между Легендой и Звездой?

В одно из свободных воскресений мы отправились посмотреть новый дом Джо. Он построил его в отдаленном поселке под названием Долина Сан-Фернандо, где были апельсиновые рощи, жара и пыль. Пустынное, засушливое место, в котором через сорок лет мой отец будет жить на полуакре и считать себя счастливым обладателем такого большого участка в столь

густонаселенной местности, впрочем, такой же сухой и пыльной, какой я впервые увидела ее в 1934 году. Мы добирались туда несколько часов по ухабистой проселочной дороге, из-за которой мама все время жаловалась.

— Твое очередное сумасбродство. Ну зачем тебе жить в такой дали да еще в пекле? Только *тебе* Беверли-Хиллз не хорош… Даже в Малибу не так ужасно, как здесь! Как ты ухитряешься отсюда каждое утро добираться до студии?.. А если это только для выходных, тогда зачем было строить дом? Снял бы хижину, если уж хочется поиграть в отшельника.

Джо сидел за рулем, а мама ворчала на заднем сиденье. Тами беспокоилась, что меня укачает, а я старалась, чтобы этого не случилось. Впереди, рядом с Джо, папа возился с радиоприемником, надеясь отвлечь маму чем-нибудь музыкально-успокаивающим. Но мы были слишком далеко от города, и он ловил лишь треск и шипенье. И меня укачало. Но вдруг как из-под земли появилась густая ярко-зеленая рощица, Джо объехал ее — и перед нами предстало нечто. Фантазия Жюля Верна. Крепость из сверкающего стекла, футуристический замок! Без бойниц и башен, но с настоящим рвом с неподвижной чистой водой, в которой отражалась блестевшая на солнце сталь. У меня перехватило дыхание, и я забыла о своем взболтанном желудке. Непроизвольно я воскликнула:

— О, Джо! Как чудесно! Какое освещение — ты поймал солнце!

Он улыбнулся той редкой, мягкой улыбкой, от которой светились его глаза.

— Веди себя прилично! Сначала *мистер* фон Штернберг должен был останавливать машину, потому что ты не могла сдержать себя, а теперь вдруг все сделались счастливыми. — И она вышла из машины.

Я пошла за ней, стараясь умерить свой энтузиазм. Но это было нелегко. Какой дом! Все Рыцари Круглого Стола могли бы собираться здесь в большом зале. Ступени, ведущие на открытый второй этаж, были совершенно как из средневекового замка, а спальня Джо представляла собой личный планетарий. Огромный стеклянный купол, на который проецируются сиреневые горы и небо. Но вдруг вы видите, как по этому небу движутся облака, и понимаете, что перед вами реальность. А ночью, наверно, здесь чувствуешь, что спишь среди звезд! Мне хотелось болтать, но я прикусила язык. Мама пошла проинспектировать ванную.

— Джо, что это?

Он пошел вслед за ней.

— Где занавески? Их еще не доставили? Как и в спальню?

— Нет, возлюбленная, занавесок не будет. Здесь на несколько миль вокруг нет ни одного дома. Некому и не на кого смотреть. Нет нужды закрываться от неба.

Ты собираешься сидеть на унитазе в ванной со стеклянными стенами?

— Да, я даже собираюсь какать под наблюдением небес.

— Не употребляй таких слов — здесь Ребенок! Я тебя не понимаю. Если ты хочешь жить в *декорациях*, то почему именно здесь?.. И потом ты же не думаешь, что я буду мыться в ванной с прозрачными стенами! Что ты сделал с кухней? Это тоже аквариум? И лучше проведи газ: если плита у тебя будет «совреме-е-енная», как говорит Фанни Брайс, то ты не получишь своего любимого гуляша! — И мы проследовали обратно вниз по лестнице — по ней могла бы спускаться Леди Макбет! — в роскошную кухню.

— Опять металл? Что у тебя за пристрастие к стали? Есть, по крайней мере, деревянные ложки, или они тоже слишком, чересчур старомодны для тебя? Пижонство какое! Какой авангардист! Что бы ты ни говорил, Джо, иногда ты бываешь так буржуазен. И кто же будет следить за чистотой всего этого металла? Как ты собираешься заставить слуг ездить сюда?.. Или ты собираешься обучить индейцев?

Когда мы, уже покидая дом, проходили через гостиную, я углядела два банкетных кресла из «Красной императрицы», поставленных по обе стороны очаровательного шахматного столика. Мрачные привидения были абсолютно к месту, как будто бы обдумывали свои ходы в вечности. Но я о них не заикнулась. Мама сама увидит эти стулья, и бедный Джо еще получит за них.

Мы тронулись в обратный путь, на нашу обернутую в шали «гасиенду». Моя мать курила и требовала, чтобы отец прекратил возиться с кнопками и нашел бы что-нибудь, наконец, на этом дурацком радио. Тами волновалась о количестве персон, которые будут обедать. Джо молчал, вцепившись в руль обеими руками. Я вспомнила о своем желудке. Мне было ужасно жаль неудавшегося сюрприза. Фон Штернберг так и не повесил шторы, а Дитрих так и не жила с ним там, хотя одно к другому не имеет никакого отношения. Перед моими глазами до сих пор стоит этот сверкающий, как отполированный стальной щит, дом, и я все еще ощущаю, как был уязвлен фон Штернберг. Мы приехали и застали в доме Хосе Итурби, который «разогревался» на фуге Баха. Моя мать бросилась приветствовать его. Мы с отцом потихоньку скрылись, Тами пошла приготовить шерри, а Джо сел в машину, спустился с холма, выехал за ворота Бель-Эра и помчался прочь.

Моего друга и партнера по торговле лимонадом уволили. Я расстроилась. Не было ли это как-то связано с тем, что он мне помогал? Просто потому, что он ко мне хорошо относился, его не могли прогнать. И все же в один прекрасный день он не появился на работе, а вместо него пришел новый джентльмен с револьвером. Настоящей причины я так никогда и не узнала. Может быть, я слишком часто говорила, что он мне симпатичен? Я знала, что маме не нравилось, если я с кем-то заводила дружбу. Она мне часто говорила: «Ты сразу же начинаешь называть людей «друзьями», как американцы. Ты их даже не знаешь! Но даже если они и хотят *быть* твоими друзьями, нельзя же, как собачка, вилять хвостом от одной обращенной к тебе улыбки. Это неправильно!»

Вот в чем дело! Я показала, что мой добрый охранник мне нравится, и это стоило ему работы! Как ужасно! Надо быть осторожней в будущем, и насчет Тами тоже. Я заметила, что если мы с ней вместе испечем торт, то он вдруг оказывается «слишком сладким», или «слишком жирным», или в нем «слишком много изюма», или он недостаточно «поднялся», хотя когда она делает торт по тому же рецепту одна, он поедается без единого замечания. «Открытые дружбы» исключались! Держи в секрете свои симпатии. Интересно, нельзя ли как-нибудь обратить это себе на пользу? Я решила попробовать. Благодаря стараниям моего отца бедняга Лорд Гамлет превратился в неприятную собаку, в одушевленную статую Великого датчанина. Я знала, что пес не виноват, но я все равно хотела другого. Несколько дней подряд я твердила маме, как я его люблю, каким он стал хорошим другом. Когда она звала меня, прося что-нибудь найти, я оказывалась «занята с датчанином»… У моей новой собаки, шотландского терьера, были короткие ножки и дерзкий характер. Я полюбила его с первого взгляда и ни единого раза не показала этого! Я, правда, чувствовала себя виноватой перед Гамлетом за то, что использовала его. Я спросила Бриджеса, не знает ли он, куда дели пса, и когда он сказал, что думает, что его отправили к Джоан Кроуфорд, у меня отлегло от сердца. Я знала, что мисс Кроуфорд уважала все дрессированное и исполняющее приказания без промедления.

Иногда по вечерам у нас были «ужины в тесной компании» Мама готовила целый день. Мы с Тами чистили, мыли и помешивали. Папа ездил в Лос-Анджелес искать в этой «культурной пустыне» подходящее вино. Все восторженно ахали и охали над каждым блюдом, затем переходили в гостиную, где пили кофе и восхищались умением моего отца выбирать бренди, а уж после этого рассаживались по темно-красным диванам и

креслам для прослушивания вечернего концерта. Под музыку Шопена в исполнении Итурби мой отец подогревал между бледными ладонями свой бокал с вином, де Акоста демонстрировала истинно испанский патриотический пыл, «мальчики» сидели с выражением внимания на лицах, я была вежливо тиха, мама, завороженная, прижималась к вибрирующему пианино, а Тами старалась не думать о грудах грязных тарелок, ожидающих нас на кухне. Джо просто сидел с усталым видом и уезжал рано. Даже когда мы устраивали «немецкие» вечера и мама делала для «берлинской колонии» пирожки с ливером, фаршированную капусту и пивной суп, Джо не сидел долго. Он появлялся, наверное, только затем, чтобы показать, что он здесь все еще «свой», а не потому, что ему на самом деле хотелось быть с нами.

Эти иностранные голливудские землячества были забавны. Члены их, близкие друг другу своими «национальными» особенностями, сбивались в стайки, наподобие животных. Так им было легче в чужой стране. Британская колония, говорившая на одном языке с «аборигенами», была самой многочисленной и насчитывала в своих рядах наибольшее число звезд. Британцы подчеркивали свою уникальность тем, что завели по утрам питье английского чая, в который никогда не клали кубики льда. Они также ходили по улицам с туго свернутыми черными зонтиками, хотя здесь никогда не бывает дождя, носили твидовые костюмы, мягкие фетровые шляпы и старые галстуки — эмблемы знаменитых школ или каких-нибудь родов войск, — отнюдь не всегда приобретенные своими владельцами благодаря принадлежности к этим славным заведениям (но кто в Америке заметит разницу?), говорили с престижным южно-английским акцентом, причем даже уроженцы Манчестера (опять-таки, кто разбирается в таких тонкостях?), и много и серьезно играли в гольф, надев особые штаны.

Французы слыли знатоками мест, где можно купить нормальное вино и мягкие сыры; они носили береты, играли «обаятельных» и смотрели на Шарля Буайе, когда не знали, что делать дальше.

Германская группа имела самую крепкую структуру. В отличие от британцев, немцы не позволяли американскому простодушию разрушать классовые границы. Аристократы или те, кто был способен себя выдать за таковых, читали Гете, носили перчатки из свиной кожи и специализировались на исполнении ролей нацистов в сороковые годы. Иммигранты, в большинстве своем комики, пародисты, юмористы, сочинители популярной музыки и агенты, усвоили американский стиль в одежде и искали

в магазинах бублики. Интеллигенция — писатели, поэты и режиссеры — ходили с тросточками с вкладной шпагой или с короткими стрижками, в зависимости от степени неуверенности в себе. Как всегда, венгры, австрийцы, чехи, поляки, болгары, румыны и югославы сбивались вместе под все тем же центрально-европейским знаменем и черпали силы в совместном поедании маринованной селедки, квашеной капусты и ливерной колбасы; они восхищались «Нибелунгами» или морщили от них нос; искали, где бы послушать аккордеон, попить настоящего кофе или легкого пива, и делились друг с другом своими немецкими газетами и учителями английского языка. По мере того, как они овладевали английским, и по мере роста потока беженцев они становились самой влиятельной группой творческой интеллигенции в киноиндустрии. И по праву — Билли Уайльдера нельзя было не принимать всерьез. Почти все они осознавали, что им повезло, и подали заявление на натурализацию. Они отказались от своего отечества по очевидным причинам, но в душе, тем не менее, лелеяли воспоминания о нем.

На месте нашего Хосе появился Лео Рубин, правда, только у пианино и на очень короткое время. Начались репетиции песен для фильма. Сидя у себя наверху, я переписывала сочинение на тему «Осень пришла» и одновременно слушала. Что я могла написать об осени, когда там, где мы жили, вообще не было времен года, я не знаю, но это неважно. Я корпела над заданием, как вдруг услышала рев. Это была песня в авторском исполнении, в манере, характерной для сочинителей песен, когда они стараются продать свой свежий шедевр:

У меня три дружка,
Один — с…

Длинная пауза, затем:

слесаря сын!

И так далее, с перечислением почти всех профессий, с тем же энтузиазмом до завершающего мощного крещендо. Последовала полная тишина, затем… хлопнула входная дверь! Не в силах преодолеть любопытство, я бросила свои «листья, опадающие с пальм», и побежала вниз. Мама не разочаровала меня:

— Ты слышала? И это называется песня? Должно быть, они меня разыгрывают!.. А вторая еще хуже — что-то о боли и любви!

Что случилось? Его песни для «Марокко» были не так плохи! Но уже в «Белокурой Венере» он начал чудачить, а сейчас вообще объединился с тем вторым идиотом, который писал нам песни! «Белокурая Венера» мало чего стоит, но там мы, по крайней мере, вынуждены были делать ее дешево. А здесь, представь себе, меня во всех этих дивных костюмах, всю такую очаровательную, поющую песенку о… *мяснике*. Тогда надо объявить фильм комедией, и пусть Любич будет счастлив!

Дитрих все-таки записала эти песни для «Дьявола», но все время расстраивалась из-за них. Даже прослушивая запись, она не могла не морщиться. Почему эти песни остались в фильме, почему не были переделаны, переписаны заново или вырезаны, осталось для всех загадкой.

— Радость моя, попытайся узнать, что с Тами. Скажи, что хочешь пойти с ней на пляж, но думаешь, что у нее, может быть, простуда; если же она простужена, то вы не можете идти на пляж, поэтому тебе и хочется узнать, в чем дело. Папи говорит, что это все «нервы». Ну а с чего бы ей нервничать? Все ей оплачивается, работать не надо — она праздная леди! Как она может иметь «нервы»? Я говорила Папи: «Катэр узнает».

Моя мать вышла из комнаты, чтобы позвонить Яраю. Меня беспокоило поведение Тами. Она казалась подавленной. Не так, как Джо, — тот был печален. А ею как будто овладела апатия, глубокая усталость. Глупой историей с пляжем я вряд ли чего-нибудь добьюсь. Мне не хотелось выспрашивать Тами, поэтому я просто сказала маме о самом важном, на мой взгляд, симптоме — что Тами казалась очень усталой. Я знала, что за этим последует лекция об «отсутствии у некоторых людей стойкости и выносливости» Так и случилось, после чего мама подняла трубку и позвонила одному из «мальчиков»:

— Дорогой? Как зовут того диковинного доктора, которого ты нашел в Пасадене? Ну того, что делает уколы, которые приводят всех в состояние эйфории? Позвони ему и скажи, что у тебя есть знакомая, она постоянно чувствует усталость и приедет к нему завтра утром за уколом. Заплати ему и скажи мне, сколько это стоит, а я передам секретарше Джо. — Она повесила трубку и пошла сообщить Тами, куда та поедет на следующий день.

Что за укол? Что это за лекарство такое, чтобы тут же все себя чувствовали отлично? Вечером следующего дня Тами была другим человеком: она болтала обо всех и вся, глаза ее блестели, она активно жестикулировала и вообще была остроумна и забавна. Моя мать торжествующе смотрела на отца:

— Вот видишь, Папи. Ей и нужен был всего-то укол! Отныне

она должна посещать этого доктора, по крайней мере, два-три раза в неделю. Я велю «мальчикам» записывать ее на прием. А ты можешь сам отвозить ее, чтобы наверняка знать, что она там бывает!

Тами была так счастлива, что сумела всех рассмешить и что отцу понравилось ее искрометное веселье за обедом. В ту ночь она не смогла заснуть, это оказалось невозможно. Наверно, причиной было перевозбуждение накануне вечером. Утром она рассказала о бессоннице маме.

Что? Бессонница? Сначала усталость, потом безудержная веселость, а теперь бессонница? Прими таблетку, и все будет в порядке. Я позвоню в аптеку и попрошу прислать снотворное.

— О, благодарю, Мутти. Простите, что причиняю столько беспокойства. Вы так заняты на съемках. Руди рассказал мне о докторе, что это вы все организовали. Большое спасибо. Я уверена, что уколы мне помогут. Вы правы. Я так хорошо чувствовала себя вчера вечером, я даже вас всех смешила. Помните, в Берлине вы говорили, что я всегда смогу вас рассмешить?

В ту ночь Тами, еще раз поблагодарив маму, приняла свои новые таблетки и уснула. На другой день она выпила две чашки крепкого черного кофе и была готова ехать в Пасадену за чудесным уколом, который делал ее такой оживленной и привлекательной.

— Сниматься будет Джоэль Мак-Кри.

Мы разбирали вещи в грим-уборной, когда Джо зашел и объявил нам эту новость.

— Он хороший актер, только что успешно снялся и сейчас свободен. Из него получится интересный Антонио.

Мама посмотрела на него, оторвавшись от очередной коробки.

— Это тот, который снимался с Долорес Дель Рио?

— Да. — Джо повернулся было, чтобы уйти, но остановился, услышав мамин голос.

— Он красив! И высок! Нелли и Дот втюрятся в него! А Катэр попросит автограф. И у него светлые глаза!

Фон Штернберг делал пробы с Джоэлем Мак-Кри. После пятнадцатого дубля мистер Мак-Кри покинул съемочную площадку, территорию «Парамаунта» и наш фильм, так и не дав мне возможности попросить его расписаться в моем альбоме для автографов. Его заменил Цезарь Ромеро — актер, которого моя мать называла не иначе как «этот наемный танцор» Он стал еще одним исполнителем главной мужской роли при Дитрих,

которого никто не помнил.

Мама снова начала бубнить про себя. Вечерами в ванной она просто стояла и смотрела на себя в зеркало. Все прически и головные уборы были в порядке, гребни, гвоздики, шали, мантильи, костюмы, зонтики, перчатки, чулки, туфли, веера, даже клетки с птицами прошли аттестацию и получили добро. Брови выглядели так, будто они вот-вот взлетят и отправятся на юг зимовать. Что же могло вызвать бормотание? В день, когда она увидела пробу с белой кружевной шляпой, она забубнила еще сильнее.

Не помню точно, что мы снимали тогда, кажется, серебряный костюм из ламэ. Мне удалось скрыться с глаз «директора школы» — моего отца и перенестись в студию. Я еще не заходила в буфет с тех пор, как мы приехали, и поэтому прежде, чем появляться на площадке, сбегала поздороваться с Мэгги и проглотить чизбургер. Предупреждающий о съемке красный свет не горел, я открыла большую, покрытую толстой обивкой дверь и проскользнула внутрь. Выждав, пока глаза приспособятся к полутьме после яркого солнечного света, я перешагнула через лежащие на полу кабели, прошла, пригнувшись, под осветительными приборами и добралась до маминого зеркала — как раз в тот момент, когда она чуть не наткнулась на него! Хорошо, что я задержала ее, а то бы она прошла зеркало *насквозь!* Она пристально посмотрела мне в лицо и сказала:

— А, это ты! Во что это я сейчас уперлась?

— Мутти, что случилось? Ты чуть не врезалась в свое большое зеркало!

— А, это оно отсвечивало!.. Где декорация? — Она повернулась на каблуках и направилась в сторону, откуда шел свет, и — бах! Одна из ламп повалилась на пол. Она продолжала идти, крича:

— Джо! Ты здесь? Ты меня слышишь? Что будем смотреть дальше? Костюм Кармен? Он готов… — И с этими словами она вышла через толстую дверь на улицу. Мы с Нелли бросились вслед. В ослепительном серебряном наряде она стояла, блестя на солнце, и смотрела на нас огромными невидящими глазами.

— Как я сюда попала? Эти капли чудовищны!

— Какие капли? Мутти, о чем ты говоришь?

— Мисс Ди, я вас предупреждала, — тараторила Нелли.

— Детка, это *секрет*! Ни слова Джо. Я хочу, чтобы у меня были черные глаза! Для этой картины годятся только темные глаза. Красивые и загадочные! Я достала у окулиста капли, что-то там расширяющие и увеличивающие, так что на пленке они будут темными! Открой дверь, Нелли, и покажи мне, где камера, я хочу

сделать сюрприз Джо: он будет смотреть пробы, а у меня — *черные глаза!*

Мы подвели ее к краю площадки, подтолкнули в нужном направлении, и она, слепая, как летучая мышь, пошла небрежной походкой — и уткнулась в Цезаря Ромеро. Конец! Джо схватил ее за плечо:

— Ну это уж слишком! Что ты с собой сделала? Говори правду.

— Джо, взгляни в камеру. У меня испанские глаза!.. Но так не пойдет, я же весь фильм ничего не буду видеть. Я не попаду в разметку с таким зрением!

Джо видел, как она разочарована, и на лице у него была такая нежность.

— Возлюбленная, почему ты не сказала мне, что хочешь темные глаза? Я могу сделать их тебе! — Он подошел к главному софиту, слегка его сдвинул, вырвал лист бумаги из своего огромного блокнота, прикрепил его к верхнему краю маленького прожектора и сказал:

— Всегда говори мне, чего ты хочешь, — я все это могу для тебя сделать.

На следующий день мама была в экстазе. Она завизжала, когда увидела себя в отснятых кадрах с темными — испанскими — глазами.

— Да! Да! Точно! Гений! Ты гений!

— Это отличная идея, возлюбленная. Ты, как всегда, точно знаешь, чего недостает. Хотя и со светлыми глазами она была бы неотразима.

— Нет. Вот сейчас она такая, какой должна быть!

Джо стрелял из своего пистолета в саду. Со времени угрозы похищения моя мать боялась огнестрельного оружия и допускала нахождение этих объектов только в кобуре моего телохранителя. В то утро Джо остался завтракать и решил попрактиковаться в стрельбе в стену моего кинотеатра. Мама была недовольна, но он не обращал на нее внимания. Достав из кармана пригоршню воздушных шаров, он попросил меня помочь ему надуть их. Стрелял он хорошо. Я прикрепляла шарик в центр круга, который он нарисовал мелом на стене, и при каждом выстреле он взрывал его своей пулькой. Мама кричала:

— Джо! Прекрати шум! Катэр, отойди назад! Уйди, ты слишком близко! Назад!

Когда лопнули все шары, Джо вернулся за стол.

— Возлюбленная, тебе действительно это так не нравится? У меня появилась идея первой сцены — потрясающее сопровождение первого появления Кончи, первого крупного

плана.

— Вся эта дурацкая стрельба? Что за «идея»?

Всегда, когда фон Штернберг говорил о какой-нибудь режиссерской находке, можно было подумать, что он описывает любимую женщину.

— Ты стоишь в открытом экипаже, который медленно продвигается сквозь кружащуюся карнавальную толпу. Твое лицо совершенно скрыто за массой воздушных шаров. Какой-то мужчина наблюдает за тобой. Достает рогатку из заднего кармана. Камера — на шары. Вдруг они лопаются — и перед нами ее лицо. Ни один мускул не дрогнет на нем, никакой реакции на этот маленький взрыв. Ничто не может вывести ее из равновесия, она бесстрашна, нереальна, недоступна, совершенна — *женщина!*

— Ты собираешься взорвать шары прямо перед моим лицом и хочешь, чтобы оно было каменным на таком крупном плане?

— Да…

— Тогда нам понадобится что-нибудь особое во внешности — может быть, как раз тут можно надеть мантилью, чтобы создать впечатление высокой прически. Кто будет стрелять?

— Я. Никому другому я не доверю такое дело.

— Если ты, тогда все будет рассчитано верно. Все равно это начало фильма. Так что если ты попадешь мне в глаз, мы остановим съемки, перепишем сценарий и изготовим повязку!

Джо рассмеялся. На другой день у нас состоялась «важная встреча» с Трэвисом.

— Трэвис, для карнавального наряда нам нужна специальная голова и верх платья тоже должен быть другим. Джо собирается спрятать мое лицо за воздушными шариками. Поэтому сначала нужно, чтобы виден был только силуэт над ними. Может быть, воспользуемся твоими любимыми высоченными гребнями?

— Джо собирается закрыть тебя шарами? Зачем? Почему?

— Он знает, что делает. Наше дело — слушаться. Так, все эти шары, конечно, будут светлыми, так что она должна быть в темном. Что бы нам такое черное накинуть на этот гребень?

— Мы еще не использовали те дивные фестончатые кружева — как насчет них?

Мы отправились рыться в наших запасах. Мы нашли голубое кружево, которое в конце концов подошло к больничному костюму, но ничего подходящего для сцены с шарами не было. Где она все-таки нашла этот материал, я не знаю, возможно, его ей доставили по заказу. На этот раз это не было кружево, а тончайшая сеточка, из которой делают шляпные вуали. Она выглядела воздушной и легкой, как те самые шары, и к ней пришили сотни маленьких черных круглых помпонов — тех же

шаров в миниатюре. Плечи, верхняя часть рук, шея были оставлены открытыми и без всяких украшений — перламутровое сияние кожи составляло восхитительный контраст с черным. Огненно-красный цвет рта, открытого в улыбке, был единственным цветом, притом нарочито ярким; нежная кружевная маска, прикрывавшая кончик носа, скорее подчеркивала, чем затушевывала выразительную прелесть темных глаз, вокруг которых был положен светлый грим. Пикантный локон почти не привлекал внимания, в отличие от семизубого испанского гребня. Это был мамин самый любимый образ во всем фильме, хотя там немало кадров, где она выглядит изумительно. Как мне кажется, ничто не может превзойти костюм с петушиными перьями в «Шанхайском экспрессе», но все же некоторые наряды в «Дьяволе» приближаются к этому уровню. Говорят: «Кинокамера влюбляется в лицо». Разумеется, неплохо, когда оператор, режиссер, сценарист и вся команда влюблены в это лицо. Но есть такие лица, которые никакая слабая работа не может испортить. Замечательные лица, которые на всех запечатляющих образы устройствах получаются великолепно. По мнению некоторых, дело в костной структуре. Возможно, но фотографии черепов почему-то восторга не вызывают. Другие убеждены, что это кожа! Но в волшебном романе с объективом, бывает, участвуют и грубые мужские лица, так что светящаяся нежная кожа еще не есть ответ на наш вопрос. Внутренняя красота? Красота души? Так, по идее, должно быть. Однако я знаю по собственному опыту, что на самом деле это наименее важный ингредиент. Несправедливо, но где справедливость, когда речь идет о красоте? Так в чем же секрет? Я не знаю. В лучшие годы Дитрих никому не удавалось плохо снять ее, даже если предположить, что кому-то этого хотелось. При одном взгляде на нее кинокамера начинала вздыхать, таять, восхищаться и поклоняться! Пленка накручивалась на бобины, запечатлевая совершенство своей возлюбленной. Операторская работа Фон Штернберга в «Дьяволе» заслужила признание. Впервые он официально был и режиссером, и оператором — давно пора!

— Мотор! Пускайте карету! Марлен, держи шары выше… НАЧАЛИ!

Бабах!

Шары, закрывавшие лицо, которое, как лицо Елены Троянской, могло бы послать на смерть квинтильоны кораблей, отлетели, и оно явилось в своем великолепии.

— Стоп! Отлично! Проявите это!

— Нет, Джо! Мне кажется, я мигнула левым глазом. Давай еще раз!

Надули новые шары, карету и лошадей отвели на стартовую разметку.

— МОТОР!

Джо прицелился…

— НАЧАЛИ!

Бабах!

— Джо, прости. Нижняя губа вздрогнула…

Так продолжалось до тех пор, пока не кончился гелий; я уже боялась, как бы глаз не подвел Джо. Ну, еще раз…

Бабах!

Много лет спустя фон Штернберг напишет: «Ни взмаха ресниц, ни малейшей дрожи в ослепительной улыбке не зафиксировала камера, хотя момент был такой, что любой другой человек, кроме этой незаурядной женщины, трепетал бы от страха».

Это действительно был потрясающий момент. Он всплывает в памяти ярко расцвеченным; впрочем, игра света и тени, которую отобразила операторская камера фон Штернберга, заставляла вас забыть, что фильм черно-белый, и ваша зрительная память хранила его как цветной.

Десятки монографий, сотни лекций посвящены поиску внутреннего смысла фильма, доказательству одержимости фон Штернберга и его пониманию Дитрих. Его пониманию самого себя в роли ее пожилого любовника, которого использовала, унижала и обманывала эта бессердечная падшая женщина. Некоторые умники договорились даже до того, что, мол, доказательством того, что здесь изображен фон Штернберг, были усы Лайонела Этвила. Все эти глубокие исследования доказывают только одно, по крайней мере для меня: лишь очень богатый материал может породить такое количество разнообразных интерпретаций; все они, может быть, и точны, однако ни об одной из них этого нельзя сказать с полной уверенностью. Спустя годы моя мать приходила в бешенство от каждой новой диссертации о параллелях между отношениями Дитрих/фон Штернберг и фильмом «Дьявол — это женщина». Читая их, она восклицала:

— Что? Нелепый коротышка, который играет полицейского, — это Джо? Они понимают, о чем говорят? — Она читала дальше и качала головой: — Радость моя, это уж слишком! Послушай: «Когда Этвил, несмотря ни на что, признается ей в любви, ответ Дитрих звучит, как кинжал, который постановщик фильма фон Штернберг вонзает в самого себя! «Ты всегда за любовь принимал тщеславие!»» Невероятно! Строка из сценария для них реальность? Могу я подать в суд на этих людей? Как можно позволять им писать о том, чего они абсолютно не знают?

Они себя вообразили Господом Богом? Возмутительно!.. *Ничтожные* невежды получают деньги и думают, что они профессора, как Хемингуэй называл их. О! Послушай дальше! Они пишут, что в сцене в больнице я была в черном, потому что это цвет смерти. Ну-ну! Мы сделали темный костюм, потому что стена позади меня была белая и потому что хотели использовать те прекрасные кружева! У них прямо страсть видеть в костюмах глубокий смысл! А знаешь что? Он ведь был не *черный.* На пленке он получился черный, а на самом деле он из синей тафты! — Она фыркнула: — Конечно, я осталась с полицейским. Она же не могла остаться с актером, который смахивал на учителя танцев… Как его? Цезарь… Ромеро? Да, именно. Если бы «Парамаунт» дал нам снять того красавчика со светлыми глазами… а как *его* звали?

— Джоэль Мак-Кри?

— Да-да, так. Вот он был хорош. Будь он у нас, она могла бы в конце уйти к нему, и картина не провалилась бы с таким треском.

Когда я узнала, что Брайан будет играть в «Ромео и Джульетте» в Нью-Йорке, я попросила учительницу принести мне пьесу. Не желая высмеять меня, она все же не могла удержаться от смеха: я была слишком юна. «Мы же еще не прошли древних греков!» — услышала я. Какое отношение греки и мой возраст имели к чтению простой пьесы? Вряд ли это было трудней, чем читать киносценарий. На своей самой лучшей, голубой писчей бумаге с выдавленными и не закрашенными инициалами «MS» я написала Брайану письмо. Я попросила у него текст «Ромео и Джульетты» и пожелала удачи в исполнении главной мужской роли.

— Тебе подарок от Брайана. Только англичанин мог прислать маленькому ребенку Шекспира! — сказала моя мать, подавая мне элегантную книгу. — Он и письмо тебе написал. Он ведет себя с тобой, как со взрослой. Но, конечно, откуда ему знать про детей, у него их нет.

Я прижимала к груди книгу, с нетерпением ожидая подходящего момента, чтобы улизнуть. Когда милый Трэвис позвонил со студии и позвал «мисс Дитрих», я пустилась бежать к домику у бассейна. Он стал для меня своего рода прибежищем в моменты, когда мне надо было «не болтаться под ногами». Домик был так далеко, что не все, кто искал меня, давали себе труд до него доходить. Но боже мой! Это был не киносценарий! Понятно, почему театральные актеры чувствовали свое превосходство перед нами. Выучить все эти трудные слова и сыграть все сразу,

за один раз, без перерывов между дублями — это, должно быть, действительно тяжело. Но, в то же время, они были избавлены от волнений по поводу своих крупных планов или выпадений из кадра, им не надо было играть любовную сцену или умирать в девять часов утра после трехчасового пребывания в полном гриме! Может быть, они спят целый день, потом поработают пару часов вечером — и дело с концом. Все же с такой пьесой, как эта, им, наверно, не так-то легко справиться.

Брайан сообщал кучу новостей. Он играл не главную роль, Ромео был Бэзил Ратбон. Сам же он был неким Меркуцио, эту роль он отнял у молодого талантливого актера Орсона Уэллса. Другой молодой актер, не столь талантливый, но более смазливый, Тайрон Пауэр, играл его друга. Катарина Корнелл исполняла Джульетту, Эдит Эванс — кормилицу, а этот Орсон Уэллс — Тибальта. Брайан советовал мне читать медленно, не пугаться и не бросать чтение из-за непонятных слов и рассказал мне краткое содержание пьесы. Он рекомендовал также держать под рукой словарь и смотреть неизвестные слова: их нетрудно будет найти по написанию. На следующий день, в субботу, я стала ждать, когда мама и Джо уедут на студию, а папа и Итурби пойдут покупать шерри. По субботам учительница не приходила, так что я могла свободно удалиться к себе в убежище и постараться понять, почему для простого «юноша встречает девушку, юноша теряет девушку, юноша и девушка любят друг друга» понадобилось столько слов, столько перипетий и в конце смерть их обоих по ошибке! Несколько недель я бегала в домик и продиралась сквозь этот «роман». Джульетта на балконе чем-то напомнила мне маму в Вене. Брайан был бы идеальным Ромео. Все, что ему нужно было бы делать, — это вести себя так, как он обычно вел себя в присутствии мамы. Кормилица походила на Нелли, а в Меркуцио, за всеми его умными речами, чувствовалась такая печаль, что это мог бы быть Джо — если бы он говорил так много. Мне понравился Шекспир! Герои были такими *реальными*, хотя их слова и звучали поначалу *нереально*. Раз никто не интересовался тем, что я читаю, я не спешила делиться впечатлениями. Я спросила учительницу, что еще написал Шекспир. Помню, что написала Брайану, как я люблю его за то, что он прислал мне чудесный подарок и как он пришелся мне по душе. Не пришлет ли он мне когда-нибудь «Гамлета», которого я хочу прочитать, потому что когда-то у меня была собака по имени Гамлет. Я сунула письмо в пачку готовой корреспонденции на столе секретарши Джо. Мальчики из экспедиции уносили почту шесть раз в день. Дома папа пересчитывал все письма, взвешивал их на маленьких весах и записывал в свой кондуит вес и цену

марки для каждого под рубрикой «почтовые расходы». Мое письмо он в зависимости от настроения либо распечатал бы сам, либо стал бы спрашивать, что я там написала. А «Парамаунт» отпускал мои письма в полет, не задавая никаких вопросов.

Ричард Бартелмесс показался мне приятным мужчиной. Хотя, пожалуй, недостаточно старым для звезды немого кино. Я не знаю, как он очутился в кругу нашей маленькой семьи. Однажды его машина встала в гараже, а он сам появился у нас. Итурби он сразу не понравился. Джо пытался сделать вид, что его не существует, а мой отец рассказывал ему, где можно достать лучшие десертные вина, и собирался идти к нему в гости в воскресенье днем. Бартелмесс владел чудесной виллой из тех, что в двадцатые годы можно было приобрести практически задаром, когда в Беверли-Хиллз действительно были холмы и целые мили засушливой земли, только и ждавшей, чтобы ее купили. Это было «старое» поместье, и поэтому длинная извилистая подъездная дорога к дому была засажена огромными эвкалиптовыми деревьями. Дорога поднималась на холм, где возвышался Дворец Кинозвезды. Красный кирпич, остроконечная крыша с десятью трубами — этакий королевский голливудский тюдор. Хозяин-американец, неутомимый шутник, был легок в обращении и имел семью, которая мне понравилась, когда мы познакомились. Тами не позволяли ездить с нами в гости. Обычно ей поручалось излагать Итурби или Джо те сценарии, которые мама придумывала по поводу своего отсутствия в этот день. Мы терпеть не могли хитрить и говорить людям ложь, иногда просто глупую. Но когда Дитрих ожидала от кого-то исполнения своей воли, избежать этого было просто невозможно. Наверно, было трусостью выполнять требования моей матери, но у тех из нас, кому некуда было уйти, покорность превратилась в черту характера.

Кому платили и кто вынужден был держаться за свою работу, тоже не смели роптать.

Трэвис придумал отличные модели одежды для воскресных завтраков: разные юбки в складку, аккуратные блейзеры, а к ним — туфли со шнурками и носки крупной вязки. Бартелмесс обладал живым умом и мог затеять и вести разговор по широкому кругу тем. Но я заметила, что он избегал говорить о доме, браке, воспитании детей и пианистах. Он был умным человеком.

Мне было десять лет, когда я наконец узнала, для чего на самом деле предназначается «Котекс». Я принимала ванну и почувствовала, что из меня идет кровь. Я испугалась, подумав,

что во мне что-то разорвалось! Кто-то позвал маму, она примчалась, бледная, с трясущимися губами. Мне было сказано, чтобы я вылезла из ванны и вытерлась, что это ничего. Мама свернула салфетку в рулон, велела мне проложить ее между ног и сказала, что отныне у меня это будет раз в месяц, что это Природа и что *я никогда ни под каким видом* не должна подпускать к себе *мужчину* — после чего покинула ванную. Держать салфетку между ног было неудобно. Я доковыляла до комода, вытащила «боди» и надела его. По крайней мере, салфетка перестала съезжать. Я легла в постель и задумалась о «природе». Может быть, попросить Брайана раскрыть мне ее тайны. Эта мысль утешила меня, и я уснула.

На следующее утро горничная велела мне не выходить из комнаты, пока Бриджес не привезет из аптеки «то, что мне нужно». Я ждала и гадала о том, что же мне нужно. Наконец пришла Тами и принесла розовый атласный гигиенический пояс. Она научила меня премудростям пользования им и сказала, что внутри меня Бог соорудил маленькую комнатку, в которой в один прекрасный день будет спать ребеночек в ожидании своего рождения. Что каждый месяц в комнатке наводится чистота и порядок для будущего жильца. Я слушала, затаив дыхание. Я никогда не задавалась вопросом, откуда берутся дети. Живя среди взрослых, которые знали и, естественно, не проявляли любопытства по этому поводу, я его тоже не проявляла. Тами обняла меня, всплакнула и сказала, что я должна гордиться тем, что я женщина. Спускаясь к завтраку, я несла себя, как хрустальную вазу. Я Женщина с Комнаткой! Мама, одетая в черное, с интересной бледностью на лице, встретила меня судорожным вздохом. Я подумала, уж не умер ли кто. Я пила чай, она молча отхлебывала кофе, Джо читал «Репортер». Когда они уехали на студию, я вернулась наверх и стала заниматься.

Я должна была явиться в офис Трэвиса после обеда. Сначала я доставила бульон Джо, потом заглянула в отдел причесок поздороваться с Нелли. Она обвила меня руками и спросила, как я себя чувствую. Я ответила: «Хорошо. А что?»

Парикмахерши, занятые, как всегда, завивкой и укладкой, остановились, чтобы бросить на меня «понимающий взгляд». Куда бы я ни пришла, везде люди прерывали свои занятия и обращали ко мне ласковые улыбки. Трэвис поприветствовал меня словами:

— Здравствуйте, маленькая *леди*! Самочувствие нормальное?

Моя мать, должно быть, выпустила пресс-релиз! Похоже, весь «Парамаунт» знает! Мне было неудобно. В тот же день, возвращаясь с очередного курьерского задания, я услышала, как мама говорит по телефону. Я остановилась за дверью гримерной

и прислушалась.

— Ты не поверишь! У Ребенка сегодня начались месячные! В девять лет! Наверно, от калифорнийского климата! В жару девочки созревают быстрее. Возьми итальянок… а мексиканки и того хуже. Надо было оставить ее в Берлине, там холодно. Ну не ужасно ли? Я не спала всю ночь. Как моя мать вырастила двоих дочерей одна, я не представляю. Как она смогла? С девочками так трудно! — и она повесила трубку.

Почему трудно? Я не думаю, что со мной было трудно! Я послушно ложилась спать в указанное время, наоборот, не ложилась долго, если требовалось мое присутствие, съедала, как она настаивала, все, что было на тарелке, училась, исполняла поручения, помогала делать прически и никогда, никогда на своих двух языках никому не перечила. Мне вообще-то хотелось, чтобы мама хоть раз назвала правильно мой возраст. Еще долго после «важного события у Ребенка» рукавчики фонариком украшали мою одежду. Даже книги мои были проинспектированы, кое-какие конфискованы и заменены на прекрасно иллюстрированные издания сказок братьев Гримм. «Ромео и Джульетта» избежали погрома. Они прятались в домике при бассейне, под ковром позади тяжелого дивана.

Отец подбросил Тами до дома после поездки в Пасадену, а сам поехал в Беверли-Хиллз в поисках «съедобного» foie gras. Она переоделась, затем вышла в сад и срезала с кустов все до единой розы. Я подбежала к ней. Она стояла, в ужасе смотря на содеянное, потом заплакала. Я обняла ее.

— Катэрляйн, что я наделала? О, Катэр! Почему? Боже милостивый, почему?

— Успокойся, успокойся, все не так страшно. Спокойно, — ворковала я, держа ее в объятиях. Я чувствовала свою полную беспомощность.

— Что скажет Папи? И… Мутти?

Ну здесь-то я могла помочь. С этой угрозой я была в состоянии справиться. Я собрала цветы, взяла Тами за руку и отвела ее обратно, в дом. Мы соорудили букеты, расставили цветы по всем комнатам, и я сказала отцу, что это садовник принес их и положил у задней двери. Тами еще не пришла в себя после своего необъяснимого поступка и разбила мерную чашку, пока готовила обед. В тот вечер мы ждали гостей. Я думаю, среди них были Итурби и Рахманинов. Тами прислуживала. Отец, разливая вино, обернулся к маме.

— Мутти, я полагаю, нам надо уволить садовника. Он срезал с кустов все розы. Тамичка, ты ничего не хочешь сказать Мутти?

Тами остановилась, как вкопанная, заслышав слово «розы» Она умоляюще смотрела на отца.

— Забыла? Не разбила ли ты сегодня кое-что? — задал он наводящий вопрос.

— О да, Мутти. Я очень извиняюсь. Я разбила стеклянную мерную чашку, что мы купили в скобяном магазине. Я была, как всегда, недостаточно внимательна.

Она снова стала раскладывать картофельное суфле, подходя к гостям с левой стороны. Голос отца безжалостно преследовал ее.

— Разумеется, Тами заплатит за чашку. Я уже вычел пятьдесят центов из карманных денег, что я ей выдаю.

Я поднялась со стула.

— Я помогу разложить суфле, Тами!

— Катэр, СЯДЬ! У нас гости!

— Да, дорогая, — вступила мама певучим голосом. — Ты плохо ведешь себя. Ешь. Тами! — остановила она пытавшуюся укрыться в кухне девушку. — Захвати оттуда хлеба! Потом тоже посиди с нами.

Ночью я тихонько пробралась в кладовку посмотреть, как Мак-Дугал: я боялась, что забыла налить ему воды. Проходя мимо двери отца, я услышала, как он отчитывает Тами. Ну что же он не оставит бедную женщину в покое! Я лежала в кровати и ждала звука открывающейся и закрывающейся двери, что означало бы, что Тами благополучно вернулась к себе в комнату. Прислушиваясь, я думала о том, что у моего отца в характере есть жестокость, которая мне абсолютно не по душе! Следующий раз, когда он затеет свою подлую игру, я должна как-нибудь остановить его. Не знаю как, но что-то я сделаю.

Съемки шли своим чередом, а между тем Дитрих и фон Штернберг начали потихоньку отходить друг от друга. Судьба распорядилась так, что «Дьявол — это женщина» стал их последним фильмом, хотя только Джо чувствовал, как меняется стрелка его внутреннего компаса. Мама ничего такого не ощущала. Каждый день Джо отдавал себя в прощальных жестах, одаривал плодами своего таланта этот фантом на экране. Может быть, он и не сознавал, что прощается с ней таким образом. Возможно, его отчаянное желание уйти от нее порождало творческую волю. Я понимала только, что с каждым днем хоть понемногу, но Джо отдалялся от нас. Но его жаркие послания все еще летели к нам через разделявшую нас студийную улицу. Мама все так же бросала их для желающих прочитать среди фотографий и пепельниц.

Моя дорогая Марлен,

Ты себя напрасно терзаешь. То я тебя вывожу из себя, то тебя все устраивает. И все время споры! Перестань постоянно сердиться на меня; ты же знаешь, я не в силах изменить все на свете.

Джо

В тоне его записок зазвучало даже какое-то отчуждение, как будто ему было все равно — таким опустошенным, видно, он себя чувствовал.

Я ставила штампы на фотографии; вошел Джо; при виде его лица я остановилась.

— Я сейчас сказал Любичу, что больше не буду делать фильмы с Дитрих. Он, естественно, обрадовался.

— Да? Опять бросаешь меня на растерзание волкам? — Моя мать стояла перед ним, неподвижная, как статуя, просто смотрела ему в глаза.

— Да, если ты так это понимаешь. Я устал, возлюбленная. Пожалуйста, не надо.

— Ты позволяешь себе такую роскошь — бросать меня, когда вздумается!

— Я назвал бы это не роскошью, а печальной необходимостью.

— Что я такого ужасного сделала? Все, что ты хотел, ты получал. Любой образ, все твои фантазии!

— Да, ты всегда была моей музой. Я не говорю, что это не так.

— Тогда почему же ты бежишь от меня?

— О, если ты сама не знаешь ответа на этот вопрос, мне нет смысла пытаться объяснять тебе.

— Джо, это строчка из женской роли.

— Да? Наверно, ты права. Интересно… возможно, мы поменялись ролями.

— Не остри и не изображай из себя существо высшего порядка! Ты заставил меня приехать в эту страну, а теперь бросаешь типам вроде Любича?

— Нет, ты заслуживаешь кассового успеха. А с ним он тебе обеспечен.

— Но я буду у него выглядеть, как в «Песне песней» — картошина да и только!

— Ты почти не уступаешь мне по мастерству. У тебя снова будет приятная возможность показать им, как надо работать. — И Джо повернулся, чтобы уйти.

— Ты покидаешь меня?

— Да, любовь моя. — И он вышел из гримерной.

Мама закурила сигарету.

— Вот так, посреди важного разговора повернуться и уйти! Почему он оставляет меня именно сейчас? — обратилась она ко мне, не ожидая ответа.

Она, действительно, не поняла заключительную реплику Джо? Или не захотела понять? Я чувствовала, что моя мать только что потеряла самого лучшего друга, какого когда-либо имела или, возможно, будет иметь, и даже не осознала этого.

Работа над фильмом продолжалась. Разговоров больше не было. Мама готовила венгерский гуляш, пекла венские торты и часто сидела на полу у ног Джо. Всем поклонникам было объявлено, что у них кризис, что мисс Дитрих сейчас ни с кем не общается. На кабинет Джо обрушился поток темно-красных гвоздик, шелковых халатов и крепкого бульона. Я носила любовные записки через улицу, а вечером, повинуясь приказу, не выходила из своей комнаты. Отец брал Тами, и они уезжали в берлинскую колонию; возвращались они только после того, как наши юные любовники отправлялись наверх.

Я слишком часто видела свою мать в образе «молодой романтической девушки», чтобы не распознать симптомов. Интересно, забудет ли Джо о своем намерении уйти? Мне эта внезапная преувеличенная преданность казалась такой фальшивой, но, может быть, для него она таковой не была. Он уже столько от нее натерпелся, возможно, вынесет и еще немножко.

Одно воспоминание прочно сохранилось у меня от этого давнего периода. Однажды в субботу, когда Джо обычно ходил на футбол, моя мать первый раз в жизни захотела пойти с ним и взяла меня с собой. От Буллока доставили изысканную одежду в английском стиле, наполнили серебряные фляжки, налили горячий кофе в термосы. Стояла, как всегда, южнокалифорнийская жара, но считалось, что все это нужно брать на футбол. Кажется, играли университетские команды Лос-Анджелеса и Южной Каролины. Наши местные футболисты всегда отчаянно боролись за победу. Джо забронировал отдельную ложу, из нее я могла видеть все. Стадион был огромен, зрителей полным-полно. Джо купил мне хот-дог, из которого вытекала так не любимая моим отцом желтая горчица. Я сидела на краешке кресла, боясь выдать волнение и рассердить маму. Что это была за игра! Все было: голы, пассы через все поле и даже вынос раненого игрока на носилках! Джо пытался объяснять нам что-то по ходу дела, но когда мама сказала: «Почему не дадут каждому по мячу? Не надо было бы за него драться, и все разошлись бы по домам!» — он оставил свои старания.

Я шепотом попросила:

— Вы не дадите мне что-нибудь почитать о футболе?

Отвечая мне, он почти не шевелил губами, которые прятались к тому же под его длинными усами. Удивительно, как он умел так незаметно разговаривать.

— Хорошо, когда ты снова пойдешь со мной на футбол, но одна.

Когда мы приехали домой, я поцеловала Джо в щеку. Мне не надо больше было вставать на цыпочки, чтобы сделать это. Я поблагодарила его за отлично проведенное время.

Моя мать не разговаривала со мной. Горничная передала мне приказ сидеть дома. Я повиновалась и стала думать, что же я сказала или сделала, что так рассердило ее. Как правило, я могла почти сразу определить ошибку, но на сей раз мне ничего не приходило в голову. Так что я не покидала Бель-Эр, вела себя особенно осторожно и надеялась, что неудовольствие мамы улетучится само собой. Я еще не знала, что она может ревновать к ребенку.

На горизонте маячила интересная дружба с Дороти ди Фрассо, и в нашу жизнь вот-вот должен был войти Джон Гилберт, который, по слухам, расстался с Гарбо, хотя пил по-прежнему. Фриц Ланг, постановщик таких шедевров, как «М» и «Метрополь», влился в ряды немецкой колонии беженцев и стал верным поклонником гуляша моей матери. Рональд Колман устраивал на своей яхте вечера для узкого круга, Брайан подписал контракт с «МГМ» и скоро собирался вернуться к нам, а фон Штернберг сделал последний ход.

Утренние газеты рассказали об этом так:

СВЕНГАЛИ И ДИТРИХ:

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАССТАВАНИЕ

В интервью на студии «Парамаунт» режиссер Джозеф фон Штернберг заявил, что «Дьявол — это женщина», фильм, который он сейчас снимает, будет седьмой и последней его картиной с великой немецкой красавицей.

«Мы с мисс Дитрих дошли до конца своего совместного пути».

На вопрос, есть ли в его решении личный мотив, фон Штернберг ответил: «Все, что мне было дано сказать о мисс Дитрих, сказала моя камера».

Моя мать была ошеломлена. Она звонила всем, зачитывала интервью Джо и утверждала, что Джо ни разу, ни *намеком* не показал, что готов к подобной жестокости. Почему он ничего не говорил? Хоть бы сказал, предупредил бы шок, какой она испытала, увидев эти безжалостные слова в газете! Он знает, как она его любит! Без него она бы вообще не работала! Она даже позвонила к Любичу в офис и первый раз в жизни разговаривала с ним лично. Этот антагонист фон Штернберга горячо поддержал ее. Да, Джо поступил совершенно подло по отношению к человеку, которому обязан своей славой.

— Нет-нет, Эрнст. Джо гений! Он научил меня *всему!* Он был моим господином. Наверно, я сама виновата, что он оставил меня.

Любич пригласил ее отобедать с ним вдвоем, в его личной столовой. Если не сию минуту, то в любой момент, когда ей будет одиноко и понадобится добрый друг. Любич для себя сочинял сцены почти так же ловко, как для Герберта Маршалла. Мама пообещала помнить, что он всегда к ее услугам, и повесила трубку.

— Радость моя, знаешь, Любич не так уж и плох. Джо всегда представлял его таким чудовищем. Но теперь-то мы знаем, что Джо уже давно сходит с ума! — О Джо в прошедшем времени — это меня тревожило. Перерыв на обед закончился, пора было возвращаться на съемочную площадку.

Курьер из германского консульства в Лос-Анджелесе вручил матери копию редакционной статьи, появившейся в ведущих немецких газетах по личному распоряжению министра пропаганды Третьего Рейха доктора Йозефа Геббельса.

Аплодисменты Марлен Дитрих! Она наконец отказалась от

режиссера-еврея Джозефа Штернберга, у которого всегда играла проституток или иных падших созданий. Она ни разу не сыграла такой роли, которая прославила бы ее как гражданку и представительницу великого Третьего Рейха.

Теперь Марлен должна вернуться в родное отечество, принять на себя историческую роль лидера германской киноиндустрии и перестать служить орудием в руках голливудских евреев!

Лицо моей матери стало пепельно-серым. Она быстро спрятала газету за спину.

— Нет! Нет! Никогда не читай этого! — В голосе ее зазвучала фальшивая нотка. — Иди, радость моя, сбегай на площадку и позови Джо! И найди Папи!

Я поняла, что это серьезно, и припустила! Я надеялась, что, несмотря на все происшедшее, Джо не откажется пойти со мной. Освещение еще не включили, слава Богу! Он выслушал мои объяснения, повернулся к ассистенту, приказал вырубить свет и вышел. Я отмахнулась от сыпавшихся на меня вопросов и побежала дальше, спрашивая у всех на ходу, не видел ли кто мужа мисс Дитрих. Он будто сквозь землю провалился. Может быть, решил уехать домой? Кому-то якобы показалось, что он зашел в гримерную Мэй Уэст. Я бегаю по всей студии, а мой отец, оказывается, совсем рядом? Я бросилась назад, нетерпеливо постучала в закрытую дверь гримерной. Раздался негодующий голос Мэй Уэст:

— Где горит?

Но когда я ответила: «Скажите, пожалуйста, мой отец у вас? Мисс Дитрих надо немедленно его увидеть!» — она сама открыла дверь, завязывая пояс халата.

— Он здесь, живой и невредимый! Не страдай, детка!

Она крикнула ему через одетое в атлас плечо: «Руди! Твоя германская леди хочет тебя! Скажи ей, *я о-доб-ряю* ее вкус!»

На несколько часов производство остановилось; Дитрих, ее муж, ее агент и фон Штернберг обсуждали создавшееся положение и думали, как ей поступить. В конце концов призвали главу отдела рекламы, и ему было сказано, что мисс Дитрих приняла решение: она попросит американского гражданства и навсегда порвет связи с Германией. Я заметила, что глаза моей матери припухли. Она все отворачивала голову. Должно быть, она плакала.

Судьбоносное решение, принятое под давлением обстоятельств и в считанные часы, как всегда у нее, оказалось стратегически верным. Подай Дитрих прошение о гражданстве хотя бы несколькими месяцами позднее, она к началу Второй

мировой войны все еще была бы гражданкой Германии. А так через пять лет она уже получила свой первый американский паспорт — всего за четыре месяца до рокового сентября 1939 года.

Означало ли это, что я тоже буду наконец американкой?

Я читала все пресс-релизы, но ни в одном не говорилось о моем будущем гражданстве. Никто мне ничего не говорил, а я не решалась спросить из-за всех этих страстей дома и на студии. Секретарша Джо знала практически все на свете, так что я пошла к ней и получила информацию, «как стать гражданином Америки». На следующее утро я, смотря учительнице прямо в глаза, в лучших традициях ораторского искусства Рудольфа Зибера поставила ее в известность, что с сегодняшнего дня у нас будут уроки истории США и их президентов; что ей вменяется в обязанность познакомить меня, ее ученицу, с Конституцией Соединенных Штатов и со всем остальным, чем гордится моя будущая страна. Я не знала, буду ли я проходить процедуру получения гражданства, но не сомневалась, что, когда маме в конце концов придется принимать присягу на верность, она не станет учить ничего из того, что требуется по протоколу. Пусть хоть одна из нас что-то вызубрит! В глубине души теплилась смутная надежда, что, если я смогу все ответить правильно, они дадут гражданство и мне.

Последние съемки «Дьявола» прошли по-деловому, профессионально и без суеты. Мама была холодна как лед. В одном из последних посланий к ней Джо написал:

Я устал, Возлюбленная. Я не в состоянии более сражаться с тобой, с Любичем, который презирает меня почти так же сильно, как я ненавижу его. И к тебе я ничего уже добавить не могу. Я сам у себя списываю. Моим прощальным даром тебе будет самый великий из фильмов Дитрих. В нем я отдал тебе весь свой талант. Ты увидишь Дитрих высшей пробы, и этот фильм станет твоим любимейшим из семи наших фильмов.

Прочитав записку Джо, мама отдала ее отцу — молча. Она сделала то же самое и в день окончания «Дьявола», когда посыльный появился у нее в гримерной. Подчас немецкие слова бывают очень трогательными. Всегда трудно выразить чувства. Когда Джо писал: *Danke, es was himmlisch, auf wiedersehen*, он хотел сказать: «Благодарю, это было божественно. До свидания, прощай».

Мой отец сохранил эту записку, а мама ни разу ее не хватилась.

Мы отсняли портреты и рекламные кадры. Мне было велено привезти на студию своих зеленых подопечных, и Дитрих впервые сфотографировалась в изумрудах. Впервые на фотографиях запечатлены также ее новые брови. Она делала себе эти летящие дуги вплоть до «Сада Аллаха». Но они появлялись и после этого фильма, когда она в жизни хотела выглядеть как можно более «Дитрих» Освещения Джо, бывало, отчаянно не хватало, тогда его вызывали; он немедленно являлся в фотостудию, ставил свой магический свет и исчезал. Великолепные портреты, которые получались в результате, оказались одними из самых лучших снимков Дитрих, сделанных когда-либо. Эти лица излучают свет, искрятся, завораживают. Глаза непроницаемы, в них не разглядишь ничего, что могло бы потревожить совершенство образа. Но это требование профессии, и именно оно привлекало к ней мою мать больше всего. Личные проблемы оставались за кадром. Ничему, абсолютно ничему не позволялось внедряться в образ и воздействовать на конечный продукт. Эмоциональная распущенность не допускалась. Стоит личному огорчению обнаружить себя хоть раз, камера тут же налетит на него, зафиксирует тайную слабость актера и превратится в его врага. Только самые великие артисты умеют иногда использовать личные проблемы для усиления своей игры. Чего моей матери недоставало в одаренности, она с лихвой восполняла дисциплинированностью.

Позвонил Джо. Готовая копия «Дьявола» ждала ее. Она пошла на просмотр одна, а дома сказала:

— Какая работа! Одно лицо прекраснее другого! Фильм так себе, но мы это знали с самого начала. Не имеет значения. Его должны изучать все, кто думает, что умеет снимать кино. Я весь просмотр держала Джо за руку. Я даже плакала. Суметь такое! Невероятно! Я все это ему сказала и поцеловала его чудесные руки. Я сказала, что он Бог, а он улыбнулся и произнес: «Если тебе понравилось, я доволен».

На другой день фон Штернберг отправился в свое очередное путешествие в дальние неизведанные края. Уехал один, не испытывая потребности ни в чьем обществе и, думаю, с надеждой на исцеление. К сожалению, нет на свете такого далека, куда он мог бы убежать от своей Лорелеи. В последнем рывке к спасению самого себя он порвал веревку, привязывавшую его к жизни, но опутывавшую его гений. Искры таланта мастера еще сверкали в последующие годы, но это были не более чем отблески прежнего небесного огня.

И вскоре все было так, будто Джо никогда не существовал, только подготовка фильма уже никогда не становилась таким

захватывающим процессом, а результаты — столь великолепным зрелищем. С этих пор Дитрих уже не совершенствовала свой образ, а лишь повторяла его, что по-прежнему требовало большого труда, но не нуждалось в прежнем вдохновении.

Мама собиралась на званый вечер! Теперь это, вследствие своей редкости, превращалось в сенсацию.

— Здесь говорится: «в старой одежде!» — мама читала приглашение Кэрол Ломбард на вечер в Доме смеха на Венис Пиэр.

— Что она хочет сказать? «Старая одежда»? Как это по-ее — пытаться быть вечно «неповторимой и прелестной»! Позвони Трэвису на студию.

Я набрала номер и передала ей трубку.

— Трэвис? Ты слышал о большой вечеринке Ломбард? Что она имеет в виду под «старой одеждой»? Речь идет об истории или просто об обносках?.. О! Дома смеха действительно до такой степени *грязны?* Тогда зачем устраивать там вечер? Не знаешь, что она собирается надеть? Она, конечно же, шепнет на ушко «рекламе», и там будут фотографы… Да? Сейчас все думают, что могут носить брюки. Но что же мне надеть? Я собираюсь идти! Подумай! Давай сделаем нечто из «СТАРОЙ ОДЕЖДЫ»!

Она пошла на вечеринку в Дом смеха в шортах с голыми ногами, в мальчишечьих ботинках и носках, с веселеньким платочком на шее; фотографы были в восторге, а мама вернулась домой вся в синяках! Я встретила ее в холле.

— Радость моя, помоги подняться по лестнице! Не смотри на мои ноги! Тебе не стоит волноваться! Ну и вечеринка! Нас посадили на мешки с картошкой и заставили съезжать с огромных горок! Я думала, мы пролетим сквозь стену прямо в океан!.. А катающиеся бочки! Надо было бежать между ними, стараясь не упасть! Просто ужас! Все валились друг на друга и *хохотали*! Они считали, что это смешно! Ты знаешь эти жуткие зеркала, в которых выглядишь или карлицей, или гигантшей, или толстухой? Они тоже там были. Кому охота видеть себя толстым? Это я могу иметь прямо у себя в ванной и при этом на самом деле не выглядеть, как будто я вернулась с войны! Помнишь нашего продавца сорочек? Он на всех фотографиях оказался рядом с Ломбард. Весь вечер следил за передвижениями фотографов и успевал к месту раньше их. «Всегда готов», красавчик! Боже! Посмотри на мои коленки! В машине они не были такие страшные!

Колени действительно имели ужасный вид — как будто она на большой скорости упала с велосипеда на гравий. Ее блузка

была сделана из того же плотного шелка-сырца, что и шорты, поэтому руки были хоть как-то защищены, но все равно рукава порвались на локтях, и сквозь дыры виднелись кровоточащие ссадины. Мы обмыли колени и голени, остановили кровь, после чего она погрузилась в горячую ванну с английской солью. Она морщилась от боли, но продолжала выпускать пар:

— И всем этим развлекать гостей? Хуже всего была штука под названием «взбивалка». Такая огромная чаша с небольшой платформой посередине, на которую мы сначала сели. И вдруг эта штука начала вращаться! Мы все слетели с лавки и попадали на дно чаши! Но на этом дело не кончилось, потому что тот, кто оказывался на платформе в момент остановки, объявлялся победителем! И вот мы на четвереньках в ужасе пытаемся вскарабкаться на полку, а это чудовище все крутится и смахивает нас обратно. Кого-то *точно* вырвало! Должно быть, коленки я разбила на этой штуке. Не могла же я остаться в стороне — все смотрели. Но такие дети! Как это по-американски! Веселиться, веселиться, веселиться! Бартелмесс, казалось бы, старик, а как ему понравилась эта жужжалка!..

Я помогла ей вылезти из ванны и дойти до постели.

— Конечно, в брюках Ломбард не так повредила ноги. Ей *всегда* надо закрывать ноги! — и она уснула.

На следующее утро ее синяки приобрели нежный красновато-коричневый оттенок, и двигалась она с трудом. Так как было воскресенье и все сидели по домам, она названивала знакомым по телефону. Начинала она так:

— Я была на *совершенно восхитительной* вечеринке, которую Кэрол Ломбард устроила в Доме смеха! Я сейчас тебе все расскажу!..

С каждым звонком она поддавала жару в свой рассказ. Когда к ужину пришел прихрамывающий Бартелмесс, нас разобрал истерический хохот. Мама заявила, что ему поделом — нечего притворяться «юным». Ему было всего сорок лет тогда, но он не обиделся. Он был безумно влюблен в нее и смеялся вместе с ней и вообще вел себя очень мило.

На свет извлекли чемоданы моего отца. Они с Тами возвращались на «Иль де Франс» в Париж.

— Тамиляйн, как мне узнавать, как ты?

Это был наш последний разговор, мы сидели одни у бассейна.

— Катэр, у меня все в порядке! Видишь, я за целую неделю не сделала ни одной глупости! Не надо так беспокоиться обо мне. Ты еще совсем молода — просто радуйся солнцу и будь

счастлива!

— Я не совсем молода! Я знаю, какой Папи вредный с тобой.

Она ахнула и закрыла мне рот рукой.

— Катэр, никогда не говори так о Папи! Он добр и терпелив. Чудесный человек. Гордись тем, что у тебя такой отец. И Мутти тоже! На целом свете нет никого великодушнее ее. Полная самоотдача, всегда все для всех делает. И вся ее жизнь в тебе. Она любит тебя больше всех. Всегда люби ее и Папи тоже!

— Обязательно напиши мне, Тамиляйн.

— Ладно… только это сложно. Папи боится, что я могу написать глупости. Я иногда пишу по-русски и должна показывать письма ему, прежде чем он их отправит.

— Послушай, Тами. Ты можешь написать мне письмо в парке, пока гуляешь с Тедди. Потом пойди на Плаца-Атене, купи на хозяйственные деньги марку и отдай письмо консьержке, чтобы она отправила. — Не зря же я была дочерью лучшей сочинительницы сценариев для личной жизни! Иногда уроки моей матери оказывались весьма кстати!

— О! Думаю, мне не следует делать такие вещи. И потом, как ты его получишь?

Я научила ее, как послать письмо из Парижа, но как сделать, чтобы оно попало ко мне в руки, а не в руки мамы? С этим была настоящая загвоздка. Я сидела в розовом плетеном кресле-ракушке и лихорадочно думала. На «Парамаунт», в экспедицию? Нет, они скажут. И гримерная, и костюмерная тоже скажут. Нелли? Нет. Она, не подумавши, брякнет: «Мисс Ди, тут письмо для Марии. Оно почему-то пришло ко мне!» Моему новому охраннику? Он слишком новый — я еще недостаточно знала его, а обычно люди принимают сторону тех, кто платит им жалованье… Учительница и горничные исключались по той же причине… Бриджес? Никогда: он говорил приятное моей матери только потому, что ей это нравилось, а вовсе не от души. Я ему совершенно не доверяла. Даже Брайан не подходил. С его добропорядочностью он обязательно будет против того, чтобы я получала письма «за спиной у мамы». Кто же? Кто же оставался? Никого?.. Я вдруг похолодела. Действительно никого. Ни единого человека, кому я могла бы доверить что-то чрезвычайно важное для себя, не опасаясь, что всемогущая мама будет проинформирована. Помню, что почувствовала себя абсолютно одинокой и что мне стало страшно. Такие моменты в детстве откладывают в душе сильный отпечаток.

Они уехали: папа — нагруженный новыми костюмами для посещения матчей по поло, разными американскими штучками и списками маминых поручений; Тами — снабженная одеждой с

маминого плеча и годовым запасом стеклянных пузырьков и цветных таблеток. Ей нельзя пропустить ни одной эйфорической инъекции и потерять ни минуты глубокого, глубокого сна.

Верные поклонники снова вышли на свет из своих укромных уголков. Новые воздыхатели маячили в отдалении. Все усиленно помогали «Марлен» пережить позорное бегство ее создателя и отъезд мужа. Цветы, звонки, приглашения приливной волной накатили на наш дом. Приемы, приемы и снова приемы — единственное средство время от времени расслабиться для голливудских звезд тридцатых годов. Эти люди, чья работа состояла в ежедневной жизни «понарошку», собирались вместе, чтобы найти человеческую теплоту внутри своего искусственного мирка. Им больше некуда было идти. Кроме пары сносных ресторанов вроде «Коричневого дерби» на Голливудском бульваре, окрашенного в соответствующий цвет, и «Лозы» звездам не из чего было выбрать, и приходилось устраивать развлечения в собственных домах. Они делали это и еще по одной, чрезвычайно важной причине: надо было создавать вокруг себя и поддерживать ореол таинственности. Кинозвезды и все сопричастные им не снисходили до простых смертных. Сегодня это назовут снобизмом, но в то время публика посчитала бы, что ее надули, если бы «небожители» выказали хоть малейшую склонность к нормальности. Люди хотели видеть своих идолов неизменно прекрасными, великолепными, роскошными, неуязвимыми, безукоризненными и неземными, и они это получали.

В славные голливудские времена члены этого сообщества, на которое массы взирали с завистью, принимали друг друга у себя в поместьях, полагая, что там все смогут чувствовать себя свободно и непринужденно. Они безо всякого ущерба для имиджа могли бы пускать публику на эти приемы, потому что никогда не теряли контроля над собой, даже среди своих. Дома их строились с учетом потребности в вечеринках. Гостиные, чуть заглубленные относительно уровня пола, вмещавшие не меньше народу, чем вестибюли иных отелей, личные кинотеатры, биллиардные, всяческие выгородки в холлах, бары всех размеров и видов. Бассейны, в которых плавающие никогда не смогли бы помешать друг другу, домики при них — с шестью комнатами, выложенными итальянским мрамором различных оттенков, лужайки для «игр на открытом воздухе» и «настоящих деревенских пикников» В сороковых годах к этому набору, свидетельствовавшему о социальной состоятельности, добавилась шашлычная, не уступавшая своими достоинствами аналогичному месту на любом техасском ранчо.

В эту элитную группу новички принимались чрезвычайно

редко. Одни и те же блестящие люди постоянно видели одних и тех же блестящих людей. «Тематические» приемы поэтому приобрели особое значение: специальное оформление позволяло представить слишком знакомое как бы в новом свете — пусть и на мгновение. Так же стали поступать и с домами: приглашали специалистов и просили заново декорировать интерьер, чтобы, приходя на следующий прием, гости с освежающим удивлением подумали бы, что случайно ошиблись адресом. Особенно рьяно оберегались секреты, связанные с новыми нарядами, которые каждый раз были все более и более потрясающими. Студийные модельеры и швейники не знали отдыха, трудясь над тем, чтобы их звезды даже на неофициальных вечерах затмевали звезд студий-соперниц.

Когда мне позволяли сопровождать маму, я считала, что попадаю в сказку. Джин Харлоу в серебряном наряде, попивая «Пинк Леди», слегка улыбается Уильяму Пауэллу. Уоллес Бири вьется вокруг танцовщицы по имени Джинджер Роджерс. Друзья-приятели и собутыльники Джон Гилберт и Джон Бэрримор ищут бар; и тот, и другой — это романтическая мечта в процессе превращения в кошмарный сон. Джоан Кроуфорд в красном в обтяжку, решившая, что Франшо Тон должен посмотреть в ее сторону, пока она висит на руке Дугласа Фэрбенкса-младшего. Мэри Пикфорд в нежно-голубой тафте изящно жует птифуры, а Дуглас Фэрбенкс — настоящий — старательно втягивает живот в надежде выглядеть моложе собственного сына. Джаннет Макдональд в гипюре ищет Шевалье, который в это время мило беседует с Клодетт Кольбер, одетой в матовое атласное платье работы Трэвиса Бентона. Шарль Буайе жаждет услышать их разговор, потому что уверен, что они обсуждают именно его. Лайонел Бэрримор с сестрой Этель ищут своего брата Джона. Кэрол Ломбард в биллиардной поучает Джорджа Рафта, Кларка Гейбла и Кэри Гранта, делясь с ними хитростями игры в снукер, а Гари Купер просто стоит, опершись о панель дубовой обшивки, и смотрит. Семейства Фредерика Марча и Рэтбоунов прибывают вместе. Рональд Кольман в задумчивости удаляется в сад. Глория Свенсон, в черном как смоль наряде и в бриллиантах, откидывает голову и смеется шутке, которую слышит от Эдварда Робинсона, а Марлен Дитрих в своем смокинге мягко улыбается, глядя в мальчишеское лицо еще очень молодого Генри Фонда. Прибавьте сюда великих исполнителей вторых ролей, Юджина Паллетга и Эдварда Эверетта Хортона, композиторов Гершвина, Портера, Берлина, режиссеров, сценаристов, любимых агентов, директоров студий, продюсеров и вы получите голливудский прием давно прошедших времен. Обычно моя мать пробегала приглашения

глазами, а затем бросала в корзину. Однако на этот раз приглашение было перечитано — «тема» заинтересовала ее.

— Радость моя, набери номер Трэвиса… Трэвис, ты слышал, Рэтбоуны опять дают прием? Я не верю, что это придумала жена Рэтбоуна. Думаю, идею ей подсказала графиня ди Фрассо. Интересная женщина. Но почему эти богатые американки так стремятся выйти замуж за бедных европейских аристократов? Ради титула? Наверно, она очень гордится тем, что она «графиня». За вычетом этого, да еще того, что у нее Гейбл в любовниках, она весьма умна. Здесь говорится, что нужно являться в образе «человека, который вызывает у вас наибольшее восхищение». Ты идешь, Трэвис? А что если ты наденешь платье из перьев из «Шанхайского экспресса» и будешь Дитрих? Не знаю, кого они еще пригласили. Гейбл нарядится Луисом Майером — он не знает, кем еще восхищаться. А Кроуфорд, представь себе, явится как Кроуфорд! Наверно, им всем хочется предстать в собственном образе! Я буду Ледой… — последовала долгая пауза.

— Трэвис? Не заставляй меня изменить мое мнение о тебе! Я всегда говорю, что ты образованный человек. Ты должен знать легенду о Леде и Лебеде! Великолепный белый лебедь соблазняет прелестную девственницу, она влюбляется в него, и они навеки остаются соединенными… Да, именно так!.. Ну, по крайней мере, я знаю именно такую историю!

Я слушала, стараясь вообразить свою мать девственницей. Я не очень хорошо представляла себе, что это такое, но звучало это довольно рискованно.

— Надо будет соорудить лебедя. Иначе никто не поймет, кто я. Она должна быть «завернута» в него. У нас целая неделя на костюм. Закажи лебединые перья. Не забудь, что нужны длинные, из крыльев, и очень короткие тоже, чтобы сделать шею… Что? *Разумеется*, глаза в обрамлении драгоценных камней. Трэвис, что с тобой сегодня? У лебедя не может быть голубых глаз — только зеленые!.. Не забудь, работать будем ночью, чтобы никто не прознал, кем я наряжаюсь! Если Луэлла Парсонс пронюхает о перьях, то напишет в газете, что я буду чайкой!

Ни один костюм в кино еще не мастерили и не отделывали так тщательно, как Леду и ее лебедя. Когда наконец Дитрих «вшили» в него, это было фантастическое зрелище! Короткие завитки волос, как у «греческой статуи», плотно обрамляли ее лицо, вокруг открытой шеи нежно обвивался лебедь, а голова его, как на подушке, покоилась на маминой груди. Ее тело страстно обнимала огромная птица из накрахмаленного белого шифона. Может быть, кто-то и не знал истории Леды и Лебедя, но никто не мог ошибиться насчет чувства, которое символизировал

представленный мамой образ. Сопровождала ее в тот вечер «Марлен Дитрих»: в образе своего идола предстала новая мамина подруга Элизабет Аллан. Эта неплохая актриса с лицом фарфоровой пастушки была однажды приглашена к нам на чай, но осталась и на ужин. Кажется, ее привела Рут Чаттертон, опытная театральная актриса и коллега по «Парамаунту», хотя и не из маминой — звездной — категории. Чаттертон умела водить самолет и отличалась непосредственностью. Впоследствии она играла те роли, которые по рангу неудобно было давать Мэри Астор. Моя мать была очарована хрупкостью Элизабет Аллан, она сравнила ее с «английской чайной розой» Она велела Трэвису укоротить один из своих любимых фраков, и мы все помогали Элизабет облачаться в него. Нелли уложила ей волосы, я воткнула золотые булавки в жесткую манишку, а мама подправила брюки, чтобы штанины не слишком закрывали легкие лакированные ботинки. Потом она надела на голову ошеломленной девушке один из лучших своих цилиндров, показала, как принять позу a la Dietrich, и засмеялась, довольная сходством. Перьев было так много, что мы минут двадцать усаживали нашу Леду и ее пылкого лебедя в машину. К счастью, новая Дитрих была тоненькая, как тростинка, и занимала очень мало места. Они отбыли вместе, чтобы стать сенсацией вечера! Трэвис с выводком швей отправились по домам. Дот и Нелли помогли мне с уборкой; мама не любила, чтобы горничные трогали ее личные вещи.

Моя мать наслаждалась жизнью. Бывало, что она даже не приходила ночевать — только звонила и говорила, что любит только меня. Иногда в ее обеденный перерыв приезжала Нелли присмотреть за мной и захватить что-то из нужных маме вещей — нужных для того, чем она в тот момент занималась. Поскольку Брайан выполнил мою просьбу и прислал мне «Гамлета», я по большей части сидела в доме при бассейне и расшифровывала Шекспира. Я решила, что «Гамлет» нравится мне гораздо больше, чем «Ромео и Джульетта».

Иногда Брайан откуда-то приезжал и возил меня в своей машине на пляж. Он всегда позволял мне располагаться на откидном сидении. Эта небольшая, незаметная скамья, которая раскладывалась в сторону задней части машины, как раз над багажником, тоже была для меня особым местом, как балкончик на поезде. Пальмы с шелестом проносились мимо. Когда сидишь на этом месте, то первым из пассажиров начинаешь чувствовать запах моря. Мы ставили машину, снимали обувь и брели по песку: я — с ведерком, Брайан — с ботинками через плечо. Я,

конечно, была старовата для жестяного ведерка с голубым совочком, но мне нравилось выкапывать из песка крабов и смотреть, как они снова закапываются. Говорили мы мало. Когда он привозил меня домой, я надеялась, что он останется выпить чаю. Но чаще всего, видя, что мамы еще нет, он целовал меня в макушку, просил передать ей привет и просьбу позвонить и уезжал.

Запутанные в мокрых водорослях, извивающиеся иссиня-черные существа доставлены в деревянных ящиках на нашу кухню. Нам предстоит организация приема с лангустами — истинным предметом маминой кулинарной славы. Моя обязанность — выскрести брюшко каждого ракообразного специальной овощной щеткой мистера Фуллера. Эти рачки терпеть не могут щекотки в процессе приготовления к своей кончине. Я их не виню — погружение живьем в кипящую воду не назовешь легкой смертью! Обеды с лобстерами у Дитрих пользовались заслуженной славой. У нас бывали настоящие пиры, если Луизиана присылала требуемые двадцать дюжин.

Рональд Кольман взглянул на огромное блюдо, доверху наполненное красными тельцами, и побледнел. Мама, разливавшая густой соус на шампанском, в котором они и потонули, ничего не заметила. Я чинно сидела в специально сшитом наряде для презентации и наблюдала за происходящей драмой.

— Ронни, радость моя, ешь! Ешь, не жди меня! Я никогда не сижу! — щебетала мама. Она теперь часто щебетала, с тех пор, как начала новый роман.

— Марлен-а, дорогая-а! — У господина Кольмана была привычка ко всему прибавлять «а». — Пожалуйста, иди к нам, дорогая-а! — На протяжении всего обеда, давясь тем, что ему явно было не по вкусу, он выкликал свои «моя дорогая-а» с регулярностью знаков препинания, хотя между ними практически ничего не звучало. Мою мать это нисколько не смущало. Она суетилась, прислуживала, показывала ему, как нужно расчленять крошечные тельца, вытаскивала, не разломав, мясо из розовой брони и не обращала ни малейшего внимания на его героические усилия скрыть брезгливые вздрагивания каждый раз, когда клешни, лапки, головки и панцири летели в середину стола в глубокую чашу. Когда наконец все было съедено и достойно восхвалено, она взяла «Ронни» за руку, он поднялся, с вожделением посмотрел на нее, она ответила нежным взглядом; их руки переплелись, они двинулись к двери, как одно целое, и уехали в звездную ночь в его зеленом автомобиле. Роман с Кольманом был каким-то «перемежающимся», он затухал и

возникал вновь в самые непредсказуемые моменты, но в нем никогда не было достаточно энергии, чтобы разгореться по-настоящему. Поскольку они чаще всего встречались на его прекрасной яхте, весьма «Британском буканьере», мне не приходилось им подыгрывать.

Дорогой Папи,

Я разучилась печатать, поэтому извини за ошибки. Послала тебе фотографии, где я сама ставила освещение, а также мой рекламный снимок с машиной. Теперь о работе. К тому времени, когда ты получишь это письмо, все опять может перемениться. Я никак не получу сценарий от Любича, хотя он и еще три сценариста работают над ним уже несколько месяцев. После многих моих писем и угроз я вчера получила… первые две страницы. Весьма банально, но самое ужасное — как они вводят меня, моя самая первая сцена, момент, которого все ждут (в конце концов ведь Любич заявил: «Мы собираемся возродить Дитрих!»), первый крупный план этой «Новой женщины» — ты готов? Ты сидишь на краешке стула? Итак, первый кадр… это МОИ НОГИ… В МАШИНЕ, ОДНА НА ДРУГОЙ. Длинное описание того, как одна нога плавно опускается, а вторая поднимается и перекрещивает первую… Ты потрясен, да? По такому «блестящему» началу можешь себе представить, что там дальше. Я все жду ответа от Любича: когда я получу полный сценарий и когда начну сниматься. Локк везет костюмы и оператора в Испанию снимать натуру — какая глупость. Но Любич обожает экстерьеры, поэтому я прекратила работу над костюмами, чтобы он не отвлекался на них, и требую ПОЛНЫЙ сценарий. Если не поможет — вообще откажусь участвовать. «Отель «Империал»» уже готов и, как мне говорили, очень хорош. Я все еще надеюсь сделать «Отель «Империал»» раньше. Одежда для «Ожерелья» — ничего особенного. Поскольку все действие происходит в машине, нужны только «костюмы для поездки в автомобиле».

Вчера Джо начал работу над «Раскольниковым». Он позвонил и с такой тоской сказал, что весь день чувствовал тяжесть на сердце и что со мной было так чудесно. Как я его понимаю! Разумеется, ты скажешь: «Но когда вы были вместе, вы только и делали, что ругались». Я решила ему этого не говорить, я только его утешала — какое значение имеют все наши ссоры по сравнению с чувством любви и доверия, которое мы испытывали друг к другу.

Еще раз посмотрела «Марокко» — сделай это тоже, пожалуйста. Это еще одно доказательство идиотизма тех, кто утверждает, что в ранних фильмах я такая естественная, а в последних — скованная. Им бы всем посмотреть «Марокко». Я там

практически не двигаюсь, раз в час что-то произношу с надуманной интонацией — да-да! И до сегодняшней красоты мне там еще далеко, я зажатая, да и ноги мои сейчас лучше, чем тогда. Посмотри. Все так легко забывается.

Сейчас я играю в теннис, в основном с Гейблом, Франком Лоутоном (повзрослевший «Давид Копперфильд»), Джеком Гилбертом и Элизабет Аллан (приятная женщина без жеманства), чаще всего в доме Гилберта или в Клубе Бель-Эра. Гилберт вылез из своего «чемодана» и вновь наслаждается жизнью, как ребенок. Все было как нельзя лучше, пока он не влюбился в меня. Теперь же мы имеем проблемы, потому что Гилберт — та самая сильная личность, которую втайне мечтаешь найти, а найдя — начинаешь бояться. Он потерял голову, а я не желаю и терять — причем я не знаю, почему не желаю — наверно, стоило бы, к тому же он был бы так счастлив; однако я неуверена, что будет просто выйти из этого состояния — страсть слишком уж жарко пылает. Говоришь себе: живи одна, если не можешь найти того, кому можешь принадлежать и для кого составляешь счастье всей жизни. Но вот такой человек находится — а ты его не хочешь. Я уверена, здесь дело еще и в том, что я была очень близка с Ронни (Кольманом) и это до сих пор не прошло. Хотя, по большому счету, он меня разочаровал. У него такое лицо и такой голос — а сам он холодный. Холодный не потому, что не хочет, а потому что не может: он сильно пострадал из-за жены, которая четырнадцать лет не давала ему развода, пока не превратила в затюканного девственника. Я пыталась «разжечь» его, и он любил меня, я не сомневаюсь, но его беззаботное «Как насчет следующего четверга?» выводило меня из себя, так что я, не получая отдачи, немножко отошла в сторонку. Как видишь, я не делаю из этого трагедии, мне просто грустно — большой прогресс.

Купи себе «Весну священную» Стравинского — самую потрясающую музыку на свете.

Что ж, мой ангел, пора заканчивать — устали пальцы. Итурби придет к обеду (раковый суп, бефстроганов, блинчики с сыром), Рут Чаттертон и Ланг (он переживает вместе со мной, советует, помог мне с Кольманом, и поскольку он тоже любит меня, его старания тем более трогательны). Эхерн не сможет прийти из-за проб с этой Ширер. Между прочим, его новая пассия, Мерль Оберон — настоящая потаскуха. В нем вдруг взыграла самонадеянность — он попытался снова ко мне подъехать, а когда я возмутилась, сбежал и набросился на нее. Похоже, он уже сыт ею по горло, потому что опять приходил ко мне, весь пристыженный. Вот и все сплетни.

Тысяча поцелуев, любовь моя. Поцелуй Томи; я завидую вам

обоим: «поиски» — такая неприятная вещь.

Мутти

Я проснулась под «Рапсодию в стиле блюз» и подумала, что, как в той молитве, которую детей заставляют говорить с выражением, «я умерла, не успев пробудиться», и попала на небеса! Гершвин… еще до завтрака? Я умылась, оделась с быстротой молнии и сбежала вниз.

Мама в теннисном костюме и с белой лентой на волосах встретила меня со словами: «Доброе утро, радость моя! Давай позавтракаем».

Должно быть, я действительно умерла. Просто я пока этого не знаю. Моя мать, которая считала любое приветствие просто излишним сотрясением воздуха, поздоровалась, и не с кем-нибудь, а со мной! Да еще и по-английски! В нашу жизнь вошел Джон Гилберт, и с этого момента моя мать говорила со мной на английском языке, обращаясь к немецкому лишь для сообщения трагических новостей, больших секретов или когда нужно было сказать что-нибудь особо язвительное, а также под влиянием анестезии или алкоголя. Теннисные туфли придали ей упругую походку; мы вышли в сад, где был накрыт стол, она оглядела его и спросила:

— А где же апельсиновый сок?

Я так и села — хорошо, что рядом стоял стул. Чудеса, да и только! Она позвала горничную и приказала принести тосты и полное блюдо поджаренного бекона, затем вернулась в дом и переменила пластинку. Бенни Гудман? В восемь утра? Она вышла с ракеткой, на ходу подтягивая винтами струны.

— Радость моя, то, что играет этот человек — это все еще называется джазом?

— Да, Мутти, — прохрипела я, потому что от шока у меня пересохло во рту. Она как будто повторяла домашнее задание.

— И именно про это говорят «горячее фортепьяно»?

Я только кивнула в ответ.

— Радость моя, придет мистер Джон Гилберт, ты с ним познакомишься. Он красавец… глаза, как уголья — обжигают! Обрати на них внимание. Поймешь, о чем я говорю.

Я вот-вот познакомлюсь с великим Джоном Гилбертом? Ну и утречко! Я не так уж много общалась с актерами немого кино. Моя мать никому не признавалась — даже сама себе, — что она тоже успела поработать в немом кино. Но Джон Гилберт, как Валентино и Чаплин, — это же сам Голливуд! Я только успела сбегать наверх за альбомом для автографов, как у входной двери раздался звонок, возвещавший его прибытие. Что такое «горящие

угли!» Он мог буквально испепелить вас своим взглядом! При этом он мягко, чуть печально улыбался, так что ваше сердце разрывалось от жалости. Он взял меня за руку. Я старательнейшим образом сделала книксен, взглянула на него снизу вверх и получила полную программу — уголья, нежную улыбку — все сразу!

— Дорогая… у нее твои глаза. — Этот голос расплавит металл! Он снова повернулся ко мне. У меня есть дочка твоего возраста. Я называю ее Рыбкой. — Он еще раз одарил меня своей умопомрачительной улыбкой, и они ушли из дома.

Я закрывала за ними дверь, стоя на ватных ногах. Мне стало неловко при мысли о Брайане — я чувствовала себя изменницей, но надеялась, что мистер Гилберт пробудет с нами подольше. Он и побыл с нами, но не так уж долго.

Пока продолжались их отношения, моя мать, казалось, была для него воплощением всех его давних мечтаний. Как она его опекала — по-матерински! Она душила его заботой, и это ему нравилось. А ей безумно нравилась новая цель в жизни.

В чем потерпела фиаско Гарбо, в том преуспеет Дитрих! Ей одной удастся спасти этого мужчину от «демона пьянства». В конце концов «алкоголизм — это не что иное, как постыдная слабость, алкоголизмом скорее пристало страдать представителям низших классов, которые позорно убивают время в вонючих барах». На нашей плите булькал куриный суп. Особая говядина, необходимая для эликсира моей матери, была доставлена в дом Гилберта; свою бульонную лабораторию она оборудовала у него в кухне. Впоследствии она рассказывала мне:

— Я прятала от него бутылки с помощью его целителя-филиппинца. Какое-то время это действовало. Но ему постоянно хотелось в постель! Ты меня знаешь… все, чего я хотела, — это готовить ему и быть «уютной», возня под одеялом мне не нужна. Но без нее он думал, что я его не люблю, так что мне приходилось заниматься этим. Но он был не так уж хорош. Те, кто производит впечатление хороших любовников, таковыми в жизни никогда не являются.

Я любила находить его записки, которые он запихивал в пустые термосы, в карманы ее теннисных рубашек или в коробки с мячами.

Готов поклясться, что ты одурманила и опьянила мой мозг. Схожу с ума от дум о тебе и от желания тебя.

Люблю тебя

Ты так мила, и великодушна, и прекрасна. Как хорош был бы

мир, если бы все люди были, как ты.

Каравайчик,

Не будет ли для тебя кошмаром, если я вдруг действительно брошу пить, курить и не спать ночами, стану положительным, а наша половая жизнь будет умеренно активной? У тебя же не будет поводов кудахтать. Разница между нами состоит в том, что я люблю тебя такой, какая ты есть. Конечно, я знаю, можешь не говорить мне, — естественно, я люблю тебя такой, какая ты есть, потому что ты совершенна. Видишь, я угадал твои мысли. Но когда-то, хотя бы десять секунд, ты думала, что я тоже совершенство. О, горькая потеря!

Люблю тебя

Ну как можно не поддаться обаянию человека, который богиню называл «Каравайчиком»? В первый раз, когда я это услышала, у меня дух перехватило, потом я увидела мерцанье горящих угольков и восхитилась его дерзостью. Он такой американец! Никакой европеец никогда не научится так смеяться. Американцы вышучивают друг друга самым вопиющим образом и тем не менее остаются любовниками или друзьями. Европейцы никогда не знают, чего не стоит принимать всерьез. Они нередко путают американский юмор с насмешкой и реагируют соответственно.

— Гилберт назвал меня «Каравайчиком»! — говорила она. — Но почему? Лицо у меня никогда не было круглым! Вот у Джоан Беннет действительно лунообразное лицо, а у меня нет. Я никогда не понимала Джона, когда он начинал «хохмить» Но я понимала, когда он называл меня «Любвеликой».

От Буллока привезли новые купальники, сарафаны, даже голубой махровый халат. На меня надели хорошенькую панамку, завершившую мой наряд, и отправили в пустыню с Нелли. Рукотворный оазис в одну улицу, на которой стоят четыре индейских магазина сувениров, конюшня, закрытый теннисный клуб и шикарный отель. «Эль-Мирадор» видом напоминал миссию, в нем был обязательный бассейн, лужайка и куча финиковых пальм вокруг. Городок под названием Палм-Спрингс стал моим самым любимым местом на земле. Я не смотрела на пустыню из поезда, я была в ее недрах, и все было чудесно, именно так, как я и представляла. Ящерки дремали на выбеленных солнцем скалах и не убегали при моем приближении; люди были необычные: они чувствовали себя уверенно, потому что им казалось, что это место все еще принадлежит им. Жара

пронизывала вас насквозь. Ощущение великолепное! Высокие деревья стояли, напоминая верных часовых на страже своих беспредельных владений. Цвет песка имел мамин любимый оттенок — нежно-бежевый. Он как-то скрадывал звуки, поэтому вы вдруг понимали, что слышите тишину. Хруст сухой ветки, пронзительный крик золотого орла, приглушенный стук лошадиных копыт — все эти звуки возникали сами по себе, отдельно друг от друга. Там, куда человек провел воду, все сверкало, взрывалось яркими, безумными красками. Там, куда он еще не проник, все было пыльно-пастельным, царили тишина и сухость. Горы Сан-Хасинто устремлялись к небесам и казались бесконечно высокими. Они были точь-в-точь такими же, какими я увидела их со своего балкончика в поезде, — фиолетовые, с белыми от снега вершинами. Я ела кактусовые леденцы, сладкие и липкие, пила свежевыжатый сок пассифлоры, любовалась россыпями удивительных черепаховых украшений в маленькой индейской мастерской, разговаривала с работниками — жителями резервации Агуа Кальенте; я впервые увидела степную собаку, сидящую возле своей норы, сброшенную кожу гремучей змеи, попросила друзей-индейцев помочь мне сделать специальную палку — шарить по дороге, чтобы не наткнуться на змею. Когда они сказали мне, что по пустыне нельзя ходить иначе как в сапогах, я умолила Нелли купить мне настоящие ковбойские — со скошенными каблуками и с вшитыми внутрь бабочками из белой кожи. Каждый день и каждый вечер я чувствовала, что живу просто в раю! Бриджес отвез маму в город; кажется, она привезла кого-то несимпатичного, может быть, «мальчиков». Мы переехали из главного здания отеля в один из степных бунгало, спрятанных среди зарослей гибискуса.

— Радость моя, ты такая черная! Как индеец. Ужасная жара. Откуда у людей эта страсть поджаривать себя на солнце?

В первое утро на новом месте мама на веранде писала письма, сидя за машинкой в щегольском легком брючном костюме и широкополой панаме. Конечно же, она немедленно обнаружила мою змеиную палку и строго-настрого запретила выходить за пределы территории отеля, да еще и отругала Нелли и охранника за то, что дали мне столько опасной свободы. Так что я сидела в бассейне, и мне все равно было хорошо. А мои бесценные ковбойские сапоги ждали своего часа в укромном месте.

По радио объявили о гибели Уилла Роджерса во время падения его аэроплана. Моя мать тут же позвонила Брайану. Она была вне себя.

— Видишь, что получается, если так безумно хотеть летать.

Вот ты хочешь быть авиатором — видишь, что получается? В общем, это просто твоя блажь — купить самолет! Уилл Роджерс, в конце концов, умел только хорошо рассказывать разные истории, но в один прекрасный день погибнет какой-нибудь действительно важный человек, и тогда сразу все поймут, что я права!

В тот вечер, напоенный запахом апельсинов, под стрекот цикад мама держала речь. Мы слушали, а она изливала душу в жалобах на Любича и на сценарий, который он писал для нее.

— Он глупец, если думает, что я буду делать все по его указке, только потому что он комедийный режиссер и нынешний глава «Парамаунта», а Джо уехал. Он все время пытается сунуть мне руку между ног. Изображает страсть и сует мокрую сигару мне в лицо. Противный маленький еврей! Я сказала ему, что у меня ребенок заболел в Палм-Спрингс, и уехала. Гилберт говорит, не обращай внимания, в контракте Любич указан как постановщик фильма, а если его имя есть в титрах, он позаботится об успехе. Папи согласен с этим и еще говорит, что мне надо сниматься, чтобы заработать. Эдингтон говорит, что нельзя надолго исчезать с экрана после провала «Дьявола». Ланг хочет сделать со мной картину, Бартелмесс ничего не говорит, ревнует к Гилберту. Джо умел все держать в руках, а теперь вдруг я сама должна обо всем заботиться!

Пришли официанты из главного здания, принесли послеобеденный кофе. В венской булочной, открывшейся в Беверли-Хиллз, мама накануне купила ванильные коржики. Мошкара суетилась в лунном свете за окнами, мы жевали коржики, а мама читала вслух свое письмо к Джону Гилберту:

Джек!

Извини, что обидела тебя — я не нарочно, ты же знаешь; я пошутила, а ты обиделся.

Со времени твоего последнего запоя я постоянно тревожусь за тебя, и малейший признак ухудшения пугает меня еще больше.

Ты же, наоборот, специально делал по отношению ко мне такие вещи, которые меня ужасно задевали, но ты все равно делал их, потому что тебе этого хотелось. Я не ожидала, что, обидевшись, ты попросишь меня уйти из твоего дома. Ты сказал, что не понимаешь, как я могу хотеть отказаться от нашей прекрасной любви из-за боли, которую причиняет мне твоя слабость. Ты сказал, что, если я могу порвать с тобой из-за своих страданий, то, следовательно, все наше счастье для меня ничего не значит.

Я могу обратить те же самые слова к тебе! Может быть, теперь ты почувствуешь облегчение и будешь пить сколько хочешь

и разрушать все, что я пыталась сделать для тебя. Возможно, мой метод был не совсем правильным, но будь уверен, что это задача из задач, и только самые прекрасные и бескорыстные побуждения стояли за всеми моими действиями.

Как всегда, она писала под копирку, и я пошла в отель отправить второй экземпляр папе. Один из «мальчиков» отвез письмо Гилберту домой. На рассвете он позвонил. Я услышала, как мама воркует и тихонько смеется. Скоро она приказала подать машину к бунгало и исчезла. Уезжая, она улыбалась и казалась счастливой. Я была рада, что она возвращается к Гилберту, — он мне нравился. Я не видела ничего необычного в том, что люди живут вместе. В моем собственном кругу Тами жила с моим отцом, фон Штернберг жил с нами, время от времени появлялись и другие. Моя мать не всегда возвращалась ночевать в отель в Вене и в Париже. Почему бы ей не спать и в доме мистера Гилберта? Взрослые уверены, что подобные вещи все понимают исключительно в сексуальном смысле. Но ведь дети прежде должны узнать, что такое секс, а уж потом думать в этом направлении. Хотя иногда природная невинность и оборачивается опасностью, она все же мощной броней заслоняет детей от влияния темных сторон жизни тех, кто наделен правом распоряжаться их существованием.

Кларк Гейбл ощутил электрическое притяжение Кэрол Ломбард. Гари Купер наскучил графине ди Фрассо, и она решила уехать в Европу, а свой дом, английского дворецкого, повара, горничных, служанок и собаку сдала внаем своей подруге Марлен. Однажды меня привезли со студии не в Бель-Эр, а в Беверли-Хиллз, из чего я поняла, что мы переехали. Из «мрачной Испании» — в «сияющий Голливуд»! Что это был за дом! Если какую-нибудь стену в нем не закрывало зеркало, то она была сплошь увешена серебряными ветками с чучелами экзотических тропических птиц. Зеркальными были столики, лампы, не говоря уже обо всех дверях. Версаль, конечно, был импозантнее, но по зеркальному стеклу мы могли бы составить ему мощную конкуренцию. Полы покрывал модный в тридцатых годах белый ковер с длинным ворсом. Первый этаж вызывал у вас ассоциации с помещением для стрижки овец, где-нибудь в Новой Зеландии. Вообще пол был покрашен черным лаком, и кое-где он все-таки виднелся. Этот дом славился своей «зоокомнатой». Здесь были не пестрые настенные птицы, а крадущиеся пантеры, не серебряные ветви, а зелень джунглей a la Gauguin, не лохматые овчины, а разбросанные здесь и там шкуры зебр. Четыре отдельных столика

для триктрака, отраженные зеркалами, стояли постоянно наготове со своими фишками из золотистого агата и молочного жадеита. За полированный обеденный стол на полированные стулья могло усесться двадцать человек. Пернатые художника Одюбона взирали на вас с картин из очередного темно-сине-серебряного уголка джунглей. Птицы со злыми красными глазками вызывали даже смутное чувство страха у сидящих за этим длиннющим столом, уставленным начищенными до зеркального блеска канделябрами, массивными серебряными приборами и несметным количеством еды. Разумеется, лестница в доме «извивалась», идеально вписываясь в парадный вход во вкусе Глории Свэнсон. Второй этаж был поскромнее. Орнитологическим экспонатам и голливудской роскоши отводилось самое видное место — внизу. Но все равно всюду был переизбыток декора, дом как будто кричал: «Деньги — не проблема!» В саду беспрерывно цветущие кусты гардении — чудо искусства четырех японцев-садовников — обрамляли извилистую дорожку, ведшую к аквамариновому бассейну с непременным домом при нем. За выгородкой из густых хвойных растений лежал нарядный красно-белый теннисный корт. Для игры в крокет предназначалась лужайка, по периметру которой в любом месте можно было организовать английское чаепитие. Ажурные круглые металлические столики, затененные этими символами преуспеяния — гигантскими, фестончатыми с бахромой, садовыми зонтами, стояли в постоянной готовности. В нашем двухсотстраничном инвентарном списке значилось столько чайных сервизов и «закрытых блюд для выпечки», что мы без ущерба для себя могли бы одолжить кое-что английской королеве для ее ежегодного официального приема в саду.

Моя мать так говорила о своей подруге и хозяйке дома: «Она из тех богачек, которые мечтают стать кинозвездами, но уродились для этого слишком некрасивыми. Поэтому она с кинозвездами спит и устраивает им приемы, — и добавляла: — Но она умнее и приятнее, чем обычно бывают люди такого типа».

Когда я была маленькой, я думала, что Дороти ди Фрассо просто любит развлечения и может делать все, что ей вздумается. Спустя годы, она предстала передо мной одинокой дамой с чрезмерным количеством грима на лице; в отличие от другой Дороти, героини известного литературного произведения, она, похоже, по дороге потеряла свои волшебные туфли. Но пока мы жили в королевстве Оз в Беверли-Хиллз, волшебство еще действовало. В этом доме Дитрих впервые стала задавать настоящие приемы со списками гостей, отпечатанными в типографии приглашениями, именными карточками с указанием

места за столом и даже чашами для ополаскивания рук. В этом «фантазийном» интерьере она также впервые разрешила сделать серию своих фотографий в «домашней обстановке» для массовых журналов, чьи представители были все как один убеждены, что дом она декорировала сама. Возможно, все в этом доме было чрезмерно, но нам с мамой он казался прелестным. На крокет к нам собирались такие люди, как К. Обри Смит, Рональд Кольман и Клифтон Уэбб, который мнил себя Оскаром Уайльдом и лез из кожи, придумывая остроумные парадоксы. Он стал «приятелем» моей матери; в отличие от «мальчиков», он был слишком джентльменом; иногда он, правда, забывался и вел себя не лучше их.

Часто появлялась британская колония — больше, чтобы отведать знаменитых изделий повара ди Фрассо — сдобных английских пышек и густого малинового джема, чем ради забивания деревянных шариков в маленькие воротца. Чаплин, любивший, чтобы с его пышек текло масло и мед, чавкал, облизывал каждый палец по отдельности и удалялся. Наш Ронни предпочитал джем. Джордж Арлисс, держа в руке тонкую чашку с чаем, вел счет съеденным булкам.

На один из вечеров кто-то привел Клару Бау. Уже прошедшая пик своей карьеры, она тем не менее отлично выглядела и могла себе позволить прийти в ярко-зеленом брючном костюме. Она вскочила на пианино и, стоя там, выпила огромное количество коктейлей с шампанским; остаток вечера ее рвало, дверь туалета стерег для нее Великий Датчанин, Дюк. Это, впрочем, не создало никому никаких неудобств, потому что у нас было еще три «комнаты для припудривания носиков». Брат и сестра Бэрриморы имели обыкновение приезжать по отдельности, а уезжать вместе. Со своим мужем, Седриком Гиббонсом, приехала Долорес Дель Рио, чтобы поиграть в триктрак. Моя мать была поклонницей Долорес Дель Рио, считала ее самой красивой женщиной Голливуда. Я тоже изучила ее. Не такая уж красавица; рот — это точно — был восхитительным. Пока она сидела неподвижно, она излучала такую ауру мистики, тайны, притягивала к себе, гипнотизировала; но как только она «возвращалась к жизни», вы как будто тут же начинали чувствовать запах сушеного перца «чили» и скручивающихся на раскаленных камнях маисовых лепешек; она так и представлялась вам в окружении стайки очаровательных детишек, цепляющихся за ее юбки, и с младенцем у груди. Она смеялась, встряхивала и бросала кости, ставила фишки, а затем вызывающе смотрела на мужа своими черными глазами. Они составляли интересную пару: он, самый уважаемый в киноиндустрии художник, и она, мексиканская Мадонна,

закутанная в плотно облегающий тело атлас.

Джон Гилберт ходил среди гостей, чувствуя ко всем искреннее расположение. Наверно, он и пригласил их, потому что мама обычно тяготела к другому типу людей. Мой альбом для автографов почти заполнился. В этот период я как раз начала собирать коллекцию «портретов великих звезд», и мамины гости отнеслись вполне снисходительно к моей просьбе о подписанной фотокарточке. «А можно большую?» Почти никто не забыл попросить своих секретарей выбрать фото получше, дать им подписать и отослать дочке Марлен Дитрих. Когда приходили пакеты с фотографиями, я доставала лупу и первым делом рассматривала подпись, чтобы убедиться, что она сделана собственноручно, а не отштампована; после этого я изготавливала паспарту и помещала портрет в застекленную рамку.

Все было как-то необычно в нашей жизни в доме ди Фрассо. Моя мать даже решилась фотографироваться с голыми ногами, в коротких теннисных шортах, а также позволила хозяйской афганской борзой позировать вместе с ней, что та с большим блеском и проделала! Рекламный отдел «Парамаунта» был в экстазе и объяснял метаморфозу Дитрих тем, что она наконец-то освободилась от гнета фон Штернберга. Никто и не подозревал, что Дитрих вдруг стала такой не по-европейски общительной благодаря Джону Гилберту и интерьеру дома графини ди Фрассо.

Должно быть, Любичу наконец удалось что-то написать, потому что мы отправились на студию и начали «переговоры» с Трэвисом.

— Ну, Трэвис, ты хотел сделать фильм о современности — пожалуйста! Вот увидишь, как трудно придумать костюмы, которые не устарели бы еще до выхода фильма!

— Марлен, дорогая, я же не первый раз…

Она не дала ему договорить:

— Но не с Дитрих. Всем наплевать, во что одеты твои остальные звезды, даже Ломбард. Ты годами одеваешь ее в платья покроя ночной рубашки, и никто этого не замечает. Сейчас мы будем делать свой самый трудный и самый скучный фильм. Без фон Штернберга в нем не будет тайны. Ничего, что запомнилось бы зрителям. Ну, возможно, мы с тобой выдадим пару замечательных находок, фильм понравится, но и только. Спорим на сто долларов, у меня будет круглое лицо и я выйду очень красивой разодетой куклой!

Трэвис налил маме кофе.

— Ходят слухи, что фильм будет делать Куп.

— Трэвис, знаешь, что он сказал Любичу? Он сказал, что раз Джо уехал, он «готов» снова со мной работать! Какая самонадеянность! Ковбой берется судить? Пусть посмотрит «Марокко» и поучится скромности! Впрочем, он никогда не отличался умом. Надо сочинить очень хорошие головные уборы для первых сцен, иначе будет одно скрещивание и перекрещивание ног. И если Любич решит, быть или не быть мужчине с ней в спальне, то мы будем знать, какая ночная рубашка нам нужна. Это у Де Милля из платьев вылезают груди во весь экран и все время отвратительные оргии — это «история», видите ли… А мы должны проследить, чтобы кровать не была видна за моей спиной, когда я разговариваю, стоя в дверях, с мужчиной при полном параде! Я люблю Мэй, но это она виновата, что мы имеем господина Хейза с его ребяческой цензурой. Так по-американски — видеть секс повсюду, но при этом пытаться спрятать его. Трэвис, пусть они принесут тебе «Вог» или «Вэнити Фэр» и еще какой-нибудь журнал, изучи их, чтобы мы, не дай Бог, не сделали чего-то, что уже есть у них.

Они поцеловались, и мы уехали.

— Папи, я собираюсь устроить Гилберта в наш фильм, который теперь называется «Желание». Не спрашивай, почему, — ты же знаешь, Любич обожает «неприличные» названия, вроде «Дьявол — это женщина».

Было воскресенье, и мы звонили в Европу. «Нет, я дома. Катер Ронни дал течь, а Джек напился. Я оставила его спать, а сама пошла домой делать звонки. Конечно, Любич уже ревнует. Но Джек может сыграть главаря похитителей драгоценностей. Возраст не имеет значения, я заставлю Любича сделать с ним пробу. Если я тебе понадоблюсь, позвони Нелли — она знает, где меня найти. Передаю трубку Ребенку». Я говорила мало, сдерживалась, чтобы не спросить о Тами. Когда он сказал, что она сейчас гуляет с Тедди, я вежливо попрощалась и повесила трубку. Непривычно было снова говорить по-немецки.

Кто-то позвонил и сказал, что застрелили Хьюи Лонга и что великий Джон Гилберт пробуется на пустячную роль в непонятно каком фильме. Убийство сенатора Лонга казалось большей милостью по отношению к участникам событий. Моя мать торжествовала. Она позвонила в Париж:

— Папи, Любич одобрил пробы. Я была партнершей Джека. Он не хотел, все говорил, что мне, «великой звезде», не подобает появляться в крошечной кинопробе. Разумеется, я ответила, что не позволю ему делать ее одному. Мы с Трэвисом придумали очень хороший костюм, с рисунком в крупный черно-белый горох,

и замечательную шляпу, чтобы отвлечь зрителя на меня. Я сама установила свет, так что никаких его морщин не стало видно. Все посмотрели в камеру и сказали ему, что он выглядит очень молодо. Шляпа и горошек так хороши, что я заставила их сделать фотографии. Мы их используем для рекламы — после того, как я их отретуширую, конечно. Я пошлю их тебе, чтобы ты понял, о чем я говорю: с моим освещением Джек выглядит на десять лет моложе.

«Парамаунт» утвердил Джона Гилберта на роль Карлоса Марголи в «Желании», а на мой день рождения он подарил мне новый альбом для автографов. Альбом был из марокканской кожи цвета граната, с уголками из настоящего золота. Я им очень дорожила.

Моя мать названивала своему пасаденскому доктору, прося его прийти к Гилберту домой и сделать ему уколы. Однажды Джон заехал за мамой на машине. Я не видела его некоторое время, и перемена в нем испугала меня: сейчас его угли тлели внутри фиолетовых глазниц, а улыбка как-то поникла. Я думала, мама ухаживает за ним. Ее крепкий бульон оказался совершенно бесполезен! Знал ли сам Гилберт какого-нибудь доктора, который *не* жил бы в Пасадене?

Слава Богу, я смогла сделать ему на Рождество хороший подарок. В тот год все дарили друг другу замшевые закладки для книг, с вышивкой «со значением» для получателя.

Мама решила, что Гилберт должен устроить своей дочке особо радостное Рождество, и мы пошли по магазинам. Я уверена, что временами мою мать охватывало желание «по правде» иметь дочку-«принцессу», одетую в воздушные платьица, всю в оборочках, бантиках и кружавчиках, похожую на снимки в популярных журналах. Дитрих часто «удочеряла» маленьких девочек, которым вообще-то всегда нужна крестная-фея. Она осыпала их изящными подарками — куколками в сказочных платьях, медальонами в форме сердечка, тонкими браслетиками со звенящими подвесками — и наслаждалась изумленной благодарностью, загоравшейся в детских глазах. Рано или поздно она пресыщалась восхищением и, подобно Мэри Поппинс при перемене ветра, исчезала. Девочки же никогда ее не забывали, всегда помнили свое детское чувство к ней. Одной из таких девочек стала для моей матери и дочь Джона Гилберта.

Мы скупили весь «Буллок». Мы заняли столовую и на этом километровом столе упаковывали подарки. Вот еще одно «впервые» в тогдашний период — Заворачивание Рождественских Подарков. В Германии обычай был не заворачивать подарки, а раскладывать их открытыми, для каждого члена семьи —

отдельно. Аккуратно, как в церковном магазине. Никаких расходов и траты времени на упаковку, никакой разбросанной бумаги вокруг елки — никакого радостного нетерпения, никакого волшебства! Настоящее прусское благоразумие. Сейчас же Дитрих первый раз в жизни (это станет обычаем на многие годы) заворачивала подарки и «кодировала» получателей. Серебряная бумага и серебряные сосновые шишки обозначали меня; золотая бумага и обвязанные лентами золотые розочки — дочь Гилберта, Рыбку. Мама никогда не надписывала ярлыки, она просто сообщала вам вашу «тему», и вы сразу же узнавали, какие из тысяч свертков ваши. Вас информировали за несколько недель до Рождества:

— В этом году ты будешь «фарфоровыми колокольчиками». Скажи Брайану, что он — «коричневые бархатные бантики». У Клифтона будут «золотые кисточки», у его матери — птички, которых мы купили в канцтоварах. Ронни — «серебряные листья», «Мальчики» — «серебряный шнурок», а Нелли — «голубенькие узелки».

Это означало, что во всей Калифорнии никто больше не сможет найти в магазинах ни фарфоровых колокольчиков, ни всех остальных упомянутых вещей. В какое-то рождество в Нью-Йорке в пятидесятых годах моя мать принесла немалый доход Блумингсдейлу, приобретя скульптурки флорентийских ангелов по пятьдесят долларов за штуку для целых ста двадцати подарков. Вскоре после памятного упаковочного пиршества этот магазин сделал ремонт главного зала. С тех пор, входя туда, моя мать останавливалась под гигантской новой хрустальной люстрой, смотрела на нее и говорила:

— Вот за это заплатила я!

В 1935 году, впервые в жизни заворачивая подарки, мы организовали работу должным образом. Повесили ножницы на шею, расставили рулоны бумаги по цветам в отдельные корзины, приготовили пузырьки с клеем. У нас было две огромные кучи подарков — Рыбкины и мои. Мы старательно трудились, как эльфы, несколько дней по колено в блестках и бумажных цветах. Коробок было так много, что я иногда путалась, не зная, что приклеивать, — сосновые шишки или розочки.

— Мутти, извини, это ей или мне?

— Это браслет с сердечками или с собачками?

Я заглянула в длинную бархатную коробочку.

— С рубиновыми сердечками.

— Тогда ей.

Когда все было готово, Бриджес погрузил огромные картонные коробки, наполненные плодами наших трудов, в

машину и повез эти щедрые дары вместе с дарительницей в дом Гилберта. Она разложила подарки, которых он в глаза не видел, под елкой, напомнила ему еще раз, что это подарки его дочери *от него*, а не от нее, и уехала — пусть он один порадуется вместе с ребенком. А я в это время завернула вещицы, которые сделала сама, в тайно приобретенную во время покупочного бума упаковку. Мне ужасно нравилось то, что я сделала! Маленькие снеговички в глубоком «снегу» с дитриховскими цилиндрами на голове. Хотя я никогда не видела настоящих снежных баб, я питала к ним слабость. Принес свои подарки Брайан; это были единственные свертки, чье содержимое не было мне известно. Наши роскошные пакеты привели его в восторг — они и правда изумительно выглядели под елкой, которую дворецкий установил возле пианино. Хотя на этот раз не было ни музыки, ни праздничных сюрпризов — я была уже слишком велика для всего этого, — мы в тот год все же хорошо встретили Рождество. Мама всплакнула в разговоре по телефону со своей матерью и Лизель. У меня тоже глаза были на мокром месте, когда я желала Тами веселого Рождества; в остальном эти два дня были приятными, а «Венецианский купец» от Брайана порадовал меня больше всех подарков.

В конце концов Джон Гилберт не смог участвовать в «Желании». Незадолго до Нового года у него случился сердечный приступ, и студия побоялась рисковать страховкой для такого «заменимого» актера. Мама занималась подготовкой костюмов на «Парамаунте» и исполняла роль Флоренс Найтингейл на Тауэр Роуд.

— Трэвис, мы можем использовать тот прелестный белый шифон, который мы припрятали. А в той сцене ей обязательно быть в неглиже? Они так надоели, все в них появляются, даже дурнушка Мириам Хопкинс.

— Что бы мы ни решили, это должно выглядеть соблазнительно. Ей ведь что-то от него нужно — или это теперь не так?

— Кто знает. Если Куперу позволят провести отпуск в Мексике, а не в Испании, всю картину могут перенести из Европы в Мексику, а мою роль сыграет Ломбард. Она ей очень подойдет. Давай скроим шифон по косой. Он будет ниспадать точно по фигуре.

— Мы можем накидку сделать по косой, может быть, опушим его мехом для тяжести?

— Очень хорошо.

Трэвис засиял. Она продолжала:

— Но нам нужна длинная линия внизу. Может быть,

присборим немножко с одного боку, а линию продолжим от бедра?

— А что если нам для опушки взять роскошного белого песца?

— Но в две шкурки шириной, иначе на пленке будет смотреться «бедно» Надо обузить низ, чтобы юбка была в обтяжку. По крайней мере я сейчас действительно худая. Я сказала Джеку, что единственный положительный момент в его сердечном приступе — то, что мне не надо волноваться по поводу своего веса.

— Может быть, нам сделать длинный шлейф? Не обязательно, но на длинных планах и на фотоснимках с ним ты будешь как будто на пьедестале.

Если вам когда-нибудь представится возможность увидеть «Желание», обратите внимание на белое шифоновое творение двух этих непревзойденных художников! Головокружительная смесь соблазнительности и утонченности. Дитрих, опирающаяся на балконную дверь, укутанная в шифон и лисий мех, — зрелище опьяняющее.

Мы были в гардеробе, продолжали работать над костюмами. Мама пришла из отдела музыки.

— Трэвис, ты не представляешь себе, что это за песня! Невероятно! Что случилось с Холландером? Слишком долго живет в Голливуде? Его песни для «Голубого ангела» были не бог весть что, но все-таки в них *что-то* было! И их можно было петь, а это!.. Вот послушай! «Ты здесь, и я здесь, твои губы и мои губы… *не спят!»* И последнюю строчку надо провизжать — она поднимается на целую октаву! Думаешь, это все? Нет, там есть дальше: «Во сне, таком божественном…» и что-то ужасное в таком же духе, и наконец мощный финал, полный волнующих интонаций: «Может ли это быть, что сегодняшняя ночь — та самая ночь?» Представляешь?.. Вот я за пианино, в восхитительном платье, украшенном перьями белой цапли, и пою это убожество…

Несколько дней она ходила по студии, напевая: «Твое *ухо* и мое *ухо*, твои губы и мои губы…»

Никто не заметил, что она вместо «here» пела «ear» Все думали, она репетирует. Трэвис и я умирали со смеху. Когда мы уже снимали эту сцену, Трэвис специально пришел на площадку. Увидев нас, стоящих в ожидании *того самого* момента, она нарочно пропела громко и внятно: «Твое ухо и мое ухо», — чем загубила дубль.

Борзаге, к тому времени — уже режиссер картины, заорал: «Стоп!», а Мисс Дитрих произнесла:

— О, я сказала «ухо»? Все время я говорю «ухо». Я очень извиняюсь. Попробуем еще раз? Такие *трогательные* стихи… О, минуточку! Опять? Вы уверены, что там «here»? А не «ear»?

Мы с Трэвисом зажимали рты носовыми платками, а Нелли умчалась в туалет. Она, как и моя мать, была вынуждена бегать туда, когда слишком сильно смеялась.

Но эта сцена была потом, а сейчас мы находились еще в стадии подготовки. Пока «Желание» приобретало какие-то очертания, я начала изучать древнюю Грецию, и мне было нелегко переключаться с одного на другое. Мы придумывали и примеряли костюмы до поздней ночи.

— Трэвис, ее нельзя одеть в брюки? А в мужской блейзер? Двубортный, льняной, синий, не очень темный, с прямой белой юбкой? У меня есть подходящие туфли! Ты не поверишь, но я в них играла в театре еще в Берлине, и они все еще модные! Похожи на те, что ты очень любишь, но белые, с ящеркой. В этом фильме, по крайней мере, туфли будут видны!

— Чудесно, Марлен. Сделаем перламутровые пуговицы на жакете, чтобы подчеркнуть покрой. Может быть, в петлицу вставим гвоздику?

— Если она окажется к месту, то да! Вся эта сцена настолько глупа, что пусть у зрителей хоть будет, по крайней мере, на что посмотреть.

Любич решил передать режиссерские бразды Фрэнку Борзаге, оставшись лишь продюсером. Борзаге, кругленький маленький человечек, носил деловые костюмы-тройки, перстни с печатками и полуботинки с высовывающимися белыми язычками. Трэвис только увидел их, тотчас же заказал себе такую же пару. Моя мать определила Борзаге как «mennuble» и пригрозила уйти из картины. Эдингтон, тараторя, как обычно, уверял ее, что, разумеется, Любич всегда будет рядом и будет следить за каждым его движением, и чуть что — придет на помощь. Мама успокоилась и на протяжении всех съемок вела себя с Борзаге так, будто он секретаришка из офиса Любича. К счастью, Борзаге не был эгоцентричным человеком. Он спокойно посасывал свою трубку, внимательно выслушивал каждого и продолжал втискивать съемки в установленные сроки и в бюджетные рамки.

Шевалье уехал куда-то с Грейс Мур. «Еще одна его щебетунья», как выражалась моя мать.

Начались основные съемки «Желания», в котором главные роли исполняли Дитрих и Купер.

Гилберт, казалось, полностью поправился. Снова пошли его записки, в которых он иногда в мягкой форме давал маме советы. Не исключено, что как режиссер он был талантливее, чем как

актер. Жаль, что моя мать так увлеклась ролью «спасительницы страдальца»; лучше бы она побольше слушала его, может быть, что-то и почерпнула бы для своего творчества. Он мог многому ее научить. Она сохранила всего несколько его нежных посланий. Жаль, что не все.

О, Любвеликая!

Я сегодня так счастлив, и это такое прекрасное ощущение. Помни, что

Следует Жить!

Не надо благодушия на экране!

Не надо белой таинственности!

Не надо призраков!

Что бы с нами ни случилось, прошу тебя, оставайся таким же жизнелюбивым животным.

Люблю тебя.

Версий относительно роли моей матери в смерти Джона Гилберта было столько, что бессмысленно пытаться распутать этот клубок спекуляций и заведомой лжи. Думаю, что мой сценарий наиболее полно соответствует характеру Дитрих. Что бы кто ни говорил, убежденный в своей правоте, ничего из раскрытого в этом деле не изменило моего мнения. Более того, моя мать сама призналась мне, что была в ту ночь у него в доме.

В какой-то момент, в предрассветные часы 9 января 1936 года, Джон Гилберт начал умирать. От первого удара в грудь массивного коронарного кровотечения он вскрикнул, отчего мама проснулась. Она сразу же поняла, что происходит. По внутреннему телефону позвала слугу-филиппинца, приказав ему пройти через смежную ванную комнату и не будить других слуг.

Затем она позвонила одному из своих темных докторов, надежных по части молчаливости. Дыхание Гилберта было частым и поверхностным, лицо посерело и покрылось каплями пота. Она быстро оделась и принялась уничтожать признаки того, что когда-либо обитала у него в комнате. Несмотря на всю свою нескромность, она не была замешана ни в одном скандале. А сейчас он маячил у нее прямо перед носом! Шли тридцатые годы, кинозвезда с мировой славой, замужняя женщина, известная как образцовая мать — и вдруг в постели у любовника! Хотя бы и… мертвого. Всемогущая студия, обычно охотно покрывающая грешки своего «человеческого имущества», могла решить, что на сей раз стоит привести в действие пункт о «моральной устойчивости», содержащийся в каждом контракте, а это могло разрушить карьеру Дитрих. Она бросилась в ванную, собрала свои

вещи, вернулась в комнату с мокрым полотенцем в руках, отдала его убитому горем слуге и отправила его вниз впустить врача. Гилберт лежал, черты его лица заострились, глаза остекленели.

Она позвонила Нелли, велела ей немедленно приехать, оставить машину в конце улицы, где живет Гилберт, погасить фары и ждать. Если она сумеет ускользнуть до прибытия полиции и прессы, невзрачный автомобиль Нелли может остаться незамеченным. Ее собственный слишком известен, чтобы не привлечь внимания. Быстрый стук. Она подбежала и отперла дверь спальни. Спина Гилберта изогнулась крутой дугой в агонии. Врач сделал инъекцию сильного возбуждающего средства, но не в сердце, еще продолжавшее работать. Он не был ни достаточно искусен, ни экипирован для подобной критической ситуации. Свои вещи: одежду, туалетные принадлежности, сигареты, зажигалку, записную книжку, будильник, мой портрет — мама уже запихнула в одну из наволочек; она схватила ее и убежала. Нелли уже ждала. Мама прыгнула в машину, и они помчались в Беверли-Хиллз, где были в безопасности. Я слушала новости по радио. Сказали, что Джон Гилберт умер в одиночестве. Я удивилась. Я отправилась искать маму и нашла ее в спальне, в монашеском одеянии из черного бархата, занятую расстановкой везде, где только можно, ваз с дюжинами тубероз. Комната тонула в полумраке. Тяжелые шторы были задернуты и закреплены английскими булавками. Язычки пламени дрожали на низких свечах, помещенных в подсвечники из красного стекла; они стояли перед портретом Джона Гилберта, отбрасывая мягкий розоватый отсвет на его благородное лицо. Голосом, полным скорби и страдания, моя мать отослала меня из комнаты.

— Теперь я одна. Сначала Джо, теперь Джек!

Мне было велено не беспокоить ее, пока сама не позовет, и она заперла за мной дверь. Несколько дней она провела в уединении. Я до сих пор помню густой тяжелый аромат тех тубероз. Этот запах и музыка Рахманинова из материнского граммофона наполняли собой дом. Когда она наконец появилась, ее лицо было таким же белым, как мужской костюм, что был на ней. Мы уехали на студию и принялись за работу.

Впервые я видела свою мать скорбной вдовой. В последующие годы это происходило с ней так часто, что к тому моменту, когда умер ее настоящий муж, ее печальное вдовство стало производить впечатление deja vu. Спустя несколько месяцев, я попросила разрешения посетить могилу Джона Гилберта. Я не понимала, почему это так рассердило маму. Целую неделю мне было запрещено приходить на студию. Она не желала даже разговаривать со мной. Но мой любимый телохранитель понял

меня. Мы доехали с ним до самого Форест Лоуна, где хоронили всех звезд, и я положила несколько наших любимых гардений на могилу Джона Гилберта и попрощалась с ним от себя. Дома никто не успел заметить нашего отсутствия.

Моя мать с жаром отдалась «заботе об осиротевшем ребенке» и «поиску потерянного завещания», и вскоре полностью выздоровела. Моего отца она держала в курсе событий по телефону.

— Папи, последняя жена Гилберта, эта вымогательница Вирджиния Брюс, украла его последнее завещание!.. Да! Она это сделала! Она предъявила его завещание, написанное еще *до* сердечного приступа, где он все оставляет ей. Разумеется, он сделал новое завещание! Я говорила ему, что он не может оставить все этой ужасной женщине, что он должен отдать все своему ребенку! Но это завещание никак не могут найти. Поэтому я сказала: «*Я видела,* как он писал его», — и сейчас, конечно, все занялись поисками, и эта Брюс трясется от страха! Я устроила его слугу-филиппинца на работу в студии — ты понимаешь, кого я имею в виду — в художественном отделе. Он этого заслуживает. Он так предан и не *болтает.* К тому же я дала ему денег. Дочка Гилберта здесь. Мы хотим сводить ее в кино. Катэр ищет в газетах подходящий фильм. Папиляйн, ты знаешь, без Джо Купер настолько приятнее! Завтра я жду его на цыплят. Знаешь, что он хочет на десерт? Мороженое! Ты можешь себе представить? Взрослый мужчина! Только американцы едят, как дети! И теперь мне приходится каждый день посылать Бриджеса в магазин в Беверли-Уилшир за мороженым для ланча, который мы устраиваем в моей грим-уборной.

Мой отец, должно быть, сказал что-то смешное, потому что она понимающе хихикнула, потом ответила:

— Папиляйн, конечно, у него достаточно времени, чтобы… *съесть* это. Но ты знаешь, он ревнует к Любичу… Закажи для него у Кнайзе несколько плотных шелковых пижам, как у тебя… но в белых тонах, с темно-зеленым кантом. Его ноги такие длинные, он здесь не может найти ничего, что бы ему подходило. У Трэвиса свои размеры — я отошлю их в Вену. Кстати, о Вене, ты звонил Яраю? Получил ли он фотографии? Звонил ли ты Мутти? Получила она ящик с книгами? Я вложила деньги между страницами. Никогда не знаешь, в какой момент ей могут быстро понадобиться *настоящие* доллары! Вчера я выслала для Тами еще пилюль и тех инъекций — так что теперь ей на какое-то время хватит для поддержания себя в норме. Передаю трубку Ребенку…

Вдруг все стали думать о завещаниях, и моя мать решила, что ей нужно составить собственное. Она печатала на машинке, так

что я могла читать у нее через плечо. У нее было так мало реального имущества — оно уместилось на одной странице. Моему отцу она завещала свой автомобиль, Тами — весь свой гардероб, Нелли — меха, мне — драгоценности. «О Боже! Мне достанутся изумруды!» — выпалила я. Моя мать сердито обернулась, потом засмеялась и стала звонить «мальчикам»:

— Я пишу завещание! Конечно, я должна это сделать! Никогда не знаешь — до сих пор не нашли последнее завещание, которое Гилберт составил перед смертью, — то, что *я видела*. Так что я сейчас хочу быть уверена, что каждый знает, что получит. Конечно, все предназначается Марии. Ты знаешь, что она сказала? — «Боже правый! Мне отойдут все драгоценности!» Мыслимо ли? Ребенок! Она уже *знает,* как дорого они стоят!.. Вы получаете мои запонки, хорошие, от Картье. Нет, вы оба можете ими пользоваться. К ним есть элегантные запасные детальки. У Руди уже достаточно запонок».

Я слушала и испытывала стыд. Я не хотела показаться жадной! Я просто обрадовалась, что моих зеленых любимцев навсегда доверили моему попечению. На самом деле я никогда так и не унаследовала их — они тоже исчезли и еще задолго до окончательного финала.

Теперь, когда Джо больше не было с нами, все, казалось, искали расположения Дитрих. От их ежедневных цветочных даров в гримерной нечем было дышать. Мы были вынуждены выставлять самые большие корзины за дверь на веранду, откуда Мэй Уэст их «крала». Она называла это «стибрить», говоря, что Дитрих все равно не заметит.

— Дорогая, выгляни наружу. Мэй Уэст опять стащила цветы?

— Похоже на то… Мутти, но это же не настоящее воровство. Она просто думает, что, если ты выставляешь их за дверь, значит, они тебе не нужны.

— Пусть так, но они все же принадлежат мне. Отныне мы выносим из комнаты только некрасивые цветы!

Это превратилось для них в игру. Моя мать отказалась от ненавистных ей гладиолусов, дельфиниумов и роз, а Мэй забавлялась, украшая свою артистическую уборную цветочной добычей. Я никогда не говорила матери, что красные, с длинными стеблями розы были любимыми цветами нашей соседки. Это стало нашей с Мэй шутливой тайной. У них были и другие игры: однажды утром моя мать, полускрытая за дверью, наблюдала за улицей. До этого Трэвис сказал ей о новом домашнем туалете, изысканной феерии из серебряной парчи и кружев, с оторочкой из черно-бурой лисы, — который должен был быть доставлен в грим-уборную Уэст. Костюмерша как раз

заворачивала за угол, когда моя мать увидала ее. Она быстро побежала по тротуару, преградила путь испуганной девушке и выхватила из ее рук тяжелую сумку со словами:

— Мисс Уэст просила меня получить это для нее. Она еще не приехала! — и забежала обратно в нашу гримерную, крикнув мне:

— Живо! Стой снаружи и смотри! Скажи мне, как только Мэй Уэст подъедет!

— Мутти, — торопливо прошептала я через задрапированную дверь, — ее машина уже тормозит.

Дитрих, само великолепие, в ниспадающей парче и лисьем меху, предстала перед Мэй Уэст, которая визгливо закричала: «Это моё! Это моё новое платье для приема!»

— О, нет, мой ангел! Этого не может быть! Трэвис сшил это специально для меня! Тебе нравится? Не слишком вульгарно? — Она медленно поворачивалась перед разгневанной маленькой женщиной.

— Теперь уж бери его! Ты хочешь сказать, что Трэвис Бентон посмел скопировать для тебя один из моих фасонов? — Внезапно проницательные глаза Мэй заметили, что моя мать прихватила всю лишнюю материю на своей не очень-то пышной груди, и ее голос перешел в свой знаменитый бархатный регистр.

— Н-да-а-а-а, дорогая, это абсолютно потрясающе сидит на твоей хорошенькой фигурке. Давай-ка зайдем и малость потолкуем о коварстве Трэвиса!

В ритме великолепной синкопы они повернулись, качнули своими симпатичными задами и скрылись в грим-уборной Мэй, плотно закрыв за собой дверь. На тротуаре аплодировали благодарные поклонники. Мать часто в этот период исчезала в грим-уборной Мэй Уэст. Иногда их проказы разделяли Джордж Рафт или Купер, но по большей части дамы развлекались в обществе друг друга. У меня была масса времени, чтобы набить живот в буфете и выяснить, кто в тот момент находится в студии.

Фред Мак-Мюррей всегда был на месте. Казалось, он присутствовал в любом фильме, который «Парамаунт» выпускал в тот год. Снимались Гарольд Ллойд, У. К. Филдз, Ломбард, Маргарет Салливен, брюнетка Беннетт, Бернс и Аллен с их радиославой, Засу Питтс и смешная женщина по имени Этель Мерман, которая приехала, оставив сцену в Нью-Йорке. Она отказалась дать разрешение студии на перемену своего имени и постоянно ворчала, что выглядит уродкой на экране и ненавидит Голливуд. Я наблюдала за ее работой и считала, что она отличная актриса. Просто она еще не освоилась, и у нее не было своего фон Штернберга, который защитил бы ее. Мне многие нравились — как правило, те, кого не любила моя мать. Я была поклонницей

Лоретты Янг, особенно, когда она была «лирически благочестивой». «Крестовые походы» Де Милля я смотрела четыре раза. По каким-то неизвестным причинам она была предметом всегдашней ненависти Дитрих. На протяжении почти шестидесяти лет невозможно было приехать в Беверли-Хиллз без того, чтобы не ощутить влияния особого яда, исходившего от Дитрих в отношении этой леди:

— Видишь ту большую уродливую церковь, там в углу? Ее построила Лоретта Янг. Всякий раз, как она «грешит», она строит церковь. Вот почему в Голливуде так много католических церквей!

Меня это не волновало. Я получила от нее прелестный портрет с автографом, но не сказала об этом матери. Возведение церквей — прекрасное занятие, думала я, и не важно, что к этому побуждает.

Съемки «Желания» проходили так легко, и меня вызывали на студию так редко, что я благополучно прошла всю Древнюю Грецию. Время от времени я бросала изучать олимпийских богов — чтоб побыть среди богов реальных. В день, когда моя мать снималась в «сцене за рулем», я была на площадке и видела всю потеху. Никто и не подозревал, что она не умеет водить машину. С безмятежной прохладцей она села за руль блестящего маленького «родстера», который стоял без колес. Его подняли домкратом перед экраном проекционного аппарата. Движущаяся дорога позади нее, члены команды, раскачивающие машину перед камерой, ветродуй, заставляющий трепетать шифоновый лоскут на ее остроконечной шляпе, — все должно было создать на экране требуемый эффект: Дитрих бодро мчится на автомобиле по проселочным дорогам Испании. Изображение пошло раскручиваться за ее спиной, подул ветер, «родстер» подпрыгивал, дорога свернула налево — Дитрих крутанула руль направо! Дорога резко пошла вправо, а она свернула… налево! Она вертела руль, как будто управляла шхуной, плывущей вокруг мыса Горн во время тайфуна. Борзаге закричал: «СТОП!»; дорога остановила свой бег, ветер замер, рабочие выпрямились, давая отдых спинам.

Борзаге подошел к актрисе.

— Мисс Дитрих, кажется, у нас проблема с синхронизацией ваших движений и проектора. Поворачивать необходимо в том же направлении, что и изображение позади вас. Кроме того, нужно снижать скорость в определенные моменты и переключать передачи. Могли бы вы слегка повернуть голову, чтобы выглядеть не такой напряженной?.

— Вы шутите! Если я шевельну головой, ветер сдует мою

шляпу… и лампа, вон там, у микрофона, бросит тень на мое левое плечо! — Ни на миг не отрывая глаз от своего зеркала, стоявшего рядом с камерой, она увидела, что один локон слегка отклонился от заданной линии. «Нелли!».

Нелли вбежала в кадр, протягивая черную расческу. Борзаге отступил назад, в спасительную тень. Все утро, как в примитивной шаблонной комедии, Дитрих и дорога, по которой она ехала, не могли совпасть друг с другом. Мы сделали перерыв на обед. Кто-то увидел, что Борзаге двинулся в сторону конторы Любича. Мама схватила меня за руку и прошептала:

— Дорогая, приведи Хэнка! Скажи ему, чтобы он пришел в гримуборную!

Я побежала. Хэнк был одним из ее любимых рабочих, но он был занят на фильме Кросби, а не на нашем. Вернулась я вместе с ним.

— Хэнк, у меня только час времени, чтобы научиться водить машину. У тебя есть какая-нибудь не в студии?

— Конечно, мисс Дитрих. Стоит за углом, на Мелроуз. Но почему вы не возьмете свою машину? Она стоит прямо на улице!

— Чтобы все видели? Пошли… Мы уходим. — И мы поспешили сесть в наш черный катафалк и выехать за ворота «Парамаунта», где упитанный мужчина в комбинезоне учил Дитрих маневрировать, а я следила за временем.

Когда мы вернулись на съемочную площадку, мама уже свободно управлялась с рулем. Борзаге не задавал вопросов, он совершенно успокоился. С Хэнка взяли клятву хранить молчание, вручили чек на внушительную сумму, одарили долгим поцелуем и отправили обратно к Кросби в состоянии блаженного дурмана. В этот вечер моя мать, с шарфом вокруг головы, уселась на переднее сиденье рядом с Бриджесом и наблюдала по дороге домой, как он ведет машину. В постели, прежде чем заснуть, она сказала:

— Как можно желать зарабатывать на жизнь владением автомобиля? Но, знаешь, что интересно, — что такое опасное дело может быть таким скучным!

В последний день съемок «Желания» моя мать широким шагом направилась в контору Трэвиса и, как вкопанная, остановилась перед его столом с протянутой рукой. Он тоже видел ежедневную гонку и был готов к ответу. Вынув из элегантного бумажника хрустящую банкноту в сто долларов, он положил ее на мамину ладонь. Она засмеялась, сжимая бумажку в кулаке. Дитрих любила получать деньги, честно выигрывая пари. «Желание» было первым фильмом моей матери, который доставил мне удовольствие как зрительнице. Это было смешное,

действительно остроумное кино, а не зрелище, заставлявшее вас трепетать от восхищения. На мой взгляд, Дитрих довольно легко преодолела переход от «искусства» — к «развлечению» Прошло еще четыре года, прежде чем она проделала это еще раз.

«Парамаунт», рассчитывая на успех Дитрих в «Желании», предоставил ей недельный отпуск, а затем поторопился занять ее в следующем фильме.

— Ты слышала название? Никто не станет покупать билеты на Дитрих, снявшуюся в чем-то, под названием «Отель «Империал»» в роли очередной крестьянки! Сколько «причесок с косами» мы можем придумать?

Мы находились в грим-уборной, ночью, и спокойно работали с Нелли. Мать потягивала крепкий кофе.

— Я думала, что после «Желания» дела наконец пойдут лучше. Ну почему, почему я должна работать со старым сценарием Полы Негри? Эдингтон говорит, что только Любич может делать мои фильмы. Это предусмотрено моим контрактом.

Нелли не дала ей договорить.

— По последним слухам, он покидает «Парамаунт».

— Прекрасно! Тогда я не обязана делать эту дурацкую картину!

Впервые за эти дни она казалась счастливой.

— А ведь неплохая идея у этого Генри Хатауэя. Поначалу, когда сценарий назывался еще хуже — «Я любила солдата», — он мне о нем рассказывал. Неплохо придумано — дать ей перед камерой измениться под влиянием любви. Это не спасет фильм, но мысль хорошая. Показать трансформацию легко. Сначала не используем накладные ресницы, только подкрашиваем мои светло-коричневой тушью, делаем тонкий рот, запудривая снизу. Не подчеркиваем линию носа, при этом затеняем крылья. Ставим основной свет пониже — получится детское лицо. Кроме того, никаких белых линий во внутреннем углу глаз — так они сильно округлятся. Потом мы постепенно добавляем… сначала рот полнее, потом нос тоньше, потом, очень постепенно, придаем таинственность глазам, передвигаем основной свет выше с каждым кадром — пока не получаем Дитрих. Все это *просто.* Считают, что это *грандиозная идея*, но одна идея не спасет сценарий.

Она была права. К счастью, Любич и впрямь ушел с «Парамаунта», а Дитрих, воспользовавшись своим правом по контракту, ушла из фильма. Впрочем, мне бы хотелось увидеть, как она проделывает задуманное превращение.

От разгневанных администраторов «Парамаунта» и настойчивых звонков Луэллы Парсонс мы убежали в маленькую

горную деревушку с бревенчатыми домиками, мужчинами в клетчатых фланелевых рубашках, похожими на Уарда Бонда, с женщинами в хлопчатобумажных платьях, типа Марджори Мейн, и с высокими темными соснами вокруг студеного озера. Мне нравилось в Лейк-Эрроу-Хед. Моя мать считала эти места сверхтипичным образцом «сельской Америки». Когда Бриджес первый раз отвез нас в местный магазин, она только бросила взгляд на бочонок с крекерами возле пузатой плиты и спросила: «Какой фильм вы сегодня снимаете? В нем играет Рин-Тин-Тин?»

Пока моя мать заказывала у Буллока толстые свитера с «немедленной» доставкой и варила галлонами чечевичный суп, которым я согревалась, я собирала симметричные сосновые шишки, кормила лоснящихся белок и лежала на острых сосновых иголках, глядя в небеса, будто срисованные с открытки. Если я лежала долгое время очень тихо, то на ветви сосен надо мной садились передохнуть голубые сойки и хохлатые кардиналы. Иногда форель волновала спокойную поверхность озера, тогда, взрываясь цветом, птицы вспархивали и перелетали, чтобы украсить собой уже другое дерево.

За это время наш адрес поменялся. Я так никогда и не узнала, почему нас переместили из «фантазийного» в «оштукатуренное». Снова моя мать, должно быть, не видела дома до переезда, потому что, когда мы остановились перед крашеной дверью с молоточком в виде подковы, она опустила стеклянную перегородку, отделявшую нас от шофера, и спросила:

— Это он? Новый дом, который нам нашли? Вы уверены, что у вас правильный адрес?

Внутри все было «нарочитая мрачность». Мебельная обивка из полубархата цвета горохового супа, красное дерево, коврики с цветным узором. Задний двор был точно двором. Если там когда-нибудь и была лужайка, что сомнительно, то от нее ничего не осталось, кроме торчащих кое-где кустиков выцветшей травы. Несколько азалий живописно увядали у облезлого забора. Единственным признаком того, что это все-таки Беверли-Хиллз, был теннисный корт у кучи компоста. Мы не долго прожили в этом доме и никогда не сожалели, что покинули его. Он запомнился лишь двумя вещами — моей первой вечеринкой и съемками нашего первого цветного фильма — «Сад Аллаха».

Неожиданно приехал мой отец; он подолгу беседовал с Эдингтоном, одобрил новый контракт с Дэвидом Селзником, присутствовал при подписании матерью договора на первую — в качестве звезды — съемку вне «родной студии»; он разобрался с ее налогами, уговорил принять выгодное предложение Александра Корды делать фильм в Англии; просмотрел мои

школьные учебники, пополнил запасы винного погреба, открыл потрясающий источник мороженого для Купера, счел, что мясник запрашивает слишком много за наше недельное обеспечение костями для супа, — и уехал.

Тами с ним не приезжала. Ей был предоставлен роскошный «курс лечения и отдыха» на первоклассном водном курорте. Моя мать сказала, что послать ее туда — дорогое удовольствие, но оно стоит того… если в результате Тами научится наконец контролировать себя. Это было начало множества подобных «курсов», которые Тами заставят проходить в последующие десять лет. Со временем вежливые формулировки были отброшены, а им на смену пришли слова «лечение» или «оздоровление». В конце концов и их заменили на более подходящее выражение — «психиатрическая больница».

Разрушение человека требует много времени. Чтоб повредить разум так, чтобы его нельзя было вылечить, нужны целенаправленные усилия. Люди, которых я называла «родителями», действовали наверняка и без спешки.

Было странно въезжать в «Монтичелло» Селзника, а не в старые парамаунтовские ворота. Когда мы выехали с нашей новой студии после первого разговора с художником по костюмам, Дитрих клокотала. Плотно сжав губы, она дождалась, пока мы оказались в машине, и приказала:

— Бриджес! Поезжай в «Парамаунт»!

Больше ни слова не было сказано до момента, когда она ворвалась в костюмерную.

— Трэвис! Скажи секретарше, чтоб никого не впускала и заперла дверь. У нас неприятность!

Она зажгла сигарету и зашагала по комнате. Я села в сторонке.

— Послушай! Этот так называемый «художник», которого Селзник нанял для фильма, — полный идиот! Я пыталась получить один из эскизов, чтоб взять с собой и показать тебе, но он хитер. Сказал, что «они должны оставаться на студии — это приказ босса!» Вот так он разговаривает, грубиян. Нам придется делать костюмы здесь и потом тайно переправлять Селзнику. Мы скажем, что это мои собственные платья, и так как они подходят по цвету, я намерена носить их в картине…

Трэвис попытался остановить ее: «Марлен, мы не можем…»

— Не говори мне, что ты вдруг решил действовать по правилам! Никто не узнает, что мы делаем. Ты будешь шить для меня платья, как всегда. Никто не подумает, что они для другой студии… Я скажу этому идиоту и Селзнику, что *у меня* есть

прекрасные костюмы для фильма. Они настолько тупы, они в это поверят. В общем… мы должны заказать эту цветную пленку, о которой все говорят, и отследить, что они делают не так.

Когда моя мать экранизировала «Бекки Шарп», она была настолько поглощена работой с новой трехцветной пленкой «Техниколор», что не заметила, как Мириам Хопкинс — один из трех ее любимых объектов ненависти — оказалась там в главной роли.

— Все так взбудоражены — в кино вдруг появился цвет! Поэтому, конечно, его всюду слишком много! — заметила Дитрих.

Истинный художник, сидящий в Трэвисе Бентоне, загорелся и отбросил сомнения.

— Марлен, действие твоего фильма происходит в пустыне Сахаре. Возьми легкую ткань того же цвета, что и песок! Если они смогут воспроизвести пастельные тона, это будет впервые в мировом кинематографе!

Торжествуя, она повернулась ко мне: «Видишь! Теперь ты понимаешь, почему я бросилась сюда к нему! Вот как мыслит настоящий художник! Они напустят в штаны, когда услышат, что я собираюсь одеться в бежевое! Они скажут, что это невозможно сделать, — потому что они не знают, как это снять. Но ты знаешь, кто это сделает — ДЖО! Он сумеет!»

Каким-то образом моя мать разузнала, где фон Штернберг, позвонила ему и рассказала, что ей нужно. Мы снова вернулись в «Парамаунт».

— Трэвис, послушай! Джо говорит: «Чтобы снять цвет, нужна третья камера, которая снимала бы в черно-белых тонах. Ставя освещение для цветной съемки, сначала надо увидеть цвет как светотень. До тех пор, пока не будут изобретены новые камеры и не усовершенствуется техника, — говорит он, — вся фотография по-прежнему будет базироваться на соотношении светлого и темного». Ну, разве он не великолепен? По телефону! За много миль! Он знает, а они все всё еще учатся! Я собираюсь сказать Эдингтону, чтобы он передал Селзнику, что я настаиваю на присутствии еще одного оператора — с черно-белой камерой. Селзник уже смотрит на меня коровьими глазами.

«Сад Аллаха» был обречен с самого начала. Нелепый сюжет, польский режиссер, учившийся в России у Станиславского и поверивший, что он Распутин, переодетый Строхеймом, плохие европейские актеры. Вавилонская башня, где у каждого свой акцент, густой, как старый сыр. Джозеф Шилдкраут, мастер переигрывания, убежденный, что подтверждает свое знаменитое театральное имя; ему вручили феску с кисточкой и разрешили

пользоваться своим трагическим актерским арсеналом, как ему вздумается. Наблюдать за тем, как Шилдкраут, с цветком за ухом, «очаровывает» публику, изображая какого-то изнеженного марокканского Фейгина, — испытание, какого не пожелаешь. Бэзил Ратбоун, с тюрбаном на голове, весьма длинноносое воплощение Британской империи, застывший верхом на диком арабском жеребце, и Дитрих, тщательно причесанная, похожая на манекен из берлинского универмага, выглядят не лучше. С другой стороны, Шарль Буайе, мрачный, нарушающий обет безбрачия монах-расстрига, играющий так, как если бы он изображал французского метрдотеля, с завитым хохолком, как у какой-нибудь подружки гангстера, — может быть, и стоило заплатить за билет, чтоб только увидеть, как такое возможно! Если «Сад Аллаха» смотреть как нечто гротескное и аффектированное, он может очень позабавить. Все участники фильма были ужасно серьезны, за исключением моей матери, которая то сердилась, то насмешничала. Последнее часто помогало ей выдерживать съемки заведомо провальных фильмов. Она делала ужасную картину, которую ничто не могло спасти, и знала об этом. Ей предстояло сняться еще во множестве посредственных фильмов, и единственное, чем она компенсировала неудачи, была подчеркнуто оригинальная внешность ее героини — то, что актриса была в состоянии контролировать. Она пробовала всё и вся: бурнусы из серебряной парчи, тяжелый мерцающий атлас, пелерины и тюрбаны; результатом же становился какой-то выпадающий из контекста, невнятный, закутанный в дизайнерские изыски образ. Подпольные встречи с Трэвисом были слишком затруднительны, чтобы в полной мере обеспечить успех. Чтобы сохранить свою тайну, она была вынуждена соглашаться с некоторыми моделями, разработанными Драйденом. Если вы когда-нибудь будете смотреть «Сад Аллаха», обратите внимание на брюки для верховой езды, в которых снималась Дитрих. Вы и впрямь не пропустите их. Это, вероятно, самый уродливый костюм в картине, выразительный пример явной бездарности художника. Его длинная до полу атласная модель не лучше. Еще обратите внимание на то, как под ветром пустыни очень бледная шелковая ткань облепляет тело Дитрих, превращая ее в «Крылатую Победу» посреди песчаных дюн. Гений Бентона и Дитрих вы сразу различите. Вместе они были неповторимы.

Я тоже была среди этой красоты. По каким-то причинам моя мать позволила мне сниматься в группе девочек, заполнявших задний план сцены в монастыре. Все, что я помню, — это тяжесть искусственной косы, которую Нелли вплела мне в волосы,

заносчивость юных профессиональных актеров, «монастырские» штаны, причинявшие зуд, и семьдесят пять долларов, уплаченных мне за съемочный день. Я потратила их все на огромную склянку духов для мамы, которые она благополучно отдала служанке.

В те часы, когда я не наблюдала, как на нашей новой студии все валяли дурака, я задыхалась и потела. Моему новому тренеру по теннису были даны строгие указания заставить меня похудеть, а не то!.. Он все время посылал мячи в противоположные углы площадки, заставляя меня бегать за ними с максимально возможной для моих пухлых ног скоростью. В возрасте «почти» двенадцати лет я взрослела весьма энергично! Я так часто слышала, как моя мать называла «толстых» людей «уродливыми», что не сомневалась: она стыдится того, как я выгляжу. Поэтому я бегала усердно, как только могла, взвешивалась, по крайней мере, десять раз на дню, — ни разу не сбавив ни унции, — и так страдала от своих неудач и безнадежности, что мне просто необходимо было сделать себе бутерброд с арахисовым маслом и желе!

— Ты идешь на праздник для «детей», — объявила моя мать. Бриджес доставит тебя туда в семь часов и заберет в десять.

Детей? Каких еще детей? Я не знаю никаких детей! Что им надо? Что там делают? Я была в панике и побежала выяснять у Нелли, чем занимаются дети на «детских» праздниках.

— Как тебе сказать, дорогая… ну, вы будете прицеплять хвост ослику.

— Как это?

Здесь Нелли не была в своей стихии. У нее не было детей, но она постаралась мне объяснить:

— Значит, так… вешают на стену большую картинку с симпатичным осликом… потом каждому дают хвост с булавкой. Потом завязывают тебе глаза, поворачивают кругом пару раз, чтобы ты почувствовала приятное головокружение, потом направляют тебя в сторону ослика, и ты должна постараться прицепить хвост в нужном месте.

Я слушала, уставившись на нее.

— Зачем?

Это ее немножко обескуражило.

— Чтобы ты выиграла хороший приз! О, на детских праздниках бывает много всяких замечательных затей. Например… м-м-м… музыкальные стулья. Там наверняка будут играть в музыкальные стулья!

— Научи меня, пожалуйста!

— О, дорогая! Это просто… Нужно всего лишь бегать вокруг стульев, пока играет музыка. А как только она остановится, ты

должна быстро сесть! Не то вылетишь!

— Нелли, ты уверена? Только бегать и садиться? А что делать с хвостом?

— О, нет, нет! «Ослик» ничего общего не имеет с «музыкальными стульями»… и бегать на самом деле не надо — только скакать. Это весело! Правда!

Я настолько не сомневалась, что Нелли все перепутала, что отправилась за разъяснениями к Трэвису.

— Здорово! Твоя первая вечеринка! Что ты намерена надеть? Может быть, мама хочет, чтобы я сделал тебе симпатичное платьице для этого случая? Я ей позвоню. Тебе понравится «урони платок». Только смотри не попадайся! А то будешь ВОДИТЬ!

Я привыкла к требующим напряжения профессиональным спорам, ну, немного волновалась из-за опасности быть похищенной — но то, что я теперь слышала, звучало для меня так, как если бы речь шла о детских Олимпийских играх!

Великий день настал. Мама вымыла мне голову своим шампунем. Нелли уложила волосы волнами и закрепила на макушке большой бант в форме бабочки. Ровно в семь меня подвезли к небольшому дому — не знаю, в какой части Голливуда. Моя учительница впихнула меня в ярко освещенный сад и исчезла — поболтать на кухне. Среди гостей не было ни одного взрослого, и все они, похоже, знали друг друга. Они сбивались в тесные группки, смеялись и болтали. Их речь звучала так по-американски, я не сомневалась, что мой акцент будет выделяться. Я отступила в тень веранды.

— Ты приглашена? — прозвучал откуда-то неуверенный голос. Я повернулась в его сторону и ответила:

— Не знаю. Просто моя мать сказала, что я иду.

— А кто твоя мать? — заинтересовался голос.

— Мисс Марлен Дитрих.

— Вот это да! Она потрясающая! Настоящая знаменитость! Тебе нравится быть дочерью знаменитой кинозвезды?

Я растерялась. Никто никогда не спрашивал меня об этом. Я чуть не сказала «нет», не понимая, отчего захотела сказать именно так. Это удивило меня. А голос продолжал скользить где-то в тени старомодной веранды:

— Тебе ведь не нравится быть толстой? И тебе не нравится твое дурацкое платье?

— Да! Еще как! Но как ты узнала об этом? И где ты?

Раздался довольный смех, на веранде скрипнули качели.

— Я тут. Давай садись сюда. Как тебя зовут?

— Мое настоящее имя — Мария. Но так меня никогда не зовут, только если рассердятся. По большей части я — «Радость

моя».

— Ничего себе! Кто ж тебя так зовет?

— Моя мать.

— Тебе это нравится?

— Не знаю. Моя мать многих называет «радость моя». На самом деле это ничего не значит. Иногда она зовет меня Ангелом, а иногда я — Ребенок. Она зовет, как захочет.

На веранде было приятно, прохладно. Дети вовсю веселились в саду.

— Кто тебя привез? Отец?

— О нет. Наш шофер, моя учительница и телохранитель.

— Зачем тебе телохранитель?

— Однажды меня пригрозили выкрасть. Представляешь? Как ребенка Линдбергов! Мы получали записки насчет выкупа, и к нам приходили фебеэровцы с револьверами! Но никто так и не пришел за мной. Моя мать считает, что это еще может произойти, но она боится только в Америке.

— Ты все выдумываешь! Не вижу никакого телохранителя!

— Нет! Не выдумываю! Это правда! Он прячется за деревьями. Он всегда так делает.

Мы сидели бок о бок, свесив ноги, и медленно раскачивались взад-вперед под скрип качелей.

— Это мой праздник. — Голос утратил свою светскую живость.

— Да-а? Что же ты сидишь тут совсем одна? Тебе не нравится свой собственный праздник?

— Я устала. Я сегодня работала. Я снимаюсь в *кино*.

— Да-а? Как здорово! На какой студии?

— «МГМ».

— А я с «Парамаунта» Но ваша мне больше всех нравится. Там самые лучшие картины. А что ты делаешь?

— Я пою. Еще играю роль и бью чечетку. Меня «готовят в звезды»!

Я повернулась и внимательно посмотрела на нее. Эта девочка совсем не была приторно сладкой «конфеткой Ширли Темпл». Большие карие глаза на маленьком бледном личике. Передние зубы выступают, и верхняя губа мило приподнята. Она казалась… прелестной, ранимой и очень, очень земной.

— Тебе нравится, что тебя «готовят»?

— Нет! Это отвратительно! Меня утягивают, измеряют, взвешивают и не дают мне есть. Все суетятся, пристают: ДЕЛАЙ ЭТО, ДЕЛАЙ ТО, ДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНО, ДЕЛАЙ СНОВА, БУДЬ УМНИЦЕЙ, ИНАЧЕ ТЕБЯ УВОЛЯТ. Когда я пою, это прекращается. Меня оставляют в покое. Тогда здорово! Но я боюсь — вдруг босс

решит, что я не гожусь в звезды.

— Ты будешь звездой! Я уверена! Настоящей большой звездой, совсем как моя мама. Даже больше, потому что она совсем не умеет по-настоящему петь. Ты даже можешь бить чечетку! Тебя освещали основным светом?

— Пробовали, но он меня полнит.

— Просто его ставят слишком низко. Тебе надо самой проследить. Когда ты поешь, не давай им освещать себя очень близко, как для крупного плана, иначе выражение лица неизбежно будет слишком напряженным, тебе будет неловко, и это проявится на экране.

До нас донесся запах готовящихся франкфуртеров.

— Так хочется сосиску! Но мне нельзя, — со вздохом произнес голос.

— Послушай. Что твоя мама скажет, если я попрошу две?

— Ты «важный гость» Она даст тебе все, что захочешь.

— Тогда порядок. С чем тебе сосиску?

— А ты сама как любишь? — в голосе звучало радостное волнение.

— Тебе понравится. Сначала я кладу горчицу, потом кетчуп, сверху лук с приправой, а в конце снова горчицу. Пойдет?

— Отлично! А еще кока-колы, побольше картофельных чипсов и не забудь капустного салата! И посмотри, чтобы никто не следил за тобой.

Я нашла картонную коробку возле костровища для шашлыков, набрала всего, что смогла ухватить, даже кукурузные початки, пропитанные маслом, старательно сделала крюк мимо гаража, чтобы «отсечь хвост», если он вдруг появится, и, с полными руками и никем не замеченная, вернулась к качелям. Мы пировали. Мы хихикали. Мы поделились друг с другом секретами. Мы стали нужны друг другу, мы стали друзьями. Мы почти не виделись порой годами, но когда встречались, то тут же вновь становились маленькими толстушками, сидящими на качелях в глубине веранды.

— Ну и как? Тебе понравилась вечеринка у Джуди Гарленд? — спросила мама, как только я появилась в дверях. Я тщательно подбирала слова. Это ведь не новая собака — это моя первая близкая подруга. Я хотела ее сохранить. Я сказала то, что мама наверняка ожидала услышать:

— Да, было очень славно. Спасибо, что позволила пойти, Мутти. Но наши вечеринки мне нравятся больше. Они куда интереснее.

Маме было очень приятно. Она даже заметила, что когда-нибудь мне разрешат пойти и на другую «вечеринку специально

для детей». Я долго не спала в ту ночь. Много о чем надо было подумать. И еще меня занимало, говорить ли Нелли, что ослиные хвосты устарели, а в моде теперь нечто непонятное под названием «крутить бутылочку».

ПРИКЛЮЧЕНИЕ! Настоящее приключение! Мы собираемся «на натуру» Теперь нас повезут на пароходе в Африку. Раньше мы ездили в ту «Сахару», которая была в штате Аризона. Звезды размещались в Юма, в отеле с кондиционером, остальная труппа — в палаточном городке, который вырастал среди песчаных дюн пустыни Аризоны… за несколько миль от города. Моя мать готовилась к отъезду так, как будто нам не суждено вернуться. С рвением фельдмаршала она готовила свои войска к битве. Гримуборная стала нашим штабом, студия «Парамаунт» — базовым складом. От Буллока доставили глубокие сундуки, которые мы набили, по принципу «авось пригодится», косметикой и всем, что требуется для ухода за волосами, в таком количестве, что этого хватило бы на пятьдесят вариантов «Войны и мира».

Моя мать была настолько убеждена, что дикие индейцы Аризоны не подозревают о существовании туалетной бумаги, что накупила ее шесть ящиков, пометив на картонках: «Сад Аллаха — Марлен Дитрих — ванная, личные вещи».

Переезд в заштатный городок Юма был очень долгим. Пока мать занималась стерилизацией санузлов и переоборудованием нашего гостиничного номера, меня послали вперед, в пустыню, присмотреть за «Сундуками из гардеробной — № 1, 2, 3 и 4».

Горячий ветер трепал брезент. Насколько мог видеть глаз, среди песчаных дюн тянулись палатки — картинка, словно взятая из Киплинга. Если бы не нагромождение деревянных настилов, сундуков, генераторов, рефлекторов, дуговых ламп, длинноногих микрофонов, вкривь и вкось расставленных в мелком песке, я не удивилась бы, если бы здесь появился Гунга Дин. Съемки на натуре всегда чем-то напоминают военные маневры. Местность привнесла в это дополнительный драматизм.

Нелли, украденная с «Парамаунта» благодаря хитроумной тактике, о которой я так и не узнала, приехала с расческой наперевес, и мы отправились на работу. Моя мать была так занята предводительством актерами в их каждодневном бунте против сценарных диалогов, что в ответ на мою просьбу мне было даровано разрешение уехать из гостиницы и жить вместе со съемочной группой. Кроме того, похоже, она увлеклась неким джентльменом, присланным к нам со студии. Его официальный статус был довольно расплывчат, зато он был строен и нес на себе

едва ощутимый отпечаток Новой Англии. Я знала, что это ей понравится. Если бы его присутствие дало мне возможность оставаться в пустыне и не возвращаться в гостиницу, я была бы на его стороне на все сто процентов — кто бы он ни был.

Нас будили не сигнальные горны, а двигатели грузовиков. Когда я слышала их мощные моторы, откашливающие ночную порцию песка, я знала, что мой час настал! Выходит Предрассветный Патруль! В своих любимых ковбойских сапогах, достав спрятанную когда-то палку от змей, я докладывала Змею и Скорпиону, что заступаю в Наряд. Нашей обязанностью было охранять те дюны, которые предназначались для съемок в данный день. Мы должны были очищать территорию от всего, что бегает, ползает или катится. Но те, что по-настоящему были опасны и ходили, вертикально выпрямившись, не включались в данное нам предписание. Закутанные от холода ночной пустыни, с руками, защищенными жесткими кожаными перчатками, с электрическими фонариками, пятна света от которых выплясывали польку, мы рыскали по пескам в поисках тех беззащитных существ, которые, не будучи способны поддерживать нужную температуру тела, лежали вялые от холода в ожидании, когда солнце согреет и вернет их к жизни. Мы не убивали нашу добычу, мы держали ее в клетках, и к тому моменту, как нас отозвали со службы, у нас собрался довольно славный маленький зоопарк.

После нас приходили плотники со своими платформами и настилами, на которые ставились камеры, микрофонные журавли, генераторы, грим-уборные для звезд, переносные туалеты, палатки, и бесценные режиссерские кресла. Поскольку «Сад Аллаха» был одной из первых картин, снимавшихся на натуре в цвете, мы зависели от естественного освещения. Он диктовал съемочные часы. Чтобы ухватить полупрозрачный, как розовая раковина, рассвет в пустыне или кроваво-оранжевое золото закатов, мы работали, когда это было нужно, и использовали каждую минуту. В любой момент, когда появлялся нужный свет, каждый должен был немедленно быть готовым и занять свое место. Но природа знала, как оставить нас с носом. К тому же она не обращала внимания на нормы трудового соглашения. Влияла на нашу жизнь и сильная жара. Пятьдесят градусов в тени делали работу с одиннадцати до трех невозможной. Даже если режиссер хотел этого — пленка расплавилась бы! Понимание многих вещей давалось нам тяжело. В обычных условиях было принято место съемок следующего рабочего дня выбирать в конце дня предыдущего: «Видишь ту песчаную дюну, вон там, большую, слева. Завтра установим аппаратуру».

На следующий день, на рассвете, люди и оборудование были готовы отправиться в путь, но… куда? Где намеченная дюна? Пустыня знала, как передвигать свои горы прямо у вас под носом. Мы играли в прятки с песчаными дюнами в течение восьми недель. Помощник помощника ассистента режиссера получил новый титул — Наблюдающий за дюнами. Это был такой добросовестный молодой человек, что, когда все шли есть, он не покидал своего поста, продолжая следить за пустыней, пока кто-нибудь из нас не приходил и не сменял его. Довольно глупо было сидеть вот так и караулить передвижение песчаной дюны. Но после того, как я проделала это несколько раз, мне даже понравилось; это было весьма успокаивающее занятие, что-то вроде медитации дзэн. А песчаные бури! В течение двух недель, каждый день ровно в два пополудни, они нападали на нас. Они рвались сквозь наш брезентовый городок, полные решимости его разрушить. Вой этих ветров звучал так злобно! Внезапно они замолкали — и умирали! Полнейшая тишина, совершенно жуткая, как после землетрясения. Затем начиналось высмаркивание носов, кашляние, сплевывание, посылание проклятий всего и вся, звяканье лопат — вся съемочная группа приступала к ежедневному откапыванию себя. А затем… рты раскрывались от изумления! Ведь всякий раз это происходило неожиданно! И всякий раз потрясало. Вы смотрите… а мир уже переменился! Пустыня переместилась к новому горизонту.

Поначалу воду нам привозили раз в день, потом — два, и наконец — три раза в день. Хотя мы развернули здесь полностью оборудованную лабораторию, пленка оказалась слишком чувствительной, чтоб ее можно было проявлять в этих условиях, поэтому для проявления приходилось отвозить ее обратно в Голливуд. Лазарет был постоянно перегружен. Мы страдали от тепловых ударов, солнечных ожогов, поносов, глазных инфекций, натертостей на плечах. Непонятно почему, но верблюды терпеть не могли арабских лошадей. Чтобы показать свою ненависть, они начинали плевать в них, как только те приближались. В отместку эти нервные аристократы вставали на дыбы, стремясь разрубить кораблей пустыни пополам своими острыми, как бритва, копытами. Служителям, обычно оказывавшимся в центре этих яростных стычек, в результате приходилось промывать глаза и накладывать швы на плечи. Ковбои, очень походившие на Валентино в своих арабских одеждах, могли бы управиться с этими обезумевшими лошадьми, но посаженные в седла актеры начинали дрожать, как только на сцену выводили верблюда. Все постоянно занимались поисками какого-нибудь незанятого кусочка рукотворной тени и обливались потом. Моя мать, сухая,

как ломтик поджаренного хлеба, беспокоилась за свою слишком уж безупречную прическу и отдавалась борьбе с Селзником за право переписать диалоги по-своему. Если учесть, что одна из фраз ее роли, повторяющаяся в сценарии двенадцать раз, звучала так: «Только Господь и я знаем, что у меня в душе», — то очевидно, что в этом был смысл. Она просто неверно действовала. С другой стороны, Дитрих никогда не верила в пользу меда для приманивания мух. Уксус она применяла для спринцеваний, и уксус — для ловли мух. Буайе беспокоился только о своем накладном коке… Тот отказывался принимать нужное положение, из-за пота на лбу он все время отклеивался, пока мать однажды не отвезла его обратно в Юму и не отчистила бензином. На следующее утро, вымыв шампунем и завив, она приклеила локон к его голове, употребив на это полбутылки спиртовой смолы. Она так хорошо все сделала, что локон держался целое утро. Буайе был счастлив — до крупных планов их бессмысленных объятий, когда накладка неожиданно отскочила, обдав обращенное к нему лицо Дитрих потоком скопившегося пота! Работу пришлось прервать на два часа, мы упустили свет, пока она целиком переделывала весь грим для «Техниколора». С тех пор всякий раз, как она знала, что Буайе должен склоняться над ней в кадре, она предварительно прощупывала его голову, чтоб удостовериться, что ее не поджидает очередной маленький Ниагарский водопад.

По сценарию нам нужен был «прозрачный водоем, окруженный колышущимися пальмами» «оазис в беспредельной Сахаре» Моя мать звонила Трэвису:

— Знаешь, ты *должен* приехать. Ты не поверишь! Это становится смешно-о-о!.. Они строят оазис!.. Да! Конечно, настоящего в Аризоне нет. Но такого, как этот, нет и в настоящей Сахаре! Если бы только Джо мог это видеть… Помнишь в «Марокко»? Как великолепно он сделал пустыню — из ничего!.. Разумеется, этот Селзник буквально следует своему любимому сценарию и говорит: «Делайте оазис!». Они копают яму, в которой поместятся десять плавательных бассейнов! И валятся туда с солнечными ударами. Болеславского все время рвет… Они считают, что он напился ядовитой воды, но я утверждаю, что это сценарий! Ты представить не можешь, на что это похоже. Он плохой режиссер, когда он чувствует себя *хорошо*, а теперь… Я только смеюсь. Когда приедешь, привези эту новую камеру для «домашнего кино», которую придумал Кодак. Привези для нее побольше пленки… Я должна запечатлеть это уродство. А еще привези мне кислой капусты и немного черного хлеба. У них здесь есть только американский «котекс».

Трэвис так и не приехал к нам, но прислал студийную

машину со всем, что она заказала. Моя мать полюбила свою маленькую кинокамеру. Она сделалась новым пунктом в описи предметов из нашей грим-уборной. Несколько лет Дитрих не расставалась с ней.

Когда наш «водоем» был готов, появились пальмы. Они прибыли, радостно подпрыгивая на машинах, колонна которых доставила нам любезный привет от Калифорнийской пустыни. Когда их посадили вокруг нашего «прозрачного водоема», они выглядели как-то не по-марокканski, но так чарующе колыхали ветвями под легким бризом! И потом — кого заботила достоверность! Несколько тощих мастодонтов прибыли, прижимая финики к своей чешуйчатой груди; привезшие их люди дали мне их целую горсть. А вот наши начальники не получили ни одного — мы, члены съемочной группы, слопали их в полной тайне.

Моя мать всегда думала, что лошади обитают только на ипподромах, где должны в основном быстро бегать и выглядеть при этом *очень* красиво. Ездить верхом, как это делают «штатские», то есть для удовольствия, она считала абсолютной тратой времени, и, стало быть, для себя — сущим проклятьем.

И вот женщина-каскадер, одетая, как Дитрих: толстые шерстяные брюки для верховой езды, кушак шириной двенадцать дюймов и тюрбан, напоминающий перевернутый ночной горшок, — галопом въехала в оазис и остановилась на нужной отметке.

— Стоп!

Подошел наш Следящий за Дюнами.

— Мисс Дитрих, мы готовы снимать вас, — благоговейно выдохнул он.

Моя мать подошла к лошади. Теперь сцена должна была продолжаться с момента ее спешивания. Небольшая проблема… сначала ей надо было взобраться на спину лошади. Я, наученная ездить верхом каскадерами и, благодаря их доброте и бесконечному терпению, преуспевшая в умении прочно держаться в седле, наблюдала. Я обучила ее грациозно соскальзывать с английского седла, но она не пожелала учиться садиться на лошадь, говоря, раз в сценарии нет, то и необходимости в этом нет. Рабочий подставил ящик и приготовился помочь ей.

Ящик начал погружаться в песок, лошадь испугалась. Служитель шагнул к ней, Дитрих посмотрела на него своим взглядом «прусского офицера», — он встал по стойке смирно и натянул повод. Ящик переставили, он опять стал погружаться в песок, лошадь отскочила в сторону. Дитрих сверкнула глазами и просто пригвоздила к земле эту маленькую норовистую кобылку.

Сухой горячий песок, должно быть, обжигал ее точеные лодыжки, но кобыла стояла как вкопанная, без единого движения — эта лошадь тут же поняла, что такое Взгляд Дитрих! Камеры работали, наша звезда мастерски соскользнула с седла на землю в поджидавшие ее руки партнера, и одна из самых скучных сцен в истории кино была сыграна — к восторгу и удовлетворению нашего режиссера Болеславского, который умер вскоре после окончания съемок. Моя мать, услышав известие о его смерти, произнесла нараспев:

— Мы все должны были умереть после «Сада Аллаха». Но *ему* следовало это сделать *до* фильма!

В тот день в «оазисе», после седьмого дубля, она взглянула на небо, оценила освещение, поняла, что свет мы теряем, и решила покончить с неудачами этого дня. Она выдохнула: «А-а-ах!» — и упала в обморок. Дитрих никогда не падала в обморок — такая потеря контроля над собой совершенно не устраивала ее! В последующие годы она много раз «теряла сознание», но это не имело ничего общего с обмороками. Фактически идею ей подал Отдел по связям с общественностью, работавший у Селзника. Она разозлилась на их пресс-релизы:

Еженедельный

ВЕСТНИК КИНОЗРИТЕЛЯ

Марлен Дитрих почувствовала легкую дурноту, когда встала и вышла на солнце из-под слабого укрытия, которое давал зонт… Даже недолгая ходьба потребовала от нее напряжения, но она шла, преодолевая слабость, стараясь за улыбкой скрыть ото всех свое самочувствие. Наверное, на этой палящей жаре все испытывали то же самое…

Она добралась до распахнутого входа в большой шатер, удержалась, чтобы не ухватиться за брезент… Ее старый друг, Шарль Буайе, с которым она должна была играть очередной эпизод, с улыбкой предостерег ее, что этот дубль будет соревнованием на выносливость. Она попыталась улыбнуться в ответ, занимая место перед камерой. На мгновение ей стало жаль Шарля, одетого в плотный костюм.

Перед глазами замелькали черные мушки… Режиссер Ричард Болеславский, сразу почувствовав неладное, спросил: «С тобой все в порядке, Марлена?»

Она кивнула — и затем, внезапно ослабев, упала.

Марлен, при всей своей силе воли, упала в обморок.

Она позвонила Селзнику с протестом: «Я *не* какая-нибудь слабачка, способная потерять присутствие духа. Хватит с нас «старой дамы» Буайе, который делает это за всех. Он кладет себе на запястья мешочки со льдом! Даже верблюды дохнут от такой жары, а я, между прочим, сижу под феном! Возмутительно — вы не показываете мне, что выпускаете, и выставляете меня этаким вялым цветочком из тех, что мнят себя профессионалами, хотя на самом деле — всего лишь любители».

Селзник успокоил ее, пообещав в будущем более героические пресс-релизы.

Теперь же Нелли, видя мою мать распростертой на песке, пронзительно закричала. Я схватила ее и проговорила шепотом:

— Она притворяется. Не волнуйся. Давай подыграем. — Я бросилась к маме; ее веки подрагивали, в точности как у Джанет Гейнор в момент полной расслабленности.

— О, Мутти, Мутти! — восклицала я, — скажи что-нибудь! —

Я, должно быть, переиграла, потому что она открыла один глаз и свирепо взглянула на меня! Я вдруг поняла, что она ожидала, что я тоже поверю в ее обман, как и все остальные. Один из студийных врачей, которые обеспечивали себе комфортную жизнь — с гаражом на четыре автомобиля — тем, что подгоняли свои диагнозы под расписание съемок, пощупал пульс Дитрих, объявил его, нормальный, учащенным и посоветовал немедленно отдохнуть в прохладном месте. Обеспокоенный режиссер увидел в этом выход. На сегодня съемки были окончены, и мы вернулись в Юму к кондиционерам. Моя мать была в приподнятом настроении:

— Ну-с, они пишут, я в обморок падаю — так я решила попробовать! Делать семь дублей этой сцены — какая нелепость. Идиот-режиссер думает, что, если он переснимет ее еще и еще, она станет лучше. Единственное, что нужно сделать, это вырезать весь кусок. Посмотришь: они сохранят эту жуткую сцену в картине только потому, что построили для нее целый оазис и влюбились в него. — Она взглянула на меня.

— Ангел, как ты узнала, что я вовсе не в обмороке? — В голосе прозвучало раздражение. Значит, я была права! Ей не понравилось, что я на самом деле не испугалась за нее. Я постаралась не ошибиться, отвечая:

— О, Мутти, я просто думала, что с тобой этого вообще не может случиться!

Она обернулась к Нелли.

— Видишь, как ребенок понимает? Она знает, как меня воспитывали: умей терпеть и никогда не жалуйся. Моя мать всегда говорила: «Дочь солдата не плачет!». Все дело в воспитании. Кстати, о воспитании. Хватит тебе уже общаться с людьми из низших классов. Нелли, скажи шоферу со студии, чтобы привез обратно в гостиницу вещи Марии! — И она набросилась на блюдо с мелко нарубленными овощами и солониной.

Были обманы, в которых я участвовала, были такие, в которых мне отводилась роль зрителя, и были те, которые совершались ради меня. Но мне предстояло еще вырасти, прежде чем я стала различать, что есть что.

— Радость моя, закажи еще пива, и нам нужно масло. — Она отпихнула пустое блюдо в сторону и принялась за единственный сэндвич, который позволяла себе Дитрих — громадный «клуб». — Я придумала новое имя для этой кошмарной лошади — Миссис Когда-то-Майер-теперь-Дочь-Селзника!

Мистер Селзник был занят написанием своих знаменитых заметок:

28 апреля 1936 г.

Дорогой Боли [Болеславский]:

У меня нет больше сил выносить это критиканство, основанное на убеждении, что актеры лучше разбираются в сценариях, нежели я; меня беспокоят, тревожат и выводят из равновесия телефонные звонки, которые нынче сыплются на меня… актеры объединяются и нападают на меня по поводу сценарных эпизодов; был бы признателен, если бы ты поговорил по душам с Марлен и Буайе, вместе или по отдельности, и рассказал им, против чего мы с тобой выступаем… Фильмы Марлен известны своей ужасной литературной основой, а Шарль пусть еще снимется в выдающейся американской картине. Ни тот, ни другая еще не сделали ни одного фильма, сравнимого с любым из тех пятнадцати, что сделал я в последние годы. Скажи им это от меня, и очень решительно. Настало время раскрыть карты, и я абсолютно готов к этому, потому что не собираюсь и тебе не желаю шесть или семь недель выносить эту абсурдную ситуацию. Я предпочел бы, чтобы ты накричал на них; я стану уважать тебя гораздо больше, если ты превратишься в фон Штернберга, не допускающего никакого вмешательства… Впервые за всю свою продюсерскую карьеру я вынужден иметь дело с таким безобразием, о котором я годами только слышал, но не сталкивался лично, и мне понадобится твоя помощь и твоя жесткость, чтобы все это преодолеть. Разъясни актерам, что если они предпочитают дуться, тащить на съемку свое дурное настроение и играть вполсилы, то я вполне готов и к этому и не собираюсь добавлять новые сотни тысяч к баснословному бюджету картины, чтоб только потрафить их темпераменту, а выпущу фильм именно таким, каким они его делают… Если они всего лишь выполнят свою работу и сыграют, как надо, этого будет достаточно. Это все, за что они получают свои сверхвысокие гонорары.

Я всегда думала, что причиной того, что Селзник и Дитрих так не любили друг друга, было их сходство в главном. Оба фанатично стремились к совершенству, не сомневаясь в своих возможностях, блистательные, когда их фанатизм работал им на пользу, и совершенное несчастье для других, когда этот фанатизм оказывался неуместен. Селзник был удивительно наивен для такого сильного человека. Он генерировал нескончаемый поток энтузиазма и энергии, которая казалась стержнем его существа, абсолютно убежденного, что он один может сотворить «шелковый кошелек из свиного уха».

В конечном итоге у него не было другого выбора, кроме как

снова созвать всю труппу, специально наказав им, чтоб не забыли привезти с собой из Аризоны песок. Считалось, что песок калифорнийской пустыни имел другой оттенок бежевого, по сравнению с тем, который мы уже засняли. Итак, мы вернулись домой на студию, таща за собой грузовики с песком. Мы начали снова снимать те же розовые рассветы, раскачивающиеся седла, как если бы они были закреплены на спинах верблюдов, а не на специальных устройствах, — брызгали глицериновый пот на лица, овеваемые воздухом кондиционера, создавали ландшафт с дюнами и продолжали делать тот же самый плохой фильм — зато теперь в комфортных условиях. Ценные указания от Селзника нам просто приносил на съемочную площадку посыльный.

17 шюня 1936 г.
Мистеру Ричарду Болеславскому
Дорогой Болей:

Будь так любезен, скажи Марлен о том, что она придает волосам слишком большое значение и что прическа ее до такой степени «сделана», что пропадает всякое правдоподобие. Ее волосы так хорошо уложены, что в любое время, например, когда дует ветер… они остаются совершенно гладкими и нетронутыми; так хорошо уложены, на самом деле, что не могут быть ничем иным, как париком.

Верх нелепости — сцена в постели. Ни у одной женщины в мире волосы никогда не выглядят так, как у Марлен в этой сцене; весь отснятый кусок из-за этого практически непригоден…

Вот и сегодня на площадке; парикмахер между дублями бросается и укладывает каждую отставшую прядь волос, а на заднем плане от ветра раскачиваются пальмы — полный абсурд.

Ясно же, что легкое правдоподобие не может повредить великой красоте.

Я бы хотел, чтоб ты обговорил мои замечания с Марлен, которая, уверен, поймет, что в моих словах есть смысл; напомни мне, пожалуйста, и мы еще раз вернемся к этой теме с тобой и с Марлен, когда я в следующий раз буду на съемках

ДОС

Таков был Селзник! Он никогда не отступал. Благодаря его твердости и упорству стали возможны великие «Унесенные ветром», но наш опус эти его качества спасти не смогли.

Строго говоря, мы не из города удрали — шесть дней спустя после завершения «Сада Аллаха» мы покинули Америку. К тому времени, когда Дитрих появилась в своей следующей неудаче, предыдущая была совершенно забыта.

Нелли опять выкрали из пастижерного цеха «Парамаунта», поэтому мы были втроем. В сопровождении двадцати одного пароходного сундука, тридцати пяти больших, восемнадцати средних, девяти маленьких чемоданов, а также пятнадцати круглых шляпных коробок и одного величественного «кадиллака» в комплекте с красивым шофером в ливрее мы погрузились на корабль. Англию ожидало редкое удовольствие!

Другие звезды неистово работали, дабы привлечь к себе внимание публики, которое питало и поддерживало их известность. Дитрих же никогда не суетилась. Ей не нужно было работать, чтобы быть звездой. Она ею была; это было ее естественное состояние. Мировая пресса, чувствуя это, проявляла к ней постоянный интерес. Начиная с «Голубого ангела», Дитрих не надо было хлопотать о своей славе — та пришла к ней сама.

Если бы я ехала не в страну Брайана, я бы по-настоящему огорчилась. Меня не привлекала перспектива оставаться в Европе все то время, какое понадобится для подготовки и съемки целого фильма. Моя мать очень торопилась, и мы могли бы воспользоваться «Гинденбургом», но она отказалась. Цеппелины плыли по воздуху, сразу становясь «подозрительными», а этот дирижабль был не только построен нацистами, но нацистами и управлялся. Хотя она не раз говорила, что ее дядя Дитрих однажды командовал «Гинденбургом»; я очень стеснялась этого.

Мы отплыли под благородные звуки «Марсельезы». Возможно ли влюбиться в корабль? Я верю в это. «Нормандия» была не совсем кораблем. О да, у нее имелись тоннаж, балласт, капитан и команда, но это было всего лишь камуфляжем, который использовала какая-то таинственная богиня, чтобы возить по морям свой храм и его жрецов. Всем нам выпало счастье узнать ее и полюбить.

«Нормандия» была величайшим океанским лайнером! Никто не мог превзойти ее, никто и не превзошел. Праздник чувственности, творение французов — больших знатоков в этой области. С того момента, как вы увидели ее, вальяжно раскинувшуюся у причала, у вас перехватывает дыхание от изумления, и вам уже никогда не дышать, как прежде! Для меня, ребенка, она была волшебным царством. Мой собственный Диснейленд в стиле «арт деко» 1930-х годов! «Нормандия» была построена как демонстрация величайшего художественного достижения нации. Она составляла гордость своей страны. Она как нельзя лучше выражала то, на чем тогда стояла Франция, отразив в миниатюрном виде стиль, вкус, качество и художественное совершенство. При всем богатстве, грандиозности и величии у нее был ласковый характер, ей были

свойственны спокойная заботливость, сила и надежность. «Нормандия» была самой Францией.

У нас довилевский номер, один из четырех «appartements de grand luxe», с индивидуальным дизайном, выполненным ведущими декораторами того времени. Мы могли похвастаться овальным салоном, двумя спальнями, в каждой по две кровати, мраморной ванной комнатой, круглой столовой, французскими окнами от пола до потолка, открывающимися на нашу собственную застекленную часть палубы, белым кабинетным роялем, стенами, обтянутыми обюссонскими гобеленами, выполненными в той гамме, которую в книгах по истории называют rose-beige. Конфетная коробка наполеоновской эпохи, которую можно описать только одним словом — «роскошно» Все это стало «нашими» апартаментами. И поскольку с тех пор мы путешествовали только на «Нормандии», она стала в большей степени нашим «домом», чем многие из настоящих домов, в которых мы жили.

Моей матери присылали так много бутылок шампанского, что одна стена нашей розовой столовой была уставлена ведерками со льдом, покоящимися на серебряных треножниках. Я повертела в руках бутылки, выбрала «Veuve Clicquot, 1928», взглянула на карточку и увидела, что она от нашего знакомца из Новой Англии. Что ж, он быстро выучился.

Я как раз пыталась выдумать предлог, чтоб получить разрешение отлучиться, когда моя мать произнесла:

— Радость моя. Спустись вниз и спроси у эконома, в какой из вечеров они намерены показать «Желание».

Я подала ей бокал шампанского, вежливо прикрыла нашу розовую дверь и… помчалась! Я и мечтать не могла о том, чтобы освободиться так быстро! Мы находились так высоко в нашем неприступном вороньем гнезде, что я, заблудившись, только с третьей попытки добралась до главного вестибюля. По пути я обнаружила гриль-ресторан: высокие зеркальные колонны отражали танцевальную площадку, все было отделано черной кожей, блестящей сталью и граненым стеклом. Графиня ди Фрассо, наверное, сошла с ума, увидав это впервые. Хотя на «Нормандии» был поразительной красоты ресторанный зал для пассажиров первого класса, в котором на площадке размером с футбольное поле могло разместиться семьсот человек и который был украшен парящими в воздухе гирляндами из множества лампочек, образующими фигуры в форме опрокинутых вверх дном лаликских свадебных тортов; повсюду — кристофльское серебро, лиможский и дехавиландский фарфор, мерцание хрусталя-баккара несмотря на это, «Нормандия» предлагала

своим пассажирам еще и исключительный в своем роде роскошный гриль-ресторан. В то время, как очень богатые люди ели свой pate de foie gras (паштет из гусиной печенки) в главном ресторанном зале, очень богатые и знаменитые смаковали свои блюда наверху в гриль-ресторане. Перед Второй мировой войной такой снобизм считался приемлемым, на это смотрели сквозь пальцы.

Я нашла главный вестибюль и остановилась, потрясенная, в окружении четырех массивных лифтов с раскрытыми дверями; их кабины были украшены черными филигранными узорами из железа с инкрустацией в виде позолоченных зубчатых раковин. Даже в «Уолдорфе» не было ничего подобного! Никаких холлов с пальмами в кадках, никаких судачащих старых дев. Здесь синкопированные мелодии Ирвинга Берлина и Коула Портера скользили по воздуху, взлетали, падали вниз и плавно раскачивались! Если бы Фред Астер и Джинджер Роджерс пронеслись мимо, вращаясь, щека к щеке, я бы не удивилась. Весь корабль был как произведение Базби Беркли — *классный.*

Богиня задрожала. Раздались свистки, затрубили рога, музыканты заиграли громче. Я зашла в поднимавшийся лифт, проехала остаток пути до верхней палубы и, стоя в тени одной из уникальных наклонных труб «Нормандии», увидала, как она мягко скользит по течению Гудзона.

Я знала, что моя мать рассердится. Я не подписала карточки для цветов и вообще ничего не сделала — но я должна была стоять на месте и ждать Госпожу. Если я видела, как она выходит, и загадывала желание, то знала, что оно сбудется. Я всегда просила одного и того же: «Пожалуйста, пожалуйста, сделай так, чтобы я вернулась домой».

Поскольку протоколом предписывалось в первый вечер пути не «одеваться», мать решила, что нет нужды обременять себя «выходом на публику». Она рано легла, и к тому моменту, как я закрыла за собой дверь, уже уснула в своей розово-бежевой кровати с кремовым стеганым покрывалом. Я кинулась в свою дивную комнатку-бонбоньерку, швыряя шнурованные ботинки в один угол и голубую матроску в другой, и десять минут спустя тихонько вышла в немнущемся сапфировом бархате и белоснежном шелке, как Мэри Джейн. Я была готова «сразить» Первый Класс!

Что за восхитительные сокровища я открыла! Комнаты для занятий искусством писания писем, где сделанные из тонких золотых пластин тигры пристально глядели вниз, словно молча пили воду из золоченых водоемов. Комнаты для занятий искусством курения со стульями из замши цвета изюма, в

окружении настенных росписей с изображениями жизни древнего Египта, которым позавидовал бы Тутанхамон. Игровые комнаты для счастливых детей, с толстыми слонятами в ярко-зеленых фраках, щеголяющими золочеными коронами и резвящимися по стенам — все настраивало на веселье. Даже изящно расписанные лошадки-качалки с широкими белыми хвостами, подвязанными бантами из пепельно-серой тафты. Зимний сад, эти искусно выстроенные джунгли с каскадами орхидей и редкими видами папоротников, с витыми плетеными креслами, уютно скрытыми среди буйной зелени, обращенной к изогнутой стене из стекла, которая отражала ночное небо. Я свернулась в одном из этих витых кресел и наблюдала, как темный океан играет с лунным светом. Меня окутывал теплый воздух, пахло сырым мхом и лесными фиалками. Заботливый стюард разбудил меня, потрепав за плечо. Я убежала. Утром первым делом мне надо найти часовню с цветными витражами и все другие «сценические площадки». Я решила, что четырех дней не хватит, чтобы исследовать все чудеса «Нормандии».

Вечер, когда показывали «Желание», был обозначен как «гала». Я помогла матери приподнять липкой лентой грудь, влезть в шедевр из плиссированного крепдешина и украсить себя изумрудами. Застегнув на себе шелковое платье, похожее на двустворчатую раковину и сшитое специально в дополнение к материнскому, и почтительно следуя позади, я сопровождала маму, когда она стремительно прошествовала в Большой салон. Маленький Версаль, с фонтанами, как в Обюссоне и Лалике, заполненный публикой в туалетах экстра-класса. Мужчины в белых галстуках и фраках выглядели все как Кэри Грант и Уильям Пауэлл в их лучшие минуты. Дамы, как тонкие видения — в духе Люсьен Делонг и Пату. Шествуя, они манипулировали своими длинными шлейфами, дабы обезопасить туалеты от действия какой-нибудь неуклюжей ноги. Моя мать, наблюдавшая за этой роскошной сценой, заметила, поглаживая свои вечерние перчатки:

— Все женщины похожи на Кей Френсис!

Вместе с дамами и господами Большого салона, составлявшими королевскую процессию, мы прошли в самый настоящий кинотеатр, имевшийся на борту «Нормандии». Лампы медленно погасли, и Дитрих впервые увидела «Желание». Сидя рядом с ней, я, как всегда, была благодарным слушателем ее профессиональных комментариев.

— Так. Они все-таки оставили этот кадр! Я говорила Трэвису, что они никогда не вырежут крупный план Дитрих в шляпе с такими перьями.

— Посмотри! Вот этот долгий план запомнится! Великолепно! Посмотри, как ниспадает этот шифон. Прекрасно! Она выглядит сногсшибательно!

— Эта ужасная песня! Я говорила, что она глупая, но посмотри, как свет играет по краешкам этих рукавов из перьев.

— Конечно, как всегда, они не знают, чем закончить. А вот туфли хороши. Туфли что надо во всей картине!

Свет зажегся, публика поднялась, аплодируя звезде, находящейся среди них. Моя мать вежливо улыбнулась, взяла меня за руку, и мы быстро ушли; аплодисменты за нашей спиной постепенно стихли. Остаток вечера она провела, танцуя и принимая знаки обожания, а я наблюдала за всем этим волшебством и наслаждалась крошечными, обсыпанными сахаром птифурами.

Когда мы пришвартовались в Саутгемптоне, на причале нас уже ждали мой отец и привычная стая репортеров, газетных фотографов, а также работников студии, проинструктированных таможенников и отборных носильщиков. Новый босс моей матери, Александр Корда, вероятно, имел большие связи, так как мы быстро прошли все формальности и сели в поезд до Лондона. Моя мать спихнула мне на руки охапку подаренных ей красных роз, сняла свою шляпу кинозвезды и, скрестив заслуженно знаменитые ноги, откинулась спиной на ярко красное сиденье.

— Настоящий викторианский вагон! Посмотри, радость моя, — лампочки с шелковыми в складочку абажурами! И центифолии на ковре! Только англичане знают толк в поездах! Папиляйн, мы смотрели «Желание», когда плыли сюда. Ты знаешь, получилась неплохая картина в конце концов. Мне не было скучно, как это обычно бывает, когда нужно просмотреть фильм.

Мой отец снял свое вигоневое пальто. Хотя было лето, казалось, что в этой новой для меня стране оно уже закончилось.

— Папи, этот костюм очень хорошо скроен. Это один из тех, что я купила тебе у Кнайзе?

Он подтвердил, передав матери лондонскую «Таймс», мне — «Историю династии Тюдоров» по-немецки, и уселся изучать реестр нашего багажа, который я отдала ему по прибытии.

Лондон и далее

Отели были как небо и земля: французский — сама роскошь, британский же — образец национальной сдержанности. Знаменитый отель «Кларидж», где все так корректно, величаво и благопристойно, просто обязывал вас сидеть прямо, держать руки на коленях и говорить приглушенным «оксфордским» голосом. Мама, и на этот раз с охапками роз, проследовала сразу в главную спальню, восклицая:

— Почему они не сообразят, что надо срезать шипы с роз для этих похоронных гирлянд?.. Да, но если бы они не были тупицами, они бы не работали в цветочном магазине! — И она швырнула цветы в ванну, крикнув мне:

— Детка, позвони, пусть горничная приберет ванную.

Обрезать шипы стало одной из моих обязанностей, как, впрочем, вообще заботиться о цветах. Хотя хорошие отели держали «цветочниц» — срезать, подравнивать, поливать, аранжировать и всячески оберегать цветочные экспозиции гостей и самого отеля, — моя мать предпочитала, чтобы это делал кто-либо из ее собственной свиты: так в ее апартаментах хотя бы одним чужим было меньше. За исключением «Савоя», много лет спустя. Этот король лондонских отелей нанимал совсем молоденьких девушек, дебютанток, нежных, как сами цветы, порученные их заботам. Дитрих никогда не церемонилась с поливальщицами. Она похлопывала девиц с лейками по мягким ручкам и улыбалась, глядя на их пунцовые, смущенные лица. Я заметила, что если мы жили в «Савое» сколько-нибудь длительное время, то одна и та же цветочница не появлялась в наших апартаментах два раза подряд. Управляющим «Савоя» не откажешь ни в тонкой дипломатичности, ни в благоразумии.

Поскольку мой отец уже сделал все необходимые распоряжения в «Клариджe», моей матери осталось проследить только за туалетами. Пока Тами и Нелли распаковывали вещи, я выбросила фрукты. Почему отели всегда стараются уставить наши комнаты корзинами с фруктами? Может быть, другим «богиням» и нравятся подобные «сочные» подношения, но наша предпочла бы маринованную селедку! Есть из фруктов что-нибудь, кроме яблок, Дитрих считала баловством.

Наверно, британская пресса успела упомянуть мой высокий рост и намекнуть на свое сомнение относительно моего возраста («всего десять лет»), потому что меня часто не пускали в студию, приказывая «заняться чем-нибудь конструктивным» с Тами. Тами снова стала моей официальной «гувернанткой», и щекотливая

ситуация, которую я всегда обращала к своей выгоде, разрешилась. Мы послушно двинулись в Британский музей и там, изучая мраморные археологические находки Элджина, как бы заново открыли друг друга. Она мне показалась здоровее, чем когда я ее видела в последний раз в Бель-Эре. Похудее, может быть, или ее изящная славянская фигура стала чуть угловатее, местами даже явно, но из ее смеха исчезли истерические нотки, и она не дергала больше кожицу на своих пальцах. Возможно, «снадобье», которое, как говорила моя мать, было страшно дорогим, все-таки действительно принесло ей пользу. Мы вместе ходили по Лондону, и я, успокоенная видом Тами, перестала думать о ее здоровье. Только через несколько месяцев, уже в Париже, я обратила внимание на легкое подрагивание ее рук и трудности с глотанием.

Обычно мы завтракали в апартаментах моей матери. Отец появлялся из своей смежной гостиной, Нелли приходила с другого этажа, а Тами — из своего всегдашнего одноместного номера в конце коридора. Всю жизнь у матери была привычка ходить с чашкой кофе и вещать. Дитрих редко разговаривала с кем-нибудь. Для этого нужен был хоть какой-то интерес к мнению собеседника, а поскольку моя мать только свои мнения считала достойными внимания, у нее не было резона слушать кого бы то ни было.

— Папуля, ты знаешь, что Роберт Донат женат? Никогда не скажешь, видя его на экране!.. Он так красив! В этом фильме публика растеряется — на меня глядеть или на него. Но поговоришь с ним, и с первого слова ясно — он *должен* быть женат. Жаль! С таким лицом — и такой буржуа! Чем-то напоминает Кольмана: думаешь, там что-то есть — ан нет… А голос какой — музыка! Можешь себе представить, чтобы таким голосом говорили о… штокрозах розовых? Он во всех подробностях рассказывал мне, как он получает призы за свои цветы, потому что чем-то особенным удобряет сад! Да… Поди сыграй ВЕЛИКУЮ СТРАСТЬ с садовником!

Бедный мистер Донат. У него не было ни малейшего шанса стать членом нашего эксклюзивного «клуба любителей крепкого бульона». Все же я надеялась, что мама найдет кого-нибудь, потому что она была приятнее, когда у нее с кем-нибудь было что-то «романтическое». Мне нечего было беспокоиться. Очень скоро она стала носить безукоризненно скроенные платья, изо всех сил намекавшие, что облаченная в них — женщина. Входя в комнату, она небрежно сбрасывала свои меха на диваны, а ее брюки, забытые, висели в чуланах. Вместо Гете появился Браунинг, вместо ливерного паштета и легкого пива — сэндвичи

толщиной в листок бумаги с кресс-салатом и чай «Эрл Грей», и она стала часто вспоминать, как играла Ипполиту в «Сне в летнюю ночь». Было бы это все ради Брайана! Но я знала, что такого быть не могло.

Ее голос переливался каденциями дикторов Би-Би-Си. Она стала весьма, весьма английской леди — до мозга костей, как говорится. Я уж думала, на горизонте появился, по крайней мере, герцог, однако приглашения в Бленхейм Пэлэс на именной бумаге с гербом все не приходило. Никого не было, пока в один прекрасный день мы в очередной раз не отправились на другой берег Ла-Манша в Париж. Мы частенько проделывали это путешествие — сходить в музей, на примерку, в ресторан. В тот день будто бы совершенно случайно к нам присоединился некий джентльмен с непринужденными манерами и красной гвоздикой в петлице смокинга. Он не отрывал глаз от лица моей матери. Стоило парому качнуться на волне, как его руки и тело — безупречного сложения — тянулись к ней, чтобы нечаянно прикоснуться. Она смеялась девическим смехом, в котором звенела «молодая любовь». Они определенно были знакомы! Я узнала мужчину тотчас же: его лицо было знаменито, а уж имя — тем более. С того дня куда бы Дитрих ни направлялась, туда же шел и ее обожатель. Она считала его «божеством»! И представала перед ним то как девица с картины Гейнсборо, то как отчаянная кокетка, то как неотразимая сирена, то как шикарная кинодива. Это не мешало ей, тем не менее, подшучивать над ним в разговорах с мужем:

— Папуля, он такой смешной — чистый ребенок! Он мечтает получить дворянство! Ну не мило ли? Американцы думают, что титул сделает их настоящими джентльменами. Но, кажется, его отец еврей? Нельзя же стать аристократом, если у тебя отец еще чуть ли не по деревьям скачет! Но он пытается, представляешь… и даже хорошо выглядит в этой роли. Может, у него и получится. Тогда ему придется оставить эту дурацкую фамилию. Она не звучит с «сэром»! Он говорит, что хочет представить меня Марине, герцогине Кентской. Он полагает, что без него я к ней не попаду… правда, он мил? Ну, конечно, я позволяю ему думать, что он один может ввести меня… и что именно он будет «поставлять» ДИТРИХ королевской семье! Какое это выражение у американцев, Папи, что-то вроде «пускать пыль в глаза»?

Отец, оторванный от графы «Лондон» в книге расходов, сидел с отсутствующим видом. Мать нетерпеливо повернулась ко мне:

— Ты всегда знаешь эти американские словечки… ну как они говорят? Значит «задирать нос»

— «Иметь перо в колпаке»? — предположила я.

— Да, да, именно! «Перо в колпаке». Я — блестящее перо в его колпаке нувориша. — Она так смеялась, что едва успела добежать до уборной. Она была весела, как «юная невеста». Подобно большинству женщин, мама пребывала в отличном расположении духа, когда чувствовала себя объектом желания красивого мужчины. Нам всем было лучше, когда она испытывала joie de vivre, а значит мы смотрели на этого нового члена семьи вполне добродушно. Мне он никогда не нравился как человек, но это пустяки по сравнению с тем, как он действовал на мамино настроение.

Он выказывал такую преданность, было столько цветов, взволнованных вздохов, прогулок за ручку на закате; дошло даже до обмена обручальными кольцами, и у Тами появилась надежда.

Первый раз в жизни я тоже стала думать о возможном разводе родителей. Я не возражала бы против нового отца, если бы он был американцем и главой фирмы; тогда, может быть, я могла бы ходить в школу с таким сундучком для завтрака и даже, может быть, каталась бы на велосипеде, имела бы друзей среди детей, на день рождения получала бы торт с настоящими свечами и сахарными розами; у меня была бы семья, которая праздновала бы День благодарения, и, может быть, я стала бы настоящей американкой! Что все эти чудеса существуют на свете, я знала по кино. Но чтобы сделать их явью, нужен хороший человек с положением, вроде доктора или юриста. Даже бизнесмен сошел бы, но никак не посредственный актер, тщащийся стать титулованным англичанином и способный провести разве что самого себя.

Как и его предшественники — Брайан, Гилберт, Джо и другие, — он иногда жаловался, изливая свои страдания на бумаге и не решаясь предстать перед ней лицом к лицу. Верная своей привычке, моя мать, прочтя письма, оставляла их открытыми для всеобщего ознакомления. Я читала их перед тем, как отец складывал письма в папочку «для потомства».

Милая, мой банальный, наивный вкус говорит мне, что твои объятия с миссис Эдингтон и явные и откровенные заигрывания с Глорией Вандербильт — это уж чересчур!

Я ни в коем случае не упрекаю тебя ни за какие твои чувства — только жаль, что я не знал о них раньше…

Любящий тебя,

и благослови тебя Бог, моя Душка.

Я так и не решила, что такое «душка»: намек на ее надежный «душ» для спринцевания или отголосок фильма на русскую тему,

в котором она снималась во время их романа. Наверно, то и другое одновременно. Все, что он ей дарил, было исписано словом «душка».

Оно красовалось и на крышке золотого портсигара, глядя на который много лет спустя, когда память об этом времени уже потускнела, она сказала:

— А знаешь, он был не так уж плох. Он умел одеваться и вести себя. Но в подарках ничего не понимал. Этот портсигар! Набил его мелкими вещицами, что-то, наверно, значившими для нас тогда, и, конечно, *не мог удержаться,* чтобы не написать на нем «Душка», и теперь я даже не могу подарить его кому-нибудь!

Мой отец исполнял роли «мужа, когда он нужен», «мужа-менеджера знаменитой кинозвезды» и наперсника Дитрих, пока она снималась в «Рыцаре без лат» («Knight Without Armour») на студии «Денхэм» под Лондоном, крутила роман и наслаждалась новой для себя головокружительной ролью голливудской звезды за границей. Мы с Тами и Нелли добросовестно выполняли возложенные на нас обязанности и исчезали в нужные моменты.

От старого друга времен жизни в доме ди Фрассо пришло письмо, которое позабавило мою мать. Клифтон Уэбб знал цену своему остроумию, но это не раздражало, потому что он действительно был остроумен. Моя мать часто зачитывала его письма вслух, указывая места, которые находила особенно удачными или же возмутительными. Зная, как ей противен фильм «Сад Аллаха», он в обращении специально назвал ее именем героини:

Ломбардия,
25 августа 1936 г.
Восточная Ист-стрит, 111, Нью-Йорк
Дорогая, милая мисс Энфильден,

Я был в восторге от Вашей открытки, хотя бы потому, что Вы дали мне знать, что в безумном водовороте своей жизни Вы еще помните мою скромную персону… Я приехал, ensuite, на прошлой неделе, и крики «Le Уэбб» (или нужно говорить La?), должно быть, слышались в Лавровом Каньоне, бывшем пристанище этого трепетного насильника Брайана Эхерна — но, может быть, не стоило упоминать об этом. На обратном пути мы ехали с Бабулей Бойер, что, как Вы можете себе представить, исключало скуку и делало железнодорожное путешествие практически идеальным.

Мадам Дракула де Акоста явилась в дом в день Вашего отъезда, чтобы пойти с нами обедать. Она вся сияла, потому что Вы послали ей «восемь дюжин лилий», Ваш «Старый Знак» — что

сие означает? Ну-с, я как-то оказался в том цветочном магазине, где Вы, дорогая, обычно заказывали цветы, и самым небрежным тоном спросил хозяина, посылали ли Вы кому-нибудь восемь дюжин лилии. И когда цветочник чуть не рухнул в обморок от удивления, я понял, что мадам Дракула де А. немножко, совсем чуть-чуть приврала…

…Нью-Йорк грандиозен, и, должен сказать, приятно снова оказаться среди людей, которые говорят не только о «моих зрителях», «моих длинных планах», «моих крупных планах»… Всего шаг в сторонку — и уже понимаешь, как мало эта кучка самоупоенных граждан значит вне границ своей сияющей, залитой светом территории.

Мама подняла глаза от письма:

— Понимаете теперь, почему он мне симпатичен? Он из умников, вроде Ноэла Коуарда! — И она продолжала читать.

Возможно, я буду плакать и тосковать по всему этому зимой, когда буду сидеть по «кое-что» в тающем снегу, смешанном с грязью…

Дни моего сибаритствования подходят к концу. Со следующей недели начинаю репетировать. Работаю с Театральной гильдией, играю чуть ли не самую грандиозную роль, которую только можно пожелать. Я почти сыграл «На цыпочках» («On Your Toes») в Лондоне. У меня было видение: на Коронации коронуют меня и дорогого Дэвида.

— Папи! Я была права! Теперь все ясно! Если Клифтон Уэбб называет Короля «дорогой Дэвид», значит он «голубой»! Я люблю их, но они не могут быть *королями!* — Она закурила новую сигарету и продолжала:

Я также представил себе, что все коронованные головы Европы — и кое-каких мест севернее — склоняются передо мной, и должен сказать, что зрелище на минуту привело меня в восторг…

Если увидите Ноэла, спросите его между прочим, что было в квартире Гарбо в Стокгольме. Дорогая моя девочка, Я НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛ!

Сейчас Вы, наверное, неровно дышите по какому-нибудь побочному сыну какого-нибудь занюханного старого лорда. Хотя, может быть, и нет. Если мне не изменяет память, для Вас, моя кошечка, англичане недостаточно энергичны в постели».

Мама усмехнулась и отпила глоток кофе. Я заметила, что

отец еле сдерживался, — почему бы это?

Пожалуйста, по возможности и даже без возможности черкните мне пару строк и расскажите, что у Вас происходит… Я так люблю Вас, что буду рад всяким новостям — даже понимая, что Лондон играет Вами и как игрушку бросает на пол (НАДЕЮСЬ, не только в одном смысле!). Вы знаете, что я от Вас БЕЗ УМА. Привет Мари и Руди, если он при Вас.

Храни Вас Бог,

Ваша мамочка Клифтон (джентльмен № 1 в обществе)

Случалось, что мама не опаздывала к завтраку, и тогда разговор за столом принимал обычную форму ее беспрерывного — никто не прерывал — монолога:

— Говорят, Эдвард точно женится на этой жуткой Уоллис Симпсон, несмотря на протесты старой королевы. Я считаю, что тогда он должен отречься! Как это так — американская простушка на английском троне! Немыслимо! Но вообще, Папи, эта женщина, должно быть, страшно умна, если ей удалось так влюбить в себя короля. Или она уж очень хорошо «делает» то, что ему нравится. Ты же знаешь, что про него говорят, — а такие всегда любят своих матерей! Так что, может быть, он и послушается королеву Мэри. Вчера вечером мы опять ужинали с герцогом и герцогиней Кентскими. Вот это красавица. Она действительно бывшая греческая принцесса? Все были такими светскими. Никто даже не заикнулся о главном скандале, хотя, разумеется, все сгорали от любопытства и надеялись что-нибудь выведать у Кентов. Я думаю, король обратил внимание на эту Симпсон, потому что она плоская, как доска, — похожа на его любимых молодых мальчиков. Но *почему* он хочет на ней *жениться*? Глупец, наверное!

Зачем было читать газеты, если городским глашатаем была Дитрих! Я ждала, что она будет снабжать нас бюллетенями о «скандале века» И действительно, несколько недель спустя она решительной походкой вошла в наши апартаменты и заявила:

— Я пойду к королю! Я сказала герцогу Кентскому вчера: «Пошлите меня! Я умею это лучше, чем Уоллис Симпсон, но уж, будьте уверены, не стану пытаться сделаться королевой Англии!»

Она уходила на студию. Мы с Нелли собирали термосы и прочие обычные причиндалы. Я открыла дверь и отошла в сторону, чтобы пропустить маму. Надевая перчатки, она бросила через плечо:

— Папи! Когда позвонит премьер-министр, возьми у него секретный номер телефона короля и сразу же дай мне знать на

студию.

В ту ночь, когда единственный и неповторимый «кадиллак» Дитрих был замечен в тени у бокового входа в Букингемский дворец, пресса взбесилась. Моя мать объявила, что сама «совершенно шокирована глупым поведением своего шофера — это именно он без разрешения взял машину, чтобы посмотреть достопримечательности Лондона». Слухи затихли, и журналисты успокоились на сей раз на удивление быстро.

Это была одна из самых любимых тайн моей матери, одна из немногих интриг, которые она специально строила и при упоминании о которой на ее устах появлялась улыбка Моны Лизы, а в глазах — нехороший блеск. Если бы Эдвард III не отрекся от престола ради любимой женщины, я уверена, мы услышали бы гораздо больше о том, как Дитрих спасала Британскую империю.

«Рыцарь без лат» делался без моего обычного обязательного присутствия. Отец эвакуировал меня на время в Париж, где я жила с ним и Тами. Пока Дитрих занималась тем, что убегала от большевиков, закутанная в прозрачные одежды один к одному из «Сада Аллаха», а ее защищал маскирующийся под казака отважный Роберт Донат, я сидела в отцовской квартире и читала, силясь понять, «Майн кампф». Я знала, что мама скоро захочет отнять у отца свое разрешение на «юрисдикцию» надо мной, и старалась сполна насладиться этой свободой и общением с друзьями, Тами и Тедди. Я и не представляла себе, как соскучилась по своему четвероногому приятелю, пока он не появился у дверей папиной квартиры. Он встречал своих не так, как другие собаки. Никакого виляния хвостом, суеты, прыжков, стояния на задних лапах. Если Тедди признавал вас, вам еще надо было выдержать его визуальную оценку: сидя в уважительной позе на задних лапах и твердо упершись в пол передними, с чуть наклоненной головой и стоящими ушами, он наблюдал за вами. Глаза его, полные сомнения, казалось, говорили: «Это действительно ты? Наконец-то пришел. Тебе не безразлично, что я скучал по тебе? Обними меня, и тогда я поверю!» И тут вы протягивали руки и бросались крепко обнимать эту маленькую сильную собаку. Только тогда, убедившись, что не будет отвергнут, он начинал целовать вас и вилять своим коротким хвостом. Тедди был действительно необыкновенным существом.

Как и моя Тами. Она очень старалась угодить, но все вечно выходило не так. Отец был ужасно строг в том, что касалось лично его. Все должно было делаться не иначе, как по его правилам. При малейшем подозрении на заминку в выполнении приказа он начинал орать, причем обычно не по делу. Меня его

ярость пугала, а Тами просто вгоняла в панику.

— Тами, что это?.. Я с тобой разговариваю! Смотри на меня! Как это называется?.. Отвечай! Это ты называешь *бифштексом*?.. Сколько ты позволила им содрать с тебя за него?.. Покажи мне чек!.. Не можешь, конечно? Опять «потеряла»? Как всегда! Ты что, ничего не помнишь? Безголовая совсем?.. НИЧЕГО не можешь сделать как надо. «Я понимаю, я понимаю» Ты думаешь, ты стала намного лучше? Ничего подобного, ты все такая же — безнадежный случай! Тащи обратно этот кусок мяса, получи назад деньги и отдай их мне! — Он хлопнул мясом по ее трясущимся ладоням.

Она стояла бледная, глаза как у загнанного животного в последней попытке защититься.

— Рудичка, ради Бога, оно уже ПРИГОТОВЛЕНО, я же не могу…

— Что, хочешь отвертеться? Совершаешь ошибки — плати за них! Я сказал ИДИ! И не возвращайся — не принимаю никаких оправданий!

— Прошу тебя… Руди, пожалуйста, не заставляй меня…

— Мне что — САМОМУ ТАЩИТЬ ТЕБЯ ТУДА?

Вся в слезах, Тами выбежала из столовой, сжимая в руках вызвавший такую бурю кусок мяса. Меня просто тошнило, и я хотела выйти из-за стола.

— Сиди! Это тебя не касается! Следующий раз попадет *тебе*. Доедай свой обед. — Отец налил себе еще бокал бордо, откинулся в своем личном кресле во главе стола и уставился на меня, отпивая глотками свое прекрасное вино.

Я старалась облегчить жизнь Тами. Я ходила с ней на рынок, следила, чтобы все чеки были на месте и чтобы все сантимы сходились. Проверяла пуговицы на рубашках отца. Если бы хоть одна оторвалась, он бы, наверно, убил ее! Чистила его ботинки, выбивала одежду, перезаряжала зажигалки, стирала пыль с книг, точила карандаши, заполняла ручки чернилами, гладила носовые платки. Я даже что-то готовила, когда Тами порезала руку. Мы каждый день молили Бога, чтобы нам дожить до вечера без проблем. А вечером Тами принимала какие-то новые таблетки, которые ей прописали на курорте, и забывалась сном; я же читала манифест сумасшедшего и гадала, почему некоторые люди такие уроды.

Среди прочего моя мать, покуда водилась с британской аристократией, переняла у нее склонность сбагривать детей при первой же возможности. Накрахмаленные преданные няни забирали запеленутых в тончайшие ткани наследников и уносили

их на детскую половину, откуда их подопечные впоследствии выходили, обученные хорошим манерам и нарядные, лишь по особым случаям. Едва только Беатрис Поттер и ее прелестный кролик… няня была отправлена на пенсию, на деток надели бриджи или плиссированные юбки и блейзеры с кепи, вручили клюшки для травяного хоккея и отвезли в славные, увитые плющом заведения, предназначенные для «формирования характера» Эти заведения затем сменились еще более увитыми плющом и еще более «священными стенами», пока, наконец, молодое поколение не выросло совсем и не получило подобающей ему «полировки», открывающей девушкам дорогу к выгодным бракам и детским половинам уже в их собственных домах, а юношам — к великолепию обеспеченной рождением знатности и героическому поведению на каком-нибудь поле боя.

Я была уже старовата для детской, но для «учебного резидентства» где-нибудь — еще нет. Моя мать решила, что я как дочь немецкой аристократки тоже должна получить «полировку». Зная, как серьезно англичане относятся к образованию, отец, должно быть, заставил ее поверить, что я никогда в жизни не сдам здесь вступительных экзаменов. Поэтому, объявив, что такова ее воля, мать заставила отца найти «лучшую в Европе школу, где девочку научат прекрасно говорить по-французски». Отец, непревзойденный организатор, нашел такую школу в Швейцарии, убедил начальство принять меня, чтобы спасти дочь Марлен Дитрих от тяжелой участи полной невежды, и меня записали: возраст — одиннадцать лет, имя — Мария Элизабет Зибер, Голливуд. Плата за учебу, которая начиналась в сентябре 1936 года, была внесена вперед.

Я полюбила Брийанмон. Если бы я знала тогда, что в их записях я «прибыла из Голливуда», я любила бы эту школу еще больше.

Поскольку по правилам Брийанмона учащиеся должны были являться со своим постельным бельем, моя мать приехала в Париж и купила мне приданое — кучу простыней из чистого ирландского льна, тяжелых и даже скользких от своей гладкости, и огромные салфетки из того же роскошного материала. То был единственный раз в моей жизни, когда мать купила мне приданое. Она приказала вышить мое имя вручную на каждом предмете — чтобы никаких вульгарных меток на вещах отпрыска семейства Дитрих! Мой богатый сундук с приданым приводил меня в восторг, и я не могла дождаться, когда мне можно будет заправить свою первую шикарную постель в интернате.

Я тогда не знала, что отличаться — значит быть на виду и быть судимой, часто пристрастно: чтобы тебя принимали

окружающие, надо подлаживаться под их уровень. Я еще не жила в реальном мире и не имела соответствующих ориентиров. Правила я усвоила позже, вместе с французским языком. Но я всегда любила и берегла свои простыни, даже когда научилась извиняться за их великолепие.

В школу меня доставил отец; я думала, что матери, может быть, трудно было бы со мной расставаться или же что ее отвлекают более важные эмоции. Я слишком волновалась, да и страшновато мне было, чтобы гадать, почему она не поехала со мной; во всяком случае, без ее блистательного, слепящего присутствия было как-то легче воспринимать окружающее. Отец очаровал директрис — их было две в этой, такой элитной школе — точностью и информативностью своей речи, затем обратился ко мне, и я надеялась, что то, что он сказал, я услышала в последний раз в жизни:

— Наконец-то тебе дается возможность чему-то научиться. Тут тебе спуску не дадут. Помни, что тебя приняли в эту школу благодаря МНЕ, а не твоей матери. Здесь не будет никакого голливудского цирка, где на твои штучки смотрят сквозь пальцы из-за знаменитой мамаши. Только девочки из лучших фамилий учатся в этой школе. Я дал слово, что ты всегда будешь слушаться и хорошо вести себя. Твоя мать не сможет выгородить тебя. Здесь дочери кинозвезд ничего не значат. Поняла?.. А теперь повтори мне все слово в слово, чтобы я был уверен, что до тебя это дошло!

Я сгорала со стыда, выслушивая эту лекцию, потому что рядом стояли мои будущие соученицы. Только бы они не понимали по-немецки! Он ушел, а я осталась стоять на аккуратной, засыпанной гравием дорожке с каменными урнами по бокам, где росли подобранные по колориту цветы; позади возвышался большой загородный дом в стиле Дафны дю Морье, выходивший на Леманское озеро.

В школе были девочки, которые плакали и страдали от одиночества; они происходили из «счастливых семей», где их по-настоящему любили. Были такие, кто вырос в пансионах и привык к обезличке и единообразию жизни в общежитии. И были мы — те, которые удалились «на каникулы» как от слишком большой любви, так и от ненависти домашних. Нам нравилось в интернате, хотя втайне мы завидовали тем, кому было о чем плакать.

Поначалу все шло с большим скрипом. Говорить нам разрешалось только по-французски, на чужом для всех нас языке. Этот варварский метод давал результаты: надо было общаться, и мы старались поскорее выучиться. Я, не знавшая, что такое быть школьницей, и тем более никогда не изучавшая преподаваемых

предметов, из-за языка еще больше чувствовала себя неполноценной. Я даже не знала, что такое география, а меня вдруг просят назвать крупные реки, да еще по-французски! В Брийанмоне довольно скоро поняли, что я ни на каком языке не могу писать без ошибок. Это их слегка потрясло. Я думаю, что они растерялись, гадая, что со мной делать. Скорее всего, они просто смирились с моим невежеством, но по доброте своей позволили мне остаться, надеясь, что каким-нибудь чудом я когда-нибудь наверстаю упущенное. Если уж ничем другим, так я возьму французским языком и сносной игрой в травяной хоккей.

Моя мать переехала на Гровенор-сквер, 20 — по адресу своего лондонского любовника. О «любовниках» девочки в школе говорили много. У кого-то из них мамы тоже имели любовников. У иных были отцы, имевшие даже каких-то «содержанок», которые одевались «вульгарно», носили «неприличное» черное кружевное белье, «забирали» деньги, машины, меха, драгоценности и даже дома у отцов в обмен на свои «услуги». Я не задавала вопросов, боясь обнаружить свою неразвитость, но поскольку ни один из вышеперечисленных пунктов не подходил к Тами, я сразу же исключила ее из этой категории женщин. Девочки были страстно убеждены, что такие женщины непременно злы, жадны и нечистоплотны, и я решила, что моя тихая, нежная Тами, которая всегда вела себя с моим отцом только лишь как любящая жена, совсем не подходит под тип «содержанки». Но и с мамой как-то не вязался образ «матери с любовником». Она не пряталась, не сбегала в заштатные отели на морских курортах в мертвый сезон, не сочиняла историй для одурачивания мужа. У меня была мать, которая брала любовника всякий раз, когда хотела или считала нужным, а потом рассказывала о нем мужу во всех подробностях. То есть я совершенно выпадала из стереотипа, поскольку даже мои родители изменяли друг другу неординарно. Я перестала участвовать в тайных ночных сеансах откровенных разговоров под прикрытием одеял, из-за чего недополучила немалую долю ценного сексуального образования, которое так не помешало бы мне несколько лет спустя.

Моя мать звонила мне постоянно. Задерганные дамы из директорского кабинета спешно направлялись в класс, робко стучали в двери и просили срочно отпустить мадемуазель Зибер — ей звонит мама, Марлен Дитрих. Они приходили даже во время контрольных. Похоже, что и невозмутимые швейцарцы не могли устоять под натиском славы кинозвезд. Я делала книксен, смущаясь от непрошенного внимания, просила меня отпустить, бежала в *бюро,* извинялась перед очередной старой девой,

которая сидела в тот момент на стуле, символизировавшем власть, брала трубку и слушала, не в первый и не в последний раз за день, что моей маме так плохо без меня, что она по мне так скучает, что без меня ничего не ладится, что режиссер еще хуже, чем тот предыдущий псих, что в Англии никто не умеет снимать фильмы, что все люди с фамилией Корда — это «венгерские евреи», а что можно ждать от «цыган», что у Нелли опять насморк, и у нее из носа капает на парики, и, наконец: «Куда мы засунули еще одни ресницы?»

Я слушала и ждала, когда она, по обыкновению не попрощавшись, повесит трубку. Затем я проделывала акт извинения в обратном порядке и вновь оказывалась за своей деревянной, с откидывающейся крышкой партой под неодобрительными взглядами учительницы. Этих звонков избежать было невозможно. Меня вытаскивали с хоккейных матчей и даже с гимнастики! Я пробовала прятаться в туалете, но целеустремленные швейцарские леди стояли снаружи и ждали, шепотом подгоняя меня через замочную скважину и напоминая, что это же междугородный! Если же леди, ничтоже сумняшеся, пыталась просить маму перезвонить, так как ее дочь как раз в тот момент спрягала латинские глаголы, то она получала такой нагоняй от «матери, ущемляемой в самых важных на свете правах», что бежала сломя голову, вырывала из моих рук мел, смотрела на меня мокрыми глазами и трясущимися губами умоляла *ради Бога* избавить ее от общения с моей mère. Больше шестидесяти лет я пыталась спрятаться от телефонных звонков моей матери — и не могла! Она доставала меня всюду! Если Дитрих требовала вас, вы были обречены! Ее личная «гомосексуальная мафия поклонников», опутавшая своими сетями весь земной шар, тут же поднималась по тревоге и пускалась в поиски. А так как в их функции входило еще и осведомительство, то врать Дитрих о своем местонахождении не имело смысла. Как-то мы с мужем сняли в Мадриде квартиру без телефона. О! Блаженство! Но тут стали приходить телеграммы — ровно каждый час, и это происходило до тех пор, пока моя мать не вспомнила об одном своем поклоннике в Барселоне и не позвонила ему. Он знал милейшего антиквара в Толедо, который только что вернулся с «божественного» уикэнда на роскошной вилле в Хаммамете, чей хозяин… На следующий день у нас был телефон! Моя мать торжествовала. В те времена в Испании люди ждали телефона годами. У них не было мамы Дитрих!

В школе я стала звездой по количеству почты, приходившей на мое имя. Другие девочки тоже получали письма, открытки, мелкие посылки. Я же получала мамины фотографии с ее

подписью, а самое главное — комиксы из «Лос-Анджелес Игзэминера», обернутые вокруг баночки с арахисовым маслом, которые присылал мой любимый телохранитель. Он неукоснительно посылал мне газету по воскресеньям, не пропустив ни одного номера, и весь американский контингент Брийанмона имел возможность следить за приключениями Флэша Гордона.

Хотя в нашей школе училось несколько принцесс, наследниц крупных состояний и представительниц известных фамилий «голубых кровей», они тоже, как и все остальные, жаждали заполучить фотографию кинозвезды с ее подписью. Такая карточка ценилась в бартерных сделках: за две Дитрих ты получала плитку «Херши», за три — флакон лавандовой туалетной воды, за четыре — порцию воскресного ростбифа соседки. Правда, маленькая фотокарточка Кларка Гейбла с автографом стоила мне трех Дитрих, туалетной воды, шоколадки и двух воскресений без ростбифа — мама не оценила бы обменный курс.

Я вскоре поняла также, что у одной меня была родительница, о чьей профессии знали все. Мир хотел знать все о моей личной жизни. Это было интересно, даже немного пьянило. У дочерей банкиров никогда не спрашивали, как их отцы делали деньги. Индийской принцессе не задавали вопросов о ее семье. Когда звонила моя мать, я просила ее прислать еще автографов, но не рассказывала о чудесных американских посылках телохранителя. Она все испортила бы своей ревностью и каким-нибудь язвительным замечанием о «страничках сатиры и юмора» и об их любителях — глупых американцах.

На день рождения я получила от мамы запасы всех цветочных магазинов Лозанны. Завистливые девочки высмеивали меня, директрисы поражались такой бессмысленной расточительности. Я извинилась за то, что стала причиной «нарушения порядка», подарила цветы пациенткам изолятора, спряталась у себя в комнате и просидела там остаток дня.

В первый день рождественских каникул я стояла в холле около своего чемодана и ждала, что за мной кто-нибудь приедет. Я надеялась, что не отец. В возрасте «всего» двенадцати лет я держала свои первые в жизни экзамены и сдала все очень плохо, за исключением английской литературы и истории религий. Я молила Бога, чтобы это хоть как-то смягчило папин гнев, но надежды было мало. Отец прошел сквозь большую стеклянную дверь, кивком отметил мою пунктуальность и проследовал по коридору в директорский кабинет. Я присела на скамейку и подумала о том, что хорошо было бы провести каникулы в школе.

Отец вышел с сердитым видом, как я и ожидала, и жестом позвал меня идти за ним к ожидавшему нас такси.

По-моему, поезд, на котором мы ехали, был «Восточный экспресс», но я была слишком подавлена, чтобы рассматривать маркетри — там полные корзины с фруктами или простой геометрический рисунок? Я только решилась спросить, где Тами; в ответ мне было сказано, что она уехала к своему брату и не будет с нами на каникулах. К брату? Никогда не слышала, чтобы у нее был брат. Я сложила руки на коленях и ждала, когда перед приездом в Париж подадут завтрак — обычно великолепный и улучшавший папино настроение.

На этот раз, в 1936 году, мы жили в отеле «Георг V» — не такого класса, как «Плаца-Атене», но несколько более знаменитом. Как только я вошла в королевские покои моей матери, она с ужасом воскликнула:

— Боже! Что с тобой случилось? Что они с тобой там сделали?.. Папи, ты замечаешь? Взгляни на ее волосы!.. Позвони вниз и прикажи им прислать кого-нибудь постричь Катэр. Нужно и одежду купить по ней! Чем они вас кормят в этой школе?.. Хлебом и картошкой? — Она затолкала меня в ванную, чтобы взвесить и выкупать.

С тех пор, когда бы я ни появлялась после «отсутствия и общения с чужими», меня дезинфицировали наравне с туалетами. Пока мать терла меня мочалкой, я решилась спросить ее о Тами. Она ответила слишком уж скоро и высоким голосом — верный знак, что у нее не было в запасе готовой лжи:

— О, бедняжка Тами! Ей нужен был небольшой отдых. Ты же знаешь, сколько работы требует от нее уход за Папи, поэтому я сказала ей: «Поезжай в Канны, отдохни. За гостиницу я заплачу, не беспокойся».

Это была атака на мои уши. Я чувствовала, что мы проигрывали сцену мытья из «Белокурой Венеры»! Брат Тами жил в Каннах, что ли? Вряд ли, и уж точно не в шикарном отеле. Обычно мои родители редко расходились в том, что рассказывали. Или я чего-то не заметила по молодости? Нет, решила я, *до такой степени* молода я никогда не была. Просто они оба лгали. Что-то было не так, и серьезно. Надо осторожненько выведать правду.

Хотя провозглашенной целью моей отправки в школу было изучение мною французского языка, мама не верила, что я его знаю, и все так же говорила по-французски, когда что-то из обсуждаемого было «не для детских ушей». Она считала также, что, поскольку французский был дипломатическим языком монархов и аристократии, то простым массам он недоступен. Не

ясно, почему же тогда население Франции говорило на нем; но Дитрих имела феноменальную способность игнорировать факты, когда они ее не устраивали. Она говорила мне:

— Дорогая, позвони в «Гермес» и попроси их прислать мне образцы шарфов. Можешь говорить по-английски — продавщицы не знают настоящего французского. Горничные, посыльные, продавщицы — это все деревенщина. Даже читать не все умеют.

Я пыталась сказать ей, что продвинулась вперед в изучении французского, но она как-то не верила:

— Милая. Ты — думаешь — ты — говоришь — по-французски? Нет… нет… Нужно очень много времени, чтобы научиться правильно говорить на этом прекрасном языке. У меня отличный французский — от гувернантки. Девочки из хороших семей всегда выучиваются языкам у своих гувернанток.

Я решила не особенно демонстрировать знание французского и таким образом узнала кое-что интересное.

Думая, что от меня ждут рассказов о школе, я упомянула матчи по травяному хоккею.

— Что? Ты играешь в эту варварскую игру? С этими сачками?.. Ты хочешь сказать, что носишься на этом швейцарском холоде с палкой в руках?

Так, это не пошло; я попробовала снова:

— Мамочка, у меня замечательная соседка по комнате. Она из Норвегии, и ей присылают огромные коричневые сыры, которые…

— Папи! Ты слышал это? У нее соседка с сырами! Понятно, почему она так потолстела!

Я скорей сменила тему:

— Знаешь, мамочка, я рассказала некоторым девочкам об этой комнатке — ну, той, что очищается каждый месяц, чтобы когда-нибудь там появился ребеночек. Им это так понравилось…

— Что? Что ты им рассказала? Какая комнатка? Какой ребеночек? Папи! И это знаменитая школа для детей элиты? Они разговаривают о *детях*. Куда ты сунул ребенка? Какого возраста эти девочки, с которыми Катэр живет? Не может быть, чтобы они были из *хороших* семей, если обсуждают такие вещи, как менструации. Она должна учить *французский*, а не набираться вульгарности!

Это продолжалось несколько дней. Когда, наконец, ее гнев улегся, не вызвав непоправимых последствий, я вздохнула с облегчением. Я боялась, как бы она не надумала взять меня из школы. Больше я ни слова не говорила о своем новом мире, целиком погрузилась в ее жизнь, и мама, снова поверив в мою преданность, почувствовала себя в безопасности и успокоилась.

Однажды она взяла меня к одной леди на чай. На самом деле их там было две: одна — худая и страшненькая, другая — маленькая и полноватая, с острыми глазками и длинным тонким ртом. Присутствие моей матери дамы явно считали за честь, но и мама казалась польщенной их приглашением. Это меня заинтриговало. Женщины редко внушали Дитрих уважение, а уж некрасивые — тем более. В квартире, куда мы попали, не хватало только бархатных веревок, какими в музеях отделяют экспонаты от посетителей. Через много лет они там и появились. Потрясающая коллекция стеклянных пресс-папье была размещена на всех горизонтальных поверхностях, картины украшали стены, фотографии в рамках и изящные безделушки стояли на черном мраморном камине. Чувствовалось, что полная леди была главной и что приказывала она. От разговора с ней глаза моей матери разгорелись. Вторая дама принесла поднос с чашками, разлила чай и встала подле большого кресла в ожидании дальнейших указаний. Хозяйка, определенно, была каким-то совершенно необыкновенным существом. Я не понимала ее быстрой французской речи, но звучала эта речь так выразительно, лилась так легко и свободно, что не обязательно было и понимать ее, чтобы чувствовать, как она блистательна. Леди время от времени похлопывала мою мать по руке и искренне смеялась каким-то ее остротам. Худая мисс Чопорность хранила молчание и своим видом показывала готовность услужить. Я заметила ее взгляд на себе и поневоле выпрямилась, стараясь сдержать дрожавшую в моей руке тонкую голубую чашку. Очертания хозяйкиных губ смягчились, ее кустистые рыжие волосы зажглись в лучах заходящего солнца. Она поднялась со своего низкого, мягкого кресла, и они с мамой вышли из комнаты. Худая осталась со мной, ее тело и глаза все время были напряжены, будто в ожидании призыва. Мы ждали довольно долго. Я не знала, куда поставить свою чашку.

Мы вернулись в свой отель уже затемно. Едва войдя в апартаменты, мама, быстрая, возбужденная, словно в ней сидела пружина, объявила:

— Папуля! Колетт просто чудо!

Следующая леди, открывшая нам двери своего дома, была похожа на призрак из штернберговской «Красной императрицы». Мама прошла, слегка задев собой это тихое видение, в спартанского вида гостиную, где ее ждал еще один призрак. Я подумала, что это женщина, но не была вполне уверена. На ее крепком, тяжелом, квадратном — как грузовик — теле, возвышаясь над воротом мужской рубахи с галстуком, сидела

бульдожья голова. Меня подвели к древнему фортепьянному стулу и велели сесть. Мама обвилась вокруг кресла, в котором разместился «грузовик», и почтительно смотрела в улыбающееся лицо мастифа. «Ангел смерти» разливала чай. Вид ее за этим занятием был столь устрашающий, что я решила не пить ее чая. Его надо бы вылить в мухоловку, благо она стояла недалеко от моего места! Снова атмосфера дышала какой-то необузданной силой, будто в комнате происходили электрические разряды, — как всегда там, где материализовалась Марлен Дитрих. Но сейчас воздух наэлектризовывала не красота, а интеллектуальная энергия. Такое же чувство у меня было от присутствия Фицджеральда и той рыжеволосой трепетной дамы, и вот теперь опять. Речь нынешней леди звучала по-американски, причем выдавала совершенную уверенность говорящей в блеске своего ума. Я была поглощена попыткой потихоньку вылить свой чай в цветок и не слушала, что она говорила. А жаль — это была единственная моя встреча с Гертрудой Стайн. Как и в прошлый наш поход в гости, мама уединилась с хозяйкой, а я вежливо ждала под взглядами странной женщины, вцепившейся в спинку опустевшего кресла.

Должно быть, Рождество того года было памятным! Но я ничегошеньки не запомнила, кроме того, что мама «отворотила нос» от шарфа, который я связала ей на уроках труда. Но как мы на следующий день плыли через Ла-Манш, я помню. Эта часть океана ужасна во все времена года, но в декабре она хуже всего. Даже моя мать чувствовала дурноту, однако держалась храбро и разговаривала — по-французски — с отцом:

— Он хочет, чтобы я была с ним в Лондоне на мой день рождения. Говорит, что завтра мы будем отмечать его целый день — в постели.

Потом пойдем на всю ночь танцевать в «Савой». Признай, Папи, что он куда романтичнее Ярая.

Ну что ж, если моя мать собирается праздновать свой день рождения в постели с нашим будущим сэром, то, может быть, мне будет позволено пойти в Музей естественной истории посмотреть на динозавров.

Гровенор-сквер всегда был пижонским местом, еще и до того, как одну сторону его заняло Американское посольство. Мамина квартира в доме двадцать не представляла собой ничего особенного, служила просто «перевалочным пунктом» на пути в пентхаус ее обожателя. На следующее утро она появилась перед нами на пару минут, отреагировала небрежным пожатием плеч на наши поздравления с днем рождения, переоделась, похвалила

намерение отца показать Ребенку все эти «древние кости» и исчезла на несколько дней.

Музеи, так же как и церкви, преображали моего отца — там он никогда не вредничал. В музее с ним было почти как в школе, только он был учителем-энтузиастом, любил преподаваемый предмет и, следовательно, никогда не нагонял на ученика тоску, в какие бы подробности ни пускался. Я была убеждена, что моя мать за целый день в постели со своим «рыцарем» не получила и половину того удовольствия, какое мне доставила папина лекция о жизненном цикле навозной мухи.

1936 год подходил к концу. Англия похоронила старого короля, короновала его сына, променявшего страну на «Женщину, которую я люблю», и заменила отступника на Берти, Георга VI, который был куда лучше своего брата. Три короля за один год — наверное, какой-нибудь исторический рекорд! Дитрих за это время снялась в трех фильмах, которые никак не повлияли на историю, осталась без гениального фон Штернберга, позволила Джону Гилберту умереть в одиночестве, пережила несколько мелких интрижек и заработала кучу денег. Вышла книга «Унесенные ветром», изобрели игру «Монополия», гений «МГМ» Ирвинг Тэлберг умер в тридцать семь лет, Рузвельт вернулся к власти в результате обвального голосования в его пользу, наш Фред Перри выиграл свой третий Уимблдонский турнир. Адольф Гитлер овладевал Рейнскими землями, не встречая ни малейшего сопротивления, его друг Франко захватывал Испанию, Муссолини убивал эфиопов, Сталин — своих собственных сограждан. Выступления Фред Астер и Джинджер Роджерс стали мировыми чемпионами по сборам, а я встретила 1937 год болезнью — свалилась с гриппом.

Когда ни заветный крепкий бульон, ни «особый» куриный суп не излечили ребенка, моя мать запаниковала и позвонила герцогине Кентской, чтобы узнать у нее номер телефона королевского врача; мне она сказала:

— У правителей всегда самые лучшие доктора. Правители нужны нам живыми, чтобы править. Вот королева Виктория — сколько она прожила! Рузвельт даже с детским параличом правит Америкой — только благодаря мастерству своих врачей!

Сэр Какой-то, высоченный, длиннопалый, выглядевший безупречно в костюме с Сэвиль-Роу, сером в крапинку, и с тросточкой, появился словно бы только что отлитый, вкатил мне огромную дозу лошадиной сыворотки (в то время, до изобретения пенициллина и антибиотиков, лечили только этим) и удалился. Все бы ничего, да только я была аллергиком. К вечеру я распухла

и стала вдвое толще, губы мои напоминали два сшитых вместе пуховика, под стать им были и руки, а глаза превратились в китайские. Мама, одетая в великолепное черное бархатное платье со шлейфом, заглянула ко мне в комнату пожелать спокойной ночи, вскрикнула и бросилась к телефону.

Наш великий целитель был обнаружен на королевском банкете в Кларенс Хаусе. Бриджеса отрядили доставить его на Гровенор Сквер. Как только он появился на пороге, весь в орденах, во фраке, мама наскочила на него и заорала, барабаня кулаками по его накрахмаленной груди:

— Что вы сделали с моим ребенком? Что вы за доктор? Как вы смеете ходить на банкеты, в то время как ваши пациенты умирают? — Под градом ударов перламутровые застежки его манишки повыскакивали на пол, она отстегнулась и как рулонная штора завернулась, оказавшись у него под подбородком. Мама продолжала лупить его голую грудь.

— Мадам!.. Прошу вас!.. Постарайтесь сдержать себя! — бормотал королевский доктор, пятясь назад и пытаясь расправить свою манишку.

Я лежала, как выскочивший на берег кит, и любовалась спектаклем через щелки своих глаз.

Я поправилась, хотя и не так быстро, как полагалось по маминому медицинскому расписанию. Что еще надо было сделать? Чего не хватало? Ну конечно… морского воздуха! И вот меня закутывают в шотландскую шерсть и кашемир и отправляют в Борнмаут. В феврале — в настоящий «мертвый сезон морского курорта» Тут я поняла, что имелось в виду, когда мои соученицы рассказывали о мамах, ездивших с любовниками на такие курорты. Ни души на прогулочных дощатых настилах, мокрых от бьющих по ним волн, голые скалы и пустые кафе, где в ожидании какого-нибудь заблудившегося в соленом тумане моряка чайники постоянно держат на точке кипения, отчего в этих кафе всегда стоит пар и воздух влажен. Когда я смотрю «Ребекку» Хичкока, я вспоминаю море и бьющиеся о скалы волны, а когда Тревор Хоуард встречается с Селией Джонсон в маленькой «кафешке» в «Короткой встрече», мое воображение тут же переносит меня в Борнмаут, я вижу, как согреваю руки, липкие от пирожных «бэнбери», о чашку дымящегося чая с молоком.

Няня, которая была со мной на море, привезла меня домой здоровую, что лишний раз убедило маму в целительной силе соленого воздуха.

— Видишь, насколько воздух по эту сторону лучше? Воздух Северного моря. — Мама всегда говорила: «Вот что лечит! А не эта горячая лужа у нас в Калифорнии. Как она называется, Папи?

Я никогда не знаю таких вещей…»

— Тихий океан, мамочка.

— Почему *это* называется океаном? В чем разница?

Мне приятно было узнать, что мама тоже не знает географии.

Я получила еще одну дозу лечебного воздуха, когда мы снова плыли во Францию, в Париж, где мама открыла для себя Чиапарелли. Она не жаловала своим вниманием эту модельершу-авангардистку, называя ее особенно дерзкие произведения «дешевыми приманками для публики». Я не знаю, что подвигло ее на визит к этой кутюрьерше — роман, а может быть, претенциозность партнера, — но так или иначе мы пошли к Чиапарелли, и мама попалась. Губы моего отца сжимались все плотнее, я внутренне содрогалась, а мама говорила напыщенные речи и все *покупала, покупала.* Если уж моя мать развлекалась, она это делала на полную катушку! Астрологические знаки из серебряных блесток на бархате цвета ночного неба. Шнуры из парчи, как извивающиеся змеи, нашитые на ядовито-розовый узорчатый Дамаск; плотно приталенные женственные костюмы с накидками из чернобурки и шляпами с пуховками в тон. Огромное количество отделки, разукрашенных пуговиц, бижутерии, висюлек и штучек — все чрезмерно, нарочито, кричаще. Все бросается в глаза, все поражает — и все не ее, не Дитрих. Чиапарелли и мама подружились и стали приятельницами, они делились секретами и сплетничали. Мама редко надевала ее наряды дважды, но продолжала покупать — полная противоположность тому, что было в возникших позже отношениях с Коко Шанель.

Я вернулась в Брийанмон с опозданием из-за болезни; там по-новому расселили всех девочек, а также поменяли некоторые школьные принципы. Но по-прежнему ученицам не позволяли говорить между собой на своих языках, чтобы не мешать изучению французского. Пока я распаковывала вещи и раскладывала их, как было велено, на меня смотрела черноволосая худая девочка со странными светло-серыми глазами. Понаблюдав за мной некоторое время, она спросила на чистом английском языке:

— У тебя такие же ноги, как у твоей матери?

Я даже вздрогнула и чуть не выронила мочалку — и от того, что она посмела заговорить по-английски, и от того, о чем она спросила. Мне первый раз задали вопрос, ставший впоследствии таким привычным. Я всегда удивлялась: неужели это так важно, что люди пренебрегали всеми правилами хорошего тона, чтобы узнать, такие ли у меня ноги. Может быть, если бы они были

такие, я бы меньше смущалась. Но поскольку я не унаследовала ног Дитрих, меня эти вопросы приводили в замешательство. Прошло немало лет, прежде чем я перестала чувствовать себя виноватой, давая отрицательный ответ. Бывали даже случаи, что люди приподнимали мою юбку. Интересно было наблюдать их реакцию — удовольствие или разочарование, — когда они наконец удовлетворяли свое любопытство. Я решила держаться подальше от Сероглазки, что, похоже, устраивало нас обеих. Третьей соседкой по комнате в этом семестре была индийская принцесса, хрупкая, как только что появившаяся на свет бабочка, и такая же хорошенькая. Она много улыбалась, порхала на бесшумных ножках, но не навязывала свое общество.

Мамины звонки держали меня в курсе ее новостей. Селзник предложил нашему Рыцарю ведущую роль в большом боевике. Моей матери пришлось убеждать его взяться за нее, потому что актер явно стеснялся играть героя, размахивающего ножом. Когда же он принял предложение, она стала обучать его «анти-селзниковской» тактике. Он должен знать, как вести себя «с этим ужасным человеком, который только и делает, что пишет длиннейшие указания — целые тома указаний».

Любич готовился снимать с ней новый фильм, в котором на сей раз выступал и режиссером. Названия еще не придумали, но это должно быть «что-то про жену титулованного англичанина, которая влюбляется в кого-то в парижском борделе, выдает себя за другую, пока они все наконец не встречаются и не выясняют, кто есть кто» Предполагается, что это будет весьма смелая комедия, сказала она и добавила:

— Может получиться настоящая картина с «любичской изюминкой», если, конечно, он не впадет в слащавость или вульгарность.

Так как графиня ди Фрассо все еще в Италии, можно будет жить в нашем любимом доме, и — «правда, смешное совпадение?» — наш Рыцарь снял себе особняк на той же улице.

Моя мать сумела взять меня из школы пораньше, и я приехала в Париж как раз к началу паковки чемоданов. Тами уже вернулась, я с такой радостью обняла ее и вдруг увидела, что она плачет. Папа составлял списки и помечал ключи. Тами складывала шарфы, я — обувь. Мама напихивала в шляпы бумагу для сохранения формы. Она была в хорошем настроении и все время говорила:

— Папуля, помнишь, я тебе говорила, как мне понравилась Колетт? А ты видел, что она написала про «Сад Аллаха», про мои слишком красные губы? Ужасно! Зачем такой великой писательнице писать рецензии на фильмы? Грэм Грин тоже

написал. Говорит, что наша пустыня похожа на дырки в швейцарском сыре! Правда, как писатель он не дотягивает до Колетт, — наверное, нуждался в деньгах.

Мы пошли завтракать на папину квартиру. Тами не успела вытащить масло из холодильника заранее, поэтому оно не мазалось. Отец сделал ей обидный выговор за забывчивость, неорганизованность и нерасторопность. Тами молча сидела, опустив голову, покорно выслушивая лившийся на нее поток сарказма, но вдруг не выдержала и бросилась вон из комнаты. Я побежала за ней. В коридоре она затрясла головой, веля мне уйти и не навлекать на себя неприятности из-за нее. Я пошла назад и у дверей столовой услышала, как моя мать говорит:

— Папуля, не будь так суров с ней. Ты должен понять, что Тамуля старается.

Мама защищает Тами? Здорово! Я стояла за дверью, прислушиваясь:

— Но, мамочка, ты же видишь, что она просто невыносима!

— Папуля, почему ты допускаешь, чтобы она всегда была в таком состоянии? Таблетки не помогают? Что сказали там, куда мы ее посылали? Они что, ничего не знают? Хоть что-нибудь они должны знать, почему женщина все время беременеет? Я ничего не знаю, потому что я поднимаюсь с постели и принимаю меры. Она что, ленится встать и проспринцеваться? Должна же быть какая-то причина? Дело ведь не в деньгах на аборты — я не против того, чтобы давать их ей всякий раз; проблема не в этом. Как она все время попадается — вот что мы должны найти способ взять под контроль. Представляешь, это случалось бы со *мной* каждый раз? Все равно когда-нибудь кто-нибудь узнает, как бы мы ни старались все это скрывать. Может быть, ты *поговоришь* с ней? Заставишь вставать и идти в ванную после этого? Дисциплина — вот что она должна усвоить хоть немного. Ш-ш… ребенок!

Я вернулась на свое место за столом. Они перешли на французский. Я не могла понять всего из их быстрой речи, но услышала уже достаточно из сказанного по-немецки.

В тот же день я посмотрела в словаре слово, которое не поняла. Я знала очень мало взрослых слов на любом языке. И вот теперь я узнала, что значит «аборт» Я сидела со словарем на коленях, запершись в туалете, и пыталась представить себе, как ребенок вообще появляется, как его убивают и почему. Я была абсолютно уверена, что Тами ни за что не сделала бы подобного по своей воле. Мои мать и отец — это другое дело. Они были способны на все.

Закутанные в уютные шерстяные пледы, мы попивали превосходный бульон, расположившись в забронированных креслах на палубе, или бродили по прогулочной палубе, или делали ставки на гонках деревянных лошадок в солярии во время дневного чая, или смотрели на соревнования в стрельбе по тарелкам. Моя выглядевшая божественно мать еженощно танцевала в зале ресторана. Я шастала по закоулкам своей любимой «Нормандии» и, если бы мне не приходилось оставлять Тами с отцом, была бы совершенно счастлива.

В шикарном кинозале показывали «Ромео и Джульетту» с Нормой Ширер, и я подумала, что Брайан был бы куда лучше Лесли Хоуарда в роли Ромео. Какая-то леди страстно шептала своему спутнику позади меня: «О, только бы они соединились в конце фильма!». Я обернулась и прошептала в ответ: «Не соединятся, потому что это Шекспир!»

Мы проплыли мимо маяка «Амброза» и — вот она! Верная и неизменная! Я снова дома!

notes

Примечания

1

«Луг» по-немецки *(Здесь и далее — примеч. перев.)*.

2

Подпольный кабачок, где продавали спиртное во времена сухого закона. — *Примеч. перев.*

3

Пуританский Северо-восток. — *Примеч. перев.*

4

На продажу спиртных напитков. — *Примеч. перев.*